# КНИГА И БРАТСТВО

ОТ ЛАУРЕАТА БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ – РОМАН-ФИНАЛИСТ БУКЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ. ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ.

## АЙРИС МЕРДОК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР-ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

# Книга и братство
# Айрис Мердок

Аннотация
Айрис Мердок. Книга и братство
Часть первая. Средина лета
~~~
~~~
~~~
~~~
Часть вторая. Средина зимы
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~
Часть третья. Весна
~~~
~~~
~~~
~~~
~~~

## Аннотация

Впервые на русском — один из лучших образцов позднего творчества выдающейся британской писательницы, признанного мастера тонкого психологизма, лауреата Букеровской премии. Действие начинается на традиционном оксфордском балу; мы знакомимся со всей компанией героев сразу, с их дружбами и антипатиями, любовями и ненавистями, с поглощающими их страстями. Много лет назад эти оксфордские выпускники организовали своего рода клуб («Братство»), чтобы поддержать самого блестящего среди них мыслителя, Дэвида Краймонда, в работе над эпохальным политико-философским трактатом («Книгой»). Годы идут, конца работе не видать, от Краймонда и его идей всех уже давно тошнит, но никто не решается высказать ему это в лицо. События принимают неожиданный оборот, когда на балу он уводит жену одного из своих благодетелей — вторично…

Захватывающая с первой до последней

страницы, стимулирующая проза — и вознаграждающая все усилия сторицей.

*The Times*

Любители языковых красот, замысловатого сюжета и философских глубин — каждый найдет в этой книге что-то свое.

*Publishers Weekly*

Айрис Мердок — один из величайших и наиболее влиятельных творцов двадцатого века. Она не дала умереть традиционному роману — и, поддерживая в нем жизнь, революционно трансформировала его.

*The Guardian*

От политической философии к предательству и катастрофе, а затем к покою и свободе — никто кроме Айрис Мердок не смог бы так мастерски заложить подобный сюжетный вираж.

*Library Journal*

# Айрис Мердок
# Книга и братство

*Дайэне Эйвбери*

# Часть первая
# Средина лета

~~~

— Дэвид Краймонд заявился в килте!

— Боже мой, Краймонд здесь?! Где он?

— В той палатке или шатре, называйте, как вам больше нравится. Он с Лили Бойн.

Разговаривали двое: Гулливер Эш и Конрад Ломас. Гулливер — неосновательный, в настоящее время безработный англичанин тридцати лет с небольшим, явно не задумывавшийся о своем возрасте. Конрад — американский студент, значительно моложе и ростом повыше считавшегося немаленьким Гулливера. Последний прежде не был знаком с Конрадом, однако слышал о нем, потому и обратил свое, так взволновавшее Конрада замечание к нему и его спутнице, Тамар Херншоу. Местом действия был долгожданный бал на День поминовения в Оксфорде[1], время — около одиннадцати вечера. Была середина лета, и настоящая ночная тьма еще не наступила, более

**[1] Примечания: 1**

Праздник в Оксфордском университете, посвященный памяти основателей его многочисленных колледжей, некоторые из них существуют с середины XIII столетия; устраивается в июне, через неделю после окончания летнего семестра, и каждый год под эгидой нового колледжа. (Здесь и далее примечания переводчика.)
~~~

того, не предвиделась. Над разномастно освещенными шатрами, откуда лилась разномастная музыка, висело мглистое синее небо, на котором уже появились редкие колючие желтые звезды. Луна, огромная и ноздреватая, как сыр, пока что путалась в вершинах деревьев за протоками Черуэлл, речки, ограничивавшей ближайшую территорию колледжа. Тамар и Конрад появились только что и еще не успели потанцевать. Гулливер уверенно заговорил с ними, поскольку знал Тамар, хотя и не слишком близко, и слышал, кто будет сопровождать ее. При виде Тамар он, сказать по правде, почувствовал раздражение, поскольку его партнершей в эту важнейшую ночь должна была быть (но в последний момент отказалась) Вайолет, мамаша Тамар. Гулливер недолюбливал Вайолет, но согласился составить ей пару, чтобы оказать услугу Джерарду Херншоу, которому обычно шел навстречу, даже повиновался. Джерард приходился Тамар дядей, правда «дядей» в кавычках, потому что был Вайолет не родным, а двоюродным братом. Джерард был много старше Гулливера. Патрисии, сестры Джерарда, которая должна была появиться в сопровождении Дженкина Райдерхуда, тоже не было, но по веской причине (в отличие от

Вайолет, у которой, кажется, не было причин не появляться), поскольку отцу Джерарда, давно болевшему, неожиданно стало хуже. Гулливер, конечно же, польщенный просьбой Джерарда, все же был не в восторге от перспективы появиться на балу в компании Джерарда с Вайолет, поскольку это как бы причисляло его к старшему поколению. Он не возражал бы против Тамар, хотя не был особо «увлечен» ею. Слишком уж, на его взгляд, застенчивая и скованная, она была бледной, тоненькой, походила на школьницу, легкая и бесплотная, ни капли стильности, и короткие прямые волосы причесывала по-детски, на косой пробор. Ему не нравилось ее девственное белое платье. Гулливер, не всегда уверенный, что его вообще привлекают юные девицы, во всяком случае предпочитал более смелых особ, способных взять инициативу на себя. Так или иначе, о Тамар речь не шла, поскольку было известно, что танцевать она собиралась с новым кавалером, этим шустрым юным американцем, с которым познакомилась через своего кузена Леонарда Ферфакса. Джерард, извиняясь за дезертирство Вайолет, неопределенно высказался в том смысле, что Гулливер наверняка сможет «подцепить какую-нибудь девчонку», но пока было не очень

похоже, что это ему удастся: все они были под строгим присмотром своих парней. Конечно, позже, когда парни подвыпьют, ситуация может измениться. Некоторое время он бродил в теплых синих сумерках, надеясь встретить знакомую физиономию, но пока увидел только Тамар, испытав при этом скорей досаду, нежели удовольствие. Еще он досадовал на себя за то, что, после долгих размышлений, все же не стал надевать легкую нарядную кружевную рубашку, в каких, как оказалось, щеголяло на балу большинство молодого поколения, а был при традиционном черно-белом параде, как, он предвидел, вырядятся Джерард, Дженкин и Дункан. Гулливер, считавший, что он недурен собой, был высок, темноволос и строен, с прямыми напомаженными волосами, тонким носом с небольшой горбинкой, с которым примирялся, когда кто-нибудь называл его орлиным. Глаза, красивые, как ему говорили, были карие с золотистым отливом, без крапинок. Гулливеру очень хотелось танцевать, и он страшно злился бы на Джерарда за то, что по его милости ему это теперь не удастся, если бы тот не купил ему билет (очень дорогой), без которого он вообще не попал бы на бал. Пока эти мысли роились в голове Гулливера, Конрад Ломас, пробормотав

извинения Тамар, стремглав рванулся к шатру, где должен был быть Дэвид Краймонд. Он бежал на своих необыкновенно длинных ногах по траве и мгновенье спустя скрылся из глаз, оставив Гулливера и Тамар одних. Тамар, удивленная его стремительным бегством, не бросилась тут же вдогонку за своим кавалером. Благоприятная возможность для Гулливера, и он в самом деле даже размышлял секунду, не стоит ли быстренько пригласить Тамар на танец. Однако не решился, зная, что расстроится в случае отказа. Да и опасался, что, если она ответит согласием, потом, чего доброго, долго не сможет «отвязаться» от нее. Ему, несмотря на затаенные обиды, в сущности очень нравилось одиноко бродить среди собравшихся и быть voyeur[2]. К тому же ему только что пришла идея вернуться в комнату, где Джерард и другие «стариканы» продолжали пить шампанское, и пригласить на танец Роуз Кертленд. Конечно, Роуз «принадлежала» Джерарду, но Джерард возражать не станет, и, конечно, восхитительно было представлять, как его рука обовьет то, о чем ей и не мечталось, — талию Роуз. Но момент был упущен, и Тамар продолжала удаляться.

---

**[2] Примечания: 2**
Зритель, соглядатай (фр.).

— Это ведь был Конрад Ломас? Что это на него вдруг нашло? — осведомился Гулл.

— Он работает над диссертацией, что-то о марксизме в Британии, — ответила Тамар.

— Значит, прочтет весь краймондовский вздор.

— Он боготворит Краймонда, — сказала Тамар, — прочитал все, что тот написал, но никогда не встречался с ним лично. Хотел, чтобы я нашла кого-нибудь, кто их представит, но я полагала, что не смогу помочь в этом. Не знала, что сегодня он будет здесь.

— Я тоже, — сказал Гулливер и добавил: — И они.

Тамар, неопределенно махнув на прощанье, пошла к шатру, в котором скрылся Конрад. Гулливер все же решил не возвращаться к Джерарду и остальным. Лучше побродить еще немного. Это был не его колледж и не его университет. Он окончил Лондонский и, хотя относился к Оксфорду и оксфордским обычаям с язвительным безразличием, был готов на этот необыкновенный вечер поддаться очарованию того, что окружало его: старинных зданий, залитых светом прожекторов, бледной стройной башни, яркой зелени освещенных деревьев, полосатых шатров, словно

расположилась биваком какая-то экзотическая армия, и разгуливающей красочной толпы молодых людей, которым теперь, после нескольких бокалов, он в конце концов завидовал без особой неприязни. Пожалуй, было необходимо немедленно выпить еще. Он направился к аркадам, где можно было получить виски. Джерардово шампанское ему осточертело.

Тамар не преминула заметить, как Гулливер колеблется, пригласить или не пригласить ее потанцевать. Она отказала бы, но все равно была уязвлена, так и не дождавшись приглашения. Она плотней закуталась в узорчатую кашемировую шаль, зажав концы под подбородком. День был безоблачный, жаркий, вечер — теплый, но теперь поднялся небольшой ветерок, и Тамар стало зябко, такая уж она была мерзлячка. Подол белого платья касался травы, уже, как ей казалось, мокрой от росы. Она дошла до шатра, в котором включили свет, поскольку музыканты поп-группы сделали перерыв, чтобы перекусить, и танцующие стояли группками на деревянном помосте и болтали. Конрада нигде не было видно, но скоро она заметила в углу кучку молодых людей, среди пчелиного жужжания которых выделялся высокий голос с шотландским акцентом.

Тамар не любила Краймонда, побаивалась его, но вероятность столкнуться с ним возникала у нее очень редко, а после его ссоры с Джерардом и другими вообще ни разу. Ей в голову не пришло подойти к толпе его поклонников и присоединиться к Конраду. Она присела на стул у края шатра в ожидании, когда он освободится. Потом заметила на противоположной стороне одиноко сидящую Лили Бойн, пришедшую, как она слышала, с Краймондом. Лили сняла одну сандалию с ноги и разглядывала ее, сейчас она поднесла ее к носу и понюхала. Тамар, которая не желала разговаривать с Лили, надеялась, что та не видит ее. Она, конечно, знала Лили Бойн, подругу, или по крайней мере вроде того, Роуз Кертленд и Джин Кэмбес, но Тамар становилось с Лили не по себе, даже дрожь слегка пробирала. По правде сказать, Тамар с неодобрением относилась к Лили, так что предпочла не думать сейчас о ней. Когда вновь загремела музыка, погас верхний свет и по танцующим закружились разноцветные огни, Тамар вышла из шатра в темноту. Глубинный вибрирующий ритм взбудоражил ее, страшно захотелось танцевать.

Тамар была готова в любой момент влюбиться. Замышлять влюбленность возможно. Или, пожа-

луй, то, что выглядит как замысел, намерение, есть просто взволнованное предчувствие момента, оттягиваемого до полной неотвратимости, когда влечение будет безошибочно взаимным, когда говорят глаза, говорят руки, а язык бессилен. Вот чего Тамар позволила себе ожидать от этого вечера. По правде сказать, с Конрадом, который учился в Кембридже и скоро должен был вернуться в Америку, она встречалась лишь несколько раз и обычно в компании. В последнее свидание, провожая домой, он пылко поцеловал ее. Леонард Ферфакс, ее кузен, изучавший в Америке, в Корнельском университете, историю искусства, познакомил их, написав о нем в письме. Тамар понравился высокий молодой американец, потом чувство симпатии переросло в нечто большее, но пока еще она не дала ему это понять. Все ее мечты были о нем. Тамар было двадцать, она изучала историю в Оксфорде, заканчивала второй курс. Она несомненно была уже взрослой девушкой, но ее застенчивость и внешность заставляли других, и, конечно же, ее саму, думать, что она моложе, наивней, не вполне еще зрелая. У нее уже было два романа, первый — результат жадного любопытства, второй — жалости, за которые она ругала себя нещадно. Она

была дитя, пуританское нравом, и никогда еще не была влюблена.

Роуз Кертленд танцевала с Джерардом Херншоу. В шатре, где играла «приятная» старомодная музыка, вальсы, танго и медленные фокстроты перемежались шотландскими кадрилями, «Веселыми Гордонами»[3] и сомнительными джигами на тот случай, если у кого возникнет желание сплясать таковую. Знаменитую поп-группу сейчас было слышно издалека. В еще одном шатре играли классический джаз, в другом — кантри. Роуз и Джерард, хорошие танцоры, могли танцевать подо что угодно, но сегодня был вечер ностальгии. Студенческий оркестр играл Иоганна Штрауса. Роуз нежно склонила голову на плечо Джерарда. Она была высокой, но он выше. Они были красивой парой. Лицо Джерарда, которое можно было бы назвать «рубленым», более точно охарактеризовал его зять, торговец произведениями искусства, — как «кубистское». Оно как бы состояло из пересекающихся плоскостей, среди которых выделялись скулы, квадратный ровный лоб; даже кончик носа выглядел плоским. Но то, что производило впечатление жесткого,

**[3] Примечания: 3**
Быстрый шотландский групповой танец.

математически сложного сочетания плоскостей, оживлялось и обретало гармонию благодаря внутренней энергии, которая превращала эту схему в ироничное насмешливое лицо, чья улыбка часто переходила в шальную и шутовскую ухмылку. У Джерарда были голубовато-стального цвета глаза, вьющиеся каштановые волосы, пусть сейчас слегка потускневшие, но по-прежнему густые и без намека на седину, хотя ему перевалило за пятьдесят. У Роуз волосы были светлые, прямые, пышные и порой, когда она их взбивала, напоминали парик или ореол. В последнее время, глядясь в зеркало, она спрашивала себя, уж не стали ли ее живые светло-русые волосы все враз светло-серыми от седины. У нее были синие глаза и определенно очаровательный, чуточку retroussé[4] нос. Она сохранила стройность фигуры и сейчас была в простом темно-зеленом бальном платье. Роуз всегда держалась с примечательным спокойствием, что раздражало одних и привлекало других. На ее лице часто блуждала легкая улыбка, блуждала и сейчас, хотя в голове у Роуз кружили, сплетались отнюдь не только счастливые мысли. Танец с Джерардом

**[4] Примечания: 4**
Вздернутый (фр).

был высшим счастьем. Если б только она могла испытать то ощущение вечности в настоящем, о котором иногда говорил Джерард. Сейчас она должна была бы быть счастлива уже от того, что крепкая рука Джерарда лежала на ее талии и она могла повиноваться небрежным, но властным движениям его тела. Она ждала этого вечера с того момента, как Джерард объявил свои планы относительно друзей. Это он устроил так, чтоб Тамар с Конрадом вместе появились на балу. Но теперь, когда ожидания сбылись, она умышленно приняла отсутствующий вид. Она погасила улыбку и вздохнула.

— Я знаю, о ком ты думаешь, — сказал Джерард.

— И о ком же?

— О Синклере.

— Ты прав.

В этот момент Роуз как раз не думала о Синклере, но мысли о нем столь глубоко были связаны с мыслями о Джерарде, что она не покривила душой, соглашаясь. Синклер был братом Роуз, «золотым мальчиком», который давно умер. Конечно, она подумала о нем раньше, еще входя в колледж и вспомнив другой, далекий летний день, когда она пришла повидать своего брата-

студента, кончавшего первый курс, и Синклер сказал ей: «Посмотри на вон того высокого парня, это Джерард Херншоу». Роуз, будучи немного младше Синклера, тогда училась в школе. В последних письмах к ней Синклер взахлеб писал о Джерарде, бывшем двумя курсами старше. Из этих восторгов Роуз заключила, что Синклер влюблен в Джерарда. И лишь в тот день в Оксфорде она поняла, что и Джерард в равной степени влюблен в Синклера. Она не видела в этом ничего плохого. Кроме одного: что сама влюбилась в Джерарда с первого взгляда и по сию пору, хотя столько лет миновало, продолжала безнадежно любить его. О невероятном их с Джерардом романе, завязавшемся меньше чем через два года после безвременной смерти Синклера, они потом никогда не говорили, вероятно, по причине странной тактичности, даже в мыслях не возвращались к нему, как возвращаются к воспоминаниям, воскрешая, подновляя, подвергая их опасному воздействию реальности. Это осталось в их прошлом, как запечатанный пакет, которого они иногда касались очень осторожно, но никогда, ни поодиночке, ни вместе, не пытались вскрывать. У Роуз были и другие любовники, но все — бледные тени, были и предложения выйти

замуж, но они ее не интересовали. Почувствовав, как Джерард сжал ее руку, она спросила себя, уж не об этом ли он сейчас думает. Она не подняла глаз, отняла голову от его плеча, к которому на мгновенье прижалась. После того как Синклер окончил Оксфорд, он и Джерард жили вместе, Джерард работал журналистом, а Синклер продолжат биологические исследования и помогал Джерарду основать журнал левого направления. Когда планер Синклера врезался в роковой холм в Сассексе и после очень краткой, как наваждение, интерлюдии с Роуз, Джерард отошел от левых и поступил на государственную службу. В то время он жил с разными мужчинами, включая своих друзей по Оксфорду: Дункана Кэмбеса, который тогда находился в Лондоне, и Робина Топгласса, генетика, сына орнитолога. Робин позже женился на француженке из Канады, куда и уехал. Дункан женился на школьной подружке Роуз, Джин Ковиц, и поступил на дипломатическую службу. Маркус Филд, вероятно, не бывший одним из любовников Джерарда, стал бенедиктинским монахом. У Джерарда всегда было множество близких друзей-мужчин, вроде Дженкина Райдерхуда, с которыми он не вступал в сексуальную связь; а в более поздние годы он

как будто угомонился и жил один. Роуз, естественно, не спрашивала его об этом. Больше того, соперники-мужчины перестали ее беспокоить. Она боялась соперниц.

Вальс закончился, и они стояли в непринужденной, довольно расслабленной позе, застигнутые врасплох оборвавшейся музыкой.

— До чего я рада, что Тамар наконец встретила такого славного мальчика, — проговорила Роуз.

— Надеюсь, она ухватится за него, и притом обеими руками.

— Не представляю, чтобы она проявила решительность. Это он должен ухватиться за нее.

— Она такая кроткая, — сказал Джерард, — такая простодушная в лучшем смысле этого слова, так чиста сердцем. Надеюсь, парень понимает, насколько она удивительное дитя.

— Хочешь сказать, что она может показаться ему скучной? Что она не блестящая юная девушка?

— О нет, она не может показаться ему скучной — чуть ли не с возмущением ответил Джерард и добавил: — Бедная девочка, всегда в поисках отца.

— Ты имеешь в виду, что она, возможно, предпочтет человека постарше?

— Я не имею в виду ничего настолько банального!

— Конечно, мы так неравнодушны к ней, потому что знаем ее историю. И причем по-настоящему неравнодушны.

— Да. Вся эта грязь не оставила на ней ни единого пятнышка.

— Незаконнорожденное дитя незаконнорожденной.

— Ненавижу подобную терминологию.

— Что делать, люди все еще так рассуждают.

Вайолет, мать Тамар, оставшаяся незамужней, была дочерью Бенджамина Херншоу, недостойного младшего брата Джерарда, тоже оставшегося холостяком, который бросил мать Вайолет. Тамар, которая, как говорили, появилась на свет лишь благодаря тому, что Вайолет был противопоказан аборт, была плодом связи мамаши с проезжим скандинавом, настолько мимолетной, что Вайолет, утверждавшая, что забыла его имя, даже не могла сказать, был ли он шведом, датчанином или норвежцем. Но сомневаться в этом не приходилось, судя по неяркому обаянию Тамар, по ее мышиного цвета волосам и большим печальным серым глазам. Вайолет решительно взяла фамилию Херншоу и передала ее Тамар.

Вайолет продолжала вести «беспорядочную жизнь», на что Патрисия и даже Джерард смотрели косо, продолжала и во все детство Тамар, но уже без подобных последствий.

— Мужчины находили Вайолет необыкновенно привлекательной, — сказала Роуз. — Она и сейчас не потеряла своей привлекательности.

Джерард не отреагировал на ее слова. Взглянул на часы. Он, разумеется, был обряжен в столь порицаемый Гулливером Эшем смокинг, который очень шел ему.

Роуз думала про себя: она все еще ревнует его к любой женщине, которая приближается к нему, даже к бедняжке Тамар, которую она так любит! А иногда думала: она даром потратила жизнь на этого человека, все ждала, притом что знала — ждать нечего, он получил так много и так мало дал взамен. И тут же опровергала себя: до чего же она неблагодарна, ведь он подарил ей свою драгоценную любовь, он любит ее и нуждается в ней, разве этого не достаточно? Даже если он относится к ней как к своего рода идеальной сестре. А, да все равно, теперь он ушел в отставку, говорит, чтобы писать там что-то такое, чтобы, говорит, начать жизнь с чистой страницы, совершенствоваться или что-то в этом роде, он

способен на какое-нибудь новое безумие, скажем, влюбляться в женщин — и приходить к ней за советом! Потом она подумала: ну что за вздор! — и в конце концов, разве она не была счастлива?

— Как твой отец? — поинтересовалась она.

— Неважно… но не… собственно, он умирает. Конечно, надежды нет, вопрос только в том, как долго это продлится.

— Очень сожалею. Патрисия не считает, что это был криз?

— Нет, ему стало немного хуже, а сиделка уже ушла. Пат хорошо справляется, она ангельски терпелива.

В последние годы Роуз редко видела отца Джерарда, тот жил в Бристоле, в доме при Клифтон-колледж, где родился Джерард. Лишь недавно, когда здоровье его ухудшилось, он переехал к Джерарду в Лондон. Он и Роуз по-особому относились друг к другу, что, впрочем, отзывалось обоюдной неловкостью. Отец Джерарда очень хотел, чтобы Джерард женился на Роуз. Так же как отец Роуз очень хотел, чтобы Синклер женился на Джин Ковиц. Если бы Синклер не погиб, то имел бы титул. А так титул переходил к йоркширским Кертлендам (троюродным кузенам; деды были братьями), которые еще должны были

унаследовать после Роуз ее дом. Мы все бездетные, говорила себе Роуз, прекрасные планы не сбылись, и мы исчезнем без следа.

— Патрисия и Гидеон, конечно, не решили, займут ли ту квартиру наверху, которую ты приготовил для отца?

— Нет, просто аренда у них подорожала и они подыскивают дом.

— Надеюсь, что подыскивают! Когда Гидеон возвращается из Нью-Йорка?

Муж Патрисии, Гидеон Ферфакс, торговец произведениями искусства и финансовый гений, сейчас много времени проводил в этом городе.

— На следующей неделе.

— Ты сказал, они пытаются выставить тебя и занять весь дом!

— Да, Пат постоянно говорит, что мне не нужна такая большая площадь!

Наличие новой «квартиры наверху» рождало у Роуз некоторые идеи. Почему бы ей, и никому другому, не занять эту квартиру? Она годами хранила, пусть в пыльном дальнем углу сознания, все еще упорно берегла надежду, что «в конце концов» и «все-таки» сможет выйти за Джерарда. Позже она удовлетворилась более скромной идеей «жить под одной крышей», быть с ним, в том

смысле, в каком, несмотря на всю их близость, их общеизвестную близость, сейчас, конечно, не была.

Они перешли к краю переполненного народом шатрового настила, и Роуз знала, что через мгновение Джерард предложит вернуться «домой», то есть в квартиру профессора Левквиста, Джерардова старого преподавателя классических языков, которой тот позволил пользоваться Джерарду и его друзьям для отдыха на время танцев. (Семья Левквиста, происходившая из балтийских евреев Левиных, прибавила к фамилии скандинавский суффикс, как в природе живые существа принимают защитную окраску.) Желая оттянуть этот момент, Роуз спросила:

— Ты уже что-то решил насчет книги?

Она имела в виду не какую-нибудь книгу, написанную Джерардом, таковых еще не существовало, но другую.

Вопрос был неприятен Джерарду, и он нахмурился:

— Нет.

Снова зазвучал вальс. Заслышав знакомую быструю мелодию, они улыбнулись и вернулись на площадку. Вскоре Джерард уже кружил Роуз, все крепче прижимая ее к себе, скользя левой

рукой вверх к ее плечу, а потом обняв обеими руками за талию и оторвав ее быстрые ножки от пола.

Чуть позже Роуз и Джерард направились в квартиру Левквиста, находившуюся возле галерей. Роуз чувствовала легкую усталость, хотя, конечно, не сознавалась в этом. Они обнаружили, что в квартире расположился Дженкин Райдерхуд. Дженкин, который, очевидно, какое-то время сидел там, выпивая в одиночестве, быстро убрал бутылку шампанского. Немного младше Джерарда, он был его давним приятелем, одним из изначальной компании, в которую входили Синклер, Дункан, Маркус и Робин, дружившие со студенческих лет. Из всей сохранившейся компании Дженкин был, или, возможно, так казалось, наименее удачливым. Дункан Кэмбес сделал блистательную карьеру сперва как дипломат, потом в аппарате министерства. Джерард достиг больших высот и ожидал назначения на самую высшую должность в департаменте, когда неожиданно, совсем недавно и для многих необъяснимо, ушел в преждевременную отставку. Робин, теперь сбежавший в Канаду и редко дававший знать о себе, был известным генетиком. Синклер решил заниматься морской биологией

и собирался отправиться в Калифорнию, в Океанографический институт Скриппса, но тут его планер разбился. Роуз хотела ехать с ним, Джерард тоже должен был присоединиться, и вместе они собирались открыть для себя Америку. В Оксфорде Джерард, Дункан и Дженкин занимались «классиками»: греческим и латинским языками, древней историей и философией — и получили свои «первые классы»[5]. Роуз, происходившая из йоркширской семьи, имевшей англо-ирландских родственников с материнской стороны, изучала английскую литературу и французский в Эдинбургском университете. Чем она только ни занималась, но, что называется, «карьеры» так и не сделала: преподавала французский в школе для девочек, работала в организации по защите прав животных, подвизалась в «женской журналистике», пробовала писать романы, вернулась к журналистике и защите окружающей среды. Занималась бесплатной социальной работой и время от времени посещала церковь (англиканскую). Она получала небольшую годовую ренту от семейного доверительного фонда и чувствовала, что лучше бы она ее не получала: больше

**[5] Примечания: 5**

В британских университетах степень бакалавра с отличием первого класса.

бы старалась чего-то добиться своими силами. Ее подруга, Джин Ковиц, с которой они вместе учились в квакерской школе-интернате, поступила в Оксфорд, где через Роуз познакомилась с Джерардом и остальными, в том числе Дунканом Кэмбесом, за которого позже вышла замуж. Роуз считала, что Джин с ее умом и талантом следовало посвятить себя «свершениям» вместо того, чтобы быть просто женой. Детей у них с Дунканом не было. Дженкин Райдерхуд как был, так и остался школьным учителем. Сейчас старший преподаватель истории в лондонской школе, он никогда не рвался наверх. Был неуверенным в себе, одиноким человеком и довольствовался маленькими радостями. Он владел множеством языков и любил отправиться куда-нибудь в туристическую поездку. Говорили, что в Оксфорде за ним водилось несколько романтических историй (так, кажется, это называется), но что до его дальнейшей интимной жизни, то ее как бы не существовало вообще, во всяком случае, ее окружала тайна.

— Я просто зашел взглянуть на свою старую квартирку, — сказал Дженкин. — Тут какой-то старшекурсник сидел и писал работу. Назвал меня сэром.

— Рада, что у него оказались такие хорошие манеры, — сказала Роуз, — не все они такие вежливые.

— Как там?

— Лес в Древнем Египте, — ответил Джерард. — Надеюсь, шампанское еще осталось?

— Шампанского хоть залейся. И уйма сэндвичей.

Дженкин, потный и раскрасневшийся от выпитого, выставил блюдо сэндвичей с огурцом и принялся салфеткой вытирать потеки шампанского на столе. Он был полным, невысок ростом и выглядел суетливым и круглым в своем смокинге, пошитом на прежнего, куда более стройного Дженкина. Однако он сохранил мальчишеский взгляд и чистые мягкие черты лица, которое лучше было назвать пухлым. Поблекшие соломенные волосы, свисавшие на плечи, еще скрывали маленькую плешь на макушке. У него были серо-голубые, с крапинками глаза, задумчиво поджатые, но часто улыбающиеся губы и длинноватые зубы. От сходства с пухлым херувимом его спасал довольно длинный и солидный нос, отчего он напоминал зверька, иногда трогательного, иногда пронырливого.

— Извини, что Пат не смогла прийти, — сказал

Джерард, наливая Роуз шампанское. Дженкин в отсутствие Гидеона должен был быть партнером Патрисии в танцах.

— Ничего страшного, — ответил Дженкин, — все замечательно. Черт! Проклятый сэндвич! — Огурец с его сэндвича соскользнул на пол.

— А Вайолет не сказала, почему не смогла прийти? — спросила Роуз.

— Нет, да это и так известно. Не желает видеть такое множество счастливых смеющихся молодых людей. Не желает видеть, как мы тут без устали счастливо смеемся.

— Кто ее за это осудит? — пробормотал Дженкин.

— Она, вероятно, была бы рада приглашению, — сказала Роуз. — Может, ей не хотелось видеть Тамар такой счастливой. Родители способны любить своих чад и вместе с тем завидовать им. — И добавила часто повторявшееся: — Надо что-то делать с Вайолет.

— Я не заметил Тамар и Конрада, а вы? — сказал Джерард. — Забыл позвать их сюда на бокал шампанского.

— Им с нами будет неинтересно! — откликнулась Роуз.

— Они выглядят такими юными, вся эта моло-

дежь, согласитесь, — продолжал Джерард. — Ах, le jeunesse, jeunesse![6] Свежие, гладкие, открытые, невинные, естественные лица!

— Не то что у нас, — поддержал Дженкин, — с печатью страстей, непримиримости и пьянства!

— Вы двое выглядите как дети, — сказала Роуз, — по крайней мере Дженкин. Ну а Джерард как… — Она недоговорила, избегая делать комичное сравнение.

— Мы и были детьми тогда, — ответил Джерард.

— А, вы о том, что мы были марксистами, — сказал Дженкин. — Или воображали себя платониками, или кем-то в этом роде. Вы до сих пор не избавились от этого увлечения.

— Мы думали, что сможем создать некое действительно цивилизованное альтернативное общество, — возразил Джерард, — у нас была вера, мы верили.

— Дженкин все еще верит, — сказала Роуз. — Во что ты веришь, Дженкин?

— В новую теологию! — мгновенно откликнулся Дженкин.

— Не говори глупости!

---

**[6] Примечания: 6**
Молодость, молодость (фр.).

— Ты не о новом ли марксизме, — спросил Джерард, — это ведь почти то же самое?

— Ну, если он достаточно нов…

— Настолько, что не узнать!

— Я в церковь не хожу, — сказал Дженкин, — но тем не менее стою за то, чтобы религия оставалась. Линия фронта пролегает там, где сходятся религия и марксизм.

— Это не твое, — проговорил Джерард, — то есть это не твоя битва. Ты не желаешь сражаться за Маркса! Как бы то ни было, эта потасовка совершенно не для тебя.

— Где ж мне сражаться? Я б хотел броситься в самую гущу. Но где она, эта гуща?

— Ты уже сколько лет говоришь подобное, а все ни с места, — заключил Джерард.

— Дженкин романтик, — сказала Роуз, — я тоже. Я б хотела быть священником. Может, доживу до такого.

— Из Роуз вышел бы изумительный священник!

— Я против, — возразил Джерард. — Не съешь все сэндвичи.

— Так ты согласен называться платоником? — спросила его Роуз.

— О да!

— И об этом ты собираешься писать сейчас, выйдя в отставку?

— А о Плотине будешь писать, как обещал? — поинтересовался Дженкин.

— Возможно.

Джерард явно не желал обсуждать свои планы, и его собеседники переменили тему.

Роуз сняла очки и подошла к окну. Сквозь стекло виднелись освещенная прожектором башня, высокая и уменьшившаяся луна — плотный серебряный круг, огни на деревьях у реки. Сердце подступало тяжелым комком, который хотелось исторгнуть из себя. Неожиданно она едва не разрыдалась от радости и страха. Стройная башня со шпилем, сверкающая в темно-синем небе, напоминала изображение в «Книге Часов». И еще кое-что она напоминала Роуз, иногда, пожалуй, часто, — своего рода театр, когда она видела подсвеченные ночью здания и слышала неземные голоса, какие и сейчас инстинктивно ожидала услышать, размеренно и звучно рассказывающие захватывающий отрывок из истории или легенды. Son et lumièere[7] во Франции, Англии,

**[7] Примечания: 7**

«Звук и свет» (фр.) — подсветка исторического памятника, сопровождаемая музыкой и текстами соответствующей эпохи.

Италии, Испании. Les esprits aiment la nuit, qui sail plus qu'une femme donner une âme â routes choses[8]. Это заблуждение, подумала она, и вообще, что за нелепая мысль! Конечно, она сама, в известном смысле, занималась именно этим — наделяла «душой» всякие дурацкие неживые вещи, безусловно не заслуживающие, чтобы о них восторженно вещали миру божественным голосом у волшебной башни. У нее это было больше похоже на безотчетную веру или наплыв неизбытой любви. Она глубоко вздохнула и с легкой улыбкой повернулась, опершись о подоконник.

Мужчины посмотрели на нее с нежностью, потом друг на друга. Возможно, во всяком случае Джерард отчасти знал, что она чувствует, и знал, и не знал. Роуз понимала, как ему хотелось всегда, чтобы ей не удалось вернуть себе покой.

— Еще шампанского? — предложил Дженкин. — Тут припрятано невероятное количество бутылок.

— Где Джин с Дунканом, я думала, они здесь? — спросила Роуз, когда пробка ударила в потолок.

— Они были тут до вас, — ответил Дженкин. — Джин утащила его, не терпелось потанцевать.

---

**[8] Примечания: 8**

Духи любят ночь, которая ведает больше того, что женщина дает душе (фр.).

— Джин такая спортсменка, — сказала Роуз. — До сих пор может стоять на голове. Помните, как она однажды сделала в лодке такую стойку?

— Дункан хотел остаться и пить дальше, но Джин не позволила.

— Дункан пьет слишком много, — сказала Роуз. — А Джин сегодня в той красной накидке с черным кружевом, которая мне так нравится. В ней она выглядит как цыганка.

— А ты, Роуз, вы глядишь сногсшибательно, — сказал Дженкин.

— Ты нравишься мне в этом платье, — подхватил Джерард, — такое необыкновенно простое, мне нравится этот чудесный темно-зеленый цвет, как цвет лавра, или мирта, или плюща.

Время Дженкину пригласить ее на танец, подумала Роуз, ему не хочется, он не любит танцевать, но придется. А Джерард будет танцевать с Джин. Потом она — с Дунканом. Ничего, все нормально. Ей уже лучше. Может, слегка захмелела.

— Пора мне навестить Левквиста, — сказал Джерард. — Хочешь пойти со мной, Дженкин?

— Я уже.

— Уже навестил?!

Возмущение, прозвучавшее в голосе Джерарда, имело давнишние корни. Пламя старой неис-

тощимой, непреходящей ревности мгновенно вспыхнуло в его сердце. И жгло столь же мучительно, как когда-то. Как все они жаждали похвалы этого человека в то далекое и недолгое золотое время. Жаждали его похвалы и его благосклонности. Джерарду сполна доставалось того и другого. Но ему все было мало: хотелось быть самым хвалимым, самым любимым. Трудно было теперь поверить, что ближайшим его соперником был Дженкин.

Дженкин, точно знавший, что думает Джерард, засмеялся. Резко сел, расплескав свой бокал.

— Он не просил тебя что-нибудь перевести?

— Просил, — кивнул Дженкин, — черт знает что. Подкинул кусок из Фукидида.

— Справился?

— Я сказал, что ничего не могу в нем понять.

— А он?

— Рассмеялся и похлопал меня по руке.

— Он всегда питал к тебе слабость.

— А от тебя всегда ожидал большего.

Джерард не стал это оспаривать.

— Извини, что не предупредил, что собираюсь к Левквисту, — сказал Дженкин уже серьезно, — тогда б мы могли пойти вместе. Но я знал, что он разыграет со мной старую шутку. Я не боялся

опростоволоситься, но не хотелось, чтобы ты при этом присутствовал.

Джерарда полностью удовлетворило такое объяснение.

— Как вы все здорово жили в прошлом! — воскликнула Роуз.

— Да. Ты только что вспомнила, — согласился Дженкин, — как Джин сделала в лодке стойку на голове. Это было майским утром.

— Ты был там? — спросила Роуз. — Я не помню. Джерард был, Дункан был… и… Синклер.

Дверь распахнулась и вошел, покачиваясь, Гулливер Эш.

Джерард тут же обратился к нему:

— Гулл, ты не видел Тамар и Конрада? Я совершенно забыл сказать им, чтобы шли сюда.

— Я их видел, — ответил Гулливер, с особой тщательностью, раздельно выговаривая слова, как пьяный человек. — Видел. Но Конрад тут же убежал, оставив ее одну.

— Оставил ее одну? — переспросила Роуз.

— Я развлекал ее разговором. Потом тоже оставил ее. Вот все, что имею вам доложить.

— И ты оставил ее? — укорил Джерард. — Как ты мог, это просто отвратительно! Оставил ее стоять одну?

— Я полагал, ее кавалер был неподалеку.

— Немедленно пойди и найди ее, — сказал Джерард.

— Сперва налейте ему, — посоветовал Дженкин, поднимаясь со стула. — Думаю, Конрад уже вернулся.

— Если нет, то уж я с ним поговорю! Как он посмел хоть на минуту оставить ее!

— Думаю, это был зов природы, — предположил Дженкин, — бросился за лавры, мирт, плющ.

— Нет, вовсе не зов природы, — сказал Гулливер. По реакции своей аудитории он понял, что они еще не знают великой новости. — Еще не знаете? Видно, что не знаете. Краймонд здесь.

— Краймонд? Здесь?

— Да. И к тому же в килте.

Гулливер принял бокал шампанского, предложенный Дженкином, и опустился на стул, который тот освободил.

Он не ожидал, что смятение их будет настолько сильным. Они в потрясении смотрели друг на друга: лица застыли, губы сжаты. Роуз, которая редко выдавала свои чувства, вспыхнула и поднесла руку к лицу. Она же первая заговорила:

— Как он смеет появляться здесь!

— Ну, это же и его бывший колледж, — попро-

бовал урезонить ее Дженкин.

— Да, но он должен был знать…

— Что это наша территория?

— Нет, что мы все будем здесь, — ответила Роуз, — наверняка пришел нарочно.

— Не обязательно, — сказал Джерард. — Не о чем тревожиться. Но лучше пойти и поискать Дункана и Джин. Они могут не знать…

— Если же знают, то, возможно, ушли домой! — воскликнула Роуз.

— Очень надеюсь, что нет, — сказал Дженкин. — Да и чего ради? Они могут просто держаться от него подальше. Боже, — добавил он, — а я-то хотел повидаться с сокурсниками, спокойненько выпить со всеми вами.

— Пойду предупрежу их, — предложил Гулливер. — Я их не видел, но, думаю, смогу найти.

— Нет, — сказал Джерард, — ты оставайся здесь.

— Почему? Я что, под арестом? Разве я не должен был найти Тамар?

— Дункан и Джин могут прийти сюда, — объяснила Роуз, — лучше, чтобы кто-то…

— Ладно, иди и найди Тамар, — сказал Гулливеру Джерард. — Просто посмотри, как она там, и, если она одна, потанцуй с ней. Полагаю, тот

парень вернулся. Почему же он все-таки убежал?

— Помчался поглазеть на Краймонда. Не понимаю, из-за чего вся эта суета, что такого в этом человеке. Знаю, вы поссорились с Краймондом по поводу книги и так далее, и не был ли он когда-то увлечен Джин? Отчего вы все всполошились?

— Это совсем не так просто, как кажется, — ответил Джерард.

— Ты не опасаешься, что Дункан напьется и набросится на него? — спросил Дженкин у Роуз.

— Дункан, наверно, уже пьян, — сказала та, — нам лучше пойти и…

— Скорее Краймонд набросится на Дункана, — возразил Джерард.

— О нет!

— Люди ненавидят тех, кто пострадал от них. Но конечно, ничего такого не случится.

— Интересно, с кем он пришел? — проговорила Роуз.

— Он с Лили Бойн, — откликнулся Гулливер.

— Надо же! Как странно! — удивился Джерард.

— Как всегда в своем репертуаре, — хмыкнула Роуз.

— Уверен, он здесь случайно, — сказал Дженкин. — Интересно, притащил он с собой своих красногвардейцев?

Джерард взглянул на часы:

— К сожалению, мне надо навестить Левквиста, пока он не лег спать. Вы двое идите поищите Джин и Дункана. Я тоже посмотрю их по дороге.

Они ушли, оставив Гулливера в квартире. Он был на той стадии опьянения, когда тело в смятении начинает откровенно взывать о пощаде. Он почувствовал легкое подташнивание и вялость. Заметил, что речь его замедлилась. Почувствовал, что того гляди свалится. С трудом мог сосредоточить взгляд на чем-то. Рывками плыла комната, и свет мигал и вспыхивал, как в шатре, где играла поп-группа. (Это были «Водоплавающие птицы», заполучить группу «Предательство интеллектуалов»[9] колледжу не удалось.) Гулливер, хоть и чувствовал желание потанцевать, не был, однако, уверен, насколько способен осуществить свое желание в таком состоянии. По опыту он знал, что, если хочешь продлить удовольствие от вечера, нужно сделать перерыв, не пить какое-

**[9] Примечания: 9**

Неслучайное в контексте романа название, отсылающее к известной книге французского писателя и философа Жюльена Бенда «Предательство интеллектуалов» (1927; англ. перевод в 1928, русский — 2009), речь в которой идет о тех интеллектуалах Европы, которые, изменив своему предназначению охранять вечные духовные ценности человечества и служить для людей нравственным ориентиром, прониклись «политическими страстями» и вдохновили идеологии, приведшие к массовому уничтожению людей.

то время и по возможности съесть что-нибудь. А после он поищет Тамар. Он жаждал угодить Джерарду, а точней, боялся последствий в случае, если не угодит. Когда он ввалился со своей новостью, перед палаткой, в которой раздавали ужин, уже выстраивалась очередь. Гулливер, ненавидя подобные очереди и чувствуя, что без партнерши может вызвать подозрение или, что еще хуже, жалость, плотно поел в пабе, прежде чем появляться на танцах; но с того момента, казалось, вечность прошла. Осторожно обойдя комнату, он обнаружил бутылку «перье» и еще одно блюдо сэндвичей с огурцом. Чистого стакана не нашлось. Он уселся и принялся за сэндвичи, запивая их минералкой, которая шипела, как шампанское. Глаза его слипались.

Трое друзей вышли из аркады на большую лужайку, где стояли шатры. Здесь они разделились. Роуз пошла направо, Дженкин налево, а Джерард прямо, к строению восемнадцатого века, тоже залитому светом прожектора, где Левквист хранил свою библиотеку. Левквист был в отставке, но продолжал жить в колледже, где ему отвели особую большую комнату для его уникальной коллекции книг, конечно отписанной колледжу в завещании. В его святилище стоял диван-кро-

вать, так что при случае, таком как сегодня, он мог спать среди своих книг, а не в домашнем уюте квартиры. Его преемник на профессорской кафедре, один из его учеников, относился к нему с опаской и подобострастием. Расположения Левквиста было и впрямь нелегко добиться. Обстоятельство досадное, поскольку он производил сильное впечатление на многих, кто имел с ним дело[10].

Джерард оглядывался на ходу, заглянул в палатки, пробежал глазами очередь жаждущих ужина, но ни Джин с Дунканом, ни Тамар с Конрадом нигде не было видно. Тисненым пологом висел шум музыки, и голосов, и смеха; свеже пахли цветы, земля, река. По лужайке между обжорной палаткой и шатрами группками прохаживалась молодежь, отдельно стояли обнимающиеся и целующиеся пары. Чем дольше будет длиться ночь, тем больше их станет. Джерард ступил на знакомое крыльцо и испытал знакомое волнение. Он постучал в дверь под тусклой лампочкой и

**[10] Примечания: 10**

Прототипом Левквиста был Эдвард Френкель (1888–1970) — немецкого происхождения видный английский специалист по античной филологии, автор фундаментальных исследований творчества древнегреческих и латинских поэтов, который двадцать лет возглавлял кафедру латинского языка в оксфордском колледже Корпус-Кристи, а выйдя в отставку по возрасту, продолжал вести там же свои популярные семинары.

услышал отрывистое, почти нечленораздельное приглашение войти. Он вошел.

В длинной комнате, перегороженной выступающими книжными стеллажами, было темно, горела лишь лампа в дальнем конце на огромном письменном столе Левквиста, за которым старик сидел, ссутулившись и повернув голову к двери. Большое, выходящее на олений парк окно возле стола было распахнуто. Джерард прошел по вытертому ковру и поздоровался: «Привет, это я». С умышленной сдержанностью он теперь больше не добавлял почтительное «сэр», как не мог и решиться назвать свое имя, хотя прекрасно знал, что он отнюдь не единственный из «старых учеников» Левквиста, которые заглянут к бывшему профессору.

— Херншоу! — произнес Левквист, опуская коротко остриженную седую голову и снимая очки.

Джерард уселся на стул напротив и осторожно вытянул длинные ноги под стол. Сердце его колотилось. Левквист все еще вызывал в нем робость.

Старик не улыбнулся, Джерард тоже. Левквист покопался в книгах, лежащих на столе, полистал тетрадь, в которой что-то писал. Нахмурился, предоставив Джерарду заговорить первым.

Джерард посмотрел на крупную красивую карикатурно-еврейскую голову великого ученого и произнес стандартную вступительную фразу:

— Как продвигается книга, сэр?

Имелась в виду книга о Софокле, которую бесконечно писал Левквист. Старик не почувствовал в вопросе искреннего интереса. Ответил:

— Медленно. — Потом спросил: — Работаешь все там же?

— Нет. Ушел в отставку.

— Не рановато, ты ж еще молод? Высокое положение занимал?

— Нет.

— Что ж тогда ушел в отставку? Ни тут ни там ничего не добился. Власть, это ли не все, к чему ты стремился? Все, чего хотел, — власти, не так ли?

— Не просто власти. Нравилось заниматься организационными делами.

— Организационными делами! Следовало бы собственные мозги организовать, остаться здесь и думать над серьезными вещами.

Одна и та же вечная проповедь. Левквист, которому трудно было поверить в то, что очень умные люди могут найти применение своим умственным способностям где-то, помимо университета, хотел, чтобы Джерард остался в Оксфорде, пере-

шел в колледж «Всех душ»[11], занялся наукой. Но Джерард решил покинуть академический мир. Политический идеализм, который в значительной степени подтолкнул его на этот шаг, вскоре утратил для него свою простоту и убедительность; и более скромное и, может, более целесообразное желание послужить обществу, чуточку улучшив его устройство, привело Джерарда позже на государственную службу. Его, как он и предполагал, задел привычный выпад Левквиста. Временами ему самому хотелось, чтобы он остался тогда, прослеживал влияние платоновских идей в веках, стал настоящим специалистом, подвижником, ученым-филологом.

— Как раз сейчас собираюсь засесть за такие размышления.

— Слишком поздно. Как поживает отец?

Левквист всегда спрашивал его об отце, которого не видел с тех пор, как Джерард был его студентом, но о котором вспоминал с не вполне понятными Джерарду уважением и доброжелательностью. Отец Джерарда, адвокат, был, например, при первом их знакомстве, о котором Джерард вспоминал с содроганием, вовлечен

---

**[11] Примечания: 11**

Основанный в 1438 г. колледж «Всех душ» Оксфордского университета является не учебным, а научно-исследовательским учреждением.

Левквистом в беседу о римском праве. Тем не менее этот обыкновенный и невежественный, в сравнении с Левквистом, человек, сохранивший спокойствие и не спасовавший перед грозным преподавателем своего сына, запомнился последнему, возможно, просто своей безыскусной прямотой. По правде сказать, Джерард сам уважал и высоко ставил отца, видел его бесхитростность и прямоту, но обычно считал, что другие не замечают этих свойств его натуры. Отец не был человеком блестящим, эрудитом, остроумным или особо успешным, он мог показаться заурядным и скучным, и, однако, Левквист, который презирал людей серых и скучных и безжалостно отсекал их от себя, мгновенно разглядел и оценил то лучшее, что в нем было. А может, Левквист всего лишь был поражен, что встретил «обыкновенного человека», который нисколько не трепетал перед ним.

— Он очень болен, — ответил Джерард, — он… — Неожиданно Джерард обнаружил, что не может продолжать.

— Он умирает?

— Да.

— Прости. Увы, жизнь человеческая коротка. Но когда это твой отец… да…

Отец Левквиста и его сестра умерли в немецком концлагере. Он отвел глаза и помолчал, приглаживая короткий серебристый ежик на голове.

Джерард, чтобы переменить тему, сказал:

— Я слышал, Дженкин уже заходил к вам.

— Да, — хмыкнул Левквист. — Видел я молодого Райдерхуда. Отрывок из Фукидида очень его озадачил. Печально…

— Что он недалеко пошел?

— Печально, что он запустил свой греческий. Он знает несколько современных языков. Что до нелепого: «недалеко пошел», то ведь он преподает, верно? Райдерхуду ни к чему идти далеко, чего-то добиваться, он на своем месте. Тогда как ты…

— Тогда как я?..

— Ты постоянно испытывал оправданное неудовлетворение, тебе не давала покоя мысль, что в чем-то можно достичь больших высот. И это продолжается. Ты видишься себе одиноким скалолазом, взобравшимся, конечно же, выше других, думаешь, что еще усилие и ты достигнешь вершины, хотя знаешь, что тебе это не по силам, и, будучи доволен собой в том и в другом, не преуспеешь ни в чем. Эти твои «размышления», за которые собираешься засесть, что это

будет? Станешь писать мемуары?

— Нет. Я подумал, что смогу написать что-нибудь философское.

— Философия! Пустое умствование тщеславных невежд, которые считают, что можно судить о еде, не отведав ее на вкус! Они воображают, что их отвлеченная мысль способна привести к глубоким выводам! Неужели ты настолько лишен честолюбия?

Это тоже был давний спор. Левквист, преподававший великие классические языки, негодовал по поводу непрекращающегося исчезновения лучших своих учеников, которые попадали в лапы философов.

— Очень трудно, — терпеливо сказал Джерард, — написать даже небольшую философскую вещицу. И уж во всяком случае это «пустое умствование» бывает весьма влиятельным! Ничего, почитаю…

— Полистаешь великие книги, низведешь их до своего уровня и напишешь собственную, упрощенный вариант?

— Возможно, — ответил Джерард, не поддаваясь на провокацию.

Левквист, обычно поначалу грубоватый с лучшими своими учениками, когда они навещали

его, всегда должен был излить на них известную долю раздражения, словно без этого не мог сказать им ласкового слова, как на самом деле, возможно, намеревался, потому что обыкновенно у него в запасе имелось что сказать доброго.

— Так-так. А теперь почитай мне что-нибудь на греческом, из того, что у тебя всегда хорошо получалось.

— Что именно, сэр?

— Что угодно. Не Софокла. Пожалуй что, Гомера.

Джерард встал и подошел к стеллажам, зная, где искать нужное, и, ведя пальцами по корешкам, почувствовал, как прошлое яростно и мучительно обрушилось на него. Оно ушло, подумалось ему, это прошлое, ушло безвозвратно и окончательно и далеко, и все же оно здесь, его дыхание как ветер, он может ощутить его, может уловить его запах, навевающий печаль, такую чистую печаль. В окно, распахнутое в парк, слышалась отдаленная музыка, на которую Джерард, как вошел, не обращал внимания, и тянуло влажным темным ароматом лугов и реки.

Вернувшись к столу и опустившись на стул, Джерард читал вслух то место из «Илиады», где говорилось о том, как божественные кони

Ахиллеса плакали, услышав о смерти Патрокла, «стояли, долу потупивши головы; слезы у них, у печальных, слезы горючие с веждей на черную капали землю, с грусти о храбром правителе» и их пышные гривы были темны от грязи, и, «коней печальных узрев, милосердствовал Зевс промыслитель и, главой покивав, в глубине проглаголал душевной: „Ах, злополучные, вас мы почто даровали Пелею, смертному сыну земли, не стареющих вас и бессмертных? Разве, чтоб вы с человеками бедными скорби познали? Ибо из тварей, которые дышат и ползают в прахе, истинно в целой вселенной несчастнее нет человека“»[12].

Левквист протянул руку через стол и взял у него книгу; они избегали смотреть в глаза друг другу, и мысли Джерарда зигзагом вернулись к тому, как обезумевший от горя Ахилл, словно испуганных оленей, перебил пленных троянцев у погребального костра своего друга, а потом — как Телемак повесил служанок, деливших ложе с женихами, к этому времени уже погибшими от руки его отца, и они «повисли голова с головой» на канате и их ноги дергались в смертельной аго-

**[12] Примечания: 12**
Гомер. Илиада. Перевод Н. Гнедича.

нии. Затем он подумал о том, что Патрокл всегда был добр с плененными женщинами. И снова он вспомнил о плачущих конях, чьи дивные гривы свешивались в грязь поля битвы. Все эти мысли пронеслись у него в голове в секунду, может, две. Далее на ум ему пришел Синклер Кертленд.

Левквист, чьи мысли какими-то иными загадочными путями тоже обратились к Синклеру, спросил:

— И многоуважаемая Роуз здесь?

— Да, пришла со мной.

— Мне показалось, что я видел ее, когда шел сюда. До чего же она по-прежнему похожа на того мальчика.

— Вы правы.

Левквист, обладавший удивительной памятью, вернулся на несколько поколений своих учеников назад и сказал:

— Рад, что ваша маленькая группка продолжает сохранять отношения, подобная дружба, завязавшаяся в молодости, — великая вещь. Ты, Райдерхуд, Топгласс, Кэмбес, Филд и… Да, Топгласс и Кэмбес женились, не так ли?.. — Левквист не одобрял брака. — А бедняга Филд — что-то вроде монаха. Да, дружба, дружба — вот чего не понимают в нынешние времена, просто пере-

стали понимать, что это такое. Ну а в колледже — знаешь, что теперь у нас учатся женщины?

— Знаю! Но вы не обязаны преподавать им!

— Слава богу, не обязан. Но обстановка уже не та — не могу сказать, насколько это пагубно сказывается на всем.

— Представляю, — поддакнул Джерард. Он чувствовал то же самое.

— Нет, молодые люди теперь не дружат. Они легкомысленны. Думают только о том, как бы затащить девушку в постель. По ночам, вместе того, чтобы обсуждать серьезные вопросы и спорить с друзьями, они барахтаются в постели с девчонками. Это… возмутительно.

В воображении Джерарда тоже возникла ужасающая картина упадка, краха прежних ценностей. Хотелось посмеяться над негодованием Левквиста, но, увы, он разделял его.

— Что ты думаешь обо всем этом, Херншоу, о нашей несчастной планете? Уцелеет ли она? Сомневаюсь. Кем ты стал, стоиком в конце концов? Nil admirari[13], да?

— Нет, — ответил Джерард. — Я не стоик. Вы обвинили меня в отсутствии честолюбия. Я слиш-

---

**[13] Примечания: 13**

Ничему не удивляться (лат.). (Гораций. Послания.)

ком честолюбив, чтобы просто быть стоиком.

— Ты имеешь в виду нравственное честолюбие?

— Пожалуй… да.

— Ты испорчен христианством, — сказал Левквист. — То, что ты принимаешь за платонизм, есть старая мягкосердечная мазохистская христианская иллюзия. Святой Августин опошлил твоего Платона. В тебе нет жесткой основы. Райдерхуд, которого ты презираешь…

— Я не презираю.

— Райдерхуд тверже тебя, тверже. Твое «нравственное честолюбие», или как там ты называешь свой эгоистический оптимизм, — это просто старая ложь христианского спасения: можно, мол, избавиться от себя прежнего и стать достойным человеком, просто думая об этом: и когда будешь сидеть и упиваться своей мечтой, почувствуешь, что уже изменился и больше ничего не требуется делать — и вот уже ты счастлив в своей лжи.

Джерард, которому приходилось выслушивать подобные тирады, подумал: как прав Левквист, как проницателен, он знает, что все это ему тоже приходило в голову. И легкомысленно заметил:

— Что ж, по крайней мере, счастлив, это ли не замечательно?

Левквист сморщил толстые губы, отчего его лицо превратилось в маску отвращения.

— Хорошо-хорошо, молчу, — поспешил сказать Джерард.

Левквист продолжал:

— Мне уже недолго осталось. В этом нет ничего постыдного, старость — известный феномен. Разница лишь в том, что сегодня всем недолго осталось.

— Да, — согласился Джерард, подумав: «Пусть так считает, если это утешает его».

— Сейчас любая мысль, если она не пессимистична, лжива.

— Но вы говорили, что так было всегда?

— Да. Только теперь это вынуждены признать все мыслящие люди, это единственно возможная позиция. Мужество, стойкость, честность — вот добродетели. И понимание, что из всех тварей живых, пресмыкающихся между небом и землей, мы — самые ничтожные.

— Но вы не унываете, сэр!

Левквист улыбнулся. Его темно-голубые с коричневыми крапинками глаза влажно блеснули среди сухих морщин, как у ископаемого ящера, он покачал огромной стриженой головой и улыбнулся демонически:

— Это ты не унываешь, всегда был оптимистом, неизменно надеешься, что в последний момент за тобой пришлют трирему.

Джерард одобрительно кивнул. Метафора ему понравилась.

— Но, увы. Человек вечно смертен, он и думает подчас, а задумавшись, за сердце он хватается тотчас[14].

Левквист приложил крупную морщинистую руку к нагрудному карману потертой вельветовой куртки. Живя среди шедевров мировой поэзии, он хранил трогательную привязанность к А. Э. Хаусману.

В дверь постучали.

— Еще один, — сказал Левквист. — Ну, иди! Поклон от меня отцу. И многоуважаемой Роуз. Недолго мы поговорили, заглядывай еще, не дожидайся очередного подобного повода, чтобы навестить старика.

Джерард встал. Как уже бывало не раз, ему

---

**[14] Примечания: 14**

Измененное последнее четверостишие стихотворения Альфреда Эдварда Хаусмана (1859–1936):

*От вина, любви, сражений*
*Если быть бы вечно пьяну,*
*Я бы, счастлив, ложился ночью,*
*Вставал, счастлив, утром рано.*

страстно захотелось обойти стол, сжать руки Левквиста, может, поцеловать их, может, даже преклонить перед ним колени. Дозволяет ли классический ритуал почтительного коленопреклонения подобный жест, достаточно ли он формален, чтобы не быть отвергнутым как неуклюжее проявление сентиментальности? И как прежде, он засомневался, а потом подавил свой порыв. Понял ли Левквист его чувства, нежность их и силу? Он не был уверен. И ограничился поклоном.

Левквист прорычал разрешение войти. Назвал имя.

Джерард разминулся в дверях с сорокалетним розовощеком. Мучительно сожалея, что не удалось проститься более тепло, он спустился с крыльца.

Тамар искала Конрада, Конрад искал Тамар. Роуз и Дженкин искали Джин и Дункана и Конрада с Тамар. Гулливер искал девушку, которая пойдет с ним танцевать.

Тамар в пылу негодования побрела прочь от шатра, куда бросился Конрад, чтобы увидеть своего кумира, о чем сейчас горько сожалела. Она вернулась почти сразу же и даже подошла к группе молодых приверженцев, но Конрада среди

них не увидела. Конрад, который не смог протиснуться поближе к Краймонду, немного постоял, ошеломленный, за плотной стеной спин, а потом, поняв, что Тамар не последовала за ним, оглядел шатер и, не помня, с какой стороны вошел в него, зашагал по кольцевой дорожке туда, где, как ему казалось, они расстались. Тамар же брела по прямой дорожке к соседнему шатру, где играли вальсы и куда они шли, когда им повстречался Гулливер. Она постояла у шатра, озираясь, увидела Роуз, вальсирующую с Джерардом, и тут же ретировалась. Она обожала своего дядю и Роуз, но стеснялась их и сейчас волновалась, как бы они не увидели ее одну, без кавалера, которого лишилась по собственной вине. Вскоре после того, как она вновь растворилась в темноте, появился Конрад, тоже увидел Роуз и Джерарда и потихоньку улизнул, опасаясь того же, что и Тамар. Тем временем Тамар ушла к галереям, где в кладовой студенческой столовой раздавали сэндвичи и куда они с Конрадом предполагали было пойти, но потом решили сперва потанцевать. Конрад поспешил назад, к шатру с «Водоплавающими», услышав, что знаменитая поп-группа собиралась продолжить выступление. Тамар поискала в выпивающей и смеющейся толпе у кладовой,

заглянула в часовню, еще одно место, о котором упоминал Конрад. Вернулась по галерее и вышла к реке, и ровно в этот момент Конрад появился в другом конце галереи.

Время шло, перерыв на ужин закончился, и танцы вступили в новую фазу. Просторная поляна между светящимися полосатыми шатрами заполнилась красивыми людьми: стройными юношами в кружевных рубашках, к этому времени уже расслабившими узлы галстуков, девушками в мерцающих платьях с оборками и без; те тоже выглядели далеко не столь безупречно, как прежде: там и тут сверкало плечо, освободившееся от бретельки, оборванной во время веселого народного танца на радость смеющемуся партнеру, тщательно продуманные высокие прически, сооруженные с помощью неимоверного количества заколок несколько часов назад, растрепались или были разрушены нетерпеливыми мужскими пальцами, и волосы струились по спине или плечам. Кое-какие пары жарко целовались по темным углам или застыли в безмолвных объятиях — долгожданная кульминация долгожданного вечера. Кое у кого на платье уже красовались предательские зеленые пятна от травы. Соперничающая музыка гремела,

не уступая, «Водоплавающие» охрипшими голосами вопили под мельтешение света и грохот электрогитар. Танцующие толпы в разных шатрах слегка поредели, но стали неистовей.

Тамар расплакалась и, стараясь успокоиться, пошла к реке и встала на мосту. От огней на берегу в воде, извиваясь, плясали длинные яркие ленты и тонули в глубине. Перегнувшись через перила, она уловила сквозь отдаленный шум веселья тихий голос реки, неумолчно поющей о чем-то своем. Когда на мосту появились люди, она было перешла на другой берег, но повернула назад, разглядев в темноте силуэты тактичной охраны в котелках на голове, которая расположилась в стратегических точках, дабы предотвратить проникновение личностей, не заплативших за билет на сверкающее торжество. Она пошла через лужайку к «Новому зданию»[15]. Чуть ранее Конрад столкнулся с Дженкином.

Тот, видя, как расстроен парень, не стал отчитывать его, но не смог скрыть, насколько поражен тем, что Конрад, как он сам признался, умудрился потерять Тамар, едва они прибыли на бал и даже не успели потанцевать. В результате

---

**[15] Примечания: 15**

Здание открытого в 1985 г. «Оксфордского центра по изучению ислама».

Конрад расстроился еще больше, понимая, что известие о его оплошности (ибо он считал одного себя виновным в случившемся) теперь достигнет ушей Джерарда, может, даже и Краймонда. Больше всего он переживал из-за того, что глубоко, может, бесповоротно обидел Тамар, к встрече с которой так стремился: танцевать, поцеловать этим чудесным вечером, которого она, должно быть, тоже очень ждала. Он не думал заранее, как Тамар, что может влюбиться. Но сейчас, все отчаянней мечась между шатрами, неосознанно возвращаясь туда, где уже побывал, вместо того чтобы поискать ее в других местах, озирая лужайку, натыкаясь на молодых людей с полными стаканами в руках и наступая на длинные подолы платьев, измученный постоянной сменой надежды и разочарования, он переживал все страдания несостоявшегося любовника. Немного погодя он набрался мужества и решил пойти на квартиру к Левквисту, где, как сказал Дженкинс (и о чем Джерард, к несчастью, не удосужился сообщить Тамар), была их «база», но, придя туда, никого там не застал. Он постоял в пустой комнате среди бутылок и стаканов, слишком несчастный, чтобы налить себе, а потом, поскольку ожидать ее здесь было еще мучительней, чем искать, снова

выбежал на улицу. Тамар без сил сидела в одном из шатров, опустив голову, чтобы скрыть слезы, и пробовала привести лицо в порядок. Она где-то оставила кашемировую шаль и теперь продрогла. Конрад, торопливо заглянувший в шатер, не заметил ее.

Тем временем Роуз встретила Лили Бойн. Роуз и Лили с симпатией относились друг к другу, но в то же время проявляли обоюдную осторожность и недопонимание. Лили казалось, что Роуз считает ее малообразованной и «недалекой». Роуз же опасалась, что Лили кажется, будто Роуз считает ее малообразованной (как Роуз действительно считала) и «недалекой» (чего Роуз не думала). Нет, у Роуз не было подобных мыслей, но нечто в этом роде ей смутно приходило в голову. Она боялась, впрочем, напрасно, что Лили находит ее «высокомерной». Лили, на взгляд Роуз, была чересчур «бойкой», и она не всегда могла оценить «изысканность» ее острот или непринужденно подхватить их. Лили восхищали в Роуз ее спокойный характер, ее благоразумие, тактичность и мягкость, что не всем знакомым Лили было присуще, а Роуз в Лили — решительность и предполагаемые в ней те смелость и «практичность», какие для самой Роуз оставались непостижимы-

ми и удивительными. Вообще-то они не слишком хорошо знали друг друга. Лили Бойн попала в круг знакомых и друзей Джерарда через Джин Ковиц (то есть Джин Кэмбес, но ее, как это бывает, продолжали звать по девичьей фамилии), с которой Лили познакомилась несколько лет назад на почве защиты «прав женщин» и сошлась ближе на занятиях йогой, где они часто стояли на голове. Это произошло до того, как Лили стала на короткое время знаменитой. Лили, как однажды заметил по ее поводу Гулливер, была из тех многочисленных людей, знаменитых просто оттого, что знамениты. Сейчас Лили была, или, скорее, считалось, что была, богатой девушкой. Она выросла в бедной и бестолковой семье, взрослую жизнь начала в политехническом, забавлялась керамикой и дизайном, воображала себя художницей, а потом зарабатывала на жизнь машинисткой. В положенное время — и в момент отчаяния, когда не до особых раздумий, — она выскочила замуж за хилого студента-художника без гроша за душой, Джеймса Фарлинга. Как она потом была благодарна этому бледному мальчишке зато, что он уговорил-таки ее выйти за него! Она, конечно, оставила себе девичью фамилию. Вскоре после женитьбы в семействе Фарлингов

случилось несколько негаданных смертей, и семейный капитал, о наличии которого Лили не подозревала, отошел Джеймсу. Тот был легкомысленным мальчишкой, которого мало волновали деньги, и в любом случае, пока не вмешались парки, думать не думал о наследстве. Разбогатев, он остался таким же беспечным, и только Лили помешала ему все раздать возмущенным еще живым родственникам. И вот, поощряемый женой к тратам, он купил мотоцикл и благополучно разбился в день покупки. После этого все семейство ополчилось на Лили, желая ее уничтожить. Лили сопротивлялась. Казалось, дело ясное, обвинять ее было не в чем, но ловкие адвокаты уже вовсю трудились, отыскивая зацепки, позволившие бы оспорить правомерность получения Джеймсом наследства. Тяжба разрослась в cause célèbre[16]. В конце концов, после того как Лили пошла на многочисленные уступки, дело было урегулировано во внесудебном порядке. Лили вышла из этого испытания не без ущерба для собственной репутации, поскольку в запальчивости наговорила немало явной лжи. Однако на короткое время стала популярной героиней, «бедной девушкой»,

**[16] Примечания: 16**
Знаменитое дело (фр.).

сражающейся с алчными богачами, одинокой женщиной, противостоящей когорте мужчин. В этой-то роли она и обратила на себя участливое внимание Джин Ковиц, которую в то время очень интересовали, как феминистку, подобные судебные процессы. Казалось, Джин влюбилась в нее, с такой яростью и жаром она защищала ее. Роуз тоже принимала во всем этом участие и часто виделась с Лили, которая в свою очередь познакомилась через Джин с Джерардом и остальными из их круга. Когда сражение закончилось и рекламная шумиха улеглась, Джин, разумеется, остыла к Лили; лживость той претила ей. Но Роуз хранила ей верность частью из сочувствия. Потому что богатство принесло Лили мало счастья, и в любом случае нескончаемый поток пронырливых поклонников испортил ее. Лили приобрела вкус к дорогим вещам, привыкла думать, что достойна быть в центре внимания. Похоже, у нее осталось мало друзей и она плохо представляла, как ей распорядиться своей жизнью.

— Роуз! — завопила Лили. — Какое восхитительное платье! Ты всегда на высоте! Такое простое, только ты умеешь одеться с таким вкусом!

Они столкнулись возле шатра с «Водоплавающими» и вынуждены были напрягать голос,

чтобы слышать друг друга сквозь грохот музыки с бассо остинато ног, топочущих по дощатому настилу.

— Ты тоже смотришься великолепно, — возвратила комплимент Роуз, — очень по-восточному. Дивные получились шальвары.

Лили, одна в тот момент, была в просторных оранжевого цвета шелковых брючках, перехваченных на щиколотках ленточками с блестками, и в свободной белой шелковой блузке, придавленной на груди золотыми цепочками и перехваченной пурпурным поясом, под который заправила концы прозрачного серебристого шарфа, укрывавшего плечи. К этому времени ее наряд был уже в беспорядке: штанины вылезли из-под лент, блузка — из-под пояса, серебристый шарф свисал с одного плеча. Лили была ниже и тоньше Роуз, а верней, тоща, с худым, почти костистым бледным лицом, короткими сухими невесомыми волосами и длинной шеей. Девушке позволительно иметь слишком длинную шею, и о шее Лили можно было сказать, что она балансирует на грани между лебединой и карикатурной. У нее была привычка, только подчеркивавшая это: вытягивать голову и пристально глядеть, словно сквозь марлевую маску; у нее выходило

это как-то по-кошачьи, как бы высокомерно. Очень тонкие губы, из-за чего она постоянно страдала. Глаза, «цвета жженого сахара», как выразился один из льстецов, тоже не вдохновляли: бледно-карие с темным ободком и голубовато-коричневыми черточками, сходящимися к зрачкам, и напоминающие какие-нибудь леденцы. Она и косметикой злоупотребляла, чтобы привлекать внимание, толстым слоем накладывала серебристую помаду. Говорила, растягивая слова в манере левобережного Лондона, исковерканной так, что порой ее можно было принять за американку.

— Я пришла с этой дрянью Краймондом, — сказала Лили, — он бросил меня, свинья такая. Ты его не видала?

— Нет, не видела, извини, — ответила Роуз. — А тебе Тамар не попадалась?

— Эта малютка, она что, тоже здесь? Не попадалась. Господи, какой грохот! Как ты сейчас?

— Прекрасно…

— Давай встретимся как-нибудь…

— Да, надо поддерживать связь.

Они расстались. Тамар, завидев Роуз, разговаривавшую с Лили, вернулась в галерею, которая вела в олений парк.

Выходя от Левквиста, Джерард увидел Дженки-

на Райдерхуда, который поджидал его у нижней ступеньки крыльца.

Он обратил внимание на то, что ночное небо, которое никогда не было по-настоящему темным, чуточку посветлело, и его коснулось печальное предчувствие. Весь уйдя в общение с Левквистом, он совершенно забыл, где он и зачем он здесь, даже мысли об отце, Синклере, Роуз, казалось, принадлежали Левквисту, а не ему. Он вдруг вспомнил, с какой новостью явился Гулливер. Однако прежде спросил Дженкина:

— Нашел Тамар?

— Нет, но встретил Конрада. Он потерял ее и все еще ищет!

— Надеюсь, ты отчитал его как следует.

— В этом не было необходимости, бедный парень и без того в ужасном состоянии.

— Мы должны… в чем дело, Дженкин?

— Пошли со мной. Хочу показать кое-что.

Дженкин взял Джерарда за руку и потащил по вытоптанной траве через разрозненную толпу отрешенно бродящих пар: кто-то еще не освободился от магии танца, кто-то был счастлив, как не мог мечтать и в самых безудержных фантазиях, кто втайне страдал, кто был просто пьян, и тающее волшебство светлеющего неба все боль-

ше высветляло их лица. В конце галереи рвало какого-то юнца, партнерша охраняла его, стоя к нему спиной.

Дженкин притащил Джерарда к «сентиментальному» шатру, в котором он танцевал с Роуз и где теперь звучала музыка более зажигательная. Играли бешеную «восьмерку»[17], но обширный помост был почти пуст: публика, окружив его плотным кольцом, наблюдала за восемью явными мастерами этого танца в центре помоста, каждый из которых был в килте. Одним из этих танцоров был Краймонд. Было очевидно, кто из кружащихся фигур его партнерша. Джин Кэмбес подняла подол длинной красной накидки выше талии, перехваченной ремешком, открыв ноги в черных чулках, разлетающаяся юбка билась чуть ниже колен. Ее узкое ястребиное лицо, обычно бледное, как слоновая кость, пылало и покрылось капельками пота, несколько прядок из вихря темных прямых волос до плеч прилипли ко лбу. Прекрасная иудейская голова, в которой всегда было столько величия и столько холода, сейчас, с этими огромными черными пристальными глазами, поражала какой-то свирепой восточной

**[17] Примечания: 17**
Быстрый шотландский танец для восьми танцующих.

страстностью. Она кружилась, не поворачивая головы, маленькие ножки в туфельках на низком каблуке, казалось, летали по воздуху, и только когда ее взгляд встречал взгляд партнера, ее сверкающие глаза вспыхивали неулыбчивым огнем. Губы были приоткрыты, но не потому, что ей не хватало воздуха, а как бы выражая ненасытность ее натуры. Краймонд ничуть не вспотел. Как всегда, невозмутимый, бледный, непроницаемый, даже строгий, только слегка веснушчатая кожа, обыкновенно желтоватая и, так сказать, рыхлая, сейчас блестела и обтянула лицо. Волосы, слегка волнистые и длинноватые, когда-то огненно-рыжие, а теперь поблекшие, плотно прилегали к голове, ни единой отбившейся пряди. Светло-голубые глаза не смотрели на партнершу, а когда он оказывался лицом к ней, не меняли холодного, даже мрачного выражения. Тонкие губы поджаты, отчего рот походил на прямую твердую линию. Выдающимся тонким носом он походил на смотрящего на него Джерарда, на одного из множества высоких куросов[18] в Музее Акрополя, только без их загадочной улыбки. Краймонд танцевал хорошо, не самозабвенно, но

**[18] Примечания: 18**
Древнегреческие скульптуры юношей.

со знанием дела, корпус прямо, плечи отведены назад, как натянутый лук, и в то же время упруго и легко, как прыгающая собака. Живописный наряд тоже оставался безупречен: изысканная белая рубашка, облегающий черный бархатный жилет с серебряными пуговицами, спорран, качающийся у колен, с серебряной рукояткой дерк[19] на должном месте в носке, башмаки с пряжками. Его товарищи, все отличные танцоры, выглядели не меньшими франтами, но лишь один Краймонд не расстегнул пуговок на рубашке. Тяжелые килты в плотную складку сзади раскачивались и кружились, подчеркивая равнодушие своих обладателей к земному притяжению.

Дженкин несколько секунд смотрел на Джерарда, чтобы убедиться, что зрелище произвело должное впечатление на его друга, потом повернулся к танцующим. Пробормотал:

— Рад, что увидел такое. Он как Шива.

Джерард шикнул на него:

— Помолчи…

Сравнение было не столь уж нелепо.

Музыка резко оборвалась. Танцоры застыли на месте с поднятыми руками; потом с серьезным

**[19] Примечания: 19**

Спорран — отделанная мехом кожаная сумка с кисточками; дерк — кинжал шотландского горца.

видом поклонились друг другу. Завороженные зрители пришли в себя и засмеялись, зааплодировали, затопали ногами. Оркестр тут же заиграл снова, теперь слащавую «Всегда», и помост заполнили танцующие пары. Краймонд и Джин, которые стояли, подняв руки и не сводя глаз друг с друга, сделали шаг навстречу и растворились среди танцующих.

— Что это был за тартан?[20] — спросил Дженкин Джерарда, когда они шли обратно.

— «Макферсон».

— Откуда тебе известно?

— Он мне как-то сказал, он имеет право его носить.

— Я думал, не имеет значения, какой узор, лишь бы древний.

— Нет, это соблюдается тщательно. Где Дункан?

— Не знаю. Как только увидел их пляску, помчался к тебе. Не хотелось, чтобы ты пропустил такое.

— Очень мило с твоей стороны, что оторвался, сбегал за мной, — сказал Джерард с легким раз-

---

**[20] Примечания: 20**

Орнамент ткани, из которой изготавливают килты. Разные сочетания цвета клеток обозначают принадлежность к определенным шотландским родам или кланам.

дражением.

Дженкин не обратил внимания на раздражение и спросил:

— Разделимся и поищем Дункана? Здесь я его не вижу.

— Похоже…

— Дело зашло уже слишком далеко.

— Вряд ли Дункан будет рад увидеть нас.

— Не думаешь, что стоило бы походить за ним. Последить?

— Нет.

Какая-то женщина неожиданно обратила внимание на Гулливера.

Расправившись почти со всеми сэндвичами с огурцом, он почувствовал себя намного лучше, совершенно даже не пьяным, и появилось безумное желание танцевать. Он бродил, ища не Тамар (о ней он успел забыть), а какую-нибудь девушку, чей партнер благополучно отключился и валяется где-нибудь под кустом в пьяном беспамятстве. Однако девушки, хотя и сами выглядели сильно навеселе, а то и совершенно пьяными, не отпускали своих мужчин. Уже не оставалось сомнений, что занимается заря, что свет, который по-настоящему всю ночь не покидал небосклона, начинает переходить в дневной. Запели какие-то

кошмарные птицы, и из лесу за лугами донеся однообразный зов кукушки. Торопясь ухватить конец уходящей ночи, Гулливер вышел к шатру, где играла поп-группа и где, казалось, еще царила тьма среди вспыхивающей иллюминации и шума. Сами музыканты уже ушли, а их музыка продолжала греметь из магнитофона. Тут веселье приняло самые необузданные формы, и танцы больше походили на акробатику, молодежь будто охватило отчаяние, когда она ощутила утреннюю свежесть. Парни сбросили пиджаки, кое-кто и рубашки, девицы задрали подолы и расстегнули застежки. После прежней строгости облика они смотрелись нелепо, как в маскарадных костюмах. Глядя друг на друга дикими глазами и разинув рты, пары прыгали, приседали, крутились, строили рожи, размахивали руками, ногами; все это, подумал Гулливер, похоже скорее на сцену из Дантова «Ада», нежели на выражение весеннего восторга беззаботной юности.

— Эй, Гулл, потанцуй со мной! А то я уже целый час без кавалера!

Это была Лили Бойн.

В тот же миг ее хрупкие руки обхватили его талию, и они, кружась, а точней, бешено вертясь, вихрем влетели в середину гремящего маль-

штрема.

Гулливер, конечно, был знаком с Лили через «других», но он никогда не испытывал к ней интереса, разве что в какой-то момент, когда кто-то отозвался о ней как о «кокотке». Она представлялась ему жалкой личностью, чьи постоянные претензии были попросту нескромны. Сейчас Лили была похожа на маленького сумасшедшего пирата, может, юнгу на пиратском корабле в некой пантомиме. Оранжевые шальвары закатаны, открывая тонкие голые ноги, белая блузка расстегнута, пояс, серебристый шарф, золотые цепочки исчезли, где-то брошенные вместе с сумочкой, Лили не помнила где. Лицо, красное от напряжения и от выпитого, было в разноцветных жирных разводах растаявшей косметики и напоминало размякшую восковую маску. Серебристая помада размазалась вокруг губ, отчего ее рот выглядел карикатурно огромным, как у клоуна. По мере того как они танцевали, не дотрагиваясь друг до друга, то сближаясь, то расходясь, неистово подпрыгивая, наталкиваясь на других танцующих, о которых совершенно забыли, скалясь, смотря друг на друга, задыхаясь, связанные безумно горящим взглядом, Гулливер почувствовал, что нашел в Лили прекрасную

партнершу. Отклоняясь от него, делая пируэты, подпрыгивая, кружа вокруг него, воздевая руки в иератическом жесте, как жрица в трансе, она, видимо, что-то говорила, во всяком случае, губы ее были раскрыты и шевелились, но он за грохотом не слышал ни слова. Лишь, как безумный, кивал, что-то крича в бурю ошеломительного шума, какие-то бессмысленные восклицания, не слышные даже ему самому.

Тамар так и не нашла Конрада, но нашла Дункана. Тот еще раньше потерял след Джин, засидевшись за выпивкой, а та направилась туда, где гремела музыка. Вскоре какой-то услужливый доброжелатель сообщил ему о присутствии на празднике Краймонда. Возможно, тот же человек уже предупредил Джин; или, предположил он позже, Джин с самого начала знала об этом? После недолгих поисков он стал свидетелем, оставаясь незамеченным, конца «восьмерки», за которым наблюдали и Джерард с Дженкином, и увидел, как Джин и Краймонд вместе исчезли до начала очередного танца. После чего он двинулся в один из баров: напиться до чертиков, чтобы заглушить боль и злость, а еще страх самого худшего. Ему не хотелось на этой стадии наткнуться на жену; и когда, еще позже, в шатре «старомодных» по-

явились Джин с Краймондом и присоединились к танцующим, он сгорбился в относительной темноте в углу, получая мучительное удовлетворение от того, что мог следить за ними, сам оставаясь невидимым.

Тамар, все еще искавшая Конрада, но теперь очень уставшая и продрогшая, к тому же несчастная, потому что где-то забыла кашемировую шаль, зашла в шатер и сразу заметила Джин, танцующую с Краймондом. Она знала, что между Джин и Краймондом было что-то «такое» много лет назад, но как-то никогда не задумывалась над этим и относилась к этому как к делу прошлому. Но то, что она увидела, удивило и шокировало ее, а потом заставило почувствовать какой-то страх и боль ревности. Джин долго играла очень важную роль в жизни Тамар; можно даже сказать, что подростком она была «влюблена» в нее, чем осложняла Джин жизнь, о чем та не могла говорить ни с матерью Тамар, ни даже с Роуз или Пат. Дункана Тамар тоже любила, и ее регулярно приглашали на чай, а позже на что-нибудь покрепче. Секунду спустя Тамар, оглядев шатер, увидела Дункана, который сидел, положив руку на спинку стула перед ним, и, опершись подбородком о руку, напряженно следил за танцующими. Между

ними проходили люди, заслоняя ее, танец закончился и начался новый, и Тамар, взволнованная увиденным, решила уйти. Однако Дункан заметил ее и помахал, призывая присоединиться к нему. Тамар почувствовала, что теперь не может уйти, и направилась к нему мимо сидящих и стоящих людей, перевернутых стульев, мимо столов, уставленных опустошенными бутылками, и села рядом. Опускаясь на стул, она оглянулась на помост и увидела, как Джин и Краймонд покидают шатер с другой стороны.

Дункан был громадиной, как говорится, «медведь» или «лев», массивный и высокий, с огромной головой и копной очень темных густых кудрявых волос, закрывавших шею. Широченные плечи, обычно согнутые, говорили о сдерживаемой, иногда угрожающей силе. Так что он производил впечатление человека не только умного, но и грозного. У него был большой нерешительный выразительный рот, темные глаза и странный взгляд, поскольку один глаз был почти целиком черным, будто зрачок расплылся за радужку. Он носил очки в темной оправе, смотрел иронично и скорей не смеялся, а хихикал.

— Привет, Тамар, хорошо проводишь время?

— Да, спасибо. Вы не видели Конрада? Конрада

Ломаса? Ой… может, вы не знаете его.

— Да нет, знаю, встречал его у Джерарда, он приятель Леонарда, верно? Не видел. Он твой обожатель? А куда он пошел?

— Не представляю. Я сама виновата. Оставила его на минуту.

Чувствуя, что сейчас заплачет, она закрыла глаза ладонью.

— Очень жаль, малышка, — сказал Дункан. — Послушай, пойдем выпьем, а? Полегчает как тебе, так и мне.

Однако он не встал, а лишь передвинул ноги и еще ниже облокотился на стул перед ним, неожиданно засомневавшись, что сможет подняться. Смотрел на Тамар, думая, какая она до жалости худенькая, словно страдает анорексией, и с этими короткими прямыми волосами, разделенными пробором, похожа на четырнадцатилетнюю девчонку. Даже белое бальное платье не помогало; оно выглядело на ней как мешковатая комбинация. Она лучше смотрелась бы в обычной одежде: аккуратной блузке и юбке.

Тамар тревожно взглянула на Дункана. Она стала свидетельницей случившегося и теперь догадывалась о его страданиях, что больше смущало ее, нежели вызывало сочувствие. К тому

же было ясно, что Дункан сильно пьян: лицо красное, дыхание тяжелое. Она боялась, что он в любой момент рухнет на пол, и тогда ей придется заботиться о нем.

Тут Дункан с трудом поднялся на ноги. Постоял секунду, покачиваясь, потом оперся о ее худенькое обнаженное плечо.

— Ну что, пойдем, поищем выпивку?

Они потащились к одному из выходов мимо помоста, вплотную к нему. Оркестр играл мелодию Кола Портера «Ночь и день».

— Ночь и день, — сказал Дункан. — Да. Давай потанцуем. Ты же потанцуешь со мной?

Он увлек ее на помост и, неожиданно отдавшись музыке, почувствовал, что его ноги перестали быть непослушными и, как дрессированные звери, способны исполнять затверженные движения. Танцевал он хорошо. Тамар позволила вести себя, позволила себе отдаться медленному печальному ритму, она танцевала, и это был ее первый танец за весь вечер. На глаза ей навернулись слезы, и она вытерла их о черный пиджак Дункана.

В шатре, где играл джаз, Роуз танцевала с Дженкином. Когда тот сопровождал Джерарда, возвращавшегося в квартиру Левквиста, им

пришло в голову, что Дункан может избегать их. «Он не захочет видеть нас», — сказал Джерард. «Если он там, значит, так оно и есть», — ответил Дженкин. Но в комнате было пусто. Джерард предпочел остаться там просто на всякий случай, а Дженкин, не отказавшись от мысли стать невидимым телохранителем Дункана, снова отправился на его поиски. Вскоре он встретил Роуз и почувствовал себя обязанным пригласить ее на танец. Они пошли на звуки джаза, который был ближе всего, и Дженкин почтительно кружил ее по площадке в становившейся все более тесной и расхристанной толпе, которая, видя наступление рассвета, вновь повалила в шатры. Танцевать с Дженкином было легко, поскольку он танцевал одинаково под любую музыку и каждое его движение было ожидаемо. Он, конечно, рассказал о том, что они с Джерардом видели. Даже предложил пойти туда и посмотреть, вдруг представление повторится. Но Роуз явно считала это проявлением дурного тона, и смущенный Дженкин признал, что она права.

Роуз, видимо решив, что слишком эмоционально отреагировала на сообщение Дженкина, постаралась сгладить это впечатление:

— Полагаю, Краймонд уже исчез, а Джин и Дун-

кан целую вечность вместе. Так что ничего такого тут нет. Но все же лучше не распространяйтесь о том, что видели ее с *ним*!

— Ну что вы, разумеется, не буду, и, разумеется, вы правы. Но, боже мой, какая *наглость* с его стороны!

— Что вы намерены делать с книгой? — спросила Роуз, переменив тему, и Дженкин наступил ей на ногу.

— Мы, Роуз. Вы тоже состоите в комитете.

— Да, но я не в счет. Принимать решение должны вы и Джерард.

— Мы ничего не можем поделать, — сказал Дженкин.

Сейчас его больше беспокоил Дункан, где-то бродящий, как несчастный опасный медведь.

Откуда-то появился Конрад Ломас и пошел к ним, расталкивая беспечные танцующие пары.

— Где Тамар? Вы видели ее?

— Это мы должны тебя спросить об этом! — объяснила Роуз.

Джерард, один в квартире Левквиста, где окна были все еще зашторены, мрачно глядел на хаос, царивший в комнате: грязные стаканы и опустошенные бутылки, стоящие повсюду — на каминной полке, на стульях, на столах, на

книжных полках, на полу. Как мы умудрились использовать столько стаканов? — подумалось ему. Ну да, по мере продолжения вечера все чаще забывали, где оставили свой стакан! И, черт побери, ни одного сэндвича не осталось, а, нет, есть один, и тот без огурца. Он съел влажный кусок хлеба, налил шампанского. Оно ему уже обрыдло, но другой выпивки не было. Дженкин заявлял, что припрятал в спальне Левквиста бутылку виски «на потом», только у Джерарда не было сил искать ее.

Он очень надеялся, что служитель Левквиста сумеет навести порядок до того, как Левквист вернется в квартиру после завтрака. Не забыть бы дать парню «на чай». Потом он со стыдом вспомнил, что в волнении от встречи с Левквистом не поблагодарил за разрешение воспользоваться его квартирой — исключительная привилегия, поскольку на балу, конечно же, присутствовали другие выдающиеся бывшие его ученики. Он принялся составлять в уме письмо с вежливыми извинениями. Левквист, безусловно, заметил его оплошность и, вероятно, позлорадствовал по этому поводу. Потом он задумался о том интересном факте, что ни разу после «той истории», теперь уже такой давней, Левквист при встречах с Дже-

рардом или Дженкином не упоминал имени Краймонда, хотя справлялся о других, а Краймонд тоже был его учеником и одним из группы. Кто-то наверняка рассказал ему. Потом Джерард спросил себя, уже не в первый раз, поддерживал ли Краймонд хоть мало-мальски дружеские отношения с Левквистом. Может, и он виделся с ним в тот же самый вечер! Как это ужасно, как отвратительно, что Краймонд здесь. Джерард разделял возмущение Роуз: как он посмел! На что Дженкин ответил: а почему нет? Но танцевать с Джин… Джерард с недовольством заметил, какое, похоже, возбуждение этот случай, если это можно назвать случаем, вызвал в Дженкине. Сам Джерард нашел все это возмутительным, отвратительным, откровенно зловещим и неуместным. Может, Краймонд был пьян, и пьян сильно. Зазвонил телефон. Джерард поднял трубку.

— Алло.

— Могу я поговорить с мистером Херншоу?

— Пат…

— О, Джерард… Джерард… он скончался…

Мысли Джерарда приняли иное направление. Отец мертв.

— Джерард, ты меня слушаешь?

— Да.

— Он умер. Мы ведь не ожидали, да, врач не предупредил… просто это случилось… так… неожиданно… он… и он умер…

— Ты там одна?

— Да, конечно! Сейчас пять утра! Как думаешь, кто мог бы побыть со мной?

— Когда он умер?

— Час назад… не знаю…

Пронеслась мысль, а что делал он в тот момент?

— Ты была с ним?..

— Да! Я спала с открытыми дверями… около часу ночи услышала стон и вошла к нему: он сидел в постели и… и бормотал ужасно высоким голосом, и все время дергал руками и озирался, и не смотрел на меня… он был белый как мел, губы тоже белые… я попыталась дать ему таблетку, но… пыталась уложить, хотела, чтобы он опять уснул, думала, что если только он сможет отдохнуть, если только сможет поспать… а потом так задышал ужасно… так ужасно…

— О боже! — проговорил Джерард.

— Все, умолкаю, ты не хочешь этого слышать… я целую вечность пробовала связаться с тобой, дежурный там у вас звонил в разные комнаты, и я просто напилась. Ты пьян? По голосу слышу.

— Возможно.

Джерард подумал: конечно, у Левквиста в библиотеке нет телефона… но в любом случае это было раньше… что же он делал? Смотрел, как Краймонд танцует? Бедная Патрисия. Сказал в трубку:

— Держись, Пат.

— Ты пьян. Конечно, я стараюсь держаться. Ничего другого не остается. Я с ума схожу от горя, страдания и потрясения, и я совсем одна…

— Лучше тебе пойти спать.

— Не могу. Сколько тебе понадобится, чтобы приехать, час?

— Час, да, — ответил Джерард, — или меньше, но не получится выехать немедленно.

— Да почему же не получится?

— У меня тут много народу, я не могу просто бросить их, не могу бросить, не попрощавшись, а бог знает, куда они все разбрелись.

Он подумал, что не может уйти, не повидав Дункана.

— У тебя отец умер, а ты хочешь продолжать танцы со своими пьяными приятелями?

— Скоро приеду, — сказал Джерард. — Просто не могу уйти вот так сразу, извини.

Патрисия положила трубку.

Джерард посидел с закрытыми глазами в наступившей тишине. Потом проговорил: «О, господи, господи, господи!» и уткнулся лицом в ладони, тяжело дыша и стеная. Конечно, он знал, что это неизбежно, сам спокойно сказал об этом Левквисту, но случившееся совершенно не было похоже на то, к чему его готовило малодушное воображение. Он понял, чего ему не хватало воли представить, — факта, окончательного факта. Любовь, давняя любовь, острая, необъятная, властная, которая забылась или осталась неосознанной, нахлынула из всех пределов его существа жгучей болью, плачем и воплем агонии последней разлуки. Никогда больше он не поговорит с отцом, не увидит его улыбающегося приветливого лица, не будет счастлив оттого, что тот счастлив, не найдет полного утешения в его любви. Он чувствовал раскаяние, но не потому, что был плохим сыном, не был он плохим сыном. А потому, что перестал быть сыном, а ему столько надо было сказать отцу. Теперь он в ином мире. О отец, отец, мой дорогой отец!

Он услышал шаги на лестнице, поспешно поднялся и отер лицо, хотя слез на нем не было. Устремил спокойный взгляд на дверь. Это был Дженкин.

Джерард мгновенно решил, что не станет ничего говорить Дженкину об отце. Скажет после, когда они поедут обратно в Лондон. Не хотелось начинать, чтобы кто-нибудь вошел и прервал. Лучше ничего не говорить. Дженкин поймет.

Для Дженкина, который неизменно читал мысли Джерарда, не было секретом, что Джерард осуждал то, что могло ему показаться его возбуждением, даже ликованием по поводу маленькой драмы, которая обещала разыграться вечером. Он также чувствовал, что Джерард скептически отнесся к его похвалам развевающемуся килту Краймонда. А еще Дженкин был раздосадован своей gaucherie[21] с Роуз, неспособностью танцевать хорошо и резким ответом на ее вопрос о книге. К тому же он вовсе не был уверен в том, что был настолько пьян. Когда Роуз отказала ему в следующем танце, отговорившись усталостью, Дженкин быстро обошел все шатры в поисках Дункана, но не нашел его. Побежал за фигурой в белом, вроде бы похожей на Тамар, но та исчезла при его приближении. А Тамар в это время закончила свой танец с Дунканом и услышала от него неопределенное: «Ну иди, развлекайся». Она не

---

**[21] Примечания: 21**
Неловкость, неуклюжесть (фр.).

чувствовала себя обязанной, да и не испытывала большого желания оставаться с ним, он был откровенно пьян и то ли не хотел, чтобы она видела его в таком состоянии, то ли совсем забыл, что у нее нет партнера. Она бесцельно бродила среди многолюдья в надежде, что ее заметит кто-нибудь из знакомых. Отыскать кашемировую шаль она уже не рассчитывала, кто-нибудь, наверно, присвоил ее.

Для Джерарда, который неизменно читал мысли Дженкина, не было секретом, какое легкое огорчение омрачает душу приятеля, и поспешил обрадовать его:

— Друг мой, не считаешь ли, что пора достать ту бутылку виски, которую, по твоим словам, ты припрятал? Меня уже тошнит от этой шипучки.

Они прошли в по студенчески аскетичную спальню Левквиста с узкой железной койкой, умывальником с тазиком, кувшином и мыльницей, и Дженкин принялся шарить под одеялом на койке. Бутылка была найдена, графин с водой стоял на прикроватной тумбочке, что было очень кстати, поскольку тут, конечно, не было ни ванной, ни вообще водопровода. Джерард привел в порядок разворошенную постель. Прихватив трофеи, они вернулись в гостиную и налили себе

виски в два бокала для шампанского.

— За окном уже день, может, отдернем шторы?

— Да, наверно, — сказал Джерард, — какой ужас!

Он отдернул шторы, впустив кошмарно холодное солнце.

— Я так нигде и не нашел Дункана, но видел массу людей в оленьем парке.

— Их там не должно было быть.

— Но они были.

На лестнице послышались тяжелые неуверенные шаги.

— Наверно, Дункан, — сказал Дженкин и открыл дверь.

Ввалился Дункан, прямиком направился к креслу и рухнул в него. Мгновение тупо смотрел перед собой. Потом провел рукой по лицу, как Джерард раньше, нахмурился и собрался с силами. С трудом сел немного прямей.

— Господи, да ты насквозь мокрый! — воскликнул Дженкин.

Брюки Дункана и часть пиджака были мокрые, в грязи, и грязная вода капала на ковер.

Дункан увидел это и запричитал:

— Боже, что скажет Левквист!

— Я приберу, — сказал Джерард.

Он принес из спальни два полотенца, одно дал Дункану, а другим принялся вытирать лужу на ковре, пока Дункан отряхивался.

— Да, набрался я, — кивнул Дункан. Потом объяснил: — Свалился в реку. Ненормальный.

— Я тоже набрался, — сочувственно откликнулся Дженкин.

— Это у вас виски? Можно глоточек?

Дженкин плеснул виски на донышко и долил воды. Дункан нетвердой рукой взял бокал.

На лестнице раздались еще шаги. Это была Роуз. Она вошла и сразу увидела Дункана.

— Дункан, дорогой, вот ты где! Очень рада! — Не зная, что сказать, она воскликнула: — Так вы тут все, оказывается, пьете виски, нет, я не хочу! Что это за грязь на полу?

— Я свалился в Чер, — сказал Дункан. — Старый пьяница, идиот!

— Бедняжка! Джерард, включи обогреватель. И перестань тереть ковер, ты делаешь только хуже. Посмотри, есть ли еще вода в графине в спальне.

Вода была. Роуз, подоткнув подол зеленого платья, опустилась на колени и приступила к действу, используя крохотные порции воды и осторожные манипуляции полотенцем, так что грязное пятно постепенно слилось с, по счастью,

очень темным и древним ковром.

— Боюсь, мы испачкаем Левквисту полотенца, но служитель заменит их. Не забудь дать парню на чай, Джерард.

Кто-то взбежал по лестнице, спотыкаясь от спешки, и ворвался в комнату. Это был Гулливер Эш. Не сразу заметив Дункана, он выпалил новость:

— Там такая суматоха, говорят, Краймонд толкнул человека в Черуэлл!

Тут он увидел мокрого Дункана и грязь на полу и закрыл рот ладонью.

— Пожалуйста, Гулл, уйди, — сказал Джерард.

Гулливер отступил назад и спустился вниз.

Гулливер потерял Лили Бойн и жалел об этом, ему понравилось танцевать с ней, однако жалел все же не так уж чтобы очень, поскольку ему стало ясно, что, хотя давно уже не пил ничего, кроме бокала шампанского, который обнаружил стоящим на траве, он снова чувствовал себя сильно пьяным, даже слегка мутило, и невероятно усталым. Лили, которая, пока танцевала, избавилась от своей белой блузки, которую, скомкав, швырнула в толпу танцующих (где ее поймал и присвоил какой-то юнец), оставшись во вполне пристойной кружевной комбинации,

тоже наконец заявила, что «выдохлась», и присела отдохнуть. Гулливер отошел справить нужду, а вернувшись, обнаружил, что та исчезла. Вот тогда он и услышал разговор о Краймонде. После изгнания из квартиры Левквиста он принялся бродить сперва у галереи, где ему удалось получить кружку пива, хотя по-настоящему не хотел его, а потом по главной лужайке, среди шатров.

Утро было в полном разгаре, инквизиторский свет подвел итог ночи, развеяв волшебство леса и всю ее магию и открыв картину, более похожую на поле сражения: вытоптанная трава, пустые бутылки, битые бокалы, перевернутые стулья, разбросанная одежда и прочие непривлекательные следы прошедшей вакханалии. Даже шатры в беспощадном солнечном свете выглядели замызганными и обвисшими. Громко пели черные и пестрые дрозды, синицы, ласточки, вьюрки, малиновки, скворцы и бесчисленные иные птицы, ворковали голуби и каркали грачи, а в высоких деревьях оленьего парка куковала близкая теперь кукушка. Но и танцевальная музыка продолжала греметь в расширившемся пространстве под высоким безоблачным синим небом, сопровождаемая многоголосым птичьим хором, обессилевшая и нереальная. Уже выстра-

ивалась очередь желающих позавтракать, но немало народу еще танцевало, казалось, не в силах остановиться, охваченные экстазом или бешеным желанием продлить колдовское забытье, оттянуть мучительное протрезвление, а с ним раскаяние, сожаление, погасшую надежду, разбитую мечту и все ужасные сложности обыденной жизни. Перспектива позавтракать яичницей с беконом вдруг показалась очень заманчивой, но Гулливеру стоять в очереди одному не хотелось, и он почувствовал настоятельную потребность сесть, а лучше лечь. Он решил немного отдохнуть и прийти за жратвой позже, когда не будет такой давки. На осквернённой, замусоренной траве там и тут валялись в изнеможении тела, большей частью мужские, кое-кто крепко спал. Пробираясь между ними, Гулливер даже прошел, хотя, конечно, не узнал ее, мимо кашемировой шали Тамар, скомканной и в пятнах, которой кто-то вытерся, расплескав бутылку красного вина. Над Черуэллом висел легкий туман. Гулливер прошел через арку в олений парк. По причинам экологии и безопасности гостям было запрещено появляться там. Сейчас, однако, вероятно поскольку бал кончился, охранники в котелках исчезли, и среди деревьев прохаживались пары. Вдалеке

на подернутых туманом зеленых полянах пасся олень, резво прыгали кролики. Гулливер, пошатываясь, прошел немного вперед, наслаждаясь восхитительно свежим, напоенным запахом реки утренним воздухом и нетронутой травой. Сел под деревом и уснул.

Тамар наконец нашла Конрада. На какое-то время она просто заснула, сидя на стуле в одном из шатров, а когда вышла наружу, небо уже сияло и солнце поднялось высоко. Свет резал глаза. Подол ее белого платья был в серых грязных пятнах, неведомо откуда взявшихся. Она казалась себе ужасной, как безобразное привидение. Хотела было причесать волосы маленьким гребешком, но случайно уронила его и не стала поднимать. Она медленно пошла вперед, чтобы хоть что-то делать и потому что так можно было меньше привлекать внимание, нежели стоя на одном месте. Все вокруг выглядело нереальным и отвратительным, порывами налетали смех и звуки музыки, заставляя жмуриться и хмурить лоб. Так она и шла, поникнув головой, уголки губ опущены. Оказавшись возле шатра, где магнитофон продолжал играть музыку поп-группы, она хотела было пройти мимо, но все же заглянула внутрь. Мир мгновенно изменился. В шатре Конрад, ее

долговязый парень, прыгал, улыбался, кружился, танцуя сам с собой. Тамар уже собралась крикнуть, броситься к нему. Но тут заметила, что танцует он не один, а с Лили Бойн.

Тамар быстро отвернулась, закрыв лицо рукой, и помчалась без оглядки прочь. Она пролетела, приподняв подол, через галерею и дальше, к главным воротам, выскочила на Хай-стрит. В мягком утреннем солнце извилистая улица была пуста, красива, торжественна. Тамар торопливо шла, охваченная отчаянием беглянка. Ремешок на одной сандалии лопнул, и она слегка прихрамывала, спеша мимо внушительных зданий, чьи фасады чисто и холодно розовели на фоне сияющего голубого неба. Она продрогла, но жакет, который прихватила в предвидении зябкого утра, остался в запертой машине Конрада. К счастью, во всем кошмаре прошедшей ночи, когда потерялась шаль, она сумела сохранить сумочку, в которой были косметика, деньги, ключи и которую непроизвольно намотала на запястье. Высоко подняв подол мятого платья, с растрепанной прической, лицо не припудрено, она торопливо шла к автобусной остановке. Редкие в этот ранний час прохожие, видя слезы, бегущие по ее щекам, оборачивались ей вслед. Когда она

дошла до остановки и села в автобус до Лондона, все колокола Оксфорда пробили шесть часов.

После того как Гулливер ретировался, четверка находившихся в комнате избегала смотреть друг на друга. Роуз принесла обогреватель и поставила поближе к мокрым штанинам Дункана, справилась у него, не слишком ли горячо, и со смехом отреагировала на поваливший от брюк пар. Дункан ответил соответственно: мол, он уже почти высох и чтобы она не беспокоилась и прочее в том же роде. Дженкин и Дункан продолжили пить виски. Все согласились, что жаль, поесть нечего, и обвинили Гулливера, не оставившего ни одного сэндвича. Дженкин расстраивался, что не прихватил с собой шоколад, как собирался. Дженкин и Джерард спорили, стоит ли одному из них отправиться к завтракающим и принести сосисок и хлеба. Возможно ли сейчас сделать это, не стоя в очереди. Но так и не пришли к общему мнению. И все молча размышляли, появится ли Джин и что, черт возьми, будет, если она не придет.

Джин Ковиц-Кэмбес появилась примерно через полчаса. Четко процокав каблучками по лестнице, она вошла, уже будучи в пальто поверх своей незабвенной красной накидки с черными круже-

вами, которой так восхищалась Роуз. Джин явно явилась сюда не спонтанно. Она уже была одета для быстрого отъезда, подкрасилась и причесалась. Черные волосы, гладкие и блестящие, как оперение экзотической птицы, ровной волной, словно покрытые эмалью, спадали на шею, открывая тонкое ястребиное лицо. Строгое, хотя и спокойное выражение слегка смягчилось в ответ на приветствие Роуз.

— Джин, дорогая, ты пришла, как хорошо!

Роуз обняла Джин, та похлопала ее по плечу и сказала, как это мило, слышать пение птиц. Джерард и Дженкин отступили назад. Джин подошла к Дункану, который тяжело сидел в кресле.

— Ну как, старина? Вдрызг, как всегда? Может кто-нибудь помочь ему подняться?

Дункан вытянул руки, Дженкин взял за одну, Джерард — за другую и вместе они поставили его на ноги.

Джин спросила Дункана, где его пальто, и тот ответил, что, наверно, оставил его в машине, а где машина, он не знает. Джин сказала, что не на стоянке, а поблизости, на дороге. Оба сказали, хорошо, что она не на стоянке, Дженкин согласился, что на стоянке ее могли бы помять, молодежь такая неосторожная. Роуз беззаботно

предположила, что за руль сядет Джин, и та подтвердила: само собой. Джин чмокнула Джерарда и Дженкина, и Роуз попыталась поспорить с Джерардом относительно чаевых служителю. Роуз сжала Джин в объятиях, поцеловала, погладила по волосам. Потом тепло обняла Дункана. Джин позвала его, взяла за руку, и они удалились, провожаемые напутствиями и прощальными жестами. Их шаги затихли на лестнице.

Выждав приличествующую паузу, Дженкин сдавленно хихикнул, потом подошел к окну, выглянул и сделал невозмутимое лицо. Роуз посмотрела на Джерарда; тот слегка нахмурился и отвел глаза.

Дженкин и Роуз ждали, что скажет Джерард.

— Что ж, — проговорил он, — полагаю, все закончилось нормально и нам нет больше необходимости думать об этом, я, безусловно, надеюсь на это.

— Ты, может, и способен не думать, — отозвался Дженкин, с непроницаемым лицом возвращаясь от окна, — но я не уверен, что у меня получится.

— Джерард отлично умеет не думать о чем-то, когда не чувствует в этом необходимости, — сказала Роуз.

— Или когда чувствует, что необходимо не ду-

мать, — добавил Дженкин.

Джерард быстро сказал:

— Пора уходить. Я оставлю конверт для парня-служителя.

Роуз хотелось бы вернуться в Лондон с Джерардом, но она сама приехала на машине частью потому, что Джерард сказал, что на обратном пути прихватит Дженкина, а частью на случай, если слишком устанет и захочет уехать раньше остальных. Она сходила в спальню Левквиста за пальто. Потом они все вместе прибрались в гостиной, особо не стараясь. Спустились вниз и вышли через галерею наружу, где их встретило теплое солнце, оглушительный птичий гам и громкое кукованье кукушки.

Гулливеру снился дивный сон. Над ним склонилась прекрасная девушка с огромными, подернутыми влагой глазами, густыми длинными ресницами и влажными чувственными губами. Он чувствовал ее сладостное дыхание, мягкие губы коснулись его щеки, огромные чудесные глаза смотрели ему в глаза. Олень, обнаружив какой-то черный куль под знакомым деревом, сунулся к нему темной мокрой мордой. Гулливер резко сел.

Олень отпрянул назад, секунду смотрел на него

и с достоинством рысцой пустился прочь. Гулливер утер лицо. Поднялся на ноги. Он чувствовал себя ужасно и выглядел не лучше. Двинулся назад. Голова кружилась, в глазах плясали яркие вспышки, а по краям плыли крохотные черные иероглифы.

Пройдя, потирая глаза, через арку «Нового здания» на главную лужайку, он резко остановился. Его взору предстала кошмарная и невероятная картина, объяснить которую он был не в состоянии. Впереди, как далеко, он не мог определить, столь невероятным было явление, протянулась длинная шеренга людей, две шеренги, одна над другой, прямо напротив него и смотрящих на него. Чувство беспомощности и паники охватило его — увиденное противоречило всем законам природы. Он потер глаза. Люди не исчезли, а все так же неподвижно стояли и молча смотрели на него. Потом он понял, в чем дело. Фотографировали участников бала. Ближе и спиной к нему фотограф суетился у своей камеры, установленной на штатив, смотрел в видоискатель на молчаливые выстроившиеся шеренги. Люди стояли не шевелясь, большинство с торжественным выражением на лице, многие выглядели так же ужасно, как Гулливер: одежда в беспорядке, лица

в беспощадном дневном свете серые от усталости, беззащитные, некрасивые и осунувшиеся. В звонком пении птиц молчание музыки ощущалось физически. Хмуро щурясь, Гулливер вглядывался в позирующих, ища знакомые лица. Ни Джерарда с Роуз, ни Тамар, ни Джин, ни Дункана или Краймонда было не видно. Однако он узнал Лили. Она стояла с Конрадом Ломасом, обняв его за талию. Гулливер крадучись проскользнул вдоль фасада здания к автостоянке. Машина была на месте.

~~~

Джерард открыл ключом дверь и вошел в молчаливый дом. В машине по дороге в Лондон он рассказал Дженкину о смерти отца. Дженкин был потрясен и опечален, и непосредственность его горя по отцу Джерарда, которого он знал много лет, тронула Джерарда. Но после первых выражений сочувствия Дженкин тревожно задумался о том, как, должно быть, сильно страдает Джерард и, наверное, чувствует вину за то, что не уехал тотчас с бала. Дженкин ничего этого не сказал, но Джерард интуитивно уловил это за неуклюжими его словами и помрачнел. Машина неслась навстречу солнцу. Джерард сказал Дженкину, что тот может поспать, и Дженкин послушно наклонил назад спинку сиденья, устроился поудобней и мгновенно уснул. Присутствие рядом спящего друга успокаивало, сейчас спящий Дженкин был предпочтительней Дженкина бодрствующего. В Лондон они попали в утренний час пик, и пока машина ползла через пригородные Аксбридж, Руислип и Актон, Дженкин продолжал спать: руки сложены на животе, рубашка смялась, брючный ремень распущен, на полном лице выражение до-
~~~

верчивого покоя. Соседство спящего, предавшего себя его заботам, отвлекло мучительные мысли, приглушило, прикрыло их остроту, как мягкая повязка. Когда они остановились у небольшого одноквартирного дома в Шеперде-Буш, где жил Дженкин, Джерард разбудил друга, обошел машину, открыл дверцу и вытащил его, не забыв чемоданчик, в который Дженкин, по его словам, положил шерстяной кардиган на случай, если станет холодно, и тапочки, если ноги распухнут от танцев. Шоколад остался там, откуда они уехали. Он отверг приглашение зайти на чашку чая, вряд ли шедшее от души. Оба чувствовали, что пора им расстаться, так что парадная дверь захлопнулась прежде, чем Джерард завел машину. Он не сомневался, что Дженкин сейчас поднимется наверх, разденется, влезет в пижаму, задернет шторы на окне, заберется в постель и мгновенно заснет. Джерарда иногда раздражала предсказуемость поведения друга.

И вот он у себя дома в Ноттинг-Хилле, стоит в прихожей и прислушивается. Громко объявлять о своем приезде не стал, надеясь, что Патрисия уснула. Дом, отдельный кирпичный особняк, принадлежал отцу Робина Топгласса, орнитолога, и по наследству перешел к Робину. Потом,

когда Робин женился и уехал в Канаду, он продал дом Джерарду. Он стоял, вдыхая знакомый запах и слушая знакомую тишину дома, видя и чувствуя присутствие знакомых скромных вещей: принадлежавшие отцу Робина рисунки Джона Гулда, изображающие птиц[22], викторианская резная напольная вешалка с зеркалом, которую они приобрели на аукционе, красно-коричневый казахский коврик, привезенный Джерардом из Бристоля. Казалось, дом дожидался Джерарда, надеясь, что он принесет утешение, возвратит привычное течение вещей, возьмет на себя все заботы. И в то же время дом многому был свидетелем, не только последнему событию. Не очень старый, построенный в 1890 году, он успел повидать многое, что происходило в его стенах. И еще больше предстояло увидеть. Возможно, он просто с любопытством наблюдал за тем, что будет делать Джерард. Джерард повесил на вешалку пальто, прихваченное из машины. Снял черный смокинг и черный галстук. Расстегнул ворот и закатал рукава рубашки. Сердце, спокойное недавно, сильно забилось. Он снял туфли и, держа их в руке, поднялся по лестнице, перешагивая

**[22] Примечания: 22**

Гулд Джон (1804–1881) — английский орнитолог, чьи зарисовки птиц высоко ценятся и современными специалистами.

через те ступеньки, которые скрипели.

На верхней площадке увидел, что дверь в спальню Патрисии закрыта. Не задумываясь, вошел в комнату отца. Шторы на окне были задернуты, не пропуская солнца, и все же в комнате было достаточно светло. Длинная тонкая фигура на постели была с головой накрыта простыней. Ошеломляло то, что было закрыто и лицо. Постельное белье убрано. Вместе со всеми свидетельствами болезни — таблетками, пузырьками, чашками — исчезли даже отцовские очки, даже книга, которую тот читал, «Чувство и чувствительность»[23]. Джерард поставил туфли, прошел к окну и отдернул шторы. Они отъехали со знакомым металлическим звуком, который в особой тишине комнаты заставил его вздрогнуть, может быть вызвав неосознанное воспоминание о давних временах, когда он сам спал тут. Он глянул на слепящий на солнце черный сад, окруженный старой кирпичной стеной, черной от городской копоти, влажные мшистые камни декоративных горок, броские (выбор Робина) кусты роз в цвету, орех, деревья других садов. Повернулся и быстро, мягко, не касаясь того, что под ней, отдернул про-

---

**[23] Примечания: 23**
Роман английской писательницы Джейн Остен (1775–1817).

стыню с отцовского лица. Глаза были закрыты. Об этом он думал еще в машине. Придвинул стул к кровати и сел. Итак, наконец умер — только что, но ушел — навсегда. Подумалось: и сам он тоже когда-нибудь будет лежать такой прямой, на спине, с закрытыми глазами и выглядеть точно таким же худым и длинным, если только не утонет и тела не найдут или не разобьется, как Синклер. Лицо было не то чтобы умиротворенное, а отсутствующее, задумчивое, выражающее, может, тихую погруженность в глубокую тайну, хорошее доброе лицо, отрешенное, уже чужое, уже восковое и очень бледное выше тени проступающей бороды, уже сжимающееся, как лицо деда, и все же не так, а как маска, словно некто вылепил очень хорошее, но очень бесстрастное подобие. Видно было, что душа отлетела, никто не глядел оттуда, только растерянное выражение осталось, как прощальное письмо. Он приподнял простыню сбоку, чтобы посмотреть на руку, но тут же опустил. Это было жутко: рука выглядела более живой, знакомые веснушчатые тонкие пальцы расслаблены. Шея была темней, впалая, мышцы и жилы выступают, кожа натянута и не морщинистая. Морщины на лице выглядят как черточки, проведенные в бледном плотном воске.

Лицо отца, так долго остававшееся моложавым, в последнее время покрыли многочисленные морщины, глаза утонули в складках кожи, на нижних веках образовался как бы излом в середине, и по нему постоянно сочилась влага из глаз. Теперь глаза были сухи, лицо сухо, в закрытых глазах не было слез. Смерть осушает глаза мертвых. Сухое лицо смерти выглядит старше, с процессом старения, после последней великой перемены, произошла тихая метаморфоза. Скоро оно пойдет, все убыстряясь и убыстряясь. Вид у отца был суровый, прежде суровость маскировалась свечением стоического юмора, когда отец самоуничижительно шутил по поводу страданий, причиняемых смертельной болезнью. Без очков в прозрачной оправе и без вставных зубов это была маска древнего старика, нос заострился, подбородок опустился, беспомощный обиженный рот слегка приоткрыт. Так он облачился в смерть, как в одеяние, которое было ему теперь в самый раз.

Джерард представил себе, как все происходило на глазах Патрисии. Джерард видел мертвых, но ему не приходилось видеть, как человек умирает. Когда, думал он, это происходит, оно происходит очень быстро. Да, суть, должно быть, такова,

слово «быстро» тут не слишком подходит. Наверное, есть какой-то последний момент. То, что мы называем медленной смертью, есть медленное умирание. Можно представить конец, как прыжок через поток, но никакого потока нет и некому прыгать. Просто последний миг. Может ли человек знать, подумать: «вот сейчас это случится»? Приговоренный преступник может знать. На этой стадии все мы приговоренные преступники. А лишь вчера отец пожелал ему хорошо повеселиться, когда он уезжал на танцы. «Завтра расскажешь обо всем». Джерард не спал с тех пор, как видел отца живым. Это тоже казалось важным. Для Патрисии внезапный уход был реальней: секунда борьбы, чтобы попытаться отвлечь его, помочь, поговорить, успокоить, сказать: «отдохни, и скоро тебе полегчает», а потом, в тот же миг, полная пустота, конец всем усилиям, делать больше нечего, одиночество. О боже! И как это происходит, размышлял Джерард. Это не может быть трудно, любой на это способен. Наверное, это больше похоже на легкое движение, вроде как если быстро отвернуться. Однажды и он сделает подобное движение. Откуда ему знать как? Придет время, он будет знать, тело скажет, научит, заставит, подтолкнет, наконец,

и он перешагнет черту. Это завершение или ты будто засыпаешь и вот уже заснул, но не знаешь, в какой момент? Возможно, самый последний миг легок, это точка, где все смерти одинаковы. Во всяком случае, суть, должно быть, такова. Здесь Джерард привычно запретил себе думать о том, когда, за сколько мгновений до смерти Синклер понял, что должен умереть. Однажды задумался, и это было слишком. Нельзя вторгаться в эту область. Он содрогнулся, глядя на мертвую плоть, столь еще недавно живую, выглядящую столь страшно, столь непереносимо для живых. Прикрыл лицо, встал, шагнул назад, стараясь не отводить глаз от длинной неподвижной фигуры, на которой белая ткань лежала скульптурными складками, сглаживая детали, придавая ей монументальность.

Он подошел к окну и посмотрел на бледные продолговатые листья ореха, треплемые ветром, просвечивающие на солнце, похожие на бумажки с просьбами, дерево просьб, как бумажки с молитвами, которые привязывают к веткам. Он чувствовал острую, мучительную жалость к отцу. Казалось, это нелепо, жалеть того, кого постигла смерть, и вместе с тем это было так естественно. Беспомощность мертвых может показаться,

в первый момент, когда это осознаешь, столь мучительно трогательной, больше печальной, нежели трагичной; это бессилие, беззащитность тех «безжизненных теней усопших»[24]. Бедный, бедный усопший, бедный, о мой бедный, дорогой, дорогой усопший отец! Теперь любовь бурно вырвалась на волю, когда было уже слишком поздно. Нужно было видеться с ним чаще, думал он, ох, если бы только можно было увидеть его сейчас, хотя бы на минуту, обнять, поцеловать, сказать, как он любит его! Как любил. Он представил себе лицо отца, его любящий взгляд, каким видел его вчера, бессонным вчера, которое перешло в сегодня. Ему так много надо было сказать отцу, а отцу — ему. Он должен был поговорить о попугае, только никак не мог улучить момент и приходилось откладывать на потом, но потом, ближе к развязке казалось слишком опасным, слишком трудным и мучительным ранить этим умирающего — хотя, возможно, упоминания, разговора об этом умирающий как раз жаждал, ждал, но не мог подать знак. Иногда, когда Джерард чувствовал, что это «выше его сил», что надо сказать что-то доброе на этот счет, он останавли-

---

**[24] Примечания: 24**
Гомер. Одиссея. Песнь 11. Перевод В. Жуковского.

вал себя: мол, уже не важно, все давно забыто. К чему вытаскивать это сейчас — лучше оставить так, как есть, время лечит. Но чаще он бывал уверен, что время ничего не залечило и ничего не забыто. Он не забыл. Так как же отец мог забыть? Попугай появился в доме, когда Джерарду было одиннадцать, а Патрисии тринадцать. Его хозяева, клиенты отца, спешно покинули Англию, не успев уладить все домашние дела и препоручив это отцу Джерарда, в том числе и заботу о птице, которой надо было найти новых хозяев или отнести ее в зоомагазин. Джерард сразу горячо полюбил попугая. Его неожиданное присутствие в доме, возбужденные полеты по комнатам были чудом, в радостном предвкушении которого он просыпался по утрам. Любовь Джерарда, не без противодействия, победила, птица осталась в доме. У нее, верней, у него, поскольку это оказался самец, была невообразимая унизительная кличка, данная прежним хозяином, которую Джерард тут же предал забвению. Попугай был из породы серых жако, и Джерард догадался назвать птицу его естественным именем, «Жако», ласковым и простым, приятным и звучным, которое его обладатель скоро научился произносить. Мать Джерарда и сестра обычно звали попугая Попка,

но Жако предпочитал не отзываться на него и оно так и не пристало к нему. Джерард с помощью отца ухаживал за Жако, который был молодой птицей. Жако был жизнерадостен, красив и изящен. Его умные глаза в ободке нежной белой кожи были бледно-желтого цвета, безупречные перья — чистейшего светло-серого, а хвост и кончики крыльев — мягко светящегося алого. Вокруг шеи и на плечах, как представлялось Джерарду, подвижная кольчужка, воротничок из маленьких, плотно прилегающих друг к другу перышек, словно рыбья чешуя, двигавшаяся на крепком тельце птицы в зависимости от настроения. Пушистые перышки на лапах почти белые, а подкрылья мягкие, как пух. Он умел посвистывать, и звук был чище любой флейты, и, насвистывая, приплясывал. Его музыкальный репертуар, когда он только что появился в доме, включал в себя «Вон крадется ласка», отрывок из ирландской «Мелодии Лондондерри» и «Иисус оставляет нас в радости»[25]. Джерард быстро научил его высвистывать «Три слепые мышки» и «Зеленые рукава». Жако мог подражать черному дрозду и сове. Его человеческий словарь расширялся

**[25] Примечания: 25**
Популярная переработка хорала из 147-й кантаты И. С. Баха.

медленней. Он мог говорить «Привет!» и (нетерпеливо) «Да, да», а еще (возбужденно) «Ура-а!». Мог произнести, и, что забавно, часто очень к месту: «Заткнись!» Больше всего трогало, но и смущало Джерарда среди словечек и фраз, затверженных Жако в прошлом, то, как он, бывало, произносил нежным, несколько томным женским голосом: «О… мой… милый». Возможно, была какая-то женщина, которая любила Жако и скучала по нему; но это было в прошлом, и Джерард редко думал об этом, ведь теперь Жако принадлежал ему. Однако Жако оказался строптивым учеником. Он быстро научился подражать материнской интонации, когда та в тихом раздражении говорила: «Боже ж ты мой, боже ж ты мой!», но упорно не желал повторять за Джерардом: «Пиастры, пиастры!», решительно отворачивая умную внимательную голову и равнодушно моргая. Хотя скоро мог не только произносить свое имя, но еще интересную фразу, явно похожую на «Жако это жако».

Какое-то время Жако был диковинкой, очень забавлявшей все семейство, но потом, поскольку занимались им Джерард с отцом: чистили клетку, кормили, следили, чтобы не было паразитов, лечили легкие недомогания, носили на осмотр к ветеринару, — он стал «их» попугаем и менее

интересен Патрисии и матери, которые перестали разговаривать с ним и часто не обращали на него внимания. Клетку из гостиной переместили в кабинет отца. Сообразительность Жако, сам его вид были для Джерарда постоянным источником взволнованной радости, чувства, которое он понимал как «близость». Попугай представлял собой целый мир, в котором ребенку снисходительно позволялось жить, он был звеном, связывавшим Джерарда со всем, что живо и наделено разумом, аватаром, инкарнацией любви. Джерард знал, и мог в этом не сомневаться, что Жако понимал, как Джерард любит его, и отвечал взаимностью. В умных пытливых, с белым ободком глазах скоро появилось выражение нептичьей преданности и любви. Свидетельством того были и нежная твердая хватка маленьких сухих коготков, легкость доверчивою тельца, внезапный алый разворот расправленного хвоста, даже жесткий черный крючковатый клюв непостижимым образом выражал нежность. Конечно же, скоро Жако стал вылетать из клетки, летал по комнате, садился на руку Джерарду или на плечо, терся головой в мягких перышках о его щеку, перебирался за шеей на другое плечо и заглядывал в лицо. Они часто смотрели друг другу в глаза, когда он был

в клетке, куда охотно возвращался, качался, или подпрыгивал, или пританцовывал на жердочке, или карабкался по прутьям, иногда вниз головой, останавливаясь, чтобы оглянуться или прислушаться или требуя к себе внимания. Было полное ощущение внимательного отзывчивого разума. Серые попугаи не очень велики размером. Джерард часто брал птицу в руки, осторожно прижимал маленькую голову и легкое хрупкое тельце к груди, а то клал за пазуху, к бьющемуся сердцу. Гладил мягкие перышки, а тонкие коготки доверчиво хватали его за пальцы.

Попугай, который какое-то время считался любимчиком Джерарда, постепенно начал вызывать раскол в семье. Матери Джерарда (звали ее Анетта) несколько надоел птичий помет на ковре, что вполне обоснованно. Она и Патрисия возмущались собственническим отношением Джерарда и, в меньшей степени, его отца (имя которого было Мэтью) к птице, и их раздражали постоянные восторги подвигами Жако. Возможно, решил он позже, обе просто ревновали. Во всяком случае, никогда не уделяли Жако достаточно времени и заботы, необходимых, чтобы подружиться с ним. К дикому существу важно приближаться спокойно, не делая неожиданных

движений, говорить тихо и мягко, вести себя привычно, уважительно, быть терпеливым, внимательным и искренним. Джерард чувствовал все это инстинктивно. Патрисия, возможно из ревности и зависти, дразнила птицу, резко тыкала, предлагала еду, а потом отдергивала. Естественно, Джерард сердился. Патрисия говорила в оправдание, что просто играет с Попкой, который, в конце концов, принадлежит и ей. Джерард часто и подробно объяснял сестре, как надо обращаться с птицей, с которой им выпало счастье жить. (Он никогда не употреблял выражения «домашний любимец».) В его отсутствие Патрисия продолжала мучить птицу, пока однажды Жако не клюнул ее в назойливый палец. Сколько было визга и слез! После этого Патрисия близко не подходила к попугаю, и о скандале забыли. Пришло время Джерарду отправляться в школу-интернат. Он сказал Жако, чтобы тот не беспокоился, что скоро вернется, горячо попрощался с ним, прижавшись лицом к прутьям клетки, пока отец звал его, поджидая у машины. Все его письма домой были полны расспросами о Жако, приветами ему. Когда наступили долгожданные каникулы, он приехал на машине с родителями приятеля, радостно ворвался в дом и

помчался в кабинет. Жако там не было. Побежал в гостиную, в кухню. И отчаянно завопил.

Последовали разъяснения. Нет, Попка не сдох, не улетел, просто его больше нет в доме, теперь он живет у кого-то другого. Его отнесли в самый лучший зоомагазин в центре, где его купили некие люди, очень хорошие, как сказал продавец, когда позвонил им, нет, он не знает, кто они, они проезжали мимо и унесли его в машину. «Больше никогда не увидишь его!» — кричала Патрисия. Отец отводил глаза и молчал. Бормотал какие-то оправдания: мол, просто стало слишком трудно ухаживать за ним после отъезда Джерарда, они не могли взять на себя такую ответственность, попугай стал диким и злобным, все пытался клюнуть Анетту, они прочитали в книге, это было лучше для птицы, и прочее и прочее.

Десять минут Джерард был в истерике. Потом замолчал. Ни с кем в семье не говорил два дня. Анетта уже хотела вести его к психиатру. Но совершенно неожиданно он явно повеселел, вновь стал по-прежнему общительным со всеми. О попугае старались не упоминать. «Слава богу, успокоился!» — сказала Анетта. Отец понимал его лучше. И понимал, как ужасно, как непростительно подвел сына. Сдался, позволил женщинам

запугать, перехитрить себя, ради семейного спокойствия капитулировал перед их крикливыми доводами, перед их ревностью и злобой. Поверил (Джерард в этом не сомневался) их лжи. С годами он понял это, порой читая в задумчивом взгляде сына, в его едва уловимо холодной вежливости, что тот его не простил. Даже несомненная его привязанность, даже любовь отдавала тем неисчезающим холодком. Они больше никогда не говорили на эту тему.

Неужели это правда, думал Джерард, неужели действительно можно сказать, что он «так и не простил» отца? «Женщины» его заботили меньше. От них он и не ждал многого. Его любовь к ним, а он любил их, была чем-то менее совершенным, менее вопросом абсолюта, чести, ответственности, принципа. Позже он даже пришел к выводу, что их поступок не был окончательно безрассуден. Оплошность отца, его слабость, его двуличие (поскольку то постыдное преступление было совершено вскоре после его отъезда в школу) глубоко ранили Джерарда. Вместе с потерей веры в безграничную доброту отца он навсегда лишился некоего идеала, чего-то абсолютно надежного, некой опоры в жизни. Столь же глубокой и бесконечной была печаль по неза-

менимому пернатому другу. Все детские годы, больше того, всю жизнь он продолжал тосковать по Жако. Идеи попробовать поискать его, пойти в зоомагазин, нащупать какие-то ниточки и так далее он немедленно отвергал как бесполезные, способные доставить лишнюю боль. Став взрослым, Джерард иногда думал, с грустью думал и волнением, о том, как Жако все еще живет где-то. Проходя мимо какого-нибудь зоомагазина, он изредка останавливался, заглядывал внутрь, нет ли у них серого попугая и, если был, не Жако ли это. Он был уверен, что узнает Жако и Жако его узнает. Но он также боялся, что воссоединение может быть слишком мучительным. В сущности, он был убежден, что Жако еще жив. Он больше никогда не говорил о попугае с родителями или сестрой, никогда не упоминал о нем новым друзьям; ни Синклеру, ни Дункану, с которым так сблизился после гибели Синклера, ни Робину с Маркусом, ни Дженкину с Роуз, никому из своих друзей ни словом не обмолвился. Лишь как-то давным-давно, на площади Сан-Марко в Венеции, когда был там с Дунканом и голубь сел ему на руку, он грустно воскликнул: «О… милый!..», признавшись в «печальнейшем воспоминании», и едва все не рассказал. Если в разговоре речь

заходила о попугаях, он переходил на другую тему; и больше никогда в его жизни не было домашних любимцев: ни кошек, ни собак, ни птиц. Прошлого не вернешь, только разбередишь старую рану. Как хрупки эти нежные создания, которые соглашаются жить с нами, как зависимы от нас, как страдают от нашего невежества, нашего пренебрежения, наших ошибок и немой тайны своего смертного существа.

Надо было, думал Джерард, что-то сказать отцу по поводу Жако, завести как-нибудь разговор. Хотя что он мог сказать, какие найти слова и чему бы это помогло? Не мог же он просто сказать: «Я прощаю тебя» или «Я давно тебя простил». Да и был бы он искренен, не почувствовал бы сразу отец, что он лжет? В любом случае это прозвучало бы слишком напыщенно, как обвинение. Не для умирающего это человека, тяжелый и долгий разговор, и думать нечего. Хотя, когда остается слишком мало времени, не самый ли это подходящий момент для подобных вещей? Или рисковать подобным образом допустимо лишь в иной ситуации и лучше оставить это для священника? Возможно, отец уже не чувствовал себя виноватым, давно выбросил из головы эту историю. Это маловероятно. Джерард понимал,

или думал, воображал, что понимает, тот особый кроткий, выражающий раскаяние взгляд, который перехватывал много раз у отца. С другой стороны, возможно и то, что, когда через несколько лет его самого и сына душевная боль утихла, отец почувствовал обиду на Джерарда, не только потому, что тот отдалился от него, но и потому, что все случилось в первую очередь из-за него, из-за его фанатичной привязанности к проклятой птице. «Охлаждение» почти наверняка произошло само собой, поскольку Джерард к этому времени был уже в Оксфорде, и было естественным. «Прощение» было, должно было быть чем-то, занимающим длительное время, и, возможно, на самом деле имело место, поскольку привязанность Джерарда к отцу была, что наверняка нельзя было не заметить, столь искренней, несмотря на тайную боль, которая больше не выдвигала никаких обвинений. Неужели то, что они никогда не говорили об этом — Джерард не говорил, поскольку именно он должен был сделать первый шаг, — действительно было так важно, так ужасно? Да. И с течением времени становилось все трудней вернуться к той истории без непредсказуемого взрыва эмоций, без риска лишь все усугубить. Нельзя было как бы

ненароком коснуться этого или легко вплести в обычные воспоминания. В конце концов стало поздно вообще что-то делать, и вчера поздно, как сегодня, подумал он. Подумал, что Жако наверняка пережил отца, попугаи живут дольше нас, может и его пережить, надеюсь на это и надеюсь, он счастлив. Не странно ли все-таки, не знать, где он, и, забыв столь многое, продолжать помнить ту историю и переживать те же чувства? Даже сейчас, когда умер отец. Джерард посмотрел в окно на дерево посланий, слабых эфемерных молитв далеким и жестоким богам. Отвернулся от длинной недвижной фигуры на кровати и почувствовал, что наконец к глазам подступили слезы.

Дверь открылась и вошла Патрисия Ферфакс.

— Почему ты здесь? — спросила она. Потом, поняв нелепость своего вопроса, поинтересовалась: — Давно пришел? Я спала, не слышала.

— Недавно, — ответил Джерард, утирая глаза тыльной стороной ладони.

— Спускайся вниз. Почему без обуви? Вон твои ботинки. Обуйся. Видел его?

— Да.

Патрисия посмотрела на фигуру, покрытую саваном, повернулась и быстро пошла вниз по лестнице. Джерард, закрыв дверь, последовал

за ней.

— Хочешь кофе, что-нибудь поесть?

— Да, пожалуйста.

— Полагаю, ты всю ночь был на ногах.

— Да.

Они отправились в кухню, Джерард сел к отскобленному деревянному столу, Патрисия включила электрическую плиту. Джерарда и прежде и сейчас раздражало то, как по-хозяйски она распоряжалась на кухне. Он был вынужден пригласить Пат и Гидеона пожить у себя короткое время, когда тем неожиданно отказали в аренде прежней квартиры, и теперь они вели себя здесь, словно это был их дом. Он чувствовал крайнюю усталость.

— Пат, дорогая, не суетись насчет яиц или чего другого, дай просто немного хлеба.

— Не хочешь тостов?

— Тостов? Да, нет, все равно. Ты сама что-нибудь ела?

— Не могу есть.

Джерарду стало стыдно, что он-то может.

— Расскажи, как все случилось.

— Прошлой ночью он чувствовал себя нормально.

— Он чувствовал себя нормально и днем, когда

я уходил, казалось, ему лучше.

— Я дала ему лекарство, уложила поудобней и пошла спать. А в час ночи услышала, что он стонет и ворочается, так тихо, знаешь, как птица во сне… встала и пошла к нему; он не спал, но… был не в себе…

— Бредил?

— Да, такое уже бывало… но в этот раз очень… по-другому…

— По-другому… как… думаешь, он понимал?

— Он… был… испуган.

— О господи!..

Бедный, думал он, как это ужасно, как жалко его, бедный, несчастный.

— Пат, прости, что меня не было.

— Если бы ты не воспринимал эти танцы как что-то исключительно важное.

— Он мучился?

— Не думаю. Я дала ему то, что всегда. Но у него был такой напряженный взгляд, и он не мог лежать спокойно, словно тело было чужим и невыносимым.

— Напряженный взгляд. Он говорил что-нибудь внятное?

— Да, несколько раз: «Помоги мне».

— Бедный… Обо мне спрашивал?

— Нет. Говорил о дяде Бене.

Бенджамин Херншоу был «беспутным» младшим братом Мэтью Херншоу, отца Вайолет, деда Тамар.

— Он всегда любил Бена. Ты звонила Вайолет?

— Нет, конечно.

— Почему «конечно»?

— Ну не звонить же ей среди ночи? Она никогда не любила папу, ее это мало волнует, она знает, что в завещании о ней нет ни слова.

— Откуда она знает?

— Я сказала.

— Это было обязательно?

— Она сама спросила.

— Мы должны что-то дать ей.

— Ох, оставь, не начинай, у нас без того есть о чем беспокоиться.

— Папа не упомянул ее только потому, что считал, мы позаботимся о ней.

— Только попробуй протянуть ей руку помощи, и она откусит ее, она всех ненавидит!

— Я знаю, она принимала от папы деньги… надо сказать ей, что он говорил о Бене. Что он говорил о нем?

— Не разобрала, бормотал что-то… вспоминал Бена или его штучки…

— Ну вот, опять ты…

— Послушай, Джерри, нам надо решить…

— Погоди, Пат… Он понимал, что… умирает?

— Только в самый последний момент… неожиданно… и так ясно… словно объяснил это…

— И ты видела, как он ушел?

— Да. Он все корчился и ворочался и говорил о Бене. Потом вдруг сел прямо и посмотрел на меня… тем ужасным растерянным, испуганным взглядом… обвел глазами комнату… сказал… сказал…

— Что?

— Сказал медленно и очень отчетливо: «Мне… так… жаль». Потом откинулся на подушку, не упал, а медленно лег, словно собираясь снова заснуть… издал тихий тонкий звук, как бы… как бы… пискнул… и я увидела, что все кончено.

Джерард хотел было спросить, что она увидела, как поняла, чувствовал, что позже не сможет, все должно быть сказано сейчас, но не спросил. Потом у него будет время подумать об этом ужасном, жалобном «Мне так жаль». Он искал его в этот момент, подумал Джерард.

Глаза Патрисии были сухи, и она держала себя в руках, только запинающаяся речь и раздраженный тон ответов на расспросы Джерарда

выдавали ее переживания. Кофе был готов. Она открыла буфет, достала чистую скатерть в красно-зеленую клетку и расстелила на столе, поставила тарелку, чашку с блюдцем, нож и ложечки, масло, джем, сахар, молоко в голубом молочнике, нарезанный хлеб в хлебнице. Поставила кофейник на подставку.

— Молоко хочешь горячее?

— Нет, благодарю. А ты не будешь кофе?

— Нет.

Она дала ему бумажную салфетку. Таким салфеткам, олицетворявшим ее правление в доме, она отдавала предпочтение перед льняными Джерарда. Села напротив и прикрыла глаза.

От дома веяло ужасом, растерянностью, опустошенностью. Наконец-то спокойно сидя в нем, Джерард чувствовал, как все тело его болит от скорби и страха, от скорби, которая была страхом, изнурительным неестественным ощущением, потерей себя. Он сосредоточился на Патрисии. Он знал, что возможно уважать и любить людей и в то же время всей душой ненавидеть их. И те, кого любишь, могут также раздражать, сводить с ума, надоедать. Так он любил мать и Пат. Время и привычка — просто притерпелся — способствовали ее укреплению. Несомненно, это доказываю,

что слово «семья» кое-что значило для него или, может, что он приучился ладить с ними ради спокойствия отца; хотя ради того же спокойствия отца он возмущался их обособленностью, их двойственным союзом против «мужчин», ехидным, насмешливым, скрытным. Ему всегда не нравился их смех, в детстве он приходил в бешенство, когда мать издевалась над тратами отца, негодовал, когда отец смиренно поступался авторитетом и гордостью. И все же в целом они жили в согласии, не считая той ужасной истории и ее отголосков, и он не мог пожаловаться на несчастливое детство. Для Второй мировой отец был слишком стар, а Джерард слишком юн. Он продолжал любить их всех и много позже с сочувствием разглядел в матери и сестре сильных женщин, обманувшихся в своих ожиданиях. Патрисия сознательно отказалась продолжать образование и теперь утомляла своей неуемной энергией, которой не могла найти применения. Она была любящей и хлопотливой матерью и женой, но ее томила жажда некой более обширной сферы деятельности, более высокого положения, большей власти. Он взглянул на нее: усталое лицо смягчилось, может, заснула, губы приоткрыты, уголки опущены, как у маски трагедии, сливаясь

с двумя резкими длинными морщинками. Она была необыкновенной женщиной, унаследовала от матери продолговатое гладкое лицо, строгий и смелый взгляд, постоянно хмурящийся; обладательница такого лица, без сомнения, была бы превосходным товарищем на необитаемом острове. Патрисии шло делать «храбрый вид», «нахальства» у нее хватало, и в детстве она была сорванцом. Ее по-прежнему густые, слегка тронутые сединой довольно короткие светлые волосы (время от времени она делала прекрасную стрижку), обычно взъерошенные, по которым она то и дело проводила рукой, поправляя, придавали ей моложавый, мальчишеский вид. В последние годы она располнела. Но и теперь держала плечи прямо, даже когда расслаблялась, выпуклый подбородок не выпячивала, бюст, впервые обратил внимание Джерард, заметно выступал под цветастым фартуком. Лишь позже Джерард понял, что сестра стала завидовать подтянутой фигуре своей более молодой племянницы и ее привлекательной внешности. Патрисию, некогда женщину интересную, нельзя было назвать красавицей; но у Вайолет Херншоу лицо обладало той неувядающей красотой, которая внушала уважение в любом возрасте. Конечно, Пат считается «успеш-

ной» женщиной, имея состоятельного мужа и «блестящего» сына, а Вайолет, что Пат часто с удовлетворением наблюдала, превратила свою жизнь в совершеннейший кавардак, и все ее чары принесли ей одно несчастье. Бен бросил свою красотку вместе с маленькой дочерью, он был сумасшедший тип, пристрастился к наркотикам и умер молодым. Мэтью, который пытался «спасти» его, страшно горевал, что сын сбился с пути; возможно, чувствовал и свою вину в этой трагедии. Мэтью был человек благоразумный, добросовестный, мягкий. Теперь и он умер. Джерард осознал, что сидит, уронив голову на стол. Он вспомнил, потом увидел это сонными глазами, как его такой положительный отец, который редко прикасался к спиртному, иногда удивлял их, распевая слегка risqué[26] мюзик-холльные песенки, серьезное его лицо тогда преображалось, становясь безумно веселым. Им это его редкое безрассудное веселье казалось детской выходкой, трогательной и заставлявшей смущаться.

— Лучше тебе пойти лечь, — раздался голос Пат.

Джерард поднял голову. Ему снились Синклер

---

**[26] Примечания: 26**
Рискованный (фр.).

и Роуз. Во сне он был молодым. Секунда или две ему понадобились вспомнить, что он давно не молод, а Синклер мертв.

— Долго я спал?

— Какое-то время.

— Пойди-ка лучше ты поспи. Я пока все устрою. Надо позвонить в похоронное бюро…

— Уже позвонила, — сказала Патрисия, — и доктору позвонила за свидетельством о смерти.

— Я позвоню Вайолет.

— И ей я звонила. Послушай, Джерард, на днях мы с тобой говорили о доме в Бристоле, почему бы тебе не переехать жить туда? Ты сказал, что дом тебе нравится. Сейчас тебе не нужно жить в Лондоне.

Джерард окончательно проснулся. Как это похоже на Пат.

— Что за глупости, на кой мне Бристоль, я живу здесь!

— Дом слишком велик для тебя, он тебе не подходит, ты оказался тут случайно. Я только что обсуждала это с Гидеоном по телефону. Мы купим его у тебя. Тебе нравится Бристоль, и тебе необходима перемена обстановки.

— Хватит, Пат, ты ненормальная. Я иду спать.

— И еще одно. Теперь, когда папа умер, я хочу

быть в том комитете.

— Каком комитете?

— «Комитете поддержки» книги. Он состоял в нем, от нашей семьи. Теперь я должна занять его место.

— Ты не имеешь к этому никакого отношения, — сказал Джерард.

— Вы тратите наши деньги.

— Нет, не тратим.

— Папа так это понимал.

Джерард поднялся наверх. Солнце било в окно. Он задернул шторы, откинул одеяло и начал раздеваться. Лег и стал вспоминать немыслимые события минувшей ночи, которые сейчас казались беспорядочными, чудовищными и зловещими, слова сестры, которые будто тяжелым облаком висели над мертвым телом, лежавшим так недвижно и так близко, лицо под саваном. Бедный мертвый отец, думал он, как если бы отца терзали страшные муки, муки самой смерти. Он уткнулся лицом в подушку, застонал, и из глаз его потекли горячие скупые слезы.

~~~

— И что ты намерена делать? — спросил Дункан Кэмбес.

— Уйти, — ответила Джин.

— Возвратишься к нему?

— Да. Извини.

— Ты заранее договорилась встретиться с ним?

— Нет!

— Значит, вы решили это прошлой ночью?

— Ночью или не ночью или этим утром. Мы словом не обмолвились прошлой ночью. Ни единым словом.

Глаза Джин Кэмбес расширились и засияли.

— Думаешь, он ждет тебя?

— Я ничего не думаю… просто ухожу. Должна уйти. Мне очень жаль. Уйти прямо сейчас.

— Я ложусь спать, — сказал Дункан, — и тебе советую. Советую, прошу, не уходи. Останься, не торопись, пожалуйста!

— Я должна уйти немедленно, — ответила Джин. — Не могу ждать. Это… невозможно… неправильно.

— Пошло, не стильно?

Это были первые слова, которыми Дункан и его
~~~

жена обменялись после того, как покинули квартиру Левквиста. Они молча дошли до машины, молча, Дункан почти всю дорогу спал, доехали до дому. Сейчас они находились в гостиной своей квартиры в Кенсингтоне. Вернувшись, оба почувствовали настоятельную необходимость сбросить с себя мятое вечернее облачение и, разойдясь по разным комнатам, торопливо, словно вооружались для битвы, переоделись в более скромную одежду. Дункан стянул с себя мокрые и грязные брюки и надел старые вельветовые, свободную голубую рубаху, не застегивая и не заправляя. Джин стояла перед сидящим Дунканом в желтом с белым кимоно поверх черной нижней юбки и черных чулок, яростно запахнутом на талии. Лицо Дункана уже не пылало от выпитого, но выглядело усталым, распавшимся, нездоровым, бессмысленное и массивное, бледное и обрюзгшее, покрытое мягкими, как бы проведенными карандашом, морщинами. Он сидел неподвижно, пристально глядя на жену, чуть подавшись вперед, крупные руки свисали с подлокотников. Он умылся и почистил зубы. Джин смыла искусно нанесенную косметику и причесала густые темные прямые волосы, как прежде, ото лба назад. Она была замечатель-

ной красавицей, когда, в другую эпоху, в таком далеком, таком похожем на сон прошлом, флиртовала с Синклером Кертлендом. Познакомила ее с ним Роуз, когда все они были детьми. Он и она «сблизились» до того, как Синклер поступил в Оксфорд, и оставались «близки» после, всегда, назло Джерарду. Задумывались ли они всерьез над тем, чего, кажется, все с нетерпением ожидали? Постаревшее лицо Джин сохранило былую красоту, и, чуть мрачноватое, по-прежнему отличавшееся нежной фарфоровой белизной, своенравное и проницательное, теперь оно часто напоминало лицо ее отца иудея, так одержимого верой, так одержимого успехом. Мать ее, тоже еврейка, была талантливой пианисткой. Они соблюдали религиозные праздники. Джин все это ничуть не занимало, ни синагога и музыка, ни романтика бизнеса, которой папаша пытался увлечь ее, единственное свое дитя. Она была одержимой интеллектуалкой. Кто удивлялся тому, что она выбрала Дункана, кто — что она вообще вышла замуж. Родители любили ее, хотя и хотели мальчика. Мать ее умерла, отец преуспевал в Нью-Йорке. Он мечтал о еврейском зяте, но Синклер был особая статья.

Дункан потер глаза, почувствовав, что его

слегка пошатывает; даже в такой момент его неудержимо клонило в сон.

— Когда вернешься? — спросил он. Дункан понял ситуацию и не имел в виду ни завтра, ни через неделю. — В последний раз ты пошла на попятную, то есть вернулась.

— Во второй раз ты не вынесешь. Хотя… кто знает, что ты способен вынести. Я люблю тебя, но это другое.

— Несомненно.

— Я буду вечно любить тебя… но это… Так или иначе, они этого не вынесут, это-то тебя и волнует.

— Кто это «они»? — спросил он, будто не знал, кого она имеет в виду.

— Джерард, Дженкин, Роуз. У женатых не должно быть близких друзей. Может, мы б всегда жили лучше, если б за нами постоянно не следили, а они следят ох как внимательно. И будут на твоей стороне, как в последний раз. Они заботятся о тебе, до меня им дела нет.

Дункану нечего было возразить.

— Они не против тебя, не против, Роуз не против, у тебя с Роуз договор навек.

— Думаешь, у женщин тоже бывает дружба до гробовой доски, скрепленная кровью? Это не

так. — Хотя действительно, у нее с Роуз договор навек. Как Синклер называл их: «Две принцессы». — Почему, черт возьми, ты позволил Краймонду сбросить тебя в Черуэлл, почему стерпел?

— У меня не было особого выбора.

— Не валяй дурака!

— Джин!..

— Ну ладно, ладно. Так что случилось?

— Не могу четко вспомнить, — сказал Дункан. — Я не преследовал его. То есть не искал. Мы неожиданно столкнулись в темноте. Не думаю, что я что-нибудь сказал. Наверно, ударил его или попытался. Мы были у самой воды. И он толкнул меня.

— Боже! Точно как в прошлый раз… ну просто как в прошлый раз. Почему ты такой безвольный, почему не можешь поступить по-мужски?

— Убить его, что ли?

— Похоже, тебя это забавляет… конечно, знаю, это не так, ты лишь все испортил. Ты ударил его кулаком или ладонью?

— Не могу вспомнить.

На самом деле он все отлично помнил и раздумывал, что будет часто, бесконечно возвращаться к той сцене, как это происходило с другой,

Urszene[27]. Отойдя справить нужду, он наткнулся в темноте на Краймонда. Ему только теперь пришло в голову, что Краймонд, должно быть, следил за ним, шел по пятам и все подстроил. Это была своего рода нечаянная встреча, чтобы спровоцировать его на какое-то действие: пожать протянутую руку, спонтанно поцеловать или ударить. Дункан двинул правой, решив, как помнится, не сжимать ее в кулак. Он собирался дать Краймонду пощечину, но, очевидно, опять передумал и ткнул его в плечо, и довольно сильно, потому что Краймонд пошатнулся и отступил назад. Потом Краймонд схватил его и, вцепившись в одежду, развернул к воде. Дункан потерял равновесие и упал. Да, так и было, он вспомнил. Интересно, вот если бы все было иначе и он бы столкнул Краймонда в реку, Джин сейчас так же собиралась бы уйти?

— Значит, только и можешь сказать, что должна уйти?

— Ты ж повиснешь на телефоне, станешь звонить им.

---

**[27] Примечания: 27**

Первичная сцена (нем.) — психоаналитический термин, введенный З. Фрейдом и обозначающий воспоминания из раннего детства, основанные на реальном или воображаемом переживании наблюдения за половым актом родителей.

— Столько презрения вдобавок к грубости.

— Конечно, они и мои друзья, как твои. Я все ставлю на карту.

— Мне такое сравнение не нравится. Намекать, что ты просто жаждешь острых ощущений, более чем несправедливо. Предлагаю тебе переодеться, выпить кофе и успокоиться.

— Я возьму чемодан, — сказала Джин, — а за остальным вернусь как-нибудь, когда будешь на службе. Отправляйся-ка спать, тебя уже шатает. Когда проснешься, меня уже не будет, так что сможешь ругать меня сколько душе угодно.

— Я никогда тебя не ругаю. Просто считаю тебя подлой предательницей.

— Не знаю, что и сказать. И не знаю, что меня ждет, даже буду ли я жива.

— Что, черт возьми, ты имеешь в виду?

— Быть рядом с Краймондом — это все равно что быть рядом со смертью. Я не подразумеваю ничего конкретного… просто это опасно. Он не боится смерти, он из породы камикадзе, в войну он получил крест Виктории[28].

— Он имеет оружие и живет мерзкими фантазиями, только и всего.

---

**[28] Примечания: 28**
Высший военный орден Великобритании.

— И что? Ты тоже имел оружие, когда был членом того клуба, воображал себя снайпером. В Оксфорде ты и Краймонд вечно возились с оружием. Нет, но если он когда-нибудь закончит работу, то может отчаяться.

— И убить себя или тебя? Ты как-то обмолвилась, что он предложил заключить договор о совместном самоубийстве.

— Не совсем так, просто он любит рисковать. Он храбр, не уходит от опасности, говорит правду, он самый правдивый человек из всех, кого я знала.

— Ты имеешь в виду, брутален. Нельзя быть правдивым, не имея других достоинств.

— У него есть другие достоинства! Он увлеченный человек, идеалист, заботится о бедноте и…

— Просто ищет популярности у молодых! Знаешь, что я думаю об этой его «заботе»?

— Он сильная личность. Нас с тобой объединяет слабость. С Краймондом меня объединяет сила.

— Все это пустой звук, вульгарная риторика. Джин, когда мы поженились, ты сказала, мы будем счастливы.

— Счастье. Это одна из наших слабостей.

— С ним ты его точно не найдешь. Но не рассчитывай, что на сей раз это будет союз на смерть или славу. Ты выбираешь тоскливое и унылое рабство

у ничтожного дешевого маленького тирана.

— Ах… если б я только могла объяснить тебе, насколько мало ценю свою жизнь…

— Пустые слова, которые ничего не значат, кроме того, что ты хочешь опорочить наш брак.

— Не знаю, — сказала Джин. Она прислонилась спиной к закрытой двери и сбросила пыльные туфли, в которых танцевала всю ночь. — Ты не прав. Ты упомянул о счастье… я лишь пытаюсь сказать, как мало оно для меня значит…

Дункан сел поудобнее в кресле. Сказал себе: он старается заставить ее спорить, задержать ее хотя бы ненадолго, словно просит у палача пару лишних минут. Значит, он уже отчаялся? Да. Как будто этого и ожидал. Но счастье-то, счастье, которое теперь для нее ничего не стоит!

— Послушай, — сказал он, — мне кажется, эта твоя любовь к Краймонду — вещь несерьезная, чуть ли не какая-то глупость, никак с реальной жизнью не связанная. Вы как двое сумасшедших, которые рвутся быть вместе, но не способны понять один другого…

— Сумасшедшие, да, но мы друг друга понимаем.

Глаза Джин снова расширились, и она тяжело вздохнула, дотронувшись до груди и качая

головой.

— Дорогая моя… когда ты в прошлый раз все же передумала, на то были веские причины.

— Не помню каких-то причин, кроме одной — любви к тебе, и я все еще люблю тебя… но… а, не стану повторяться…

— Если б только у нас были дети, ты бы держалась реальности, а так мне никогда не удавалось убедить тебя, что все это реально. Ты была своего рода гостьей.

— Перестань повторять насчет детей.

— Я уж много лет не повторяю.

— Хорошо, мы никогда не играли в эту игру — мужа и жену, которую ты называешь реальностью. Что абсолютно не мешало нам любить друг друга…

— «Абсолютно»?

— Извини, все, что я сейчас говорю, должно быть, кажется грубым и глупым, это признак того, как кардинально изменилось положение, что я даже не могу говорить с тобой нормально. Но ты понимаешь…

— Ты ждешь, чтобы я и прекрасно понимал тебя, и любил настолько, чтобы не возражать против твоего ухода к другому, причем второй раз!

— Прости, дорогой, мне очень жаль. Знаю, та-

кая рана не лечится. Но это неизбежно. И… тебе это не принесет ничего хорошего… у меня тоже по-настоящему нет будущего… в этом смысле ни о каком будущем тут вообще речи не идет.

— Ты оставляешь мне будущее — одинокое и изуродованное. Но и тебя саму ждет отвратительное рабское будущее, ежедневное, ежеминутное… не говоря уж об остальном, твоя глупость меня просто поражает, — Дункан с заметным трудом выбрался из кресла. — Стоит мне подумать о твоем увлечении, представить тебя с Краймондом, и меня охватывают ненависть, ужас и омерзение.

— Прости. Да, это кошмар. Резня, бойня. Прости. — Она открыла дверь. — Слушай… не пей… больше не пей сейчас, перетерпи.

Дункан ничего не сказал, отвернулся и отошел к окну. Джин секунду смотрела на него, на его широкую спину, сгорбленные плечи, болтающуюся рубаху. Потом вышла и закрыла за собой дверь. Бросилась в свою спальню и отчаянно принялась наспех запихивать вещи в небольшой чемодан. Сбросила кимоно и надела юбку. Тщательно, без изысков, подкрасилась. Когда она разговаривала с Дунканом, лицо ее было непреклонным и спокойным, таким, каким должно. Лицо, отражавшееся сейчас в зеркале, было безумным,

растерянным, судорожно подергивалось. Все время, пока она собирала чемодан, одевалась, подкрашивалась, ее била дрожь, подбородок неудержимо трясся, из горла вырывалось тихое рычание. Она надела пальто, нашла сумочку, секунду постояла, успокаивая дыхание. И вышла из квартиры.

Дункан, который смотрел сквозь листву высоких платанов на площадь, услышал приглушенный щелчок закрывающейся двери и повернулся. Увидел на ковре валяющиеся пыльные туфли, подобрал. Не хотелось, чтобы они вызвали в нем злость или слезы, он бросил их в мусорную корзину и прошел в спальню. Он и Джин теперь занимали разные комнаты. Не то чтобы это имело особое значение в сложном устройстве их супружеской жизни, их союза, их любви, длившихся так долго, так много претерпевших и которым, похоже, наступил безвозвратный конец. Произошло нечто грандиозное, решающее, все его тело понимало это, и у него перехватило дыхание. Итак, это снова повторилось, невероятное, непостижимое, повторилось, повторилось снова. Почему он не заплакал, не завопил, не пал на колени, не умолял, не бушевал, не схватил Джин за горло? А вяло впал в отчаяние. Пытка

убила надежду. Он и на миг не представлял, что Джин способна ошибаться, не думал сказать ей: «Это все твои фантазии, если заявишься к нему, перепугаешь его, поставишь в трудное положение». Он верил, что действительно за всю долгую ночь они не обменялись ни словом. Это было отличительной манерой Краймонда. Дункан знал наверняка, что сейчас Краймонд ждет ее, настолько же уверенный, что она придет, сколь и она сама.

Он искал убежища в отчаянии и в бесповоротности случившегося. Думать о том, что все может еще повернуться по всякому, было выше его сил. Неожиданность итога казалась сейчас равносильной смерти. Внезапное исчезновение Джин, необъяснимое возвращение Краймонда, кошмарное падение в реку. Все это было одной абсолютной, космической, всеобъемлющей катастрофой. Как Джин ошибалась, воображая, что он станет сейчас кому-нибудь звонить! Он чувствовал в тот момент, что, потеряв ее, он утратил и все связи с миром, и не осталось желания длить какую-либо связь с людьми. Он предполагал, что будет опозорен в глазах друзей, унижен, обесчещен, станет стыдиться этого второго поражения, своей фатальной «никчемности», в которой жена

обвинила его. Сейчас его страдание не было связано со стыдом. Разумеется, он «примет ее», если она вернется, но она не вернется, не захочет вернуться к тому, что останется от него после этих терзаний. Ей придется допустить, что он ненавидит ее. Если Краймонд бросит ее, неважно, завтра или через несколько лет, она выберет одиночество и свободу, к чему, возможно, стремилась все это время, когда столько усилий тратила, чтобы хранить верность Дункану и убеждать себя в их взаимной любви. Предпочтет работать и размышлять, посоветуется со своим влиятельным отцом в Америке, откроет для себя какой-нибудь мир, дабы завоевать его, отправится в Индию или Африку, займется крупным предпринимательством, наконец-то найдет применение всей той неуемной умной силе, которую, будучи его женой, растрачивала на достижение счастья, и Джин, возможно, права, рассматривая это как проявление слабости.

Конечно, как Джин Кэмбес, она занималась массой всяких дел, но не тем единственным, великим, о котором мечтала Джин Ковиц. Была секретарем члена парламента, издавала журнал, состояла во множестве комитетов, написала книгу о феминизме. Будучи супругой дипломата,

вела дом с обширной прислугой и бурную светскую жизнь, которая к тому же давала важную информацию. Она и сама была бы превосходным дипломатом и несомненно воображала себя в этой должности и то, насколько бы все изменилось, будь она послом, министром, редактором «Таймс». Как же она могла, думал он, не воспользоваться шансом вырваться на свободу, чем бы ни обернулась история с Краймондом? Возможно, Краймонд нужен ей лишь как трамплин для успешной карьеры? Приятно ли ему будет думать так? Дункан застонал, ощущая, узнавая запах рвущейся, бурля, наружу всей той старой убийственной ревности и ненависти, которые были заперты глубоко, в опасной ядерной капсуле, надолго затопленной в самой мрачной океанической пещере души. Легко было тогда, в промежутке, который сейчас уже начал становиться частью истории, высокомерно рассуждать о бесполезности ревности, ее бессмысленности и несерьезности. За последние двенадцать часов прошла и закончилась эпоха, и уже можно оглянуться на нее, иную и завершенную. Ревность теперь была его учителем, и в ее свете он увидел правду, что Джин любила Краймонда беспредельной любовью, любовью абсолютной, как смерть,

в сравнении с которой свобода была для нее ничто. Она действительно станет, если Краймонд потребует, его рабыней; и, учитывая все это, она не преувеличивала, говоря об уходе к нему как о чем-то смертельно опасном. Какой все было тщетной суетой, все стремления его жизни, все дела и надежды… Теперь ей был дан, и причем самим Краймондом, второй шанс. Ибо Дункан ни на миг не сомневался, что Краймонд явился на бал, чтобы увести ее.

Все началось очень давно. Джин отрицала (но как он мог быть уверен в этом, как она могла быть уверена?), что любила Краймонда в то время, когда все они были молоды, когда Синклер Кертленд был единственным, кто водил ее на танцы, когда все они с такой надеждой смотрели в будущее и были такими свободными. Конечно, Краймонд не оставил ее равнодушной, он никого из них не оставлял равнодушным, от него многого ждали, даже, может, больше, чем от Джерарда. И как мало они добились, все они, в сравнении с высотами, каких надеялись и стремились тогда достичь! Краймонд тоже мало чего добился, во всяком случае так и не преуспел. В определенный период они все слишком много говорили о Краймонде, отчасти, вероятно, пото-

му, что он единственный из их группы сохранил приверженность крайней форме левого идеализма, которым они когда-то увлекались. Что-то со всеми ними произошло, когда погиб Синклер. Он был «золотой мальчик», самый молодой из них, всеобщий баловень, шутник, любимец Джерарда, который (а вовсе не Краймонд) был лидером; только, конечно, они обходились без лидера, поскольку каждый был такой выдающейся личностью и чрезвычайно высоко ставил себя. После смерти Синклера они как будто разошлись на какое-то время, взгляды их изменились, они были заняты карьерой, путешествиями, поисками спутниц жизни. Дункан и Робин недолго оставались в Оксфорде, но потом устроились в Лондоне: Робин в клинике Университетского колледжа, а Джерард в министерстве иностранных дел. Прошло время, Дункан женился на Джин, говорил ей о счастье и был совершенно счастлив, обладая этой красивой восхитительной женщиной, которую тихо обожал в те годы, когда ее окружала другая компания. Краймонд постепенно стал заметной фигурой среди левых политиков, уважаемым или, напротив, печально известным теоретиком, автором «спорных» книг, кандидатом в члены парламента. Он был и остался с тех

пор наиболее знаменитым из их изначальной группы. Краймонд был простого происхождения, чем очень гордился, сыном почтальона и родился в деревне в графстве Галловей. Убедил всех, что не принадлежит к избалованным, оторванным от жизни интеллектуалам. Джин, чьи взгляды ощутимо полевели по сравнению с дункановскими, одно время была откровенной сторонницей Краймонда, даже стала одной из его ассистенток. Писала для него памфлеты о положении, занимаемом женщинами в профсоюзах. Когда тот боролся за место в парламенте (неудачно), она была секретарем его доверенного лица. Что-то должно было тогда начаться, в то время, когда Краймонд был таким важным, таким известным, звездой, фаворитом молодежи. Позже, после первого возвращения, она рассказала Дункану, что в те ранние годы должна была бороться со своим чувством и в конце концов бежала от Краймонда, чтобы не находиться с ним рядом. Уверяла (но насколько искренне?), что никогда не была его любовницей. Времена снова переменились. Дункан покинул академический мир и был теперь на дипломатической службе, Робин (позднее возвратившийся в Лондон) обосновался в Америке в Университете Джона Хопкинса, Дже-

рард — в министерстве финансов, Маркус Филд (потрясший их своим обращением) — в духовной семинарии, Дженкин учительствовал в Уэльсе, Роуз — журналисткой в Йорке, где жила у своих северных родственников. Меньше было слышно о Краймонде, говорили, что он становится «спокойней», более склонен к рефлексии, что взглядов придерживается уже не столь крайних, что даже подумывает об университетской должности.

Дункан никогда особо не любил Краймонда во времена их молодости, считал его тщеславным, и его раздражало, что тот пользовался авторитетом у других. Он сдерживал свою неприязнь, потому что дружил с его друзьями и потому, что уже тогда интуитивно опасался его. Оба они были шотландцами, но дункановские предки с Северного нагорья давно нашли дорогу в Лондон. Когда Джин стала восхищаться Краймондом и даже работать на него, Дункан испытал легкую ревность, но особо не встревожился, как следовало бы. Он был рад, услышав о том, что Краймонд исчез из Лондона и, по слухам, уехал в Америку, а оттуда в Австралию. Прошло время. Дункана направили в Мадрид, потом в Женеву. Потом на временную должность в Дублин, прежде чем перевести (как обещали) на долгожданную и очень высокую в

Восточной Европе. Джин была расстроена, что придется ехать в Ирландию, которую считала застойным болотом, но вскоре увидела, что Дублин вполне занятный город; больше того, Дункан и Джин даже влюбились в страну до такой степени, что приобрели замок в графстве Уиклоу. В те времена недвижимость в Ирландии стоила удивительно дешево, и замок (по подсказке их друга-писателя Доминика Моранти) был «импульсивной покупкой» Джин, которая нашла его, полюбила и придумала купить, раз он стоил так дешево. Дункан сперва ворчал на нее, но, увидев, что они приобрели, похвалил. Замок, который в проспектах фигурировал как «предположительно очень древний», выстроенный из старых каменных блоков одной или нескольких руин, был, судя по разным особенностям архитектуры, построен, несомненно, в конце девятнадцатого века. Когда-то, возможно, от него шел сложенный из неотесанного камня и кирпича арочный переход к стоящей рядом и явно древней каменной хижине. В башне были прекрасные деревянные полы и чугунная витая лестница, и оба строения значительно «осовременены». Электричества не было (что вызвало восторг Джин), зато имелась канализация с дренажом и отстойником. Насос,

легко отремонтированный, качал воду наверх из старого колодца в хижине. Прежний владелец, к тому времени умерший, бывший, как им сказали, «художник» наезжал нерегулярно и последний раз был совсем недавно, так что внутри все было хотя и примитивно, а теперь и голо, без обстановки, но жить вполне можно. Несколько очагов, торф в ближней деревне и множество бесхозного валежника. Джин представляла, как они будут жить здесь в утонченной романтической простоте при свете масляных ламп и горящих дров, искала подходящую деревенскую мебель. Из замка открывался прекрасный вид на две снежные горные вершины, а из верхней комнаты и спальни — на море вдалеке. Жилая часть состояла лишь из двух этажей, но пустая верхушка башни над ними поднималась на внушительную высоту. Дункан восхищался этим местом, а еще радовался тому, что новая игрушка должна была отвлечь Джин от участия в предполагаемой кампании в поддержку контрацепции и абортов, несколько несовместимого с их принадлежностью к дипломатическим кругам.

Стояло лето, ирландское лето, в кои-то веки сухое и теплое, и уик-энды они проводили в замке, занимаясь его обустройством, иногда отправля-

лись на местные аукционы, чтобы прикупить мебель. Это было счастливое время. Замок стоял в миниатюрной долине, теперь тоже принадлежавшей им, среди общипанных овцами лугов. Тут бежал небольшой ручей, росла тополиная роща, повсюду дикие фуксии и вероника. Они, конечно, посетили многие уголки этой прекрасной маленькой страны, где прежде не бывали, и Джин решила, что они должны написать свой путеводитель по Ирландии, объявив все имеющиеся «безнадежными». Они побывали в Башне Джойса[29] и Башне Йейтса[30]. Теперь у них тоже была башня, которую, сказала Джин, следует назвать Башней Дункана. Однако им была не судьба долго наслаждаться спокойной жизнью в башне Дункана. На одном из обедов неожиданно упомянули имя Краймонда. Кто-то со смешком сказал, что тот «приезжает, чтобы разрешить ирландский вопрос». Собирается написать нечто длинное об Ирландии и намерен поселиться в

**[29] Примечания: 29**

Т.н. Башня Джойса расположена в 13 милях от Дублина; Джеймс Джойс (1882–1941) гостил там одно время у ее хозяина, поэта Оливера Гогарти. Ныне в комнате, где жил Джойс, расположен его музей.

**[30] Примечания: 30**

Средневековая ирландская каменная крепость в графстве Голуэй, долгое время в ней жил У. Б. Йейтс (1865–1939) с семьей; впоследствии стала музеем поэта.

Дублине на остаток лета. Дункан не забыл, как у жены, услышавшей новость, лицо буквально исказилось от радости.

Дункана поразило, каким несчастным он тут же себя почувствовал при мысли, что Краймонд будет в Дублине. Почти как в детстве, если бы ему вдруг сказали, что отныне лишают всех игрушек и развлечений. Когда вскоре после этого Краймонд приехал и поселился в квартире на северном конце Гардинер-стрит, Дункан с любезностью почти чрезмерной изобразил, как ему приятно видеть старого приятеля по колледжу. Представил Краймонда всем своим любимым ирландцам (включая Моранти), и того приняли с распростертыми объятиями, как близкого друга уже популярных здесь Дункана и Джин. Дункан находил свою дипломатическую должность сложной и обременительной. Посол лежал в больнице, и буквально всем приходилось заниматься самому. Отношения между Дублином и Лондоном, и без того никогда не бывшие мирными, переживали особенно «деликатный» период. Два премьер-министра, затеявшие нечто (иначе, внесшие «инициативу», как эти обычно бесполезные затеи именовали для приличия), подвергались нападениям не только со стороны

оппозиционных партий, но и группировок в собственных. Надо было ехать в Лондон. Он был занят по горло, голова была постоянно занята делами, так что думать о Краймонде было некогда. А Краймонд между тем перебрался на новую квартиру в Дун-Лэаре с видом на Дублинский залив и устроил прием, пригласив и Дункана с Джин, на который, поскольку Дункан был занят, Джин отправилась одна. Краймонд уже стал вызывать интерес в обществе и, похоже, делал успехи в овладении гэльским. Его политические взгляды, по крайней мере в отношении Ирландии, признавали «здравыми»; а поскольку круг дублинских интеллектуалов был тесен и переполнен сплетнями, Дункан волей-неволей часто слышал его имя.

Дункан, играя роль «друга», конечно, пригласил его на небольшую летнюю вечеринку в башне. Краймонд восхищался окрестностями, вел себя свободно, веселился, как мальчишка, что, как видел Дункан, другие гости оценили. Джин рассказывала о находках по части мебели, о переделке кухни, о том, что они тут посадят, не «сад», разумеется, потому что он тут не к месту, а какие-то кусты и разобьют дорожки. Краймонд был полон идей. Дункан услышал ненароком,

как один из гостей пригласил Краймонда и Джин посетить садовый центр близ его загородного коттеджа, где можно приобрести старинную брусчатку для дорожек, садовую скульптуру — обязательно статуи, непременно, статуя привлекает взгляд и смотрится таинственно среди тополей, не так ли? Краймонд продолжал рассуждать о статуях. Гости напились и безудержно смеялись. Дункан заподозрил, что Краймонд, сомнительно чтобы пьяный и вообще не слишком компанейский по натуре, просто ломает комедию. На другой день Дункан должен был ехать в Лондон. Когда он вернулся, Джин рассказала, что вместе с Краймондом была в садовом центре и заказала брусчатку, купила несколько кустов роз и газонокосилку. После этого иногда в его отсутствие, а иногда и при нем Джин присоединялась к Краймонду и они уезжали на взятой Краймондом напрокат машине осматривать знаменитые места. Однажды они отправились в Клонмакнойс[31], где Дункан еще не бывал, и вернулись довольно поздно. Иногда с ними были (говорила Джин) другие люди, иногда нет. Джин и Краймонд решили осуществить идею написать

**[31] Примечания: 31**
Основанный в VI веке монастырь в Ирландии.

путеводитель по Ирландии. В этот период Джин постоянно была возбуждена и в прекрасном настроении. Дункан то и дело вглядывался в ее лицо, изучая с почти болезненным напряжением, и видел в нем радость, вызванную другим мужчиной, и ее старание скрыть эту радость.

Новому человеку или туристу Ирландия видится просто очаровательной. Но она еще и остров, разделенный, бурлящий, полный старых демонов и давней ненависти. Все это тяжким бременем ложилось на плечи Дункана в его каждодневной работе, и тем тяжелее, чем больше он любил и лучше узнавал страну. Вскоре обнаружилось, и это тоже расстроило Дункана, который готов был выйти из себя по любому поводу, связанному с Краймондом, что тот, хотя и вряд ли был прежде в Ирландии, знает об острове куда больше Дункана. Любой, кто глубоко интересуется Ирландией, должен и глубоко интересоваться ее историей. Оказалось, Краймонд просто ходячая энциклопедия по истории Ирландии. Приходилось выслушивать Краймонда, разглагольствовавшего перед довольной аудиторией о Парнелле, Вольфе

Тоне, даже о Кухулине[32]. Дункану не доставляло удовольствия слушать, как Краймонд с большей, чем когда-либо, показной смелостью высказывает свои республиканские взгляды, а глумление Краймонда над британским правительством в его присутствии казалось преднамеренно вызывающей бестактностью. Дункан не реагировал на провокацию, он наблюдал, изучал лицо жены и спокойно слушал ее, когда она предлагала высказаться о теориях Краймонда относительно Ирландии.

Дункана, подавленного подозрениями и ненавистью, несчастного от страха и отвращения к собственному малодушию и ничтожеству, подтолкнул к действию случай, того рода случай, какие происходят в подобных ситуациях. Он, разумеется, задавался вопросом, какие еще дела есть у Джин и Краймонда, кроме как ездить в его машине осматривать руины замков и посещать садовые центры. Одним воскресным утром, когда Дункан и Джин проводили уик-энд в башне,

---

**[32] Примечания: 32**

Парнелл и Тон — национальные герои, борцы за независимость Ирландии от Англии: Парнелл, Чарльз (1846–1891) — ирландский политический деятель националистического толка; Вольф Тон, Теобальд (1763–1798) — ирландский публицист, политик, отец ирландского республиканизма, покончил с собой в английской тюрьме; Кухулин («пес Куланна») — в ирландской мифоэпической традиции герой, центральный персонаж саг героического (уладского) цикла.

Джин ушла пораньше: она давно задумала перегородить ручей, чтобы образовалась заводь или озерцо. Дункан собирался пойти помочь ей после завтрака, который она, скоро вернувшись, должна была приготовить. Солнце сияло. Дункан стоял у окна их спальни наверху и смотрел на сверкающий треугольник голубого моря между шелковисто-зеленых склонов гор. На небе не было ни облачка, заливался жаворонок, бормотал ручей. Они до сих пор говорили друг другу, лежа в постели: «послушай, как поет ручей». Он видел жену внизу, в закатанных штанах, босую, наклонясь, стоящую в воде, она выпрямилась и помахала ему. Казалось, что еще нужно для полного счастья, того счастья, которое, он это прекрасно знал, было возможно; но только он жил в настоящем аду. Он помахал ей в ответ. Отвернулся от окна, щурясь от яркого солнца и слепящего моря, и взглянул на разворошенную постель, в которой они спали вместе. Они давно уже не надеялись завести ребенка, перестали ходить к врачам, которые предлагали лишь разные бесполезные объяснения. И тут он заметил что-то сбоку на полу их закругленной комнаты, что-то маленькое и неясное на досках у слегка неровного темного камня стены. Подошел и под-

нял. Невесомое, тусклое, тонкое. Он стиснул это в руке, сердце бешено заколотилось, и он тяжело опустился на низкий диван-кровать. Раскрыл ладонь и стал разглядывать то, что лежало на ней. Это мог быть клочок пыли, но нет, это были волосы, рыжеватые, будто человек, мужчина, причесавшись, снял с расчески застрявшие в ней волосы и небрежно бросил на пол. В башню никто не приходил убираться или стирать пыль, доставить продукты или что-то починить, ни у кого не было ключа от башни, кроме него и Джин. Волосы были ни его и ни Джин, они у них темные, это были рыжие волосы Краймонда.

Джин крикнула снизу, что завтрак готов. Дункан положил шарик волос в карман, спустился и с улыбкой слушал, что Джин придумала насчет запруды. Он съел яйцо в мешочек, вышел с ней вместе помогать двигать камни и копать, потом смотрел, как она радуется, когда вода начала заполнять яму. Позже тем же утром он объявил, что ближе к концу недели ему нужно будет на два дня слетать в Лондон. Когда пришло время отъезда, Джин, как обычно, отвезла его в аэропорт. Оставшись один, он накупил сэндвичей, взял машину напрокат и кружной дорогой отправился к местечку на склоне горы, которое

приглядел заранее, где сам он был невидим за разросшимся утесником и поваленными деревьями в гуще плюща, а ему открывался вид на башню в долине внизу. Остановив машину, он взобрался по склону, заполз за стволы, где высокий плющ образовал живую стену, и устроился поудобней так, чтобы, опершись спиной о поваленное дерево, можно было сквозь листву плюща и цветущий утесник наблюдать за башней и ведущей к ней ухабистой дорогой. Достал из футляра полевой бинокль, повесил на шею и стал ждать, охваченный отвратительным, мучительным возбуждением. Ничего не происходило, никто не появлялся. Плющ тоже был в цвету, и множество пчел летало над его желтоватыми цветками, ползало по пестрым тычинкам. Густой пыльный запах плюща мешался с кокосовым запахом утесника. День был в разгаре. Солнце палило; он снял пиджак, взмокнув. Тело было тяжелым и громоздким; было душно, и он задыхался. Скоро то, чем он занимался, стало настолько ему противно, что он встал и спустился вниз.

По дороге вдоль берега он направился на юг, доехал до Уиклоу и снял комнату в маленькой гостинице. В ней не было ни бара, ни ресторана, и он отправился в паб по соседству и заказал виски.

Потом обнаружил сэндвичи, купленные еще в аэропорту, съел один и выпил еще. Вытащил из кармана волосы Краймонда и взглянул на них. Конечно, он считал, что, возможно, происходит что-то серьезное; смутные догадки — это жизнь, неоспоримое доказательство — смерть. Ну, думал он, не торопясь убеждаться, доказательства у него нет. Джин и Краймонд могли подняться в спальню полюбоваться открывающимся оттуда видом на море. Но Джин никогда не говорила, что заходила в башню с Краймондом. Он не мог решить, повторить назавтра свою кошмарную вигилию или нет. Лучше, наверное, вернуться в их квартиру на Парнелл-стрит. Он не думал, что что-нибудь произойдет здесь. Если эти двое встретятся, то наверняка в квартире Краймонда; разве что в его квартире на верхнем этаже дома на морской набережной бывает слишком людно. Нет, если это и произойдет где-то, то только в башне. Но к чему эта суета, думал он по мере того, как вечерело и бар наполнялся посетителями, к чему искать неприятности на свою голову? Скоро мы будем где-то в другом месте, это просто эпизод, подобное случается с каждым. Но чувство говорило: он просто хочет удостовериться, если это есть между ними, он должен знать… а потом

сможет сдаться, примириться, закрыть глаза. Почему он должен позволять этой парочке мучить его? Он сейчас ничего не скажет Джин. Просто не будет обращать на это внимание.

Ему стало жалко себя, какой он несчастный и брошенный, и это на время принесло утешение. Увидел себя со стороны: здоровенный сгорбившийся человек, мрачный, со спутанными темными вьющимися волосами и крупным пылающим красным лицом, набравшийся до безобразия среди толпы ирландцев (женщин в баре, конечно же, не было), которые тоже все были не менее пьяны. Жены, думал он, обманывают их, можно не сомневаться, и они обманывают своих жен, так о чем он скулит, все мы подлые, мерзкие, отвратительные греховодники, клейма негде ставить, лжецы и предатели, а может, еще и убийцы, которые заслуживают, чтобы их истребили, как крыс, или сожгли живьем. И однако вот мы сидим здесь, пьем вместе — эка важность! — он никогда не обманывал Джин, но разве иногда не хотелось? А теперь, возможно, тоже станет, они, как говорится, пойдут каждый своей дорожкой. И, слыша вокруг себя веселые добрые ирландские голоса, он сам начал думать по-ирландски и говорить про себя с ирландским акцентом. Так к чему

теперь волноваться, если его дорогая женушка — чертова шлюха, к чему беспокоиться, что там у нее с этим парнем, или хотеть убить его за это, конечно же, у них то же, что и у всех нас, грязных животных, не лучше ли сидеть спокойно и пить, и само виски не лучше ли Бога? Рядом, бок о бок, сидели люди, толкая, разговаривая с ним, он тоже говорил с ними, пока наконец не стал замкнутым и задумчивым, и побрел, пошатываясь, в гостиницу и завалился спать.

Наутро он проснулся чуть свет, чувствуя себя больным издыхающим зверем. Болел желудок, трещала голова, во рту пересохло, и все тело ныло, было тяжелым, вонючим и жирным. Минуту полежал, накрыв голову одеялом и чуть не скуля от жалости к себе. Потом резко сел, соскочил с постели, оделся, не умывшись, оплатил счет, нашел свою машину и помчался назад на север. Над морским горизонтом сиял холодный белый свет, придавленный низкой плотной серой тучей. Впереди висела завеса дождя, однако откуда-то изредка пробивалось солнце, освещая серую стену тучи, сочную зелень холмов и яркие кроны деревьев. Дальше над горами появилась и исчезла радуга. Он ехал очень быстро. Дико трещала голова, в диафрагме сидела темная железная боль,

на периферии зрения кипели, роились искры, и он, хмурясь, напряженно смотрел на летящую дорогу. Воспоминания о вчерашнем вечере, о его неуверенности, его «к чему волноваться», его решении не обращать внимание, снисходительном приятельстве с другими грешниками полностью выветрились. Сидя, выпрямившись, за рулем и превозмогая мерзкое состояние, он ощущал себя черной машиной воли, мстительной машиной, черной от горя и гнева, движимой одной целью: найти и уничтожить. В нем больше не было никакой сдержанной выжидательной неуверенности, тень сомнения не смиряла его решимости. Неуверенность была бесконечной пыткой, но уверенность, ясность была адским огнем, от которого он несся с воплем. Все это он думал и чувствовал, мчась по мокрому блестящему шоссе, и «дворники» бешено работали, сгоняя с ветрового стекла потоки все усиливающегося дождя.

Свернув с шоссе на узкую дорогу, ведущую к башне, он почувствовал слабость и, затормозив, уронил голову на руль. Его подташнивало. Он не знал, сможет ли ехать дальше. Дождь немного утих, скорей моросил, чем лил, облака поднялись выше, все еще невидимое солнце слало мощный

сероватый свет, в котором трава лужайки рядом казалась особенно зеленой. Он вышел из машины и стоял под изморосью, опустив непокрытую голову и хватая ртом воздух. Подумалось: он сошел с ума, произошло кратковременное помешательство, и он должен как-то остановиться. Было такое чувство, что ненависть, не переставая оставаться ненавистью, перешла в откровенный страх. Слишком многое может произойти, чудовищные вещи, которые переменят всю его жизнь, он способен уничтожить мир, есть в нем сейчас такая сила, уничтожить мир. Он думал об этом, зная, что теперь не может заглушить мотор, который гнал его вперед. Потом поднял голову и увидел рядом каменную ограду и лошадь с коровой, которые глядели на него. Дождь прекратился. Лошадь подошла к ограде. Он подумал, что может съесть сэндвич, у него еще осталось несколько, что может подойти и погладить лошадь, что это удобный предлог отсрочить предстоящее, в самом деле: взять и спокойно постоять с лошадью и коровой. Он вернулся в машину и поехал вперед. В башне никого не окажется, говорил он себе, и можно будет поехать дальше, в Дублин, домой и отдохнуть, и все будет как обычно, и подумать спокойно и без боли. Он было задумался: ехать

ли прямо к башне, но увидел, что уже едет по дороге, которая шла позади его засады на холме. Остановил машину, вышел и посмотрел на часы. Было около девяти утра. Он полез, задыхаясь от усилия, по крутому скользкому травяному склону, цепляясь за траву и кустики. Взобравшись на вершину, не стал прятаться, а стоял, выпрямившись и глядя на долину внизу. Перед башней стояла машина Краймонда.

Дункан пошел, не торопясь и кажучись скользящим над травой привидением, вниз к башне. Минут через десять он был внизу. Пели птицы, в траве росли какие-то мелкие цветочки. Все было мокро и блестело на выглянувшем солнце. У подножия склона на него удивленно уставились черномордые овцы, которые поспешили разбежаться. Он перешел ручей чуть выше запруды Джин. Ему вдруг ясно привиделся Краймонд, нагой, высокий, бледнокожий, тонкий, как скальпель, стройный, как афинский юноша, длинноносый, со сверкающими глазами. Двери хижины и башни были нараспашку. В кухне никого. Дункан вошел в башню и стал подниматься по витой лестнице. Он поднимался уверенно, неторопливо, не стараясь приглушать шаги. Лестница вела не прямо в спальню, а на небольшую

площадку. Он открыл дверь спальни.

Его появление вызвано переполох. Краймонд, не голый, как представлялось Дункану, стоял, надевая через голову рубашку. Джин, сидевшая на дальнем краю постели, куталась в одеяло и оглядывалась через плечо на дверь. Позже Дункан припомнил, что в первые секунды подумал: а что дальше, стоять и смотреть на них, наверно, что-то сказать? За эти секунды Краймонд успел надеть рубашку. В следующий миг Дункан огромным диким зверем бросился вперед, всем своим весом стремясь сокрушить жертву. Отбросил его назад, схватил, стиснул в своих медвежьих лапах, чувствуя хрупкость его костей, гладкую кожу под задравшейся рубашкой и ужасное тепло плоти. Не отпуская, с силой ударил ботинком по тонкой голой ноге. Пронзительно закричала Джин. Несколько секунд они крутились на месте, потом Дункан почувствовал болезненный удар вбок, когда Краймонд освободил одну руку. Он на секунду ослабил хватку и, получив удар коленом в живот, отлетел к двери. Джин снова завопила: «Прекратите! Прекратите!» Короткая передышка. И Дункан, яростно взвыв, снова бросился на противника, вытянув руки со скрюченными пальцами. Краймонд шагнул ему навстречу и

что есть силы нанес прямой удар между глаз. Дункан вылетел в открытую дверь и покатился по лестнице вниз.

Это был бой, который имел долгие и серьезные последствия; и Дункан сразу понял: самое ужасное, что должно было случиться, с ним случилось. Позже он представить не мог, как умудрился грохнуться и пересчитать своей тушей все железные ступеньки. Головой, плечами, спиной, ногами он бился о перила, о жесткие острые края ступенек, с грохотом рухнул на пол и мгновенье лежал, потрясенный. Но, уже лежа на полу, даже, как позже казалось, еще катясь вниз, он знал: что бы он там ни повредил еще, что-то ужасное случилось с глазами. Боль была невыносимая, но хуже боли было ощущение, что оба глаза повреждены, а один буквально раздавлен. Он медленно поднялся, спрашивая себя, не сломаны ли еще рука или нога. Середина поля зрения, казалось, пропала, а на периферии кипели серые искры. Он, хромая, медленно, осторожно вышел из башни и потащился по стриженой траве к холму. Он не стал ждать, последует ли кто за ним, поинтересоваться, не слишком ли он ушибся. Позже Джин сказала, что Краймонд силой удержал ее, не дал выйти. Дверь после того, как он вылетел в

нее, захлопнули, и, возможно, никто не слышал, как он считал ступеньки. А тогда его беспокоило только одно: быстрей добраться до больницы. Он перешел ручей прямо по воде, вполз на склон, цепляясь за мокрую траву. Потом, напрягая все внимание, поехал назад в Дублин.

Сперва он заехал в госпиталь «Ротонда», оттуда его направили в глазную клинику. Добравшись до нее и сев в кресло, он на короткое время почти полностью ослеп. Его водили под руку санитары, медсестры, ему задавали вопросы, укладывали на спину, закапывали в глаза, светили ярким светом, наклоняли над лицом какие-то аппараты. В конце концов сказали, что к одному глазу, вероятно, вернется нормальное зрение, другой же нуждается в операции. А пока, поскольку он явно получил сотрясение, лучше будет отправиться домой и отдохнуть. Выведенный на улицу, он, сжимая в руке карточку с датой повторного посещения, обнаружил, что видит вполне достаточно, чтобы дойти пешком до квартиры на Парнелл-сквер. Пока он добирался, в голове созрело решение: никто не должен знать о том, что произошло. Врачам он, разумеется, сказал, что просто упал. Теперь очень важно скрыть, если возможно, и травму, и позор поражения. Это подразумевало

отъезд, и немедленный, из Дублина, где все тут же обо всем узнают. Ему страшно не хотелось видеть Джин, и он испытал огромное облегчение, не найдя ее в квартире. Он беспокоился, сможет ли снова когда-нибудь читать, работать. Его жизнь изменилась решительным образом; он сам изменил ее, насильственно. Он позвонил в посольство и договорился, что не придет, вызвал такси и поехал в аэропорт. Надел черные очки, чтобы скрыть синяки. Потом вспомнил, что взятую напрокат машину оставил у «Ротонды». Почтой отправил ключи секретарше, мисс Пэджет, с просьбой вернуть машину в прокатную контору. Он успел на самолет до Лондона, а там поймал такси до глазного центра «Мурфилдс». Долгий был день.

Свой лондонский дом, теперь в пригороде, в Патни, они сдали, так что Дункан остановился в отеле. Джин он послал записку, в которой просто сообщил адрес своего клуба. Ему было не до нее, его беспокоило состояние своего здоровья, он посещал клинику Университетского колледжа, где его проверяли на предмет сотрясения. О том, что ответит Джин, старался не думать. Один ответ от нее уже пришел, возмутительный, непостижимый: «Почему ты убежал?» Позже, вскоре

после операции на втором глазу, пришла другая записка, в которой она сообщала, что живет с Краймондом. Письмо от Доминика Моранти подтвердило новость; тот писал, что об этом знает уже «весь Дублин». Моранти выразил ему свое сочувствие, без которого Дункан вполне мог обойтись, и возмущение тем, что «каждый» винит в случившемся Дункана, его безумную ревность. Дункана не удивило, что сплетня защищала любовников; он испытал облегчение от того, что в бестактном послании Моранти не упоминалось о главном моменте, который, конечно же, был бы куда всем интересней, если бы о нем прослышали. Вскоре после этого Дункан отправил в министерство иностранных дел официальное прошение об отставке. Он написал Джин, что ушел в отставку и живет в Лондоне. И добавил, без жалоб и нежностей: «Предлагаю тебе вернуться». Несколько дней спустя Джин ответила, что огорчена его отставкой, что остается в Дублине и ждет распоряжений относительно квартиры, машины и «недвижимости» (слово «башня» не упоминалось). В постскриптуме приписала: «Очень сожалею». Дункан попросил своего адвоката уведомить ее о получении письма.

Как позже понял Дункан, он смог равнодушно

пережить всю эту отвратительную историю благодаря психологической тревоге, другой заботе, ходя, «как на работу», в «Мурфилдс». Потом он спрашивал себя, а если бы он вопил, обвинял и умолял, хотя бы в письмах; нет, в его тогдашнем состоянии он и представить себе такое не мог. Потом он горько жалел, что не попытался какими-нибудь умными, страстными доводами уговорить жену вернуться. Мстительная ненависть к Краймонду, Краймонду, которого он воспринимал почти как убийцу, отозвалась в нем ледяной холодностью к Джин. Если бы он был в состоянии думать о ней просто, с любовью, он писал бы ей многостраничные письма, омоченные слезами. Но что делать: в его воображении и в его снах между ними стоял Краймонд, тонкий, как скальпель, высокий, как курос, бледнокожий и мерцающий. Между тем, однако, его «работа» продвигалась неожиданно успешно, ни в коем случае ничего не было потеряно. К правому глазу постепенно вернулось нормальное зрение, а левый, хотя в центре и оставалось непонятное мутное «пятно», все же достаточно восстановился, помогая напарнику видеть. Он и прежде пользовался очками, и теперь со значительно более толстыми линзами надеялся вернуться к нормальной

жизни: ходить и читать, что в конце концов и получилось. Более того, была даже надежда, что состояние его зрения еще улучшится и он сможет снова водить машину. «Пока вы видите не просто глазами, а мозгом, — объяснил его неунывающий врач, — и поразительно, какую невероятную коррекцию он способен производить!» Тот же врач уверил, что его «подозрительный глаз», безусловно, смотрится недурно, «очень мило», даже «поистине очаровательно».

Тяжкое это испытание отняло у Дункана все силы. Он был вынужден входить в роль слепого, лишившись возможности читать. Чувствовал холодную тень смерти, твердо решив покончить с собой, если вновь не сможет читать. Теперь же, когда он постепенно начал освобождаться от одного кошмара, им завладел другой. Душа его опять обрела способность страдать, но уже по иной причине. Ему снова и снова виделись башня, спальня, Краймонд с рубашкой в руках, Джин, оглядывающаяся через плечо, удар, его падение. Краймонд снился ему. Джин не снилась, разве что, может, в виде черного грязного пятна или черного кома, который присутствовал во многих снах. Днем и ночью он желал ее, жаждал, чтобы она была рядом, воображал ее возвращение, их

примирение, счастье. Он мучился раскаянием и представлял себе бесчисленные варианты того, как можно было избежать случившегося. Следовало откровенно поговорить с Джин, а не шпионить за ней, усовестить, предостеречь, надо было защитить жену вместо того, чтобы становиться ей врагом. Следовало не уходить в отставку, а остаться в Дублине и справляться со всем там, с глазами и прочим. Она обвинила его в бегстве. Он спасался от мучений, которые могли бы вызвать у нее сострадание, слишком быстро смирился с поражением вместо того, чтобы сражаться до победы. Теперь было слишком поздно… или нет? Его парализовала ненависть к Краймонду… или это был страх?

Дункан не позаботился сообщить о своем возвращении никому из друзей. В это время Джерард, Дженкин и Роуз были в Лондоне: Джерард работая в аппарате правительства, Дженкин преподавал в политехническом, Роуз занималась журналом. Конечно, новость о том, что Дункан ушел в отставку, разошлась очень быстро, потом узнали, что его брак расстроился, и, наконец, что третьим в треугольнике был Краймонд. Джерард, первым услышав новость от друга в министерстве иностранных дел, позвонил Дженкину, затем Роуз,

те ничего об этом не знали. Роуз сказала, что ей показалось странным, когда Джин не ответила на ее письмо, а переписывались они часто. Джерард, который переписывался с Дунканом лишь от случая к случаю, теперь тоже заметил, что от того нет никаких известий. Дженкин вообще почти никому не писал. Джерард взялся проверить все умножающиеся слухи и пришел к заключению, что молва говорит правду. Ситуация была явно не для телефонного разговора. В любом случае у них не было привычки обсуждать что-то по телефону. Джерард сказал, что они должны что-то предпринять, как люди не посторонние для Дункана. Набросав несколько вариантов, он наконец послал Дункану в высшей степени тактичное письмо в Дублин, где, как думал (не представляя, что тот столь быстро уедет оттуда), еще находится его друг. Написала письмо и Роуз, но адресованное Джин, тоже осторожное, хотя очень краткое и совсем в ином духе, нежели Джерард. В обоих письмах не говорилось «о главном», лишь упоминалось о том, что они слышали нечто и выражают свое беспокойство и сочувствие. Дженкин послал Дункану открытку со словами: «Благополучия! С любовью, Дженкин». Открытку выбирал тщательно (это был мирный пейзаж

Сэмюела Палмера) и положил ее в конверт. Сии послания в должное время проделали путь обратно, в Лондон, в клуб Дункана, где он регулярно забирал свою почту, надеясь когда-нибудь снова получить весточку от Джин. Между тем Роуз, Джерард и Дженкин держали постоянную связь друг с другом и встретились в доме Джерарда в Ноттинг-Хилл, чтобы обсудить ситуацию. (К этому времени Робин Топгласс уже женился и переехал в Канаду.) Они единодушно склонились к тому, чтобы всю вину возложить на Краймонда. Потом стали сравнивать свои мнения о нем, повторяя, что не должны руководствоваться неприязнью к его политическим взглядам. И пришли к заключению, что приверженность к экстремистскому воинствующему социализму многое говорит о его личности, что он «шальной», непредсказуемый человек. Согласились, что, хотя уважали и отдавали ему должное в Оксфорде, по-настоящему не знали его. Искренне тревожились о Джин и Дункане, однако было все же любопытно, что произошло. Все эти разговоры (когда они бесконечно повторяли: «Конечно, мы не знаем фактов!») ничего не решили, но в них родилась крайняя неприязнь Роуз к Краймонду, которая поздней сыграла важную роль. И никто

из них не знал, где находится Дункан.

Позже, получив долгожданный положительный вердикт в «Мурфилдсе», Дункан, который ничего больше не слышал о Джин и сам не писал ей, и решительней пытаясь наладить свою жизнь, понял, что жалеет о том, что остался без работы. Тогда-то, но не по причине этого сожаления, а потому, что пришло время, он наконец написал Джерарду, просто сообщая свой адрес и приглашая где-нибудь посидеть за стаканом вина. Дункан перестал скитаться по гостиницам и снял маленькую квартирку в Челси, где жил чокнутым безымянным одиночкой. О том, что было сказано на той встрече, никто из них впоследствии не распространялся. Да, пожалуй, ничего особенного и не говорилось, но сама встреча была важной. Дункан в общих чертах описал Джерарду то, что произошло, опустив драму в башне. Согласно этому описанию, Дункан, постепенно поняв, что Джин влюблена в Краймонда и что они, вероятно, любовники, получил некое доказательство (он не пояснил, что это за доказательство, а Джерард не спрашивал) того, что они действительно стали любовниками, и вскоре после этого Джин заявила ему, что намерена оставить его. С тех пор, кроме письма с подтверждением, что она живет с Край-

мондом и не собирается возвращаться, от нее не было никаких известий. Естественно, Джерарду хотелось бы узнать побольше подробностей, но он, естественно, не настаивал. Встреча была важной и для Дункана, потому что он получил возможность проверить, не воспринимается ли поврежденный глаз как значимое свидетельство. На самом деле Джерард не заметил, что с глазом что-то не так, и только тогда обратил на него внимание, когда Дункан сказал о «проблеме с глазом». Они малость напились и вспомнили, хотя и молча, время, когда, после гибели Синклера, были любовниками. Джерард, вслух не высказывая сожаления о поспешной отставке Дункана, в которой не видел необходимости, затронул вопрос работы. Что теперь? Преподавание? Нет. Политика? Ни в коем случае. Тогда почему не служба в аппарате правительства? Дункан, заявив, что он «конченый человек», что «способен лишь стоять в очереди за пособием по безработице» и прочее в том же духе, согласился, что идея неплоха, переходы с дипломатического поприща в Уайтхолле случались и, хотя он так резко «обрубил концы», возможно, еще не все потеряно. Вскоре после этого его приняли на службу, не в тот департамент, который бы он предпочел, но

на очень даже обещающий и интересный пост.

Драка в башне случилась в июне. Устроившись на новую работу, Дункан написал Джин, что любит ее и надеется на ее возвращение. Это было в августе. Ответа он не получил. От Доминика Моранти продолжали время от времени приходить письма, сообщающие, что Джин и Краймонд по-прежнему вместе и это начинают воспринимать как само собой разумеющееся. У Дункана теперь было даже больше времени и сил чувствовать себя несчастным. Он еще наведывался в глазную клинику, но первоначальные ужасные страхи потерять зрение прошли, и он перестал воображать себя «конченым человеком». Он отговорил Роуз и Джерарда от планов, разумеется неопределенных, «что-то с этим делать» (отправиться в Дублин, уговорить Джин, осудить Краймонда и так далее). И предался отчаянию. До поры до времени вокруг обманутого и брошенного мужчины толпятся друзья и знакомые, он всегда вызывает сочувствие, заставляет думать о себе. Дункан был благодарен Джерарду, Роуз и Дженкину за их искреннюю заботу. Их разнообразные попытки отвлечь его ничуть не отвлекали, его больше тянуло побыть в одиночестве, наедине со своим страданием, горем, утратой, даже ревностью,

навязчивыми видениями Краймонда, раскаянием и сожалением, болезненной тоской по жене. Ему хотелось отдаться своему несчастью, вновь и вновь возвращаться к прошлому, перебирать разные «если бы только…», пока не избудет все это, а оно не доконает его.

Затем Джин неожиданно вернулась, в ноябре. Был холодный вечер, сыпал мелкий снежок. Дункан, как обычно, сидел с бутылкой виски и книгой у газового камина в своей маленькой квартирке. Раздался звонок в дверь. Время было позднее, и гостей он не ждал. Он спустился вниз, зажег свет и открыл наружную дверь. Это была Джин. Дункан мгновенно развернулся и ринулся вверх по ступенькам к открытой двери квартиры. Позже он еще вспоминал, как опирался о перила. Он набрал вес, был усталым и не совсем трезвым. Он услышал стук закрывшейся парадной двери и шаги Джин, поднимавшейся следом. Она вошла за ним в квартиру и, закрыв дверь, прошла в гостиную. На ней были черный дождевик и темно-зеленая непромокаемая шляпа, слегка припорошенные снегом. Она сняла шляпу, посмотрела на нее, стряхнула снежинки и отбросила в сторону. Потом выскользнула из дождевика, оставив его лежать на полу. Негромко

всхлипнула, бросила быстрый взгляд на Дункана и отвернулась, стиснув ворот платья. Дункан, который отступил к камину, стоял, сунув руки в карманы, и смотрел на нее спокойным, отчасти испытующим взглядом, который никак не выражал его чувств. Он, конечно, почувствовал, едва увидев ее, что она по-настоящему возвращается к нему. Это не было переговорами о перемирии, это была капитуляция. Перед его глазами вспыхнул золотой свет, и сердце чуть не разорвало грудную клетку. Он едва не заплакал от нежности, едва не потерял сознание от радости; но что подействовало на него успокаивающе и помогло вынести эту сцену, о чем он позже вспоминал с удовлетворением, так это чувство триумфа. Это была сладостная и заслуженная награда. И еще он чувствовал, как рвется наружу долго сдерживаемый гнев, будто наконец он мог тряхнуть ее, ударить. В эти долгие секунды она была в его власти. И эта недостойная мысль дала ему силы казаться столь спокойным и безразличным. С Джин у него на глазах тоже происходила подобная перемена: она успокаивалась, становилась тверже. Возможно, она надеялась на восторженную встречу и готова была расплакаться. В первом ее взгляде была мольба. Теперь она нахмурилась, пригладила

волосы, снова повернулась к нему и сказала:

— Думаю, ты ждешь от меня объяснений.

Дункан промолчал.

— Итак, если коротко, я ушла от Краймонда, с ним покончено, и хотела бы вернуться к тебе, если ты этого хочешь. А если не хочешь, я уйду, прямо сейчас, и мы можем оформить развод или еще что, как тебя больше устроит.

Лицо Джин, попавшей с холода в тепло комнаты, еще было красным, на подбородке блестели капельки влаги от снежинок, залетевших под шляпу. Она посмотрела на свой дождевик, валявшийся на полу, и, рассудив, что зря сняла его, поскольку, видимо, придется сразу и уходить, подняла и стала снова надевать.

Дункан так долго сдерживал себя, что было очень трудно выразить свои чувства, и растерялся, не зная, что и как сказать. Наконец, глядя, как она одевается, выпалил непроизвольно:

— Что ты делаешь с этим дождевиком? Снимай.

Джин выронила дождевик, Дункан шагнул к ней и заключил в объятия.

Так закончился первый эпизод с Джин и Краймондом и возродилось их супружеское счастье, продолжавшееся много лет, вплоть до вышеопи-

санной истории на летнем балу.

Что касается книги, то это, собственно, совершенно другая история, которую можно объяснить более коротко. Другая и, однако, с годами все в большей степени вторгавшаяся в судьбы друзей и сказавшаяся, по крайней мере эмоционально, на отношении Краймонда к Джин и Дункану. Все началось очень давно, когда еще был жив Синклер, и, как они признали позже, тогда глубокое влияние оказало то, что Синклер выступил в защиту спорного труда Краймонда.

Когда они были еще молоды, лет по двадцать, когда Джерард и Синклер жили вместе и основали и выпускали свой недолго просуществовавший левый журнал, они часто встречались с Краймондом. Тот, малоизвестный в то время, с головой погрузился в политику и только что был исключен из компартии за левацкий уклон. Он жил в Бермондси в «меблированных комнатах», как он это называл, явно сидел без гроша и был преисполнен революционного пыла. Они все были левыми в разной степени. Робин тоже состоял, хотя и недолго, в компартии, Синклер объявил себя троцкистом, Дункан и Дженкин были радикальными сторонниками лейбористов, Джерард — тем, что Синклер охарактеризовал

«забавным английским социалистом в духе Уильяма Морриса»[33]. Роуз (в то время пацифистка) и Джин только что окончили университет. У них происходили долгие возбужденные, иногда ожесточенные политические споры в «мебли-рашке» Краймонда, или на квартире у Джерарда и Синклера, или на «литературных чтениях» в загородном доме родителей Кертлендов. Синклер очень любил Краймонда, хотя не в той степени и не так, чтобы это могло вызвать ревность Джерарда. Они все были свободны и великодушны, не ревнивы в своих привязанностях, что встречало одобрение Левквиста и что они сами подметили, к своему удовлетворению. Все они любили Краймонда, хотя даже в то время тот был человеком, менее остальных связанным с группой. Кроме того, и это было важно, он вызывал их восхищение и уважение своей большей в сравнении с ними политической активностью, большей страстностью, большим аскетизмом. Он был еще и более политически подкован и умел выводить из своих идей теории. (Студентом он проявлял

**[33] Примечания: 33**

Моррис, Уильям (1834–1896) — наивный социалист в области политики. У. Моррис оставил видный след в литературе как поэт и прозаик, а главным образом в изобразительном искусстве как художник и дизайнер, став одним из основоположников последнего.

очень большие способности к философии.) Тогда он уже начал писать памфлеты, которыми стал известен впоследствии. Он жил очень скромно на случайные журналистские заработки и сбережения от студенческого пособия, которое получал в Оксфорде, работы не имел и не искал. Кроме регулярных поездок в шотландский Дамфрис, навестить отца, он мало путешествовал. Был известен умением «жить на гроши», не пил и ходил в одном и том же с тех пор, как друзья помнили его. Любил селиться среди самой отчаянной бедноты.

Примерно в этот период во время захватывающих политических споров Краймонд заговорил о большой квазифилософской книге, которую вознамерился написать и план которой иногда излагал по настоянию Джерарда и компании. К этому моменту сбережения Краймонда начали истощаться и он (как признался Джерарду, когда тот спросил его прямо) собирался подыскивать работу на неполный день; любую, как он сказал, хотя бы и неквалифицированную. Было ясно, что бесполезно пытаться убеждать Краймонда «присоединиться к истеблишменту», пойдя работать в университет преподавателем или куда-нибудь администратором. Джерард занимал малоопла-

чиваемую должность в Фабианском обществе, но у Роуз и Синклера имелись «собственные деньги», а Джин, имея папашу-банкира, была богачкой. Они обсудили положение Краймонда и посчитали, что будет жалко, если ему придется тратить время на какую-то другую работу, когда ему следует размышлять и писать. «Он должен писать свою книгу! — сказал Синклер и добавил, только полушутя: — Чувствую, нашей эпохе эта книга нужна как воздух!» И Синклер же предложил всем им объединиться и регулярно помогать Краймонду определенной суммой, чтобы тот мог всецело посвятить себя интеллектуальному труду. «В конце концов, — сказал Синклер, — писателям часто помогают их друзья, взять хотя бы Рильке, жившего во всех этих замках, и Musilgesellschaft[34], которое оказывало помощь Музилю». Вполне возможно, что Краймонду действительно сообщили о некоторых подобных проектах и он их высокомерно отверг, во всяком случае ничего тогда не вышло. Впрочем, они не забыли об идее Синклера образовать некое

**[34] Примечания: 34**

Общество поддержки Музиля. Впоследствии, в 1974 году, в Вене был основан одноименный фонд для изучения и популяризации творчества Роберта Музиля (1880–1942), одного из крупнейших, наряду с Д. Джойсом и М. Прустом, европейских писателей-модернистов.

Crimondgesellschaft, которое позже называли между собой просто Gesellschaft, или Братство.

Время шло. Синклер умер. Краймонд вступил в лейбористскую партию. Он становился популярной фигурой ее крайне левого крыла и с уважением признавался видным мыслителем. Баллотировался в парламент. Дункан находился в Лондоне (после Женевы и Мадрида), и Джин работала (бесплатно, конечно) у Краймонда научным ассистентом. Джерард и Роуз не забыли о задуманном Синклером Братстве, и, когда оно позже появилось, Роуз высказала мнение, что это объединение в помощь Краймонду должно послужить своеобразным памятником Синклеру, который так восхищался им. На тот факт, что Краймонд остался на крайне левых позициях, тогда как остальные теперь придерживались более умеренных взглядов, они, конечно, не обращали внимания. Как согласились Джерард и Дженкин, в некоторой степени все они чувствовали вину перед Краймондом, а именно из-за его аскетизма и беззаветной верности своим убеждениям. После выборов (это было безнадежно, он и не ожидал, что пройдет) Джерард по подсказке Роуз вновь спросил Краймонда о книге, которую тот, как однажды признался, хотел написать. Джин и

Дункан были в Мадриде. Краймонд, который перебрался жить в более просторную, но такую же убогую квартиру в Камберуэлле, в южной части Лондона, ответил, что вот-вот примется за нее. Он также упомянул (в ответ на вопрос), что устроился на неполный день помощником в партийную книжную лавку. Джерард посоветовался с остальными: Роуз, Дженкином, Дунканом и Джин. А также с отцом, а Джин — со своим папашей. Был составлен неофициальный документ, конечно не имевший силы юридического, определявший Братство как группу сторонников, которые будут ежегодно выделять определенную денежную сумму, достаточную, чтобы обеспечить Краймонду свободное время для написания книги. Мэтью, отец Джерарда, присоединился к ним, потому что в молодости был ярым социалистом и теперь стыдился своего равнодушия к политике. Отец Джин, Джоэл Ковиц, который собирался сделать самый крупный вклад, присоединился потому, что обожал дочь и слушался каждого ее слова. Дальше вопрос стоял так: примет ли Краймонд деньги; по этому поводу возникли разногласия, даже заключались пари. Джерард с некоторым беспокойством встретился с Краймондом, рассказал о плане и представил документ. Краймонд

сразу отказался, но потом сказал, что подумает. Прошло еще какое-то время. В конце концов под давлением Джерарда, а затем Дженкина Краймонд согласился.

Так возникло Братство. Ни о каких сроках, конечно, речи не шло. Комитету, состоявшему из упомянутых членов (один Джоэл никогда не появлялся), предстояло решить, увеличивать ли взносы (с ростом инфляции) или корректировать (в соответствии с положением дел у жертвователя). Затем все вроде как затихло. Благотворители предпочитали не задавать вопросы о книге, чтобы не возникло впечатления, будто они опасаются за свои вложения, а Краймонд после естественной первой благодарности ничего не говорил о том, как идет работа, да и признательности больше не выражал. Больше того, как они удрученно заметили, он немедленно и почти полностью порвал отношения с «благодетелями» и, по слухам, должен был отправиться в Америку. («Увы, этого можно было ожидать», — понимающе сказал Дженкин.) А вскоре драма в Ирландии и ее следствие, уже известное читателю, заставили всех их, а особенно Роуз, глубоко переживать и даже вызвали гнев на Краймонда. После этого и после возвращения Джин к Дункану дружба,

даже общение с человеком, способным на подобное, казалось, невозможны, хотя деньги для работы над книгой, конечно, продолжали поступать обычным порядком, как было обещано. Роуз высказала мнение, на которое остальные не решались, что теперь Краймонд не должен был бы принимать от них помощь. Но разумеется, как они по здравому размышлению решили, необходимо отделять свое возмущение от обещания и от особой заинтересованности, побудившей это обещание дать, заинтересованности, бравшей начало в прошлом — изначальной идее Синклера и даже еще более давней привязанности Синклера к Краймонду.

Верность Джин и Дункану какое-то время исключала общение с Краймондом, но постепенно Джерарду стало казаться нелепым считать обязательным игнорировать его. Джерард был не способен «отсечь» от себя человека, близко знакомого, кого, как в данном случае, знал так долго; чем ты старше, тем важней для тебя, что кого-то знаешь «всю жизнь». Во всяком случае, он был заинтересован в Краймонде и с неохотой пошел на то, чтобы прервать общение с таким необыкновенным человеком. Поэтому Джерард изредка виделся со злодеем, якобы для того, что-

бы поинтересоваться, как продвигается книга, хотя редко касался этого предмета и никогда не получал конкретного ответа. Дженкин, которого Роуз неодобрительно назвала «мягким» в этом отношении, тоже время от времени виделся с Краймондом, встречаясь с ним поболее естественным и обыденным причинам, связанным с политикой: Дженкин в отличие от Джерарда и Дункана остался членом лейбористской партии. Краймонд тоже еще продолжал состоять в партии, хотя ему грозили исключением и в конце концов выгнали. Это второе исключение, которое наделало шуму и даже произвело серьезный скандал в партии, как говорили, доставило Краймонду большое удовольствие, в итоге послужив своего рода подтверждением верности его идеи. Он заявил в речи, не понятой его молодой аудиторией, которая никогда не читала Киплинга, что, как Маугли, будет «один охотиться в лесу». Если он ожидал криков: «И мы будем охотиться с тобой», то таковых не последовало; впрочем, во многих других аудиториях он встречал доброжелательный отклик, что радовало его. Краймонд продолжал оставаться политически активным и был на слуху, выступал на митингах, писал ста-

тьи, издавал памфлеты ad hoc[35]. Однако все чаще повторял, что «опоздал на поезд». Что со своими крайними политическими взглядами никогда не попадет в парламент, что не утвердился в научном мире, что не выработал последовательной теории и что его критикуют за отсутствие всякой действенной повседневной связи с praxis[36] рабочего движения. У него (как говорили) не было общественного признания, разве что репутация феномена, а число его приверженцев из числа недовольной молодежи не настолько велико, чтобы представлять опасность. Фактически он выступал как одинокий революционер-охотник: мнение, которое по последующим оценкам оказалось более чем несправедливо.

Шло время, и Краймонд продолжал получать содержание, которое давало ему свободу заниматься политической деятельностью, к которой «сторонники» относились со все большим неодобрением, и писал, или притворялся, что пишет, книгу, которая, если когда-либо выйдет в свет, должна оказать опасное и разрушительное воздействие. Становилось все труднее понимать,

---

**[35] Примечания: 35**
К случаю (лат.).

**[36] Примечания: 36**
Практика (грен.).

что нужно просто выполнять обещание, положение создалось возмутительное, идиотское и нетерпимое, и с этим надо было что-то делать. И вот случившееся среди подобных сомнений вторичное похищение Краймондом Джин Кэмбес, похоже, обострило ситуацию.

~~~

Приблизительно в то время, когда Джерард спал на кухонном столе в доме в Ноттинг-Хилл, а Дункан в Кенсингтоне выбросил в мусорную корзину туфли Джин, Тамар Херншоу в Актоне сидела напротив Вайолет, своей матери, страдающая и несчастная. Квартирка была маленькая и невероятно грязная. Спальня Вайолет, в которой постель никогда не убиралась, была завалена пластиковыми пакетами, которые та собирала с маниакальной страстью. Они сидели на кухне. На полу валялись газеты, на столе громоздились немытые тарелки, молочные бутылки, бутылочки из-под соуса, баночки горчицы, джема, корки хлеба, огрызки засохшего сыра, остатки масла на жирной обертке, кружка чаю, уже остывшего, приготовленного для Тамар, которая к нему не притронулась. Спор, который уже продолжался некоторое время, пошел по второму кругу.

— Я не могу найти работу, — сказала Вайолет, — тебе прекрасно известно, что я не могу найти работу.

— А ты могла бы?..

— Что я могла бы? Я не могу ничего! Если бы
~~~

я даже устроилась на неполный день официанткой… нам нужны настоящие деньги, а не какие-то гроши, за которые мне еще придется гнуть спину! Ты все время напоминаешь, что я уже не молода…

— Вовсе нет, я просто говорю…

— Все подорожало! Ты витаешь в облаках, деньги тебя не волнуют. Хорошо, это моя вина, я хотела, чтобы ты получила хорошее образование…

— Знаю, знаю, я благодарна тебе…

— Тогда самое время показать, как ты благодарна. Все стало дороже: тарифы, налоги, продукты, одежда, закладная… Господи, закладная, ты даже не знаешь, что это такое! Мы не можем позволить себе телефона, мне его отключили. И вегетарианская еда для тебя стоит бешеных денег. Ты живешь, ни о чем не задумываясь, будто все всегда будет доставаться тебе даром. А я вся в долгах, по уши, и если не предпринять решительных шагов, мы потеряем квартиру.

— Я получила грант, — сказала Тамар, сдерживая слезы; она начата понимать, что положение безнадежно. — И ты знаешь, еды мне особой не нужно… и новой одежды, и…

— Не побережешься, опять заработаешь ано-

рексию, а это тебе ни к чему…

— Я сама способна решить, что мне к чему!

— Нет, не способна. Ты недурно провела время в университете, повеселилась…

— А нельзя взять взаймы у Джерарда… или у Пати Гидеона…

— Не собираюсь ползать перед ними на коленях и тебе не прощу, если пойдешь на это! Есть у тебя какая-то гордость, какое-то уважение ко мне? И какой смысл залезать в еще большие долги?

— Или я могла бы занять у Джин…

— У нее? Никогда! Ненавижу эту женщину… О, знаю, она твой кумир, тебе бы хотелось, чтобы она была твоей матерью!

— Послушай, — сказала Тамар, хотя знала, что это исключено, — они богаты, во всяком случае Гидеон, и Джин тоже, они помогли бы нам деньгами.

— Тамар, не раздражай меня! Не думай, что мне приятно говорить тебе все это… я надеялась, что до этого не дойдет. Пожалуйста, постарайся смотреть правде в глаза, и мне помоги смотреть!

— Я не могу сейчас бросить Оксфорд, я должна сдать последние экзамены или все пойдет насмарку… или сейчас, или никогда…

— Дурацкая это идея, продолжать образование,

если все, что ты хочешь, это получить бумажку о сдаче экзамена! За два года ты должна была кое-чему научиться, тебе этого наверняка хватит, во всяком случае должно хватить!

— Но я хочу учиться дальше… если я получила первый грант, то смогу получить и второй, чтобы остаться и работать над диссертацией… я хочу получить настоящее образование, стать ученым, хочу писать, преподавать… я должна продолжать учебу сейчас… другой возможности не будет.

— Так ты хочешь быть доктором Херншоу, вот оно что, так?

— Это ничего не будет тебе стоить…

— Ты мне кое-что стоишь постоянно, поскольку не зарабатываешь! Деньги, которые дал нам дядя Мэтью, все вышли…

— Я думала, ты их во что-то вложила.

— Вложила! Мы не можем позволить себе вкладывать деньги! Я была вынуждена тратить их — покупать тебе дорогие учебники, это бальное платье, — а теперь ты еще испортила пальто и потеряла великолепную шаль, которую тебе кто-то подарил…

— Это Джерард…

— И партнера потеряла, способна ты хоть что-то делать по-человечески? По крайней мере, теперь

ты можешь продать все эти книги… Не смотри на меня так и не говори, что я пытаюсь погубить тебе жизнь, потому что погубила собственную, знаю, ты так думаешь. Знаю, они это тебе сказали…

— Нет!..

— Ну теперь скажут.

— Надо только год подождать, неужели не смогу? Я должна сдать экзамены…

— Сдашь позже, ты могла бы учиться на вечернем, многие так делают. И к тому же, говорят, лучше быть взрослой студенткой.

— В Оксфорде такого не бывает, нельзя бросать, потом возобновлять, нужно учиться непрерывно, там вообще очень трудно, и экзамены очень сложные, необходимо постоянно трудиться не покладая сил, я не могу сейчас уйти, это было бы глупо, я готова сейчас, я так старалась, досконально знаю предмет… так мне мой преподаватель сказал…

— Боишься забыть все эти факты? Вызубришь их снова. Будешь учиться еще лучше, как узнаешь реальную жизнь; а возможно, поймешь, что в любом случае это пустая трата времени. Просто ты влюблена в Оксфорд, думаешь, он такой внушительный и знаменитый, — но что университетское образование дало этой ком-

пании, Джерарду и его драгоценным друзьям, кроме того, что превратило их в самодовольных хлыщей и снобов, оторванных от обычной жизни и настоящих людей? Неужели не чувствуешь, что и в тебе просыпается снобизм?

— Если продолжу учебу и получу степень, я смогу получить высокооплачиваемую работу, больше зарабатывать…

— Тамар, ты не поняла, не слушала меня. Я больше не в состоянии платить за тебя. Не в состоянии платить ни за что. Я вся в долгах, если не расплачусь, дело пойдет в суд. Я заработать не могу. Это должна сделать ты. Все так просто.

Они сидели, молча глядя через стол друг на друга. Тамар поспешила снять бальное платье и теперь была босая, в рубашке и джинсах. Контраст между двумя женщинами, ибо Тамар, хоть и смотрелась ребенком, была вполне взрослой, был разителен. Они настолько не походили друг на друга, что можно было вообразить, что Тамар, подобно Афине, вышла из головы своего отца без всякого женского участия — исчезнувшего неизвестного отца, не знавшего о ее существовании, о котором она так часто и так мучительно думала, особенно когда лежала ночью без сна. Она была чрезмерно худа и в шестнадцать лет перенесла

нервную анорексию. И без того большие глаза на худеньком лице казались еще больше — печальные и пугливые, как у дичащегося ребенка, вызывающие и робкие и того зеленовато-коричневого оттенка, который называют ореховым. Тонкие шелковистые прямые волосы, подстриженные на уровне мочек и разделенные сбоку пробором, были под стать глазам, темно-русые, но отнюдь не мышиные, а приятно матового, с намеком зелени, цвета древесной коры: ясеня, или вишни, или старой березы. Ноги длинные и, хотя стройные, можно сказать, худоватые. Шея тонкая, носик вздернутый, маленькие руки и ступни. О своей юной груди, небольшой и удивительно округлой, она думала мало, хотя некоторые личности, понимавшие в этом толк, думали частенько. Лицо у нее было бледное и свежее, с легким румянцем на щеках, веки нежные и будто прозрачные, как и шея.

Вайолет была, безусловно, более интересной и, как сказала Роуз Кертленд, все еще привлекательной женщиной, что не слишком удивляло, поскольку ей было лишь немногим за сорок. Она была выше дочери, полней и с прекрасной фигурой, с синими глазами, каштановые волосы слегка подкрашивала и носила челку. Она была

близорука и, когда надевала (стараясь делать это как можно реже) большие круглые очки, могла выглядеть умной и несколько строгой, как какая-нибудь проницательная начальственная дама. Красивой формы губы, которые могли и строго поджиматься — эдакий строгий розовый бутон, в последнее время немного опустились. Если у Тамар было печальное выражение лица, то у ее матери — определенно обиженное, даже возмущенное. И сейчас, когда они напряженно смотрели друг на друга, сходство между ними было наиболее отчетливо, проявляясь в выражении их лиц, сосредоточенно-яростном, в котором мешались вина, страх и застарелая семейная нужда. У Вайолет было много причин возмущаться. Метафорически говоря, судьба сдала ей никудышные карты или, что даже еще больней, она сама имела глупость сбросить те приличные карты, какие имела на руках. Жизнь не задалась с самого начала, поскольку она была незаконнорожденным ребенком безответственного, редко появлявшегося отца-наркомана. Мать невзлюбила ее. Вайолет, прекрасно сознавая, что следует пагубному примеру, невзлюбила Тамар. Существенная разница состояла в том, что Вайолет и ее мамаша грызлись бесконечно и

ожесточенно, а Тамар и Вайолет ссорились нечасто. Вайолет понимала, что это не ее заслуга, а в основном Тамар, которая была для своей матери «немножко ангелом». Ее ангельская доброта временами служила Вайолет утешением, но чаще пробуждала сознание вины, усугублявшее горечь воспоминаний о собственном детстве.

Она бросила школу в шестнадцать лет, чтобы сбежать от матери. Потеряла с ней всякую связь и обрадовалась, узнав о ее смерти. А когда умер отец, его семья настойчиво пыталась помочь ей, но она держалась особняком. Работала горничной в гостинице, поднакопила денег и поступила на курсы машинисток, потом работала машинисткой. В двадцать она была красавицей и имела разных неподходящих любовников. В этот период она сделаю несколько серьезных ошибок. Отвергла человека, на которого стоило обратить внимание как на перспективного жениха. Возможно, думала она потом, она просто не была влюблена и еще слишком молода, чтобы понимать, что одинокая и без гроша за душой девушка не может позволить себе роскошь выйти по любви. А самой большой и имевшей длительные последствия ошибкой была Тамар и бродяга-скандинав. Как Вайолет часто объясня-

ла Тамар, она бы вовремя «избавилась» от нее, имей в критический момент достаточно денег, чтобы это устроить. В те давние времена аборты были запрещены, делались подпольно и стоили дорого и не существовало щадящего «права на выбор». У Вайолет не было выбора, Тамар стала нежеланным ребенком, и ей это часто давали понять. Рассказывали, что Вайолет даже не пожелала сама выбрать имя нежеланному младенцу и позволила сделать это в бюро регистрации чиновнику-регистратору, который предложил имя Тамар, и его секретарше, предложившей Марджори. Тамар получила приличное школьное образование за государственный счет. Вайолет было приятно, когда дочь поступила в Оксфорд, но она стала завидовать, и ревновать тоже, когда у Тамар появились поклонники, а можно было предположить, что и любовники. Вайолет также была способна оценить послушание дочери, ее желание угодить матери, ее безропотную нетребовательность. Несколько раз она втайне принимала деньги от дяди Мэтью, но предложения Джерарда и Патрисии помочь деньгами с презрением отвергала. Впрочем, она позволяла Тамар принимать подарки на Рождество, и одним из этих подарков была кашемировая шаль

от Джерарда.

— Я могла бы поработать в летние каникулы, — сказала Тамар.

— Сортировать письма на почте? Нет уж! Нужна настоящая работа, ты должна вытянуть нас из долгов и не дать нам снова залезть в долги, должна устроиться так, чтобы стать нашим кормильцем отныне и впредь.

— Нельзя ли просто подождать…

— Нет, мы не можем ждать! Я достаточно сделала для тебя! — сказала наконец Вайолет то, что Тамар ждала.

Они секунду смотрели друг на друга с одинаковым страдальческим и гневным выражением.

Тамар сделала спокойное лицо. Она знала, что бесполезно объяснять матери разницу между настоящим университетским образованием и тем, какое получает взрослый студент на вечернем факультете. Драгоценным подарком надо было пользоваться сейчас. Она уже продвинулась так далеко, дальше, чем могла мечтать, и это было лишь началом происходившей с ней метаморфозы, которая теперь будет так жестоко остановлена. Она понимала, как ужасна потеря, вся ее жизнь рушилась, в одно мгновение ее обрекли на какое-то жалкое будущее вместо того, к

которому она стремилась, на которое, чувствовала, имеет право. Сдерживая слезы, она старалась уговорить себя, что иного выхода, как смириться, у нее нет. Она знала, как туго у них с деньгами, и поверила словам Вайолет.

Зазвонил телефон. Вайолет вышла. Тамар, не вставая, вяло принялась составлять грязные тарелки на покрытой пятнами скатерти, собирать баночки и кружки, которые вечно в беспорядке стояли на ужасном столе. На секунду лишь вспомнилось давнее народное присловье: мать загубила себе жизнь и теперь хочет загубить жизнь дочери. Тамар рано поняла огромную темную глыбу материнской горечи, она увидела, как можно растратить душу, жизненную энергию на обиду, жалость к себе, злость и ненависть. Она представляла себе (будучи достаточно наслышана о них) отношения матери с ее матерью и еще ребенком чувствовала не только силу непроизвольного желания Вайолет «отомстить», но и темную искру ответного горького гнева в собственном сердце. Она видела, как жизнь может быть загублена, и решила, что собственную не загубит подобной игрой в повторение. Можно сказать, что, делая выбор между тем, стать ли демоном или святой, она выбрала последнее.

Она осознала, что ее спасение не в умышленной враждебности или искусной войне в целях самозащиты, а в своего рода откровенной уступке чужой воле. Такова была подоплека ее «ангельской кротости», которая так раздражала Вайолет, думавшую, что «раскусила» ее, и которая стала поводом для Джерарда относиться к ней как к весталке. Привыкнуть вести себя покорно и не отвечать дерзостью было не слишком трудно. Только теперь несчастная Тамар начала понимать (вынуждена была понять), к каким мучительным и непоправимым последствиям способно привести смирение.

Вайолет вернулась на кухню:

— Дядя Мэтью умер.

— Ох!.. Господи… как я хотела навестить его… хотела… только ты не разрешила…

Она заплакала, это были не бурные слезы, не мгновенные, а горькие, виноватые слезы, связанные с дядей Мэтью, который так стеснительно и мило хотел стать ей другом и которого она так редко навешала, потому что мать не желала, чтобы она была чем-нибудь обязана семье Бена.

— А если тебе интересно, — сказала Вайолет, — оставил ли он нам что-нибудь в завещании, знай: не оставил ничего.

Мэтью Херншоу не успел выполнить свое намерение «что-нибудь» сделать для Вайолет и Тамар по мягкости своего характера. Он не мог решить, сколько оставить им, зная, что если сумма будет недостаточной, Джерард отнесется к этому неодобрительно, если же отпишет слишком много, будет раздосадована Патрисия. Что он твердо намеревался сделать, так это оставить письмо, адресованное обоим своим детям, с просьбой позаботиться о внучке Бена. Он несколько раз принимался составлять это письмо, но не мог решить, как конкретно выразить свою просьбу. Эту, оставшуюся невысказанной, просьбу он и пытался сообщить Патрисии, когда умирал. И последней мыслью Мэтью было: о, если бы он только сказал это раньше!

Тамар, которую не интересовало завещание Мэтью, ответила:

— Он надеялся, что Джерард и Пат будут помогать нам.

— Ну да, Пат решит, — хмыкнула Вайолет. — Пошлет чек на пятьдесят фунтов. Не нужна нам их грошовая милостыня! Что Джерарду было бы по силам сделать, так это подыскать тебе работу… вот именно, он устроит тебя, это меньшее, что он может сделать! Значит… договорились… да?

Вайолет не сводила умоляющих глаз с Тамар, готовая взорваться радостью или гневом. Тамар, глядя на баночки с джемом и горчицей, представляла себе, какое сейчас лицо у матери. Она опустила голову и заплакала навзрыд. Вайолет, тоже заплакав, обошла стол, придвинула стул к дочери и благодарно, с облегчением обняла ее.

Приблизительно в то время, когда Вайолет и Тамар плакали обнявшись, а Джерард, перестав плакать, лежал в постели и думал об отце и Жако, а Дункан лежал в своей постели, пытаясь заплакать, но напрасно, Джин Ковин, чувствуя слабость от острой радости, смешанной со страхом, подошла к дому у реки, в котором жил Краймонд. Его адрес был в телефонной книге. Впрочем, Джин не было нужды листать толстенный том справочника. Она регулярно наведывалась в места, где он жил, совершенно не собираясь заходить к нему, чтобы знать, от какого места нужно держаться подальше, — и, возможно, просто удостовериться, что он тут.

Адрес материализовался в стоящий особняком убогий трехэтажный дом с полуподвалом. Грязная штукатурка была вся в трещинах и кое-где отвалилась, обнажив кирпич, тоже щербатый. Краска на оконных рамах облупилась, а верхние

окна, похоже, были разбиты. Дом, хотя грязный и запущенный, со шрамами, выделявшимися на ярком солнце, оказался, вопреки ожиданиям Джин, крепким и достаточно внушительным, не похожим на конуру. В нем и в домах по соседству явно сдавались и комнаты, и квартиры. У многих рядом с входной дверью висели таблички с фамилиями обитателей. На доме Краймонда — только две: одна с фамилией Краймонда, другая, сверху, — с какой-то славянской.

Большая квадратная, вся в трещинах парадная дверь, к которой вели четыре ступеньки, была нараспашку. Джин легонько толкнула ее и заглянула в темный холл, в котором виднелся велосипед. На двери был звонок, но непонятно, в какую квартиру. Джин нажала на него — тишина. Она ступила внутрь. В холле было жарко и душно, с улицы летела пыль. Непокрытые некрашеные половицы громко скрипели под ногами. Лестница наверх. Открытая настежь дверь. Джин заглянула внутрь. Первое, что она увидела, это стул и на нем килт, в котором Краймонд был на танцах. Стены сплошь уставлены полками с книгами. Телевизор. Она отступила назад и осмотрела две другие комнаты, одну, полную книг, с узким диваном-кроватью и дверью в сад,

и другую, в которой была кухня. Садик был крохотный, ухоженный, Краймонд любил растения. Джин положила руки на руль велосипеда, чтобы унять их дрожь. Серовато-блестяший металл был прохладным и отвратительно реальным. Она отняла ладони и приложила к груди, ощутив, как отчаянно бьется сердце. Заметила на полу возле велосипеда свой чемодан и сумку, которые, должно быть, оставила здесь, когда вошла в подъезд. Предположим, Краймонда здесь нет. Предположим, он просто скажет, чтобы она уходила. Предположим, она совершенно неверно истолковала то, что сказало ей его молчание во время танца.

Она не смела крикнуть, позвать его. Запертая стеклянная дверь преграждала путь наверх. Она вся трепетала, ее била дрожь, зубы стучали. Она увидела под лестницей открытую дверь, которая, видимо, вела в подвал. Медленно спустилась, осторожно нащупывая ногой ступеньки, и оказалась перед закрытой дверью. Тронула ее, но стучать не стала, потом открыла.

Полуподвальное помещение было огромным и занимало все пространство под домом. В нем было довольно темно, единственное окно выходило на улицу внизу фасада, куда не попадало

солнце. Голый деревянный пол, только в углу, у большого квадратного дивана-кровати лежал коврик. Стены тоже голые, только на дальней, противоположной окну, висела мишень. У другой стены стоял большой шкаф и рядом с ним два длинных стола, заваленных книгами. Под мишенью большой письменный стол с зажженной лампой, за которым сидел Краймонд в очках без оправы и что-то писал. Он поднял голову, увидел Джин, снял очки и потер глаза.

Джин пошла через всю комнату к нему, чувствуя, что сейчас упадет, не дойдет. Схватила стоящий рядом стул, подтащила к столу и села лицом к Краймонду. Потом тонко, по-птичьи всхлипнула.

— Что случилось? — спросил Краймонд.

Джин не смотрела на Краймонда, просто была не в состоянии смотреть ни на что в отдельности, поскольку помещение — мутное оконце, лампа, дверь, диван со старым сбитым ковриком возле, мишень, белый лист бумаги, на котором писал Краймонд, лицо Краймонда, его рука, очки, стакан воды, килт, непостижимым образом оказавшийся внизу, — все слилось как бы в светящееся колесо, медленно вращавшееся перед ней.

Краймонд молчал, выжидая, глядя на нее, пока

она ловила ртом воздух, мотала головой и жмурилась.

— То есть что значит «что случилось»? — сказала Джин. Сделала несколько глубоких вдохов. — Ты хоть сколько-нибудь спал?

— Да. А ты?

— Я нет.

— Так, может, лучше поспать? Наверху в задней комнате есть диван. Боюсь, правда, постель еще не убрана.

— Значит, не ждал меня.

— Обычная неаккуратность.

— Так ты ждал меня?

— Конечно.

— Что бы ты стал делать, если бы я не пришла сама?

— Ничего.

Они помолчали. Краймонд проницательным, несколько усталым взглядом разглядывал ее. Джин смотрела под стол на ноги Краймонда в коричневых шлепанцах.

— Так это твой килт.

— Взял напрокат. Это можно сделать.

— Вижу, ты еще не расстался с мишенью.

— Это символ.

— И с оружием. Скажешь, что и это символ?

— Да.

— Ты давно это задумал?

— Нет.

— А как достал билет на бал, все ведь было распродано?

— Попросил Левквиста.

— Левквиста? Я думала, ты с ним поссорился много лет назад.

— Я написал ему и попросил билет. Он прислал билет, приложив саркастическую записку на латинском.

— А если бы не прислал, что бы ты делал?

— Ничего.

— Хочешь сказать… а, неважно. Как ты узнал, что я буду на балу?

— Лили Бойн сказала.

— Ты не думал, что это я ее подучила?

— Нет, не думал.

— Я тут ни при чем.

— Знаю.

— Ну а Лили Бойн?

— Что «Лили Бойн»?

— Ты ведь пришел с ней.

— Так принято, приходить с партнершей.

— А не для того, чтобы сохранить лицо, если бы я проигнорировала тебя?

— Нет.

— Знал, что такого не случится?

— Да.

— Ох, Краймонд, почему… почему… почему сейчас?

— Ведь сработало, да?

— Но послушай, а Лили…

— Не будем о пустяках, — сказал Краймонд, — Лили Бойн — ничто, она стремилась познакомиться со мной, я обратил на нее внимание, потому что она знает тебя. Она мне нравится.

— Почему?

— Потому что она ничто. Полный ноль. Сама себя таковой считает.

— Ты находишь ее отчаяние забавным?

— Нет.

— Хорошо, забудем о ней, я понимаю, почему ты использовал ее. Что ты писал, когда я пришла?

— Книгу, над которой работаю уже какое-то время.

— Ту самую?

— Книгу, если угодно, ту самую.

— Скоро закончишь?

— Нет.

— Чем займешься, когда закончишь?

— Изучением арабского.

— Могу я помогать тебе в работе над книгой, собирать материалы или еще что, как я уже делала?

— Это уже пройденный этап. Вообще, тебе надо писать что-то свое.

— Ты это уже говорил. Ты рад меня видеть?

— Рад.

— Ладно, в сторону все эти разговоры. Я ушла от Дункана. Я здесь. Я твоя, твоя навсегда, если нужна тебе. После этой ночи, предполагаю, что нужна.

Краймонд задумчиво посмотрел на нее. Его тонкие губы протянулись прямой линией. Длинноватые, очень тонкие тускло-рыжие волосы были тщательно причесаны. Светлые глаза, в которых так часто вспыхивала мысль или едкая насмешка, были холодны и спокойны, тверды, как два непроницаемых голубых камешка.

— Ты ушла от меня.

— Я не знаю, что тогда случилось, — сказала Джин.

— Я тоже.

— Это не должно было случиться.

— Но это выявило кое-что.

— Теперь это неважно. Не может быть важным. Если б было, ты бы не пришел на бал.

— Да что бал. Просто захотелось вдруг, вот и пришел.

— Ах так! Краймонд, пойми, я бросила мужа, которого уважаю и люблю, и друзей, которые никогда не простят меня, и все ради того, чтобы полностью и вечно принадлежать тебе. Отныне я твоя. Я люблю тебя. Ты единственный человек на свете, которого я могу любить беззаветно, всем своим существом, телом и душой. Ты мой мужчина, мой совершенный супруг, а я — твоя. Ты должен чувствовать это сейчас, как я чувствую, как оба мы чувствовали прошлой ночью и дрожали, потому что чувствовали. Это чудо, что мы вообще встретились. Нам божественно повезло, что мы теперь вместе. Мы больше ни за что, ни за что не должны расставаться. Так проявляется истинная наша сущность, и тогда мы как боги. Глядя друг на друга, мы видим подлинность нашей любви, понимаем ее совершенство, узнаём друг друга. Моя жизнь в твоих руках и, если понадобится, моя смерть. Жизнь и смерть, как какое-то «будет разрушен Израиль» — «если я забуду тебя, Иерусалим…»[37]

Краймонд, который молчал в протяжении этой

---

**[37] Примечания: 37**
Пс: 137, 5.

тирады, сказал, придвинув стул к столу и беря очки:

— Меня эти еврейские клятвы не волнуют — и мы не боги. Мы просто должны посмотреть, что из этого выйдет.

— Хорошо, если не получится, мы всегда сможем убить друг друга, как ты сказал в тот раз! Краймонд, ты сотворил чудо, мы вместе… разве ты не доволен? Скажи, что любишь меня.

— Я люблю тебя, Джин Ковиц. Но ты также должна помнить, что нам удавалось жить друг без друга много лет — долгое время, когда ни ты, ни я не подавали никаких знаков.

— Да. Не знаю, почему так было. Возможно, это наказание за неудачную попытку сойтись. Мы должны были пройти испытание, через своего рода чистилище, чтобы поверить, что способны вновь обрести друг друга. Сейчас назначенное время пришло. Мы готовы. Я бросила Дункана…

— Да, да… мне жаль Дункана. Ты еще упоминала друзей, которые никогда не простят тебе или мне.

— Они ненавидят тебя. С радостью избили бы тебя. Унизили бы. Это было у них еще раньше — а теперь тем более…

— Ты как будто довольна.

— Плевать мне на них, главное мы — а они для меня не существуют. Можем мы уехать жить во Францию? Мне бы очень хотелось.

— Нет. Моя работа — здесь. Если ты пришла ко мне, то должна делать, что я хочу.

— Я всегда буду тебе повиноваться, — сказала Джин. — Я каждый день думала о тебе. Стоит дать малейший знак, в любое время… но я представляла…

— Хватит об этом. Неважно, что ты там представляла, теперь ты здесь. А теперь мне нужно продолжить работу. Советую пойти наверх и лечь. Ты ела, хочешь что-нибудь перекусить?

— Нет. И, чувствую, больше никогда не буду есть.

— Принесу тебе что-нибудь попозже. А потом можем лечь спать здесь, тут хватит места двоим. А там обсудим, что делать дальше.

— Что ты имеешь в виду?

— Совместную жизнь. То самое чему быть, того не миновать.

— Да. Не миновать. Ладно. Пойду отдохну. Это все правда, не сон?

— Не сон. Иди.

— Я хочу тебя.

— Иди, мой ястребок.

Джин быстро встала и отправилась наверх. Мы даже не коснулись друг друга, говорила она себе. Так и должно быть. Это ему свойственно. Еще без единого прикосновения мы уже всем своим существом рванулись друг к другу и слились воедино. Это как атомный взрыв. Спасибо Тебе, Господи! Она вошла в заднюю комнату, задернула шторы, сбросила туфли, заползла на диван и с головой укрылась одеялом. Через мгновение она спала, медленно погружаясь глубже и глубже в бездонный и темнеющий океан чистой радости.

# Часть вторая
# Средина зимы

~~~

— Думаю, где-то тут есть пиво, — сказал Дженкин.

— Не суетись, я принес что выпить, — успокоил его Джерард.

— Извини.

— Не в первый раз.

— Кажется, да.

— Ну и холод!

— Я включу камин.

Джерард, не договариваясь заранее, позвонил Дженкину и зашел к нему. Дженкин давно поселился в этом небольшом одноквартирном доме на правой стороне Голдхок-роуд близ «Церкви на арках», со времен Политехнического и до того, как вернулся преподавать в школу. Та сторона, на которой жил Дженкин, осталась такой, как была: сплошной ряд таких же домов, «обычных коробок», как называл их Дженкин. Однако, к его отвращению, близлежащая территория постепенно «облагораживалась» дорогими постройками. Джерард часто приходил в этот дом. Сегодня он пришел без предупреждения не по какому-то особому поводу, а потому, что слишком
~~~

многое не давало ему покоя.

Со времени того знаменательного бала в Оксфорде прошло несколько месяцев. Сейчас был туманный вечер позднего октября. В доме Дженкина, не имевшего центрального отопления, было по-настоящему холодно, ненастье вольготно чувствовало себя в его стенах. Дженкин, в сущности, любил всякую погоду, какое бы ни было время года, он не выносил закрытых окон. При любой температуре спал в неотапливаемой комнате, в которой гулял ветер. Впрочем, зимой он позволял себе пользоваться бутылкой с горячей водой. Сейчас, чтобы угодить другу, он поспешно закрыл несколько окон и включил газовый камин в гостиной. Дженкин в основном жил на кухне и не занимал эту «гостиную» или «салон», которую оставлял для «приемов». В комнате, как и во всей квартире Дженкина, царили порядок и чистота и в то же время было пустовато и голо. Были, конечно, кое-какие симпатичные вещицы, главным образом подаренные Джерардом, но сам дух ее противился их присутствию, отказывался сливаться с ними в мирной гармонии, которой, как считал Джерард, должна обладать каждая комната, и они оставались неуместными и случайными. На выгоревших обоях, светло-зеленых

с блеклыми красноватыми цветами, красовались пятна голой стены там, где Дженкин аккуратно обрезал лохмотья порванных обоев и закрасил эти места желтой краской. Получилось неплохо. Очень чистый ковер тоже был выцветшим, и голубые и красные цветы на нем стали коричневатыми. Зеленая плитка перед камином блестела, оттого что ее постоянно мыли. Кресла с деревянными подлокотниками, обитые скучной бежевой «рогожкой», были в ожидании гостей составлены к стене. Каминную доску украшали выстроившиеся в ряд фарфоровые чашки, некоторые из них — подарок Джерарда, и камень, серый голыш с пурпурной полоской, подобранный Роуз на берегу моря и подаренный ему. Дженкин сюда только что добавил принесенный вместе с двумя бокалами с кухни высокий зеленый стакан с веточками в красных листьях. Тихо гудело газовое пламя. Толстые темные вельветиновые шторы были задернуты, скрывая туманные сумерки. В углу горела лампа, давний подарок Джерарда. Джерард переставил чашки, выключил верхний свет и протянул хозяину бутылку «божоле нуво», чтобы тот открыл. У Дженкина была привычка, когда он нервничал, что случалось частенько, тихо непроизвольно бурчать. Вот и сейчас, ору-

дуя штопором под взглядом Джерарда, он что-то буркнул, потом разлил вино по бокалам, поставил бутылку на кафель у камина и замычал себе под нос.

Дженкин, хотя они с давних пор были друзьями, оставался для Джерарда увлекательной, иногда раздражающей загадкой. Квартира, которую тот содержал в образцовом порядке, была обставлена скудно, случайной мебелью и временами казалась Джерарду унылой и пустой. Единственное, что ее оживляло, это книги, которыми были забиты две комнаты наверху, где они занимали все стены и большую часть пола. Тем не менее Дженкин всегда знал, где какую книгу искать. Джерард неизменно сознавал, что, как человек, его друг в каком-то коренном, даже метафизическом смысле более целен, чем он, глубже, реальней, тверже стоит на земле, подлинней. Эту «подлинность» имел в виду Левквист, когда говорил о Дженкине: «Там, где он есть, там он есть». Также было парадоксально (или нет?), что у Дженкина начисто отсутствовало чувство собственной индивидуальности и вообще способности к «самоотчету». Тогда как Джерард, с его куда более собранным и последовательным умом, в противоположность Дженкину тяготел к

мышлению тонкому, обобщенному, абстрактному. Благодаря этому контрасту Джерард иногда чувствовал себя умней и утонченней, а иногда попросту неосновательным и легковесным. В Оксфорде Дженкин, по одобрительному замечанию Левквиста, «отсек» философию и занялся лингвистикой и литературой. В школе он первоначально преподавал греческий и латынь, позже французский и испанский. В Политехническом и в школе он еще преподавал историю. Он обладал глубокими познаниями, но для академической карьеры у него не хватало ни воли, ни амбиций. Он приехал из Бирмингема, где закончил классическую школу. Отец его, недавно скончавшийся, работал в заводской конторе и был методистским проповедником. Мать, тоже методистка, умерла еще раньше. Джерард постоянно упрекал Дженкина за веру в Бога, хотя тот это отрицал. Тем не менее что-то такое у Дженкина осталось с детства, во что он верил и что беспокоило Джерарда. Дженкин был серьезный человек, наверное, самый серьезный из всех, кого знал Джерард; но было очень нелегко предсказать, в какую форму способна вылиться эта серьезность.

— Джерард, да сядь же, — сказал Дженкин, — перестань ходить по комнате и переставлять

вещи.

— Люблю ходить.

— Да, это у тебя такой способ размышлять, но он хорош для улицы, и ты не в тюрьме пока. Кроме того, я тут, и мне надоело, что ты мельтешишь.

— Извини. Не грей вино, сколько раз нужно тебе повторять.

Джерард убрал бутылку от камина, придвинул к огню кресло с деревянными подлокотниками, сбив при этом китайский коврик, тоже его подарок на Рождество несколько лет назад, и сел против друга. Дженкин наклонился и расправил коврик.

— Уже решил, что именно собираешься писать?

— Нет, — нахмурился Джерард. — Может, вообще не стану.

— О Платоне, о Плотине?

— Не знаю.

— Ты как-то сказал, что хочешь написать о Данте.

— Нет. Почему ты не напишешь о Данте?

— Когда-то ты много перевел из Горация. Мог бы его всего переложить по-английски.

— Это шутка такая?

— Мне нравятся твои переводы. А о своем дет-

стве не хочешь написать?

— Господи, ни в коем случае!

— Или о нас в Оксфорде?

— Не говори глупостей, мой дорогой!

— Ну так что-нибудь на тему социальной или политической истории. А как насчет искусства? Помню твою монографию об Уилсоне Стире[38]. Ты умеешь писать о картинах.

— Только поверхностно.

— Тогда роман, интеллектуальный философский роман!

— Романы — это вчерашний день, они свое отжили.

— Тогда почему просто не расслабиться и наслаждаться жизнью? Живи моментом. Будь счастлив. Отличное занятие.

— Ох, да заткнись ты…

— В самом деле, счастье — единственное, что имеет значение.

— Я не гедонист. Ты тоже.

— Я вот иногда думаю… Да, мне кажется, тебе надо написать книгу по философии.

— Давай не будем об этом, ладно?

Дженкину не хотелось именно сейчас всту-

---

**[38] Примечания: 38**

Стир, Филипп Уилсон (1860–1942) — английский художник-импрессионист.

пать с Джерардом в серьезные разговоры. Возможность обойти определенные темы, как он надеялся, была. Несмотря на то что за долгое время их дружбы он хорошо узнал Джерарда, он продолжал делать попытки направлять беседы с упрямым и порой острым на язык другом в нужное ему русло. И хотя, как всех друзей Джерарда, Дженкина очень интересовало, «чем займется Джерард», он чувствовал, что из своего рода вежливости пора остановиться. Если он продолжит расспросы, то испортит Джерарду настроение, а то и вызовет раздражение. Тема-то болезненная. Он хотел заговорить о турпоездке в Испанию, которую собирался совершить на Рождество. Конечно, Джерард не пожелает присоединиться, поскольку любит проводить Рождество дома, в Англии. Да и сам он предпочитает путешествовать в одиночку.

— Я вот подумываю… — начал было он.

— Ты виделся с Краймондом в последнее время? — перебил его Джерард.

Дженкин вспыхнул. Это была одна из тем, которых ему меньше всего хотелось касаться. Он не имел абсолютно ничего против лжи, но Джерарду никогда не лгал. Поэтому ответил правду: «Нет, в последнее время не видел, с того раза…» Но тут же

устыдился себя. Посмотрел на Джерарда, такого холеного и хладнокровного в своем бутылочно-зеленом пиджаке, на его скульптурное лицо в тени абажура, прищуренные глаза, глядящие на огонь. Джерард пригладил густые волнистые волосы, зачесав их за уши. Едва слышно вздохнул. О чем он думает? — пронеслось в голове Дженкина.

А Джерард думал о том, что зря Дженкин встречается с Краймондом. Это ослабляет нашу позицию. Хотя один Бог знает, какова конкретно их позиция. Она должна быть сильной, чтобы предпринимать следующие шаги. Но какие шаги они могут предпринять? Господи, до чего все сложно и отвратительно!

— Конечно, устроим, как обычно, вечеринку на Ночь Гая Фокса[39], — сказал Дженкин.

— На Гая Фокса. Разумеется. Гидеон захочет запустить все фейерверки.

— Потом подойдет литературный вечер, а там и Рождество не за горами.

Все равно что разговаривать с ребенком, думал про себя Дженкин. Литературные вечера,

---

**[39] Примечания: 39**

Ночь Гая Фокса, или Ночь фейерверков, — праздник, отмечаемый 5 ноября, в годовщину неудачной попытки некоего Гая Фокса изорвать со своими помощниками в 1605 г. британский парламент (т. н. «Пороховой заговор»).

на которые они собирались раз или два в году в загородном доме Роуз, проводились с большими перерывами со студенческих времен. Роуз и Джерард недавно возродили этот обычай, ненадолго прервавшийся.

— Ах да… литературный вечер…

— Гулливера позовешь?

— Позову.

Джерард нахмурился, и Дженкин отвел взгляд. Джерард чувствовал вину перед Дженкином за Гулливера Эша. Действительно, Дженкин тогда сказал: «Не уводи его в сад». Джерард, возможно, несомненно «поощрил» Гулливера, безотчетно, без всякой цели, без достаточного повода, вообще без всякого повода, кроме того, что тот выглядел очень красивым, а Джерард чувствовал себя одиноким. Конечно, ничего такого не произошло, разве что Джерард стал «покровительствовать ему» и несколько выделять среди других, как любимчика. Интерес Джерарда оказался мимолетным; остались лишь упрекающие взгляды Гулливера, обиженное выражение, вид человека, уверенного в своем праве, робкая дерзость.

— Гулл по-прежнему без работы, — сказал Дженкин.

— Я знаю.

За лето и осень многое изменилось. Дженкин побывал на летних курсах усовершенствования и как турист в Швеции. Роуз гостила у родственников отца в Йоркшире и матери — в Ирландии. Джерард ездил в Париж, потом в Афины к другу-археологу Питеру Мэнсону, который работал в археологической «Британской школе в Афинах». Тамар неожиданно бросила университет и стала работать в издательстве, которое Джерард подыскал для нее. Он же, разумеется, предложил Вайолет финансовую помощь, предложил от имени своего отца, и Вайолет в грубой форме отказалась. Джерард казнил себя за Тамар, следовало решительней попытаться узнать, в чем причина такого решения. Вайолет сказала, будто Тамар до смерти надоел Оксфорд, Тамар подтвердила, и Джерард, рассерженный на Вайолет, не стал доискиваться до правды. Он в то время переживал смерть отца, был занят вывозом вещей, хранящих память о его детстве, из дома в Бристоле и его продажей, враждой с Пат и Гидеоном, потом эти проблемы с Краймондом и Дунканом. Дункан нарочито не стал уезжать и работал все лето. О Джин и Краймонде было мало что известно. Говорили, что они все еще живут в доме Краймонда в Камберуэлле. Ходили слухи, что они

собираются на конференцию в Амстердаме.

— Надеюсь, Дункан придет на литературный вечер, — сказал Джерард. — Господи, хотел бы я знать, как помочь ему!

— Ему ничем не поможешь, — сказал Дженкин. — Просто пусть все идет своим путем, как определила судьба.

— Это малодушно.

— Я имею в виду — в данный момент. Дункан явно не собирается предпринимать никаких шагов. А если мы вмешаемся, могут быть неприятности.

— То есть он что-нибудь сделает с собой? Ты боишься?

— За него? Нет, конечно. Я лишь имею в виду, что мы можем усугубить ситуацию, которую не понимаем.

— Что мы не понимаем? Я — понимаю. Только не знаю, что делать. Если ты говоришь, что в современном мире адюльтер не имеет значения…

— Я так не говорю.

— Джин придется вернуться к Дункану… полагаю. С этим человеком у нее не будет никакой жизни, он целыми днями работает как вол, он действительно ненормальный… и в конце концов, она человек высоких нравственных

принципов…

— Она любит его.

— Что за вздор, это психологическое рабство, иллюзия. Ей надо скорей вернуться, иначе последствия будут непоправимыми.

— Думаешь, спустя какое-то время он может отказаться от нее?

— Ради того, чтобы выжить, выкинуть ее из сердца, охладеть к ней. Почему он должен так страдать? Он же сопьется и умрет.

— Считаешь, следует помочь реально, силу применить, если необходимо?

— Если придумаем, как.

— Наброситься на Краймонда и вытрясти из него всю душу? Ему это понравится, он изобразит из себя жертву и ужасно отомстит.

— Я, конечно, не имел в виду ничего подобного! Ему это не понравится, и у нас это не получится.

— Я это не всерьез.

— Так давай всерьез.

— Вряд ли мы сможем пойти и увести Джин силой. Ты вчера вечером что-то говорил насчет Тамар, но я не понял, потому что вошла Роуз.

— Роуз страшно расстроена из-за Джин.

— Она видится с ней?

— Нет, разумеется, нет!

— Не вижу причин, почему бы ей не повидаться с Джин… мы должны защитить Дункана…

— Она поступит, как мы.

— А что насчет Тамар… ты думаешь, она могла бы снова свести Джин и Дункана?

— Это интуиция. Тамар — удивительное существо.

— А Роуз не способна?

— Роуз слишком переживает. Она ненавидит Краймонда. И они с Джин очень близки, или были близки. Джин особенно неприятно будет, если Роуз станет объяснять, как плохо она поступила.

— Понимаю тебя. Тамар часто бывала у Джин и Дункана. Помнится, ты говорил, что им следовало бы удочерить ее! Но мне бы не хотелось втягивать Тамар в это дело, она еще так молода.

— Это-то и поможет, они не будут видеть в ней судью. В ней есть особая чистота. При таком-то немыслимом происхождении…

— Или благодаря ему.

— Она увидела пропасть и решительно отступила от нее, отступила в противоположную сторону… и как решительно!

— Она в поисках отца. Если видишь себя в этой роли…

— Абсолютно нет. Просто подумал предло-

жить…

— Не слишком обременяй ее. Она очень высокого мнения о тебе. Ужасно переживает, что не в силах будет сделать то, чего ты ждешь от нее. Полагаю, ей и без того есть о чем тревожиться.

— Думаю, что-то в этом роде ей как раз и необходимо, задача, миссия, быть вестницей богов.

— Ты видишь в ней что-то вроде девственной жрицы, весталки.

— Да. Ты шутишь?

— Нисколько… я тоже так смотрю на нее. Но послушай… предположим, кто-нибудь скажет, что, безусловно, в наше время женщины часто уходят от мужей к другим мужчинам и окружающие не считают это чем-то недопустимым, что необходимо прекратить любой ценой? Чем наш случай отличается? Или дело в том, что Дункан нам как брат, а Краймонд чудовище, или…

Дженкин посмотрел на Джерарда, широко раскрыв глаза, и это означало, что он просто желает услышать возражения; они с восемнадцати лет спорили.

— Над этим человеком собираются тучи. Кое-кто может пострадать.

— Думаешь, Дункан попытается убить Краймонда? Что он способен дожидаться благопри-

ятного момента, но он слишком отчаянный и шальной.

— Нет, он может внезапно сорваться, просто увидев Краймонда, затеяв с ним спор даже…

— И Краймонд убьет его — из страха или ненависти…

— Виноватый ненавидит того, кто пострадал из-за него.

— …или ненароком? Считаешь, все кончится схваткой один на один? Или Краймонд убьет Джин, или они вместе прыгнут со скалы, или…

— Он любит оружие, ты это помнишь по Оксфорду, и Дункан рассказывал, что он состоял в каком-то стрелковом клубе в Ирландии, ему не повезло попасть на войну, там бы он погиб или стал героем, он мечтал об этом…

— Я смотрю, у тебя это какая-то навязчивая идея, выставлять Краймонда чудовищем. Он романтик.

— Романтиков мы прощаем.

— Ну, тогда âme damnée[40].

— Этих мы тоже прощаем. Не ищи для него оправданий, Дженкин!

— Хочешь, чтобы твой Краймонд был послед-

---

**[40] Примечания: 40**
Злой гений (фр.).

ним подонком!

— Он обожает драмы, суровые испытания, проверку на мужество, его не волнует, если он кого-то погубит, потому что ему своя жизнь не дорога…

— Он утопический мыслитель.

— Точно. Нереалистичный и безжалостный.

— Да брось!.. Он мужествен, трудолюбив и равнодушен к материальным благам, а еще по-настоящему озабочен положением бедноты.

— Он шарлатан.

— Что такое «шарлатан»? Никогда этого не понимал.

— Не заботят его ни бедняки, ни социальная справедливость, его ничуть не занимает реальная борьба рабочего класса, он помешан на своих теориях, все эти вещи — лишь материал для его идей, для некой абстрактной сети, которую он страстно плетет…

— Да, страсть. Вот что притягивает Джин.

— Ее притягивает опасность — кровь.

— Комплекс Елены Троянской?

— Ей хочется, чтобы из-за нее гибли города и умирали люди.

— Ты слишком суров к ней, — сказал Дженкин. — Краймонд — фанатик, аскет. Это достаточно притягательно…

— Для тебя — возможно. По-моему, ты видишь в нем своего рода мистика.

— Вспомни, как все мы когда-то воспринимали его как нового человека, героя нашего времени, нас восхищала его увлеченность, мы чувствовали, что он настоящий, не то что мы…

— Никогда не чувствовал такого. Что я помню, так это его ответ, когда его назвали экстремистом: «Необходима поддержка молодежи». Это непростительно.

— Да, — сказал Дженкин и вздохнул. — При всем при том никогда не забуду, как он танцевал летом на том балу.

— Как Шива.

— Плетущий свою неистовую сеть!

— Именно. Краймондовские идеи — это просто модная смесь, бессмысленная, но опасная — своеобразный даосизм с примесью Гераклита и современной натурфилософии, а сверху налеплен ярлык марксизма. Философ — как натурфилософ, как космолог, как теолог. Платон неплохо поработал, вышвырнув досократиков.

— Да, но они вернулись! Знаю, что ты имеешь в виду, мне это тоже не нравится. Но не сводим ли мы вместе две разные проблемы?

— Ты подразумеваешь его личную мораль и

его книгу. Но они неразделимы. Краймонд — террорист.

— Так и Роуз считает. И все-таки он дьявольски много знает и способен думать. Книга может оказаться куда интересней его поспешных провокативных мнений, которые он иногда высказывает.

— Он показал ее тебе?

— Конечно нет!

— Планируешь встретиться с ним?

— Я ничего не планирую, а просто не избегаю его! Нам надо как-нибудь встретиться с ним, чтобы спросить о книге.

— Да, да, я собираюсь созвать комитет, надо встретиться с ним…

— Надо будет найти верный стиль общения с ним.

— Правильней сказать «тон». Ты говоришь: «спросить о книге», — но мы ничего не можем сделать, кроме как в узком кругу возмущаться тем, что все мы год за годом платим собственные деньги на распространение идей, к которым питаем отвращение.

— Безумная ситуация. Джин могла бы поддерживать его, но он, конечно, не примет от нее помощи… и это не отменяет наше обязательство.

— Безусловно, он не примет от нее ни гроша.

— Книга ли изменилась или мы? Братство западных интеллектуалов против книги истории[41].

— Ты говоришь его языком. Нет книги истории, нет истории в этом смысле, все это просто детерминизм и amor fati[42]. Или, если есть на свете книга истории, то это «Феноменология духа»[43] и она уже устарела! Или ты думаешь, что на нас действительно поставили крест? Полно тебе, Дженкин!

*Что в силу свойств и лет ученья*
*Любили мы, осталось тенью,*
*Хотя мы с радостью б отдали*
*Колледжи Оксфорда, Биг Бен*

---

**[41] Примечания: 41**

Аллюзия на древнекитайскую компиляцию документов по истории Китая, название которой в буквальном переводе означает «Уважаемые документы», а в западной традиции называется по-разному, в том числе как «Книга Истории».

**[42] Примечания: 42**

Любовь к року (лат.) — формула, часто повторявшаяся Ф. Ницше в своих сочинениях.

**[43] Примечания: 43**

Первая из крупных работ Г. Гегеля (1770–1831).

*И всех пернатых Викен фен*[44],
*Нет в них желания жить дале*[45].

— Не цитируй мне, дружище. Ты так не думаешь и не чувствуешь.

— Возможно, это не только наш рок, но и наше истинное свойство: быть слабыми и неуверенными.

— Ты думаешь, что мы в Александрии периода упадка Афин!

— Я уж точно не думаю, что мы имеем право отдавать птиц Уикен Фен, они нам не принадлежат. Можно я налью себе еще?

— Это твое вино, дурень, я же тебе его принес!

Джерард поднялся, словно собираясь уходить, и Дженкин тоже встал, глядя снизу вверх на своего высокого друга и ероша и без того растрепанные соломенные волосы.

Джерард сказал:

— Почему, черт побери, Дункан должен все время проигрывать, почему именно он падает в реку! Хотел бы я знать, что на самом деле произо-

---

**[44] Примечания: 44**

Викен (Уикен) Фен — природный заповедник на заболоченных землях близ деревни Уикен в графстве Кембридж.

**[45] Примечания: 45**

У. Х. Оден. Из элегии 1933 года «Лежу в постели луговой».

шло в Ирландии…

— По-моему, не следует быть слишком любопытными, — возразил Дженкин, — мы иногда пытаемся проникнуть в подробности чужой жизни. Внутренний мир другого человека может сильно отличаться от нашего. С этим сталкиваешься.

Джерард вздохнул, признавая правоту слов Дженкина и невозможность для себя проникнуть в его душу.

— Что тебе открыли нового на тех летних курсах, Дженкин, ты еще не пришел к Богу, а?

— Сядем, — предложил Дженкин. Они сели, и он наполнил бокалы. — Я просто хотел узнать, что происходит.

— В теологии освобождения?[46] В Латинской Америке?

— На планете.

Они помолчали. Дженкин сидел сгорбившись, убрав под себя короткие ноги, отчего казался круглым, как яйцо, а Джерард — выпрямившись, вытянув длинные ноги, руки висят, галстук распущен, темные волосы в беспорядке.

— Ненавижу Бога.

---

**[46] Примечания: 46**

Леворадикальная социальная концепция современного католического богословия, зародившаяся в 1960-х годах в Латииской Америке.

— «Тот, кто единственный мудр, хочет и не хочет зваться Зевсом». Знаешь, Гераклит был не таким уж наказанием.

Джерард рассмеялся. Он вспомнил, как часто за минувшие годы самоопределялся через непохожесть на друзей, отличия выявлялись в долгих подробных разговорах. В каком-то смысле жизнь каждого из них походила на их детские надежды. Тем не менее сейчас он в еще большей мере сознавал то человеческое одиночество, о котором толковал Дженкин.

— Раз он чего-то хочет или не хочет, это предполагает, что он существует.

— Тебе следует написать о Плотине, святом Августине и о том, что случилось с платонизмом.

— В самом деле, что? Левквист сказал, что я испорчен христианством!

— Если считаешь, что поднимаешься вверх по лестнице, то действительно поднимаешься вверх.

— Если считаешь, что дорог а ведет вперед, то и идешь вперед.

— Всем это свойственно, тут нет никакой заслуги.

— Ты живешь в настоящем. А я никак не могу найти настоящее.

— Порой мне хочется отбросить метафоры и просто думать.

— Думать о чем?

— Какой я лукавый и плутоватый раб.

— Опять говоришь метафорой. Терпеть не могу всю эту христианскую хвалу и хулу. И все же…

— Ты пуританин, Джерард. Ты упрекаешь себя за недостаток некой идеальной ужасной дисциплинированности!

— Помнится, ты сказал, что все мы завязли в эгоистических иллюзиях, как в огромном липком сливочном торте!

— Да, но я не столь категоричен. К чему разрушать здоровое эго? Это неблагодарное занятие. Разговор с тобой пробудил во мне аппетит. Останешься поужинать? Пожалуйста.

— Нет. Я думаю, что есть человеческое предназначение, ты же — что судьба, рок. Может, так ты узнаешь больше.

— Ох, трудно сказать. Я сейчас вспомнил Берлинскую стену. Она белая.

— Ну да, белая.

— Вот таким я представляю себе зло. Надо задумываться над этим. Возможно, задумываться постоянно. И над злом в себе тоже. Начинать с того, что с тобой творится.

— Вечно ты все смешиваешь, — сказал Джерард. — Берлинская стена далеко, а ты здесь. Это верно, что мы не способны представить достоинство выше нашего, если это не полное поражение. Но нужно пытаться стремиться к добру, а не просто лить покаянные слезы и быть лукавыми и плутоватыми рабами. Так мы только тешим себя!

— Нельзя отбросить то, что есть, и жить воображаемым идеалом!

— Хорошо, но лучше иметь идеал, нежели ковылять дальше и думать о том, какие мы разные!

— Ты самоуверен.

Дженкин ненароком сказал это, потому что устал от абстрактного разговора, который Джерард так любил, и потому что хотел, чтобы Джерард остался поужинать, хотя не был уверен, что в кладовой есть что-нибудь получше макарон с тертым сыром и рыбных котлет. Возможно, какой-нибудь из супермаркетов еще был открыт. Он бы вышел и купил хотя бы вина. Потом понял, как Джерарда возмутило, что его назвали самоуверенным.

— Самоуверен!

Джерард снова встал и взял со стула пальто.

Дженкин, смирившись, тоже поднялся:

— Так не останешься поужинать?

— Нет, благодарю. Попытаюсь устроить заседание комитета.

— Как насчет Пат и Гидеона?

— Их не приглашу, я сказал им: ни за что. Тем не менее они хотят участвовать пожертвованиями, я сказал, что это невозможно. А Гуллу, что он не должен платить, поскольку сейчас сидит без работы. Полагаю, все это следует обсудить. О черт!

— Пат и Гидеон не могут быть на стороне Краймонда.

— Так оно и есть. Они просто желают быть причастными. Гидеон находит все это занятным.

— Он в Лондоне?

— Да. Пытается приобрести Климта[47].

— Такси ты вряд ли будешь вызывать?

— Да, пройдусь пешком. Люблю туман. До свиданья!

Когда дверь за Джерардом закрылась, Дженкин вновь вернулся к своему уединению, которое так ценил. Он прислонился к двери, пронзительно ощущая полное одиночество. Ему хотелось, чтобы Джерард остался. Сейчас он был также рад, что тот ушел. Однажды Дженкин заметил,

---

**[47] Примечания: 47**

Климт, Густав (1862–1918) — австрийский художник и дизайнер.

и Джерард это запомнил, что никогда не женится, потому что это не позволит ему быть ночью одному. Теперь он подумает об ужине, о том, что передают по радио (телевизора у него не было), а еще о Джерарде — всегда интересный предмет для размышлений. Потом приготовит (наскоро) и съест (не торопясь) ужин. Дженкин верил, что к еде следует относиться со вниманием, тщательно пережевывать пищу. Допьет вино. Послушает радиомонолог (если он будет коротким), немного музыки (только классическую или знакомую). Потом можно почитать что-нибудь из испанской поэзии и обдумать, куда поехать на Рождество.

Он выключил газовый камин в гостиной, отнес бутылку и бокалы на кухню, вернулся за зеленым стаканом с кленовыми листьями и погасил свет. Поставил зеленый стакан на кафельную полку над раковиной, которую держал свободной для таких целей. Поставил и произнес: «Вот так!» Дженкин был счастлив; но счастье было неполным. Он чувствовал интуитивно, что его жизни предстоит измениться. Мысль об этой неведомой перемене тревожила, но и возбуждала. Может, это было просто ощущение, хотя это уж слишком, что пора кончать с преподаванием в школе. Не будет ли он тогда, как Джерард, гадать, что ему

делать со своими мыслями? Нет, таким, как Джерард, ему никогда не быть, да и мыслей таких у него не будет. Он определенно не собирается обращаться к Богу, как боится Джерард. Перед ним словно раскрылась некая бескрайняя белая пустота, не мертвая грязная белизна, как Берлинская стена, а как белое облако, влажное и теплое. Интересно, что он будет делать через год в это время. Неужели оно так близко, его новое и не похожее на нынешний день будущее? Он ничего никому не сказал о своем предчувствии, даже Джерарду.

Дженкин расстелил на деревянном столе чистую газету, поставил на нее тарелку, положил нож с вилкой. Налил остатки божоле в бокал, сел и сделал глоток. Подумал о Джерарде, как тот одиноко шагает сейчас домой по туманным, освещенным фонарями улицам. Потом представил себя, шагающим в одиночестве. Он тоже любил ходить по улицам. Только если Джерард шагал, отгороженный от окружающего непроницаемым темным покровом мыслей, Дженкин шел как среди скопища или по огромной выставке мелких событий и вещей. Тут и деревья, например, и бесконечно разнообразные собаки, чьи кроткие, ласковые, добрые глаза с пониманием смотрели

на него, и свалки, куда люди сносят массу всяческих удивительных вещей, некоторые Дженкин подбирал и уносил домой, и витрины магазинов, и машины, и мусор веточных канавах, и одежда на людях, их грустные или счастливые лица, печальные или радостные лики домов, окна в сумерках, если не зашторенные, то видно было людей у телевизоров. Иногда, сидя дома, Дженкин воображал отдельных людей, людей, которых никогда не встречал, и всегда это были одинокие люди: девушка в спальне с кошкой и цветком в горшке, пожилой мужчина, стирающий свою рубаху, мужчина в чалме, идущий по пыльной дороге, человек, заблудившийся в снегопаде. Иногда они снились ему или он был одним из них. Однажды он настолько явно представил себе бродягу на железнодорожном вокзале, что отправился поздно вечером на Паддингтонский вокзал посмотреть, нет ли там действительно этого бродяги. Бродяги он не нашел, но там были другие одинокие люди, ждущие Дженкина.

Дженкин никогда не придумывал истории этих людей. Это были образы индивидов, о чьей судьбе говорили их лица, их одежда, окружающая обстановка, и в этом отношении они были как реальные люди, встреченные на улице. Своих

немногочисленных друзей он воспринимал столь же ясно и поверхностно. Ясно сознавал реальность Джерарда, Дункана, Роуз, Грэма Уилворда (преподавателя в его школе), Марчмента (социального работника, бывшего члена парламента, который тоже был знаком с Краймондом); но не любил заходить в размышлениях о них дальше предположений, необходимых для обыденной жизни. Они оставались для него таинственными образами, которые он часто вызывал в воображении, тайной, над которой иногда размышлял. Он не интересовался светской жизнью и чурался сплетен, отчего кое-кто находил его скучным. Он был единственным сыном у родителей, любил их, разделял их веру и считал их безупречными. Позже он безболезненно расстался с христианством. Не мог верить в сверхъестественное или вообразить воскресшего Господа, только его муки. Столь же чужд ему оказался (когда понял его) квазимистический, псевдомистический перфекционизм Платона, который заменял Джерарду религиозную веру. Однако сохранил, возможно, под влиянием всех тех дорогих примеров, которые видел перед собой в детстве, тягу к своего рода абсолюту, понимаемому не как какое-то особое человеческое назначение или

путь, но всего лишь как работа среди незнакомых людей. Скромность в быту, которую иные принимали за аскетичность, другие за наивность и инфантильность или позу, была частью его абсолюта, но также, как он прекрасно сознавал, и программой достижения счастья. Дженкин не любил путаницу в мыслях, алчность, лживость, демонстрацию силы, повальный обыденный грех, потому что все это выбивало из равновесия, вызывая чувство зависти, обиды, раскаяния или ненависти. «Он такой здравый» — походя сказал кто-то о Дженкине, и Дженкин уловил в замечании нотку осуждения. Он стал чувствовать себя слишком свободно, слишком как дома в жизни. Джерард не знал такой легкости бытия, пребывал в постоянном беспокойстве, стремясь к идеалу, чей проблеск мелькал в недостижимой высоте, хотя в то же время этот проблеск, когда облака клубились над вершиной, давал ему утешение, даже создавал обманчивое ощущение, будто внезапный порыв духовной любви возносит его туда, в чистые и сияющие области, над тем, чем он был в действительности. Дженкин понимал это свойство Джерарда как старую религиозную иллюзию. Джерард вечно говорил о разрушении своего «я». Дженкин же свое «я» очень любил,

нуждался в нем, никогда слишком не беспокоился, надеялся на лучшее, верил, что образ жизни, избранный им, оградит его «от неприятностей». Я — слизень, временами говорил он себе. В целом продвигаюсь, если вообще продвигаюсь, тянусь помалу, очень помалу.

Нельзя сказать, чтобы Дженкин чувствовал необходимость в каких-то достижениях, чтобы служить человечеству. Он знал, что, преподавая языки и историю разным мальчишкам, служит благой цели, делает то, что умеет делать лучше всего. Но не была ли его идея распространить чуть шире свою «непритязательность» просто тщеславным романтическим заблуждением? Ему хотелось перемен. Собственно, перемена уже происходила, поскольку он находился в годовом творческом отпуске. Предполагалось, что он будет что-то изучать, что-то напишет. Вместо этого он нагнетал в себе нетерпение. Хотелось выбраться отсюда. Выбраться, чтобы быть среди людей, о которых он часто думал. Но куда? До Паддингтонского вокзала, до спальни в Килберне? Нет, дальше. До Лаймхауса, Степни или Уолуорта?[48] Еще дальше. Но даже это в большей мере

**[48] Примечания: 48**
Районы Лондона.

не романтизм ли, не эскапизм, не самообман, не пренебрежение своим долгом, не помышление обрести полноту жизни за счет несчастья других? Не хотелось ли ему оказаться у пределов человеческого страдания, у самого края, чтобы жить там, ибо там его дом? Герои нашего времени, диссиденты, протестующие, люди в одиночных камерах, анонимные помощники, безымянные правдолюбы. Он знал, что не станет одним из них, но хотел находиться рядом с ними. Но это не очень важно, главное — облегчить боль, главное — отдельные люди и их истории. Но что это значило для него самого, эти его новые тайные мечты уехать в Южную Америку или Индию? Даже его теология освобождения не избавлена от романтизма, заключает в себе популярное представление о Христе как Спасителе бедных, забытых, отверженных. Хотя временами он также думал, а не могла бы она в конце концов быть просто теологией, не ученым фокусом епископов-демифологизаторов, но теологией, подорванной, сокрушенной неожиданно доступным для осознания и осознанным ужасом мира? Все могло произойти так спокойно, если б, решившись уехать, он ограничился внимательным чтением туристского буклета и тем элементарным фак-

том, что ему почему-то хочется уехать. Хочется, например, удрать от Джерарда.

Нечего и говорить, что простых или очевидных причин, почему у него должно было возникнуть желание подальше удрать от Джерарда, не имелось. Он любил Джерарда всю свою взрослую жизнь. Любовниками они никогда не были. Вожделение Дженкина, обычно не встречавшее ответа, а теперь идущее на убыль, распространялось только на противоположный пол. Но большая любовь забирает человека целиком, так что привязанность Дженкина была, возможно, истинно платонической. Джерард был для него как идеальный старший брат, защитник и советчик, образец для подражания, исключительно верный, исключительно любящий, надежная опора — подлинное сокровище для Дженкина. Наверно, именно в этом и крылась причина, почему ему хотелось вскочить и бежать подальше? Испытать себя в мире, где не было Джерарда. Почтительно отодвинуть нечто столь совершенное просто потому, что оно совершенно. Слишком уж ему уютно и спокойно в этой тесноватой скромной квартирке среди скромных, приятных вещей. Нужно бывать в других местах, среди других людей, не друзей, больше друзей ему не требовалось,

и больше вещей тоже. Конечно, бегство, причем немедленное, означало бы, что он не ссорится с Джерардом, а лишь отходит от него, становясь чужим и настолько далеким, что Джерард, если даже поймет, в чем дело, станет редким гостем в его жизни. Этот разрыв, развод представлялся вопросом сущностным; и Дженкину, который тихим вечером одиноко сидел у себя дома, слушая радио и собираясь лечь спать пораньше, это его намерение могло показаться не только абсурдным, но и ужасным, своего рода смертью, окончательной утратой: ценность высказываний Джерарда виделась таковой только при взгляде на него снизу вверх. И не такого совершенства он искал. Ему хотелось что-то, пробуждающее большее сопротивление.

Когда Джерард, покинув Дженкина, шагал в тумане из Шепердс-Буш в Ноттинг-Хилл, укутанный непроницаемым темным покровом мыслей, ему неожиданно вспомнилось, как кто-то рассказывал ему о способе ловли рыбы на некоем острове в южных морях. Аборигены действовали следующим образом: разворачивали на берегу огромную круглую сеть и заводили ее далеко в море. Выждав определенное время (Джерард не помнил, какое именно), они с большим тру-

дом, требующим участия всей деревни, тянули громадную сеть к берегу. Когда сеть начинала приближаться к земле и ее край появлялся над водой, становилось видно, что она кишит здоровенными рыбинами и, как рассказчик (который после этого сразу перестал купаться в море) называл их, «морскими чудищами». Твари, с ужасом поняв, что они в тесной ловушке и их извлекают из родной стихии, принимались бешено биться, вода в сети кипела, били мощные хвосты, сверкали выпученные глаза, мелькали страшные челюсти. А еще они бросались друг на друга, и вода становилась красной от крови. Когда Джерард описал эту картину Дженкину, тот непроизвольно воспринял ее как образ подсознания. Позже он задался вопросом, почему это сравнение показалось ему столь подходящим. Наверняка же в его подсознании было полно спокойных мирных рыб? Вот Дженкина больше волновали несчастные умирающие существа, и он часто возвращался к идее, так и не осуществленной, стать вегетарианцем. Джерард был не уверен, почему вспомнил это сейчас. Разговор с Дженкином всегда воздействовал на его ум, обычно благотворно и приятно. Однако сегодня шедшие от Дженкина волны неприятно раздражали, хотя все, казалось,

было как обычно, но длина волны изменилась. Что-то с Дженкином не так, подумалось ему, или не так с ним самим. Он не мог понять, действительно ли его беспокойство связано с Дженкином или же с Краймондом. Возможно, взбесившиеся чудища были чудищами ревности. Джерард отдал щедрую дань ревности — греху, который он тщательно скрывал.

*В слезах бегут Плеяды,*
*В печали Орион,*
*На ложе одиноком*
*Мой грустен будет сон.*

*В слезах бегут Плеяды*
*Вслед счастью, за моря,*
*Но той, что мне приснится,*
*Не буду сниться я.*

Эти строки А. Э. Хаусмана, переложенные им с греческого, Гулливер Эш часто повторял в эти дни, не совсем как молитву, но как своего рода литургию. Стихотворение приносило ему некоторое успокоение. Не то чтобы оно имело для него некий особый смысл или отвечало настроению. Ему в то время не снился кто-то определенный, кто-то за морями или поближе. Конечно, ложе

его было одиноко, но это продолжалось уже некоторое время, так что он привык. Легкая грусть, разлитая по этим строкам, приобретала в его положении более широкое, более космическое звучание. Гулливер сидел без работы. Потребовалось некоторое время, чтобы понять это как испытание, которое он должен будет выдержать.

Джерард, который устроил Тамар, нашел работу и для Гулливера, но тот почти тут же лишился ее. Джерард был «очень добр» и дважды приглашал Гулливера зайти к нему, но Гулливер теперь избегал его. Так сказать, стыдясь своей неудачи, он начинал понимать, что это одно из свидетельств испытания. Работа, которую нашел ему Джерард, представляла собой должность «научного сотрудника» при печатниках и дизайнерах, специализировавшихся на книгах по искусству. Позже он заподозрил, что его должность была создана в угоду Джерарду. Фактически же Гулливер был мальчишкой на побегушках, а потом от него потребовали поработать за отсутствующего грузчика и таскать книги. Грузчик не вернулся на работу, Гулливер, которому надоело таскать книги, потребовал, чтобы его использовали в соответствии с должностью. Ему ответили грубостью, и он ушел.

Гулливер изучал английский в Лондонском колледже и вышел оттуда с хорошим дипломом и массой потенциальных талантов. Он прекрасно проявил себя в студенческом театре и подумывал о карьере актера. Еще ему хотелось стать писателем, издавать журнал левого направления, заняться политикой, тоже от левых. Поступил в театральную школу, решив, что неплохо бы стать режиссером или театральным художником. Но ушел оттуда, потому что кто-то предложил ему писать книжные рецензии, и еще захотелось написать роман. Рецензии пошли хорошо, он закончил роман, но не смог найти издателя. Он попытал удачу на Би-би-си, и его взяли постановщиком-стажером на радио. Он попробовал перевестись на телевидение, но не получилось. Второй роман он тоже не смог напечатать. Гулливер посчитал, что всему виной нехватка времени, и ушел с Би-би-си, чтобы жить на сбережения и целиком посвятить себя сочинительству. Он опубликовал несколько рассказов, один из которых переделал в пьесу для телевидения. Толкнулся было снова на Би-би-си, но ничего не вышло, и тогда устроился в театральную труппу. Иногда играл, иногда выступал ассистентом режиссера, его даже приняли в профсоюз актеров,

но все это продолжалось недолго. Тогда он стал театральным критиком в литературном журнале. Так прошли годы, и теперь Гулливеру было уже за тридцать. До сих пор ему нравились его приключения, конечно, он всегда мог «заняться серьезным делом». Тем временем положение постепенно ухудшалось. На заветную должность редактора его не взяли, журнал больше не мог позволить себе такую роскошь, театральная труппа распалась. Все испытывали нехватку средств, все экономили. Он написал еще несколько рассказов, но никто их не печатал. У него не хватило духу сесть за новый роман. Ко времени летнего бала он был без работы уже несколько месяцев.

Последние годы несчастливого детства и все счастливое время студенчества и впоследствии Гулливеру помогало убеждение, что он очень красив и беспутен. В студенческом театре и в начале аспирантуры он был хорош собой и привлекал внимание обоих полов. И с теми, и с теми он чувствовал себя совершенно свободно, но со своими завышенными ожиданиями не нашел желанной прекрасной пары. Как личность беспутная, он одно время часто посещал разные, как говорили, «злачные» бары, где собирались геи. Напяливал черную кожу, ремни, усеянные заклепками, цепи,

соответствующие башмаки. И сам не понимал, то ли это игра, то ли смелый и оригинальный способ узнать реальную жизнь. Кругом много говорили об «идентичности». Но, бывая в гей-барах, он не мог отличить притворное от настоящего. Позже он удивлялся, как его только не убили. Джерарду он об этом времени никогда не рассказывал. Что еще он не рассказывал ему, так это что в одном очень специфическом гей-баре он услышал, как упомянули имя Джерарда. Разумеется, Джерард близко не подходил к подобным заведениям, но люди в них говорили о нем. С Джерардом он познакомился, когда тот спасал маленький авангардный театрик в Фулеме, оказав финансовую помощь, и появился там раз или два. Однако театр долго не протянул. Гулливер не остался равнодушен к Джерарду, но никак не ожидал с его стороны такого рода внимания, все знали, что в тот момент у Джерарда не было любовника. Гулливер был весьма польщен тем, что друзья Джерарда приняли его в свой круг и даже (когда Джерард почувствовал себя виноватым за связь с ним) приняли ассоциированным членом в Братство книги. На деле, Джерард обычно был настолько скрытен, что «поддержка», которую, по его мнению, он оказывал Гулливеру, суще-

ствовала лишь в его воображении и вряд ли была заметна другим.

Гулливер продолжал искать работу, постепенно снижая претензии и смиряя гордость. Он обращался на Би-би-си, в Британский совет, Лейбористскую партию, местный муниципалитет, Лондонский университет. Подавал на грант для продолжения образования, но получил отказ. Конечно, он пробовал попасть на сцену, но это было безнадежно, когда отличные и опытные актеры сидели без работы. Он энергично расширял круг поисков, предлагал себя в качестве школьного учителя по любому предмету или социального работника. Обнаружил у себя множество неожиданных талантов и неиссякаемый энтузиазм: прекрасно умел обращаться с детьми, со стариками, с душевнобольными, с животными, был очень молод, очень зрел, очень опытен, очень разносторонен, готов учиться чему угодно. Но на что было надеяться, когда, как оказалось, на каждое место претендуют сотни человек. Он еще не пробовал устроиться швейцаром, официантом, разнорабочим на фабрику, полагая, что его не возьмут, и считая, что это в любом случае будет отчаянным, возможно, убийственным шагом. Еще оставались сбережения, не иссякла надежда;

но теперь он отчетливо сознавал, что, несмотря на его молодость, таланты и университетский диплом, может больше никогда не найти работы.

В свое время Гулливеру доводилось жалеть безработных и ругать правительство. Теперь он на собственном опыте познал, что такое не иметь постоянной работы. Часто он с возмущением думал, что это так несправедливо, он этого не заслужил! Едва он просыпался утром, как его одолевали черные мысли. Он еще не понимал насколько одинок или какое одиночество ему предстоит. Он был одиноким в детстве, но в студенческие годы казалось, что впереди у него радужное будущее, положение в обществе, неизменный тесный круг друзей. Теперь он обнаружил, что если ты безработный и не имеешь денег, то можешь стать никому не интересен. Понял, как это «субъективно» и зависит даже от болтовни благодетелей человечества, которые вечно готовы сожалеть и сокрушаться о том, что им не доводилось испытывать. До чего же было абсурдно чувствовать себя таким пристыженным, замаранным, бесполезным. Он просто знал, что столкнулся с какой-то враждебной силой и катится в бездну, из которой ему никогда не выбраться. Он представил, каким будет через

несколько лет: согбенная, шаркающая фигура, просящая милостыню у старых друзей. Цветущая молодость позади, телесная красота длится лишь краткий миг, плоть становится дряблой, покрывается пятнами. Он начинал испытывать отвращение при взгляде на молодых мужчин — ужасный симптом. Скоро будет не в состоянии следить за своей внешностью, а это необходимо, когда ищешь работу. У него не было семьи, куда можно было бы вернуться, он почти не помнил отца, страдал от злобного отчима и сводных братьев и сестер, был чужим для матери, которая возненавидела его. Позже он получал удовольствие, демонстрируя презрение к ним, и порвал всякую связь с ними. Так что идти было некуда. Скоро придется покинуть и скромную квартирку, которую он снимал. Он продал машину, отказался от телефона и избегал литературных друзей, любивших встречаться за дорогим ланчем. Он не мог ни принять помощь от Джерарда во второй раз, ни явиться к нему в своем теперешнем жалком виде. Дженкин уже трижды присылал открытки, но Гулл не понимал, чем тот способен помочь ему. Гуллу было приятно, когда Роуз позвонила ему и, поскольку телефон был отключен, написала, приглашая на коктейль. Он, конечно,

отказался. Послал ей анонимно цветы. Это слегка подбодрило его.

— И что-то непонятное и маленькое каталось по ее комнате, похожее на мячик. Она сказала, чтобы я ни в коем случае не дотрагивалась до него. Я было хотела поймать его, но он не давался в руки, все куда-нибудь закатывался. Я так и не поняла, живое это что-то или нет.

— Но послушай, твоя бабка не была настоящей колдуньей, то есть настоящих колдуний вообще не бывает, есть просто несчастные ненормальные создания или мошенницы, которые делают вид…

— Думаю, она была повитухой, скорей всего, неофициально, но все знала о травах, обычно собирала их в полнолуние. Если хочешь кому-то навредить, то собирать надо, когда луна на ущербе…

— Наверняка была сумасшедшая…

— Не была она сумасшедшей, и даже мошенницей не была… ты не понимаешь, колдовство — это древняя религия, куда древней христианства, чтобы повелевать вещами. Думаю, она ненавидела родителей, они принадлежали к какой-то суровой христианской секте, она ненавидела христианство.

— Этому есть психологическое объяснение.

— Объяснения — это просто отговорки! Иногда она называла себя цыганкой, иногда еврейкой. Люди ее боялись, но и обращались за помощью, она все умела. Занималась лозоискательством, изгоняла привидения, могла вызвать дождь, помочившись… и, конечно, занималась абортами…

— Конечно!

— У нее был дурной глаз, в буквальном смысле, один глаз такой странный, и…

— Как у Дункана! Но вряд ли у него это дурной глаз… хотя ему бы небось хотелось, бедняге!

— У нее было много книг, мне кажется, она надеялась сделать какое-нибудь поразительное открытие.

— Ненормальные на это способны.

— Ну, тогда мы немножко ненормальные. Почему, по-твоему, на кладбищах сажают тисовые деревья? И еще это как социализм.

— Как социализм?

— Да, это антиобщественное общество, форма протеста, как то, чем занимается Краймонд и…

— Ну, Лили, — сказал Гулливер, — перестань смешивать разные вещи, начали с твоей бабушки, а теперь опять вернулись к Краймонду!

— А что, он тоже хочет власти, пишет магическую книгу.

— Ты ведь знаешь его, да?

— Когда-то знала, — осторожно ответила Лили. — Но в последнее время нечасто видела его.

Лили только что пришло в голову, что будет весьма недурно, если Гулливер посчитает, что она была любовницей Краймонда. Она никогда не осмеливалась намекать кому-то на это. Даже сейчас она боялась, что Гулливер может уловить в ее словах намек и не поверит ей или, еще хуже, поверит и скажет что-нибудь Краймонду. Что в точности она сказала? Она уже не помнила. А все вино виновато.

Они завтракали дома у Лили. В квартире рядом со Слоун-сквер были огромные окна с диванчиками под ними и широкие эдвардианские двери из тика. Полукруглый эркер в гостиной, где они сидели за овальным столом, выходил на улицу и видно было, как ветер несет желтые листья высоких платанов и аккуратно усыпает ими тротуары. В камине пылал огонь. Комната была пестрая, заставлена вещами, почти безвкусная; было в ней нечто чувственное и восточное, как подумалось Гулливеру, возможно, след ужасной бабки. Наверное, он был идеальным гостем для этой комнаты. Ему нравился причудливый до умопомрачения вкус Лили: почти черные обои, современный

зелено-кремовый ковер шахматного рисунка и с эффектом углублений, напоминавший мозаичный пол экзотического внутреннего дворика, диван с ковровыми и с расшитыми подушками, на котором Лили валялась, бездельничая, блестящие поверхности, заставленные коробочками и статуэтками, дорогими безделушками, которые Лили «под настроение» покупала в дорогих магазинах. Ему нравилось, как тут пахло новыми вещами, даже старые вещи пахли как новые.

Да, они стали друзьями. Прежде у Гулливера никогда не было приятельниц. Это единственное из произошедшего с ним за последнее время, что не было обречено на неудачу или ужасным, но даже и в этом случае все было окутано облаком неопределенности. Он не мог поверить, что хотя бы что-то не кончится крахом. Инициатива их сближения принадлежала не Гуллу, а Лили. Они уже спорили, кто сделал первый шаг. В конце лета, когда Джерард был в Греции, Роуз в Йоркшире, а Гулл только начал впадать в отчаяние, он получил открытку от Лили с приглашением позавтракать в ресторане при Ковент-Гарден. Он решил отказаться, но потом все-таки пошел. Они встречались еще несколько раз, в ресторанах, причем платила Лили. Гулливер не предполагал

продолжать поддерживать отношения с подобным нелепым существом, однако продолжал. Впервые он увидел ее сколько-то времени назад на вечеринке у Роуз и почти не обратил на нее внимания. Что же сейчас привлекло его в ней, ее деньги? Они впервые, и по предложению Гулла, завтракали у нее дома. Ему надоело, что она постоянно платит, и он опасался, что она может поставить это ему в упрек. Гуллу было легко с Лили, поскольку он не боялся критики с ее стороны и вообще его мало заботило ее мнение. В его поведении с ней сквозило легкое превосходство, которое он, вероятно, перенял от людей, окружавших ее, когда они познакомились. В то же время он чувствовал потребность продолжать эти встречи. При ней он изображал нищего писателя, гения, ютящегося в мансарде, давая понять, что на деле не стремится найти работу, а всегда желал быть одиноким, жить впроголодь и писать. Говорил, что добровольные отшельники — святые современного мира. Лили восхищал его аскетизм. Разумеется, их отношения нисколько не были романтическими. Лили чуточку рассказала о коварстве мужчин, Гулл — о гей-барах. Все происходило исключительно непринужденно и ни к чему не обязывало.

Дружба с Гулливером доставляла Лили удовольствие. Для нее он был ниточкой, связывающей с Джерардом и с «тем миром». Она верила его истории о «нищем писателе» и «отшельнике святом» и не догадывалась, что он больше не видится с Роуз и ее друзьями. Она воспринимала Гулливера как пропуск в светское общество, но, кроме того, ей было приятно находиться в его компании, приятно, что у нее появился именно такой друг. Они сошлись во мнении, что оба они неудачники, не от мира сего, не такие, как все. Ей нравилось слушать рассказы о его мерзкой семье и рассказывать самой о том, какой отвратительной была ее семья; как отец исчез еще до ее рождения, как мать, перейдя в католицизм, оставила ее на попечение бабке колдунье, которая (хотя Лили и гордилась ею) страшно пугала ее. Из школы она сбежала в «убогий Политехнический», где научилась печатать на машинке, занималась живописью и керамикой. Мамаша-католичка спилась и умерла, бабка, собиравшаяся дожить до ста двадцати, умерла неожиданно и при таинственных обстоятельствах, и смерть на нее (по ее утверждениям) наслала ведьма-конкурентка. Но еще до этого Лили потеряла с ними всякую связь: «Я никогда не любила их, а они меня. А, да что

там говорить...»

На столе были ветчина и язык, салями и peperonata[49], серединки артишоков илимская фасоль. И Гулл, и Лили любили поесть, но не готовить. Они выпили много дешевого белого вина. (Лили была не слишком привередлива в отношении вина.) Затем были сыр, шоколадный торт с кремом, испанский бренди, которому Лили отдавала предпочтение перед французским коньяком. В квартире царил беспорядок, кругом лежала пыль, поскольку Лили, очень подозрительная и боявшаяся воров, не приглашала к себе уборщиц, сама же не любила наводить чистоту, но в каких-то других вещах ей была свойственна систематичность, даже обрядовость. «Пикник» проходил спокойно и не спеша, на индийском постельном покрывале, превращенном в скатерть, были аккуратно расставлены красивые тарелки и бокалы; Лили ничего не вынесла из своих занятий живописью в Политехническом, но натура, подтолкнувшая ее к этим занятиям, позволила ей и сейчас проявить художественные наклонности. Как заметил Гулливер, она была также и очень суеверна, верила в предзнаменова-

**[49] Примечания: 49**
Жареный перец с луком и помидорами (ит.).

ния, пугалась лестниц, внезапно появлявшихся птиц, скрещенных ножей, неблагоприятных дат, чисел, фаз луны. Боялась черных собак и пауков. Верила в астрологию, гороскопы, которые ей составляли несколько раз, приходила в смятение, когда предсказание не оправдывалось. В голове у нее перепутались обрывочные представления об учениях йоги и дзен-буддизма. Еще одной маленькой загадкой Лили было то, что она могла выглядеть когда необыкновенно старой, а когда необыкновенно молодой. В первом случае лицо ее принимало тревожное выражение, заострялось, веснушчатая кожа покрывалась морщинами, светло-карие глаза тускнели, длинная шея выглядела тощей и жилистой, землистое и как будто рябое лицо стягивалось к губам в гримасе раздражения. В другое же время лицо ее было гладким, молодым и оживленным, бледное, оно светилось, в ярких, как карамель, глазах сверкал ум, от тонкой фигурки веяло энергией. Тогда она становилась невероятно оживленной, но в этой оживленности было что-то от отчаяния. Одевалась она то с шутовской элегантностью, то с беззаботной неряшливостью. Сейчас, энергичная, молодая, она была в облегающих черных вельветовых брючках, босая, в голубой шелковой блузке

с высоким воротничком и янтарными бусами. Гулливер, всегда принаряжавшийся ко встречам с Лили, был в серо-желтом шерстяном свитере в красную крапинку поверх белой рубашки, в своих лучших джинсах и туфлях и в роскошном коричневом кожаном (из кожи северного оленя) пиджаке, который пришлось снять, потому что дома у Лили было слишком тепло.

Гулливер промолчал, более того, как бы не заметил намек Лили на ее связь с Краймондом. Он просто прикусил язык. Теперь он часто это делал. Был ли это некий признак, потеря реакции, например, или симптом некой болезни? В любом случае, как, черт возьми, ему реагировать при такой опасной жизни среди этих могучих, воюющих между собой чудовищ? Он сказал:

— Ты виделась с Краймондом?

— Нет, в последнее время не виделась.

Лили не хотелось признаваться, что ее дружба с Краймондом уже в прошлом.

— С ума сойти! — сказал Гулливер. Они, конечно, не раз обсуждали эту историю. Гулливер не мог удержаться, чтобы не позлорадствовать, что и у других тоже неприятности; только представить, один и тот же человек дважды наставил рога! — На месте Дункана я бы застрелился от

ярости, стыда и ненависти!

— Зачем стреляться? — сказала Лили. — Ему надо было бы собрать ребят и прикончить Краймонда. Мои подружки феминистки убили бы типа вроде Краймонда, я видела на показательных выступлениях по дзюдо, женщина демонстрировала, как это делается, если на тебя нападает мужчина, мощная была тетка! Сбила его с ног, а он был здоровенный детина, прямо мордой об пол, заломила руку, и все женщины в зале завопили: «Убей его! Убей его!» Это было нечто!

Гулливера передернуло.

— Не представляю, чтобы Джерард и его братия прибегли к насилию. Они скорей сядут и будут думать.

— Уж эти мне культурные джентльмены! — сказала Лили. — Будут сидеть, как божки, которых ничего не касается. Даже если их друг в беде, они и пальцем не пошевелят.

— Они ничего не могут сделать, — возразил Гулливер. — Джерард правда очень старается, заботится о людях.

— Да уж, такой весь из себя весь важный, — съязвила Лили.

Гулливер одобрительно рассмеялся. Приятно было слегка принизить Джерарда. Тот очень его

поразил. Раньше, в этом году, Гулливер переписал для Джерарда несколько своих стихотворений. Джерард принял их, казалось, с удовольствием, но позже Гулливер обнаружил их в корзине для бумаг.

— А Дженкин Райдерхуд размазня, — продолжала Лили, — не мужчина, а плюшевый мишка.

— Нет, он славный обходительный малый, только вот мухи не обидит.

Он тут же укорил себя за эти слова. Сидит, перемывает с Лили косточки другим, болтает, что сам не думает, а она и уши навострила. Совсем деградирует, а все потому, что совсем уж выбит из колеи.

— Женщины тебе больше нравятся.

— Роуз Кертленд очень элегантна, — признала Лили. — Шикарней быть невозможно. Хотя робка, и это меня в ней раздражает, не выношу робких женщин. Лучшая из них — это малышка Тамар.

— Тамар? — удивился Гулливер, который прежде не слышал, чтобы Лили упоминала Тамар.

— Да, — подтвердила Лили и добавила: — Однажды она выручила меня.

Когда-то давно на вечере в доме Кэмбесов, где Лили чувствовала себя совсем одинокой, Тамар сочла своим долгом заговорить с ней и не поки-

дала ее все время. Лили этого не забыла.

Гулливер был тронут:

— Она — милое дитя, но вот уж о ком не скажешь: из молодых, да ранняя.

— Благодарение Богу, что в наши времена еще есть подобные девушки! Она чиста, невинна, очаровательна, неиспорченна, свежа — словом, у нее есть все то, чего нет во мне. Я испорченная, мне кажется, я родилась испорченной. Обожаю это дитя.

Гулливера изумила эта небольшая вспышка. Может, он недооценил Тамар и следовало пристальней к ней приглядеться? Но конечно, эмоциональность Лили объяснялась тем, что она больше думала о себе, нежели о юной Тамар.

— У нее есть будущее, — сказала Лили, — остальные мягкотелы, живут в прошлом, в некоем выдуманном оксфордском мире. Тамар правильно сделала, что порвала со всем этим, она смелая, у нее силен инстинкт самосохранения. Необходимо быть твердым, чтобы понимать наше время, не говоря уже о том, чтобы выжить в нем.

— В Джин твердости хватает, она тоже очень любит Тамар, а Тамар просто обожает ее.

— Правда? — Мгновение Лили раздумывала,

нельзя ли как-нибудь с помощью Тамар заставить Джин вернуться. Но отказалась от этой мысли. — Непостижимо. У меня вот не получаются отношения с мужчинами, да и с женщинами тоже.

— Со мной получаются.

— Ну, с тобой!..

— Что значит «ну, с тобой»?

— Собственно, мнение, что мужчины и женщины — разные существа, относилось к мужчинам и рабыням. Фрейд с его теорией зависти к мужчинам как обладателям пениса тут ни при чем, но во Фрейде говорило чувство превосходства. Мы, использованные и освобожденные женщины, понимаем и знаем все это лучше других. Что это я говорю «мы»! Я одна понимаю и знаю.

— Это потому, что ты колдунья, — сказал Гулливер. — Я в курсе, что ты познакомилась с Джин на тех занятиях йогой, когда вы стояли на голове, но где ты познакомилась с Краймондом?

— Краймонд, Краймонд, надоело, так ли уж нужно все время говорить о Краймонде?

— Как получилось, что ты пришла на бал с ним?

Гулливер давно хотел спросить ее об этом, но осмелился только сейчас.

— Совершенно случайно, другая девушка в последний момент отказалась с ним пойти, только и всего. Я правда мало знаю его… но, с другой стороны, а кто знает его хорошо?

Лили помалкивала о Краймонде не потому, что между ними было нечто «такое», ей особо нечего было скрывать и, хотя она не возражала, чтобы люди подозревали иное, их знакомство действительно было шапочным. Чем она дорожила и что следовало таить от других — это просто обычная, но для нее важная история ее мыслей и чувств, связанных с этим человеком. Впервые Лили услышала о Краймонде, когда он был знаменитым экстремистом и идолом молодежи, влиятельным другом известного леворадикального члена парламента, выступал на многолюдных митингах и появлялся на экранах телевизоров. Потом, вскоре после возвращения Джин к Дункану и перед самой своей свадьбой, Лили познакомилась с Джин на занятиях йогой. Джин, конечно, никогда не упоминала о Краймонде, но в объединении феминисток, где Лили тогда часто бывала, ходило много разговоров об этой истории, и, хотя там не почитали институт брака, все признали, что Краймонд скотина, бандит, шовинист по отношению к женщинам и его политика в части

женского равноправия совершенно несостоятельна. Когда Краймонд выступал на митинге в районе Камден-Таун неподалеку от того места, где она тогда жила, Лили пошла посмотреть на него. И он ее очаровал. Не сказать, что она влюбилась, Лили не осмелилась так определить эту одержимость Краймондом. Скорее это был род рабства, как случается с людьми в подобной ситуации, когда они видят в произошедшем закономерный поворот судьбы и идут ему навстречу. В общем виде, ибо о частностях Лили не задумывалась, к своему положению она отнеслась с неким безнадежным покорным фатализмом. Какое-то время она размышляла, что ей делать. Пошла на другой митинг, там на еще один, один раз поехала на другой конец Лондона, потом в Кембридж. На втором митинге ей удалось, пробившись сквозь толпу возбужденных студентов, его «красную гвардию», как кто-то назвал их, даже поговорить с ним. Она выдала себя за представительницу местного отделения «Семинара женщин-социалисток», общества, о существовании которого слышала, и попросила о личной встрече. Он ответил, глядя на часы, что она может написать ему на адрес его издателя, и исчез. Лили не бросилась писать сразу же, а какое-то время ходила в радостном

предвкушении, что будет писать ему. Но по мере того как пауза затягивалась, она осознавала, что не сможет этого сделать, не сможет написать достаточно умное письмо. Он не ответит, и ее жизнь превратится в ад. Она узнала, где он живет, и однажды утром пришла к нему, когда он был один, и предложила свои услуги: быть у него посыльной, секретаршей, уборщицей — кем угодно. Он отправил ее в местную ячейку Лейбористской партии, чтобы там ей подыскали какое-нибудь дело. Когда Лили чуть не в слезах выходила от него, ее осенило упомянуть, что они подруги с Джин Ковиц (тогда это было не слишком далеко от правды). Ей также хватило сообразительности назвать Джин по девичьей фамилии. Краймонд посмотрел на нее с интересом. Но потом сказал: «Ну, иди, иди!» Лили была разочарована, но тем не менее знала, что впредь он будет помнить ее.

Она написала ему деловое письмо, где говорилось, что она много печатала для писателей и ученых (полная ложь) и была бы рада быть его машинисткой. Ответа не последовало. Но когда, благоразумно выждав какое-то время, Лили появилась на очередном митинге и уселась в первом ряду, Краймонд узнал ее и улыбнулся ей. Она снова написала, просто предлагая себя «в каче-

стве машинистки» и с пожеланием ему всяческих успехов. И тогда из агентства секретарских услуг пришло типовое письмо с просьбой выполнить срочную работу для мистера Краймонда. Лили, распрощавшись с прежней конторой, бросилась, как одержимая, исполнять задание, а потом сама отнесла распечатанный текст. Кто-то принял у нее работу, расплатился, Краймонд, мелькнув в дверях, выкрикнул благодарность. Между тем в реальной жизни Лили упала в объятия милого анемичного Джеймса Фарлинга, за которого, оставаясь рабски преданной Краймонду и нисколько не дорожа собой, так что это для нее не имело никакого значения, в конце концов вышла замуж. Почти тут же она стала вдовой, известной и состоятельной, во всяком случае при деньгах (выяснить, сколько ей причиталось, так и не удалось) и с сомнительной славой, которую принесли упоминания о ней, не всегда благожелательные, в газетах. Рассчитывая получить реальную часть этих активов, она стала время от времени посылать Краймонду открытки с короткими пожеланиями успеха и напоминаниями о своем «машинописном бюро». Но шло время, и ее эйфория сменилась депрессией. Она почувствовала, что все «охотятся за ее деньгами»,

заявила, что «поставила крест на мужчинах» и становится «затворницей». Возобновила дружбу с художницей Анжелой Парк, которую знала со студенческих времен, но поссорилась с ней из-за воображаемого «высокомерия» последней. Она стала думать, что «люди» теперь считают ее глупой, вульгарной, пробивной женщиной, уверенной, что с деньгами ей «позволено все». Стала частенько выпивать в одиночку. Беспричинно беспокоилась о деньгах, которые, казалось, тают. Чувствовала, что ею постоянно пренебрегают, что у нее нет друзей и никакой жизни.

Однако существенной поддержкой для Лили были в этот период ее странные односторонние отношения с Краймондом. Это было единственное, что оставалось высоким и чистым. Для нее Краймонд в то время играл роль Бога. Лишь оно, это отношение, требовало проявления всего в ней лучшего и не могло выродиться во что-то ничтожное. Но оно, конечно, было и источником страха, поскольку власть над ней этого недоступного человека вселяла ужас. Открытки, естественно, оставались без ответа, но случалась еще машинописная работа, и ей несколько раз удалось увидеть Краймонда и недолго поговорить с ним. В один счастливый день он назвал ее «Лили».

Она восприняла это как знак, что может больше не бояться получить отпор. Краймонд, которого опасались многие крепкие парни, иногда позволял себе быть добрым к слабым. Постепенно она достаточно овладела собой, чтобы составить здравый план неотложных действий. Она предприняла судорожные попытки «поумнеть», прочла несколько интеллектуальных романов, по телевизору смотрела «лучшие» программы. Даже попробовала ходить (недолго) на вечерние курсы французского. И почувствовала, что действительно немножечко меняется. Прежде ей трудно было представить, что она способна на такую странную, ни к чему не обязывающую дружбу, какая у нее сейчас завязалась с Гулливером Эшем. Между тем сблизиться с «кругом» Джин, на что она очень надеялась, по-прежнему не получалось. Джин буквально забыла о ней, только Роуз Кергленд поддерживала с ней связь и временами звала на вечеринки, от которых, впрочем, не было никакого проку.

Боги, которые от скуки подобным образом забавляются судьбами смертных, устроили так, что едва Лили, после долгих и рискованных попыток, установила хоть какие-то реальные отношения с Краймондом, период ее рабства, одержимости

им закончился. Конечно, она все еще любила и ценила его больше всего на свете, но перестала быть беспомощной рабыней его личности. Она даже стала способна видеть его несовершенство, критиковать его перед другими, больше того, смело интересоваться его интимной жизнью, о которой, впрочем, мало что было известно. Из ее жизни ушел страх, и вообще она почувствовала себя лучше. В долгие часы раздумий над всей этой историей ей пришла мысль, что она «что-то значила» для Краймонда благодаря ее кажущейся дружбе с Джин. Она не знала, как отнестись к подобному предположению или даже нравится ли ей это или не нравился. Она благоразумно решила, что по-настоящему ничего не значит для Краймонда, который без всякой задней мысли просто терпел ее, как терпел своих многочисленных надоедливых поклонников. Но тем не менее она подспудно продолжала тешить себя мыслью, что все же нужна Краймонду, не сама по себе, конечно, а как посредница, возможная связующая нить с Джин. Ей нравилось думать о себе как о «спящем агенте», которого держат про запас, чтобы использовать в будущем. Опять же таки парадокс был в том, что, когда для Лили настал момент сыграть решающую роль в жиз-

ни Краймонда, она не поняла, что происходит, и чуть было все не провалила. Еще задолго до самого события она узнала от Роуз о бале в Оксфорде и кто собирается туда пойти, даже о Тамар и молодом американце. Так вышло, что непосредственно перед этим у нее произошла одна из коротких нечастых и теперь уже не вызывавших столь ужасного волнения встреч с Краймондом, для которого она распечатала крайне срочный материал — как всегда, торопливо написанные страницы на тему политики, никак не связанные с книгой, о существовании которой она, разумеется, знала, но которую никогда не видела. К этому времени Краймонд жил куда более уединенно в Камберуэлле, никаких секретарей, помощников, обожателей, «красногвардейцев». Лили, приходя, когда он ее вызывал, неизменно находила его одного в доме, и ей позволялось немножко поболтать, так что она всегда старалась заранее придумать, что бы сказать такое интересное. После той первой встречи ни разу не осмелилась упомянуть имя Джин, но иногда говорила, что встретила Роуз или Джерарда. Так она надеялась придать себе весу в глазах Краймонда, хотя понимала, что отношения между ним и «кругом» были исключительно холодные. Краймонд никогда

не обращал внимания на эти намеки, но и как будто не раздражался. Вот так, невинно щебеча о Роуз, она выболтала новость о бале, до которого оставалась всего неделя, сказав «они все идут», и назвала в числе других мистера и миссис Кэмбес. Краймонд мгновенно (позже она еще удивлялась этой быстроте) ответил: «Пожалуй, я тоже пойду. Пойдешь со мной?» Лили едва в обморок не упала от удивления и радости.

Радость ее уменьшилась, когда по размышлении она поняла, что цель этого похода была именно той, какую следовало ожидать, и ею наконец воспользовались, чего она давно хотела, только это ее не утешило, потому что она оказалась в роли первого попавшего под руку инструмента. Ей даже подумалось, а не вообразил ли Краймонд, что, сообщая новость, на самом деле она передавала ему послание от Джин. И все-таки как ей было не питать самых безумных надежд на волшебный вечер, в который все могло произойти. До самого означенного события она его не видела; а тогда отправилась в Оксфорд на автобусе, поскольку Краймонд не предложил подвезти ее, а просто сказал, что встретит возле университетской проходной. Они прошли внутрь вместе и направились к ближайшему шатру, где

остановились и Краймонд стал оглядываться. В этот момент Гулливер Эш и увидел его. Так случилось, что Краймонда сразу узнали в группе левацки настроенных старшекурсников, один из которых был лично с ним знаком, и они окружили его. Лили какое-то время сидела одна, и тогда ее заметила Тамар. С началом нового танца группа, окружавшая Краймонда, разошлась, исчез и сам Краймонд. Когда она позже снова увидела его, он танцевал с Джин.

Несколько недель после бала Лили оставалась в состоянии шока. Вскоре от Роуз, видеться с которой она положила себе за правило, ей стало известно, что Джин снова бросила мужа и ушла к Краймонду. Непрестанно думая о случившемся, Лили постепенно осознала, что потеряла его. В природе есть существа, которые, защищаясь, совершают такое, что вызывает их смерть. Высшими мгновениями в жизни Лили были те, что связывали ее с Краймондом, когда он был по-настоящему, жизненно необходим ей, но из-за произошедшего она прекратила все их отношения. Для нее было невыносимо, совершенно невыносимо находиться близ него. Никакой машинописной работы, никаких открыток, никаких посещений, никакой непринужденной болтовни

— конец всему. Едва она это поняла, прежняя глупая любовь затопила ее, только теперь к ней примешивались все былые напрасные иллюзии и горькие воспоминания о том, как, счастливая и гордая, шагала она по лужайке к танцующим в шатре. Она думала, что умрет от разочарования, стыда и чувства оставленности. Затем, когда Роуз и другие стали говорить, что все это долго не продлится, что Краймонд — невозможный человек и Джин будет вынуждена сбежать от него, Лили принялась утешать себя новыми фантазиями, как в один прекрасный день он позовет ее, старую дорогую подругу, которая, когда все остальные предали его, осталась верна ему. Конечно, она никому не проговорилась, что рассказала Краймонду о бале; и даже чувствовала странный трепет, когда говорила себе, что именно из-за нее все началось. Ей чуть ли не казалось иногда, что она выжидает, выжидает, не выдавая себя, словно обладает таинственной властью над ним.

— Тебе не нужно будет ничего особенного говорить Джин, — объяснил Джерард Тамар. — Просто сходи, повидайся с ней. Ей достаточно будет посмотреть на тебя, чтобы все понять.

Джерард пригласил Тамар и Вайолет на коктейль, рассчитывая, что Вайолет, недовольная,

когда ее не зовут особо, не придет, как обычно. Однако они появились вместе. Заглянула Патрисия и, к облегчению Джерарда, увела Вайолет показать, как Гидеон переделал квартиру наверху. Тамар на короткое время осталась в его распоряжении.

Они разговаривали в гостиной дома Джерарда в Ноттинг-Хилле. Комната, как кто-то сказал, была похожа на Джерарда, такая же мрачная и серьезная, но в спокойном и не без изящества стиле, зеленых и коричневых тонов с вкраплениями темно-синего и темно-красного, все в меру. Гостиная была просторной, с дверью в сад. На зеленом диване синие подушки, на синих мягких креслах — зеленые. Поверх темно-коричневого ковра, у широкого камина, в котором горел слабый огонь, — коврик с геометрическим узором, коричневым с красным. На стенах, оклеенных бумажными обоями в светло-коричневую крапинку, — английские акварели. Лампы в абажурах на нескольких столиках, примечательные вещицы на каминной полке. Джерард, не любивший оказываться на виду у личностей, могущих проникнуть в сад, сразу же, как стемнело, задернул темно-коричневые бархатные шторы.

Они стояли у камина. Тамар, которая вертела

в пальцах бокал с шерри, была в обычной своей «униформе»: юбке и блузке с жакетом. Цвет подобрала в тон своему природному — коричневой древесной коры, зеленый и зеленовато-серый. Юбка и туфли с пуговками — приглушенно коричневые, чулки серые, жакет — темно-зеленый, но иного оттенка, нежели на Джерарде. Белую блузку украшал светло-зеленый шарфик. Темно-русые волосы тщательно причесаны. Большие зеленые с коричневой крапинкой глаза в доверчивом сомнении смотрят на Джерарда. Он не вполне был ей вместо отца. Святое место неведомого папаши было в душе Тамар пусто. Она часто думала о нем, но никогда о нем не говорила. Странно было представлять себе, что он не знает о ее существовании. Джерарда, который не приходился ей даже дядей, она давно любила и уважала. Из-за материнской антипатии к «ним» (в число которых, конечно, входили Пат и Гидеон) Тамар чуточку сторонилась Джерарда, особенно в последнее время. Она надеялась, что он понимает ее.

— Как считаете, ничего, если я явлюсь к ней? Не будет ли это выглядеть несколько навязчивым вмешательством в чужие дела… а я вроде посланницы вражеской стороны…

— Нет. Это будет выглядеть естественно. Ты всегда очень любила Джин, а она тебя, и вы часто виделись. А вот если не пойдешь, она может подумать, что ты ее осуждаешь.

— Не хотела бы, чтобы она так подумала.

— Вот именно.

— Но она узнает, что я бываю и у Дункана. То есть я ей не скажу, если она не спросит, а она не спросит. Даже не упомянет о Дункане. Но узнает.

— Это тоже естественно. Она и не ждет от тебя, чтобы ты порвала с Дунканом! Они всегда были тебе как родители.

— Не говорите так, у меня есть родители.

— Прости, понимаю, что ты имеешь в виду, надеюсь, и ты понимаешь, что имею в виду я. Джин не сочтет, что ты явилась как шпионка и, конечно, что тебя послал Дункан.

— Но меня посылаете вы.

— Да, в каком-то смысле… но, разумеется, я не обсуждал этого с Дунканом. Я лишь желаю поддержать тебя в том, что, думаю, тебе и самой хочется сделать, только ты слишком робеешь. Тамар, я не прошу от тебя ничего, кроме как бывать иногда у этих двоих, по раздельности, без всякой задней мысли.

— Но у самих вас есть задняя мысль.

До чего проницательное дитя, сказан про себя Джерард, а вслух:

— Я ничего не скрываю. Знаешь, я хочу, чтобы Джин и Дункан снова были вместе, мы все этого желаем, и чем раньше это произойдет, тем менее трагичными будут последствия. Все, что ускорит это, будет во благо. Ты им обоим поможешь, в любом случае.

— Не уверена, — сказала Тамар. — Я могу только вызвать у них раздражение, поскольку совершенно в стороне от этой истории.

Слишком она умна, подумал Джерард.

— Ты бывала у Дункана в последнее время?

— Нет. Я была у него около месяца назад, он пригласил меня снова на чашку чая, сказал, чтобы я вообще приходила, просто позвонив.

— Но ты больше не была у него.

— Не думаю, что он был искренен. Это было сказано просто из вежливости, как и приглашение на чай. Наверно, я не права. Мне кажется, ему не хочется, чтобы его видели в таком состоянии.

— Ему не показалось, что ты снисходишь до него? Молодые способны относиться снисходительно к своим старикам!

— Нет, как ему такое могло показаться! Просто, если вмешиваться, когда человек страдает, ты

все равно что сторонний свидетель, а у нас нет на это права.

— Если считать, что никто не способен никому облегчить страданий… Лучше перестараться. Мы куда чаще ошибаемся, не пытаясь помочь, нежели когда бросаемся на помощь. Естественно, я ничего ему не сказал…

— Можно ничего и не говорить, и тем не менее тебя поймут!

— Ох, хватит возражений, Тамар, просто пойди навести Дункана, просто покажись у него! Он не может игнорировать тебя, даже если хочет, он знает тебя с пеленок. Пойди к ним обоим.

— Хорошо. Но…

— Но что?

— Я боюсь Краймонда.

Пора прекращать разговор, подумал Джерард, пока этот страх не превратился у нее в фобию.

— Краймонд с головой погружен в свои теории, он даже не заметит тебя. В любом случае он будет работать, и ты можешь встретиться с одной Джин.

Тамар слабо улыбнулась и в знак согласия подняла раскрытую ладонь — жест, свойственный ей с детства и такой знакомый Джерарду.

— Ну вот и паинька, — сказал он. — Ты сейчас

достаточно ешь? А то ужасно худая.

— Ем. Я всегда худая.

— От Конрада есть известия?

— Нет. Со времени бала ничего.

Конрад Ломас написал ей письмо, в котором извинялся и сообщал, что только что улетел в Штаты и напишет оттуда. Сказал, что искал ее тогда весь вечер (и, похоже, во всем винил ее) и что ее пальто оставил у Ферфаксов. Больше она о нем не слышала.

Джерард решил, что лучше не продолжать эту тему.

— Как тебе работа, все еще нравится?

— Да, очень интересная, мне дали рукопись для прочтения.

Разумеется, Тамар не рассказала Джерарду о том, как ее заставили бросить Оксфорд. Она уклончиво соглашаясь с объяснением, которое давала Вайолет: что она «вырвалась» из университета, потому что «сыта» учебой. Стремясь избежать мучительных расспросов, она быстро смирилась и со своим уходом, и с отчаянием. Она не хотела выдавать мать на растерзание доброхотов, да и их бесполезные споры с Вайолет лишь продлили бы ее страдания.

— Фирма хорошая, — сказал Джерард, глядя

на нее.

Следовало бы, думал про себя Джерард, поинтересоваться ее жизнью, проявить больше внимания. Зациклился на Краймонде да еще на этой истории. Надо заботиться о ней, а не просто посылать с поручениями. Он все считает ее шестнадцатилетней. А она такая сильная юная особа. Вполне способна критически судить о нем. Он опустил глаза.

Тамар, не спуская ясного взгляда с Джерарда, взялась за каминную полку, ее маленькие ноготки легли рядом с черным тюленем из мыльного камня, который жил там. Джерард, обладавший вкусом хотя и пресным, но эклектичным, собрал небольшую коллекцию эскимосской скульптуры. Она взглянула на тюленя, которого обожала, но не прикоснулась к нему. Фигурка привлекала своей тяжеловесной грацией, округлые плечи развернуты, голова, похожая на собачью, поднята. Далекая оттого, чтобы судить Джерарда, Тамар любила его чистой любовью, испытывала спокойное нежное свободное мирное чувство единения с ним, какое можно испытывать к старому мудрому другу, в котором, знаешь, нет враждебности к тебе, а только внимательная доброжелательность, и с кем можно просто помолчать.

— Хочу подарить тебе что-нибудь, — сказал Джерард и было подумал о черном эскимосском тюлене. Но он знал, что потом будет жалеть о таком подарке. Слишком тюлень нравился ему самому.

Тамар, наконец повеселевшая, сказала:

— Джерард, знаете, не сочтите меня ненормальной… мне было бы приятно, правда приятно… иметь какую-нибудь вашу вещь… Что-нибудь старое, что вам не жалко было бы выбросить… перчатку, или шарф, или… что-то, что вы носили, понимаете… как знак благосклонности, или…

— Для твоего рыцарского копья?

— Вот-вот…

— Блестяще! Я знаю, что тебе точно подойдет!

Джерард вышел в холл и тут же вернулся с университетским шарфом.

— Держи, это мой старый университетский шарф — ты будешь носить мои цвета!

Он обернул шарф вокруг ее шеи.

— Ох… не жалко с ним расставаться?

— Нет, конечно, я всегда могу получить другой! Посмотри, какой он старый.

— Я в полном восторге… теперь мне не будет страшно… огромное спасибо!

Она перебросила длинные концы шарфа на

грудь, потянула за них и засмеялась. Джерард, тоже смеясь, думал над ее причудой представлять себя юным рыцарем, бросающимся в бой, повязав на копье его шарф! Как это трогательно. Странный все-таки она ребенок.

Дверь открылась, и вошли Патрисия с Вайолет.

Как только вошла мать, лицо Тамар погасло, так выключают свет. Искрящийся озорной взгляд, редко появлявшийся у нее, пропал в мгновение, лицо замкнулось, спокойного непринужденного настроения как не бывало. Она, подумал Джерард, надела маску, столь привычную, что ее едва можно назвать маской, и выглядела равнодушной, невозмутимой, погруженной в себя. Не выдавая беспокойства, она серьезно и предупредительно смотрела на мать.

Когда кузины сходились вместе, было заметно их легкое сходство. Отец Джерарда и Бен, его дядя, особенно на некоторых старых фотографиях, обнаруженных Джерардом в бристольском доме, когда вывозил оттуда вещи перед его продажей, в молодости тоже походили друг на друга. Теперь он ясно видел, что Патрисия и Вайолет сохранили тень, ощущение этого сходства в несколько напряженном выражении лица, твердой властной линии губ, решительном «смелом» взгляде.

Только у отца и дяди Бена в этом боевом взгляде сквозили юмор и ирония, тогда как у их чад было больше самоуверенности и жесткости, а в случае Вайолет — агрессивности. Пат была выше и плотней, с полным лицом и крупным подбородком. Вайолет несколько потоньше и постройней. У обеих над переносицей пролегли вертикальные морщинки оттого, что они беспрестанно хмурились. Они осуждающе смотрели на Джерарда и Тамар, подозревая, что та затеяла какую-то интригу. У Джерарда при взгляде на них болезненно задергалось лицо. Среди старых фотографий ему попались несколько, на которых он снял Жако. Он, конечно, сразу же уничтожил их. Жаль, что человек, боясь страданий, всегда торопится уничтожить то, что напоминает ему о былой любви. Когда он разглядывал мальчишеские, потом юношеские фотографии Бена, ему также пришло на ум, что отец, возможно, чувствовал вину перед своим младшим братом за то, что не попытался его спасти, разыскать и помочь, что слишком легко и скоро принял на веру, что тот — «неисправимый псих», и Джерард вырос с этим же убеждением. Наверное, и об этом ему стоило поговорить с отцом. Однако сейчас Джерард думал о Жако, как тот расправлял одно

крыло, приветствуя его, тряс алым хвостом и умно и серьезно заглядывал в глаза.

Джерард, почувствовав рядом легкое движение Тамар, понял, что той хочется уйти. Она не любила слушать, как мать разговаривает с другими людьми, особенно с Пат и Джерардом.

Вайолет, держа в руке большие круглые очки в синей оправе и близоруко щурясь из-под длинной челки, сказала Тамар:

— Что это за старье у тебя на шее, это шарф?

— Да, университетский шарф Джерарда, он только что подарил его мне.

— Ты не можешь носить мужской шарф.

— Нет, могу! В любом случае все университетские шарфы одинаковы, что мужские, что женские.

— Но ты не училась в том же колледже, что и Джерард. Да и вид у него… не мешало бы как следует постирать.

По лицу Тамар было видно, какое смятение вызвало у нее кощунственное предложение смыть с ее трофея всякий след Джерарда. А Джерард подумал про себя, что шарф, должно быть, бог знает как пахнет, его в жизни не стирали!

— Не думаю, что университетские шарфы вообще стирают, иначе пропадет их индиви-

дуальность. И этот шарф стирать нежелательно, — возразил Джерард, а про себя подумал, что он говорит, как Дженкин. Образ Дженкина, неожиданно наложившийся на образ Жако, приободрил его.

— Этот пиетет к своему колледжу вызывает у меня содрогание, — сказала Пат.

— Понравилось, как наверху все заново отделали? — спросил Джерард Вайолет.

— Должно быть, кучу денег вбухали.

— Это была идея Гидеона, — сказала Пат. — У него замечательное чувство цвета. Там масса места, так что, когда перевезем мебель и кое-какие вещи из Бристоля, там будет вполне цивилизованно… а если сделаем перепланировку дома, так сможем уместить все.

— Я не хочу, чтобы вы умещали все, — нахмурился Джерард. — И пусть Гидеон оставит в покое сад камней.

Тамар по-прежнему порывалась уйти. Патрисия и Вайолет одинаковыми жестами поправили прически и пригладили платья.

— Пат говорит, что ты собираешься перебраться наверх, весь остальной дом оставить в их распоряжении, — проговорила Вайолет.

— Это для меня новость!

— Я думаю, это будет очень разумно. Тут слишком просторно для одного. Вся моя квартира уместится в этой комнате. А бристольскую обстановку тебе следует продать, там есть очень ценные вещи. Перестань глядеть на часы, Тамар, это неприлично.

— Думаю, кое-что из бристольской мебели нам следует подарить Вайолет, — сказал Джерард сестре после того, как гости ушли. Вайолет отказалась, чтобы они заплатили за такси.

— Она уже намекнула на это, когда мы были наверху! Да у нее места нет в ее кроличьей норе, она испортит эти чудесные вещи, завалит газетами и пластиковыми пакетами, чашки с чаем будет ставить на них. Что-то из кухонной мебели можно. Но она не возьмет. Она просто изо всех сил изображает из себя бедную родственницу. Хочет, чтобы мы чувствовали себя перед ней виноватыми.

— У нее это получается. Я бы хотел, чтобы мы сделали что-нибудь для Тамар.

— Ты постоянно это говоришь, но это бесполезно. В Тамар живет желание смерти. Она не может даже заставить себя прибрать в доме! Вайолет никак не забудет свою буйную молодость, ей все кажется, что ей двадцать и все еще впереди и

Тамар еще не родилась. Тамар для нее не совсем настоящая, а только отвратительный, опасный призрак. Она вынудила Тамар чувствовать себя призраком. Тамар угасает, однажды от нее останутся лишь кости да кожа, а потом она умрет.

— Нет!..

Вошел Гидеон Ферфакс, вкрадчивый, невозмутимый, с вьющимися волосами, сочными губами, умным, приятным, чисто выбритым моложавым лицом. Нынешним вечером он был в темном костюме и яркой зеленовато-голубой рубашке. Свои рубашки он красил сам. Джерард не мог объяснить, почему вежливый, приятный, культурный зять так раздражал его.

— Ушла? Я прятался от нее.

— Ушла, — ответила Пат. — И все-таки я бы хотела иметь ее фигуру.

— Гидеон, пожалуйста, не трогай сад камней! — сказал Джерард.

— Дорогой мой Джерард, с садом камней дело обстоит так, что его нельзя оставить как есть, если его не трогать, он превращается в грязный, пошлый викторианский садик и в конце концов пропадает, это вечная проблема. Я только засеял его травкой, убрал несколько камней и посадил пару растений, на будущий год это будет просто

картинка.

— Гидеон у нас художник, — хмыкнула Пат.

— И вижу, ты уничтожил весь ясеневый подрост.

— Дорогой, эти побеги все заполонили.

— Это мне и нравится.

Гидеон, конечно, был не художник, даже не искусствовед, а просто человек, страстью которого было делать деньги. Его вкусы не всегда совпадали со вкусами Джерарда, однако Джерард вынужден был признать, что Гидеон, помимо умения торговать произведениями искусства, действительно любил картины.

— Как у Леонарда успехи в Корнелле?

Леонард Ферфакс изучал историю искусства в Америке. Патрисия и Гидеон давно уже волновались, не влюблен ли тот в Тамар. Впрочем, никаких оснований для беспокойства у них не было.

— Я виделся с ним в Нью-Йорке. Он начал играть в бейсбол!

— Боже мой!

— Жаль, что у сына Ломасов не вышло с Тамар, — сказала Патрисия. — Похоже, секс ее вообще не интересует. Или же станет лесбиянкой. Мне совсем не нравится ее пристрастие к

Джин Кэмбес. Благодарение Богу, что она больше ее не увидит!

— Заполучил Климта? — поинтересовался Джерард у Гидеона.

— Увы, не удалось!

— Тебя послал Джерард? — спросила Джин.

Тамар колебалась с ответом.

— Признавайся, будь со мной откровенной!

Тамар улыбнулась:

— Он поддержал меня. Я и сама собиралась прийти — только боялась.

— Чего боялась?

— Думала, вы не захотите меня видеть.

— Почему же?

— Потому что, может, вы хотите порвать всяческие отношения с нами.

— Мне нравится это твое «с нами»… значит, ты считаешь себя одной из этой банды!

— Нет, совсем нет… но я думала, вас, может, расстроили…

— Стыдишь меня, осуждаешь?

— Нет, нет… — Тамар вспыхнула, поскольку нечто подобное было у нее на уме. — Джин, не будьте такой суровой! Вы не сердитесь на меня за то, что я пришла, нет?

— Нет, мое дорогое дитя, конечно не сержусь,

мне просто интересно. Так тебя никто не посылал с определенной целью?

— Естественно, нет.

— Почему Джерард хотел, чтобы ты пришла?

— Просто так, поддержать отношения.

— Так ты должна будешь отчитаться перед ним?

— Он ничего такого не говорил!

Джерард действительно не сказал этого, но, конечно, хотел, чтобы она рассказала ему об их с Джин встрече. Тамар поняла, что ожидала именно таких вопросов, — и теперь была готова солгать.

Обе чувствовали себя натянуто. Тамар, тщательно обдумав, как ей действовать, позвонила из телефонной будки в Камберуэлле около четырех дня в субботу и сказала, что находится поблизости и могла бы зайти. Джин ответила, чтобы она приходила. Когда Тамар вошла, они не поцеловались, а обменялись мимолетным рукопожатием. Джин провела ее в заднюю комнату, уставленную книжными полками, с диваном против них и дверью в сад. На Джин был домашний халат. Диван был покрыт старым выцветшим хлопчатобумажным покрывалом, на котором лежали два красивых платья. Тамар сняла пальто, оставив

на шее Джерардов шарф. После ее прихода небо потемнело и начался дождь. Маленькая лужайка в саду была усыпана опавшими листьями, желтые хризантемы побурели и поникли под ветром. Холодная комната выглядела заброшенной и нежилой, от шагов раздавалось эхо, и весь дом казался пыльным и сырым. Бесчувственный дом, подумалось Тамар, и сердце у нее упало.

— Ладно, не стану больше тебя мучить, — сказала Джин. — Я знаю, ты хорошая девочка. Рада видеть тебя. — И добавила: — Если тебе интересно, его тут нет.

Они помолчали. Было так много всего, о чем нельзя было говорить, не обдумав прежде.

— Господи, — сказала Джин, — какая темень! Зажгу-ка я свет.

Она включила тусклую люстру, от которой в комнате стало как будто еще темней. Они сидели друг против друга на стульях с прямыми спинками, словно социальная работница и ее подопечная. Тамар смотрела на гвозди в некрашеных половицах.

— Как Оксфорд?

Тамар вздрогнула и ответила:

— Я ушла оттуда, работаю на издателя.

Было странно, что Джин так оторвана от всего,

так далека.

— Но почему?..

— У мамы были долги.

— Почему не обратилась ко мне?

— Мама не приняла бы деньги.

— Я предлагаю не ей, я предлагаю тебе! Ты что, настолько глупа, можешь ты повзрослеть наконец? Она хочет чтобы ты никого не видела, ни с кем не зналась, хочет погубить тебя.

— Это не так… она меня любит.

Тамар понимала свою мать, в чьем раненом сердце действительно жила ненависть, ненависть к дочери, но и любовь тоже.

— Я повидаюсь с ней.

— Нет, нет, все равно она настроена против вас, ревнует, потому что я люблю вас.

— Боже, насколько ничтожны могут быть люди! Я что-нибудь придумаю.

Как Тамар хотелось, чтобы все вдруг устроилось каким-нибудь чудом. Почему деньгам не под силу разрешить все проблемы? Казалось, деньги здесь — рассудочность, чувство, справедливость, чуть ли не сама добродетель. Но нет. Тамар не могла ни оставить мать, ни спасти ее. Это было как некий ужас в сказке. Расплатиться с долгами можно было лишь деньгами, заработанными

Тамар. Никакие другие не подходили. И тут не было места для здравого смысла или разумного компромисса. Жертва Тамар не обернулась бы счастьем или благодарностью Вайолет. Тем не менее все другие варианты исключались.

— Мой отец что-нибудь придумает, — сказала Джин. — Тебе лишь придется немножко соврать. Тамар, не гляди на меня так, а то я тебя отшлепаю!

— Какие милые платья, — кивнула Тамар на диван.

— Хорошо, сменим тему, но я против подобной отвратительной жертвы. Платья я только что купила и как раз собиралась примерить.

Джин вскочила, скинула халат и осталась в короткой белой нижней юбке, черных подвязках и черных чулках. В таком наряде она отдаленно напоминала красотку старинного ночного клуба, но в глазах Тамар она походила на пирата, воина, вроде древнегреческого, широко шагающего, чулки превратились в перевязи сандалий, кружева юбки — в дозволенное украшение великолепного полка. И ее лицо, такое бледное, почти белое, с тонким, остро очерченным орлиным носом было словно лицо молодого командира или, может, султана, изображенного в профиль индийским

миниатюристом. Обнаженные плечи, руки, мелькающее бедро были тоже белые, сквозь нежную кожу там и тут просвечивали голубые вены, как прожилки на мраморе. Иссиня-черные блестящие волосы красиво облегали голову. Тамар никогда не видела ее такой прекрасной, такой молодой и сильной, такой, несмотря на бледность, сияющей здоровьем. Тамар вздохнула.

Подняв руки, продетые в рукава, Джин быстро скользнула в одно из платьев, потом оправила, чтобы продемонстрировать его. Это было прямое серое невесомое шелковое платье с высоким воротничком-стоечкой в восточном стиле и рисунком из голубовато-генциановых листьев. Изысканное, ласково льнущее к гонкой фигуре Джин, платье показалось Тамар неким ангельским одеянием. Она восторженно вскрикнула.

— Да, чудесно, правда? Кстати, Тамар, ты должна научиться одеваться! Давно надо было заняться тобой. Пора избавляться от скучных девичьих блузок и юбок, от этих туфель на низком каблуке, выглядящих как танки. Обзаведись приличной одеждой, которая говорит что-то о тебе, чтобы подчеркивала фигуру и шла по цвету, а не этих грязно-коричневых и бледно-зеленых тонов, как сейчас. Ты хорошенькая, и, если будешь

соответствующе одеваться, все увидят, какая ты хорошенькая. Примерь-ка вот это, посмотришь, как оно тебе идет, пожалуйста, снимай жакет.

Когда Джин стащила с себя шелковое платье, а Тамар снимала жакет, вошел Краймонд. Первое, что сказала Джин:

— Ты сегодня рано.

Краймонд испуганно, даже потрясенно смотрел на Тамар. Та, покраснев, надела обратно жакет и нагнулась за пальто и сумкой. Джин набросила на себя халат.

— Мне надо идти, — сказала Тамар.

— Не уходи, останься на чашку чаю, — попыталась задержать ее Джин.

— Нет, нет, мне надо идти, не знала, что уже так поздно.

Она двинулась к двери, которую Краймонд с легким поклоном открыл перед ней.

Джин проводила ее до парадной:

— Спасибо, что зашла, деточка, приходи еще. А то дело мы как-нибудь утрясем.

Тамар еще надевала пальто. Дверь за ней быстро захлопнулась.

Джин вернулась в комнату, где Краймонд сидел на диване. Он проговорил:

— На этой девочке шарф моего колледжа.

— Полагаю, это шарф Джерарда, — ответила Джин, опасливо глядя на Краймонда. Иногда она боялась его.

— Или твоего мужа. Это он прислал ее?

— Нет, конечно! Заглянула сама по себе.

— Не верю. Или ты это подстроила? Ты не говорила, что она придет.

— Я и не знала! Она позвонила, когда ты ушел, сказала, что находится поблизости и могла бы зайти.

— Ты была недовольна, что я пришел пораньше.

— Вовсе нет…

— Если бы я ее не увидел, ты бы сказала, что она заходила к тебе?

— Мм…

— Говори правду, Джин.

— Да, сказала бы. Но знаю, тебе бы это не понравилось, вообразил бы какие-то интриги! Никаких интриг! Она — бедная безобидная девочка и не участвует в их делах. Почему ты так подозрителен, так недоверчив?

— Недоверчив! Ты задаешь опасный вопрос. Ты сказала ей, чтобы она приходила и ты что-то там утрясешь. О чем шла речь?

— Хочу дать ей денег, чтобы она и дальше могла

оставаться в Оксфорде.

— Можно послать чек. Не желаю, чтобы ты встречалась с ней. Твой муженек направил ее как посла буржуазной морали. Она пришла как шпионка. Ты проводила ее до парадной двери?

— Нет.

— Поцеловала на прощанье?

— Нет.

— А разве обычно не целуешь?

— Чисто по-дружески…

— А почему сегодня не поцеловала?

— Потому что обе чувствовали себя неловко…

— Ты была смущена, покраснела на виду у этой любопытной девчонки, чувствовала себя виноватой перед ней, потому они и прислали ее. Ведь она влюблена в тебя, так?

— Да вроде как была, в семнадцать лет…

— Я вхожу и вижу тебя раздетой, и она раздевается.

— Не сходи с ума! Я хотела, чтобы она примерила одно из моих платьев!

— И ты бы позволила ей пачкать твое платье своим младенческим телом! Неужели не понимаешь, что по мне все это отвратительно, омерзительно?

— Прекрати, *прекрати*!

— Мне не нужны соглядатаи. Ты подослала Лили Бойн, сказать о бале. Ты обсуждала с ней меня. Пригласила эту девчонку и, наверно, с ней тоже обсуждала.

— Я тебе уже говорит, что не подсылала Лили! И конечно, не обсуждала тебя с Тамар! Краймонд, мы должны доверять друг другу. Спустись на землю! Я верю каждому твоему слову. Не начинаю чего-то там выдумывать! Если я не смогу верить тебе, я сойду с ума… если мы не сможем верить друг другу, то сойдем с ума оба.

— Если ты мне лжешь, я убью тебя.

— Я больше не буду встречаться с Тамар. Скажу отцу, чтобы послал ей чек. Только успокойся! Не выношу, когда мы становимся далеки друг другу, как сейчас, для меня утратить тебя хоть на секунду равносильно смерти. Я живу тобой, дышу тобой…

Краймонд уставился в пол, потом поднял глаза. Холодное, как металл, злое выражение, причинявшее ей мучительную боль, исчезло с его лица. Теперь на нем были написаны усталость и смутная тоска, тонкие губы приоткрыты, подбородок чуть отвис. Он посмотрел на нее, потом отвел глаза и тяжело вздохнул. Джин поняла, что буря миновала. Прежде она стояла перед ним, а сейчас

подошла, села рядом на диван, и он обнял ее за плечи, тихо, устало, успокаивающе.

— Я живу и дышу тобой, — сказал он. — Я верю всему, что ты сказала. Неприятно было увидеть здесь ту девчонку. Не люблю молоденьких девчонок.

— Я рада, что ты вернулся к ужину. Решил пропустить митинг?

— Его отменили. Купил несколько нужных книг. Так что время потратил не зря.

— Ты женишься на мне?

Время от времени Джин задавала ему этот вопрос. Ей нравились брачные узы, Краймонду нет.

— Что ты волнуешься? Не нужно тебе никакого ручательства.

— Знаю. Но мне нравится быть замужем.

— Не понимаю почему. Если хочешь развестись, действуй.

— Ты сказал, что не хочешь, чтобы я разводилась.

— Я не хочу, чтобы ты с ним виделась.

— А это и не понадобится. Лондонский адвокат отца все сделает.

— Поступай как знаешь.

— А тогда женишься на мне?

— Джини, не надоедай мне с этим!

— Я хочу, чтобы мы жили во Франции.

— Моя работа здесь.

— Всех тех людей встретишь и в Париже. А нельзя иметь квартиру в Париже?

— Нет, мы не можем этого себе позволить.

— А когда закончишь книгу, отправимся вместе путешествовать, объедем всю Европу, ты будешь читать лекции, тогда ты уже станешь знаменитостью… Как хочется уехать отсюда с тобой, оказаться вдвоем где-нибудь далеко.

— Когда-нибудь окажемся — возможно, на том свете.

— А еще хочу, чтобы ты воспользовался моими деньгами. Позволил мне тратить наши деньги.

— Давай не будем опять приводить этот аргумент. Ты купила два красивых платья. Сокол, сокол, не волнуйся, крошка сокол. Тебе нужно работать, учиться, у тебя мозги простаивают. Нужно найти себе какое-нибудь занятие.

— Я бы с радостью помогала тебе.

— Тебе нужно заняться чем-то своим, соколица. Ну хватит, пойдем вниз.

Когда Джин наутро после бала пришла к Краймонду, она ни о чем не думала, кроме того, что должна быть с ним и, если возможно, остаться

с ним навсегда. Немного позже она предложила помогать ему в работе, свое сотрудничество, как в прежние времена. Краймонд ответил, что не нуждается в ее помощи, он только потеряет время, пытаясь объяснить, что ей нужно делать. Краймонд не печатал на машинке и писал от руки. (Не представлял, как можно иначе записывать серьезные мысли.) Джин была готова научиться печатать или даже работать с «электронным редактором». Краймонд ответил, что пользуется услугами квалифицированного машинописного бюро, не выносит стука машинки в доме, а «электронный редактор» вызывает у него отвращение. Он прочитал ей целую лекцию о том, как она должна искать работу, упрекал, что она не использует свои таланты. Надеясь угодить ему, Джин спросила его мнения относительно своего желания стать социальным работником; но, поближе познакомясь с этой сферой, она поняла, что не подходит для такой деятельности, и Краймонд согласился, что это будет пустая трата времени. Он больше хотел, чтобы она использовала свои университетские навыки, получила степень, училась дальше, занялась языками. Сам Краймонд владел несколькими и читал (хотя говорить не мог) на французском, немецком,

итальянском, испанском и русском. К тому же не забыл латинский с греческим и частенько открывал книгу какого-нибудь древнего поэта. Джин, желая быть полезной ему, подумала, уж не взяться ли ей за китайский, но оба пришли к выводу, что вряд ли стоит ждать от этого выгоды в ближайшем будущем. Обсудили, не заняться ли ей греческим, и Краймонд неожиданно отверг эту идею. Единственный язык, которым Джин свободно владела, был французский. Она купила немецкую грамматику, но Краймонд остался равнодушен к ее успехам. Получить в Оксфорде степень бакалавра по истории было делом далеким, к тому же ее совсем не прельщала карьера историка или школьного учителя. Другое дело английский язык и литература, но она не стала заикаться о таком варианте, чтобы не показаться легкомысленной. Выдвинула идею кратких компьютерных курсов, но компьютеры Краймонд не любил. Он также был категорически против того, чтобы она пыталась изучать философию. Другая сложность состояла в том, что на деле он не желал, чтобы она выходила из дома.

Впрочем, Джин не скучала от безделья. Теперь, когда она была с Краймондом, она обнаружила, что все глубже и глубже погружается в любовь.

Она жила любовью. Когда она оставалась одна, ее долгими часами преследовала дрожь, трепет любви. Никогда прежде она так живо не испытывала ее *присутствие* — предельное единение с другим существом, взаимопроникновение тел и душ, интуитивный абсолют обоюдной самоотдачи, любовь двух богов. Забвение себя, ослепительная слепота соития были частью и всей их жизнью, составляя таинство или ритуал, которым она жила, одним бесконечным мгновеньем его предвкушения и воспоминания о нем. Молчание вдвоем, сон вместе заставляли ее плакать от счастья или рыдать в душе от нежности. Ощущение надежности частью внушалось его абсолютным верховенством во всех вещах. Он определял, когда и для чего им ложиться в постель. Краймонд, хотя и очень страстный по натуре, отличался чрезвычайно пуританским поведением. Он не говорил о сексе, в постели от него было не услышать грубых слов, а то и вообще ни слова. Он не позволял Джин видеть его раздетым; она тоже раздевалась быстро и сдержанно, показываясь или полностью одетой, или уж полностью обнаженной. (Она поняла: случай с Тамар неприятно поразил его отчасти потому, что был нарушением этого правила.)

Теперешняя их близость, образ существования приобрели совершенно иной характер, отличный от того, что было в Ирландии. Там их тайные любовные встречи, представлявшиеся столь прекрасными, омрачались не только страхом, что Дункан все узнает, но и страхом ожидания конца чего-то слишком неожиданного и чудесного, чтобы длиться долго. В Ирландии они были бесприютными, и это сказывалось тревожной свободой, которая действительно подтачивала их любовь. Они как бы оглядывались назад, ища счастье, по крайней мере Джин оглядывалась. Сейчас они жили в экстазе, к которому неприменимо понятие счастья. Однажды, когда она сказала Краймонду, что счастлива, он, казалось, был удивлен, как если бы это было нечто, что следовало принять к сведению наряду с прочим. Она сказала себе, что ему близко понятие экстаза, но не понятие счастья. Не ради счастья было все *это*. Когда Джин, просыпаясь с ним рядом, или ожидая его возвращения домой и дыша медленно и глубоко, ощущала в себе покой, космическую реальность этой радости, которая теперь не имела названия, она думала о том, что, несомненно, этого ей хватит, чтобы наполнить дни и часы до конца жизни. Она родилась заново, все ее

существо обновилось, она обрела новую чистую плоть, новую ясную душу. Наконец она сможет постичь мир, с ее глаз спала пелена, ощущения обострились, никогда прежде мир не представал перед ней таким живым, многоцветным и многообразным, огромным и совершенным, как миф, и в то же время полным крохотных особых случайных вещей, расставленных на ее пути, как божественные игрушки. Она открыла для себя дыхание — дыхание, какое практикуют святые, дыхание планеты, мироздания, движение жизни, к Бытию.

Все это не подлежало никакому сомнению. Разве что неясно было, вспоминала ли вообще, и как, Джин мужа с его горем, своих друзей, которые считали ее предательницей и которых она больше не могла видеть. Роуз ей не писала; Джин и не ждала, что та будет писать. Это было даже к лучшему. Подобные мысли мелькали у нее, быстрые, как черные ласточки в чистом сияющем небе ее любви. Она даже не останавливала внимания на этих смутных мельтешащих прочерках и не гнала прочь, позволяла проноситься мимо, внося ее грех, если это был грех, в некий беспристрастный протокол или, может, сообщая о нем некоему духу, чтобы он мог быть включен

в совокупность ее нового мира, не прощен или утаен, но учтен. Ее моралью, как и страстью, был теперь Краймонд. Ее удивление при появлении Тамар (она почти забыла о том, кто та такая) объяснялось шоком от неожиданного понимания того, что два пространства, которые ей пришлось так решительно развести, на деле могли сообщаться. Что оттуда кто-то мог явиться. Джерард, рассчитывая на подобное потрясение (как он надеялся, целительное), поначалу оказался пророком. «Ход девственной жрицей», во что он тоже верил, возымел свое действие: Джин, увидев Тамар, и впрямь почувствовала, по крайней мере на несколько секунд, что ее уход имел тяжелые последствия. Однако это ощущение быстро прошло, и смятение Джин, когда пришел Краймонд, было вызвано мгновенным страхом того, что он может сказать и действительно сказал. Конечно, она не допускала, что Краймонд всерьез думает, будто Джин и Тамар что-то замышляют или между ними существуют особые отношения; но она знала, что он не выносит малейшего подозрения, что те, из комитета поддержки, осуждают его или шпионят за ним. Их следовало считать несуществующими. Но оставался тот факт (и Джин размышляла и над этим парадоксом), что они

платили Краймонду. Краймонд категорически отказывался притрагиваться к деньгам Джин. И это несмотря не только на постоянные уговоры Джин, но и на исключительное письмо, которое отец Джин недавно прислал Краймонду. Ее отец, выросший в ортодоксальной еврейской семье в Манчестере, а теперь живший в Нью-Йорке, был моралистом, либералом, любителем фестивалей, который отправил свою дочь в квакерскую школу. Он терпимо относился к смешанным бракам, но неодобрительно к бракам разрушенным. С другой стороны, ему очень нравился Краймонд, с которым он познакомился в Дублине в начале ирландской карьеры последнего. Он знал о политической деятельности Краймонда по дням его ранней славы и после встречи с ним прочел кое-какие его статьи и памфлеты. Джоэл Ковиц, капиталист и инакомыслящий радикал, ценивший колоритность, нашел Дункана Кэмбеса слишком неинтересной парой для своей великолепной дочери, единственного своего ребенка. Он надеялся, что Джин выйдет за Синклера Кертленда, и был небезразличен к его титулу. У него не вызывала неприятия явная гомосексуальность Синклера, которую он полагал естественным, даже необходимым этапом, через который прохо-

дят в своем развитии английские аристократы. Теперь, хоть и осуждая жен, сбежавших от мужей, он не мог не одобрять новый выбор Джин, о котором она поставила его в известность сразу после бегства. Джоэл видел в Краймонде человека энергичного и волевого, обаятельного оригинала, как он сам. После некоторого размышления и выждав недолгое время, чтобы убедиться, что Джин не передумала, он написал Краймонду очень осторожное письмо, намекая, что не против подобного поворота, и выражая надежду, что Джин будет жить в достатке и счастье, чему в новых обстоятельствах помогут ее финансовые средства. Короче говоря, он надеется, хотя не писал этого прямо, что Краймонд воспользуется ее деньгами. Джин, конечно, не приходило в голову, что Краймонд может не захотеть этого делать, но Джоэл верно оценил его характер. Краймонд показал письмо Джин, попросил ее поблагодарить отца за предложение и без дальнейшего объяснения продолжал отказываться трогать ее деньги. Джин, читая между строк трогательного и необычного отцовского письма, уловила кое-что еще, более важное и более трагичное. Джоэл Ковиц, банкир, верящий в чудеса, всегда хотел внука. Он предполагал, что дело было в неспособности Дункана

стать отцом, и ждал, что с другим мужем Джин повезет в последний момент. Он невольно относился к ней как к вечно молодой. Джин, которая не обсуждала с отцом никакие иные изменения в своей жизни, понимала, что теперь чудо действительно необходимо. Она думала над этим, и это была еще одна темная мысль, болевая точка ее новой жизни: останься она с Краймондом в Ирландии, то могла бы родить ему ребенка. В тот раз Краймонд очень определенно сказал, что не хочет детей. Но fait accompli[50] мог бы переубедить его. К тому же тогда стало бы невозможным ее возвращение к Дункану.

Так что в реальности, кроме очень сдержанных трат себе на одежду и пополнения домашнего бюджета, она не трогала свой капитал, а основные деньги на ménage[51] приходили от *Crimond-gesellschaft*'а. Краймонд по-прежнему мало зарабатывал журналистикой, но отказывался от чтения лекций или выступлений на телевидении и отвергал выгодные приглашения, которые получал из Америки. Жили они скромно. Краймонд изредка уезжал, ненадолго

---

**[50] Примечания: 50**
Свершившийся факт (фр.).

**[51] Примечания: 51**
Хозяйство (фр.).

и один, на конференции, семинары, встречи в Париж, Франкфурт, Болонью. Еще в Шотландию, навестить отца. Джин хотелось познакомиться с его отцом, но Краймонд противился этому. Он помогал деньгами отцу, а также полуслепой полячке, жившей в квартире наверху. Джин он давал деньги на хозяйство. Никаких «излишеств» они себе не позволяли, если не считать излишеством пиво в банках, которое Джин надо было приносить, когда, нечасто, приходили его «коллеги». Сам Краймонд не пил, и Джин тоже удалось отказаться от алкоголя, чему способствовала любовь и укоры возлюбленного. Она не присутствовала на его встречах с «коллегами», на их спорах в «игровой комнате» (как он называл свой рабочий кабинет в полуподвале). У Краймонда, видимо, было множество знакомых, но ни одного друга. Однажды появилась компания пестро одетых молодых людей и попросила разрешения сфотографироваться с ним на ступеньках дома. Краймонд любезно согласился, и даже, казалось, с благодарностью; это тронуло Джин, но и опечалило. Когда-то эдакий народный герой, теперь он был одинок. Дороже всего обходились поездки, в которых Краймонд мог позволить себе не отказывать; в действительности при его образе жизни,

похоже, ему не было нужды швыряться деньгами Джин, и ей приходилось успокаивать себя мыслью, что она и ее отец несомненно являются главными донорами Братства. Один Джерард на деле знал, сколько вносил каждый из членов. Но конечно, было неприятно думать, что «провинившиеся» получают поддержку от людей, включая ее мужа, которые теперь имели двойное основание для недовольства. Как было известно Джин по ранним обсуждениям, стипендия не могла быть отменена. «Друзья Краймонда» приняли решение финансировать работу над книгой до полного ее завершения. Однако, как следовало из тех же правил, они имели право проявлять нетерпение, просить отчитаться о ходе работы и назвать предварительный срок ее окончания, даже пожелать увидеть текст и потребовать от Краймонда объяснений. Джин содрогалась, представляя, что будет, если такое произойдет.

Джин не спрашивала Краймонда о книге, а о долгих часах, проведенных им в «игровой», осведомлялась просто: «Ну как?» Раз или два она заглядывала в последнюю страницу, оставленную им на письменном столе, но с трудом понимала и сам текст, и мелкий почерк Краймонда. Она ходила за продуктами, готовила, следила

за чистотой в доме, но не решалась как-то украсить его. Она бросила пить, но не окончательно перестала покупать одежду, что было ее естественной потребностью. Она привыкла носить что-нибудь новое. Поначалу она «одевалась» для редких одиноких выходов в центр Лондона, в картинные галереи и на утренние спектакли. Но она опасалась встретить кого-нибудь из знакомых, и эти выходы скоро стали казаться ей бессмысленными и неуместными. Несколько раз она наряжалась в свои прелестные платья к вечеру для Краймонда, который, хотя не одобрял расточительности, с юмором относился к подобному развлечению. Возможно, он чувствовал, что необходимо позволять ей сохранять какие-то ограниченные символы ее бывшего великолепия; а возможно, это воплощение великолепия возбуждало его чувство собственника. У Краймонда была машина, «фиат», на которой он иногда отправлялся в центральные графства на митинги. В центр Лондона он никогда не ездил. Джин вскоре после своего появления у Краймонда пригнала в Камберуэлл собственный «ровер», но почти не пользовалась им. Ее «ровер» и «фиат» Краймонда стояли на улице возле дома, когда вместе, когда порознь, если «фиат» уезжал. На

велосипед Краймонд больше не садился, и тот торчал в холле. Джин было предложила купить и себе велосипед, чтобы им совершать совместные прогулки, но идея оказалась неудачной. Джин была не против отсутствия прогулок и общества, а спустя недолгое время мысль о «светской жизни» вообще стала казаться и неосуществимой, и неприятной. Иногда с одобрения Краймонда она поднималась наверх, к миссис Лейбовиц, пожилой полячке, которая делилась с ней воспоминаниями о Варшавском восстании. Краймонд вставал рано и весь день работал над книгой, прерываясь, чтобы выпить чашку чая (кофе он никогда не пил) на завтрак и съесть пару сэндвичей на ланч. Около шести или семи вечера он заканчивал работать, и они шли на кухню, где садились за ранний ужин с чаем. Потом смотрели телевизор в гостиной: новости и политические дебаты, на которые Краймонд шумно реагировал, часто со смехом, порой гневно. Сидя в гостиной, они непринужденно разговаривали о политике, о книгах, о картинах, о своем детстве, о местах, где побывали, особенно городах (Краймонд не любил «деревню», она ему в детстве надоела), об Ирландии, об истории их любви. О знакомых людях не говорили. В одиннадцать часов пили

шоколад с пирожными или кексами (которые Краймонд обожал) и укладывались спать на большом диване в «игровой». Иногда, хотя нечасто, Краймонд бросал работу в три часа и весь остаток дня они занимались любовью.

Краймонд не любил музыку, но ему доставляли удовольствие литература и живопись, о которых он много знал. Особенно его увлекала поэзия. Все его книги, оставшиеся с университетской поры, стояли на полках в комнате с телевизором, которую он называл библиотекой, и, бывало, он читал Джин греческих и латинских авторов, иногда угощал ее Данте и Пушкиным. Джин, которая подзабыла латинский, итальянский знала плохо, а греческий и русский не знала вообще, и не пыталась вникнуть в содержание читаемых им стихов, но с большим удовольствием смотрела, как он весь преображается, охваченный воодушевлением. Он жадно набрасывался на книжные каталоги, радовался, когда они приходили, а не только покупал книги, нужные по «работе». В Оксфорде он занимался спортом и сейчас следил за собой, делал зарядку перед утренним чаем. Единственным его явным «увлечением» было огнестрельное оружие, которое он коллекционировал и которым умел пользоваться, как

она убедилась, когда они были в Ирландии, но заинтересовать которым Джин не старался. Ее беспокойство, что ему надоест ее постоянное присутствие, скоро исчезло. «Теперь, когда ты в доме, мне работается намного лучше», — сказал он. А раз или два попросил ее вечером посидеть с ним в «игровой» с книгой или шитьем, не рядом, а в дальнем конце, чтобы он мог видеть ее. Уставая, он иногда кричал ей: «Не могу расслабиться и отдохнуть!» Звал Джин, и она гладила его по голове ото лба к шее или проводила пальцами по бледному веснушчатому лицу, щекам, закрытым векам, длинному носу. Потом он снова возвращался к письменному столу. Его усердие просто пугало.

— Мы безумные люди, — говаривал он, — это ж сущий Кафка.

— Счастливый Кафка, — отвечала Джин.

Или он говорил:

— Наша любовь совершенно очевидна и совершенно невозможна.

На что она отвечала:

— Она очевидна, потому что мы доказали, что она возможна.

А он:

— Хорошо. Значит, она очевидна, как существо-

вание Бога.

Она была взволнована, удивлена, глубоко тронута, даже испугана его зависимостью от нее.

— Ты — единственная женщина, которую я когда-либо желал, пожелаю или смогу пожелать, — признавался он ей.

Они сидели внизу на большом двуспальном диване-кровати, низком, жестком, почти квадратном, укрытом очень старым выцветшим зеленым лоскутным одеялом с геометрическим рисунком, сшитым, по словам Краймонда, на Гебридах и когда-то покрывавшим постель его родителей.

— Мне хотелось бы, чтобы в твоей жизни не было этого оружия. У тебя есть на него разрешение?

— Ш-ш-ш!

— Почему оно тебе так нравится? Ладно, я знаю, что мужчины любят оружие, но ты-то почему?

— Я всегда возился с оружием. У всех деревенских есть ружья. И в нашем доме были, когда я был ребенком. Мой дед был, так сказать, оруженосцем.

— Ты мне никогда этого не говорил.

— Ну, он занимался этим не постоянно, и мой отец в молодости тоже. Они заряжали ружья господам и подбирали убитую дичь. Ты, наверно,

не видела тех ужасных сцен. У тебя романтическое восприятие оружия, потому что оно не было частью твоей жизни.

— Это ты романтик!

Джин не решилась рассказать Краймонду, что Синклер не раз брал ее с собой «пострелять». До чего странная вещь — память. Перед ней неожиданно и так ясно предстал Синклер с его белокурой гривой, коротким прямым носом и лучащимся проникновенным взглядом темно-синих глаз, так похожих на глаза Роуз, и беспечным и проказливым, как у испорченного мальчишки, выражением лица, в отличие от мягкого, спокойного и задумчивого у Роуз. В воспоминании Джин он стоял лицом к ней и держал в руках дробовик. Бриджи облеплены семенами золотистого папоротника. Она просто не могла видеть, как падают подстреленные птицы. Роуз тоже не выносила этого зрелища.

— Думаешь, что когда-нибудь оно пригодится тебе для зашиты?

— Нет, я так не думаю, — ответил Краймонд, отнесшись к ее вопросу серьезно. — Просто дело в меткости, мне нравится меткость.

— Да, в этом ты мастер, помню по Оксфорду и по Ирландии. Ты говорил, что эта мишень на стене

— лишь символ, ты не стрелял по мишеням с тех пор, как я здесь.

— Я знаю, ты этого не любишь. Собираюсь скоро избавиться от большей части ружей.

— Но не от всех?

— Хочу иметь возможность застрелиться, если возникнет необходимость.

— А снотворное не годится? Ну да, предпочитаешь более красивый способ ухода.

— Более надежный.

— Мне иногда кажется, что ты с удовольствием бы пошел на войну.

— Сомневаюсь, пришлось бы прервать работу.

— Право, ты был бы рад Бомбе, которая уничтожила бы все мерзости прошлого, весь кич и фальшивую мораль, которые ты так ненавидишь!

— Мы уже сыты по горло фальшивой моралью, духовностью, аутентичностью и обветшалым христианством…

— Да, но мораль должна быть! В конце концов, ты пуританин, не выносишь порнографии, промискуитета и…

— Это заключительная вакханалия, последняя линия обороны так называемой воплощенной индивидуальности, которая усохла, превратив-

шись в ничтожный прыщ эгоизма, даже само это понятие смердит. Это конец цивилизации, которая со злорадством смотрит на поиски индивида.

— Краймонд! Ты сам личность, ищущая личность! Тебе нравится быть воплощенной индивидуальностью! Или ты себя таковым не считаешь, поскольку философ и на все смотришь со стороны… или поскольку ты не продукт порочной эпохи? И ты говоришь «заключительная», а что дальше? Мы должны все это исправить, мы не можем полагаться на Бомбу или на Бога! Порой я думаю, что тебе даже секс противен, только ты не можешь отказаться от него, ты — запутавшийся сын галловейского почтальона.

Краймонд отпустил ее руку, которую держал в своей. Их колени не соприкасались. Краймонд, когда они были не в постели, избегал поцелуев и объятий. Не тратил впустую энергию страсти на постоянные прикосновения. Иногда казалось, что он холоден к Джин. Лишь изредка делал ей знак, и она подходила, брала его за руку или нежно гладила по волосам или щеке.

Проигнорировав необычную вспышку Джин, Краймонд сказал в продолжение ее слов о галловейском почтальоне:

— Кстати, хотел сказать тебе, что мне надо съездить в Шотландию на будущей неделе.

— Как он?

— Как обычно. Но навестить нужно.

Джин знала, что Краймонд все время беспокоится об отце, который стал терять силы и память. Но он не желал говорить с ней об этом. У нее закружилась голова от сладкой истомы желания и радости близкого его удовлетворения. Она не сделала попытки вернуть его руку.

Краймонд возобновил прерванную тему:

— Возможно, ты права. Индивид не способен преодолеть эгоизм, только обществу под силу стремиться к этому. Я всегда, кроме одного чудесного исключения, чувствовал, что близость с женщиной низводит меня до уровня животного.

— Когда ты сказал, что наша любовь очевидна, но невозможна, ты имел в виду, потому что она чудо?

— Нет… просто потому… Ладно, хватит разговоров.

— Я хочу, чтобы ты делился со мной своими идеями.

— Мои идеи живут только в написанных словах. Иди ко мне, Джини, моя королева, моя соколица, моя богиня, моя единственная любовь,

иди ко мне, на постель, о моя сладость, мой хлеб и воздух, жизнь и любовь, мое последнее пристанище…

Страдания, какие испытывал Дункан, были много мучительней, чем представлял себе временами Джерард. Способность Дункана делать вид, что ничего не произошло, бодриться и быть невозмутимым не вводила в заблуждение его друзей, хотя, как им казалось, хуже, чем ему было, не бывает. Дункан ходил на работу, успешно, как прежде, справлялся с обязанностями, улыбался коллегам, шутил и болтал, и все это время в его голове бешено работала машина тьмы. Постоянная тьма преследовала его, обволакивала все вокруг. Лампа укутана черной вуалью, на мебели черная пыль, на руках черные пятна, в животе черная раковая опухоль. Он не был уверен, что лучше: страдать от этой черноты, воплощавшей тотальность убийственного горя, или анализировать его по частям, возвращаясь к каждой по отдельности. Он сознательно не отбрасывал надежды; просто, как ни смотреть, надеяться было не на что. Часто приходила мысль покончить с собой, и иногда это облегчало боль. Можно разом отключить измученное сознание.

Друзья своим неутомимым вниманием и забо-

той, старанием избегать болезненных тем, своим солидарным возмущением не приносили облегчения, напротив, только усугубляли, если такое возможно, его страдания, и он чувствовал, что они это прекрасно понимают. Они хотели, чтобы он сражался, или, скорее, самим сделать что-то, на что им требовалась его поддержка или одобрение. Вежливое равнодушное молчание коллег на работе меньше раздражало его. Джерард и Роуз продолжали приглашать его на ланч, обед или коктейль, в театры, хотя он раз за разом вежливо отказывался. Роуз с тщательно выверенными перерывами звонила ему и спрашивала позволенья заглянуть. Иногда, чтобы не выглядеть слишком невежливым, он приглашал ее, и она приходила с цветами, задерживалась на бокал вина, заводила разговор о нейтральных вещах (новостях, фильме, книге, своем новом платье) и с такой нежностью, пониманием и любовью в синих глазах смотрела на него, что ему хотелось вопить. В последний раз она также напомнила ему о двух предстоящих событиях, которые он традиционно посещал: вечеринке у Джерарда на Ночь Гая Фокса и литературных чтениях в Боярсе, ее загородном доме. Дункан, чтобы Роуз перестала разглагольствовать об этих праздни-

ках, на которых он в течение стольких лет бывал с Джин, сказал, что придет. Джерард, несомненно чувствовавший своим долгом навязывать свое общество страдающему другу, приходил чаще, напрашиваясь, едва Дункан возвращался с работы, сидел часок, не оставался на ужин, да Дункан этого никогда и не предлагал. Джерард тоже говорил на нейтральные темы: о новостях, политике правительства, о службе, но время от времени пользовался возможностью, чтобы обсудить «ситуацию», хотя не встречал у Дункана отклика. Дженкин не приходил. Прислал однажды письмо, в котором посылал сердечный привет и писал, что, как Дункан и сам знает, он был бы рад видеть его, если захочет, или у себя дома, или у него. После этого несколько раз присылал художественные открытки с изображением главным образом классической греческой скульптуры, выбранные им в Британском музее, туманно намекая на возможную встречу когда-нибудь. Дункан не отвечал на эти открытки, но хранил их.

Так что большинство вечеров Дункан, поскольку других гостей не переносил, проводил в одиночестве за стаканом виски. От услуг приходящей уборщицы он отказался и позволил

квартире утопать в хаосе беспорядка, по временам укрощаемого ради Роуз и чтобы она не предлагала самой устроить приборку. Он постарался уничтожить в квартире все следы Джин. Вскоре после своего бегства Джин зашла днем в его отсутствие и забрала свои драгоценности, кучу одежды и косметики, кое-какие книги и памятные вещицы из ее детства, но многое осталось, и Дункан отнес оставшуюся одежду в благотворительный магазин, прочее расколотил или сжег, несколько книг и картин запер в своем маленьком кабинете. Однако слишком заметна была пустота на месте этих вещей. Он также раздал фарфоровую посуду, совместно ими купленную, которой они пользовались, и достал эдвардианский фарфор, принадлежавший его матери, который не нравился Джин из-за его «слащавости». Днем он перекусывал в буфете на службе, ужинал на скорую руку дома под виски и телевизор. Переключал каналы, ища сообщения о бедствиях, землетрясениях, авариях на ядерных объектах, о наводнениях, голоде, убийствах, похищениях людей, пытках. Смотрел триллеры, особенно жестокие. Избегал всяческих романтических историй и передач о животных. Обычно ему доставляли удовольствие концерты

и опера, но теперь он терпеть не мог серьезной музыки, даже нескольких тактов, сразу с руганью тянулся к выключателю. Ночи были сушим адом. Он, конечно, глотал снотворное, но не всегда оно помогало. Говорят, умереть — как уснуть. Дункан же ложился в постель, как в могилу, но в которой крутился, бился, задыхался, плакал.

Существуют состояния одержимости, когда, кажется, все мысли постоянно сосредоточены лишь на одном. То, чем одержим был Дункан, было, разумеется, огромно и имело много граней. Он представлял себе всю историю отношений Джин и Краймонда, начиная с попытки вспомнить (что у него не получалось), когда и как они в Оксфорде встретились впервые. У него было такое впечатление (но не ошибался ли он?), что в Оксфорде Джин и Краймонд не обращали особого внимания друг на друга. Джин пробовала заигрывать с Синклером, который был влюблен в Джерарда; Дункан же, уже тогда любивший Джин, старался заглушить мучительные надежды, представляя ее женой Синклера. Но не должна ли она была заметить умного и красивого Краймонда? Что-то определенно началось позже, когда Краймонд снискал известность и Джин стала его помощницей. Была ли она в то время его любовницей?

Мысль, полная яда. Нет, тогда они были за границей, и Краймонд отошел в тень. Дункан вспомнил вечер, когда объявили, что Краймонд вскоре приезжает в Дублин, и Джин не могла скрыть радости. А позже, снова на вечеринке в компании, — тот многозначительный, пристальный взгляд, которым они обменялись. Потом он махал им, провожая в поездку по Ирландии на машине Краймонда. Когда он все понял? О, уверенность, уверенность, от которой он так часто слабо отмахивался, постоянно возвращалась и усиливалась! Потом кошмарная яркость той картины, врезавшейся в память, катышек волос и Джин, зовущая снизу, воспоминание, возвращающееся каждый день с ужасной четкостью, когда Дункан причесывался и снимал собственные, теперь сильно выпадавшие волосы с расчески и бросал в корзину для бумаг. Господи, Краймонд самодовольно причесывался, всласть накувыркавшись в постели с Джин! Притворно-ласковое расставание и ее поцелуй, поцелуй Иуды, когда он прощался с ней в аэропорту. Бар с грешниками в аду уиклоуского паба. Лошадь, корова и черномордая овца, маленькие цветочки. Подъем в гору и спуск, драка… Драка вспоминалась смутно, и, хотя он постоянно думал о полученном ударе, во сне он не мог

ощутить физическую боль, страдание доставляли унижение и стыд. Когда-то Дункан был умелым бойцом — занимался классической борьбой, — но тут он совершил промах. А было бы лучше, если б он изувечил Краймонда? Может, следовало сразу разоблачить его и заклеймить, как прокаженного? Тогда или позже заставить Джин рассказать все в подробностях, обо всех случаях, когда она ложилась с Краймондом, рассказать обо всем, а не закрывать глаза, «оставлять без внимания», прощать? Он пощадил Краймонда, потому что беспокоился о глазе, а еще не желал, чтобы весь свет узнал, что ему наставили рога, и он пощадил Джин, потому что был так рад ее возвращению, так благодарен. А следовало уничтожить Краймонда и наказать ее. Он оказался слабаком и дураком и получил, что заслужил, и сам во всем виноват. Эти мысли, неосуществимые на деле, сводили его с ума.

Дункан был все более и более в разладе со своим телом, он ненавидел эту громоздкую неуклюжую тушу, которую передвигал с трудом. Даже сейчас он продолжал набирать вес. Когда-то он был здоровенным, плотным и мускулистым, производившим внушительное впечатление широкими плечами и крупной головой — сущий медведь,

бык, лев. Теперь он был просто необъятный толстяк с одутловатым лицом огромного младенца, даже нос потолстел и из расширившихся ноздрей торчали волосы, из интересного мужчины превратился в урода, отвратительного старого рогоносца, традиционный предмет насмешек. Он завидовал Джерарду с его подтянутой фигурой и неистребимым идеализмом, завидовал Дженкину, ведущему скромную, несуетливую, не осложненную проблемами, непорочную жизнь. Он вновь, вновь и вновь видел во сне худощавого высокого Краймонда с белым, как мрамор, торсом, яростным лицом, длинным носом и блестящими глазами. Разве он сам не предпочел бы это изящное сильное тело его рыхлой туше? Ненавидя всего себя, Дункан лишь к одному испытывал жалость — к поврежденному глазу, несчастному своему глазу со странным темным пятном в нем. Он вызывал в Дункане мягкую печаль, будто это было самостоятельное маленькое разумное существо, появившееся в его жизни, которое требовало заботы, но иногда приносило что-то вроде короткого утешения, когда он глядел в зеркало на свою крупную голову, надевал очки в темной оправе и пытался воскресить свое былое, по-доброму насмешливое привлекательное

лицо.

Интимная близость с Джин была пусть и не идеальной, но все же страстной, долгой, необходимой. Они предавались ласкам, как двое здоровых животных, повинующихся естественному инстинкту, с неизменным пылом, нежностью и умиротворением. Потеря dimidium animae[52] образовала в нем огромную саднящую и кровоточащую рану. Временами ему хотелось, чтобы ненависть и стыд уничтожили его любовь к Джин, разбили и растерли в мелкую пыль. В самые отчаянные минуты возникало желание убить — не Краймонда, а Джин, и это было бы не возмездие, а просто как инъекция морфия, мгновенно действующее лекарство. Но конечно, такого лекарства не существовало, и Джин предстояло терзать его вечно; и как бы безжалостно и систематически он ни пытался рвать незримые нити, связывавшие его с нею, он продолжал страдать, способный лишь задыхаться и мычать, как раненый бык.

В этот воскресный октябрьский вечер, бреясь (что ему приходилось делать дважды в день) и рассматривая свои щеки, от пьянства красные

---

**[52] Примечания: 52**
Половина души (лат… Гораций, «Оды»).

с прожилками лопнувших сосудов, он думал о Тамар Херншоу, которую пригласил на сегодня. Дункан не жаждал видеть ее, но не хватило хитрости придумать отговорку, когда она позвонила на службу, застав его врасплох, так что он вынужден был уверить, что будет рад встрече. Вопреки мнению Джерарда и остальных, Джин и Дункан никогда не относились к Тамар как к дочери. Видимость подобного отношения была бы для них обоих слишком болезненным напоминанием о том, что они так и не обзавелись собственным ребенком. Тем не менее они очень любили Тамар, заботились о ней и жалели. Джин тронуло «обожание» Тамар, даже вызвало в ней теплое чувство, похожее на материнское. Когда-то Тамар привычно заходила к Джин на чашку чая и засиживалась до возвращения Дункана со службы. Дункан не знал, как вести себя с детьми, и относился к Тамар как ко взрослой, даже когда та была совсем ребенком, и разговаривал с ней серьезно, как с равной по развитию. Такой подход оказался на удивление успешен, и Тамар, не высказывая этого, была глубоко ему благодарна.

— Это Джин, какой она была, когда мы только познакомились.

— Но она и сейчас в точности такая же, — ска-

зала Тамар, — такая же красивая!

Идея посмотреть старые фотографии принадлежала не Тамар. Дункан, бывший уже под хмельком, когда она пришла, притащил альбомы и устроил вечер воспоминаний. Она боялась, что у него того гляди хлынут слезы. Они сидели у электрического обогревателя; Дункан поставил его перед камином, который Джин обычно топила дровами. В комнате было темновато, потому что горела только одна лампа. Так ему не нужно было беспокоиться о том, что в комнате не прибрано.

— Вот тут у Синклера жуликоватый вид, парень доволен собой. А это Джерард, такой горделивый.

Тамар грустно посмотрела на Синклера, который умер молодым и был тогда лишь чуть старше ее теперешней.

— А этот смуглый крепкий парень, похожий на регбиста из Кембриджа, — я.

— Играли в колледже в регби?

— Нет.

— А кто эта девушка?

— Это Роуз, она изменилась, на этой фотографии у нее вид застенчивой девочки. Это Робин Топгласс — дурачится. А это чудище, что смотрит

на него, похожее на карлика. — Дженкин. Это Маркус Филд, который подался в монахи. Еврей с длинными волосами — профессор Левквист. Я уж забыл, как он еще был молод в то время.

— А это кто, похожий на комедианта?

— Отец Джин. Он никогда не любил меня. Ты, разумеется, встречала его. Сейчас он выглядит иначе. А это крикет в Боярсе.

— Роуз на подаче!

— Да, она была очень хорошим игроком. Выступала за школьную команду. Для Джин крикет был забавой. Вот она, виднеется вдалеке, возле вратаря. Джерард отлично играл, чуть не попал в университетскую команду. Синклер тоже мог попасть, только он ни к чему не относился серьезно. У него был свой стиль игры. Это снова Боярс, все стоим на ступеньках, и с нами три горничные и два садовника.

— То прошлое! А Роуз и сейчас играет с пожилой дамой, которая там живет.

— Эта хорошенькая девушка на переднем плане — та самая пожилая дама. Пес — пес Синклера. Он звал его Регентом. Не вспоминал пса с…

Это был один из моментов, когда Тамар опасалась, что Дункан заплачет. Ей хотелось, чтобы воспоминания прекратились. Каждый раз, когда

переворачивалась страница, она боялась, что появится лицо Краймонда. Она могла не волноваться. Дункан давно удалил из альбома всякий след Краймонда: Краймонд с ракеткой для сквоша, Краймонд с теннисной ракеткой, Краймонд с ружьем, Краймонд, обнимающий за талию Дженкина, Краймонд в лодке, Краймонд в спортивных белых фланелевых брюках, Краймонд в вечернем костюме, Краймонд в камзоле (в шекспировской пьесе), держащий один конец плаката с надписью «Руки прочь от Советского Союза» (другой конец держит Робин), Краймонд улыбающийся, смеющийся, шутящий, спорящий, произносящий речь, паясничающий, нелепый, благородный, задумчивый, торжественный. Как показывали эти бесспорные свидетельства, он был всюду, во все встревал, во всем участвовал — во всех идеях, планах, развлечениях, идеалах их юности.

— Какие все девушки здесь красивые, — сказала Тамар, — и как прекрасно одеты!

— Это прием в саду. Да, девушки в те времена были хорошенькими. Это сестра Маркуса Филда. А это некая Тесса, она была подружкой Джин,

погибла на пожаре. Jeunes filles en fleurs[53]. Как ты сейчас, — вежливо добавил он.

Тамар неблизки были те высокие элегантные юные особы. Было жалко Тессу, погибшую при пожаре. Она чувствовала, эти люди в Оксфорде жили полнокровной жизнью. А она, разве это жизнь? Ей врезались в память слова Вайолет, над которыми она будет задумываться постоянно, заявившей (и повторявшей всем и каждому), что, будь у нее деньги на аборт, Тамар никогда бы не появилась на свет. Это ощущение полунебытия, которое можно было хранить в себе, чтобы питать им обиду, она ценила как подтверждение некой глубокой оригинальности; она лишилась отца, лишилась матери, неестественно привязчивая, беспризорница приблудная. Вот что Джерард принимал (и Тамар знала об этом) за безупречную непорочность, некое достоинство, словно, как в случае шекспировской Корделии, истина ничего не значила. Тамар не была уверена, что это достоинство, но ни за что не желала разрушить это убеждение.

— Нравилось тебе в Оксфорде? — спросил Дун-

**[53] Примечания: 53**

Девушки в цвету (фр.) — аллюзия на название второй книги («Под сенью девушек в цвету») романа Марселя Пруста «В поисках утраченного времени».

кан, закрыв, к облегчению Тамар, альбом.

— О да, я любила заниматься. Правда, я не слишком много кого знала, и стольких друзей, как у вас, у меня там не было…

— Что ж… Оксфорд каждому открывается разной стороной. Были у тебя там мальчики?

Тамар залилась краской и слегка отодвинулась от Дункана, пониже натянув юбку на стройные ноги. Она, как только вошла, уловила исходящий от него запах виски, и близость его туши была ей неприятна. Вопрос удивил ее, она понимала, что в нормальном душевном состоянии он бы не спросил такого. Однако ответила без задержки:

— Да, было два… очень коротких… романа. Оба парня мне нравились, оба очень славные, но, думаю, это не была любовь… просто не терпелось испытать на собственном опыте.

— Испытать! Ну кто же так делает! И для чего было пробовать дважды?

— Не знаю, просто так вышло… хотелось понять, убедиться… они были очень ласковы, все было действительно замечательно… но они не остались со мной, и мне не особо этого хотелось.

— Скучная история! И в чем ты хотела убедиться?

Тамар ошалела неожиданная неуверенность,

по крайней мере она не знала, как это объяснить. Что она знала, и притом точно, так это то, что не хотела оставаться девственницей, буквальная девственность была ненужным бременем, никчемным источником беспокойства и напряжения. Лучше и в самом деле избавиться от нее, и так, чтобы, как она верно предвидела, это никого ни к чему не обязывало. Оба приключения с теми милыми парнями, не сказать чтобы захватывающие, но и не неприятные, дали ей желанное знание о том, «что это такое», освободив от мыслей об этом до поры, когда придет настоящее чувство, если придет когда-нибудь! А пока ничего серьезного не предвиделось, хотя иногда она подумывала, что ее избранником мог бы стать Конрад Ломас. Подводя итог этим своим мыслям, она сказала:

— Мне хотелось испытать это с кем-то, кто мне нравится и вызывает у меня уважение, без последующей привязанности. Без какой-то там пылкой страсти.

— А ты холодная натура, Тамар.

Это происходило на следующий день после того, как Тамар побывала у Джин. Она, разумеется, не собиралась говорить с ним о Джин, это было исключено, да и он не задерживался на ее

фотографиях в альбомах. Джерард успокоил ее, что этого от нее не требуется, достаточно просто навестить Дункана. Тамар не думала, что, побывав у него, она принесет какую-то пользу Джин, не ожидала она и того, что это поможет Дункану. Ей важно лишь было выполнить просьбу Джерарда, и она ждала, когда же представит ему свой малоинтересный отчет, который невозможно представить без того, чтобы не повидать обоих, и Джин, и Дункана. Джин пригласила ее заходить еще, но Тамар сомневалась, что это будет умно или уместно. Краймонд явно был не рад ей, даже не скрывал, как она неприятна ему. Тамар плакала в электричке, возвращаясь в Актон. А еще она там, у них, словно коснулась оголенного провода — столь сильным было чувственное напряжение между Джин и Краймондом. Она плакала не только от потрясения и страха, но и от волнения. Но об этом впечатлении она Джерарду не расскажет.

— Я, пожалуй, пойду, — сказала Тамар, — мама будет…

— Посиди еще немного, — попросил Дункан, которому, хотя он и привык пить в одиночестве, сейчас невыносимо было оставаться без компании, — выпей еще. Ну-у, ты еще и это не допила.

— У меня и так уже голова кружится. Ой!

Тамар, потянувшись за недопитым бокалом, который поставила на пол, задела его ногой и опрокинула. Сладкий шерри, который она предпочитала, длинным темным языком потянулся по светлому ковру.

— Ой, что я наделала! Какой ужас! Простите, пожалуйста, сейчас принесу тряпку с кухни…

— Да не беспокойся ты, ради бога, я сам…

И Дункан поднялся следом за ней. Не хотелось, чтобы она увидела, что творится на кухне.

Тамар оказалась там первой и включила свет. Беспорядок и впрямь ужасающий. Немытая посуда, покрытые плесенью кастрюли громоздились не только в мойке, но и на полу. Пустые бутылки из-под виски и вина, стоявшие и валявшиеся повсюду, успели покрыться слоем жирной пыли. Пол был скользким от яичной скорлупы, гнилых остатков овощей, заплесневелых хлебных корок. Мусорное ведро переполнено пустыми консервными банками и липкими пакетами. Тамар тут же решила: приберусь, прежде чем уходить! Из-за ее отношений с матерью Тамар не могла заставить себя следить за чистотой в их актонской квартире. Но здесь она почувствовала внезапную потребность совершить чудо: чудо красоты, порядка, сделать хотя бы это для

Дункана, которого ей стало невозможно жалко. Но сперва нужно было заняться ужасным пятном от шерри. Шкаф, в котором, как она знала, хранятся тряпки и швабры, находился за полкой, на которой стояла масса разрозненной посуды. Чтобы дотянуться до дверцы шкафа, она быстро отодвинула грязный стеклянный кувшин, потом пакет с суповым концентратом, наполовину опустошенную банку консервированной фасоли, чехольчик для чайника… Когда она схватила чехольчик, было уже поздно: под ним оказался чайник для заварки. Чайник уже падал. Тамар вскрикнула и попыталась его поймать. Но он разбился у ее ног, и осколки расписного фарфора, коричневые капли чая и мокрые чаинки брызнули среди пустых бутылок, стоявших на полу. Тамар залилась слезами.

Дункан, услыхавший звон, появился на пороге кухни и увидел осколки прелестного материнского чайника и причитающую Тамар. Старый друг, чайник, был ему дорог как память.

В первый миг потрясла жестокость, расчетливость удара. Груда осколков на полу была ужасна, как труп любимой зверюшки. В следующий момент с ним произошло нечто жуткое: это было его отвратительное черное горе, которое

воплотилось в такой форме, словно исторгнутое измученным телом. Он смотрел на него и видел ад. Даже услышал свой голос, произнесший: «Ад!». Как в мистическом видении, ему явилось бесконечное ничтожество всего живого, жестокость и боль его существования, бессмысленность его жизни, его позор, его поражение, проклятие, смерть в муках.

Тамар, увидев его потрясение, услышав восклицание, зарыдала с удвоенной силой. Она тоже была в отчаянии и ужасе, но у нее эти чувства перебивались другим чувством: жалости и любви к Дункану.

— Прекрати, Тамар, все это пустяк, идем отсюда.

Мотая головой и плача, Тамар сумела наконец открыть шкаф, достала тряпку, намочила ее под краном и побежала обратно в гостиную, где Дункан включил еще одну лампу. Опустилась на колени и принялась оттирать пятно от пролитого шерри, роняя слезы на ковер, стараясь, чтобы пятно не выделялось на фоне узора, выжимала на него тряпку и терла, терла. Потом, мимо Дункана, стоявшего в дверях, помчалась на кухню и собрала осколки разбитого чайника, соскребла пальцами присохшие чаинки, собрала тряпкой

разлитую заварку. Вслед за этим, по-прежнему глядя сквозь слезы, застилавшие глаза, пустила горячую воду в мойку и стала шаркать мочалкой по грязным тарелкам.

— Я сказал: прекрати!

Дункан завернул кран, отнял у нее мочалку и повел назад в гостиную. Усадил на диван и протянул ей большой белый платок. Слезы высохли. Глухой ужас отступил. Они сидели и смотрели друг на друга.

Тамар, как прежде, видела перед собой грузное тело, красное помятое полное лицо, но еще отметила и крупную голову с ниспадающей гривой, огромные, как у лошади, ноздри, грустную тоску зверя, когда-то бывшего принцем, и теперь, когда он снял очки, извиняющийся, но пристальный и смеющийся взгляд темных глаз.

— Мне нравится, какие у вас необыкновенные черные глаза, — сказала она, — они красивые, у вас всегда были такие глаза?

— Да. Ковер уже выглядит отлично. Но чулки у тебя все в пятнах чая.

Тамар засмеялась и огладила юбку. При ярком свете видней стали опустошения, произведенные в комнате. Картины сняты, книжный шкаф пуст, на каминной полке голо, на креслах, придви-

нутых к стене, вместо чехлов газеты и разная одежда. И пыль повсюду. Картина несчастья, знакомая Тамар по собственному дому.

Дункан, заметив, как она озирает гостиную, сказал:

— Теперь отправляйся домой, Тамар, это не место для белой женщины.

— Но я хочу вымыть посуду и прибраться на кухне.

— Нет. Спасибо, что навестила. Будешь у Джерарда на Гая Фокса? Возможно, встретимся там. Пожалуйста, не волнуйся из-за чайника.

По дороге домой Тамар снова плакала, но то были уже другие слезы.

— Да кто такой, в конце концов, этот Гай Фокс? — спросила Лили Бойн.

Была вечеринка в доме Джерарда по случаю Дня Гая Фокса, и все, за исключением Гидеона, казалось, нервничали или были не в настроении.

— Он пытался взорвать парламент, — сказал Гулливер.

— Это мне известно, дурачок, но кто он был и почему хотел его взорвать?

Гулливер, уже раздраженный, потому что явился пять минут назад, а ему еще не предложили выпить, а теперь еще задают дурацкий вопрос о

том, что он знает очень смутно, ответил:

— Он был католиком.

— А что в этом дурного?

— В те времена лучше было не быть католиком или, но крайней мере хотя бы не высовываться.

— Почему?

— Ох, Лили… ты хоть немного знаешь историю? Англия была протестантской со времен Генриха Восьмого. Фоксу и его ребятам это не нравилось. Так что они попытались взорвать Якова Первого, когда тот открывал заседание парламента.

— Похоже, он был отважным человеком, отстаивавшим свои идеалы, своего рода борец за свободу.

— Он был своего рода тайным убийцей, возможно, двойным агентом или agent provocateur[54]. Теперь думают, что никакого заговора вовсе не было, а все было организовано правительством с целью опорочить католиков.

— Надо же! Ты хочешь сказать, что никакого пороха не было?

— Не знаю! Предполагаю, это была видимость заговора, чтобы выяснить что-то! А потом множество католиков повесили, и Гая Фокса тоже.

---

**[54] Примечания: 54**
Провокатор (фр.).

— Мне казалось, его сожгли.

— Это мы его сжигаем[55]. А они повесили.

— Но почему, ведь он же для них старался?

— Наверно, знал слишком много. Кто-то пообещал ему защиту, но не сдержал слово или не смог его спасти.

— Мне его очень жалко, — сказала Лили, — он был бунтарь.

— Он был террорист. Взрывом парламента ничего не докажешь.

— В те времена не было демократических выборов, — упиралась Лили, — было просто много всякого рода боссов. Никогда не понимала, как относятся к Гаю Фоксу в этот день, ненавидят его или любят. Он настоящий народный герой.

— Людям нравятся взрывы.

— То есть они в душе террористы? Думаю, однажды кое-кому это станет ясно, и Гая Фокса запретят, придется ему уйти в подполье.

Они приехали, независимо друг от друга, довольно рано и теперь неуютно стояли поодиночке с видом гостей, явившихся прежде времени, у пылающего камина в гостиной дома Джерарда, освещенной только свечами. Такова была тради-

---

**[55] Примечания: 55**

В Ночь фейерверков жгут чучела Гая Фокса.

ция: вечером в День Гая Фокса везде, кроме кухни, допускалось зажигать только свечи. Гулливер был раздражен и злился на себя, что недоволен, что Лили тоже получила приглашение. Гулливер присутствовал на этих вечеринках подряд последние несколько лет. Лили никогда прежде не приглашали. В прошлом году публика была исключительно избранная. Сейчас Гулливера, разглядевшего ее поближе в свете свечей, раздражал ее эксцентричный вид. Его беспокоила возможность того, что Джерард пригласил Лили, поскольку полагает, что она нравится ему. С другой стороны, раз уж она здесь, хотелось, чтобы она выглядела достойно. Заблуждаясь относительно характера вечеринки и думая, что это будет нечто вроде карнавала, Лили долго просидела перед зеркалом, разукрашивая лицо красными и желтыми полосами. Однако перед самым выходом из дому мужество ей изменило, и она поспешно стерла их, но не слишком чисто, так что теперь сквозь лихорадочно нанесенную пудру просвечивали многочисленные полоски и пятна. Гулливер и сам слегка подкрасился, полагая, что будет выгодней смотреться в свете свечей.

Лили припомнила, что в детстве видела, как

жгут в костре большое, в человеческий рост, чучело Гая. Дети смеялись над тем, как Гай дергался в огне и даже вздымал свои короткие ручки. Лили было страшно и жутко, ей было ужасно жалко его, она злилась и, поскольку не понимала, на кого надо злиться, злилась на себя. Кусала руки, рвала на себе волосы. На мгновение к ней вернулись прежние переживания, и она потянулась рукой к волосам, а другой схватилась за сердце.

Вошла Роуз с подносом, на котором стояли стаканы и кувшин, со стуком и звоном опустила его на стол. Включила лампу. Она тоже была недовольна тем, что Джерард позвал Лили. Она чувствовала это нелепое, недостойное ее раздражение, несмотря на то что Лили ей нравилась и она приглашала ее на собственные вечеринки. К вечеру Роуз устала. Большую часть дня она готовила сэндвичи, тосты с копченым лососем и сыром, маленькие лепешки, которые обожал Джерард. Это был не совсем а-ля фуршет, скорее файв-о-клок, как однажды заметил Дженкин. Главное, как сказал тот же Дженкин, слегка напиться. Он был одним из тех, кто покупал — на деньги Джерарда — все необходимое для фейерверков и устраивал их. Сейчас он был в саду с Джерардом и Гидеоном, закреплял шесты для

«огненных колес» и вкапывал в землю бутылки, чтобы воткнуть в горлышко черенок ракеты. Слава богу, что не было дождя. А еще Роуз злилась на Патрисию, которая пригласила Гулливера с Лили, будто это был ее дом. Роуз, оставившая пальто, как обычно, наверху, на кровати Джерарда, обнаружила, что Пат перевесила его на вешалку внизу, где раздевались гости. Потом, когда Роуз принесла тщательно завернутую еду в кухню, Патрисия была тут как тут и сделала удивленный вид, что Роуз что-то там принесла, когда она сама наготовила всего: и паштет, и бифштекс, и пирог с почками, и овощное карри, и рататуй, и разные салаты, и вишневый бисквит. Роуз не сказала ей, что та наверняка уже знает, что Джерард, ненавидевший стоять с тарелкой, ножом и вилкой в руках или моститься в кресле, держа тарелку на коленях, не желал подвергать своих гостей унижению и на подобных вечеринках терпел лишь такую закуску, которую можно было спокойно держать в руке. Она даже не выказала возмущения, увидев, что Патрисия заталкивает принесенное ею в самую глубину холодильника. Наверное, Роуз следовало бы заранее договориться с Патрисией относительно угощения. Но Патрисия и Гидеон, хотя их всегда звали на

эту вечеринку, приходили не часто, а Роуз еще не свыклась с мыслью, что они теперь живут в доме Джерарда и жаждут быть душой общества. Вайолет тоже всегда приглашали, и порой она действительно приходила, это была еще одна угроза. Беспокоило и другое: придет ли Дункан и, если придет, не будет ли пьян в стельку. По общему мнению, ему было не до вечеринок. Роуз понимала страдания Дункана, и, может быть, даже лучше Джерарда. Она переживала и за Джин и очень хотела написать ей, но чувствовала, что прежде должна сказать об этом Джерарду, на что была не готова. Джерард с важным видом рассказал Роуз, что Тамар виделась с Джин и Дунканом и отчиталась перед ним, хотя не сказал, какие та вынесла впечатления от своих встреч с ними. Роуз не разделяла мнения Джерарда о Тамар как об исключительно умной и исключительно чистой девочке и была невысокого мнения об идее посылать к ним Тамар, не в последнюю очередь оттого, что это могло ранить ее нежную душу или серьезно расстроить. Если так и случилось, то Тамар, конечно, не сказала об этом Джерарду. Роуз решила сама поговорить с ней позже.

Роуз была одета подчеркнуто просто: в платье овсяного цвета с коричневым кожаным пояском,

подходящим для таких случаев, когда, как она теперь понимала, она и Джин часто оказывались единственными женщинами в компании. Патрисия надела элегантную вечернюю юбку с блузкой в полоску. На Лили была свободная, до пят, туника из светло-голубого крепа со множеством складок, низко подобранная в греческом стиле невидимым под складками пояском так, чтобы приоткрывать темно-красные замшевые ботиночки. Роуз, увидев странные, прямо-таки мраморные разводы на лице Лили, выключила свет, который было включила. Потом наполнила два бокала смесью из кувшина. Лили с признательностью приняла свой.

— Это крюшон.

— Коварная вещь, — сказала Лили, — всегда оказывается крепче, чем кажется.

— О крюшоне всегда так говорят, — ответила Роуз, тут же сообразив, что была грубовата. Хотела что-то добавить, чтобы сгладить это впечатление, но в голову ничего не приходило, и она почувствовала раздражение на себя и на Лили.

В дверь позвонили, и Роуз услышала голос Патрисии, встречающей Тамар. Роуз налила себе еще бокал крюшона, который действительно был крепче, чем казалось, и быстро выпила.

Она опасалась, что Джерард захочет, чтобы она пригласила Гулливера и Лили на литературный вечер в Боярсе, и она это сделает. Гулливера, которого хотя и приглашали на Ночь Гая Фокса, в Боярс никогда не звали.

Лили сказала, что, слава богу, нет дождя.

Вошла Тамар. Вместо привычных жакета с юбкой она отважилась нарядиться в коричневое шерстяное платье с расшитым воротничком. Близкая свеча осветила ее молочно-белую прозрачную щеку, слегка порозовевшую от уличного холода, шелковистые светлые волосы, разделенные на прямой пробор, ровно подстриженные и прихваченные обручем. Задержав на миг теплую руку Роуз в своей холодной, поцеловала ее в щеку. Потом, после секундного колебания, поцеловала и Лили. Тамар нравилась Лили, но Лили не была уверена, что нравится Тамар. Тамар улыбнулась Гулливеру, и они поприветствовали друг друга, неопределенно кивнув головой. Она отказалась от крюшона, сказав, что возьмет себе что-нибудь безалкогольное на кухне, и вышла.

Тем временем из сада появились Джерард с Гидеоном, предоставив энтузиасту Дженкину заканчивать приготовления, которые заключались в том, чтобы убрать с лужайки все постороннее,

что может помешать фейерверку. Они прошли не через дверь в гостиной, которая еще была закрыта и задернута шторой, а через коридор, ведущий мимо кухни в столовую и холл. В столовой на длинном столе, придвинутом к стене и покрытом зеленой суконной скатертью, а поверх нее белой камчатой, уже стояли приборы, бокалы для вина, откупоренные бутылки и полные салатницы, тосты с копченым лососем, приготовленные Роуз и допущенные на стол, хлеб, масло, бисквиты, паштет и рататуй, а кроме того, ветчина и отварной язык, идея добавить которые Роуз пришла в последний момент. Бифштекс и пирог с почками, карри и картофель подадут позже горячими. Вишневый бисквит оставался в холодильнике. Сэндвичей, принесенных Роуз, было не видно. Судьба маленьких лепешек была все еще неопределенной. Джерард, который слишком поздно узнал о планах Патрисии, в смятении смотрел на стол, ломящийся от яств. Обычное угощение ограничивалось чем-нибудь вроде сэндвичей, которые гости могли в любое время подойти, взять и без церемоний есть где вздумается. А этот претенциозный стол означал обед в определенное время, очередь гостей, которые потом будут неловко стоять или сидеть с полными та-

релками, — картина, которую он терпеть не мог. Появилась Патрисия с чашкой приготовленного днем майонеза.

В столовой было довольно темно, окна выходили на заросший кустами палисаднике парой ясеней и улицу за ним. Плотные, темно-бутылочного цвета шторы задернуты, обои на стенах в темно-коричневую и темно-охряную полосу, множество (по вкусу Джерарда, который не любил смешения стилей) японских акварелей девятнадцатого века, размытых изысканных картин, на которых нечеткие цветовые линии и пятна складывались в изображения птиц, собак, насекомых, деревьев, лягушек, черепах, обезьян, хрупких девушек, бродяг, гор, рек, луны. Гидеон уважал подобное искусство, хотя оно его не интересовало. К большинству произведений в коллекции Джерарда он относился скептически. Глядя сейчас на изображение стрекозы, сидящей на стебле камыша, он сказал:

— Да, весьма изящно. Но почему бы тебе не попробовать собрать коллекцию хороших картин? Я мог бы дать тебе совет.

— Не хочу приобретать вкус к дорогим вещам и уподобляться людям, которые могут пить только лучшие вина! Мне нравится, когда великое

искусство находится в галереях. Дома оно мне ни к чему.

— Я не говорю о великом, но ты мог бы метить чуть выше! Признаюсь, я не разделяю твоего увлечения английской акварелью. Но не хотел бы ты иметь что-нибудь Уилсона Стира? Когда-то ты очень его любил. Я мог бы поискать для тебя… конечно, это недешевое удовольствие. Или Вюйара[56]. Сейчас подходящий момент для покупки, он пока еще идет по заниженным ценам.

— Слишком знаменит для меня.

— А Шагал, Моризо?[57]

— Нет, благодарю.

— Обои хороши. Наши картины Лонги[58] и маленький Ватто прекрасно смотрелись бы на них.

— Послушай, Гидеон, это мой дом, я не намерен делить его. Ищите себе собственный дом, где будете жить. Ты не бедняк. А здесь вы пожили достаточно долго.

---

**[56] Примечания: 56**

Вюйар, Жан Эдуар (1868–1940) — французский художник, представитель символизма и модерна.

**[57] Примечания: 57**

Моризо, Берта Марми Полин (1841–1895) — французская художница, внучка Фрагонара, единственная женщина-художник — участница еще первой, скандальной выставки импрессионистов.

**[58] Примечания: 58**

Лонги, Пьетро(1702–1795) — итальянский художник эпохи барокко.

— Сказано недвусмысленно. Хорошо, Джерард, мы не хотим, чтобы ты делил дом, мы хотим его весь.

Патрисия, снова вошедшая с кувшином крюшона, услышала слова Гидеона.

— Да, Джерри, ты обязан отдать его семье.

— У меня нет семьи, — сказал Джерард.

Патрисия, как на скверную шутку, не обратила внимания на ответ Джерарда.

— Леонард скоро женится, то есть у него еще нет никого на примете, но есть желание. Этот дом особый, самый необычный в этой части Лондона. Мы всегда хотели жить в Ноттинг-Хилле. При нем и большой сад с деревьями, и замечательные комнаты наверху, и мансарда, это дом для семьи. Ты не считаешь, что это несправедливо — одному занимать всю площадь?

— Не считаю.

— Между прочим, Тамар говорит, что предпочитает не «перье», а апельсиновый сквош, интересно, нет ли его в буфете?

— Я воспринимаю вас как квартирантов, с той разницей, что счета оплачиваю я.

— Могу выписать тебе чек, старина.

— Не глупи.

В дверях появилась Тамар:

— Пожалуйста, не беспокойтесь, «перье» меня вполне устраивает, не нужно сквоша… Здравствуйте, Джерард, здравствуйте, Гидеон!

— О, Тамар! — воскликнул Гидеон. Подошел и чмокнул ее в щеку.

Патрисия сказала:

— Он просто обожает ее, правда, дорогой?

Джерард, который не обращал внимания на подобные шутки женатых пар, смотрел на Тамар и думал про себя, что она как чистый воздух, чистая вода, свежий хлеб. Он ничего не сказал, но улыбнулся ей, и она улыбнулась в ответ.

— А вот и оранжад, так что лучше пей его, — сказана Патрисия, заглядывая в буфет. — Полагаю, Дункан будет весь вечер пить виски. Выставлюка виски и джин на тот случай, если кто захочет, но особо предлагать не буду.

Дженкин воспользовался возможностью и задержался в саду. Прихваченная морозом трава приятно похрустывала под ногами. Ему было тепло в пальто, шерстяной шапочке и перчатках, и он наслаждался холодным воздухом, втягивал его носом, подставлял лицо. Две чугунные скамейки с лебедиными головками и ножками в виде лебединых лап они с Джерардом и Гидеоном перенесли в дальний конец сада за орех, убрали

большие цветочные вазы с середины террасы, установили бутылки с ракетами, вбили шесты для «огненных колес», фейерверки рассортировали, разложили в коридоре возле кухни вместе с бенгальскими огнями и ручными фонариками. Дженкин стоял и смотрел на облачка своего дыхания в тусклом свете, падающем вдоль стены дома от уличных фонарей и окна спальни Джерарда, в которой горела лампа и шторы не были задернуты. Дыхание, душа, жизнь, каждый наш вздох сочтен. Он глубоко вздохнул, чувствуя, как холодный воздух проникает в теплое нутро тела, и никогда не ослабевающее и никогда не обманывающее удовольствие одиночества после общения с людьми. Он поднял голову, как зверь на каком-нибудь пустынном холме, готовящийся издать одинокий нечленораздельный крик, крик не тоскливый, хотя не без оттенка или эха тоски, но просто неудержимый вопль бытия. И в вечерней тишине безмолвно возопил к холодному небу и звездам.

Было еще рано, но уже стемнело, и во всех лондонских садах начались фейерверки. Там и тут виделось теплое сияние костров, вырывающиеся иногда вверх длинные языки пламени и снопы золотых искр выхватывали из тьмы кирпичные

фасады домов, голые или зеленые ветви отдаленных деревьев. Слышалось внезапное жужжание, свист и хлопки, негромкие резкие взрывы и особый шипящий звук взлетающих ракет, со вздохом или треском лопающихся в вышине, и следом недолгое великолепие искрящихся шаров и звезд, медленной дугой опускающихся к земле. Дженкин любил ракеты. Джерард для проформы всегда приглашал на вечеринку по случаю Ночи Гая Фокса ближайших соседей, но они никогда не приходили. Соседи с одной стороны считали фейерверки бестолковой забавой, а у тех, что с другой, были дети, и они устраивали собственное веселье намного раньше, чем у Джерарда. Вокруг фейерверки близились к концу, еще взлетали отдельные ракеты, сопровождаемые непременными возгласами «а-ах!», за садовой стеной послышались приглушенные голоса. Дженкин почувствовал, что за ним наблюдают. Над стеной возникли лица, детские лица. Дженкин посмотрел на маленькие головы и сказал: «Привет!» Дети молча глазели на него. Потом они все вмиг исчезли и за стеной раздались глухие взрывы смеха. Дженкин так и не смог привыкнуть к детям. И может, это было одним из секретов (настоящим секретом) его успеха в ка-

честве школьного учителя. Он понимал тайные страдания детей, их страхи. В школе он получал удовольствие от той легкодостижимой, завидной, почти абсолютной власти, которая, казалось, как природный дар, несомненна, волшебна, очень редко деспотична. Но он был далек от романтизма, или сентиментальности, или панибратства и отдавал себе отчет, что дети — это иное племя, шовинистическое, враждебное, зачастую необъяснимое. Его ученики были совокупностью индивидуальностей, и его отношение к ним ограничивалось строгими рамками профессии. Проницательный человек (его друг Марчмент) как-то сказал ему: «Дженкин, на самом деле ты не любишь детей!» Нет, он любил их, но не вообще и не в общепринятом смысле. Этот ряд голов над садовой стеной, благодаря игре огней казавшихся красными, как какое-нибудь островное племя или раскрашенные аборигены, растревожил его, заставив осознать неустойчивость и незащищенность теперешнего душевного состояния. Он чувствовал, что потерпел поражение. Может, он в последний раз присутствует на вечеринке в Ночь Гая Фокса?

— Ну, Вайолет, ты выглядишь воистину неотразимо! — приветствовал Гидеон Вайолет. — Не

правда ли, друзья?

Вайолет, говорила потом Патрисия, зарделась, жеманясь, как девица. Она явно потрудилась, чтобы выглядеть получше. Сняла синие очки; позже выяснилось, что она позволила себе роскошь пользоваться контактными линзами. Кроме того, с помощью парикмахера сделала новую, более привлекательную прическу: челка менее строгая, покороче и чуть подвита. На ней было простое, хорошего покроя светло-голубое платье для коктейлей, на шее — что-то блестящее.

— Выглядишь почти изысканно, — сказала Патрисия, — только эти стекляшки не подходят, думаю, можно было бы их убрать. Я очень хочу, чтобы ты заглядывала к нам и помогала, как бывало, и Гидеону нужен секретарь, не правда ли, дорогой? Каждому нужно чувствовать свою необходимость…

— Мы не ждали тебя, — приговорил Гидеон, благожелательно улыбаясь.

— Я ждал, — сказал Джерард, — пойдем выпьем, я смешаю тебе нечто особенное.

Вайолет проследовала за Джерардом в столовую, и он быстро закрыл дверь.

— Вайолет, мы очень хотим, чтобы ты еще раз подумала насчет денег.

— Кто это «мы»? — спросила Вайолет, нахмурясь и сжав губы.

— Пат, я и Роуз.

— А Роуз каким образом примешалась?

— Просто поддерживает нас в этом.

— Это не ее ума дело.

— Хорошо, но послушай, Вайолет, будь разумной, не злись на нас. Отец упомянул в завещании, что поручает нам заботиться о тебе. Ты должна позволить нам исполнить его просьбу… это все равно что вынуждать не исполнить обещание.

— Ничего подобного в завещании не было, он не упоминал обо мне.

— Что заставляет тебя так думать?

— Пат сказала мне. И о деньгах речи не было, он вообще обо мне не упомянул.

«Черт, и что мне теперь говорить?» — подумал Джерард.

— Вайолет, мой отец желал, чтобы мы помогали тебе, он предполагал, что мы так и сделаем.

— Если бы он хотел, чтобы мне «помогали» после его смерти, он мог бы так и распорядиться! В любом случае, я не желаю «помощи»! — Лицо Вайолет, похожей сейчас на рассвирепевшую кошку, выразило злобную радость. — Пат хочет, чтобы я была ей за уборщицу, ты только что слы-

шал это, она написала мне покровительственное письмо, а ты лжешь мне о воле дяди Мэтью. Я могу быть бедной и родственницей, но не собираюсь выступать в роли бедной родственницы, чтобы доставить удовольствие тебе и Пат!

— Но мы все решительно намерены помогать Тамар. Она должна вернуться в Оксфорд.

— Ага, понимаю, это заговор с целью помочь ей, а не мне! На меня всем совершенно наплевать! У Тамар все прекрасно, у нее есть хорошая работа. Позже она могла бы не получить работу, сейчас с каждым годом становится хуже, и она понимает, что ей повезло!

— Мы будем помогать Тамар.

— Вы прекрасно знаете, что она не примет вашей помощи, просто пытаетесь успокоить вашу совесть! Это губительно для ее психики. Можете вы оставить ее в покое? Вам кажется, что она крепкая целомудренная крестьянская девушка. Нет же, она капризная дерганая невротичка. Она не смогла выдержать напряженной учебы в Оксфорде, у нее случилось нервное расстройство. Почему вы считаете, что ваш драгоценный Оксфорд такое уж замечательное место для девушки? Знайте, Тамар никогда там не нравилось, она просто довела себя до изнеможения этой

учебой! Ей нужна спокойная размеренная жизнь и надежная работа. Она не из интеллектуалок, слава богу!

В дверь просунулась голова Гулливера, огляделa Джерарда и Вайолет, произнесла: «Извините!» и скрылась.

— Почему ты не можешь быть счастливой? — сказал Джерард. — Такое впечатление, что ты не хочешь этого.

— Это мое дело. Ах, да ничего ты не понимаешь!

Джерард налил бокал крюшона и протянул Вайолет:

— Прости. Ты не должна сердиться на Пат, она желает тебе добра. Поговорим еще позже.

— Ты обещал смешать нечто особенное!

Джерард достал из буфета бутылку джина и щедро плеснул ей в бокал с крюшоном.

— Рассчитываешь меня споить?

Однако оставила бокал у себя и, улыбаясь, вышла.

Роуз освободила свои сэндвичи из плена холодильника и принесла в гостиную, где Гулливер заявил, что он голоден. Сэндвичи теперь были холодные и влажные, тем не менее Гулливер и Лили накинулись на них. Потом Роуз сходила за

тостами в столовую, которую Джерард и Вайолет только что покинули. Всегда на подобных сборищах народ весь вечер ел и пил и расхаживал с тарелками по комнатам. Сейчас же Патрисия вознамерилась устроить представление, отправив всех с их полными тарелками в столовую. Возникал также вопрос, когда в точности начнется фейерверк.

— Что творится с Тамар? — вопросила Патрисия, входя в гостиную и неодобрительно глядя на гостей, несанкционированно с жадностью поглощавших угощение. — Не может усидеть на месте, мечется туда и сюда, как кошка. Наверное, хочет поговорить с Джерардом с глазу на глаз.

— Она просто тушуется, — ответила Роуз, — такая скромница.

— Не думаю, скачет как дрессированная блоха! Небось из-за того, что ее мамочка здесь.

— Вайолет выглядит великолепно. Может ведь, когда захочет.

— Обычно она предпочитает изображать ведьму. Сегодня вид у нее: «Мне ни до кого нет дела, только не мне!» Она способна обернуться чем угодно, она лучше приспособлена к жизни, не страдает, как мы. Никогда не видала столько фейерверков, тут, в переулке в каждом дворе

запускают. Они как школьники, эти наши мужчины, правда?

Роуз не было дела до «этих наших мужчин».

Из сада через стеклянные двери вошел, раздвинув шторы, Дженкин:

— Дункан появился?

— Нет, но пришла Вайолет.

— Дункан не появится, — сказала Роуз.

Но в этот миг в парадную дверь позвонили.

Затея Патрисии с ножами, вилками и тарелками закончилась именно так, как предвидела Роуз. Завсегдатаи вечеринок, приученные Джерардом, отвергли нововведение и проигнорировали пирог, карри и сервировку и поедали сэндвичи, тосты с лососем, а потом, пренебрегая тарелками и приборами, делали собственные импровизированные сэндвичи, разламывая булочки вдоль и набивая их листьями салата, ветчиной и помидорами, роняя куски на ковер. Маленькие лепешки Джерарда, обнаруженные в кладовой, тоже пользовались успехом, как и сыр, принесенный Роуз. Один-два гостя из вежливости (Дженкин), или из неподдельного желания подкрепиться бифштексом и пирогом с почками (Гулливер), или потому, что упорядоченное застолье было их идеей (Патрисия), суетливо подыскали местечко,

где смогли бы примоститься, и сидели в неудобной позе, делая вид, что культурно обедают, пока остальные расхаживали вокруг. Гидеон, к досаде и раздражению Патрисии, присоединился к лагерю расхаживающих. Подали кларет в добавление к крюшону. Виски и джин на этой ранней стадии еще никто не требовал, даже Дункан, появившийся последним и поразивший друзей тем, что попросил «перье», потом выпил крюшону, и только позже — виски. К тому времени Гулливер и Лили тоже перешли на виски. Лили, которая обнаружила оставленный Вайолет бокал с крюшоном, щедро сдобренным джином, и выпила его, была уже заметно навеселе. Тамар встревожила всех тем, что ничего не ела; наконец она приняла тарелку с бисквитами, которую наутро нашли нетронутой за занавеской, на подоконнике. Она тоже ненадолго исчезла, и Роуз обнаружила ее наверху в спальне Джерарда, сидевшую в темноте у окна и, как она сказала, смотревшую на соседских детей, резвившихся в саду в одних ночных пижамках. Когда подали кофе, было уже очень поздно, и вечер грозил провалиться благодаря тому, что Джерард впоследствии назвал «этим фальшивым подобием званого обеда». Оказалось, что никто не взял

на себя обязанность распорядителя. Джерард подчеркнуто отказался быть за хозяина, Роуз, которая, как правило, следила за временем, заняла позицию наблюдателя. Дженкин то ли грезил, то ли уныло дремал, основательно набравшись крепкого кларету. Гидеон, ехидно веселясь, как обычно, с улыбкой на лице бродил по комнатам, ожидая, что произойдет. Вайолет тоже улыбалась, пила очень мало, выбирала кусочки почек из пирога, брала ложку трайфла, отправляла в рот и клала ложку обратно в чашу. Патрисия на кухне уже мыла посуду.

— Так что с фейерверком? — внезапно вышел из задумчивости Дженкин.

— Уже слишком поздно для фейерверка, — откликнулся Джерард, — потревожим соседских детей.

— По словам Тамар, они все куролесят в пижамах в саду, — сказала Роуз.

— Тогда можем запустить ракету-другую, все запускать уже поздно, народ хочет домой!

Гулливер, чувствуя, что скоро будет опасно пьян, уже собрался уходить, забыв, что они собрались ради фейерверка.

— Где Тамар? — спросил Дженкин.

— На кухне, помогает Пат мыть посуду! — от-

ветила Роуз.

— А Дункан? — поинтересовался Джерард.

— Пьет виски у тебя в кабинете.

— Я очень надеялся, что Тамар присмотрит за ним, — сказал Джерард, — но она вся в себе сегодня.

— Наверно, хочет еще поговорить с тобой по душам! — сказала Роуз.

— Во всяком случае, начал Дункан с минеральной воды. Не считаешь, что это влияние Тамар?

— Послушайте, мы должны устроить фейерверк, — прервал их Дженкин. — Я начну, а вы просто вытащите всех на улицу. Не забудьте фонарики и бенгальские огни.

Дженкин, озабоченный тем, как бы Джерард не сократил его программу, уже поджег «золотые дожди», несколько «римских свечей» и «павлиньих фонтанов» перед всей компанией, которая выбралась в сад. Каждому вручили фонарик, пучок бенгальских огней и коробок спичек. Назначение бенгальских огней — металлических стерженьков, которые нужно было держать в руке, пока их горящие концы разбрасывали блестящие искры, состояло в том, чтобы вовлекать зрителей в праздничное действо и давать дополнительный свет в перерывах между «номерами». Однако

одни гости уронили их в траву (Гулливер и Лили), другие рассеянно сунули в карман (Дункан), третьи были слишком высокомерны (Пат и Вайолет) или стеснительны (Тамар), чтобы жечь их. Роуз и Джерард послушно, а Гидеон суматошно-весело поджигали свои в перерывах и размахивали ими, и слепяще-белый шипящий свет искр выхватывал из темноты ошеломленные лица других гостей. И, поддерживая их энтузиазм, продолжали сверкать и падать фейерверки в других садах, где детей еще не уложили спать, а взрослые не наигрались. В момент темноты Роуз увидела в верхних окнах соседского дома детские лица. Она зажгла новую палочку бенгальских огней и помахала ею детям. Ослепленная сыплющимися искрами, она не видела, машут ли дети в ответ. Джерард не удосужился подружиться с этими детьми, и Роуз их не знала.

Дженкин приготовился к предпоследнему номеру программы — «огненным колесам». Завершалось все ракетами. Он прибил гвоздями три больших колеса к трем шестам, установленным в глубине сада, возле (но не слишком близко) грецкого ореха, самый высокий шест расположил в середине. Когда он с фонариком в руке обошел все три устройства, проверяя их, компания, ко-

торая встречала предыдущие номера ахами и возгласами восторга, притихла, сад на мгновение накрыла темнота. Тут же вспыхнули один-два фонарика, высветив ноги, у кого в обуви по погоде, у кого в легкомысленной, и сырую, утоптанную, заиндевелую траву. Было холодно, носы пощипывало, кто был без перчаток, прятал руки поглубже в карманы. Гулливер, которому очень хотелось выпить, опирался на плечо Лили.

Внезапно три больших огненных колеса почти одновременно ожили, секунду крутились довольно медленно, но скоро превратились в три огромных бешено вращающихся круга воющего адского пламени. Все, как и должно, задохнулись от изумления: и впрямь, зрелище и звук были не только впечатляющими, но и пугающими. Никто не проявлял беспокойства, все стояли, замерев, и с разинутыми ртами смотрели, не отрываясь, на три огромных пылающих круга.

Лили, которая какое-то время спокойно стояла с сосредоточенно-пьяным видом, неожиданно спросила на ухо Гулливера:

— Почему огненные колеса называют «колесами Екатерины»?

Гулливер, выведенный из такой же хмельной задумчивости, ответил:

— Святую Екатерину колесовали, терзали, убили.

— Как это — колесовали, что колесо с ней сделало?

— Не знаю, — сказал Гулливер, рассердившись, что его благодушное настроение нарушили таким неприятным и неуместным вопросом. — Полагаю, оно было утыкано шипами или чем-то в этом роде.

Лили задумчиво постояла, потом повернулась и пошла к дому. Гулливер, лишившись опоры, резко сел на траву.

Наконец, к разочарованию зачарованных зрителей, огненные колеса начали замедлять вращение, потом гаснуть одно за другим, выбрасывая последние яростные снопы искр, сделали еще несколько оборотов, тускло светясь, догорели, почернели и остановились на своих шестах. Раздался общий вздох.

Распорядитель аттракциона Дженкин, чтобы не растерять свою аудиторию, немедленно запустил первую из ракет.

Джерард, заметивший, что ускользнувшая Лили не вернулась, решил, что пора сходить в дом и проверить, как она там. Он тихо отошел, пока остальные глазели на плывущие в вышине

разноцветные созвездия.

Лили, покинув компанию, ощупью пробралась в дверь гостиной и запуталась в тяжелых портьерах, грозивших задушить ее. Ничего не видя, в панике она барахталась в них, пытаясь найти середину или концы крепко держащих ее полотен. В конце концов выбралась в освещенную свечами гостиную и бросилась в глубь дома, подальше от сада. В туалете включила свет и только сейчас увидела в зеркале свое пятнистое лицо. Сбежав от этого зрелища в столовую, она присела к хрупкому столику, за которым она и Гулливер ютились со своими тарелками во время обеда, или ужина, или что там это было. Алкоголь может отворить темные врата подсознания, и в это жерло хлынула на Лили, от имени святой Екатерины, толпа призрачных воспоминаний о матери-католичке, которая бесконечно обращалась с мольбой о помощи к разным полезным святым. Лили часто думала о своей бабке, но редко о матери. Сейчас же эти осуждающие воспоминания разбудили в ней чувство вины и раскаяния. Мать верила в ад. Почему же Лили отвергла и бросила свою несчастную мать, которая умерла от пьянства и одиночества, с ужасом думая, что ей вечно гореть в адском пламени? Почему матери нет сейчас в

живых, чтобы Лили могла прибежать и утешить ее? Эти мысли о страданиях матери мешались с религиозными образами, ужасавшими ее в детстве: святого Себастьяна, пронзенного стрелами, святого Лаврентия, поджариваемого на решетке. И конечно, Христа, подвергнутого медленной смерти на кресте. Потом она подумала, что три «креста Екатерины» были как три креста Голгофы. Она разразилась слезами. Вошел Джерард.

Одна за другой взлетали ракеты, стремглав уносясь в небо так внезапно, так неистово, так опасно, так угрожающе, с шипящим, раздирающим, свистящим звуком, разрывая темный воздух, поднимаясь все выше и выше и наконец взрываясь с удивительным чувством облегчения, подобным мирной, или счастливой, или славной смерти, и вспышка золотых пуль или фонтан лучистых звезд были как жертвенное благословение звезд, исполненных любви. В других садах тоже взлетали ракеты, быстро, торопливо, словно безумное празднество почти исчерпало отведенное на него время и под страхом сурового наказания все должно было быстро завершиться. Небо было заполнено разрывами ракет. Роуз подумалось, что это напоминает войну. Чтобы дать отдых ослепленным глазам, она перевела взгляд

вниз и на секунду при вспышке спички увидела завороженное, восхищенное лицо Дженкина, губы раскрыты, глаза сверкают. Что славит он, спросила она себя, какого бога, какое видение, какую золотую тайную страсть? Ливень особо долго не гаснущих звездочек осветил другие обращенные вверх лица: восторженно смеющееся Гидеона, тихое и довольное Пат, по-детски радостное Гулливера. Дункан выглядел мрачным, но спокойным, крупная голова откинута назад, темная грива лежит на воротнике пальто. Пылающее лицо Вайолет поразило Роуз, видно было, что та охвачена каким-то жгучим чувством: то ли решимости, то ли отчаяния, то ли ненависти. Лица Тамар, стоявшей позади нее, было не разглядеть.

— Лучше бы я умерла, — говорила Лили. — Я ни на что не годна. Мерзкая, безнравственная.

Джерард, сидевший рядом с ней у столика, старался успокоить ее:

— Прекрати, Лили, не хочу, чтобы в моем доме звучали такие несправедливые слова!

— В банке говорят, что у меня деньги на исходе.

— Уверен, это не так, а деньги необходимо во что-то инвестировать.

— Я не знаю и не понимаю, что значит «инвестировать». Я такая несчастная, и вообще, счастье — это не про меня.

— Разумеется, про тебя, я точно знаю. Ты можешь помогать другим людям.

— Я ненавижу других людей, ненавижу себя. Не могу никому доверять, никому нет дела до меня…

— Ох, да перестань. Конечно есть, мне, например. Если беспокоишься о своих деньгах или еще о чем, всегда можешь прийти ко мне.

— Правда? — изумилась Лили. Промокнула слезы мягким пышным рукавом платья, грудь которого украшали пятна красного вина. Повернула к Джерарду пьяное, с размазанной косметикой лицо с выражением крайнего облегчения и неожиданно сказала: — Мне всегда хотелось рассмотреть эти картины, но все как-то не получалось, они такие милые.

— Так давай рассмотрим сейчас, — предложил Джерард. Они встали, и Джерард поднял свечу: — Вот это бабочка, это — змея, это — летящий жук, лягушка, японцы любят лягушек, это — девушка, моющая волосы…

В саду становилось все шумней. Гидеон радостно кричал, у Вайолет сияли глаза, рот широко

разинут, Патрисия подняла руки к лицу. Почему им так нравится этот кошмарный, ужасающий треск и вой фейерверков, думала Роуз? А ей самой нравится? Возможно. А где Джерард? Она увидела, как Гулливер повернулся и размашистыми шагами устремился к дому.

Гулливер отворил дверь столовой и увидел Джерарда, держащего свечу перед одной из картин, которую разглядывала Лили. Под ложечкой неприятно кольнуло. Давно он не испытывал подобного чувства. Он узнал его: ревность. Но с какой стати, к кому, из-за кого, из-за чего? Он прикрыл дверь.

В небо внезапно взмыла туча ракет. Совсем близко, по соседству прокатилась серия оглушительных взрывов, намного громче всего, что они сегодня слышали. Они зажали уши ладонями. Патрисия закричала:

— Это не фейерверк, такого не бывает, наверно, это бомбы, террористы!

— Да что ты! — завопил Дженкин в экстазе. — Это празднуют во французском посольстве!

Роуз вернулась в дом. Прошла в столовую и включила свет.

Когда огни ракет погасли и затихло эхо взрывов, Дункан подошел к Тамар, остановился рядом,

протянул руку, и маленькая ладонь Тамар на секунду сжала ее.

— Дженкин цветы не присылал, — сказала Роуз, — я спрашивала его… и, уверена, Дункан тоже этого не делал.

— Я рад, что Дункан пришел, это заслуга Тамар. Она думала, что напрасно ходила к нему, но это явно не так!

Гости разошлись, Патрисия и Гидеон отправились спать, и Роуз с Джерардом сидели со стаканами виски с содовой в гостиной у камина, в котором дотлевали угли. Свечи в подсвечниках догорели, и Роуз загасила их. От электрических ламп было светло и покойно.

— Ты говорил с Дунканом? — спросила Роуз.

— Да, тайком. Он рассказал, что Тамар разбила чайник!

— Когда была у него? Горячий? С чаем?

— Вряд ли. Это случилось, когда она пыталась прибрать у него на кухне: задела полку. Дункан, по-видимому, не расстроился, считает, что это было смешно, смеялся до упаду, когда рассказывал!

— Пьяная истерия. Сомневаюсь, чтобы бедняжке Тамар, которая пыталась помочь, было смешно. Представляю себе кухню Дункана, очень похоже на то, что творится у Вайолет! Допускаю,

что он ничего не сказал о Джин и Краймонде.

— Не сказал. Думаю, мне скажет, но пока не сказал.

— Что мы намерены предпринять относительно Краймонда, я имею в виду книгу?

— Прямо не знаю, — раздраженно ответил Джерард.

Он чувствовал, что «остальные» настойчиво толкают его на некую конфронтацию с Краймондом, некое выяснение отношений. С другой стороны, не хотелось, чтобы кто-то еще ввязывался в конфликт с Краймондом, если кто и должен идти на это, так только он сам. Но такая перспектива совершенно его не прельщала.

Роуз, читая его мысли, сказала:

— Вовсе не обязательно устраивать ссору! Мы можем спокойно попросить его отчитаться о ходе работы! Все это время он получал от нас деньги и даже открытки не прислал, мол, спасибо, книга продвигается! Во всяком случае, пора нам созвать комитет.

— Да, да. Я созову. Знаешь, Гулливер до сих пор не нашел работу.

— Мне кажется, Гулливер сегодня подкрасился.

— Роуз, я устал, ты устала. Иди-ка ты домой!

Роуз чувствовала себя слегка пьяной и очень

не хотела идти домой. Этим вечером она испугалась себя, ее встревожила собственная нелепая и недостойная ревность к Лили и Тамар. Стоит ли убиваться, если даже он и посмотрит на другую женщину, должна ли она чувствовать себя так неуверенно? Да. После всех этих лет ей абсолютно не на кого опереться. В любой момент она может остаться одна. Абсолютно ничто не обязывает его сохранять их нынешние отношения, он едва ли воспринимает их как близкие, которые могут измениться, или вообще как какие-то отношения! Наверное, и хорошо, что она для него стала чем-то привычным, но это также означает, что у нее нет никаких прав на него. Прав? Так она теперь думает о правах? Можно представить реакцию Джерарда на подобное слово! Но она должна поговорить с ним, должна ему сказать, должна просить, ах, как же безвольно и робко это звучит, просить поддержать в ней уверенность. Но как сказать ему, что он ответит? Надо быть откровенной и честной. Но чего она хочет? Сейчас — одного, пойти не домой, а с Джерардом в постель, и оставаться там до скончания времен. Сумеет ли она сказать ему это? Или он сам понимает?

— Не звони, не вызывай такси, — сказала она. —

Я легко поймаю машину, если дойду до конца улицы. Не беспокойся, не провожай меня.

— Конечно, я провожу! Куда, черт возьми, Пат засунула мое пальто?

На улице, когда такси остановилось и открылась дверца, Джерард поцеловал Роуз в губы, как часто делал, а она обняла его за шею, как часто делала.

В тот вечер Тамар рано ушла с работы. Она привыкла к своей конторе, хотя глава фирмы и называл ее «дорогушей», а одна из сослуживиц поучала, как ей следует одеваться. Неженатые молодые сотрудники не оставляли ее своим вниманием, заигрывали, но дальше этого дело не шло. Она собиралась навестить Дункана. Он прислал записку, зовя прийти снова, она позвонила, и они условились о дате.

В той ситуации, в которую Джерард втравил ее, она чувствовала себя в роли исполнительницы чужого стремления воссоединить героя и героиню, с которыми она даже не была в особо близких отношениях. Марионеткой, обыкновенным инструментом, незаметным и не ждущим благодарности. Позже, оглядываясь назад, она поняла, что не верила в свою способность помочь этому воссоединению, а просто верила в

уверенность Джерарда и была рада (значит, все-таки было в этом что-то приятное), что Джерард выбрал ее для этой задачи. Однако что-то произошло и усложнило ее задачу. Она была не очень уверена в том, когда это случилось: возможно, когда Дункан крикнул: «Прекрати!» и, взяв за руку, повел обратно на диван, или сразу после этого, когда они сидели на диване и смотрели друг на друга, или, возможно, еще позже тем же вечером, когда она была дома у себя в спальне и думала о Дункане с его огромной головой и пышной гривой и нежным, смеющимся умным взглядом. Разумеется, нельзя было сказать, что она влюбилась в него, это из-за разницы в возрасте и его места в ее жизни было совершенно невозможно. Но сочувствие к нему, желание помочь и утешить росло в ней, она чаще думала о нем и могла различить в себе уже и волнение, вызываемое физическим влечением. Тамар это не тревожило. Никто не знал об этом ее чувстве, в конце концов, легком и безобидном, и никогда не узнает. Подобное смутное чувство она испытывала в юности в безнадежных ситуациях к учителю в школе, к Леонарду Ферфаксу, к Джин, даже к Джерарду и знала, все эти увлечения вполне невинны, легко утаиваются, подавляются и про-

ходят. На вечеринке в Ночь Гая Фокса она сначала очень волновалась, придет ли он, а после, когда он пришел, чувство удовольствия и некоторого страха заставило ее избегать его, «мечась по дому, как кошка», по выражению Патрисии. Когда в темноте, в самом конце фейерверка, он сжал ее ладонь, Тамар обдало теплой волной радости. Они не обменялись ни словом и скоро разошлись по домам поодиночке. Вспоминая этот случай, она была растрогана его, как она понимала, желанием подбодрить ее. Она решила не идти к нему, пока не получит четкого приглашения. Когда оно пришло, ей было приятно, но в то же время зародилось сомнение, а не продиктовано ли оно обязательной вежливостью.

А пока произошло еще кое-что; она получила чек на крупную сумму из Нью-Йорка от Джоэла Ковица; чек пришел, хотя, по словам Джоэла, он сам подписал его, от Еврейского образовательного фонда. Тамар понимала, что обязана чеком Джин, и не верила ни в какой образовательный фонд. Она вскрыла конверт за завтраком, и мать, как всегда, когда ей приходила почта, следила за ней. Вайолет вцепилась в чек и порвала бы, не успей Тамар выхватить его, пообещав, что вернет Джоэлу, как ей все равно пришлось бы сделать.

Отослав чек обратно Джоэлу с соответствующим выражением благодарности, она засомневалась, правильно ли поступила и не лучше ли было, не считаясь с матерью, положить эти деньги на свой банковский счет. Она задумалась над тем, насколько основательными были причины, побудившие ее это сделать. Когда Тамар решила, что должна уйти из Оксфорда, она отнеслась к этому как к сугубой жертве, долгу, чему-то абсолютно неизбежному. Думать, что в этом не было такой уж необходимости, было мучительно. Вайолет открыла ей их финансовое положение, и Тамар детально изучила его. Оно оказалось очень серьезным. Вайолет устроиться на приличное место не могла, дядя Мэтью умер, так что работа Тамар была совершенно необходимым условием сохранения в банке доверия к ним. Тамар понимала, почему мать не принимает помощь. Не забыла она и как Вайолет кричала: «Я достаточно сделала для тебя!» Это был вопрос чести.

На этот раз квартира Дункана выглядела иначе. В гостиной горели три лампы, в камине пылал огонь. В комнате хотя и было пыльно, царил порядок, даже груды книг вернулись на полки. На кухне, которую Дункан продемонстрировал Тамар первым делом, когда она пришла, было

немного почище и опрятней, хотя окончательно справиться с застарелым хаосом Дункану было не по силам.

Тамар, подавив искушение оставить у себя, вернула постиранный и отглаженный большой белый платок, который унесла в прошлый раз. Они сидели на диване, придвинутом поближе к огню, Тамар — поджав ноги под себя, из-под юбки выглядывает тонкая лодыжка и туфелька с пряжкой — читала переданное ей Дунканом письмо адвоката Джин, который требовал от Дункана совместного обсуждения условий развода.

Предыдущей ночью Тамар видела необычно живой сон. Ей снилось, что она потерялась в круглом здании отеля, «высокого, как Вавилонская башня», и не могла найти свой номер и даже вспомнить, на каком он этаже. В отчаянии и тревоге она торопливо бегала вверх и вниз по лестницам и винтовым коридорам, разглядывая таблички на дверях и толкаясь в них, но двери были заперты. Наконец она нашла как будто нужную дверь и толкнула ее. Дверь открылась в маленькую ванную комнату. В ванне, в которой не было воды, лежала женщина в длинном красном платье и черной ажурной маске на лице. Сидевшая возле ванной женщина с каштановы-

ми волосами и в очках, одетая, как сиделка, молча и враждебно оглянулась на Тамар. Она сразу поняла, что женщина в ванне, которая была без сознания или, может, мертва, — жертва какой-то страшной болезни, вроде чумы, скрываемой администрацией отеля. Отступив в ужасе от двери, Тамар увидела позади себя высокого худого человека с белокурыми, почти белыми волосами и очень светлыми голубыми глазами. Тамар подумала, что это врач, потом: «это мой отец» и он «исландец»! В следующий миг высокая фигура двинулась прочь и с ритуальной неспешностью коснулась ладонью стены коридора. Стена отъехала назад, открыв помещение, в котором Тамар узнала внутренность огромного стального сейфа. Отец вошел в него, стена вновь закрылась, и Тамар напрасно колотила в нее кулачками. Пытаясь понять, что означал ее сон, Тамар решила, что сиделка — это, конечно, Вайолет, а женщина, лежавшая в ванне. — Джин в красном и черном, как на балу. В этих двоих заключалась вся зловещесть, томительно-жуткая нереальность и (как чувствовала Тамар) нечистая неоднозначность сновидений. Другое дело отец; он редко снился ей, а когда такое случаюсь, с его образом связывалась некая чистота и несомненность, некая

невинность, словно бы это действительно была не просто иллюзорная эманация подсознания, а реальный, периодически появляющийся гость из иного мира. Он неизменно был высок (хотя прежде ни разу не был исландцем), всегда благожелателен, хотя неизменно ускользал. Тот сон неожиданно и еще живей вспомнился сейчас Тамар, когда она сидела рядом с Дунканом на диване и читала важное письмо. Она подумала, что, может, отец действительно исландец, что раньше как-то не приходило ей в голову. Он явился в образе врача возле умирающей или умершей пациентки. Тамар тогда подумалось: может, он умер. Во сне он вошел в стальную камеру и дверь за ним закрылась. Она допускала вероятность того, что он мертв, но прежде никогда не задумывалась над этим всерьез. Она так нуждалась в нем и хотела верить, что он еще жив и существует где-то на свете. Возможно, он пришел к ней во сне, чтобы попрощаться. В странном жесте, когда он дотронулся ладонью до стены, была некая таинственная окончательность. Сейчас она подумала: он мертв, ее рука, державшая письмо, задрожала, другой рукой она коснулась рукава Дункана и обратила к нему встревоженное лицо.

Дункан взял у нее письмо и положил на пол.

Он получил его утром. Конечно, он предполагал, что Джин предпримет такой шаг, но уверен не был. Он понял, что не в состоянии ни идти на работу, ни сидеть целый день дома и обдумывать новую ситуацию. Он повторял себе, как бывало прежде: он должен выжить, не дать тем двоим убить себя. Но сейчас фигура Краймонда, которая постоянно стояла перед его глазами и, вызывая в нем ярость, тем самым не давала ощутить окончательность потери, отошла в сторону: он видел только Джин, ушедшую Джин, его дорогую Джин, хладнокровно и бесповоротно порывающую всяческую узаконенную связь с ним. В то же время, казалось, слабое дуновение тепла, которое ничего не знало о смерти любви, донеслось от нее, пробуждая слабые чистые ожидания и воспоминания: как она бежала ему навстречу, когда он возвращался домой по вечерам, обнимала его за талию и потом они рассказывали друг другу, как провели день. Они были счастливы. Он все пытался «набраться мужества», «признать это наконец», понять, что случившееся — «правда». Сейчас, когда все надежды рухнули, он видел, как все-таки сильны они были. Предстоит отвечать на письмо адвоката, писать кошмарное заявление об отсутствии претензий, соглашаться на

отвратительные условия, и все, чтобы помочь Джин больше никогда не видеть его, не думать о нем. Он сделает это ради нее, а потом покончит с собой, сказал он себе. О Краймонде он перестал думать. Факт непоправимой потери, вставший теперь перед ним, как черная скала, отправил Краймонда в небытие, как скоро отправит туда и Дункана.

Дункан пожал руку Тамар в Ночь Гая Фокса из чувства благодарности и желания успокоить ее относительно разбитого чайника. Прикосновение ее теплой ладони к его холодной руке (она тоже была без перчаток, но держала руки в карманах) неожиданно взволновало его и напомнило о том, как они сидели на диване и смотрели друг на друга после катастрофы с чайником. Он написал ей, пригласив прийти снова, поскольку решился спросить, виделась ли она с Джин. А еще потому, что она была безобидной и он мог выносить ее сочувствие, и потому, что это было стимулом навести порядок в квартире. После получения письма от адвоката он забыл о Тамар и вспомнил о ней только перед самым ее приходом.

Тамар, еще не отойдя от внезапного воспоминания о сне, пыталась сосредоточиться на том, что прочитала в письме.

— Вы думаете, она действительно имеет в виду это, что это произойдет? Возможно…

— Да, — ответил Дункан, — будет развод. Тамар, я не владею собой, не владею, я опасен, не мучай меня.

— Если б вы только знали, как я хочу помочь вам, я бы сделала все, что угодно, если б только могла, чтобы у вас все было хорошо…

— Тебе не под силу. Чтобы все было хорошо, надо чтобы Джин вернулась, как она возвращалась однажды, а этого не случится никогда, никогда, никогда… это конец.

— Не конец, вы будете жить дальше, люди любят вас…

— Это фикция, — сказал Дункан, отхлебывая еще виски. Тамар пригубила свой второй бокал шерри. — Мне многое теперь открылось в этом беспощадном свете. Сомневаюсь, что Джин вообще любила меня по-настоящему. Несомненно одно, никого теперь нет рядом. О, конечно, масса людей проявляет любопытство, некоторые — сочувствие, но никто не любит меня. Не издевайся надо мной, повторяя подобные избитые фразы.

— Не говорите так, это неправда! Человеческая любовь, пусть она и не поможет вам, но она есть. Вы говорите, что их нет рядом с вами. Хорошо, но

я-то здесь, я рядом и я люблю вас!

— Не надо, Тамар, пожалуйста…

— Я люблю вас!

Произнося эти слова, Тамар повернулась к нему, протянула руки и, обняв его толстую бычью шею, сомкнула под густой прохладной темной гривой волос. Застигнутый врасплох, Дункан обнял ее за плечи, Тамар встала на колени, потянулась к нему и неожиданно для себя оказалась у него на коленях, по-прежнему обнимая за шею. Они замерли, тяжело дыша. Тамар не меняла своего неудобного положения, уткнувшись головой в грубый твид воротника его пиджака. Затем что-то в этой их позе шокировало обоих, может, подспудное ощущение ее как ребенка и его как отца; она отскочила назад, как испуганный зверек, и забилась в дальний угол дивана, глядя оттуда на Дункана: щеки пылают, одна рука прижата к бешено бьющемуся сердцу. Потом сказала:

— Простите, пожалуйста. Просто я почувствовала… я люблю вас, и другие тоже, это и хотела сказать.

— Тамар, иди сюда, сядь ближе, — позвал Дункан, снимая очки.

Повелительная нотка, прозвучавшая в его голосе, была чем-то новым для нее, и Тамар по-

чувствовала эту новизну и поняла ее смысл, хотя лишь поздней задумалась над с виду обычной последовательностью их движений, умышленных, как в странной игре. Она приподнялась на коленях, передвинулась к нему и села рядом, подобрав под себя ноги, как прежде, и положив руку на тонкую щиколотку. Повернула голову к его плечу, другую руку пропустила у него за спиной и уперлась в диван. Он обнял ее, нежно усадил поудобней, взяв в свою ее неловко вытянутую руку и поддерживая Тамар в этой позе: поджавшую ноги, лицом касающуюся его волос и горячей шеи. Мгновение они сидели так, чувствуя, как колотятся в унисон их сердца. Потом, закрыв глаза, они нашли губы друг друга и дважды осторожно поцеловались. Дункан отодвинул ее к дальнему валику дивана, сам поднял ноги на диван, так что они, снова неудобно, теперь полулежали лицом друг к другу.

— Я люблю вас, Дункан, — сказала Тамар. — Люблю. Простите. И не сердитесь на меня.

— Я не сержусь, о чем ты говоришь! Ах, Тамар, если б ты знала, какой невыносимый ад — моя жизнь сейчас.

— Я очень хочу помочь вам, но не могу, знаю, что не могу, и не нужно мне было приходить, но

я хотела сказать, что люблю вас. Не мучайтесь так…

— Скинь это, дай обнять тебя по-настоящему.

Тамар выскользнула из своего толстого кардигана, который упал на пол, руки Дункана обхватили ее, пуговицы его пиджака врезались ей в грудь. Через секунду он тоже освободился от пиджака и прижал ее к пухлой груди, рвущейся из рубашки, а другой рукой стал расстегивать пуговки на ее закрытой блузке. От тела Дункана шел такой жар, что чуть не обжигал Тамар. Ее любовь и жалость к нему слились в ошеломительную физическую радость покорности его крепким объятиям, слегка шершавым щекам, царапающим лицо, его большой горячей ладони, лежащей на ее горле.

Вскоре Дункан сел и поднял ее:

— Это нелепо, на диване нам тесно, ты не против, если мы перейдем на кровать? Просто хочу полежать с тобой, насладиться покоем.

Не дожидаясь согласия, он встал, и она, не расцепляя рук, повисла у него на шее; он нагнулся и подхватил ее на руки. Ни один мужчина еще не носил Тамар на руках. «Какая ты легкая, просто невесомая», — сказал он. Отнес в комнату для гостей, в которой жил с тех пор, как ушла Джин, и

опустил на кровать. Распустил шнурки ее туфель и снял их, на миг задержав ее теплые ножки в ладонях, потом разулся сам и расстегнул рубашку. Лег рядом с ней и занялся остальными пуговками на ее блузке. Тамар лежала на спине. Он положил свою лохматую голову промеж ее грудей. Проговорил, обдав ее влажным дыханием:

— Прости меня.

— Я люблю вас, — отозвалась она. — Люблю бесповоротно. С тех самых пор… с разбитого чайника…

Она собиралась сказать «с бала», подумав, что уже тогда готова была отдать Дункану весь тот нерастраченный запас любви, ожидавший когонибудь, кто его примет. Но, не желая напоминать ему о бале, сказала:

— С тех самых пор и навсегда.

Дункан, целуя ее грудь, пробормотал, касаясь влажными губами ее гладкой кожи:

— Старый добрый чайник. — Потом добавил: — Не против, если мы разденемся еще немножко?

Они быстро разделись еще немножко, но не до конца, отшвыривая снятое, и отчаянно прильнули друг к другу: жаркая плоть, ищущая жаркую плоть.

— Ты не сердишься на меня? Нет, знаю, не сер-

дишься. Ты ангел. Единственная в мире, кто не воплощает собой зло, и тьму, и ад. Ты спасаешь меня, это чудо, просто не верится, ты возвращаешь меня к жизни, я снова живу и способен поверить, что не умру от горя, поверить, что вновь обретаю желание жить. Снова могу чувствовать любовь, благодарность, удивление. Ты меня понимаешь?

— Да, но это только сейчас, — ответила она. — То есть для нас это только на минуту. Я так рада, и мне так хорошо… я бы сделала для вас что угодно, что угодно, лишь бы вы могли жить и быть счастливы. Этот момент пройдет. Но вы должны жить дальше, и чувствовать, и знать, что не все ад и вы не умрете от горя.

Дункан помолчал. Потом сказал:

— Я люблю тебя, малышка, и благодарен тебе… не ожидал такого…

— Вы благодарны, и я счастлива и так рада. Это пройдет. Джин вернется, я знаю, она вернется. Этого я хочу для вас больше всего, поэтому и пришла, ради этого…

Дункан с силой стиснул ее руку. Потом поднес к лицу, поцеловал и прижал к своей щеке. Спустя мгновенье сказал:

— Ты не против? Повернись на секундочку, я

выдерну из-под нас покрывало и одеяла. Хочу, чтобы ничего не мешало. Не беспокойся, я не способен иметь детей и, наверно, ни на что не способен с тобой, просто хочу крепко прижаться, слиться, ощутить тебя со всей полнотой. О, прости меня, Тамар, помоги мне, помоги, помоги!..

Джерард нашел попугая. Нашел в зоомагазине на Глостер-роуд. Он был очень похож на Жако, но, конечно же, не Жако. Джерард увидел его с улицы: проходил мимо, а попугай сидел в клетке, выставленной в витрине. Они посмотрели друг на друга. Попугай прекрасно понял, что привлек внимание, и сперва смутился, потом изобразил неприступность, потом заважничал. Джерард не улыбнулся. Смотрел на попугая с нежной грустью, с благоговейным смирением, словно тот был неким маленьким божком, и в то же время будто желая сказать несчастному невинному страдальцу: «Мне жаль, мне ужасно жаль!» Даже негромко пробормотал вслух: «Прости!», имея, может, в виду, что ему жаль, что попугай был пленником, сидел в клетке в Лондоне, а не летал в высоких кронах дождевых лесов Центральной Африки, откуда доставляют серых попугаев.

День был очень холодный, и между Джерардом и попугаем летали редкие снежинки. Они

опускались медленно, зримым воплощением тишины, словно в некоем ритуале отгораживая уединенное пространство, внутри которого Джерард и птица были одни. Мысли Джерарда и его чувства были как стены заглушенной камеры, не пропускавшие звуки проезжающих машин и шаги прохожих. Ему виделся отец, лежащий на смертном ложе, его восковое чужое лицо, высокий заострившийся нос и отвисший подбородок, его бедный мертвый отец-неудачник, чей образ отныне и навсегда был связан с призраком серого попугая. Действительно, вполне возможно, что Жако был жив, тогда как отец умер. Джерарду хотелось сказать это, казалось даже, он так или иначе говорит это попугаю в зоомагазине. Клетка висела довольно высоко, так что глаза попугая и Джерарда были на одном уровне. Больше никаких существ в витрине не было. Жалость и любовь, которые он испытывал к попугаю, нежная печаль вины были очень похожи на чувства, которые он испытывал, думая об отце, о том, что должен был сказать ему, и о привязанности, которую следовало выказать более открыто. Знают ли умершие, как сильно мы любили их, знали ли, потому что теперь они ничего не знают? Думая об этом, Джерард поймал себя на том, что инстинктивно

тянет руки к клетке. Он узнал в этом жесте тень прежних своих движений, когда часто тянулся к клетке Жако, чтобы открыть дверцу, просунуть внутрь руку и смотреть, как птица взбирается на его пальцы, чувствовать прохладные цепкие коготки, потом вытянуть руку наружу с сидящей на ней такой легкой, почти невесомой птицей, и покачивать ее у груди, поглаживая мягкие перышки. При этом воспоминании на глазах Джерарда выступили слезы.

И попугай в витрине будто понимал его, и сочувствовал, и печалился вместе с ним, все же оставаясь в стороне, как близкий, но спокойный друг, смотрящий, но сам не захваченный черной волной скорби. Сейчас птица ритмично переступала с лапки на лапку, точь-в-точь как Жако; потом, прекратив танец, расправила крылья неожиданно ровным веером серых и алых перьев. Танец явно был выражением симпатии. Потом попугай сложил крылья и суетливо привел в порядок перья. Пристально посмотрел на Джерарда умными желтыми глазами в ободках белой сухой кожи. Посмотрел твердо, со значением, словно взывал к вниманию и продолжению их телепатического общения. Потом наклонил голову, уцепился за прутья клетки сильным

черным клювом, перевернулся вверх лапами и принялся медленно кружить в таком положении по клетке, поминутно поворачивая голову, чтобы посмотреть на Джерарда. Точно так же обычно делал Жако. Увидев, как попугай выполняет свой непростой трюк, Джерард, вместо того, чтобы унестись в воспоминания, улыбнулся, а потом вновь погрустнел.

Он представил (но отбросил эту ужасную идею), как входит в магазин, покупает попугая, выносит тяжелую клетку, возвращается на такси домой, ставит клетку на прочный стол в гостиной и открывает дверцу, поскольку они, в конце концов, уже подружились… Нет, это невозможно. Только позже он вспомнил, что в доме, куда он принес воображаемого попугая, находится его сестра. Он коснулся ладонью витрины у смотрящей вниз головы попугая, надавил на стекло, этой видимостью ласки как бы благословляя птицу. Потом быстро отвернулся и пошел по улице; снег уже заметно припорошил тротуар.

Джерард направлялся на так часто обсуждавшееся и часто откладывавшееся собрание Братства, на котором они должны были решить, «что делать» с Краймондом и книгой. Они собирались, вопреки обыкновению, у Роуз, в ее квартире в

Кенсингтоне. Обычно они сходились в доме Джерарда, но теперь этому мешало присутствие там Патрисии и Гидеона. Он отказался обсуждать с сестрой вопрос о ее и Гидеона присоединении к Братству вместо умершего Мэтью. Сказал, что отложил это на следующее собрание. Очень не хотелось, хотя явных и веских причин для этого не было, чтобы эти двое присоединялись к ним, несмотря на то, что, конечно, с финансовой точки зрения их участие было желательно. Джерард вообще нервничал и злился из-за собрания. Надо было решать щекотливую задачу: звонить Дункану, убедиться, что тот не собирается приходить. Дункан, разумеется, не захотел прийти, но сказал, что обязательно продолжит по-прежнему вносить свою долю. Последовала неловкая пауза, после чего Джерард выразил надежду, что Дункан появится на литературном вечере, на что тот буркнул: «может быть» и повесил трубку, оставив Джерарда с чувством недовольства собой. Он, естественно, часто приглашал Дункана к себе, но тот никогда не являлся, возможно, из-за Пат и Гидеона, которых не любил, а возможно, потому, что теперь общество Джерарда было ему в тягость.

Комитет стал малочисленней за отсутствием

Дункана и Джин и (подумал сейчас Джерард) в корне изменился со смертью отца Джерарда; в этот раз присутствовали Джерард, Дженкин, Роуз и Гулливер Эш. Участие Мэтью сдерживало эмоциональность некоторых членов комитета, например Роуз и Гулливера, которые в противном случае позволяли себе более открыто выражать возмущение, а также шло на пользу политике нерешительного laisser-faire[59], предпочитаемой Джерардом. Мэтью был олицетворением традиционного подхода, подхода «живи и давай жить другим», в целом более частного взгляда на то, что предположительно должно происходить. Он отказывался понимать, что есть смысл поднимать шум из-за чего-либо, что есть какие-то вещи, настолько значительные, что из-за них стоило бы волноваться. Хотя собрания вел, руководил ими, Джерард, их атмосферу в большой мере определял его отец, с чьим авторитетом все вежливо считались. Теперь, говорил себе Джерард, необходимо будет проявить твердость. Роуз и Гулливер, по разным причинам, оба жаждали крови, жаждали схватки, ясности, откровенного обмена мнениями. Как же все они помешались на этой

**[59] Примечания: 59**
Невмешательство (фр.).

книге! Когда она в конце концов будет написана и издана, есть вероятность, что она окажется сущей безделицей, сплошным разочарованием. Не раз Джерарду приходила мысль, что неплохим тактическим ходом было бы использовать в качестве посла Дженкина. Тот действительно время от времени встречался с Краймондом на митингах и дискуссиях. Он всегда (и, как знал Джерард, добросовестно) делился с ним своими наблюдениями, а Джерард со своей стороны тактично не спрашивал о подробностях. Он знал, что отношения их не были сколь-нибудь дружескими, тем не менее сам факт их встреч вызывал его раздражение; и ему не хотелось сейчас официально посылать Дженкина к Краймонду, дабы подобная встреча не послужила укреплению дружбы между ними. Он желал держать это дело в своих руках. Роуз желала того же; да, Роуз явно желала его конфронтации с Краймондом. Не броситься ли ему тогда в бой, повязав на копье шарфик Роуз? Представив себя в образе рыцаря, он вспомнил о Тамар. По крайней мере, тут он не промахнулся. Дункан пришел на вечеринку в Ночь Гая Фокса и наверняка появится на литературном вечере. Все благодаря Тамар и обоим на пользу, и Дункану, и ей. Дункан, которому было

слишком стыдно и неприятно говорить со старым другом Джерардом, мог найти утешение в разговоре, не обязательно о своей «проблеме», но о чем угодно, с Тамар, которую не воспринимал как судью, а Тамар, которая, конечно, была несчастна, подбодрило бы сознание, что ей доверяют. Перспектива самому идти к Краймонду совершенно не привлекала. Чего он опасался больше всего, так это ужасного скандала, после которого, если он поступит несдержанно или неразумно, останется чувство стыда, позора и связанных с Краймондом раскаяния, сомнений и крайней досады. Если дойдет до ссоры, то, понимал Джерард, придется искать примирения, такова уж его натура: идти на переговоры, в результате которых он, возможно, окажется в положении еще менее приятном и более унизительном. Джерард ненавидел неразбериху и малейшее сознание ошибочности собственного поведения. К тому же ему претила необходимость так много думать о Краймонде. У него были свои, не связанные с этими делами проблемы, требовавшие выбора новой линии поведения, над чем хотелось спокойно подумать, чтобы вскорости принять решение.

— Простите, что повторяюсь, — сказал Гулливер, — но я не понимаю, почему мы обязаны

продолжать каждый год жертвовать собственные деньги, чтобы оплачивать работу над книгой, с которой категорически не соглашаемся, на которую нам не позволяют взглянуть, которую он, может, бросил писать сто лет назад, которой, может, вообще не существует!

— Да брось ты, — отреагировал Дженкин, — конечно, она существует, Краймонд не мошенник, Джерард однажды видел часть…

— Сто лет назад! — вставила Роуз.

— Дело в том, — сказал Джерард, — что нам нельзя отказывать Краймонду в помощи. Сами обещали поддерживать его, так что у нас перед ним есть обязательство.

— Дело в том, — возразила Роуз, — что это не та книга, которую мы обязались спонсировать. И, думаю, никогда ею не была. Краймонд ввел нас в заблуждение. Он не тот человек, за которого мы его принимали. Краймонд верит в насилие и в ложь. В одном из своих памфлетов он пишет, что правда может выступать в обличье лжи — и что нас тошнит от морали, что мораль — это болезнь, от которой нужно излечиться.

— Роуз, он подразумевал буржуазную мораль! — воскликнул Джерард.

— У него об этом ни слова, мораль и все. И он

восхищается Лоуренсом Аравийским.

— Я тоже, — сказал Джерард.

— Он поддерживает террористов.

— Трудно дать определение, кто является террористом, — сказал Дженкин, — раньше мы согласились, что насилие иногда бывает оправдано…

— Мы тоже всем этим увлекались! — заметил Гулливер.

— Не защищай его, — сказала Роуз, — я не собираюсь участвовать в финансировании книги, оправдывающей терроризм. Потом всех нас будут обвинять в этом, люди решат, что он выражает наши взгляды.

— Не думаю, что Краймонд намеревался… — усомнился Дженкин.

— Откуда нам знать, какие были его намерения? — сказал Гулливер. — Он все держит в такой тайне. Роуз права, он не способен отделить правду от лжи.

— Это все давние вещи, — сказал Джерард, указывая на памфлеты, которые разыскал и принес в качестве «доказательства» Гулливер.

— И пройденный для него этап… — добавил Дженкин.

— Откуда нам знать? — возразил Гулливер

Дженкину. — Может, сейчас он придерживается еще более безумных идей. А почему мы не знаем о его нынешних взглядах? Да потому, что он доверяет лишь посвященным! Ты, похоже, веришь, что он в некотором роде отшельник, погруженный в свой труд! Но конечно же, он член высокоорганизованного нелегального сообщества!

— Он действительно пишет вещи, которые ходят по рукам, — сказал Дженкин. — Ничего больше не печатает обычным порядком. Мне показывали последнее из написанного им, очень короткая вещица…

— И столь же разрушительная, как эти памфлеты? — спросила Роуз.

— Не уверен, что слово «разрушительный» тут уместно, она явно не менее экстремистская… но в ней есть кое-какие глубокие идеи. Роуз, он же мыслитель, активисты обвиняют его в том, что его не интересует рабочий класс!

— Хорошо, это его идеи нам не нравятся! — горячился Гулливер. — Идеи тоже разрушают, как ты прекрасно знаешь! Конечно, он не сталинист, а входит в какую-нибудь безумную троцкистско-анархистскую группу, их кредо — бить по самому дорогому, любой хаос есть форма революции!

Они спорили уже почти час. Услышанные

доводы расстроили Джерарда. Роуз и Гулливер, оба были на удивление злы, казалось, горели личной ненавистью к Краймонду. Гулливер не выносил его из-за того, что (и сам признавался в этом) Краймонд грубо осадил его в каком-то собрании. Но он ненавидел еще и то, что принимал за теории Краймонда, и от души защищал собственные страстные политические убеждения. Гулливер откидывал назад сальные волосы, таращил золотисто-карие глаза, раздувал ноздри своего орлиного носа и выглядел энергичней, моложе и привлекательней, чем обычно. В какой-то момент Джерард улыбнулся ему, и карие глаза благодарно потеплели в ответ. Джерард почувствовал себя виноватым и подумал: надо помочь этому парнишке, не осуждает ли Гулливер его, он надеялся, что не осуждает. Горячность Роуз (она была вся красная от возмущения) он отнес на счет не только ее твердых политических убеждений, особенно в том, что касалось тайных обществ и терроризма, но еще и ее уверенности (ему не раз давали это понять, но он никак на это не реагировал), что Краймонд — враг Джерарда и в один прекрасный день может навредить ему. Имело значение и то, что Роуз глубоко переживала за Джин, за которую боялась и на которую

злилась, на свою старинную подругу и проклятого Краймонда за свои мучительные волнения. Джерард даже не обсуждал с ней этот вопрос. Неужели Краймонд его враг? — спрашивал он себя. Это скверно. Огорчала и спокойная решимость Дженкина оправдать Краймонда. Некоторое время назад они с Дженкином очень обстоятельно поговорили о политике. Он всегда предполагал, что их взгляды на сей предмет более или менее совпадают. Ну а если сейчас Дженкин обнаружил некие серьезные и неприятные расхождения с ним и был вынужден действовать соответствующе? Подобный опасный раскол был вероятен, и Джерарду мгновенно представилось, что Дженкин переметнулся на сторону Краймонда. Но это немыслимо, такого не может быть. В Джерарде тут же вспыхнуло раздражение на агрессивную атмосферу дискуссии, в которой он был вынужден «объясняться» с шельмецом.

Они сидели за круглым столом розового дерева в квартире Роуз, окна которой выходили на маленький квадратный садик, обнесенный оградой. Пока Роуз не задернула шторы, между деревьями садика узором золотых прямоугольников горели окна домов напротив. Продолжал медленно падать снег. Было больше пяти, и Ро-

уз включила свет в гостиной. В квартире было тепло, и их пальто и зонты, оттаявшие и просохшие, лежали грудой на старинном сундуке в холле. У Роуз было уютно и несколько убого: множество разрозненных вещей, перевезенных из ирландского дома деда с материнской стороны. Все «прекрасное»: уотерфордовское стекло, георгианское серебро, картины Лавери и Орпена[60] — Роуз отдала кузинам в Йоркшире после смерти Синклера, когда сама чувствовала себя мертвой и хотелось выбросить все, что было в доме брата и могло бы отойти его детям, избавиться от всех тех ничтожных предательских напоминаний, ужасных подробностей, оставшись лишь с одной всепоглощающей болью. Это было до того, как она чудесным образом оказалась в постели с Джерардом. Мы были потрясены, страдали, говорила она себе, сломлены и не властны над собой, как куклы, наполовину деревянные и не совсем превратившиеся в настоящих людей. Она чувствовала, что и для него случившееся было не вполне реальным, не удерживающимся в памяти, как сон. Интересно, а он помнит? Если бы только

**[60] Примечания: 60**

Сэр Джон Лавери (1856–1941) и сэр Уильям Орпен (1878–1931) — ирландские художники-портретисты, члены Королевской академии художеств.

это могло случиться раньше, — не могло — или позже, — но, увы. Несколько лет прошло, прежде чем Роуз по-настоящему захотелось, чтобы она тогда взяла что-нибудь себе, хотя бы одежду. Оставшаяся мебель, в основном из дома в Ирландии, где у нее теперь нет близких родственников, была достаточно красива, но без надлежащего ухода выглядела неказисто, кое-где повреждена, потерта, покрыта пятнами, даже сломана. Буфет красного дерева поцарапан, у секретера не хватало одной ножки, на палисандровом столе красовались следы от вина, старинный, эпохи Якова Первого, сундук в холле, на котором оттаявшие пальто наслаждались теплом центрального отопления, потерял боковую стенку, вместо которой поставили фанерную. Одно время Роуз собиралась постелить коврики в ванной комнате и отдать шторы в чистку. Собиралась «привести в порядок» мебель. Но все откладывала на потом, потому что жизнь у нее была какая-то зыбкая, неустроенная, в вечном ожидании чего-то, а не основательная, как у других людей. А теперь, возможно, и слишком поздно трудиться устраивать ее. Невилл и Джиллиан, дети ее кузин, наследники, иногда упрекали ее за то, что она не ухаживает за столом, не покрывает его лаком, и

не ремонтирует сундук. Молодежь беспокоилась о вещах. Настанет время, когда они перейдут к ним.

— Может, он и впрямь сумасшедший, — сказала Роуз.

— Конечно нет, — отверг ее предположение Дженкин, — если бы на нас подействовало его Schrecklichkeit[61] и мы просто сочли его чокнутым, нам было бы все равно, что он говорит…

— Он — сторонник мирового зла, — не успокаивалась Роуз. — Бандит, а я не люблю бандитов. Он опасен, он убьет кого-нибудь.

— Роуз, успокойся. Мы все когда-то были марксистами…

— Ну и что, Джерард… я вот не была! Он заговорщик. Не верю, что он одинокий мыслитель или член какой-то крохотной группки свихнувшихся маньяков, — я думаю, он убежденный нелегальный коммунист.

— Я не просто безоглядно защищаю его, — ответил Дженкин, — не знаю точно его убеждений, и если ты вдруг права, мне это тоже не нравится, однако мы должны это выяснить. Он продолжает

---

**[61] Примечания: 61**

Устрашение (нем.) — термин, использовавшийся немецкими войсками во время Второй мировой войны и означавший применение террора против гражданского населения.

думать в этом направлении, тогда как нас это больше не интересует, надо дать ему…

— Чертовски глупый довод!..

— Замолкни, Гулл, дай мне договорить. Краймонд работал, сопоставлял, обобщал. Он верит, или верил, что способен написать книгу, которая будет синтезом идей…

— Книгу, в которой нуждается наш век!

— И прежде мы над ним не смеялись.

— Такую книгу невозможно написать, — сказал Гулливер.

— Хорошо, если мы теперь так считаем, нам следует спросить себя: а почему? С тех пор мы во многом изверились. История предоставила нашим героям, диссидентам, которые сражались с тиранией и умирали в тюрьмах, шанс стать борцами за правду. Нам — я не имею в виду, что мы недостаточно мужественны, — нам в этой стране не грозит мученическая смерть за свои убеждения. Самое меньшее, что мы можем сделать, это размышлять о нашем обществе и о том, что его ждет.

— Да, но… — пробормотал Джерард.

— Краймонд говорит, что это конец нашего общества, — возразила Роуз. — Он признавался, что хочет разрушить «этот мир», имея в виду

наш мир.

— Не вижу ничего, что мешает и нам стать героями, — сказал Гулливер, — кроме, конечно, отчаянной трусости.

— На мой взгляд, Краймонд — одинокий волк, — продолжал Дженкин, — настоящий романтик, идеалист.

— Утопический марксизм ведет прямиком к наиболее мерзким формам подавления! — возмутился Гулливер. — Самый яркий пример этого в нашем веке — злодеяния Гитлера и Сталина. Нельзя мириться ни с каким произведением, внушающим, что коммунизм на самом деле хорош, если только строить его нужным образом!

— Не злись, — остановил его Дженкин. — Я хотел сказать, что Краймонд, по крайней мере, исповедует прагматический марксизм, он вовсе не равнодушен к страданиям, нищете и несправедливости. Это как католическая церковь в Латинской Америке. Люди вдруг начинают осознавать, что все ничто перед человеческими страданиями.

— Он хочет разрушить нашу демократию и однопартийное правительство, — сказала Роуз, — не очень-то это похоже на борьбу с несправедливостью!

— Роуз права, — поддержал ее Гулливер. — Демократия означает приятие индивидуализма с его противоречивостью, несовершенством и независимостью. Краймонду ненавистна идея личности, ненавистна идея богочеловека, он пуританин, в нем нет ни капли романтизма, он что-то новое и жуткое. Превозносит фильмы ужасов, потому что они демонстрируют, что за внешним благополучием буржуазного общества скрывается его подлинная суть: жестокая, отвратительная и страшная!

— Думаю, пора заканчивать наше собрание, — подвел итог Джерард. — Мы достаточно поговорили, каждый высказал свое мнение, причем по нескольку раз…

Дженкин выглядел расстроенным, Роуз чуть не плакала.

— Придется нам встречаться с ним, чтобы объясниться. Чур это буду не я.

— И не я, — подхватил Дженкин.

— Нет, конечно же, Джерард должен пойти, — сказала Роуз.

— Хорошо, я с ним встречусь, — согласился Джерард, — по крайней мере, мы хоть что-то решили.

— Кто желает бокал шерри? — спросила Роуз.

Они встали. Дженкин объявил, что ему нужно немедленно уйти. Они с Джерардом переглянулись, как бы говоря, что не сердиты друг на друга. Гулливер, не настолько телепат, как они, чтобы уловить этот знак, возбужденный и довольный собой, крутился рядом с уже вторым бокалом шерри.

— Вот бы собрать достаточно денег, чтобы Краймонд уехал в Австралию и остался там жить!

— Бедная Австралия! — отозвалась Роуз.

— Хотел бы я, чтобы все было так просто, — вздохнул Джерард.

— Между прочим, — сказал Гулливер. — Лили Бойн выразила желание присоединиться к нашей «коза ностра». Она, знаете ли, не глупа и мыслит в правильном направлении. Я собирался сказать об этом раньше, да забыл.

— Жаль, что способность мыслить в правильном направлении не заставила ее держаться от нас подальше! — съязвила Роуз.

— Ну, ты знаешь, что я имею в виду. В любом случае, она сказала, я передал.

— Тьфу, черт! — встрепенулся Джерард. — Я тоже кое о чем забыл: Пат и Гидеон желают присоединиться к нам.

— Сейчас не время принимать новых членов, —

сказала Роуз, — хотя бы пока мы не разберемся с главной проблемой. — Она посмотрела на свои часики, и Гулливер засобирался уходить. — Гулливер, говорят, что ты сможешь прийти на литературный вечер у меня, очень рада, я и Лили пригласила. Дай нам знать, каким поездом приедешь, и мы заберем тебя на станции. Да, и прихвати коньки.

— Коньки?

— Да, если повезет, заливной луг замерзнет.

Когда Гулливер ушел, они уселись возле электрического обогревателя, стоящего в камине.

— Как странно, что Лили хочет присоединиться, — сказал Джерард.

— Она хочет быть членом семьи, — объяснила Роуз.

— Разве мы семья? Ладно, мы должны позаботиться и о ней тоже.

— Гулливер очень горячился. Милый мальчик.

— Да, и симпатичный.

— Джерард. Когда встретишься с Краймондом. Будь осторожен.

— Непременно. Как бы хладнокровен я ни был, он будет еще хладнокровней! Что с тобой, Роуз, ты плачешь!

Джерард приподнялся, придвинул стул к ней

и обнял за плечи. Ее лицо пылало, мокрая щека, когда он коснулся ее, была горячей. Он привлек ее голову к плечу и, почувствовав подбородком ее прохладные волосы, вспомнил серого попугая, наверно спавшего сейчас в своей клетке.

~~~

— Хорошо спалось?

— Да, а тебе?

— И мне, очень хорошо.

Дункан проворчал:

— И почему только люди вечно спрашивают друг друга, хорошо ли они спали, когда просто подразумевают, выспались ли они? Человек может спать, не просыпаясь, при этом ночь будет ужасной. Ты высыпаешься или нет.

— Ты имеешь в виду сны?

— Я имею в виду сон.

Ни у кого не возникло желания развивать эту тему или уточнять, выспался Дункан или нет.

Первые двое выступающих были Гулливер и Лили, день — суббота, время завтрака, первого завтрака гостей, собравшихся в Боярсе на литературные чтения, и для Гулливера с Лили, которые впервые оказались в этом доме и завтракали в Боярсе, увидели сам дом и окрестности, поскольку, как остальные, приехали предыдущим вечером, в темноте, к ужину.

Роуз, естественно, приехала вчера пораньше, днем, но не для того, чтобы отдать какие-то рас-
~~~

поряжения, потому что ее пожилая служанка Аннушка, «юная девушка» с фотографии, которую Дункан показывал Тамар, как обычно, идеально все приготовила. Эту служанку, дочь садовника, чье настоящее имя было Энни, стал уменьшительно-ласкательно звать Аннушкой Синклер, когда, еще ребенком, в подражание прадеду, прошел увлечение Россией. Этот же предок по не вполне ясной причине придумал название имению: Боярс, то есть Бояре. Почему не «Цари», жаловался Синклер. По мнению Роуз, название пошло от Толстого, от его фразы: «Où sont les Boyars?»[62] Роуз приехала пораньше просто подышать воздухом, оглядеться, войти в роль владелицы Боярса и поудивляться, как всегда, почему не бывает здесь чаще.

Гулливер и Лили приехали вместе поездом, Тамар — другим, всех их Роуз встретила на станции. Дункан приехал отдельно, на машине, Джерард, как обычно, прихватил с собой Дженкина. Патрисия и Гидеон, которые считали, что вправе явиться без особого приглашения, ко всеобщему облегчению, объявили, что на это время у них запланирована Венеция. На деле по причинам,

---

**[62] Примечания: 62**

«Где бояре?» (фр.) У Толстого в «Войне и мире» эта фраза звучит чуть иначе: «Qu'on amenez les boyards» — «Приведите бояр».

в которые никому не было интересно вдаваться, они едва ли когда появлялись в доме Роуз.

Гулливер первым спустился к завтраку и съел яйцо в мешочек. Дункан — яичницу с беконом. Теперь Гулливер ругал себя за то, что вынудил Аннушку варить ему яйцо. Лучше бы тоже позавтракал яичницей с беконом. Впрочем, обрядившись в темно-синий финский двубортный пиджак яхт-клуба, он отлично себя чувствовал. Джерард ограничился ломтиком поджаренного хлеба с беконом. Дженкин стоял у буфета, накладывая себе яичницу, бекон, колбасу, поджаренный хлеб и жареные томаты. В прежние времена к этому обычно еще добавлялись почки и кеджери. Лили угостилась парочкой тостов с домашним джемом из крыжовника. Тамар повертела в руке кусочек тоста и быстро исчезла. Все пили кофе, кроме Лили, которая попросила чаю. Роуз, вставшая очень рано и никогда не завтракавшая, выпила с утра чашку чая с Аннушкой и носилась по дому, не присаживаясь с гостями. Она объяснила новичкам планировку дома и разнообразные «маршруты» прогулок по нему. В доме было достаточно мест, где можно было посидеть и (раз уж встреча была литературной) почитать. Гостиная и столовая с удобными диванчиками под окна-

ми, бильярдная (к сожалению, без бильярдных столов, чье сукно проела моль), где можно было послушать пластинки, естественно, библиотека («берите любые книги») и кабинет (Роуз им не пользовалась). Что до прогулок на воздухе, лучше было придерживаться дорожек и тропинок — в кабинете висела их карта в рамке. Был маршрут к реке, к церкви, к лесу, хотя дорожка через него сильно заросла, к Римской дороге[63] и вдоль нее и, конечно, к деревне, называвшейся Фокспад. Да, ответила Роуз на вопрос Гулливера, в деревне есть паб, называется «Пайк», имеется в виду рыба, а не оружие[64]; хозяина паба, который в годовщину Крестьянского восстания[65] сменил на вывеске щуку на пику, завсегдатаи заведения скоро заставили пожалеть о своем эксцентричном поступке, перестав появляться.

Гости, естественно, приехали с книгами, хотя не все были готовы объявить о своем выборе или объяснить его. Дункан приволок два толстенных

---

**[63] Примечания: 63**

Одна из дорог, построенных в период римского завоевания Британии в I–IV вв. н. э.

**[64] Примечания: 64**

Английское «pike» означает и щуку, и пику.

**[65] Примечания: 65**

Иначе восстание Уота Тайлера в 1381 г.

тома Правительственных изданий, Гулливер — стихи Лоуэлла и Берримена[66] и к тому же поклялся написать стихи, пока находится здесь. Лили привезла путеводитель по Таиланду, Джерард — «Оды» Горация и том Плотина в издании Леба, Роуз — «Дэниела Деронду»[67], Дженкин — «Оксфордскую антологию испанской поэзии», португальскую грамматику и книгу иезуитского священника, называвшуюся «Социализм и новая теология». (Последние две книги он скрывал от глаз Джерарда.) Тамар явно не привезла с собой ничего, но ускользнула в библиотеку, чтобы выбрать там что-нибудь. Бывавшие на подобных сборищах и прежде чувствовали, хотя не поминали об этом, что недостает Джин, чьи забавные насмешки и постоянное подшучивание оживляли атмосферу, без этого казавшуюся слишком уж спокойной. И Роуз опасалась, что Гулливеру и Лили будет скучно.

Едва они поднялись, пошел снег, сперва закружились крохотные нерешительные снежинки,

---

**[66] Примечания: 66**

Лоуэлл, Роберт (1917–1977) и Берримен, Джон (1914–1972) — американские поэты; неоднократно переводились на русский язык, Лоуэллу посвящали свои стихи А. Вознесенский и И. Бродский.

**[67] Примечания: 67**

Роман Джордж Элиот (1818–1880).

потом повалили крупные хлопья. Окружающий пейзаж, местами выбеленный предыдущим снегопадом, окончательно побелел. Роуз предупредила новичков, чтобы те прихватили теплую обувь и свитера для прогулок и на случай, если в доме будет холодно. Тут имелось центральное отопление, днем в «общих комнатах» в каминах пылали дрова, а вечером и в спальнях, но Боярс (предупредила Роуз) нельзя было назвать теплым домом.

— Заливной луг замерз? — поинтересовался Джерард.

— Наверно, — ответила Роуз, — должен был. Чуть позже схожу и проверю.

Джерард и Роуз, хорошо катавшиеся на коньках, держали их в Боярсе. Обоим не нравилась неестественность и ослепительная яркость катков в залах. Дженкин кататься не умел, но любил смотреть, как катаются другие. Дункан и на коньках не стоял, и не любил смотреть на других, которые, в том числе и Джин, отлично владевшая коньками, по его мнению, вечно делали это напоказ, хвастая своим умением. Тамар умела кататься, но забыла захватить коньки. Роуз подумала, что ей подойдут старые Аннушкины коньки. (Аннушка, прекрасно катавшаяся, давно

оставила эту забаву.) Лили сказала, что когда-то каталась немножко и готова попробовать снова. Гулливер уверил, что дружен с коньками. Однако не признался, даже Лили, что купил их только что, именно для этого случая, и это были его первые в жизни коньки. Накануне утром он долго тер новенькие ботинки грязью, чтобы они не блестели. Глупая и дорогая покупка. Ему до сих пор не удалось найти работу.

— Слушай, — окликнул Дженкин Роуз, — тут божья коровка ползет по буфету. Что с ней делать, пересадить на те цветы? Поймать ее?

— Я поймаю, — сказала Роуз, — и посажу на место. Они заползают в щели в дереве, а весной вылетают. Удивительно, до чего насекомые живучи.

— Они переживут ядерный взрыв, — согласно кивнул Дженкин. — Это, пожалуй, несколько успокаивает.

Роуз достала винный бокал, поймала в него божью коровку и унесла ее.

В эту минуту на пороге появился, держа хвост трубой, белый с серовато-муаровыми полосами кот, и Лили подхватила его на руки.

— Роуз, как зовут твоего котика?

— Маусбрук.

Вообще кота звали Маусбрук, Сиреневый Кот, но Роуз еще не чувствовала достаточной близости с Лили для таких подробностей.

— Какое забавное имя!

— Коньки сегодня попозже, днем, как считаешь? — предложил Джерард.

— Да, — подтвердила Роуз. — А с утра вы, мальчики, должны поработать. Взгляните, сколько снега! И жуткий холод.

Что, черт возьми, она хочет этим сказать, недоумевала Лили, с трудом удерживая вырывавшегося кота.

После завтрака, пока остальные продолжали спорить о «планах» на день, Дункан поспешил наверх в свою спальню. Аннушка, как всегда напоминала им Роуз, не убирала постели. Вчера вечером в свете камина спальня казалась уютной. Сейчас, когда камин не горел, здесь было холодно и серо от непрестанно движущейся завесы снега за окном. Дункан спал не в той комнате, которую всегда занимал с Джин. Роуз тактично поместила его в спальню поменьше в задней половине дома, где, как она сказала, лучше вид из окна. Вид, по крайней мере, был иным, но Дункан был рассержен тем, что комната оказалась тесная и без смежной ванной. Он глянул в окно, раздра-

жающе маленькое, стрельчатое, разделенное ромбовидными планками окно в стиле замковой «неоготики Строберри-Хилл», характерном для этой части дома. Он одобрял прадеда Роуз, который переделал (или «изуродовал») переднюю часть дома, предпочтя вместо псевдоготического солидный эдвардианский стиль, и добавил не слишком привлекательную, но полезную пристройку. Дункан распахнул окно, чтобы лучше видеть, что находится с этой стороны дома, но тут же захлопнул, когда в комнату ворвался колючий холодный ветер, неся снежинки. Спальня выходила на заднюю лужайку и сад, ели и густые кусты, заросшие вьющейся розой стены, окружающие огород, часть леса, мягкие очертания невысоких холмов чисто английского пейзажа, ферму вдалеке и Римскую дорогу — часть без конца и начала прямой, в несколько миль, знаменитой Римской дороги, которая в этих местах идет по холмам и долам, представляя собой своеобразный ориентир. В наши времена это уже не главная дорога. Главная, не автострада, но тоже важная, проходила на порядочном расстоянии от дома, за рекой.

Дункан, которого пребывание в компании заставило ненадолго забыть о страданиях, вновь

вернулся к прежнему состоянию. Он переел за завтраком и его тошнило. Ему было плохо, плохо, плохо. Накануне вечером он объявил, что рано утром должен уехать на воскресенье, чтобы подготовиться к заседанию. Ранее он вообще не хотел ехать к Роуз, но решил, что все-таки должен появиться, чтобы не создалось впечатление, что он избегает Тамар. Сейчас эта причина казалась нелепой. Почему кто-то должен подумать, что он избегает ее, какой у них может быть повод для этого? Эти мысли были вызваны чувством вины, которую он испытывал за то, что так коротко, так неожиданно произошло тем вечером. Он едва мог представить то состояние души, то внезапное отчаянное желание найти утешение, которые вынудили его тогда обнять эту девочку, этого ребенка. Теперь это не выглядело как вожделение, это была просто непреодолимая жажда любви, женской любви, жажда оказаться в женских объятиях и услышать, что она скажет, как сказала Тамар: «Я люблю вас, и всегда буду любить». Словно бы она прошептала: «Я защищу тебя, спасу, избавлю от боли, укрою от этого мира, сделаю невидимым и недостижимым для него навек». Возможно, она сказала что-то похожее. Он был сильно пьян тем вечером. Должно быть,

чудовищно пьян, чтобы так себя вести. Был ли он отвратителен, груб, ужасен? Похоже, тогда она так не думала. Но что чувствовала потом? Дункану не хотелось верить, что теперь она видит в нем пьяную скотину. Но с другой стороны, не хотелось верить и в то, что она действительно любит его. Как это скажется, чем обернется? Какие, какие слова найти, чтобы объяснить Тамар что он благодарен ей, но это и впрямь была минутная слабость, и он не сможет ответить любовью на ее любовь? Действительно ли благодарность чувствовал он сейчас к Тамар, маленькой невинной Тамар с ее школьной прической и тонкими ногами? Она учтет, думал он, она поймет, что это было помрачение ума. Что он был потрясен, только что получив письмо адвоката Джин, она это поймет. О господи, почему он вел себя так глупо, почему это должно было случиться! Он больше не может быть один. Конечно, она же и подтолкнула его, сам бы он даже не двинулся, никогда бы на это не решился! Такая кокетка, соблазнительница, что за ужасное невезение, какой он мерзостный ублюдок!

Дункан еще не совсем пришел в себя после письма адвоката, но привел в порядок мысли, так что письмо больше не казалось ему ни смертным

приговором, ни концом всех его надежд. Частью это было результатом разговора с Джерардом, который состоялся на другой день после встречи с Тамар. Дункан показал ему письмо, и они обсудили его. Было большим облегчением в кои-то веки (поскольку Дункан в последнее время не рвался видеть друзей) поговорить с Джерардом, хотя откровенная готовность Джерарда к разговору и раздражала. Джерард любил рассматривать все доводы «за» и «против». Он по-прежнему воспринимал себя как лидера, врачевателя, как человека, с которым не случается ничего плохого, который остается вечно молодым, тогда как Дункан потолстел, обрюзг и постарел. Даже волосы, хотя еще густые, без намека на проседь и волнистые, у него выглядели как тяжелый парик, тогда как у Джерарда вились и блестели, как у юнца. Это, конечно, было смехотворно, так же смехотворно, как новое чувство ревности к Дженкину, будто бы это Дженкин, постоянно общаясь с Джерардом, все больше мешал Дункану свободно поговорить с ним, как прежде. Однако то обстоятельство, что прежде они были так близки, оставалось гарантией неизменности их дружбы. Джерард предположил или, скорее, уловил мысль Дункана, что письмо адвоката не озна-

чает ничего окончательного. Это даже мог быть некий блеф или что-то в этом роде, на который Краймонд велел Джин пойти в обычном порядке. Дункан не должен воспринимать письмо всерьез. Такой довод побудил Дункана написать в ответ адвокату, что он удивлен, получив его письмо, он не стремится к разводу, по-прежнему любит жену и желает и ждет ее скорого возвращения. Ответом ему было молчание. Джерард сказал, что это хороший знак.

Но что толку в знаках и надеждах, когда вся жизнь исковеркана, когда ты превратился в неудачника и презренное ничтожество? Как может человек, втоптанный в грязь, вновь восстать, обрести уважение, без которого не бывает любви, или хотя бы заслужить прощение за то, что позволил себе пасть так низко? Тут невозможно взывать к справедливости. Как может Джин захотеть вернуться к нему? Если Краймонд бросит ее, она побежит к Джоэлу, да она способна на все, что угодно. Джин храбрая, не то что он, она грудью пойдет на нацеленное в нее дуло, никогда не приползет обратно, придумает что-нибудь ошеломительно новое. Она еще молода. Краймонд тоже, тоже молод. Дункану являлось по ночам, а позже все чаще и чаще и в дневных

неотвязных видениях то теперь отдаленное прошлое, в котором возник и утвердился раз и навсегда миф о его поражении, его падении, об ударе, ступеньках лестницы и голосе Джин, зовущем его снизу, таком нежном, таком фальшивом, о том, как он стоял, держа в руке клочок краймондовских волос: Краймонд, высокий, стройный, нагой, со светлыми глазами, с горящим взором, самодовольно расхаживал в ночных и дневных видениях Дункана. Образ Краймонда преследовал его, как и образ Джин и как ужасная неразрывность с ним.

Он не видел Тамар и не имел от нее известий уже довольно давно. Подумал было написать ей: никаких откровений, в самой обтекаемой форме, но письма опасны. Лучше молчать. Они оба будут молчать, ничего не предпринимать, пусть так и останется, чтобы случившееся постепенно забылось, растворилось по времени. Слава богу, он может положиться на молчание Тамар. Мысль, что Джерард выведает… Дункан никому не рассказывал об этом. Ни с кем не говорил о своем глазе. Только о Тамар придется забыть.

В своем «выступлении» он щегольнул чтением отрывков из правительственной Белой книги и другой публикации государственной канцеля-

рии, касающихся налогов, но сейчас не собирался открывать их. Для себя он тайком прихватил два триллера, с которыми, естественно, не выступит перед аудиторией внизу. В последнее время он поглощал все больше и больше триллеров. Он сел на кровать и открыл один из них, поднялся, накинул на плечи пальто и уселся обратно. Его охватила, пронзила тоска по жене приступом боли и ярости. Скоро он покинет службу, станет затворником, исчезнет, может, покончит с собой. Или совершит что-нибудь ужасное. Убьет Раймонда. Придется сделать это.

Роуз Кертленд стояла у окна, глядя, как падает снег, медленно, непрерывно, крупными хлопьями, отвесно, поскольку ветер стих, будто занавеска или сетка снаружи окна, чарующий, завораживающий, сглаживающий подробности пейзажа. Она кутала плечи в шерстяную шаль. В доме было холодно и неуютно от какого-то нового, особого тревожного ощущения. Возможно, это предчувствие конца эпохи. Возможно, они больше никогда не соберутся вместе, все они, в этом доме, как часто собирались прежде. Все казались встревоженными, раздраженными, нервными; все, то есть за исключением Джерарда, который всегда был, или всегда притворялся, спокойным,

уверенным в себе и в других. Дункан, бедный Дункан был, конечно, несчастен и замкнут, слегка резковат. Тамар выглядела больной, почти ничего не ела за ужином и завтраком, жаловалась на головную боль. Дженкин, с которым были вечные проблемы, потому что он имел обыкновение исчезать, опять пропал, сбежав сразу после завтрака, когда все должны были сидеть у камина в гостиной, попивая виски. Аннушка, которой Роуз из-за ее артрита не позволяла принести дрова, дулась на нее за то, что Роуз выбранила ее за просьбу к Гулливеру сходить за дровами, а не обратилась к ней. Даже Маусбрук, Сиреневый Кот, покинув свое привычное зимой место, растянулся на плитках позади большой чугунной печи, был возбужден и не в духе и неожиданно шарахнулся и убежал, когда Роуз хотела взять его на руки. Маусбрука назвали сиреневым потому, что его серо-муаровые полосы показались Роуз сиреневатыми, когда как-то вечером восемь лет назад Аннушка принесла его, бездомного котенка, мокшего под дождем. Кличка Маусбрук, Мокрый Мышонок, возникла как-то сама собой и прекрасно подошла ему.

Роуз занимала большую угловую спальню около башенки в «готической» половине до-

ма. Она любила эту сторону с ее сверкающими стрельчатыми окнами, обращенными в сад, и башенкой с небольшим освинцованным куполом во французском стиле и сожалела о невзыскательности прадеда, который после того, как его отец продал «большой дом», так бездарно переделал и расширил чудесную постройку, чья завершенная элегантная красота сохранилась только на фотографиях. Синклер собирался все восстановить в прежнем виде. Из ее двух главных окон Роуз наслаждалась той же картиной, что и Дункан: садом и Римской дорогой. Комната в башенке, в которую вела дверь прямо из спальни и которую она использовала как ванную и гардеробную, смотрела на три стороны: на задний двор, передний и вбок. В боковое окно видны были конюшня и фруктовый сад, а между волнами полей — окраина деревни Фокспад, и ближе к реке, примерно в полумиле от деревни стояла церковь, ее светло-серый шпиль высился над заснеженными деревьями. По воскресеньям к ней брела немногочисленная паства, Роуз тоже посещала ее, когда приезжала сюда, и кое-кто из ее гостей обычно сопровождал ее из вежливости или любопытства. Вид перед домом был лучше из больших окон в спальнях по эдвардианскому

фасаду: передняя лужайка, узорчатые железные ворота, кирпичная стена, отделяющая от дороги, поля, заливные луга и извивы реки, отмеченные подстриженными ивами. С противоположной стороны дома, украшенной обычными эдвардианскими «ужасами», открывался вид на лес, ровная полоса которого повторяла изгиб холма, и на продолжение Римской дороги. Тут была одна спальня, в которой Роуз разместила Гулливера. Две лучшие спальни с фасада, как всегда, занимали Джерард и Дженкин; Лили — ту, что с видом на деревню и в которой обычно спали Дункан и Джин. Роуз чувствовала, что Дункану в ней будет особенно одиноко, и, кроме того, Лили, как впервые гостившей тут и как женщине, следовало предоставить комнату получше. Маленькая спальня между комнатами Роуз и Дункана осталась незанятой. Тамар отвели комнату в башенке, непосредственно над гардеробной Роуз, она всегда занимала ее с детских лет, когда приезжала в Боярс. У Аннушки была своя изолированная комната внизу, позади кухни.

Литературные встречи, устраиваемые два-три раза в году и изначально длившиеся неделю, а сейчас обыкновенно три дня, когда-то замышлялись с целью заполнить университетские

каникулы и никогда не приходились на время летних путешествий и рождественских праздников, когда другие обязательства могли помешать собраться им всем вместе. Роуз проводила Рождество всегда в доме йоркширских родственников, Рива и Лауры Кертленд, родителей Невилла и Джиллиан. Она чувствовала себя обязанной поддерживать этот обычай, поскольку это был единственный способ регулярно видеть оставшихся членов семейства, хотя бывало, что наезжала к ним и в другое время. Роуз не очень ладила с Лаурой Кертленд, довольно сварливой *malade imaginaire*[68]; и поскольку Рив все больше превращался в затворника, а Лаура (по мнению Роуз) в исполненного жалостью к себе инвалида, они редко приезжали в Лондон. Роуз, которая всегда предполагала, что родственники считали ее «странной», а теперь чувствовала, что они видят в ней эксцентричную увядающую старую деву и жалеют ее; но, приезжая к ним, получала большое удовольствие от рождественских праздников и тепло относилась к кузине и ее мужу за то, что они всегда знали, когда оставить ее одну. Невилл и Джиллиан, уже большие и учившиеся

**[68] Примечания: 68**
Мнимый больной (фр.).

в университете, Джиллиан в Лидсе, а Невилл в Сент-Эндрюсе, говорили о квартире в Лондоне; значит, они будут чаще появляться в ее жизни, рассчитывая, что их пригласят в Боярс, может, даже позволят пользоваться домом, и вообще опекая ее с простодушной надменностью юности. Роуз тревожило то, насколько эта перспектива угнетала ее; она не привыкла отделять себя от молодежи, и ей нравилась эта жизнерадостная парочка. Джерард всегда проводил Рождество с отцом, сестрой и Гидеоном, а до последнего времени и с Леонардом в бристольском доме, и никогда не шло речи о том, чтобы Роуз присоединилась к празднику в их семейном кругу. Джин и Дункан, избегавшие английских празднеств, обычно скрывались во Франции. Вайолет и Тамар, отклоняя все приглашения, отмечали Рождество вдвоем, «тихо», как они говорили, и «тоскливо», как полагали другие. На этот год еще не было четких планов; но поскольку Мэтью умер, а Пат и Гидеон были неведомо где, Джерард задумал, что троица, плюс Леонард, если соизволит появиться, отметит праздники в Ноттинг-Хилле. Без сомнения, пригласит, по крайней мере встретить Рождество, Дункана и, разумеется, Дженкина. Как Дженкин проводил Рождество, было тайной.

Роуз думала, что он ходил «помогать» благотворителям в кварталы Ист-Энда, а потом напивался со своими друзьями, школьными учителями. Он никогда никому не рассказывал, чем занимался в те дни, даже Джерарду. Роуз тоже хотелось бы быть в это время в Лондоне, но она не могла, предварительно не уведомив Джерарда и без сигнала от него, «разочаровывать», если это подходящее слово, своих достойных родственников.

Роуз отвернулась от окна и завораживающе медленно падавшего снега и взглянула на свою красивую спальню, такую холодную и светлую сейчас от рассеянного сияния снега, почти не изменившуюся с того времени, когда ее занимали родители, а она спала в наверху, в башенке. Роуз теперь не так часто приезжала в Бояре; она теряла связь с домом. Аннушка чувствовала это, как чувствовал и дом. С недавних пор она впервые стала испытывать страх по ночам, пугала не тишина снаружи, но молчание самого дома. Она начала задумываться о будущем. Если бы только у нее был кто-нибудь по-настоящему близкий, кому можно было бы оставить Бояре. Если оставить Джерарду, он забросит его или вернет обратно ее семье, если Дженкину — да, интересно, как поступил бы Дженкин, наверно,

продал бы, чтобы помочь беднякам. Дункану оставлять бесполезно, Джин, богатой, как Крез, и бездетной, тоже. И Тамар, которая выйдет замуж наверняка как-нибудь ужасно. Хотя почему бы не Тамар? Как разозлятся Невилл и Джиллиан! Тамар будет испытывать чувство вины и передаст его кому-нибудь, он станет бременем для нее и не принесет ей удачи. Как ужасно, что они все бездетны. Но предположим, что у Тамар будет сын… Что за глупые, даже жалкие мысли, ограниченные, ничтожные, столь далекие от тех, что были у них в те счастливые, свободные и блаженные, как казалось, дни, когда Синклер учился в Оксфорде и Джерард, Дженкин, Дункан, Робин и Маркус, которого она теперь помнит так смутно, приезжали в этот дом и по-настоящему работали и спорили о разных вещах. Это было перед замужеством Джин, и Роуз была единственной свободной девчонкой. А все из-за Синклера, если бы он только не погиб… Но это были кошмары, бег мыслей по замкнутому кругу, когда Синклер неизменно представлялся ей счастливчиком, везунчиком. Он тоже мог неудачно жениться, бросить учебу, промотать остатки семейного состояния и спиться. Он мог бы быть для нее источником бесконечного горя вместо бесконеч-

ного счастья; но какое это имело значение, пока он был жив? Невероятно, но все они умерли в результате несчастного случая, ее ирландского деда убили на охоте, йоркширский — упал со скалы в горах, отец погиб в автокатастрофе вскоре после гибели Синклера; если бы она вышла за Джерарда и у них родился сын, у нее бы, наверное, сердце обрывалось от страха и тревоги за него, пока он тоже бы не сгорел или утонул.

— Когда собираешься встретиться с Краймондом? — спросил Дженкин.

— В следующий четверг.

— А, так ты уже договорился, звонил ему?

— Да.

— Остальным сказал?

— Нет.

— И где встречаетесь?

— У меня.

— Игра на своем поле?

— Не могу же я напрашиваться к нему в гости!

— Жаль. Хотелось взглянуть, как он живет.

— Так ты не был у него?

— Нет. Слушай, Джерард, если думаешь, что я у Краймонда в кармане, то ошибаешься! Мы просто случайно встречались с ним на митингах!

— Ну хорошо, — раздраженно ответил Дже-

рард, — ты же мне не говорил!

Разговор происходил чуть позже тем же утром; снег почти прекратился. Они были в комнате Дженкина, собирались пойти погулять. Джерард был уже готов. Дженкин надевал башмаки. Джерард стремился выйти побыстрей, чтобы Гулливер не увязался за ними. Он намеревался выскользнуть в боковую дверь, пройдя через кухню, но боялся, что Дженкин не захочет уходить «тайком». Хотя спальня Гулливера была на этой стороне, он недавно видел, что Гулливер крутится возле камина в гостиной. Хотя, может, опасения Джерарда были напрасны, но он очень хотел поговорить с Дженкином наедине.

— Хотелось бы знать, сколько сейчас времени, — сказал Дженкин.

— Еще утро, десять часов. Поторопись, мы выйдем через боковую дверь, к лесу.

— Я думал, мы пойдем в деревню, хочу выпить в «Пайке».

— Правда, что ли? Не могу понять твоего пристрастия к пабам.

— Пабы — это места для всех, как церковь, священные места встреч всего человечества, и каждый не похож на другой. К тому же сейчас они уже украшены к Рождеству. Где моя шапка?

Ну все, я готов.

Дженкин спустился вслед за Джерардом по лестнице, из холла они двинулись мимо кухни, не заходя в нее, мимо оружейной (где не было никакого оружия), мимо комнаты для чистки обуви (сапоги в старину) и домашней прачечной (оборудованной по-современному) и ступили на нетронутый снег небольшого двора. Джерард тихо прикрыл за ними дверь и размашисто зашагал вперед, Дженкин поспешил за ним. От очень холодного чистого воздуха перехватывало дыхание. Они миновали заброшенные хозяйственные постройки, выглядевшие как брошенная деревенька, увешанные сосульками, на которые молча показал Дженкин, и пошли вдоль внешней стороны высокой, с бурыми листьями буковой изгороди, окаймлявшей заднюю лужайку. Слева на возвышенности в миле от них темнел лес, впереди, за деревьями сада, виднелись голые заснеженные склоны холмов. Ветра не было. Кругом царила тишина. Под ее воздействием и они шли молча.

Небо, ровно затянутое облаками, низкое и желтоватое, лило желтый свет. Снег на листьях живой изгороди, елях и кустах остролиста, усеянных красными ягодами, сверкал искристой

белизной на фоне темной хвои и бурых листьев, но вдалеке, на изгибах холмов, казался матовым и желтоватым. Холодный воздух был недвижим, молчание сада нарушал только хруст подмерзшего свежевыпавшего снега под их башмаками, который уже был испещрен прямыми или петляющими дорожками лисьих следов и иероглифами птичьих. Они свернули за угол дома и пошли вдоль цветочного бордюра, на котором круглились снежные холмики не прикопанных растений, и дальше, к кустарнику. Здесь снег на густом подросте падуба и молодых елок и сосенок образовал как бы крышу, и земля под ними оказалась неожиданно коричневой, усыпанной иголками, мягкой и кажущейся теплой под ногами, а тишина была еще глуше. Отсюда тропинка вела к конюшне и дальше через фруктовый сад, к приступке у забора и к дороге, которая, виясь между полями, шла к деревне.

Тем временем Роуз покинула спальню. «Взяв себя в руки», напомнила Аннушке приготовить ее особую помадку, которую так любил Дженкин, надела башмаки, пальто и меховую шапку и отправилась в конюшню, прихватив корзинку с пойманной божьей коровкой в бокале и напевая

себе под нос «Рэнтер и Рингвуд, Беллмен и Тру»[69] — старое заклинание Синклера, гарантированно успокаивающее нервы и прогоняющее хандру. По источенной жучком лестнице поднялась на просторный чердак, выпустила божью коровку, тут же благоразумно заползшую в щель, и открыла квадратную чердачную дверцу, из которой виднелась Римская дорога.

Она опустилась на колени у дверцы, вглядываясь в желтый свет и недвижное белое пространство, в котором не было ни единого признака человеческого жилья, ничего, за деревьями фруктового сада, только поля и холмы, а за ними еще холмы. Ранней весной Роуз оставляла дверцу открытой для ласточек, чьи стремительные тени все лето сновали возле нее. Она поднялась на чердак еще и за яблоками. Они устилали пол подальше от дыр в гниющих досках, целое море пипина. Красновато-зеленые яблоки, недавно собранные Шеппи, водопроводчиком, и его крепышом сыном, уложенные аккуратно так, чтобы не касаться друг друга бочком, издавали легкий свежий аромат. Эти английские яблоки, ценимые предками Роуз, всегда представлялись ей

---

**[69] Примечания: 69**
Из шотландской песенки XIX века «Знаком ли вам Джон Пил?».

замечательными, невинными, яблоками мифа, яблоками добра, пользительнейшим плодом. Лежкие, они дотягивали до апреля, даже до мая, постепенно становясь золотистыми и слегка сморщенными, меньше и слаще. Роуз больше нравилось это их позднее воплощение, но отец предпочитал есть их чуть ли не с ветки.

В дальнем конце чердака было хранилище иного рода, большая куча камешков, гладкой морской гальки разной величины и цвета: произведения природы-абстракционистки, покрытые линиями и узорами в виде завитушек, диагоналей, решеток, клякс, пятен, белых на черном, голубых на коричневом, красных на лиловом, целиком белых, целиком черных, большей частью овальных, но были и почти сферической формы; все они были собраны Синклером, который знал каждый отдельный камешек в лицо, а некоторым дал имя. Когда Синклера не стало, камешки сложили, аккуратно, но не в прежнем четком порядке, в маленькой спальне рядом с комнатой Роуз; а оттуда Невилл и Джиллиан, тогда одному было пятнадцать, а другой шестнадцать, перенесли их в конюшню, чтобы освободить комнату для школьного приятеля, когда их родители временно заняли Боярс для «домашней вечеринки»

в отсутствие Роуз. С тех пор Роуз никогда не пускала йоркширских Кертлендов в Боярс, верней приглашала, но с условием, что они не станут устраивать «день открытых дверей», а это им было неинтересно. Она тогда не показала своей ярости, но переносить камешки обратно в дом не стала. Изредка навещала их на чердаке и еще реже выбирала какой-нибудь, чтобы увезти в Лондон. Иногда дарила камешек Джерарду. Однажды подарила Дженкину.

Она услышала тихий звук и увидела две фигуры, темные на снегу, движущиеся в ее неподвижном пейзаже, — Джерард и Дженкин. Джерард шел своим размашистым, длиной в ярд, шагом, Дженкин семенил рядом. Они шли молча. Роуз, подавшись вперед, как насторожившийся зверь, наблюдала сквозь облачка своего дыхания, как парочка вышла из сада, перелезла через забор и направилась дальше по тропе. Она не стала смотреть, как они скроются из виду.

— Так о чем ты хочешь с ним поговорить? — нарушил наконец Дженкин колдовство снежного безмолвия.

Они сошли с тропы, которая, как решил про себя Джерард, слишком скоро приведет их в деревню, и шагали по Римской дороге. Шли посередине, по

колее в снегу, оставленной недавно проехавшей машиной. Далеко впереди и далеко позади дорога была пустынна и бела.

— Разговора не будет, — ответил Джерард.

— То есть?

— Я просто попрошу сказать что-нибудь о книге.

— В общих чертах и когда будет закончена?

— Да, если он захочет. Конечно, давить я на него не буду.

— Если не заговоришь с ним о книге, сам он ничего не скажет!

— Это его забота. Я не собираюсь разводить долгие дискуссии с этим типом.

— Это не то, чего хотят остальные, — сказал Дженкин.

— Чего же хотят остальные?

— Роуз и Гулливер — чего-то определенного, на основании чего можно решить, что нам предпринять, они хотят отрывок из рукописи.

— А ты?

— Я… общения.

— Моего с Краймондом?

— Нашего с Краймондом.

Они шли теперь спокойней, походкой более отвечающей ритму разговора, Джерард чуть мед-

ленней, Дженкин шагая шире, дышали чистым морозным недвижным воздухом и не чувствовали холода в своих толстых пальто. Дженкин был в зимней шапке, съехавшей ему на уши. Джерард — с непокрытой головой. Вокруг расстилались заснеженные поля, тихие и пустынные, как заколдованные, и свет стал желтее и плотнее, темнее, словно день уже клонился к вечеру.

— Ничего мы не сможем предпринять, — сказал Джерард.

— Значит, ты хлопочешь просто ради того, чтобы они успокоились?

— Да.

— Но они не успокоятся.

— Черт побери, — не выдержал Джерард, — чего вы все от меня хотите? Нам не нравится Краймонд или его книга, но мы все мыкаемся, никак не покончим с этим. Лучше забыть о нем и его книге и заняться другими вещами.

— Платить и не думать?

— Именно. Ты не согласен?

Дженкин помолчал, потом сказал:

— Он же работает над книгой, ты это знаешь. Много читает, много думает.

— Он зашел в тупик со своим чтением и мыслями. Обычно у него было несколько здравомыс-

лящих последователей, сейчас его идеи вдохновляют лишь чокнутых да считаных подростков. Дженкин, тебе известно, каковы убеждения Краймонда и что они абсолютно противоречат нашим. Ты же не хочешь, чтобы я поддерживал его, не хочешь?

Дженкин ушел от ответа. Вместо этого сказал:

— Тем не менее кому-то это может быть интересно, даже если это лишь вещь в себе. В наше время так мало уважают науку…

— Ты имеешь в виду, что шахтеры больше не читают Маркса?

— Образованные люди, интеллектуалы лишились доверия, их протест эзотеричен, понятен только посвященным. На месте теории сейчас провал, на месте мысли — брешь.

— Не уверен, — сказал Джерард, — хорошо, возможно, мы нуждаемся в очередном философском гении — а пока, может, лучше обойтись без теорий, особенно теорий такого рода. Всякое ничтожество, которому хочется чувствовать себя значительным и быть вправе пинать то, что не способен понять, — «против буржуазии». Бывают времена, когда только прагматизм остается честен. То, что называют оппортунизмом. Материал, на котором Краймонд строит свою

теорию, никуда не годится, сама основа сгнила. Он прочитал «Государство и революцию» в романтическом возрасте и попался на удочку Франкфуртской школы[70]. Все это захватывающе интересно, но давно устарело, все эти люди живут в девятьсот тридцатых, в этом нет новизны, это просто старые эмоции в обличье мысли. Они видели советский социализм, но никак не могут избавиться от заблуждения, что на дне старого мешка остались еще какие-то чудеса.

— Тем не менее, — возразил Дженкин, — марксизм не умер. И ты должен признать, что в мешке были полезные вещи, которые мы просто присвоили.

— Маркс изменил наш взгляд на историю, но это лишь один из существующих взглядов. Дженкин, очнись, тебе все это чудится! Марксизм претендует на научность, даже сам Маркс признавал это в конце жизни, все те жалкие упрощения на этом отвратительном жаргоне принимаются за основополагающие принципы существования!

---

**[70] Примечания: 70**

Собирательное название, применяемое к мыслителям, связанным с франкфуртским Институтом социальных исследований, которые разрабагали критическую теорию индустриального общества, своеобразную разновидность марксизма. Среди основных представителей «школы»: Теодор Адорно, Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Макс Хоркхаймер и проч.

Хорошо, верхушка прекрасно это понимает, но это лишь доказывает, что марксисты или наивные глупцы, или циничные лжецы!

— Да, но… если бы только марксизм смог освободиться от всего наносного и стать моральной философией!

— Это уже пытались сделать и получали или тот же старый хлам, или опровержение марксизма!

— Хорошо, хорошо. Не представляю, что получится у Краймонда, но, должен сказать, мне очень любопытно. По крайней мере, он пытается обобщать, сводить все воедино. Он видится мне некой религиозной фигурой, подвижником, человеком на переднем краю, ждущим некоего всеобщего изменения бытия.

— Грустно слышать, как ты романтизируешь эту прогнившую магию.

— Иметь надежду — это уже кое-что, может быть, даже достоинство. Наверно, каждая эпоха видит себя на краю пропасти — человек должен задумываться над тем, что вне его, впереди, во тьме.

— Лишь настолько, насколько это ему дано. Все, что сверх того, — фантазии. Мы не в силах представить будущее. Марксизм привлекателен

тем, что притворяется, будто он это может.

— Значит, решаем, что будущее само должно о себе заботиться, мы достаточно для него сделали, будем просто добры с друзьями и наслаждаться жизнью.

— Дженкин, ты меня доконаешь! Ты же сам сказал, что не только наша судьба, но и наша обязанность — быть беспомощными!

— Я сказал не совсем так, но неважно. Ты, возможно, прав — но человека, бывает, снедает беспокойство.

— И у тебя беспокойство пропадает при мысли, что кто-то верует в систему и держится старых иллюзий?

— По-моему, страстное заблуждение лучше равнодушного непонимания.

— Это ловушка, в которую попадают все либералы. Ты действительно такой послушный беспомощный пессимист?

— Очень многие из наших взглядов окажутся несостоятельны, должны оказаться, на Бога, например…

— Тоже мне, великое дело!

— Я думаю, это важно, то, что происходит с религией, я, конечно, говорю не о вере в сверхъестественное. Мы должны иметь какую-то идею

глубоко морального общественного устройства.

— Которое марксизм отрицает!

— Вот рассуждали о «демифологизации», но южноамериканские и африканские христиане отправят все это в уничтожитель для бумаг.

— Не раньше, чем Платона и Шекспира!

— Еще как отправят. Или им придется уйти в катакомбы вместе с Богом и Святым Граалем! Может, это и не имеет значения. Может, ничто не имеет значения, кроме одного: накормить голодных.

— Ну, Краймонд уж точно об этом не думает, он отошел от политической деятельности, его интересуют только собственные теории, реальные человеческие беды его не волнуют.

— Да, но…

— Ты начинаешь меня раздражать.

— Извини, я просто думаю о твоей встрече с ним. Суть в том, что он пуританин, фанатик, его предки были шотландскими кальвинистами, так что ему присуще сильное чувство греха и желание смерти, он верит в ад, но он перфекционист, утопист, он верит в немедленное спасение, считает, что лучшее общество очень близко, очень возможно, надо только переустроить все атомы, изменить все молекулы, совсем чуть-чуть, — мо-

жет, это получится, а может, нет, все меняется, глубоко, ужасно, как никогда прежде, и, может, впереди ждет ад, но он думает, что в своем труде должен сказать, что все это возможно принять и пожертвовать почти всем, и из нового построить совершенное, и это…

— Дженкин, остановись, — сказал Джерард. — Просто замолчи.

Они продолжали идти дальше, молча глядя на окружающую красоту: живые изгороди, утопающие в снегу, бурые переплетения дикого клематиса там и тут, прямую дорогу, похожую на белую реку, бегущую вперед, исчезая из глаз и снова появляясь вдали, снег, уже подмерзший и с корочкой, и мягкий, пушистый под ней. Желтоватый свет менялся, становясь белей, ярче, почти молочным. Небо было ровного светло-серого цвета, без намека на солнце, но лило мощное мягкое сияние, которое будто исходило от снежинок, едва различимо толпившихся в воздухе. Потом далеко впереди на дороге показалась темная точка: машина. Она нырнула, пропав из виду, потом появилась вновь и стала медленно приближаться, пока не послышатся свистящий шорох черных колес по снегу. Они отступили в сторону. Проезжая мимо, люди в машине помахали им, и

они помахали в ответ.

К деревне Фокспад, невидимой с дороги, вела тропа, окаймленная громадными тисами; шапки снега с более тонких их ветвей свалились, обнажив темную глянцевитую хвою и бледно-красные восковые ягоды.

— «Пайк» сейчас откроется, — проронил наконец Дженкин.

— Да.

— Не злись, Джерард.

— Я не злюсь, дружище. Только думаю, как по-разному мы смотрим на мир.

— Честно говоря, я совсем перестал разбираться в политике, мне нужно лишь несколько простых истин. Прагматизм — вот единственная философия, которая никогда не стареет.

— Простых истин не существует. Что касается того, чтобы накормить голодных, так это религия. Ладно, дело благое. Но сама-то идея пришла из лишь чуточку романтизированного христианского мифа. И она полностью овладевает тобой.

Длинный нос Дженкина покраснел от холода, глаза слезились. Он еще глубже нахлобучил шапку и сгорбился, как обезьяна.

— Не иди так быстро, Джерард. Я практичный малый, это ты у нас религиозен. Да, когда мы раз-

говариваем, мы смотрим на жизнь по-разному. Для меня она — странствие по темной туманной дороге в толпе мне подобных. Для тебя — одинокое восхождение на гору, ты не веришь, что доберешься до вершины, но тебе кажется, что, поскольку можешь думать о ней, ты уже взошел на нее. Вот эта идея полностью владеет тобой.

Джерард искоса взглянул на друга, почувствовав выпад против себя, смягченный обезоруживающим тоном его слов.

— Не думаю, что человек способен видеть дальше того, где он есть, а там, наверху, похоже, только смерть.

— Я бы назвал это романтическим мифом.

— Я верю в доброту, ты — в справедливость. Но оба мы не верим в идеальное общество.

— Нет… но я чувствую, что живу в обществе, а ты не живешь в нем… думаю, ты не замечаешь его.

К этому времени тропа соединилась с дорогой, ведущей в деревню, снег на ней был утоптан, проезжали машины, слышался лай собак, эхо которого разносилось по заснеженным полям, и вопли детей, катавшихся на санках с холма в полумиле от них. Церковь за деревней, стоявшая на небольшом возвышении, теперь не заслоняемая

деревьями, была открыта взору. Скоро они уже шагали по улице мимо домов, на шиферных и соломенных крышах которых лежал толстый слой снега, а по краям свисали сосульки; заиндевелые стены, сложенные из прямоугольного камня, искрились на морозе. Слышались встречные «доброе утро!» и «добрый морозец!». Безветренный морозный сверкающий день рождал в прохожих радостное и дружелюбное настроение. Джерард не знал толком знакомых Роуз в деревне. Например, пожилую мисс Марголи, о которой Роуз обычно упоминала, мимо ее сада, окаймленного высокой самшитовой изгородью, они только что прошли; семейство Скроптонов, чей симпатичный квадратный домик стоял поодаль от дороги. Потом шли дом Толкотта, врача, «хорошего, но грубоватого», деревенская лавка, в которой можно было найти «почти все», новый дом местного каменщика, дом мистера Шеппи, водопроводчика, дом портнихи, дом, в котором родилась Аннушка и до сих пор жили ее племянницы. Большой пруд замерз, двое людей катались там на коньках, другие осторожно и с победным видом ходили по льду вместе с озадаченными утками и гусями. В воздухе кружились редкие снежинки, не решаясь опуститься на землю. На-

конец показался «Пайк», вывеска с изображением свирепой зубастой рыбы, живописно выныривающей среди камыша, висела не шелохнувшись за отсутствием ветра. «Настоящий эль». Расстегивая пальто и стаскивая перчатки, они вошли в жарко натопленный переполненный паб.

Внутри, после слепящей белизны улицы, было темно, стоял теплый запах мокрой шерсти, мокрой одежды, мокрых половиков. Да, подумал Джерард, окунувшись в оглушающий шум голосов и безнадежно оглядываясь в поисках места, где приткнуться, пока Дженкин обменивался любезностями у стойки, это то, что его другу нравится, а ему нет! Сколько они тут пробудут? Дженкин заказывает пиво. Они опоздают к ланчу.

Неожиданно почувствовав усталость, он стащил с себя пальто, смахнул иней с ресниц и стряхнул снежинки с вьющихся волос. Потер замерзший нос, из которого закапало в жарком помещении. Одернул свитер и поправил едва выглядывавший воротничок и галстук.

Ему не нужно беспокоиться о том, чтобы быть добродетельным, думал про себя Джерард, он живет простой жизнью, свободной от соблазнов и угрызений совести, живет в пристойной просто-

те, все, что он видит, это множество редкостных страдальцев — и, конечно, Дженкин прав относительно горы и того, как человека вводят в заблуждение призраком идеала. Мы говорили об этом и прежде, но до такой степени остроты не доходили, не затрагивали самой болезненной сути. Слава богу, Дженкин перестал спрашивать, о чем он собирается писать. Может, он напишет о Плотине, думал Джерард, это будут спокойные разрозненные мысли об Августине и Плотине вкупе с какими-то размышлениями о современности; эпоха, в которую жили они, действительно похожа на нашу. Каким великим кажется все это, когда оглядываешься назад, те времена, когда Платоново Благо сочеталось браком с Богом псалмов. Но и одновременно какой ужасный опасный разброд, философия против магии, точно как ныне. Только у нас нет гения, который научил бы нас по-новому думать о добре и душе.

Дженкин оглянулся на Джерарда и улыбнулся. Потом показал наверх. Джерард поднял глаза. Рождественские украшения были на месте: блестящие красные и серебряные гирлянды, перекрещивавшиеся на потолке, переливающиеся звезды, маленькие фигурки ангелов. Он снова посмотрел на Дженкина и его указующий перст.

Наверное, подумал Джерард, он все-таки напишет свою книгу, но прежде всего необходимо кое-что решить с Дженкином Райдерхудом, прояснить, разобраться и что-то сделать. О господи, это такой риск — словно речь идет о его жизни или моей!

Затопленный заливной луг, огромное пространство у реки, отлично замерз. Эта земля, которой владела Роуз и которую она сдала в аренду одному симпатичному фермеру, когда-то была общинным выгоном и в деревне по-прежнему ее рассудительно так и считали общинной. К недовольству Рива и Невилла, Роуз пренебрегала своим правом на ловлю рыбы. Своенравные английские зимы не часто баловали надежным льдом на лугу, так что деревенские не особо увлекались коньками и в основном предпочитали резвиться на деревенском пруду. Однако, когда Роуз и компания пришли к лугу, на припорошенной снегом ледяной глади там и тут чернели фигуры катающихся.

Пришли они после ланча. Ланч, хотя предполагался «легким и скромным», оказался весьма плотным: холодное мясо, горячий картофель, салаты, ромовый бисквит, сыр, все это в сопровождении кларета; все говорили, что не собираются «наваливаться», однако многие не удержались.

Перекусив, сошлись на том, что если идти кататься, то нужно отправляться сразу, иначе они разбредутся по комнатам и заснут, да и в любом случае потом будет поздно: к половине пятого стемнеет. Дункан, который выпил большую часть кларета, объявил, что собирается немедленно отправиться на боковую до их возвращения, так что небольшая их компания состояла из Роуз, Джерарда, Дженкина, Тамар, Гулливера и Лили. Тамар и Дженкин, одна — забывшая коньки, другой — не умевший кататься, пошли в качестве зрителей. Роуз была рада, что Тамар, отказавшаяся от предложенных ботинок, пошла сними. Она опасалась, что девочка, съевшая самую кроху за ланчем, предпочтет провести день в одиночестве. Тамар уже «оккупировала» библиотеку, и другие старались не беспокоить ее там; она читала или (такое впечатление сложилось у Роуз) делала вид, что читает «Повесть о Гэндзи»[71], которую Роуз посоветовала ей какое-то время назад. Роуз собиралась, но пока не собралась «как следует поговорить» с Тамар, которая выглядела более обычного замкнутой и болезненной.

---

**[71] Примечания: 71**

Мурасаки Сикибу. «Повесть о Гэндзи» — первый японский роман, написанный, как считается, тысячу лет назад придворной дамой императрицы Сёси.

Пошел еще снежок, скрывший следы людей и зверей, но скоро перестал. Было по-прежнему безветренно и тихо, будто природа затаила дыхание, и невольно хотелось понизить голос. Дневной свет уже менялся, белое небо приобрело красноватый отблеск. Гладь луга оставалась в основном белой, но при ближайшем рассмотрении в завитках следов катающихся блестящий лед под снегом был серо-стальным. Компания из Боярса являла собой красочное зрелище. Роуз и Лили несколько беспокоило то, как они оделись. У обеих на голове были меховые шапки, у Роуз коричневая, у Лили черная. Роуз надела длинную темно-зеленую куртку из плотного твида, толстый коричневый свитер с высоким воротом, бриджи и толстые носки, шею повязала зеленым шелковым шарфом. Лили была в белом облегающем свитере с воротом «поло», поверх него второй, красный с V-образным вырезом, свободный, пушистый, из ангорской шерсти, черный кардиган с пояском и в черных шерстяных брюках, заправленных в красные носки. Увидев Роуз в поношенных бриджах, Лили заметила, что чем влезать в бриджи, удобней и проще заправлять брюки в носки. (Но тут же пожалела о своем замечании.) Обе женщины, как они объявили, поддели самые

теплые нижние рубашки, Роуз две, Лили только одну. И мерзла. Она слишком положилась на уверения Роуз, что кататься им будет очень жарко. Джерард, считая, что ни к чему уделять особое внимание одежде, оделся небрежно и удобно: темно-зеленый кашемировый свитер под горло поверх белой рубашки, синий тонкий шерстяной шарф, длинный морской жакет ручной вязки и сине-черные вельветовые брюки. На Дженкине, как обычно зимой, был толстый свитер, теплое пальто и полосатая шерстяная шапочка. Тамар тоже была в теплом пальто, джемпере, гетрах поверх брюк, а голову и половину лица замотала бежевым шарфом. Гулливер после долгих размышлений и сомнений обрядился в бледно-коричневые вельветовые брюки, свой лучший и самый длинный свитер, синий с земляничного цвета узором, и в зеленое полупальто. Он чувствовал себя неуклюжим и уже замерз. Они с Джерардом были с непокрытой головой, и Гулливер, считавший infra dig[72] носить головной убор, страшно завидовал Дженкину с его дурацкой шапочкой. Джерард, Роуз и Лили были в щеголеватых высоких кожаных ботинках. Тамар

**[72] Примечания: 72**
Infra dignitatem — ниже своего достоинства (лат.).

и Дженкин — в тяжелых башмаках, Гулливер — в элегантных сапожках.

Он очень нервничал. За ланчем сильно прикусил язык, и боль до сих пор не прошла. Начать с того, что у него создалось впечатление, кстати ошибочное, что его приглашение в Боярс было частью своего рода испытания. Его проверяли с некой целью. «Показать» кому-то, представить какому-то влиятельному лицу, директору театра, или импресарио, или министру по делам искусств, на которого он должен произвести впечатление и который предложил бы ему работу. Или, может, там присутствовали бы родственники Роуз, из титулованных, и он бы отлично поладил с ними, а в итоге женился бы на племяннице Роуз, Джиллиан, о которой слышал от Роуз как о красивой умной девушке. Он был готов познакомиться с совершенно новым человеком, неважно, мужчиной или женщиной, лишь бы это круто переменило его жизнь. А может, приходила ему другая мысль, Джерарда гнетет какая-то серьезная личная проблема или даже ужасная тайна, в которую он никого не посвящает, и решил, что Гулливер — единственный, кому он действительно хотел бы ее открыть; и он представлял себе, как поздним вечером Джерард

с безумным взором явится к нему в комнату, расскажет все и станет заклинать выполнить его опасную и жизненно важную просьбу. По этому сценарию Гулливер немедленно отвечал: «Отправлюсь этой же ночью!» Когда он узнал, что Лили тоже приглашена, то испытал чувство досады, словно включение ее в число гостей обесценивало все это событие. А когда еще позже стало ясно, что вообще не будет никаких новых лиц, только обычная компания, почувствовал еще большее разочарование, но вместе с тем и утешение от мысли, что ему оказали честь, признав «членом семьи». И в присутствии Лили, когда прошло первое негодование, он находил облегчение и удовольствие, поскольку они немедленно объединились, заключили союз, обменивались замечаниями и хихикали в углу. «Мы здесь как дети, — говорила Лили, — а они — взрослые! Мне кажется, это очень забавно!»

Гулливеру было не в диковинку проводить уик-энд, гостя у кого-нибудь за городом, в благополучные актерские времена он то и дело получал подобные приглашения и считал себя искушенным молодым человеком, который, в общем, не тушевался в обществе. Сейчас, отбросив напрасные ожидания и напрасные обиды, он надеялся

наконец-то сблизиться с Джерардом, укрепиться в положении настоящего, постоянного друга. Он будет изо всех сил стараться понравиться Джерарду и не допустит никаких глупостей. Опасность оказаться сейчас не на высоте серьезно беспокоила его. Он еще немного побаивался Роуз, но уважал, находил привлекательной и радовался, что как будто нравился ей. Он помнил тот вечер на балу, когда так хотелось пригласить ее на танец, но он не осмелился. Перед Дунканом он трепетал, боялся зверя в нем, его бычьей, медвежьей фигуры, его тотемистической силы, его способности убить одним ударом лапы. Он хотел бы подружиться с этим минотавром, но Дункан, хотя и был вежлив с ним, держался отчужденно, и Гулливер со злорадным удовольствием говорил себе, что в конце концов бедный старина Дункан оказался рогоносцем, которого вдобавок Дэвид Краймонд столкнул в Черуэлл. Дженкина он совершенно не понимал, осознавая, что немного ему завидует. Дженкин был очень добр с ним, но это было все равно как если бы до тебя снисходил эльф. Он жалел Тамар, услышав разговоры о ее затруднениях, но она была холодна с ним, и он не пытался подступиться к ней.

И вот теперь с этими проклятыми коньками он

поставил себя просто в ужасное положение. За каким дьяволом он объявил, что умеет кататься, когда на самом деле с трудом стоит на коньках? Зачем купил эти страшно дорогие коньки и ботинки (когда мог бы купить вполне приличные за вдвое меньшие деньги), которые сейчас нес, как дурак, в пластиковом пакете, что расползался на глазах под их весом, и они все больше вылезали из дыры, стремясь скорей попасть на кошмарную гладь скользкого льда — место скорого позора? Не было никакой необходимости признаваться, что вообще когда-нибудь в жизни катался, шел бы сейчас как зритель, ничуть не стесняясь, как Тамар и Дженкин. Просто он не хотел, чтобы о нем забыли, закричал, как ребенок: «я тоже», выпил слишком много кларета и съел слишком много бисквита, не задумался, как жалко будет выглядеть на льду. Коньки — спорт безжалостный. Можно быть посредственным теннисистом или посредственным игроком в крикет, но коньки — как балет, если ты недостаточно хорош в этом деле, то вызываешь только презрение. Он предполагал, что Джерард и Роуз тут мастера. Лили, правда, призналась, что каталась «немножко» и «невесть когда», но, похоже, не боялась показаться неумехой. Неприятность заключалась в том,

что по неопределенным словам Гулливера она решила, что на деле он виртуоз коньков, только скромничает! Вообразила, что он поможет ей, научит кататься. Он неизбежно падет и в ее глазах тоже. Утром, представив себе ситуацию, он придумал выход: устроить себе растяжение лодыжки. Но не хватило силы воли, а теперь слишком поздно. Ничего, растянет на льду!

Возглавлявшая компанию Роуз сошла с тропинки, по сторонам которой замерзшая земля походила на окаменевшую мелкую рябь, и по хрустящей под ногами траве повела их вдоль «катка» к лежащему, чуть возвышаясь надо льдом, стволу дерева, очищенному от сучьев и, видно, давно и нарочно положенному там, чтобы служить вместо скамьи. Вместе с коньками она принесла и кассетный плеер, и, когда включила его, всем захотелось танцевать. («Танцевать!» — подумал Гулливер.) Они уселись на бревно и стали переобуваться, а Дженкин и Тамар, не спускаясь на лед, побрели в направлении реки. Гулливера, как и всех остальных, охватила дрожь возбуждения, трепет предвкушения, похожего на сексуальное, в эти минуты, когда происходило их перевоплощение, как бы физическое изменение естества, переводившего их из мира медлен-

но шагающих животных в мир стремительно скользящих диких зверей. Было три часа дня, вскоре после четырех солнце сядет, и небо, его снижающийся свод уже начал краснеть, зловеще накаляясь. Розовел снег, на льду чернели редкие фигуры катающихся. Странно звучали голоса: приглушенно, звонкие, но будто в замкнутом пространстве.

— Что это за пожилая дама, которая катается там? — спросила Лили, которая, похоже, не спешила перевоплощаться. — С ума сошла, кататься в такой длинной юбке.

— Это не дама, это пастор! — сказал Джерард, в котором холод, розовеющий свет и предвкушение скорости возбудили необычную веселость.

— Наш викарий, — подтвердила Роуз. — Энгус Макалистер, или отец Макалистер, как он предпочитает, чтобы его называли. Он тут у нас совсем недавно. И всегда ходит в сутане! Помнишь прошлый год, Джерард?

— Красуется! — воскликнул Джерард. — Смотрите, как элегантно придерживает полы сутаны! А теперь заложил руки за спину, как на картине

Реберна![73]

— Он малость тронутый, — сказала Роуз. — Пользуется старинным молитвенником, любит, чтобы его называли «отец», даже исповедует! — но в то же время рьяный евангелист. Если придете завтра в церковь, услышите его проповедь.

— Это будет миленько, — двусмысленно проговорила Лили, пытаясь завязать шнурки непослушными замерзшими пальцами в перчатках.

Роуз первая оказалась на льду. Съехала по небольшому склону и понеслась, изящно и очень быстро, выписывая стремительные дуги на заснеженной глади, сделала несколько кругов и вернулась, зовя Джерарда и протягивая к нему руку. Джерард несколько неуклюже спустился по склону, потом прыгнул на лед и помчался к ней. Они взялись за руки, покружились и понеслись в разные стороны, Джерард полетел к дальнему концу луга, Роуз — поговорить с долгополым пастором, который, прибавив скорость, легко несся рядом с ней.

Этого-то то он и боялся, думал про себя Гулливер, артисты, черт их побери! А тебе считай

---

**[73] Примечания: 73**

Реберн, Джон (1756–1823) — шотландский художник-портретист, автор более семисот портретов выдающихся людей Шотландии, в т. ч. Вальтера Скотта.

повезет, если сможешь хотя бы стоять прямо. Самое лучшее для него и Лили — это немного повалять дурака здесь рядышком, просто для виду, пока те носятся вдалеке, а потом быстренько снять коньки и присоединиться к Дженкину и Тамар. Он может не уронить своего достоинства, если просто сделает вид, что катается! Они так довольны собой, что им не до него. А вдруг им станет интересно, на что он способен? Когда стемнеет, его все равно не увидят. Если только дорогая Лили его не уронит!

Темнело, но красноватый свет стал интенсивней, на мгновение оживив луг и реку. Темные фигуры катающихся, казалось, движутся по невидимому под снегом льду, делая его более видимым своими быстрыми пируэтами, интуитивно взрезая нетронутую белизну острыми лезвиями коньков. Большинство деревенских, которым было далеко до дому, уже ушли, пастор-виртуоз исчез. Гулливер пытался всунуть ногу в тесный ботинок. Нога, негнущаяся от холода и застрявшая в неудобном положении, не лезла, упершись в подвернувшийся язык. Он стащил перчатки, и руки тут же заледенели.

— Мы с Джерардом ходили утром в деревню, — говорил Дженкин Тамар, — деревенский пруд

замерз — ну да, точно замерз, — и утки с гусями ходили по льду. Вид у них был такой трогательный, такой неуклюжий, озадаченный и возмущенный! Большущие лапы ставят осторожно, и очень разозленные, они не могли посторониться, и катающимся приходилось объезжать их. Наверное, были в крайнем негодовании: вместо воды лед, люди носятся вокруг! Мы ходили в «Пайк». Там все украсили к Рождеству. Мне всегда нравится это время перед Рождеством, когда в домах начинают ставить елки и вешать венки на двери, а тебе?

— Мы обходимся без украшений.

— Ну, я тоже не слишком этим увлекаюсь — просто вешаю несколько старых побрякушек. В «Пайке» мило и обстановка дружелюбная, как думаешь?

— Не люблю пабы.

— А стоит попробовать сходить. Не нужно привередничать.

— Я не привередничаю.

— Посмотри, какое небо стало красное, и такая тишина и покой, будто заколдованное царство. Мы одни, в Сибири! Заметила, что с тех нор, как мы вышли из дома, нам ни одной птицы не встретилось? Наверное, попрятались в кустах

погуще, взъерошили перья. Не представляю, как они выживают в такой холод?

— С трудом, многие погибают.

Они шли по траве, длинные листья которой там и тут виднелись над снегом, как длинные зеленые ленты, спутанные и схваченные морозом.

Дженкин беспрестанно говорил, стараясь привлечь внимание Тамар, указывал то на следы животных, то на совершенную форму облетевшего дуба, то на маленький, покрытый красными ягодами куст остролиста в живой изгороди вдоль луга. Они подошли к реке и в молчании смотрели на замерзшие плети водорослей, торчавшие из толстой кромки льда у берегов. Посередине беззвучно и яростно неслась вода, стремительная, подпитанная предыдущим растаявшим снегом, черная, черная рядом со льдом и белыми берегами.

Тамар смотрела на воду, наклонив голову и теребя узел шарфа, потом надвинула шарф ниже на лоб.

Дженкин наблюдал за Тамар с самого их приезда в Боярс. Он, как и остальные, знал о ее неприятностях и сейчас остро чувствовал ее печаль, непроницаемую отчужденность и хотел бы «что-нибудь сделать» для нее. С самого ее раннего

детства он знал ее, но никогда близко, никогда не был для нее «веселым дядей Дженкином» или кем-то, с кем она могла делиться секретами или открыть душу. У Дженкина, несмотря на все его учительские таланты, не получилось добиться той легкости, не теряя авторитета, в отношениях с ней, ни в детстве, ни когда она выросла, какие установились между ней и Джерардом.

Пока Дженкин гадал, какую бы тему затронуть, чтобы ее разговорить, Тамар неожиданно сказала:

— Как вы думаете, Джин вернется к Дункану?

Он ответил тут же:

— Вернется, обязательно. Не расстраивайся, все обойдется.

— В последнее время он получал какие-нибудь известия от нее?

— Ну… получил письмо от адвоката, но он написал ей, что любит ее и ждет, что она вернется, а с тех пор ничего, что могло бы служить добрым знаком. А с тем человеком у нее долго не продлится — так было раньше, так будет и сейчас. Она вернется!

Сам Дженкин отнюдь не был в этом уверен, но он стремился успокоить Тамар.

— Такая жалость, что у них нет детей, — сказала

та, по-прежнему глядя на реку, — но, возможно, они и не хотели их, не все же хотят.

— Дункан точно хотел, очень. А вот Джин — сомневаюсь.

— Ой, посмотрите… там не мертвая кошка?

Яростная стремнина несла что-то бугристое и полосатое. Это была мертвая кошка.

— Нет-нет, это комок травы. Ладно, давай возвращаться. О, кажется, снова пошел снег.

Лили закончила шнуровать ботинки, но сидела, как парализованная, глядя на кружащих в отдалении Роуз и Джерарда.

— Идем, — сказал Гулливер, — или трусишь? Пустяки, я попробую. Помолись за меня.

Он встал, балансируя на нелепо тонких лезвиях коньков, которые немедленно поехали в заснеженную траву. Расставил руки в стороны для равновесия и, осторожно ступая, стал спускаться на лед. К несчастью, ухватиться было не за что, никакого дерева, которое бы дружески протянуло крепкую ветку. Спустившись к кромке, он ступил одной ногой на лед. Нога с негодованием встретила скользкую враждебную поверхность, отказавшись твердо, как положено ноге, вставать на лед, неуклюже поехала в сторону и беспомощно подвернулась. Гулливер подтянул ее обратно.

Если б только на секунду-другую удалось встать на лед и тихонечко поехать вперед более или менее похоже на то, как это делают другие. В конце концов, он же умеет кататься, то есть в юности, на катках, удавалось проехать сколько-то метров и не упасть. Он опасливо шагнул вперед, и оба конька оказались на кромке льда, который здесь не был расчищен, но представлял собой грязную полосу комковатой земли и травы, покрытых ледяной коркой и снегом. Тут он снова ступил одной ногой на гладкий лед. Но конек другой ноги, на которую он на секунду оперся, увяз в земле. Вытаскивать его, балансируя на другом коньке, было немыслимо. В тихом отчаянии, выставив руки, Гулливер смотрел перед собой, в красные сумерки. Двинуться вперед не получается, думал он, назад — тоже, придется сесть. Слава богу, Роуз и Джерард непонятно где, он их даже не видит. В этот момент кто-то взял его вытянутую руку. Это явно Лили у него за спиной отважилась спуститься вниз.

Гулливер ухватился за спасительную опору, каким-то чудом сумел освободить конек и встать на лед обеими ногами, продолжая держаться за руку Лили. Он стоял! Потом отпустил ее руку и самостоятельно пошел по льду, не поехал, а

зашагал, балансируя, как на ходулях. А теперь, как там это делается? Ноги сопротивлялись желанию лодыжек спокойно подвернуться, дорогие ботинки помогали держаться прямо, живот, диафрагма, плечи, болтающиеся руки напряженно выжидали момент, чтобы прийти в движение, уверенно и ритмично, в наклоне вперед, распределив вес так, что ноги, подворачивающиеся на terra firma[74] в этом трудном и неестественном положении, смогут действовать в полном согласии друг с другом. Гулливер нагнулся, двинул вперед один конек и, когда тот заскользил, перенес на него вес тела, заставив и вторую ногу инстинктивно вспомнить это движение. И не упал! Получилось все-таки! Он катился!

В этот момент кто-то возник рядом и сказал: «Молодей!» Это была Лили. Она проехала мимо. Тоже катится! Больше того, и Гулливер мгновенно это отметил, она не просто умеет кататься на коньках, а делает это по-настоящему здорово. Сейчас она была перед ним и двигалась спиной вперед. В свете малинового заката он видел ее лицо под черной меховой шапкой: с рдеющими щеками и носом, победно сияющее и радостное.

---

**[74] Примечания: 74**
Твердая земля (лат.).

Она сделала небольшой круг, потом побольше, а потом, помахав рукой, понеслась прочь с поразительной скоростью. Гулливер ошарашенно сел на лед.

Роуз и Джерард, которые, взявшись за руки, катались в дальнем конце луга, где еще задержались несколько деревенских, в основном мальчишки, возвращались на середину и там встретились с Лили. Они прежде услышали, чем увидели ее. Лили, оказавшись в стихии, близкой ее натуре, неслась сломя голову и с громким воплем, похожим на крик дикой птицы или крик, который издают японские мастера боевых искусств. Она еще в школе вместе с группой одноклассников училась кататься на коньках на катке в Куинсвее. Все бросили занятия, а она продолжала, у нее, как сказал тренер, был природный дар, она училась танцевать на льду, делать прыжки, выигрывала соревнования. Некоторое, недолгое время катание казалось ей способом завоевать мир; но она так и не поверила в это, пленительный прямоугольник катка был волшебным дворцом, который всегда приходилось покидать с чувством обреченности, тайным волшебным местом, по контрасту с которым убожество ее реального мира выглядело еще более

ужасным. Там она не приобрела ни связей, ни интересных знакомств, и ей не хватило силы воли и уверенности в себе на усилия даже для совершенствования мастерства. Так что занятия потеряли свою привлекательность среди невзгод и бестолковщины студенческих лет, а когда появились деньги и с ними так много других радостей и так мало понимания истинных ценностей, ей не пришло в голову вернуться к тому, что теперь казалось простым эпизодом времен девичества. Причиной паралича, охватившего ее на бревне у кромки луга, было болезненное воспоминание, внезапно нахлынувшее на нее, когда руки коснулись шнурков, воспоминание о себе, юной и неиспорченной; она, как Гулливер, совсем не была уверена, что способна на то, что умела прежде. Разумеется, она могла кататься, но владеет ли коньками прекрасно, как тогда? И этот исступленный вопль означал внезапное открытие, что ее талант не пропал.

Перед самым появлением Лили посредине луга, стремительной, как стрела или ангел-вестник, Роуз предложила Джерарду, поскольку на льду уже почти никого не было, поставить вальс и потанцевать у края луга, как они всегда делали много, много зим, когда лед становился креп-

ким. Они танцевали замечательно, но тактично старались не слишком демонстрировать свое умение перед другими любителями ледовых развлечений. Сейчас же, когда почти весь луг был в их распоряжении, можно было добавить волшебство музыки в вечерний зимний пейзаж. Джерард и Роуз предусмотрительно держались на почтительном отдалении от Гулливера и Лили, чтобы не стать свидетелями их, возможно, более скромных способностей. И вот вдруг Лили Бойн оказалась рядом, пронеслась мимо, развернулась на огромной скорости, завертелась на одной ноге, подняв другую, высоко подпрыгнула и опустилась на кончики коньков, и казалось, она скользит не по поверхности льда, а над нею.

— Лили, ты настоящая звезда! — закричал Джерард.

Роуз взглянула на пируэты Лили и приняла мгновенное решение:

— Вот и танцуй с ней.

И со всей быстротой, на которую была способна, помчалась прочь в направлении бревна. Несколько секунд спустя музыка Штрауса преобразила вечер.

Гулливер не сразу поднялся на ноги, всякое желание испытывать дальше вернувшееся уме-

ние пропало. Без всякого стеснения он, никем невидимый, пополз по льду обратно, потом так же ползком поднялся по склону и взобрался на бревно. С облегчением расшнуровал ботинки и освободил сдавленные ступни и ноющие лодыжки. Весь перед был в грязи и снеге, светло-коричневые вельветовые брюки покрыты пятнами и промокли насквозь. Он обнаружил, что потерял одну перчатку. Наверное, обронил, когда Лили схватила его за руку. Ему показалось, что он видит ее невдалеке на льду. Он сидел, глядя на Лили, описывающую круги. Неожиданно возникла Роуз, запрыгнула на коньках на берег, как козочка, и включила кассетник. В тот же миг из сумерек появились Дженкин и Тамар.

Джерард и Лили, кружась и болтая, постепенно приближались, что они говорили, было не разобрать, но их голоса звучали высоко и ясно в похолодавшем воздухе, притягиваемые магнетической музыкой. Неодолимое радостное чувство охватило обоих, Джерард обнимал Лили за талию, ее рука с неожиданной силой сжимала его плечо. Лили танцевала лучше Джерарда, но, как посредственный теннисист неожиданно начинает блистать с хорошим партнером, так Джерард под действием вдохновения и ведомый

Лили танцевал как никогда.

Четверка на берегу, Гулливер сидя, остальные стоя, в пристальном молчании наблюдали за танцующей парой. Шарф Тамар съехал ей на плечи, и Дженкин, не поворачивая головы, наблюдавший за ней краем глаза, увидел, как секунду спустя по ее щеке покатилась слеза. Гулливер, ошеломленный тем, что так быстро происходило у них на глазах, смотрел на поразительную пару, приближавшуюся к ним. Какое-то странное ощущение пронзило подреберье, электрическая дрожь, укол, чувство восторга и вместе тоски. Чудесная, яркая, горьковато-сладкая музыка обнимала все: темнеющее небо, блекнущий отблеск сумерек, мороз, бледность снега и огромное безлюдное пространство вокруг, которому скоро предстояло погрузиться во тьму.

Танец продолжался недолго. Под рукоплескания и смех Джерард и Лили поднялись на берег. Лили бросила Гулливеру его перчатку, которую изящным движением подняла, скользя по льду. Роуз раздала всем фонари, и, оживленно болтая, они отправились обратно по тропе к дому. Вновь пошел снег, белые хлопья беспорядочно метались в лучах их фонарей.

— Ловко у тебя получилось расстроить бедной

старушке Роуз всю игру, — сказал Гулливер.

— Ты груб, — ответила Лили, — это твоя беда, грубость.

Дело было после обеда. Они вернулись после катания на коньках усталые, продрогшие и возбужденные, но время было еще только для чая перед камином, пылающим в гостиной, и их поджидали два больших чайника, молоко, сахар, сэндвичи и булочки, кекс с изюмом и домашний джем и сливки — это Аннушка расстаралась, заметив вдалеке свет их фонариков. Они отсутствовали дольше, чем ожидали, и не все были расположены пить чай. Кто-то хотел горячую ванну, кто-то выпить чего покрепче. Из уважения к стараниям Аннушки они все же выпили чаю, и большинство, пренебрегая советами не перебивать аппетит перед обедом, не устояло перед булочками, которые с черносмородиновым джемом и сливками были восхитительны. Появился Дункан, заспанный и разгоряченный, справился, как они покатались, и уничтожил большую часть сэндвичей. Джерард и Дженкин задержались возле булочек. Гулливер взял кусок кекса с собой, чтобы съесть позже. После того как все приняли горячую ванну, отдохнули и пропустили по глоточку, обед, поданный

позже обычного, не разочаровал: чечевичный суп, ростбиф и йоркширский пудинг, пирог с крыжовником и сливками. Все, кроме Тамар, уписывали за обе щеки. Отобедав, все, кроме Тамар, пожаловавшейся на усталость, расположились в гостиной, попивая кофе и вишневую наливку и угощаясь божественной сливочной помадкой (выдающейся, по всеобщему мнению), которую Аннушка приготовила, чтобы побаловать Дженкина. Роуз скоро ушла к себе, сперва зайдя к Тамар, проведать. Зверски зевавшие Гулливер и Лили заявили, что идут спать, и сошлись chez[75] Лили. Дункан, Дженкин и Джерард остались в гостиной за бутылкой виски.

Гулливер сожалел о своем высказывании насчет Лили и Роуз, он действительно был поражен. А беда его была в том, что он был пьян. Холод, напряжение, переживания, эмоции, горячая ванна, вся эта еда, вся эта выпивка — и в результате неустойчивое возбужденное состояние, из-за чего было совершенно необходимо «добавить». Оказалось, что и он, и она прихватили с собой по фляжке виски «на всякий случай», и ничто не могло помешать им продолжить удовольствие,

**[75] Примечания: 75**
У (фр.).

так что Лили тоже порядком напилась. Его грубое замечание, справедливо раскритикованное Лили, было так или иначе следствием попытки Гулливера справиться с растерянностью, вызванной ее подвигами на льду, которые нельзя было назвать иначе как триумфальными. Он совсем не возражал против того, чтобы она блистала, когда он был беспомощен, не злился, когда она летала вокруг него, как крылатая богиня, а он полз на берег, губя брюки. Он даже испытывал гордость за нее, мол, знайте наших! Другое дело танец. То, что он почувствовал, было откровенной ревностью: та же самая боль, что и в Ночь Гая Фокса, когда он приоткрыл дверь гостиной. Но и сейчас, как тогда, он сам не знал, кого так ревнует. Или это было просто общее ощущение, что он отвергнут, вычеркнут, сброшен со счетов, никому не интересен? Замечание насчет Роуз вырвалось у него, как он сейчас понимал, из-за желания облегчить горечь поражения, приписав его другому.

— Да, — покорно признал Гулливер, подливая себе из фляжки Лили.

Они сидели в ее спальне, придвинув кресла к пылающему камину, в который Гулливер только что подбросил дров из корзины, стоявшей сбоку. На коврик полетели искры, и он затоптал их.

Большую часть комнаты занимала огромная двуспальная кровать с темным старинным дубовым резным изголовьем; горело несколько ламп. Голубые, с решетчатым рисунком обои сливались с мучнистой тенью, мебель, тушующаяся перед огромной кроватью, была небогатой и ветхой. Дубовый комод, над которым висело зеркало, служил туалетным столиком, сервант без дверок выполнял роль книжного шкафа, на маленьком восьмиугольном столике возле окна лежали еще книги: романы Лоуренса и Вирджинии Вулф, которые Роуз выбрала для Лили, и привезенный самой Лили путеводитель по Таиланду, который она еще не открывала. Небольшой зеленый диванчик, чья бархатная обивка с рисунком из цветов и листьев сильно потерлась, занимал место между окнами. Несколько акварелей изображали йоркширские владения и «старый большой дом», проданный прапрадедом Роуз. Над камином висела большая современная картина с красно-оранжево-черной абстрактной композицией, купленная Джерардом для Роуз у Гидеона, когда Роуз под влиянием Джин высказала на выставке свое восхищение ею. Позже она стала любимой у Джин и Дункана, висела в их спальне и именовалась «их» картиной.

— Ты собираешься завтра в церковь? — спросила Лили. — Нам обязательно туда идти?

— Не уверен, — ответил Гулливер, — надеюсь, это не обязательно.

— Ты ведь бывал здесь раньше, да?

— Нет.

— А мне казалось, что бывал. Ты столько говорил об этом доме.

— Старался произвести на тебя впечатление. Я не только грубиян, но еще и лицемер.

— Давай не пойдем в церковь. Можно отправиться в паб. В деревне есть, Дженкин сказал.

— Он не откроется раньше двенадцати.

— Ах да, воскресенье.

— Можно просто пойти погулять.

— Если нас не занесет снегом так, что нельзя будет выбраться из дома. Забавная будет ситуация, как в каком-нибудь детективе!

— Вряд ли такое случится.

— Интересно, снег еще идет? Давай взглянем.

Они подошли к окну, отдернули тяжелые бархатные шторы и подняли раму. Привычную, никакой оконной готики на этом фасаде. В комнату стеной пошел ледяной воздух.

— Выключи свет, — попросила Лили.

Они стояли в темноте, высунувшись из окна.

Снег прекратился. Одинокий далекий огонек — слабое желтое пятнышко, отмечал окраину деревни. Белые поля были не видны. Но в вышине ветер отвел завесу облаков, открыв их глазам небо и звезды, одна горела особенно ярко, а вокруг нее и дальше туманной россыпью толпились другие, густая золотая пыль неисчислимых звезд, в зените почти полностью покрывавших черный купол неба; и у них на глазах эту золотую пыль быстро пересекла и погасла падучая звезда, за ней еще одна.

— Боже мой! — прошептала Лили. — В жизни не видала падучую звезду, а теперь вот увидела аж две.

Скоро они отступили от окна, опустили раму и задернули шторы. Гулливер вновь включил свет, и они посмотрели друг на друга.

Гулливер, к счастью уведомленный Джерардом, что нет необходимости привозить смокинг, был в своем лучшем темном костюме, белой рубашке и строгой бабочке в горошек. Он был не настолько пьян, чтобы, поднимаясь по лестнице, украдкой не причесать назад свои лоснящиеся темные волосы. Такая прическа придавала ему несколько мрачноватый вид (что ему нравилось), но в то же время (чего он не понимал) делала

старше. Худощавый, с худым землистым лицом, он выглядел голодным и усталым, как актер на вторых ролях, играющий захудалого адвоката или злонамеренного священника. Лишь в ясных карих глазах (похожих на сумрачные, но восхитительные озера, как однажды выразился кто-то в баре, где собирались геи) сохранилось детское, мальчишеское выражение неуверенности и страха. Лили, к обеду спустившаяся в длинном облегающем платье с зелеными блестками, в котором, как все вежливо отметили, она походила на русалку, переоделась (не заботясь о том, что Гулливер на секунду увидит ее в нижней юбке) в шикарный темно-синий с белым пеньюар. Лили тоже выглядела усталой и слегка раздраженной. Складка кожи в крапинках, как у ящерицы, почти скрывала бледно-карий подкрашенный глаз. Она смыла серебристую помаду с тонких губ и взбила жидковатые тусклые сухие волосы. (Волосы Гулливера выглядели бы лучше, взбивай он их иногда вместо того, чтобы прилизывать.) Они вернулись в кресла у камина.

— Ты веришь в летающие тарелки? — спросила Лили. — Что люди из других галактик прилетают сюда, чтобы наблюдать за нами?

— Нет.

— А я верю. Это очень и очень вероятно. Планет, подобных нашей, — миллионы. Конечно, они не хотят, чтобы мы видели их. Они пишут книги о нас.

— Хорошо, возможно, они здесь, и мы их не видим, возможно, они сейчас тут, в этой комнате. Это ничего не меняет.

— Откуда тебе знать? Откуда тебе знать, как бы все изменилось, если б их здесь не было?

— Может, стало бы лучше. Хуже вряд ли. Да какая разница. Когда они закончат свои книги, они уничтожат нас и следов не оставят.

— Конечно, когда-нибудь всей Вселенной придет конец. Тогда, если все кончается, в чем смысл, к чему все это? Интересно, в этом доме водятся привидения, надо поинтересоваться об этом у Роуз. Он же близко от лей-линии[76].

— С чего ты это взяла?

— Чувствую. Римские дороги проложены вдоль лей-линий. А ты что думаешь о лей-линиях?

— Я думаю, что все это пустяки, как летающие тарелки.

— Знаешь, они все-таки физически существуют,

---

**[76] Примечания: 76**

Термин, введенный Альфредом Уоткинсом и обозначающий якобы существующие энергетические линии, связывающие между собой так называемые «нервные сплетения» Земли.

их можно обнаружить лозой, где встречаются два подземных потока. И еще они — это сосредоточение мысленной энергии в местах, где когда-то были люди, маршировали все те легионы, эманации их энергии!

— Если легионы источали энергию, неудивительно, что лей-линии пролегают вдоль дороги.

— Но это еще и космическая энергия, как в каменных кругах. Лей-линии проходят через Стоунхендж. Есть тут в округе какие-нибудь мегалитические памятники? Они все связаны между собой, понимаешь?

— Кажется, какой-то камень есть в лесу.

— Схожу посмотрю, если он заряжен энергией, я пойму. Бабушка всегда говорила…

— Лили, это вздор, безрассудный вздор!

— Это ты безрассуден, не желаешь видеть очевидное, просто знаешь, и все! Послушай, не считаешь, что мне стоит сходить к Тамар? Она практически ничего не ест и бледная, как смерть.

— Она всегда бледная и ничего не ест, к тому же сейчас она спит. Давай выпьем еще.

— Бедная Тамар, бедная, бедная малышка Тамар…

— Лили…

— У Роуз такое спокойное гладкое лицо, а она намного старше меня. У меня лицо как после бомбежки. Знаешь, они явились за Краймондом, хотят уничтожить его.

— О ком ты?

— О них, о маленьких земных божествах, мудрецах всезнающих. Я слышала их разговор после обеда. Боже, я, наверно, пьяна, у меня в глазах двоится, или, может, это люди с летающей тарелки.

— Лили, дорогая, не сходи с ума, успокойся!

— Я за Краймонда, знаю, ты его ненавидишь, но я не…

— Лили, встань на минутку, пожалуйста.

Они встали перед огнем, и Гулливер, положив руки ей на талию, привлек ее к себе, почувствовав, какое худое, нервное и хрупкое у нее тело, а потом неожиданно, как колотится ее сердце.

— А теперь сядем, вот сюда.

Они подошли к зеленому диванчику, и Лили села Гулливеру на колени и уткнулась лицом в плечо его лучшего костюма, измазав его косметикой.

— Знаешь, должна сказать тебе, я скоро останусь без денег, в банке сказали, бог знает, куда они все ушли, людей интересуют только мои деньги, до меня им дела нет, я просто пустая ра-

кушка, раздавленная змея…

— Лили, прекрати! Послушай, можно, я останусь у тебя на ночь?

— Тебе меня не понять…

— Можно остаться?..

— Ох, если хочешь, тут полно места, я не возражаю, но ничего хорошего из этого не выйдет.

И она расплакалась.

Роуз сидела на кровати Тамар и внимательно смотрела на нее. Роуз принесла ей горячий шоколад, специально приготовленный Аннушкой, зная, что она его любит, и Тамар отпила немножко. Еще Роуз принесла аспирин и таблетки снотворного, которые Тамар отвергла. Она вежливо уверяла, что чувствует себя неплохо, что беспокоиться не о чем и на самом деле хорошо поела, что у нее никогда не бывает особого аппетита, прошлой ночью прекрасно спала и этой ночью тоже будет спать прекрасно. «Повесть о Гэндзи» ей понравилась, вот она, на столике у кровати, с удовольствием почитает еще перед сном. А потом вдруг заплакала. Крупные слезы недолго, словно приоткрылся на полминуты автоматический затвор шлюза, ручьем катились по ее лицу и так же неожиданно прекратились. Роуз попыталась взять ее за руку, которой Тамар

вытирала глаза, но та спрятала ее под одеяло. Сидя в постели в небольшой круглой спальне, в своей полосатой пижаме и с заплаканным лицом, она походила на маленького мальчика. Она больна, думала про себя Роуз, возможно, на грани депрессии, надо поговорить с Вайолет, но что толку говорить с Вайолет, о господи, если б только можно было бы схватить это дитя, похитить, забрать и оставить у себя! Наверное, надо было сделать так давным-давно. Но Вайолет такая бешеная, у нее железная воля.

— Тамар, ты больна. Я хочу, чтобы ты показалась доктору Толкотту, здесь в деревне.

— Доктору… нет!

Вид у Тамар был очень встревоженный.

— Твоей матери не обязательно об этом знать… Ну ладно, тогда покажись своему врачу. Конечно, Вайолет говорит, что от него никакого толку…

— Я не больна, со мной все в порядке, просто хочу остаться одна, пожалуйста, Роуз, не сердись…

— Дорогая, я не сержусь!

Роуз соскользнула с кровати и, стоя на коленях, поймала вновь показавшуюся из-под одеяла маленькую худенькую руку Тамар и поцеловала:

— Ты правда сейчас уснешь, что-нибудь тебе нужно, принести что-нибудь?

— Нет, нет, все хорошо, думаю, я сейчас усну, не буду читать «Гэндзи», благодаря тебе мне полегчало, не тревожься, это все ерунда, уверяю тебя, ерунда.

Пришлось ей поверить. Роуз вышла и постояла секунду снаружи. Тамар выключила свет.

Роуз пошла вниз, к себе в спальню. Комната всегда напоминала ей о матери, которая была такой милой, так старалась угодить всем, так переживала раннюю, немыслимую, внезапную потерю сына и мужа; покорная, она во всем уступала мужу, потом Синклеру, потом Роуз, даже Риву. Роуз все еще тосковала по матери, ей не хватаю ее. Она помнила, как была возмущена, когда какой-то приятель Рива назвал мать «бездельницей». Мать не была бездельницей, всегда она была чем-то занята, хотя не обязательно тем, что другим представляется важным. При ней цветы поражали красотой. У Роуз и Аннушки недоставало на это таланта. Комната, в которой Роуз умышленно ничего не меняла, постепенно пришла в упадок и поблекла, хотя в основном все в ней осталось прежним: старомодный туалетный столик со стеклянной столешницей, обыкновенно мутной от материнской пудры, большой «джентльменский гардероб», сохранившийся с тех времен,

когда она и отец Роуз занимали двуспальную кровать — теперь это казалось таким далеким, словно было в другом веке, — ветхие кресла, не подходящие для гостевых комнат, потускневший аксминтерский ковер[77] с цветочным узором, местами отставшие от стен обои в розовую и белую полосу, причем розовый уже едва проглядывал, призрачные прямоугольники исчезнувших картин. Гобелен с сюжетом из Библии, принадлежавший матери ее матери, которая сама была искусной вышивальщицей.

Роуз уселась в кресло и задумалась о Тамар. Потом ее мысли перекинулись на Джин. Думать об обеих было мучительно, страшно, сердце сжималось от жалости к ним. Она было хотела снова спуститься вниз и присоединиться к другим, но Джерард, Дженкин и Дункан, вероятно, дискутировали на какую-нибудь отвлеченную тему, а желания развлекать Лили и Гулливера не было, к тому же они все равно собирались ложиться спать. Лучше ей тоже лечь и искать спасения в безмолвной невинности сна и в глупых страхах сновидений. Драгоценный сон, подобный смерти. Она заметила на столике у кровати, в

---

**[77] Примечания: 77**
Английская имитация персидского ковра.

розовой бахромчатой тени абажура «Дэниела Деронду». Читать не было никакого желания. Она подумала, что, быть может, пришел конец ее чтению. *J'ai lu tous les livres*[78]. Все свои любимые она знала наизусть. Теперь ни один роман не давал ей прежнего радостного ощущения свободы, спасительного прибежища. Ее не привлекали ни биографии, ни щеголяющая эрудицией политическая литература, которую иногда рекомендовал ей Джерард. Сейчас никто не читает художественную литературу, люди хотят фактов, сказал ей один из друзей Рива (Тони Рекитт, фермер, тот самый, что назвал ее мать «бездельницей»). Роуз не могла довольствоваться фактами, но и другое тоже ушло. Не становится ли она, как это столетие, равнодушной к литературе?

Снаружи в снежной тьме тявкнула лисица. На мгновение она решила, что это собака, но тут же узнала своеобразный лисий голос. В любом случае, никакая деревенская собака не подошла бы так близко, если только не потерялась. Лай собак в деревне всегда заставлял ее вспомнить Синклерова пса, Регента. Он пропал вскоре после гибели Синклера. Роуз долго ждала, что он вернется, за-

**[78] Примечания: 78**

«Прочитаны все книги» — строка из стихотворения Стефана Малларме (1842–1898) «Морской бриз».

скребется в дверь здесь, в Боярсе, или в Лондоне. Даже сейчас она ждала его, пса-призрака, ищущего своего хозяина. Услышав, как снова затявкала лисица, дико, безумно, тоскливо, отчаянно, она содрогнулась. Потом пришел настоящий страх.

Она стареет, в конце концов? Надо взять себя в руки, взяться за собственную жизнь. Это все Джерард виноват в этом бессмысленном чувстве, в этом страхе. Она испытала боль, ужас, глядя на Джерарда и Лили, танцевавших на льду. Это никак не ожидаемое вторжение, эта кража вызвала в ней желание заплакать, завопить. Никогда ей не забыть тех мгновений и совершенно новое, небывалое и нестерпимое чувство ревности, даже ярости, даже ненависти, когда смотрела на триумф Лили Бойн. Потом она поздравила Лили, обняла за плечи, смеялась и улыбалась веселым восклицаниям Джерарда. Это было ужасное предзнаменование, стрела с вражеским предупреждением. Хотя чего она боится, неужели думает, что Джерард влюбился в Лили? Все та же старая беда, все та же старая бесконечная болезнь. У нее были приятные, приличные мужчины, за которых она могла выйти, которых любила, но она не была в них влюблена, ее сердце пребывало в пожизненном плену. Дура она, просто грех быть

такой глупой.

И словно чтобы успокоить страх, ощущение одиночества, которые принесло из тьмы лисье тявканье, она с готовностью отдалась чувству любовного томления, острого желания, тоски по Джерарду, которое порой охватывало ее, которое пронзило ее, когда в тот вечер на балу она стояла у окна в квартире Левквиста, глядя на башню, купающуюся в свете прожекторов. Иногда ей казалось, что Джерард стал ей вместо брата, заменив погибшего Синклера. Чувствовал ли он это, не произнес ли как-то раз то кошмарное слово, чтобы потом, увидев, как она вздрогнула, никогда больше не повторять? Возможно, это ощущение ее своей единокровной сестрой позволяло ему так спокойно довольствоваться их очень близкими, однако же лишенными страсти, даже трезвыми отношениями. Господи, как ей иногда хотелось взорваться, наброситься с воплем на него. Вот раздосадовала бы его подобная «истерика», как он выразился однажды и она это слышала, и с каким великодушием он простил бы ее! Ее положение было безнадежным, какие бы ухищрения она ни предпринимала, все было бесполезно. Забеременеть сейчас — слишком поздно. Роуз перестала думать об этих слишком очевидных вещах. Да

и зачем вообще об этом думать? Возможности выйти за Джерарда не было никогда, она даже не винила его в том, что он, мол, «вселил в нее надежду». Тот чудесный эпизод после смерти Синклера больше был своего рода священным обрядом, окутанным благоговейной тишиной, и ни к чему не привел. Ей припомнились слова, сказанные Дженкином о Джерарде: «Что до Джерарда, то важно иметь в виду, что, в сущности, он малость чудаковат!» Тогда она злилась; позже это даже принесло ей облегчение.

Но надо все-таки что-то делать, думала про себя Роуз, которая теперь встала и расхаживала по комнате, все еще не успокоясь. Необходимо увидеть его срочно, сейчас, увидеть. Скоро она спустится вниз и, если он у себя, пускай даже уже лег, постучится к нему, поговорит с ним как следует, она сейчас в таком состоянии, что у нее хватит смелости. Будет с ним искренной и откровенной, можно все сказать так, что он не будет ошеломлен. Если уж на то пошло, им необходимо заключить договор, она должна быть уверена в нем. И что, до конца жизни в страхе следить за Джерардом? А как в самом деле ей еще быть? Сказать: «Просто живи со мной, живи рядом со мной, чтобы я каждый день видела тебя, пусть я буду

тебе самой близкой, самой дорогой. Обещай никогда не жениться, только если на мне»? Конечно, это нелепые, даже аморальные требования. Она хочет от него лишь уверенности, чего-то, чем бы она жила дальше, что успокоило бы ее страдания. Необходимо пойти к нему сейчас, когда она увидит его, она найдет нужные слова.

Роуз подошла к зеркалу на туалетном столике и взглянула на свое спокойное, бестревожное лицо с широко раскрытыми глазами, которые Маркус Филд назвал «бесстрашными». Слегка припудрила нос и прошлась щеткой по волосам, золотистым своим волосам, уже начавшим седеть. Оправила подол длинного платья. Потом вышла из спальни, быстро и бесшумно спустилась вниз. Кругом горел свет. Постояла в холле, прислушиваясь. Тишина. Зашла в гостиную. Все лампы включены, но гостиная пуста, стулья стоят как попало, кругом грязные бокалы и кофейные чашки, ярко полыхает огонь, на камине пустая бутылка из-под виски. Роуз придвинула решетку ближе к камину, бросила бутылку в корзину для бумаг, чашки и бокалы трогать не стала, выключила свет в гостиной и в холле, скользнула обратно наверх и пошла по площадке. Из-под двери Джерарда пробивался свет. Она прокралась

поближе и прислушалась. Тихо. Легонько постучалась, услышала голос Джерарда, сказавший: «Входите!» — и открыла дверь.

Дженкин и Дункан сидели на кровати Джерарда, а сам он, опустившись на колено, шарил в чемодане. При ее появлении все вскочили.

— Роуз, дорогая! — вскричал Джерард. — Ты наш ангел-спаситель! Я думал, что привез с собой бутылку виски, да вот не могу найти ее! Будь добра, дорогая, принеси нам бутылочку, хорошо?

Прочитанное в тот вечер Гулливером стихотворение Хаусмана о том, что «той, что мне приснится, не буду сниться я», могла бы, заменив лишь «той» на «тому», зачитать и Роуз, поскольку Джерард, оставшись один, конечно же, не думал о ней, он думал о Дженкине.

Дженкин и Дункан убрались восвояси, и Джерард сидел на кровати. Он чувствовал, что пьян как никогда. Дункан был даже пьяней, но для того это было привычное состояние и он крепко прикладывался весь день. Пока они оживленно спорили, ему удавалось сохранить совершенную ясность речи, но идти прямо он уже не мог и покинул спальню Джерарда с помощью Дженкина, обхватив того за шею. Дженкин, явно пьяный по крайней мере не меньше Джерарда, сохранил

ясность ума, свежесть, его мальчишеский румянец не шел ни в какое сравнение с багровым лицом Дункана и чуть менее пылавшим лицом Джерарда. Спор шел, конечно, не вокруг каких-то личных дел, но о причинах поразительного успеха христианства в четвертом веке от Рождества Христова. Надеюсь, они не слишком галдели, подумал Джерард, сконфуженно трогая пылающую щеку.

Прошлой ночью Джерарду снился отец. Он сидел за рабочим столом, и Джерард стоял перед ним. На правой руке отца была большая кожаная рукавица, какими пользуются соколиные охотники. В мозгу всплыло слово «путы», и он подумал: а где же соколиные путы? Мрачно глядя на него, отец сунул руку в ящик стола, достал что-то, завернутое в газету, и протянул Джерарду со словами: «Он мертв». Джерард с ужасом подумал, что речь идет о мертвой птице. Начал теребить сверток и наконец развернул его. Внутри оказался не мертвый сокол, а маленький живой кролик. Он сунул кролика под пальто, где тот уютно устроился, грея его своим теплом. Подняв глаза, он увидел, что отец многозначительно протягивает ему руку в рукавице. Стянул рукавицу — и с ужасом увидел, что рука отца вся в крови, с нее содрана кожа. И

тут же понял, что ошибся: кролик был не живой, но мертвый. Джерард проснулся совершенно разбитый. Он подумал о Жако, расправляющем крылья и смотрящем на него умными добрыми глазами, и все его детские мысли о том, «где Жако сейчас», с болью вернулись к нему. Он вспомнил грустный душераздирающий взгляд отца, который перед смертью иногда появлялся у него на секунду. Отец боялся смерти. В одиннадцать лет Джерард представил себе, как он умрет. Сейчас у него было ощущение, будто нечто вроде смерти тянется к нему и касается своей черной рукавицей. Расставания, завершения, все дорогое, что ушло навсегда.

Он ожидал, что в Боярсе почувствует себя счастливым. Это «предвкушение», в отношении «удовольствия», заставило его понять, как в последнее время ему не хватало счастья. Не значило ли это, что он привык быть счастливым, считал подобное состояние само собой разумеющимся, даже своей привилегией? Конечно, он еще скорбел по отцу. Но его постоянно разворачивало к противоположному, от полноты к пустоте. Он что-то утратил в мире, утратил безграничную любовь отца. Теперь отцовское присутствие выражалось в безликой боли, и он не мог не связать

эту боль с умершим. Лежа сейчас в утреннем мраке (было уже около семи, но по-прежнему тьма кромешная), Джерард задумался о Краймонде, будто Краймонд тоже был частью сна. Он не помнил, чтобы тот ему снился, и надеялся, что это не происходит сейчас. Он, конечно, нервничал из-за предстоящей встречи с ним. Боялся, хотя не признавался в этом другим, что Краймонд «скверно» поведет себя. В ожидании встречи он понял, как в действительности мало знает о нынешнем Краймонде, это будет встреча незнакомцев. Многие годы они просто избегали друг друга, как два белых медведя. (Эту историю, ставшую легендой, рассказывал Синклер, который слышал ее от человека, побывавшего в Арктике. Тот видел, как два полярных медведя медленно шли навстречу друг другу с разных концов огромной пустынной льдины. Поравнявшись, они неторопливо и не обращая друг на друга внимания разошлись буквально бок о бок и потопали дальше.) Однако Джерард не думал, что случится нечто, с чем он не справится, и уж он позаботится, чтобы встреча была соответствующе недолгой и небезрезультатной.

Сидя сейчас в одиночестве на кровати после вчерашней попойки, Джерард поначалу корил

себя за Дункана. Здесь, в Боярсе, находясь с ним рядом, он понял, насколько ужасно душевное состояние Дункана, почуял его смятение и горе. Но ни разу со времени того короткого и делового разговора о письме адвоката не предложил поговорить откровенно, как близкие друзья. Ждал ли Дункан такого предложения, пусть и не показывая этого? Большинство любопытствующих, в том числе некоторые коллеги Дункана и бывшие коллеги Джерарда, которым было известно об этой интересной истории, похоже, ожидали, что Джин вернется с повинной головой и снова сделает Дункана счастливым. Джерард, который чурался пересудов, даже самому себе не позволял рисовать конкретные картины, ни отвратительные, ни радужные будущего своих незадачливых друзей. Он, конечно, не считал само собой разумеющимся, что или Джин вернется, или Дункану лучше будет уйти, если это случится. Был ли Дункан когда-либо счастлив после ирландской истории, после первого возвращения Джин? Он вряд ли способен дать Дункану совет, но, может, пора все-таки еще раз поговорить. Это его долг. Да только ведь Дункан уезжает завтра с утра. Ладно, они увидятся в Лондоне. По правде сказать, оглядываясь на прошедший вечер более

трезвым взглядом, Джерард думал, что Дункану, возможно, не нравилось присутствие Дженкина и он пытался телепатическим образом дать ему понять, что хочет остаться с ним вдвоем, и Дженкин, уловив это желание, тут же заявил, что устал, и стал собираться, однако Джерард, желавший, чтобы ушел Дункан и можно было бы поговорить с Дженкином, его остановил.

В отношении Джерарда к Дженкину, долгое время ровном, наступил критический момент. И причины этого были непонятны. Возможно, это было как-то связано со смертью отца, с внезапным отсутствием людей, которые любили бы его так же беззаветно, с предчувствием одиночества, когда не останется таких мест, где при его появлении все засияли бы от радости. Более рациональным объяснением было то, что Джерард боялся, что Дженкин собирается уехать. За обедом он с напускной, как показалось Джерарду, небрежностью заявил, что планирует провести Рождество за пределами Англии. Разве он не понимал, что впервые за многие годы Джерард будет в рождественские праздники в Лондоне? Джерард уже некоторое время назад чутьем уловил в своем друге некое глубокое беспокойство, словно Дженкин глядел через его плечо

на нечто очень далекое. Конечно, Дженкин ничего не говорил Джерарду ни о каких, хотя бы неопределенных, планах отъезда, а перепуганный Джерард не спрашивал его об этом. Но не мог не отметить его интерес к «новой теологии», разговоры о «бедняках», увлечение португальской грамматикой. Вспыхивали разные мысли: Дженкин покинет их, уедет, отправится в Южную Америку и его там убьют. Но он не должен уехать, говорил себе Джерард, если уедет, он поедете ним, он не может без Дженкина. Вот в таком состоянии был сейчас Джерард. Как же подобное состояние называется?

Что с ним происходит, спрашивал себя Джерард, его бросает то в жар, то в холод, трясет, руки дрожат. Он никогда не говорил отцу о том, как сильно его любит. Если бы Дженкину предстояло умереть, он теперь сказал бы ему. Наверно, все очень просто. Он знает Дженкина больше тридцати лет, так откуда это внезапно нахлынувшее чувство? Он любит этого человека, но разве в этом есть что-то особенное, что-то новое, из-за чего следовало бы так волноваться. Он понимал, что Дженкин мог причинить ему ужаснейшую боль, если они поссорятся, если тот уедет, если умрет. Такую власть Дженкин имеет над ним.

Джерарда вдруг поразила мысль: неужели он действительно влюбился в своего старинного друга, неужели такое бывает? Возможно, смерть обостряет чувства, возможно, это все пройдет. Но он должен оберечь Дженкина; защитить, заставить его остаться, не позволить уезжать. Но как убедиться, что он не уедет? Просто нужно сказать, что он нужен ему, заключить с ним договор, Дженкин должен пообещать остаться с ним. Нужно видеться с ним чаше, намного чаще теперь, когда случилось такое, или понять, что это чувство он испытывал всегда, только сейчас оно обострилось. Или дело в том, что он стареет, или познал наконец, что время и смерть — это реальные вещи? Нет, он не чувствует себя старым, напротив, это странное волнение заставляет его чувствовать себя моложе. Господи милосердный, неужто он и правда влюблен?

Должно быть, он пьян, говорил себе Джерард, пьян. Вряд ли утром что-то изменится, но он малость придет в себя. Действительно, как он скажет все это старине Дженкину? Тот решит, что он рехнулся, будет в замешательстве, передернется от отвращения. Если даже и виду не покажет, все равно будет понятно, что он расстроен или раздражен. Это может повредить их дружбе, по

крайней мере омрачит ее, и всегда будет казаться, что Дженкин избегает его, так что он будет как в аду. Предположим, Дженкин станет холоден с ним. Нет, это ужасно рискованно. Тогда ему предстоят годы и годы одиночества — и Дженкину, может, тоже одиночество навсегда. Удивительно, что он знает Дженкина не так уж и хорошо, они никогда не были настолько близки, просто неясно, как он отреагирует. Пожалуй, лучше будет ничего не говорить.

Все собирались идти в церковь, кроме Гулливера, Лили и Дункана. Больше того, Дункан вообще уже уехал, сразу после завтрака, очень рано. Никто, кроме Роуз, не видел, как он уходил. За воскресным завтраком Роуз, как всегда это делала, объявила друзьям, что никто не обязан идти в церковь. Она идет с Аннушкой, потому что так привыкла, бывая в деревне, но остальным идти нет необходимости. Джерард и Дженкин, как обычно, сказали, что идут с ней, и Тамар присоединилась к ним. Гулливер и Лили сказали, что прогуляются до леса, а потом пойдут по Римской дороге в деревню, посмотреть, что представляет собой «Пайк». Договорились, что все встретятся в пабе.

Гулливер и Лили были в довольно смешливом

настроении. Прошедшая ночь не принесла им того, на что они надеялись и чего ожидали. Едва они оказались в постели и после уж каких-то совершенно вялых прелиминариев, оба провалились в глубочайший пьяный сон и очнулись как раз вовремя, чтобы успеть к завтраку. Лили нашла это невероятно забавным. Гулливер, сперва обескураженный от подобного позора, в конце концов тоже счел это смешным.

Утро было солнечным, небо синим и почти без облачков. Комнаты полны света. Все смотрели в окно и удивленно восклицали, показывая друг другу на сверкающий снег и тающие сосульки. Высказывались за то, чтобы слепить снеговика. Лужайки были испещрены следами, а Гулливер и Дженкин выскочили после завтрака в сад и бросались друг в друга снежками. Роуз уже совершила путешествие к кухонному окну, в которое можно было увидеть стайку дроздов-белобровиков, толстых пушистых птиц, крупнее обычных дроздов, с красной грудкой, пестрой шейкой, маленькой бесовской головкой и острым крепким клювом, которые облепили куст кизильника и жадно клевали ягоды.

Все слонялись по дому, не зная, куда себя деть. Тамар в воскресном темно-коричневом платье

из вельветина сидела у окна в библиотеке с «Гэндзи» на коленях, созерцая свои стройные ноги в коричневых чулках, иногда вставая, чтобы пройтись взглядом по корешкам книг. Джерард забрел в бильярдную, где бильярдный стол с побитым молью сукном был накрыт брезентовым чехлом, и поставил пластинку с первой симфонией Малера. Ему нравилась меланхоличная безнадежность, звучащая в ее второй части. Музыка, хотя он и приглушил звук, была отдаленно слышна и в гостиной, где Лили, скинув туфли и забравшись с ногами на диван, раскладывала пасьянс. Гулливер, промочив ноги в саду, поднялся в свою комнату сменить носки и обувь и взглянуть на себя в зеркало. Он был в свободном темно-сером кардигане, в рубашке в серо-синюю полоску, темно-лиловом галстуке и серых брюках в крохотную черную клеточку. По темно-лиловому фону галстука шел неброский розовый узор. Он решил, что, поскольку не идет в церковь, такой наряд сгодится. Он пригладил волосы и принял мрачный вид. Дженкин, надев по случаю похода в церковь свой лучший костюм, зашел в библиотеку и уселся рядом с Тамар, рассчитывая, что та захочет поболтать с ним. Раскрыл свою «Оксфордскую антологию испанской поэзии» и

прочитал сонет, посвященный «Христу Распятому», который очень ему нравился. Посмотрел на Тамар, которая почувствовала себя неуютно под его взглядом. Когда она резко захлопнула свою книгу, он поспешил ретироваться. Пошел наверх, надел пальто и сапоги. Очень хотелось одному походить по снежку, и он решил незаметно исчезнуть. Джерард теперь слушал Гайдна. Дженкин сказал Роуз, которая с Аннушкой пекла на кухне пирог с патокой, что хочет прогуляться и присоединится к ним в церкви. Он вышел через парадную дверь. Тут на кухню заглянул Джерард и был раздосадован, узнав, что Дженкин ушел. Роуз сказала, что через три четверти часа они отправляются в церковь. Гулливер появился в гостиной и напомнил Лили, что они собирались пойти в лес поискать мегалиты, но та сказала, что передумала и хочет остаться у камина. Джерард нашел Тамар и повел ее показать дроздов-белобровиков, которых она еще не видала, но те склевали все ягоды и улетели.

— Тебя, Бога, хвалим, Тебя, Господа, исповедуем. Тебя, Отца вечного, вся земля величает. Тебя ангелы и архангелы, Тебя небеса и все силы, Тебя херувимы и серафимы непрестанно воспевают:

Свят, Свят, Свят…[79]

Наезжавшие в Боярс Роуз и ее друзья по воскресеньям обычно занимали вторую скамью, которую деревенские оставляли свободной для них, если было известно, что Роуз явится «с компанией». В этот день они расположились в следующем порядке: Джерард, за ним Роуз, дальше Аннушка, Тамар и Дженкин, пришедший первым. Для деревенской церкви, расположенной в отдалении от селения, народу было не так уж мало; то есть вместе с компанией Роуз человек двадцать. Летом, когда пройтись до храма было одно удовольствие, к вечерне обычно собиралось больше. Гимны пели под старенькую фисгармонию. Хора не было. Церковь, сооруженная в тринадцатом веке и ничем особенным не примечательная, сохранилась относительно хорошо, за исключением потери несколько веков назад верхнего ряда окон и нескольких, теперь неведомо каких, «изваяний». Большое «декорированное» восточное окно, в которое сейчас лился снежный и солнечный свет, было с обычным стеклом, в остальных окнах сохранились свин-

**[79] Примечания: 79**

«Te Deum» («Тебя, Господи, хвалим») — старинный христианский гимн IV–V вв., авторами которого считаются Амвросий Медиоланский и Блаженный Августин.

цовые переплеты и зеленые и розовые стекла, в западной части располагалась зубчатая башня с шестью колоколами. Внутри церковь, в которой отсутствовали поперечные нефы, притворы, колонны или боковые приделы, напоминала огромное обветшалое неприбранное помещение с побеленными стенами. Зимой, несмотря на три больших парафиновых обогревателя, в ней было к тому же очень холодно. Взгляд привлекали несколько замечательных мемориальных досок восемнадцатого века с надписями скупым, решительным норманнским шрифтом и низко стоящая каменная кафедра, нищенски тесная и так притиснутая к стене, словно какой-то бес пытался уволочь ее из церкви и едва не преуспел в этом. Передние скамьи были семнадцатого века, с замечательными резными флеронами на спинках. При этих скамьях, в отличие от задних, эдвардианской эпохи, были чудесные низенькие скамеечки для коленопреклонения, на которых лежали подушечки, расшитые деревенскими женщинами старшего поколения. Роуз удивлялась, почему такие прелестные вещи не украли, ведь церковь в соответствии с убеждениями отца Макалистера никогда не запиралась. Наверное, потому, что люди, достаточно безнравственные,

чтобы красть из церкви, были лишены чувства красоты. В алтаре из стены выступали фигуры каменных ангелов, вероятно, стража, оберегающая каменную кафедру, чтобы ее не уволок дьявол. Видно было, что изначально они были раскрашены, но предшественник отца Макалистера перекрасил их в сомнительные цвета. В нефе смутно проступали остатки фресок, изображавших сцену воскресения, видны были люди, восстающие из могил. Рядом шла более ясная, но такая же старинная надпись: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Матфей 7:7». Надпись тоже была бесцеремонно подновлена предыдущим пастором, к негодованию местных жителей и Роуз, которая считала, что подобным вещам нужно позволить спокойно ветшать.

Отец Макалистер поднялся по двум ступенькам на кафедру, встал спиной к стене, лицом к немногочисленной пастве, которая вежливо повернулась к нему, притоптывая замерзшими ногами, с которых на каменный пол сыпался снег. Отец Макалистер был высок, но сейчас весь сгорбился от холода, руки спрятаны под сутаной, голова ушла в плечи. Она была у него поразительная: крупная, с жесткими темно-русыми волосами с

проседью, вздымавшимися над высоким лбом, свирепым очертанием губ и темными властными глазами, которые сейчас неотрывно смотрели на скамью, где сидели друзья Роуз. Джерард, все мысли которого были о Дженкине, вздрогнул от оглушительного голоса отца Макалистера и прислушался к его темпераментной речи:

— Гордого очами и надменного сердцем не потерплю! Так говорит Господь, Бог наш. Что же еще говорит Бог? О, слушайте! Он говорит, что Он близок к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет — сердца сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. Блаженны плачущие, ибо они утешатся, блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Благодать Божия, о друзья мои, будет на униженных, на угнетенных и постыженных, но на надменных обрушит проклятие Божие и унизит их. Бог ненавидит высокомерие и поражает его — высокомерие этого века грубой силы, высокомерие машин, власть материальных благ, власть угнетателей, кои повсюду с нами, — высокомерие тех, кто владеет богатством, высокомерие тех, кто думает, что образование и интеллект возносят их недостижимо. Как горько они заблуждаются и как велико будет их падение! Господь не с ними, Господь с

бедными, с сокрушенными сердцем, кто в смиренных слезах познает, что они ничто. О да, грех требует наказания, грех сам по себе наказание, но в страхе нашем и в посрамлении нашем есть самое действие благодати. Пред лицем Божьим наша душа трепещет, как мотыльки в огне, но в страхе Господнем есть начало мудрости и осознание греха, и только лишь это одно, мои дорогие друзья, способно открыть наши слепые глаза и очистить наши почерневшие души. Грех оскверняет светлый образ Божий, и так грешник может почувствовать, что он не знает Бога, даже и что Бога нет. Но, пребывая во грехе, ждите терпеливо в сознании, в истине и в вере и взывайте к Духу Святому: «Гряди, Господи! Гряди, Господи!» И Он непременно приидет. И вот Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Духу Святому воздаем мы славу и весьма справедливо по Его могуществу, величию, власти и силе, ныне и вовеки. Аминь.

— Думаешь, он метил в нас? — спросила Роуз Дженкина, когда они вышли наружу.

— Да!

— Это наглость, делать подобные намеки, даже если он прав, — заметил Джерард.

— Он тут, наверное, не слишком популярен? — предположил Дженкин.

— Напротив! Прошлым летом послушать его приходили даже из соседнего прихода.

— Мазохизм всегда был одной из притягательных черт христианства, — пробурчал Джерард.

— Он не кажется образованным, — сказала Роуз, — но очень красноречив и искренен. Сначала я подумала, что он просто пустомеля. Он сильно отличается от мистера Амхерста!

— Мне понравилось! — заявил Дженкин. — А тебе, Тамар?

Они спели «За тех, кто в море грозовом», всегда вышибавшую слезу у Роуз, после чего Роуз принялась болтать с мисс Марджоли, с Джулией Скроптон, которая играла на фисгармонии, с племянницей Аннушки, Мейвис, которая была обручена и скоро выходила замуж, и мистером Шеппи, который должен был прийти в понедельник проверить канализацию. Священник не появлялся.

Снаружи церковь выглядела столь же непритязательно, что и внутри, украшенная лишь выступами в виде фантастических голов, но место, где она стояла, было прекрасно: на небольшой возвышенности, окруженная березами, при ней было кладбище со старыми надгробиями от семнадцатого до девятнадцатого века. Дом

священника был снесен, и отец Макалистер жил в небольшом современном доме в деревне.

Они условились, что возвращаться будут длинной дорогой через деревню, чтобы присоединиться к Гулливеру и Лили в «Пайке», даже выпить там, а ланч съесть холодным в любое время, когда заблагорассудится. Приходские, все до одного знакомые Роуз, вразброд двинулись к деревне, а Роуз и ее гости задержались, чтобы полюбоваться видом старых деревенских домов, частью Римской дороги, крышами Боярса и высоким лесом в снежном убранстве за ними. Все поспешно снова надели пальто, перчатки, шарфы и (кроме Джерарда) головные уборы. Тамар надела маленькую, плотно сидящую на голове фетровую шляпку. Она не ответила на вопрос Дженкина о проповеди, может, не слышала. Солнце сияло по-прежнему, снег приятно скрипел под ногами; они шагали к деревне: впереди Роуз под руку с Аннушкой, следом Джерард и Дженкин с Тамар между ними.

Не успели они далеко отойти, как услышали позади торопливый топот: отец Макалистер. Они остановились, поджидая его.

Священник снял свое облачение и надел пальто. Он бежал, придерживал одной рукой длинные

полы сутаны. На голове торчал черный берет. Он выглядел сейчас моложе, раскрасневшийся от морозца, слегка небритый. Подбежав, он остановился и протянул к ним голые ладони, словно прося извинения или желая благословить их. Твердым властным голосом с легким шотландским акцентом он обратился к Роуз:

— Мисс Кертленд, извините — но не могли бы вы представить меня этой юной особе?

Не оборачиваясь к Тамар, он указал на нее.

Удивленная Роуз ответила:

— Да, конечно. Знакомьтесь: мисс Херншоу. Тамар, это отец Макалистер.

Священник продолжал, все так же не глядя на Тамар:

— Не возражаете, если я поговорю с мисс Херншоу несколько минут — то есть если она согласится?

Роуз, раздраженная неожиданной задержкой и желая оберечь Тамар, сказала:

— Видите ли, мы должны сейчас встретиться с друзьями…

Но тут вмешалась Тамар:

— Я пойду с ним. Вернусь к ланчу, вы меня не ждите… я не надолго.

Она повернулась и пошла обратно к церкви.

Священник последовал за ней.

— Нет, правда! — возмутилась Роуз. — Что все это значит? Нахальство какое! Чего ему надо от нее?

— Он видел ее лицо, — сказал Дженкин. — И заметил, ее что-то мучает.

— Его это не касается! Он только расстроит ее!

Роуз была возмущена и обеспокоена. Она понимала, что Тамар нездорова, и пыталась помочь ей. Теперь вот этот назойливый пастор увел ее.

— Я подожду ее здесь, — сказала Роуз.

— Лучше будет, если она пройдется домой одна, — предложил Дженкин.

Поколебавшись, они продолжили путь к деревне. Подойдя ближе, они увидели Лили и Гулливера, которые шли навстречу, скользя на утоптанном снегу.

Тамар первой вошла в церковь и уселась на прежнее место, отец Макалистер подошел и уселся рядом, глядя на нее. Снял берет и пальто.

— Не хотите освободиться от пальто?

Тамар не стала раздеваться, только расстегнула пуговицы пальто, сняла с головы маленькую синюю фетровую шляпку с узкими полями и взглянула на отца Макалистера пугливыми зелеными глазами с карими крапинками. Потом

провела рукой по коротким шелковистым волосам, отводя их назад, и спросила:

— Так зачем вы меня позвали?

— Здесь нет никого, — заговорил священник. — Мы здесь одни. Не считая Божественного Присутствия.

— Что вы хотели мне сказать?

— Ты пребываешь в скорби. Выглядишь так, будто оплакиваешь кого-то. Потеряла любимого человека?

— Нет.

— Тогда что же?

— С какой стати я должна вам рассказывать?

— Я слуга Божий. Говоря со мной, ты говоришь с Богом.

— Я не верю в Бога.

— Осторожнее со словами, — сказал отец Макалистер. — Мы в присутствии того, что свято, Христа распятого и Христа воскресшего. Христос спасает — это реальность нашей жизни. Познала ли ты Христа ребенком?

— Нет. Только… ну… в школе… но, нет…

— Ты крещена, проходила конфирмацию?

— Нет, моя мать не любит всего этого, относится с неодобрением. Не понимаю, почему вы…

— Отринь гордыню, дитя, я ничто, слуга, ин-

струмент, раб. Но я и нечто, орудие любви. Ты нуждаешься в любви. Вера не важна. Важна нужда. Скажи мне твое имя, я не расслышал, когда мисс Кертленд произнесла его.

— Тамар.

— О, библейское имя!

— Меня назвали по какой-то реке.

Эту мысль заронил в голову Тамар один из учителей в младших классах.

— Я хочу, чтобы ты, независимо от того, что тебя мучает, обратилась ко Христу, Христу живому, который более реален для нас, нежели Бог, ближе к нам, нежели Бог, ближе к нам, нежели мы сами к себе…

— Спасибо, — сказала Тамар, — знаю, вы желаете мне добра, и я благодарна вам за вашу сердечность. Я вас услышала. А теперь мне пора идти.

Она собралась было встать, но отец Макалистер неожиданно крепко стиснул ее запястье и удержал на месте:

— Я хочу, чтобы ты знала: у тебя есть Спаситель, для которого нет ничего невыполнимого. Возможно, ты нуждаешься в прощении. В исцелении. Обратись к безграничной совершенной любви, которая исцеляет и прощает. Преклони

колени, Тамар.

Тамар опустилась на мягкую красивую расшитую подушечку, которые так нравились Роуз. Едва она почувствовала на своей руке жесткую хватку священника, глаза ее наполнились слезами. Теперь они неудержимо покатились по ее щекам, и она зарыдала.

Отец Макалистер ослабил хватку, упал на колени рядом с ней и начал молиться, воздев очи к яркому свету:

— Господи Иисусе Христе, владыка и повелитель, судья милосердный, податель покоя, коего мир дать не может, который исцеляет скрытное сердце и берет на себя грех тех, кто с искренним покаянием обращается к Тебе и припадает, истомленный и сокрушенный, к благословенным стопам Твоим…

Он внезапно замолчал, и в наступившей тишине слышалось лишь рыдание Тамар. Та закрыла лицо ладонями, и слезы бежали между пальцев, по запястьям и капали на пальто. Заговорщическим тоном он прошептал:

— А теперь… расскажи мне все!

Уронив голову и продолжая плакать, она заговорила. И среди того, что Тамар рассказала священнику в залитой светом солнца и снега

церкви, было то, что она беременна.

~~~

— Как отец? — спросил Краймонд.

— Он умер, — ответил Джерард.

— Ох, прости, очень сочувствую.

— Прошлым июнем. Рак. А как твой?

— Держится. Он старше твоего, насколько помнится. Сердце пошаливает.

— Извини…

— Я помню твоего отца, в Оксфорде встречались, а потом в Лондоне. Он был очень добр ко мне.

Джерард не мог припомнить, чтобы Краймонд встречался с его отцом, но, очевидно, было такое.

Краймонд проследовал за Джерардом в столовую. Был четверг, десять утра, и Краймонд явился точно в оговоренное время, чтобы дать «объяснения». День был сумрачный, снег на улицах Лондона сошел.

Поразмыслив, Джерард решил, что они разместятся в столовой, поговорят, сидя за столом. Это все же как-то по-деловому, без расслабленности, тут темней, но более уединенно. Он было хотел разложить бумагу, ручки, как для заседания комитета, но это показалось нелепым. Так что на
~~~

блестящей лакированной поверхности обеденного стола ничего не было. Придвинул два стула, поставив их с одной стороны недалеко друг от друга, остальные остались у стены.

Вчера вечером Джерард был разозлен, когда, придя домой из Лондонской библиотеки, увидел, что Гидеон и Патрисия, только что вернувшиеся из Венеции, затеяли развешивать рождественские украшения и начали со столовой. В свете двух ламп, которые он поставил в столовую, сверкали замысловатые красные гирлянды, блестели зеленые с алым венки из остролиста, нацепленные там и тут на рамы японских картин. Патрисия просила его привезти веточки остролиста из Боярса, но он забыл об этом, и она купила их в «Харродзе». Он мимоходом упомянул, чтобы потом, когда они узнают об этом, не было суеты, что к нему придет Краймонд по делу и чтобы им не мешали. Конечно, Пат и Гидеон очень заинтересовались, но не выказали намерения присоединиться, что было бы катастрофой. Роуз, естественно, нелепо нервничала из-за предстоящей встречи и в конце концов заставила нервничать и Джерарда. Он сказал ей, что отводит на разговор с Краймондом примерно час времени, что с вопросом, достаточно простым,

они покончат даже еще раньше, так что она, если хочет, может позвонить ему после одиннадцати. Джерард решил ограничиться по возможности легкой беседой. Краймонду было послано приглашение, в котором Джерард дал понять, что не стремится к выяснению отношений, а хочет просто задать несколько вежливых вопросов и будет удовлетворен, получив даже не слишком конкретные ответы. Все это устраивается лишь, как выразился Дженкин, «для проформы».

Появление Краймонда смутило его больше, чем он ожидал. В холле они обменивались замечаниями о погоде, пока Краймонд снимал пальто и разматывал шарф. В столовой, стоя у стола, обсудили сложности парковки. Потом, после короткой паузы, Краймонд спросил Джерарда об отце.

Они уже довольно давно не встречались лицом клицу. Джерард тщательно побрился, надел бутылочного цвета жакет, аккуратно причесался и глянул в зеркало: не сильно ли постарел, и решил, что не очень. Краймонд выглядел постарше его. Та блистательная танцующая фигура на памятном летнем балу, которую Дженкин сравнил с Шивой, сейчас казалась чем-то иным, чем-то, являющимся в видении, квинтэссенцией Край-

монда. Человек, стоявший перед Джерардом в тускло освещенной столовой, выглядел усталым, потрепанным, обойденным жизнью. Румянец, а может, веснушки сошли с бледных щек. Однако же он был так же строен и прям, отросшие волосы так же ярко-рыжи и волнисты, кожа гладкая, если не считать морщинок вокруг глаз. А глаза, несмотря на вежливую речь, глядели твердо и настороженно. Он был опрятно одет, чисто выбрит, при галстуке, хотя его пиджак и рубашка поношенные, а на локтях пиджака свежие заплаты.

— Присаживайся.

Джерард показал на стул. Он заранее решил, где каждый из них разместится. Они сели.

— Помнится, эти картины я видел у тебя в квартире в Челси, — сказан Краймонд. Ту квартиру Джерард делил с Синклером. — И, думаю, в другой квартире…

— Да. Там были некоторые. С тех пор я приобрел еще несколько.

Краймонд достал из кармана блокнот и ручку и положил перед собой. Потом выжидательно посмотрел на Джерарда. В этот момент они, наверное, должны были бы улыбнуться, но их лица оставались серьезными. Краймонд слегка сморщил длинный нос. Джерард чувствовал себя не в

своей тарелке, скованно. Наконец он сказал:

— Очень любезно с твоей стороны, что откликнулся на мое приглашение.

— А ты был очень любезен, что пригласил меня.

— Как я объяснил в письме, мы просто поговорим о книге.

— Хорошо.

— Как она продвигается?

— Замечательно.

— Она уже закончена?

— Нет.

— Еще пишешь?

— Конечно.

— Дело просто в том… как бы это сказать, мы чувствуем, некоторые из нас чувствуют, что неплохо было бы услышать нечто вроде отчета о том, как развивается книга, прояснилась ли тема…

Краймонд поднял брови:

— Тема все та же — политика. Ничего не изменилось.

— Да, но… какого сорта политика? Я о том, что ты всегда придерживался довольно крайних взглядов, и — особенно в свете того, что книга такая большая, — нам хотелось бы знать… мы

подумали, что она могла бы быть более аналитической и менее… менее подстрекательской…

— О да, — скучным голосом проговорил Краймонд, словно Джерард выразил его собственные сомнения.

— Это не революционная книга?

— Нет, конечно.

— Я о пропаганде насилия и…

— Слушай, — сказал Краймонд, — кто такие эти «мы»? Ты говоришь: «мы чувствуем» да «мы подумали».

— Я имею в виду комитет.

— Кто сейчас в комитете?

— Только я, Дженкин, Роуз и Гулливер Эш. Мой отец, естественно, выбыл.

— Почему Гулливер Эш?

— Мы кооптировали его в состав.

— Вы не говорили мне.

— Извини. Наверное, следовало сказать, но мы не сочли, что это так уж необходимо…

— Понимаю. Слушай, Херншоу, дело не в деньгах? Вы не желаете продолжать платить мне?

— Нет, — ответил Джерард, — дело не в деньгах!

— Или все вы чувствуете, что теперь я не нуждаюсь в вашей поддержке?

До Джерарда не сразу дошло, что имеет в виду Краймонд, настолько нелепым было предположение.

— Нет, мы так не думаем!

— Я не пользуюсь ничьими деньгами, кроме ваших!

Бледное лицо Краймонда вспыхнуло, и он приложил ладонь к щеке.

Джерарду не хотелось упоминать имени Джин, но надо было уверить Краймонда, что никто из них не считал, что Краймонд теперь богат!

— Ну конечно. Мы ни на секунду… уж этого-то мы не…

— Так если речь идет о ваших собственных деньгах, почему это должно прекратиться… чувствуете, что просто не в состоянии помогать мне дальше?

— Нет, мы в состоянии, и мы будем…

— Но тогда о чем идет речь, не пойму?

— Краймонд, просто подумай… ты год за годом пишешь эту книгу, а мы не знаем, что ты там пишешь! В определенном смысле мы в ответе за нее, люди решат, что ты написал ее по нашему заказу, что мы разделяем твои идеи!

— Нет, вы мне ее не заказывали.

— Совершенно верно, но, видишь ли…

— Наверное, вам надо было подумать об этом раньше.

— Ну, мы думаем об этом сейчас.

— Не понимаю, чего ты полагаешь добиться этим допросом, — задумчиво проговорил Краймонд. — Вы согласились финансировать работу над книгой — да, работа затянулась. Ты говоришь, дело не в деньгах. Тогда не вижу, какие у тебя могут быть претензии к книге, разве что ты против нее или считаешь ее никудышной. Воображаешь, я готов переделать ее в угоду тебе, Роуз и Дженкину?

— Нет!..

— Говоришь, что хочешь знать, о чем она, но бессмысленно мне пытаться рассказывать о ней сейчас, слишком много там всего.

Господи, подумал про себя Джерард, да это просто полный провал. Конечно, идея подобной встречи была совершенно идиотской, о чем он и предупреждал. Надо придумать, как закончить этот нелепый разговор, не потеряв лица.

— Мы не намерены вмешиваться, Краймонд.

— Рад слышать.

— Просто хотим…

— Перестраховаться?

— Будем исходить из того — и я хотел бы иметь

возможность сказать это остальным — исходить из того, что это… должен быть… попросту говоря… некий серьезный философский труд, а не призыв к оружию! Я имею в виду, что книга ведь не будет походить на тот знаменитый памфлет о вечной борьбе?

Краймонд, задумчиво хмурясь, смотрел на Джерарда холодным взглядом:

— То было краткое изложение позиции.

— Памфлет — да… но, полагаю, направленность книги будет иной… я о том, что твои тогдашние политические взгляды были довольно крайними и наивными… нам всем когда-то были свойственны бескомпромиссность и наивность… может, мы изменились раньше тебя… но теперь…

— Но теперь ты думаешь, что мои политические убеждения должны быть такими же, как твои, Дженкина и Роуз?

— Я не говорю, что в точности такие же! Я о сути.

— Поясни.

— Ты веришь в парламентскую демократию?

— Нет.

— Как ты относишься к терроризму?

Краймонд по-прежнему не сводил холодного взгляда с Джерарда. Потом сказал:

— Мой дорогой Херншоу, так у нас ничего не получится, если хочешь продолжить, давай как-нибудь иначе.

— Пожалуй, продолжать нет необходимости. Ты говоришь, что не веришь в демократию, и не ответил на вопрос о терроризме. Этого достаточно, чтобы ясно было…

— Что вы не можете чувствовать себя застрахованными.

— Послушай, извини, что попросил тебя прийти. Конечно же, что тут обсуждать. Мы обещали тебе поддержку и будем ее оказывать, и ты совершенно прав, указав, что нам теперь не на что жаловаться! Не задерживаю тебя. Еще раз извини.

Джерард привстал, но, поскольку Краймонд не двинулся с места, сел обратно. Краймонд сказал:

— Ты хочешь знать, о чем книга. Я готов что-то рассказать. Можно бы и подискутировать.

Джерард колебался. Он было нашел, как достаточно мирно и с достоинством разрешить неприятную ситуацию. Действительно ли ему хочется поговорить с Краймондом?

— Хорошо, давай.

Краймонд уселся поудобней:

— Ну так начинай, задавай свои вопросы.

— Ты сказал, что не веришь в парламентскую демократию. Почему?

Краймонд раскрыл блокнот и подался вперед. Помолчал и сказал:

— Преждевременный вопрос. Сейчас не могу на него ответить, может, позже. Попробуй другой.

— Ты входишь в какую-нибудь политическую партию?

— Нет.

— В комитет, группу влияния, тайное общество, боевое крыло, ну и тому подобное?

— Будь это что-то тайное, вряд ли бы я сказал тебе… но нет, я не вхожу ни в какую подобную группу.

— Одинокий волк?

— Да — в настоящее время.

— Но входил?.. Почему вышел?

— Из-за книги. Не хотел терять время на споры с людьми, которые ничего не понимают.

Джерард начал успокаиваться. Все в порядке, говорил он себе, не о чем волноваться, это и впрямь философская книга, безвредный теоретический труд. Зря мы так суетились.

— Значит, это аналитическая книга?

— Разумеется.

— Ты по-прежнему назвал бы себя маркси-

стом?

— Да. Но в нынешние времена это мало о чем говорит.

— Ты ревизионист?

— Я не сталинист, если ты подразумеваешь это. И не ленинец. Мне не нравится термин «ревизионист». Я приверженец марксизма.

— На чьей ты стороне?

— На чьей стороне?

— Ну, чьи взгляды ты оспариваешь в книге, кого поддерживаешь?

— Ни с кем не спорю, никого не поддерживаю.

— То есть это беспристрастное исследование, нечто вроде истории идей? Рад слышать…

— Любая книга о политике упоминает о старых идеях, Гегель, Маркс и Ленин не обходились без этого.

— Так по-твоему, это все же книга о политике?

— Разумеется!

— Но о чьей политике?

— Моей собственной!

— Имеешь в виду, что это оригинальный политико-философский труд?

— Да, оригинальный, — ответил Краймонд раздраженно. — Неужели воображаешь, что я годами тружусь, как вол, корпя над чужими

мыслями? Это мои мысли, мой анализ, мои предсказания, моя программа!

— Значит, это не философская книга?

— Что за нелепое разделение на категории! Философская, если тебе так нравится — что бы это ни значило, — это и осмысление, и программа действий. Вот что это такое.

— Что-то вроде очень длинного памфлета?

— Нет. Ничего общего с раздутой популярной брошюрой, никакого упрощения. В книге будет все.

— Все?

— Все, кроме Аристотеля. Я расцениваю его как неудачную интерлюдию, теперь, к счастью, закончившуюся.

— С этим мы можем согласиться. — Джерард рискнул едва заметно улыбнуться, но Краймонд смотрел в стол и скреб ногтем его блестящую поверхность. — Но, Краймонд, если ты, по твоим словам, отошел от обыкновенной практической политики и стал волком-одиночкой, как ты можешь говорить о программе действий? Заявляешь, что ты марксист, значит, знаешь, что политика дело тонкое, требующее постоянного участия в процессе, какого-то воздействия, давления, чтобы вообще что-то двигалось. Или

воображаешь, что можно начать революцию, выступив с какой-то теорией?

Краймонд перестал скрести стол, уставился на Джерарда широко раскрытыми голубыми глазами, вытянул тонкие губы. Его тонкий нос, все его лицо яростно устремились к Джерарду. Может, он правда слегка ненормальный, подумалось Джерарду. Как-то не воспринимал это всерьез. Поскольку Краймонд не ответил на вопрос, Джерард продолжил, спокойно и терпеливо:

— Аналитическая книга может быть очень ценной и принести большую пользу. Так что если то, что ты называешь своей программой, облечено в форму идей, тем лучше.

— Херншоу, — проговорил Краймонд, — я не сумасшедший, как ты, похоже, воображаешь, и не страдаю манией величия…

— Прекрасно!

— Я просто верю, что пишу очень важную книгу.

Дверь резко отворилась, Патрисия сунула голову, потом вошла сама:

— Как вы тут, не желаете кофе?

— Спасибо, нет, — ответил Джерард, повернулся к Краймонду: — А ты? Тоже не хочешь? Пат, ты, наверное, помнишь Краймонда, я вас как-то

знакомил, давным-давно.

Краймонд встал и, явно не помня ее, слегка поклонился.

— Тогда чай, шерри? Печенье?

— Нет, ничего. Пат, дорогая, оставь нас одних!

Дверь закрылась. Краймонд сел. Пока Джерард думал, как возобновить разговор, Краймонд, который вновь погрузился в исследование стола, поднял голову, взъерошил волосы и сказал:

— Слышал, ты ушел в отставку, чем собираешься заняться?

— Буду писать, — ответил Джерард, раздраженный бесцеремонным тоном Краймонда.

— О чем?

— О Плотине.

— Зачем? Ты не историк, да и к философам вряд ли можешь себя отнести. Наверное, давно уже перестал мыслить. Для того, чем ты занимался на службе, мозги не нужны, можно и во сне все делать. Осмысление — это мука. Твоя книга о Плотине обернется статьей о Порфирии.

— Посмотрим, — сказал Джерард, решив держать себя в руках. Неужели они все же кончат ссорой?

— В Бога веришь?

— Разумеется, нет! — возмутился Джерард.

— Веришь, и сам это знаешь. Ты всю жизнь ощущал себя исключительной личностью. Считаешь, ты спасен Идеей Блага[80] просто потому, что знаешь это платоновское учение. Планета гибнет, но ты и твои друзья чувствуете себя в безопасности. Ты слишком большое значение придаешь дружбе.

— Чтобы не превращать разговор в «обмен любезностями», лучше закончить его сейчас. Я хотел составить мнение о тебе и твоей книге, и я его составил.

— Тебя никогда ничего по-настоящему не волновало, кроме твоего попугая.

Джерард был поражен.

— Откуда ты, черт возьми, знаешь о…

— Его звали Жако. Ты рассказывал мне о нем в первый же день нашего знакомства, когда мы по дороге с лекции зашли в Ботанический сад и в оранжерею. Вспоминаешь?

Джерард не помнил:

— Нет. — Он был поражен и расстроен. — Я никогда никому не говорил о нем. И тебе точно.

— Говорил. Прости и не сердись. А то, что я только что сказал, это ерунда, просто чтобы под-

---

**[80] Примечания: 80**
Платон. Государство.

колоть тебя. Я действительно хочу поговорить с тобой. Это наш с тобой второй иннинг, пользуясь крикетной терминологией.

— Не вижу сходства, — сказал Джерард, приходя в себя. — Не было у нас никакого первого иннинга. Но продолжай.

— Ты и об этом забыл. Второй иннинг всегда играют иначе, нежели первый. Ладно, не обращай внимания. Другая твоя беда в том, что ты боишься технологии.

— А что, ты был бы не против идеи мира без книг?

— Это неизбежно, и это надо понимать, приветствовать, даже радоваться этому.

— Так все же ты, оказывается, исторический материалист! А как насчет твоей собственной книги?

— Погибнет вместе с остальными. Платон, Шекспир, Гегель — все сгорят в огне, я тоже. Но прежде, чем это произойдет, моя книга произведет определенное воздействие, вот в чем дело, для того я и старался все эти годы, ради крохи влияния. Это то, что стоит делать, это единственное, что стоит делать сейчас, — заглянуть в будущее, попытаться как-то его понять, повлиять на него. Слушай, Джерард, я не считаю себя Богом, не

сравниваю себя с Гегелем и даже с Фейербахом.

— Хорошо, хорошо.

— Я принадлежу нынешнему времени, делаю то, что должно делать сейчас, живу с ощущением истории, творящейся сейчас, о которой ты и твои друзья не имеете ни малейшего представления…

— Хорошо, так что насчет того, что должно быть сделано сейчас? Как насчет нищеты, голода, несправедливости? Насчет практической политики и социальной помощи?

— Пойми меня правильно…

— И пожалуйста, не скреби стол ногтем.

— Извини. Конечно, мы должны заниматься нищетой и несправедливостью. Люди вроде тебя жертвуют деньги на благотворительность и ограничиваются этим. А что до социальной помощи, так ты в жизни ею не интересовался, это нечто, чем занимаются другие, люди низшего сорта. Необходимо думать о радикальном решении этих проблем…

— Ты веришь в революцию, в насильственную революцию?

— Все революции насильственные, с баррикадами или без. Революция будет, так что мы должны думать о революции.

— Может, теперь ты уже скажешь, почему не

веришь в парламентскую демократию?

— Это очевидно. Как форма правления, она нежизнеспособна. Мир в следующем столетии будет больше походить на Африку, нежели на Европу. Мы должны иметь смелость попытаться понять историю в целом и дать реальный прогноз. Вот почему марксизм единственная мировая философия на сегодня.

— Но не существует такой вещи, как история! Твоя теория основана на заблуждении. Все сводится к тому, чтобы разрушать существующее, воображая, что следом автоматически появится нечто лучшее! В тебе сочетаются иррациональный пессимизм и иррациональный оптимизм! Ты предвидишь ужасные вещи, но в то же время думаешь, что способен понять будущее, управлять им, радоваться ему! Марксизм всегда «спасал» свои в высшей степени невероятные гипотезы с помощью веры в утопический конечный рай. А ты еще обвиняешь меня в вере в Бога!

— Да. Абсолютный пессимизм и абсолютный оптимизм оба необходимы.

— Это то, что называется диалектическим мышлением?

— Ты всегда слишком боялся сказать чепуху, вот почему у тебя не ладилось с философией. Я

не утопист, не строю иллюзий, что, мол, государство отомрет или что исчезнет разделение труда и отчуждение. Я также не думаю, что в сколь-нибудь постигаемом будущем наступит полная занятость, или бесклассовое общество, или мир без голода. Дальше нас ждет пустыня. Конечно, я считаю, что это общество, наше так называемое свободное общество, прогнило до основания — оно деспотично, коррумпировано, несправедливо, оно материалистично, безжалостно и аморально, покорно, развращено порнографией и кичем. Ты тоже так считаешь. Но ты воображаешь, что все приятное каким-то образом сохранится, а все отвратительное станет не столь отвратительным. Так не получится, мы должны пройти сквозь огонь, в деспотическом обществе лишь насилие подлинно. Люди сейчас наполовину живые создания, в будущем они превратятся в кукол. Даже если мы избежим ядерной катастрофы, нас ждет ужасное, по твоим славным меркам, будущее. Кризис власти и независимости, всем будет править технология просто в силу неизбежности. История прошла мимо тебя, все сейчас происходит быстро, нужно бежать, чтобы оставаться на месте, не то что сделать шаг вперед, чтобы увидеть, где мы находимся. Мы должны

все переосмыслить…

— Постой, — прервал его Джерард. Сердце его колотилось, ему стало жарко и он снял жакет. — Ты говоришь, люди превратятся в кукол и всем будут править технологии, но тогда, называешь ли ты себя марксистом или нет, ты несомненно должен работать против такого общества, а не на него! Ладно, настоящее несовершенно, будущее мрачно, но мы должны просто держаться того, что есть хорошего, держаться наших ценностей и пытаться пережить бурю. Ты говоришь: переосмыслить, но как? Мы должны быть прагматичны, сохранять надежду, а не предпочитать отчаяние! Мы не можем знать будущее, Маркс не смог его предсказать, а он заглядывал в него куда упорней нас. Необходимо защищать личность…

— Какую личность?

— А, хватит! — отмахнулся Джерард.

— Буржуазная личность не уцелеет в этом смерче, она уже расколота, обессилена, знает, что она — фикция. Я не предпочитаю отчаяние, я, если хочешь, предпочитаю здоровое общество, которое еще не существует. Но нельзя увидеть хотя бы тень того общества, если не осознал крах общества этого.

— Ты небось видишь себя комиссаром всемир-

ного государства кукол, которые не умеют ни читать, ни писать! У элиты останутся книги, остальным — телевизор!

— Нас там не будет, мы — отребье, не заслуживающее ничего, даже кнута, мы, конечно, страдаем, переживаем собственный конец, все, что мы можем сделать…

В холле зазвонил телефон. В столовую заглянула Патрисия:

— Это Роуз, просит тебя.

— А, черт! — не сдержался Джерард и вышел, закрыв за собой дверь.

Голос Роуз был взволнованным и извиняющимся:

— Дорогой… ты в порядке?

— Разумеется, я в порядке!

— Прости, пожалуйста, что не позвонила раньше, меня не было дома… очень необычное утро, потом расскажу. Я бы позвонила раньше, да не нашла телефонной будки. Как прошло?

— Что «как прошло»?

— Ну, твой разговор с Краймондом!

— Мы еще не закончили.

— Не мог бы ты спровадить его? Не…

— Роуз, перезвони, если нетрудно, попозже, ладно? Извини, мне надо идти.

Он опустил трубку и поспешил обратно в столовую.

Краймонд стоял, разглядывая картину, которая изображала гейшу в лодке.

— Не уходи, Дэвид. Сядь.

Вид у Краймонда был более непринужденный. Разгоряченный спором, он казался моложе и не таким усталым.

— Что, Роуз вообразила, что может дойти до драки?

— Беспокоится!

— Надеюсь, я победил тебя интеллектом.

— Еще нет!

— Мне скоро нужно будет идти…

— Присядь.

Они сели. Помолчали секунду.

— Мы прервались на том, что ты сказал: все, что мы можем сделать…

— Да, — подхватил Краймонд, — все, что мы можем сделать, это понять страдание, выразить его, увидеть, дышать им…

— Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится — доныне[81].

— Верно…

---

**[81] Примечания: 81**
Рим. 8:22.

— Не воображай, что можешь отменить страдание!

— Тебе стоит поразмыслить над смертями, придающими особое значение этим словам!

— Ну хорошо, — не все, но в основном?

— В основном, во многом… мы должны думать обо всей истории, обо всех людях, которые легли в землю и стали прахом, и думать об этом как о части того, что происходит сейчас, когда люди угнетены, или же запуганы, или же голодают…

— Это лишь самодовольная риторика, — сказал Джерард. — А что до марксизма, тут, может, и не идет речь о голоде, но уж о страхе — это точно!

— Вздор. Мы должны пытаться смотреть в будущее и надеяться. Трудно правильно мыслить в неправильном мире. Необходимо мыслить в категориях совершенно новой личности, нового самосознания, нового счастья, такого счастья, о котором человеческий род еще не мечтал. Личность, которую ты ставишь превыше всего, и, конечно же, лучше всего воплощенная в тебе самом, — это просто калека, получеловек, больше того, был когда-то получеловеком, а сейчас всего лишь скулящее ничтожество — и то в лучшем случае. Неисчерпаемые источники духовной энергии остаются совершенно не использован-

ными…

— Шизофреническая теория, толкуешь о кризисе власти и людях-куклах, о тяжких испытаниях впереди, а через минуту — о духовной энергии и новых людях с их новым счастьем… А что в промежутке между тем и этим? Твои идеи ведут прямиком к тирании — и сразу вслед за ней ты видишь возникновение идеального общества! А еще говоришь, что не утопист…

— Утопический порыв — важнейшая вещь, необходимо верить в идею, что идеальное общество возможно…

— Вопреки твоему убеждению, — сказал Джерард, — идеальное общество неосуществимо, общество не может стать совершенным, лучшее, на что можно надеяться, это достойное общество, самое большее, чего можно добиться, мы имеем сейчас: соблюдение прав человека, прав личности и попытки с помощью технологий накормить людей. Конечно, еще есть к чему стремиться: чтобы было меньше голодных и больше справедливости, но любые радикальные перемены только ухудшат положение — и твои мечты приведут к тому, что мы лишимся того, что имеем…

— Ты всерьез полагаешь, — спросил Краймонд, — что невозможно придумать лучшей

общественной системы, чем западная парламентская демократия?

— Нет. Я, во всяком случае, не могу. Разумеется, возможны…

— Да-да, небольшие улучшения, как ты говоришь.

— Серьезные улучшения. Конечно, люди могут выжить при тирании, а будучи свободными, влачить полуголодное существование, но мы о другом. Свободное общество…

— Сомневаюсь, что ты понимаешь смысл свободы. Ты воображаешь, что это просто возможность работать спустя рукава плюс соблюдение прав человека. Но нельзя быть свободным, когда все общественные отношения уродливы, несправедливы, иррациональны, — когда общество больно, искалечено, — мы должны подготовить почву…

— Демократия способна на самоусовершенствование…

— Где ты замечал, чтобы буржуазная демократия совершенствовала себя? Ах, да оставь! Нужно увидеть все это, Джерард, пережить, выстрадать, понять, насколько разорваны все связи. Ты мнишь себя непредубежденным плюралистом — но ты выработал для себя простую уютную мелкую философию жизни, все в ней

унифицировано, все удобно увязано в несколько успокоительных идеек, которые освобождают тебя от необходимости думать! Но мы обязаны думать — и это такой ад, философия ад, она противна нашей природе, доставляет несказанные муки, нужно объять необъятное, а это не удается, не получается все связать и не обманывать себя, что концы сходятся с концами, когда они не сходятся… не притягивать насильно, видеть целое ясно в его почти непротиворечивости… Боже, как это тяжело!..

— Ты подразумеваешь свою книгу… — сказал Джерард.

Он готов был взорваться, но сдерживался. Возвращение к книге было выходом из положения.

— А-а… книга… — Краймонд встал и потер глаза. — Да, это ад… она требует от тебя последней капли чертова мужества, чтобы двинуться дальше после лучшей возможной формулировки… м-да…

— Жажду прочесть ее, — сказал Джерард, тоже вставая. Он был без сил. — И все-таки одно меня озадачивает: твое желание называть всю эту канитель марксизмом. Я, конечно, знаю, что утопические идеи раннего Маркса сейчас модны… Но зачем загонять себя в этот концептуальный

тупик?

— Тупик… да… тупик… но это не такой уж тупик… не такой, как ты думаешь. Да… так… мне хотелось бы переубедить тебя, именно тебя. Я мог бы открыть тебе много чего. Мне теперь особо не с кем поговорить. Конечно, ты не идеальный собеседник, потому что знаешь так мало. Но мне легко говорить с тобой… возможно, по причине нашего давнего знакомства.

— А с комитетом поговорить нет желания?

— Станут ли они слушать? Нет… неудачная идея. Другое дело с тобой, но…

— Все же подумай. Спасибо, что пришел.

Они вышли в холл, Краймонд надел пальто и шарф. Достал из кармана пальто скомканную кепку и держал ее в руке. Неловкая пауза, словно они собирались пожать друг другу руку. Джерард открыл дверь, на которую Патрисия, пока длился их разговор, повесила рождественский венок из остролиста. Краймонд вышел и быстро, не оглядываясь, зашагал прочь. Джерард закрыл за ним и прислонился к двери.

«Очень необычное утро», о котором Роуз говорила Джерарду по телефону, она провела с Джин. Все более и более тревожась за свою подругу, Роуз не знала, что предпринять. Она не писала Джин,

боясь, что Краймонд может прочитать письмо и в чем-нибудь обвинить Джин. Она не могла просто «заглянуть» к ней, потому что существовал риск натолкнуться на Краймонда; не было и никакого смысла звонить ей, поскольку, даже если к телефону подойдет Джин, она вряд ли сможет разговаривать, когда Краймонд под боком, а если одна, все равно может не захотеть говорить, или ответит как-нибудь грубо, или даже бросит трубку, чем окончательно расстроит Роуз. Ей не хотелось ставить Джин перед неожиданным выбором между грубостью по отношению к ней и предательством по отношению к Краймонду. Пожалуй, никакого выхода вообще. Совершенно отдельно от этих проблем скорее практического свойства Роуз беспокоило, что подумают о ее намерениях и мотивах. Тут любое общение с Джин могло все осложнить. Краймонд, несомненно, человек недоверчивый, собственник, а вероятно, и насильник. Решит, что Роуз подослал Джерард или же Дункан. Ситуация очень деликатная. Или следует отказаться от встречи с Джин и не совать нос в чужие дела? Но это было не по ней. Потому ли, что она заботилась о финансах Джин, или из любопытства? Роуз сгорала от желания поговорить с Джини, выведать, что там у них про-

исходит. Жаждала увидеть Джин, взглянуть на женщину, которая теперь принадлежала Краймонду. Хотела узнать все из первых рук, чтобы потом доложить Джерарду. Хотела удостовериться, насколько вероятно возвращение Джин к Дункану, а еще выяснить, каким образом помочь Джин, если той нужна ее помощь. Вместе с Джерардом они обдумали множество вариантов, она наедине с собой обдумала, наверное, все возможные. Джин может понадобиться помощь извне, чтобы сбежать или, по крайней мере, решиться на мысль о побеге. И наверняка ей нужен знак от друзей, подтверждение, что ее по-прежнему любят, или просто известие, что Дункан тоскует и ждет ее возвращения. Если же все обстоит иначе и Джин не требуется ни поддержки, ни помощи, это тоже важно. Тогда Роуз и Джерард придумают, что сказать Дункану, если вообще что-то скажут. Ну и конечно, Роуз хотелось все знать потому, что просто хотелось все знать, это было так интересно. Однако что наконец заставило ее действовать, так это просто стремление увидеть Джин, обнять ее и поцеловать.

Такая возможность появилась, как только Роуз стало известно о том, что в определенный день в определенное время Краймонд собирается к

Джерарду. План Роуз был таков: пораньше с утра поехать в Южный Лондон, найти телефонную будку поближе к дому Краймонда и, когда станет ясно, что он уезжает, позвонить Джин и сказать, что она случайно оказалась рядом и нельзя ли заглянуть к ней на минутку. План сработал. Джин коротко ответила: «Приходи» — и спустя несколько минут Роуз была у нее.

Они расположились в комнате, которую Краймонд именовал игровой, Роуз уселась на пальто, которое скинула на диван, а Джин расположилась напротив, на стуле, который подтащила от письменного стола. Их встреча в дверях была эмоциональной, но не бурной. Они стиснули друг дружке руки, но тут же отпустили и обниматься не стати.

В комнате было темновато, горели только две лампы под абажурами, одна на письменном, вторая примостилась на другом столе, на груде книг. Было прохладно, пахло парафином от обогревателя. Джин выглядела похудевшей, усталой, похоже, без всякой косметики, в коричневой вязаной кофте поверх темно-синего шерстяного платья и, видно, только что сняла фартук. Однако красота ее нисколько не потускнела, даже напротив: слегка взъерошенные темные волосы

пышней и длинней прежнего, в темных глазах яростный блеск. Она походила, как однажды сказала Роуз, на иудейскую героиню. Сидя лицом к лицу с ней, Роуз почти боялась ее, была в растерянности, готова расплакаться, но боялась еще и того, что Джин может неожиданно заплакать злыми, бурными, дикими слезами. Начать разговор оказалось невероятно трудно.

— Я была в Боярсе, в снегопад. Луг замерз.

— На коньках каталась?

— Да. Лили Бойн тоже была там. Она прекрасно катается. Я была удивлена.

— Не понимаю, чему тут удивляться.

— Ну, не то чтобы… пожалуй, нет… просто не ожидала.

— Как Тамар?

— Не слишком. Почти ничего не ест и выглядит несчастной.

— Можешь как-то повлиять на нее?

— Пытаюсь. Кажется, она заходила к тебе.

— Полагаю, по твоему наущению.

— Ну… хотела бы увидеть ее снова?

— Нет.

— Она очень любит тебя. Ему что, не нравится, когда к тебе кто-то приходит?

— Зачем ты явилась?

— Повидаться. И узнать, не могу ли я что-то сделать для тебя.

— Для меня — нет, ничего не надо.

Помолчав, Роуз спросила:

— Он оттуда направится прямо домой?

— Кто этот «он» и откуда направится прямо домой?

— Краймонд от Джерарда направится прямо домой?

— А он у Джерарда?

— Да! Ты не знала?

— Он не всегда говорит, куда идет, — ответила Джин. — А я не спрашиваю. Так что не знаю, направится ли он прямо домой.

— Похоже, ты не много знаешь о нем.

— Я не слежу за каждым его шагом.

Джин сидела, сложив ладони на коленях, и пристально смотрела на Роуз, ожидая очередного вопроса, как на допросе.

— Это Краймонд стрелял по той мишени?

— Кто же еще.

— Помнится, он был метким стрелком, выиграл какой-то приз. Надеюсь, он не готовится к революции.

— Думаю, просто забавляется так.

— Что вы поделываете?

— Что ты имеешь в виду?

— Я о вас обоих, что вы делаете весь день: сидите дома, ездите куда-нибудь, развлекаетесь, ходите в гости, на концерты, вы счастливы?

— По большей части мы дома, — сказала Джин, — не «развлекаемся», иногда приходят люди.

— Вы обсуждаете его работу?

— Мы обсуждаем множество вещей, но если ты о книге, то нет, ее мы не обсуждаем.

— Книга действительно существует?

— Конечно. Да вон она. Можешь взглянуть, если желаешь.

Роуз посмотрела на письменный стол, где в круге света от лампы лежала стопка разноцветных блокнотов, один был раскрыт. Ее охватило суеверное отвращение:

— Нет, спасибо…

— Ты воображаешь, что я несчастлива, верно, надеешься на это.

— Нет, — сказала Роуз, — просто подумала, что тебе, может, скучно.

Ей начало казаться, что они разговаривают будто во сне, совершенно не понимая друг друга, бездарно тратя драгоценное время. Джин нахмурилась, атмосфера стала более натянутой

и тревожной. С ощущением этой новой напряженности, от которой стеснялось дыхание, Роуз сказала то, о чем решила сказать, чувствовала, что должна сказать, и даже заранее отрепетировала:

— Дункан любит тебя. Он хочет, чтобы ты вернулась. Мы все любим тебя, нам тебя не хватает. Хорошо бы ты вернулась.

Джин как будто задумалась, но ответила только:

— Извини, но вынуждена всех вас разочаровать. Мне не скучно и я не несчастна. В жизни не была столь бесконечно счастлива, как сейчас. Если ты должна что-то передать остальным, можешь им так и сказать.

— В прошлый раз ты ушла от Краймонда, наверное, неспроста.

— Я счастлива так, как, думаю, ты вряд ли когда была или даже мечтала.

— Ты забыла свою любовь к Дункану? Ты ведь любила его, точно любила?

— В прошлый раз бы по иначе. Тогда я была не способна понять, что мне уже не быть прежней, что я изменилась необратимо. С того времени я доросла до этого понимания. Я встретилась с абсолютом. Когда видишь совершенство, тогда

несовершенство тускнеет, перестает для нас существовать. Теперь я вижу это отчетливо, не сквозь мутное стекло. Этому невозможно сопротивляться, перед этим невозможно устоять.

— И наверное, невозможно объяснить.

— Невозможно.

— Прости меня, — сказала Роуз, — мне так хотелось поговорить с тобой, а времени так мало, о многом мне говорить очень трудно. И нужно уйти до возвращения Краймонда. Джерард сказал, что даст ему час…

— Даст ему час!

— Не знаю, сколько времени уйдет у него на дорогу, если он сразу пойдет домой… понимаешь, я пытаюсь сказать то, что важно, что важно для меня, бог знает, когда мы еще увидимся. Ты знаешь, что я люблю тебя, мы всегда были подругами, и я должна сказать тебе все, что думаю. По-моему, ты живешь иллюзией. Все это так односторонне, неправильно. Тебе неизвестно, куда он уходит и что делает, ты всю себя отдала ему, пожертвовала друзьями, всем своим миром, но не знаешь ни его друзей, ни того, чем он живет. Он не делится с тобой ничем сокровенным. Ты даже не помогаешь ему в работе над книгой. Насколько могу понять, ты теперь ни с кем не знаешься, кроме

него, сексуальные отношения, которые для него лишь часть жизни, для тебя это вся жизнь! Прости… если я груба и несдержанна, это потому, что переживаю за тебя…

— Ну, не надо, не надо так, — сказала Джин, выслушавшая эту тираду с отсутствующим и равнодушным видом. Вздохнула, встала, оперлась о спинку стула и слегка подалась вперед: — Кофе хочешь? Чего-то выпить, боюсь, в доме нет.

— Нет, конечно, не хочу я кофе! — сердито воскликнула Роуз. — Ох, Джин…

— Я не отступаюсь от нашей любви, — сказала Джин, — нашей, между тобой и мной, и не сомневаюсь, что она будет длиться вечно, даже если мы никогда больше не увидимся, а мы, конечно, еще увидимся, она такая необыкновенная и такая давняя. Но ты должна согласиться, что мы живем в двух совершенно разных мирах. Ты полагаешься на постоянство, для тебя важны определенность, покой, упорядоченность, стабильность, тебя устраивает такая жизнь, ты всегда чувствовала в ней себя прекрасно, тогда как мне при такой жизни становится все трудней дышать.

Она со стуком отпустила стул.

— Ну, — проговорила Роуз, — если это просто жажда перемен… Если ты выбрала неопределен-

ность, это означает, что ты не до конца веришь в любовь Краймонда, значит, ты не рассчитываешь на ваше совместное будущее, твое положение непрочно.

— Я единственная женщина, которую он когда-либо любил или смог полюбить. Я верю в его любовь и в наше совместное будущее, что бы ни случилось. Но конечно, мы, в отличие от тебя, не можем предвидеть, что может произойти. Неопределенность есть, но не в нашей любви, а в мире. Краймонд смел, и меня он сделал смелой. Ты живешь в старом сказочном континууме, где все милы, и надежны, и добронравны, и год от года ничем не отличается. Я ушла оттуда, с ним я в опасном непредсказуемом реальном мире, любовь опасна, абсолютна и опасна, человек живет со смертью — и это реальная жизнь, которой стоит жить. Ты не понимаешь, что значит по-настоящему любить и быть по-настоящему любимой, когда любовь переполняет все твое существо, жертвует всем и возвеличивает все твои дела, и мысли, и ощущения, делает мир огромным, бескрайним, как вселенная, и полным света… ты ничего не знаешь о любовной близости, о том, как можно жить и дышать ею, когда она постоянна, когда она нечто, что повсюду, во

всем и уподобляет вас богам! Когда такое происходит, не думаешь ни о равноправии, ни о том, кто чем делится, вообще ни о каких ничтожных счетах, свойственных старой мелкой беспокойной себялюбивой жизни. О себе забываешь. Ты никогда не переживала подобного, никогда любовь не делала тебя богиней, ты паинька, настоящая пуританка, в глубине души чувствуешь, что секс — это грех. Почему ты не вышла замуж? Почему всю жизнь безнадежно ждала предложения от Джерарда? Почему не вышла за кого-то другого? Маркуса Филда, например, он был без ума от тебя?..

— Разве? Он мне этого не говорил…

— Думал, что ты принадлежишь Джерарду, что Джерард женится на тебе. Ты могла бы иметь детей…

— Ох, прекрати! — сказала Роуз. — Ты просто… просто неисправимый романтик! Ты когда-нибудь всерьез думала выйти за Синклера?

— Да. Но… не знаю, как бы я поступила… даже если бы он хотел этого…

— Выйди ты за него, он был бы жив сейчас.

— Потому что я запретила бы ему летать на планере?

— Потому что изменилась бы цепь событий.

— Что угодно способно изменить ее.

— Знаю.

Роуз, понимая, что еще немного, и она расплачется, перевела глаза в противоположный конец комнаты, где на стене висела мишень, в тусклом свете напоминавшая мандалу. Она продрогла и набросила на плечи пальто. Откинувшись на спинку дивана, ощутила под рукой грубую ворсистую ткань старого килта. После ее ухода, подумала она, Джин расправит килт. Интересно, а скажет ли Краймонду, что она была здесь? Пора уходить, уходить сейчас, пока он не вернулся. Джин потеряна для нее, они обе потеряны друг для друга, не надо было говорить всего этого. Как жаль, как жаль!

— Я должна идти, дорогая.

— Хорошо. Я провожу. Хочешь взглянуть на книгу? Взгляни.

Теребя в руках шарф и перчатки, Роуз пошла за Джин, ее сапоги громко стучали по голому полу, Джин в тапочках двигалась беззвучно.

Под лампой лежал раскрытый блокнот, правая страница сплошь исписана мелким аккуратным и неразборчивым почерком, левая была пуста, кроме одной-двух фраз и вопросительных знаков. Джин пролистала блокнот назад на несколько

страниц, где текст разнообразился несколькими заглавными буквами и вставками красной ручкой, и вновь открыла на прежней странице, вернувшись к месту, на котором Краймонд кончил писать этим утром. Ей словно показали священный манускрипт или редкое произведение искусства, нечто, предназначенное для восторгов и изучения посвященными. Джин показала на стопку таких же блокнотов рядом, содержавших уже законченные крупные части труда. Роуз, которая не рвалась увидеть книгу, не ощутила никакой мгновенной ненависти к ней, желания разорвать блокноты в клочья. Что ее поразило, отчасти удивило, так это неподвижная обособленность рукописи, ее властное присутствие, ее величина. Она почувствовала, что должна что-то сказать.

— Работа надолго.

— Да.

— Когда он думает закончить?

— Я не знаю.

Они поднялись по ступенькам в прихожую и остановились у закрытой двери, глядя друг на друга. Слезы брызнули из глаз Роуз, они обнялись, закрыв глаза.

— Почему ты не сказал, что идешь к Джерар-

ду? — спросила Джин.

Они сидели на диване в игровой. Джин разгладила место, где сидела Роуз. Краймонд еще не успел снять пальто.

— Я бы сказал, если бы ты поинтересовалась, куда я иду. Во всяком случае, говорю сейчас. Я не придавал особого значения этой встрече. Да и злился, что надо идти, потому и не хотел даже упоминать об этом.

— Как все прошло?

— Не очень.

— Если он был груб, надеюсь, ты послал его к черту.

— Нет, он не был груб. Это я сглупил. Давно не приходилось с кем-то поговорить обо всем. Наговорил слишком много, был непоследовательным.

— Роуз сказала, что он решил уделить тебе час!

— А я решил уделить ему полчаса. Но когда увидел его…

— Когда увидел его, то что?..

— Понимаешь, я знаю его даже дольше, чем тебя. Я был недостаточно убедителен в дискуссии, боюсь, у него сложится довольно неважное впечатление…

— Он еще поймет, в один прекрасный день!

— Ну да… в один прекрасный день… А ты, моя королева и повелительница, мой соколенок, скажи-ка мне, зачем леди Роуз Кертленд приходила к тебе?

— Любопытство, — ответила Джин, — а еще она рассказала, что Дункан по-прежнему любит меня.

— И что, собираешься вернуться к нему?

— Краймонд, не мучай меня.

— Роуз расстроила тебя.

— Да ничего, и Джерард тебя расстроил! На самом деле просто неприятно было, только и всего. Ты же не чувствуешь, что я огорчена?

— Прекрасно чувствую.

— А ты продолжаешь и продолжаешь мучить меня. Почему ты это делаешь? Не можешь поверить…

— Да, не верю… мы говорим о чувствах. Если у тебя в кармане драгоценнейший бриллиант в мире, разве ты не будешь бояться потерять его, не станешь ли постоянно совать руку в карман, чтобы убедиться, что он на месте?

— Ты прав. Я чувствую то же самое. Но я не мучаю тебя своими страхами.

— Я говорю о моих страхах, чтобы ты могла тут же успокоить меня. Джини, моя жизнь в любви к

тебе, ты должна каждую секунду прогонять мой страх, мое душевное состояние зависит от твоего, я дышу одним дыханием с тобой…

— О моя любовь… моя гордость, мое чудо, мой принц, мой герой, верховный жрец.

— Скажи, что тебе Роуз говорила обо мне, о нас, наверняка она что-то говорила о нас, чтобы убедить тебя возвратиться.

— А-а, всякие идиотские вещи.

— Например?

— Сказала, что мне, наверное, скучно!

— А тебе скучно?

— И что, видимо, я мало знаю о тебе.

— Почему она так решила?

— Потому что я не знала, что ты пошел к Джерарду.

— Ты ей сказала, что я не предупредил тебя.

— Так вышло, извини. А когда она спросила, не будешь ли ты против, если она зайдет, я сказала, что не знаю. Наверное, не следовало этого говорить.

— Пустяки. Ты не должна была ничего утаивать. Я бы рассердился, подумав, что ты солгала ей. Что ты ей ни скажешь, она все равно будет считать, что мы несчастливы, и надеяться, что у нас все расстроится.

— Но ты все-таки не ответила: тебе скучно со мной?

— Краймонд, прекратим этот разговор! Как насчет ланча? Я приготовила твой любимый овощной суп, а на вечер тушу мясо.

— На вечер тушишь мясо. Это похоже на настоящую жизнь. Не то я иногда думаю, что мы играем.

— Играем во что?

— В настоящую семейную жизнь.

— Краймонд, любимый, иногда в тебя вселяется дьявол, который старается навредить нам. Говоришь такое, что можно подумать, хочешь все разрушить. Порочишь нашу жизнь, и делаешь это намеренно.

— Ох, Джини, я так устал, так устал, и нет мне покоя, нет отдохновения…

Джин обняла его поверх пальто, привлекла его голову себе на плечо и стала гладить по волосам, от макушки до шеи под воротником, устремив невидящий взгляд в раскрытую дверь. Его голова была холодной.

— Ты слишком много работаешь. Знаю, так надо. Мне хочется, чтобы я могла приносить тебе покой. Очень часто хочется, но не умею. Ты должен научить меня. Знаю, в постели нам покойно.

Но отдохнуть как-то еще у тебя не получается… и у меня тоже.

Краймонд повернул к ней лицо и коснулся холодными губами ее щеки:

— А что делают люди, которые умеют отдыхать, мой ангел мира?

— Хотела бы я быть твоим ангелом мира.

— Ты и есть мой ангел мира, другого у меня нет.

— Люди, умеющие отдыхать, читают книги, гуляют, составляют букеты и пропалывают сад, моют свои машины и слушают музыку, делают перестановку в доме и зовут друзей на ужин и болтают о чем придется.

— По крайней мере, книги мы читаем.

— Ты читаешь книги, какие тебе нужны для работы, да поэзию. Я в данный момент читать не могу. Иным занята.

— Наверное, твоя подружка Роуз права. Она желает нам несчастья. Она тебе не настоящая подруга, Злобная, как все женщины.

— Может, добавишь, неразумная! Ты хочешь освободить мир, но в душе все же считаешь, что женщины — существа низшего сорта, не вполне настоящие.

— Все мужчины так считают, — ответил Край-

монд, подняв голову и слегка отодвинув Джин от себя. — И большинство женщин тоже. Зачем отрицать это, женщины — другие, у них мозги устроены по-другому, они слабее, скоры на слезы, а мужчины нет, что и доказывает это.

— Ты никогда не плакал?

— Насколько помнится, никогда.

— Возможно, когда-нибудь заплачешь.

— Возможно, когда настанет конец мира.

— Ты, безусловно, не слишком силен в том, что касается освобождения женщин. А если в конце концов миром будет править ислам?

— Такая вероятность существует, и я это учитываю.

— Так ты считаешь меня неразумной, существом низшего сорта и ненастоящей?

— Не тебя, малышка. Ты не женщина. Ты странствующий дух. Мы оба не от этого мира, мы гости здесь, чужаки, и то, что мы встретили друг друга, — счастливая случайность.

— Неудивительно, что для нас все, кого знаем, живые наполовину.

— Тебе нужно найти, чем заняться, изучать что-то, не дать пропасть своим талантам.

— Я найду что-то, обязательно, не беспокойся насчет этого!

— Я верю, что тебе бывает скучно, Роуз права. Ты пожертвовала столь многим: друзьями, светскими развлечениями…

— То, чем я пожертвовала, я в грош не ставлю. Ты пожертвовал своим уединением. Я иногда спрашиваю себя, не сожалеешь ли ты об этом?

— Нет, нет, сердце мое, душа моя… это судьба. Ты не сбежишь от меня, да, соколенок?

— Как я могу сбежать от тебя, я — это ты, нельзя вырвать себя из своего тела.

— Вот увидишь, мы станем читать, обязательно. А может быть, отправимся однажды на прогулку. Да, да, нас не разлучить, если только оторвать с мясом.

— Если бы ты мог быть спокойней со мной. Ты сказал, что я твой мир. Но ты всегда отшатываешься, словно тебя бьет током.

— Если мир означает покой, — сказал Краймонд, — тогда я никогда не буду в мире с тобой. Я имел в виду нечто другое. — Он снял пальто, сел чуть поодаль и уронил голову в ладони. — Ты моя слабость, мое слабое место, это одна из причин отсутствия у нас будущего.

Джин застыла, испуганная, как бывало нередко. Мгновенье спустя заговорила мягко, медленно:

— Когда закончишь книгу, мы, может быть,

немного попутешествуем. Мне бы очень хотелось побывать с тобой во Франции и Италии. Ты только и говоришь о важности Европы. Сможешь встречаться с людьми, беседовать с ними.

— Когда я закончу книгу, я перестану быть, и ты тоже.

— Порой ты говоришь вздор, сознательный утомительный вздор.

— Возможно, я никогда не закончу книгу.

— Конечно закончишь, а потом напишешь другую.

— Дорогая моя, ты в силах представить, как мы стареем вместе?

— Ты не состаришься. — Разве мыслимо, чтобы он, ее Краймонд, состарился? — Я люблю тебя… какими бы мы ни стали с тобой. Ох, Краймонд, не мучай меня подобным разговором…

— Я облысею, твои восхитительные блестящие волосы поредеют, поседеют, мы станем немощными и согбенными. Со страхом будем смотреть, как все больше дряхлеем. Я не хочу никогда привыкать к тебе, Джини, дорогая, зачем нам влачить долгое беспощадное бремя старости и угасания, нам, которые живые боги сейчас? Для меня невозможно пережить тебя, как тебе меня. Лучше пусть наша любовь завершится браком

в смерти. — Говоря это, он тер лицо, глаза, ерошил волосы. — О, как я устал, как устал… душа устала!..

Джин почувствовала страх. Он и прежде говорил такое.

— Да-да, конечно, ты устал, тебе надо прекратить работать, отдохнуть, отдохнуть, хотя бы день.

— Я не могу отдыхать, ты не понимаешь, ты предаешь меня, не слышишь моих слов. Прости. Иногда мне кажется, что я нож, направленный тебе в сердце.

— Нет, я слушаю, понимаю, ты спрашиваешь себя, что будешь делать, когда закончишь книгу, воображаешь, что превратишься в скучного обыкновенного человека, книга держит тебя в состоянии возбуждения так много лет, я видела, как ты горишь, когда пишешь…

— Тебе кажется, что ты нашла объяснение, что это что-то оправдывает. Нет, нет, не существует оправдания, все куда сложней, дело в тебе и во мне, мы раздавлены отсутствием у нас будущего…

— Краймонд, мы создадим свое будущее, постепенно, день за днем…

— День за днем — это иллюзия, все — сейчас…

— Ты хочешь убить меня?

— Только когда убью себя, Джини. Я люблю тебя, ты любишь меня, вот о чем речь. Наша любовь совершенна сейчас, сейчас мы абсолютны, мы боги, потом будем только ничтожней.

— Краймонд, мой дорогой, ты знаешь, я сделаю все, что хочешь, все, я принадлежу тебе, я — это ты, я пойду за тобой куда угодно. Моя жизнь в твоих руках, моя смерть в твоих руках. Но…

— Но сперва, считаешь, нужно перекусить, поскольку время ланча!

— Нет, книга еще не закончена, а когда она будет закончена, за ней последует другая… К тому же…

— К тому же?

— Я хочу еще раз потанцевать с тобой.

— Возможно, потанцуем, когда-нибудь, при конце мира.

— И тогда, при конце мира, ты научишься плакать. Пожалуйста, больше не пугай меня такими безумными речами. Знаю, ты жаждешь вечности, но мы предадимся ей в свое время. Такова, в конце концов, любовь. Идем…

— Нет, не могу есть, не могу работать…

— Идем в постель.

— О, моя Джини, моя королева, если б только

там было одно это!..

~~~

— Это дитя умирает, — сказала Вайолет Хершоу Гидеону Ферфаксу. — Решила умереть. И умрет от изнурительной болезни, от таинственного вируса, от туберкулеза, депрессии, недоедания…

— А мы не можем помешать?

— Кто это «мы»?

— Ты и я. Объединим усилия. Что скажешь?

— Нет.

— Не хочешь помешать ей, не против, чтобы она умерла, желаешь, чтобы она умерла?

— Твои слова ничего не значат, вульгарное клише, чтобы давить на психику, ты ничего не понимаешь в настоящем страдании и в жизни со смертью. Не понимаешь, что смерть существует.

— Тут ты, может, права, — согласился Гидеон, — хотя, объективно говоря, если позволительно употребить сие известное наречие, создается впечатление, что ты не желаешь Тамар добра, даже предпочла бы, чтобы ее не существовало. Тебе действительно все равно, если она совершит самоубийство? Впрочем, как ты говоришь, это опять клише.
~~~

— Она не совершит самоубийство. Она выживет. Вы все считаете ее чистой девой и хрупким цветком. Но это ж сущая атомная бомба в миниатюре. Почему не дал знать, что зайдешь?

— Так у тебя больше нет телефона.

— Не могу позволить себе. Ты наверняка зашел не просто так. Мог бы написать.

— Не мог планировать так далеко вперед. Ты в своем репертуаре, все разыгрываешь драму.

— Испугался, что письмо будет свидетельством.

— Свидетельством чего? Моего интереса к Тамар, моего интереса к тебе?

— Ты явился ради нее.

— И ради тебя, так как тебя не отделить от нее, и ради тебя самой.

— Ты сочувствуешь мне, жалеешь, презираешь…

— Как ты перескакиваешь с одного на другое! Мы привыкли часто видеть Тамар, теперь она отказывается от наших приглашений, полагаю, под твоим влиянием. Не будешь против, если я в ближайшее время серьезно поговорю с ней?

— Буду, и категорически.

— Я очень люблю это дитя, и Пат тоже ее любит, и Леонард…

— Пат всегда до смерти боялась, что Леонард захочет жениться на Тамар. Не беспокойтесь! Моя семья не собирается сближаться с вашей ни под каким видом, никогда!

— Собственно, я пришел сказать, что Патрисия и я хотели бы удочерить Тамар.

— Ты имеешь в виду — официально?

— Если возможно. Во всяком случае де-факто.

— Вы жаждете иметь власть над ней. Это идея Пат, чтобы Леонард не мог на ней жениться.

— Ты всегда страдала подозрительностью, но это уже паранойя. Тут есть один момент, я просто ставлю тебя в известность. Первое, что мы намерены сделать, это дать денег, чтобы Тамар вернулась в Оксфорд. Знаю, ты сказала «нет» Роуз и Джерарду, но я хочу убедить тебя, что мы — особый случай, я во всяком случае.

— Тамар единственное, что у меня есть, а вы хотите отобрать ее у меня.

— Ты сама не получила образования и против того, чтобы она его имела.

— Я не принимаю денег от других.

— Предпочитаешь жить за счет Тамар.

— Я столько лет работала, чтобы поставить на ноги эту девчонку! Что ж мне, вечно вкалывать? Она молода, у нее хорошая работа, теперь она

должна зарабатывать. Ты насмехаешься надо мной, что я необразованная. Я бы тоже зарабатывала, если б могла найти работу.

— Именно это я и собираюсь тебе предложить.

— «Помогать» Пат в качестве «домработницы». Нет уж, спасибо!

— Ты могла бы помогать мне в офисе. По-моему, Пат говорила тебе об этом в Ночь Гая Фокса. Серьезно, Вайолет, только посмотри на эту квартиру, посмотри на себя, в каком вы положении. Ты и Тамар как два больных зверька в грязной коробке, надо каждый день проверять, живы ли вы еще. Я не хочу стоять и смотреть, как вы чахнете тут от зависти, горя, хронического несчастья и недостатка любви. Ты умна, привлекательна, если причешешься, можно и подкраситься, ты по-прежнему выглядишь молодо. Мой бизнес расширяется. Собираюсь открыть галерею на Корк-стрит и шикарный офис с фикусами и всяким умным оборудованием, так что мне нужен там кто-то, кому я могу доверять. Подучилась бы, хотя бы кое-чему, никакой особой магии там нет. Патрисия этим вряд ли станет заниматься, да и ненавидит она подобные дела. А ты бы там заправляла, тебе будет интересно, чем киснуть здесь и умирать от тоски и скуки. Разве не хо-

чешь найти применение своим мозгам, своим талантам, вместо того чтобы впустую тратить их на бесконечное перебирание обид? Ты и Тамар могли бы и жить с нами, большой семьей, по крайней мере какое-то время, разместиться в квартире, которую мы занимаем сейчас. Убираться там не нужно.

— А как ты предполагаешь поступить с Джерардом?

— От него мы избавимся. Мне нужен этот дом. А если не получится, купим себе другой, побольше.

— Я думала, Патрисия хочет, чтобы я прибиралась и готовила, как прежде.

— Просто тогда была крайняя ситуация. Сейчас я предлагаю нечто совершенно новое. Я хочу, чтобы Тамар преобразилась, и ты тоже. Встряхнуть вас, почистить, выбить пыль, одеть модно, красиво, ярко. Вы одеты безвкусно, у вас никакого чувства цвета. Я, может, сам займусь модельным бизнесом, во всяком случае печатаньем на ткани. Вайолет, я серьезно это говорю.

— Нет, это все несерьезно.

Гидеон заявился неожиданно, в одиннадцать утра, войдя в незапертую дверь, и нашел Вайолет на крохотной кухоньке, где она завтракала, уткнувшись в газету. В раковине колыхалась

пирамида немытых тарелок. Буфет был забит консервными банками, бутылками, бечевкой, плесневеющим хлебом, кастрюлями с остатками какого-то варева, невскрытыми конвертами со счетами. Гидеон, глядя уголком глаза на все это скопище, подумал, что оно напоминает абстрактную картину художника-экспрессиониста, которую он только что купил. Вайолет, когда он вошел, сняла очки. Застигнутая врасплох, она выглядела ужасно. Каштановые волосы, немытые и нуждающиеся в стрижке, висели крысиными хвостиками, лицо сальное, старая болтающаяся кофта надета наизнанку, свитер слишком тесен и слишком короток, юбка перекошена и толком не застегнута. На ногах толстые шерстяные носки. Она сидела согнувшись, чуть ли не водя носом по строчкам. Дорогие контактные линзы вышли из строя. Она, очевидно, почувствовала, что, поскольку застигнута врасплох в ужасном виде, надо изобразить, будто она такая вот оригинальная.

Гидеон, благоухающий лосьоном после бритья, примостился на стуле напротив, поспешно прикрыв сиденье как будто чистым пластиковым пакетом из буфета. Слегка качнул стул, чтобы отодвинуться от липкого пятна на полу. Стул

нехотя отлип с чмокающим звуком. На Гидеоне был темный костюм, красновато-розовая рубашка и бледно-желтый галстук с синим рисунком. Его вьющиеся волосы, более темные и более вьющиеся, чем у Джерарда, сияли здоровым блеском, полные алые губы были влажны, толстые щеки довольно разрумянились на холодном воздухе.

— Ты думаешь, Тамар — само совершенство, — сказала Вайолет, — все так думают. Почему вы сейчас заволновались за нее?

— Она слишком совершенна. Я не могу не чувствовать тревоги за нее. Один человек в ее издательстве сказал другому, который передал мне, что она выглядит по-настоящему больной. Ты сама сказала, что она умирает.

— В последнее время она невозможна. Не ест и вид какой-то несчастный, и молчит, говорить со мной не желает, словно призрак в доме поселился.

— В обществе бывает, ухажеров незаметно?

— Нет. Да она бы и не сказала. Уходит по вечерам. Думаю, просто бродит по улицам. Лишь бы сбежать от меня и от телевизора!

— Нет, серьезно, Вайолет, позволишь мне помочь? Приняла же ведь деньги Мэтью.

— Откуда ты знаешь? Тут другое, эти деньги

он был должен своему брату, да в любом случае деньги-то небольшие.

— Ладно, ты не желаешь связываться с Роуз и Джерардом, но я не такой, как они, они недотепы, а я человек деловой. Могу реально помочь. Взять на себя заботу о ней. Кроме того, я другой, потому что я — это я.

— Я забыла, кто ты такой.

— Неужели не помнишь «Привет, свингер»?

— Нет.

— Когда-то давно мы были знакомы.

Наверное, самой ужасной тайной Вайолет было то, что она знала Гидеона, когда они были молоды, лет по двадцать, прежде, чем он встретил Патрисию, больше того, Вайолет их и познакомила. Гидеон, в то время застенчивый еврейский паренек, изучавший историю в лондонском колледже, не произвел на нее впечатления. Папаша Гидеона (беженец, который сменил фамилию на Ферфакс, позаимствовав ее из комической оперы Гилберта и Салливана) держал на Нью-Кингс-роуд лавку подержанных вещей. Вайолет влюбилась в студента-музыканта, который образовал поп-группу. К тому времени, когда она дозрела, чтобы заинтересоваться Гидеоном, его уже присвоила Патрисия. Убеждение, что Гидеон

был слегка «увлечен» ею, но, удостоверившись в ее равнодушии к нему, перенес внимание на ее кузину, которое поселилось в Вайолет черной злокачественной опухолью, с возрастом росло и становилось все черней. Долгие годы она гадала, проговорился ли Гидеон Пат о том туманном, так сказать, эпизоде, но потом успокоилась, предположив, что промолчал. Ни она, ни Гидеон никогда не упоминали о прошлом, но по мере того, как Гидеон из нищего студента превращался в воротилу бизнеса, ощущение, что между ними «кое-что» было, у обоих, похоже, начало преобладать над сознанием, что «ничего» не было.

— Не хочешь ты помогать нам, — сказала Вайолет, — это лишь твоя вечная эйфория, ты во всем успешен, и эта твоя успешность особенно бросается в глаза здесь, по контрасту с этой обстановкой. Это способ выставить себя триумфатором. А нам остается присоединиться к толпе, бредущей за твоей колесницей. Ты хочешь, чтобы мы воздевали очи к небу и пели тебе осанну, но мы на это не способны. Перед кем-то расстилаются воды счастья, перед кем-то черная река. Мы принадлежим к разным племенам.

— Мир счастливых — не мир несчастливых, как сказал Джерард, цитируя какого-то филосо-

фа. Но чего этот философ не понял, так это что счастливые могут иногда забрать несчастливых и пинками и криками загнать в мир счастья. Это то, что могут сделать деньги, Вайолет, вот для чего они существуют.

— Ты любишь деньги, любишь власть, только и всего. Ты законченный эгоист.

— Хорошо, пусть так, но неужели, по-твоему, у меня не может быть каких-то благородных побуждений? Ты знаешь, как я люблю Тамар.

— Заладил: Тамар, Тамар. Думаю, ты влюбился в нее, ты находишь ее физически привлекательной, хочешь стать ей любимым дядюшкой и бог знает кем еще…

— Ох, замолчи. Ну, Вайолет, просто подними голову и для разнообразия посмотри на небо, на солнце. Мне отвратительна картина, которую ты нарисовала: как вы бредете за колесницей. Я хочу тебя и Тамар посадить в колесницу. Где вы будете на Рождество?

— Здесь, конечно, как всегда.

— Даже пытаться не буду представлять себе эту тоску. Послушай… нам больше нет нужды проводить Рождество в Бристоле, теперь, когда Мэтью нет, мы можем отправиться куда угодно. Почему бы тебе и Тамар не поехать с нами? Мы

можем снять дом в Италии. Тамар в Италии никогда не была. Получили бы удовольствие. Поедем, пожалуйста!

— Вот это твоя идея, а не Пат, идея глупая и нелепая. Мы не желаем, чтобы ты или Пат нам покровительствовали, не желаем играть роль скромных благодарных бедных родственников! Да и в любом случае Тамар не захочет ехать, она теперь вообще не хочет никуда выходить.

— Между прочим, это идея и Пат, один я бы до такого не додумался!

— Ты хочешь поделиться своим счастьем с бедняками. Ну а бедняки против. Доброта Пат унижает меня. Как в последний раз, когда со мной обращались, как со служанкой. Тамар очень расстраивается. Я нужна Пат как зримое доказательство ее счастья и удачи! Когда человек по-настоящему в отчаянном положении, сочувствие — это последнее, в чем он нуждается. Я могу жить со своими несчастьями, если только меня оставят в покое!

— Ты сама причина своих несчастий, и ты очень несправедлива. С тобой не обращались, как со служанкой. Ты делаешь невозможным любое проявление великодушия и доброты, да еще выступаешь от лица Тамар, будто она такая же

ничтожная, полная подозрительности и злобной ненависти, как ты.

— Ты презираешь меня, — сказала Вайолет, — я для тебя что пыль под ногами, и думаешь, что имеешь на это право, ты не стал бы говорить таким оскорбительным тоном с кем-то еще.

— Нет, не стал бы, и думаю, что имею право так говорить.

— Ты заявился, как турист, посмотреть, как тут отвратительно и как отвратительно я выгляжу, чтобы рассказать об этом Пат.

В этот момент в дверях кухни показалась Тамар. Она в самом деле напоминала призрак, но не какое-то прозрачное видение, а вполне материальное, как палка, вроде черенка от метлы или указательного столбика, однако явно и ужасно не черенок и не столбик. На ней было длиннополое коричневое пальто и большой, низко надвинутый коричневый берет, делавший ее похожей на странного бледнолицего зверька, чуть жалкого, чуть неприятного. Лишь в огромных, как у зверька, глазах, враждебно заглядывающих в кухню, выражалось подобие разума. Гидеон, не видевший ее какое-то время, был потрясен, будто стал свидетелем некой чудовищной умственной и физической деградации, даже перерождения.

Он тут же воскликнул:

— О Тамар, какая удача, что ты здесь! Я как раз говорил твоей матери, как было бы хорошо, если б ты провела Рождество с нами в Италии, мы снимаем дом…

— Что ты делаешь здесь в такое время, или тебя уволили с работы? — спросила Вайолет.

— Отпросилась пораньше, — ответила Тамар.

— Тамар, так как насчет Рождества, Италии? — закричал, вскакивая, Гидеон, когда Тамар повернулась, чтобы уйти.

— Нет, спасибо.

Тамар скрылась, громко хлопнув дверью.

— Вот видишь? — сказала Вайолет.

Шагая по холодной темной туманной улице утреннего Лондона к своей машине, Гидеон размышлял о загадке Вайолет и Тамар. Как люди могут не хотеть быть счастливыми? Это же полностью против человеческой природы. Он был убежден, что человек старается, и должен тянуться, инстинктивно и используя все ухищрения, сорвать плод счастья, обшаривая ветки и тряся, если нужно, дерево. Он размышлял, но слишком углубляться в этот вопрос ему не хотелось. Он, конечно, повторит попытку. Он слегка преувеличил, сказав, что мысль об Италии пришла ему

совместно с Пат. Он (как Тамар предположила поздней) никогда не рассказывал ни Пат, ни кому-то другому о моменте (хотя был ли такой момент в действительности?), когда нашел, что двадцатилетняя Вайолет очень привлекательна. Не хотелось ничего добавлять к странной той истории, но и отбрасывать ее тоже. Он любил жену и жил с ней счастливо, возможность чего интуитивно почувствовал еще при первой встрече; они были ближе друг к другу, чем многим со стороны нравилось считать. Пат, разумеется, тоже хотела помочь этой несчастной паре, хотя мотивы у нее несколько отличались от тех, которыми руководствовался он. Гидеону Тамар представлялась совершенным ангелом, безусловно «сильной добродетельной особой», и он подсознательно понимал, что такое впечатление, лишь частично отвечавшее действительности, возникло под влиянием ее решимости не поддаваться разрушительному воздействию матери. Вайолет назвала ее непотопляемой, атомной бомбой в миниатюре. Вот только Гидеон этому не поверил; когда Тамар отреагировала на его предложение, откровенно не проявив ни малейшей радости, он увидел ее такой, какой Джерард не видел, слишком готовой «сдаться». Возможно, процесс только

начал видимо проявляться. По правде сказать, Гидеон нашел ее физически привлекательной, захотелось похитить ее, но не в каком-то предосудительном смысле, и сделать из нее другого человека: подобающе одеть, увезти в Париж, Рим, Афины, купить ей машину и богатого, успешного, красивого, благородного молодого мужа. А еще захотелось увезти Вайолет, чтобы встряхнуть ее, пробудить к жизни, но это желание было более сложно выполнимым и, наверное, бесполезным, даже неблагоразумным или бессмысленным. Ему припомнились времена, когда она была «свингером», а он (имевший тогда какое-то глупое прозвище, которое не хотелось вспоминать) не то чтобы испытывал к ней глубокое чувство, но что-то вроде привязанности, его взволновало это воспоминание и она сама как нечто сопровождавшее его на протяжении всей жизни; и ему стало жалко ее, хотя он ни во что ни ставил подобное чувство и неизменно воспринимал как, может, чувство эйфории, эгоизма и власти, в которых она обвиняла его. И, шагая дальше, он отбросил эти непростые мысли и стал думать о своем отце, которого любил, но с которым у него никогда не было настоящего взаимопонимания (такого, как, например, с Пат). Конечно, отец

радовался, что сын богат, и радовался (должен был радоваться), что сейчас окружен всем, что могут дать деньги. Но отец хотел, чтобы сын, его единственный ребенок, стал доктором, и до сих пор с ностальгией говорил о прежних трудных временах на Нью-Кингс-роуд. Взаимная любовь (а она была взаимной) не обеспечивает взаимопонимания. Благодарение небесам, Леонард очень близок с дедом, как в детстве с бабушкой, давно уже покойницей. Она тоже была своенравной. Конечно, у них обоих было тяжелое детство. От предков и их детства Гидеон с легкостью перескочил на рисунки Бекманна[82], которые, думал, удастся приобрести за разумную цену. Затем, подходя к своей красивой машине, задумался о себе и расплылся в улыбке.

Тамар отпросилась на полдня, чтобы пойти к Лили Бойн. В ее одиноких страданиях Лили казалась единственной, кто мог практически помочь ей, и Тамар срочно требовалось хотя бы обсудить это.

---

**[82] Примечания: 82**

Бекманн, Макс (1884–1950) — выдающийся немецкий художник-экспрессионист, чье творчество представляет собой символический комментарий к трагическим событиям XX века; последователь Эдварда Мюнха. В 1933 г. в нацистской Германии его искусство было названо дегенеративным, с соответствующими последствиями для художника.

Когда Тамар, вернувшись домой из аптеки, одна в своей крохотной спаленке окончательно убедилась, что беременна от Дункана, она подумала, что сойдет с ума, что придется покончить с собой, и, вообще говоря, лишь только мысль о том, как она это сделает, уберегла ее от помешательства. В ее робких amours[83] Тамар всегда преследовал страх забеременеть, и этот страх был главной причиной того, почему она уклонялась от физической близости, испытывала к ней чуть ли не отвращение. Она бывала свидетельницей постыдного положения, в котором оказывались ее сокурсницы; и какой-то инстинктивный пуританизм, как часть ее отчуждения от матери, породил в ней неприязнь ко всему, что касалось промискуитета, и глубокий и не вполне разумный ужас перед мыслью о детях, рожденных вне законного брака. Она была счастливей без «путаницы» в отношениях и уверена, что никогда серьезно не влюблялась. Что же до случаев, когда постели избежать не удавалось, то потом ее преследовало чувство вины и раскаяния. Она никак не опасалась своего внезапно вспыхнувшего чувства к Дункану,

**[83] Примечания: 83**
Романы (фр.).

защищенная от подобных последствий тем, что он много старше ее. Она привыкла воспринимать его как старшего друга, своего рода дядюшку, не столь близкого, как Джерард, а второстепенного. Поняв, что начинает влюбляться в него, Тамар была удивлена, потеряла покой, словно в страхе перед чем-то непостижимым и ужасным, потом обрадовалась, даже пришла в восторг. Наконец-то это или нечто очень похожее случилось и с ней, но (и не в этом ли для нее главное?) в варианте запретном и бесплодном. Быть влюбленной значит быть полностью в чьей-то власти, вся твоя свобода, вся твоя подлинная сущность уже принадлежат не тебе и подчинены другому. И именно потому, что не было никакого выхода (Тамар поняла это позже), она, плененная, зачарованная, отдалась этому новому чувству как чудесной, очистительной, мучительной судьбе. Это чувство она испытывала очень недолго, но с безоглядной остротой, перед тем как отдаться Дункану. Он, конечно, никогда об этом не узнает. Она будет служить и помогать ему, каким-нибудь образом (она не знала как, но, может быть, и это предрешено судьбой) поспособствует его воссоединению с женой; а потом отойдет в сторону со своей тайной болью, которая со временем пре-

вратится в источник чистой радости.

После их близости душа Тамар, ясная и цельная, даже хранившая некое спокойствие, стала темным полем сражения несовместных чувств. Когда она, по сути, затащила своего огромного звероподобного возлюбленного в постель, стискивала его в объятиях и утешала таким образом, это не могло не кончиться бурным восторгом в ответ на его страсть. Но теперь эта ужасная любовь была обречена и опорочена. В то же время она продолжала мечтать, что как-нибудь «все образуется» у них обоих, у нее. Разве нет способа, всегда ведь находится, оставаться чистой и бескорыстной? Видимо, нет, поскольку ее осознанный проступок обернулся непоправимым моральным ущербом, громадным ущербом, который повлечет за собой последствия для нее и других. Она потеряла того неповторимого и безупречного Дункана, которого так нежно держала в своей сдержанной и молчаливой власти, отказалась от него навсегда в обмен на кратковременное наслаждение любовного признанья. Но опять же, как она могла сопротивляться, как ей было отвергнуть его, когда он молил о любви? Она показалась бы ему эгоистичной, малодушной и холодной, а вся ее любовь — ложью, он по-

чувствовал бы себя отвергнутым, никогда не простил бы ее, а она никогда не простила бы себя. Порой она думала, или ей хотелось так думать для собственного утешения, что тот громадный «ущерб» с его страшными последствиями касается только ее, никак не затрагивая Дункана или Джин. Разве не ущерб ее достоинству, не результат того «проступка», не умаление ее важности для него так ужасали ее? Сколь бы тяжкими ни оказались дальнейшие «последствия», она уже сейчас столкнулась с ними, губительными и отвратительными, требовавшими немедленного разрешения. Надо понять чувства Дункана и его соответствующее поведение. Она предполагала, что теперь он станет сожалеть о произошедшем, захочет «остудить» ее, положить конец всяким нелепым идеям, которые их близость могла бы заронить в ней. В конце концов, у него свои проблемы, и он может убедить себя не воспринимать слишком серьезно ее «детские» признания. Положится на ее «здравый смысл». А со временем все это будет казаться банальной историей. Никакого необыкновенного продолжения не последует, он будет добр с ней, даже ласков, даже испытывать чувство признательности; а сейчас отдалится от нее. Когда-нибудь, когда Джин снова вернется к

нему, он все расскажет ей, и эта история вызовет у них улыбку. Неужели он расскажет Джин? До чего неприятно было думать об этом, и Тамар отогнала эту мысль. Она была полна решимости способствовать их мучительному отдалению. Так она и поступала после их близости и вплоть до своего кошмарного открытия. Тамар полностью поверила Дункану, когда он сказал, что не может иметь детей, так что вопроса о «мерах предосторожности» не стояло. Не веря свидетельствам природы, она прошла тест на беременность в основном по свойственной ей мнительности.

Теперь положение, в котором она оказалась, открылось ей во всей сложности. Ребенок был невозможен, немыслим; и все же это ребенок, живое существо, которого, если он появится на свет, ждет большое будущее: дитя Дункана Кэмбеса, ее дитя. Она часто слышала разговоры, что «они» хотят ребенка. Слышала и то, что Джин непременно должна вернуться. Видела выражение смертной муки на лице Дункана. Представляла, как он обрадуется, когда жена вернется. Дункан хотел ребенка. Что ж, теперь он у него есть.

Ужасная реальность ребенка до такой степени поглощала ее внимание, что она почти не могла думать ни о чем другом, словно он уже

властно заявлял о себе, принц (Тамар была уверена, что это мальчик) предъявлял претензии на свою территорию и доказывал свои нрава. Эта поглощенность, это ощущение чудесного другого существа, для истинной матери такой источник радости, для нее было пыткой. Как Тамар могла сказать, что беременна от Дункана, открыться в том, что почти наверняка воспрепятствует возвращению Джин и, даже если Джин вернется, омрачит ее дальнейшую с Дунканом жизнь? Но разве способна она убить ребенка, чудо-дитя Дункана Кэмбеса и Тамар Херншоу, ее дитя? Разве в сравнении с одним лишь его существованием все остальное не было ничтожным? Что же, теперь она обречена проклинать свое дитя, ненавидеть его из-за Дункана, из-за Джин, из-за того, что ей недоставало особого мужества, какого требовало ее положение? Возможно ли скрыть дитя, притвориться, что оно чье-то еще, что она его усыновила? Она знала, что, если дитя появится на свет, никогда не сможет заставить себя отказаться от него. Если бы только можно было рассматривать это просто как вопрос прав Дункана и прибежать к нему, сказать: «Вот ваш сын». Обрадуется ли он или придет в смятение? Он может когда-нибудь захотеть принять ре-

бенка, но не сейчас и не этого. Она повторила то же, что сделала ее мать, разрушила свою жизнь, заимела ребенка не от того мужчины. О, если б только можно было исчезнуть, забрав ребенка с собой, стать кем-то еще и чтобы о ней никогда больше не слышали! Нет, нельзя так рисковать будущим, даже думать об этом нельзя, ей нужно время, но часы не остановить.

Но разве все в любом случае не станет известным, а раз так, не признаться ли сейчас? Она уже рассказала одному человеку, священнику, отцу Макалистеру, который посоветовал сохранить ребенка и уповать на Бога. Тамар была уверена, что отец Макалистер никому не проговорится. Но сам факт того, что она решилась рассказать ему, показывает, что если она смогла сделать это один раз, то сможет и другой. Конечно, она не рассказала ему никаких подробностей, лишь самую суть, обманула его, так что от его совета ей было мало проку. Она сказала, что не знает, как правильно поступить, но не раскрыла, в чем проблема. Отказалась говорить об отце ребенка, сказала просто, что это некий студент. Священник все понял и сказал, что она утаивает что-то существенное, но добавил, что его совет в любом случае верен. Он хотел увидеть ее еще, даже изъявил готовность

приехать в Лондон, но Тамар в ужасе от собственной смелости отказалась и убежала. Признание не помогло, не облегчило душу, и это было еще одно, что внушало сожаление и страх.

А теперь вот она совершила другую глупость, рассказала Лили Бойн. И уже пожалела об этом. Она понимала, почему сделала это — чтобы выиграть время или, скорее, обмануть его. Она чувствовала: пока она решает, что ей делать, можно было бы, по крайней мере, узнать подробней об одном из возможных выходов из положения. То есть где и как сделать абсолютно приватным образом аборт и сколько это будет стоить. Конечно, запрета на подобную вещь не существовало и все можно было сделать обычным порядком: обратиться в консультацию, получить направление и так далее, но это почти наверняка означало, что ее тайна перестанет быть тайной. История, которую она не без подробностей поведала Лили, была в этих подробностях выдуманной (она постепенно училась лгать): мол, провела безрассудную ночь с внезапно появившимся приятелем из Оксфорда. Тамар не ошибалась, предположив, что Лили «все знала об этом». Лили сама делала аборт, как она призналась Тамар, и понимала, что чувствовала бедная девочка. Она знала такое место,

даже предложила оплатить процедуру, но Тамар отказалась. Поклялась, перекрестившись, что не проболтается ни единой душе. Когда Тамар ушла, сказав, что еще подумает, она чувствовала, что разговор с Лили об аборте, в сущности, означал, что она решилась на него. Этого ли она хотела: ощущения, что жребий брошен? Действительно ли после всего, сказанного себе, возненавидела своего ребенка? Сегодня она собиралась вновь поговорить с Лили, словно увидела в ее помощи важный и действенный способ обогнать время.

Лили полулежала на диване, устроив себе на нем «дневную постель»: постелила полосатую красно-черную простыню и бросила подушки в тон от «Либертиз». На ней было шерстяное тонкое зеленое платье-«рубашка» поверх белой шелковой сорочки. Волосы слегка смазаны недавно разрекламированным маслом, лицо строгое и почти без косметики. В квартире было очень тепло. Шторы на окне задернуты, все лампы горели, хотя было всего три часа дня, правда туманного. Тамар почти сразу ушла из квартиры матери, куда возвращалась лишь затем, чтобы поддеть лишний жакет, и опасалась, как бы Гидеон не задержал ее. А до того, чтобы скоротать время до оговоренного часа, ходила по улицам, как верно

предположила мать, когда говорила, куда она исчезает по вечерам. Она заказала сэндвич в кафе, но есть не смогла. Она и ребенок ходили и ходили по улицам. Она и ребенок поднялись на лифте до квартиры Лили.

Тамар придвинула стул к Лили и сидела, положив руки на колени и глядя в пол. Она чувствовала себя такой подлой, такой виноватой, такой подавленной, так разрывалась от принятого решения и мучительного ощущения иной жизни, бьющейся в ней, что боялась, сил не хватит заговорить. Однако она заговорила, мертвым голосом, голосом трупа, спрашивая Лили и отвечая на ее вопросы.

Лили, глядя на Тамар, видела, как та несчастна, и очень жалела ее. В то же время Лили не могла не чувствовать легкого ликования, это был миг ее возвышения, ее могущества. Вместо драгоценного сборища этих чертовых мудрецов, думала она про себя, Тамар обратилась к ней, ничтожной! Конечно, в таких случаях женщина со своей проблемой бежит к женщине, и Лили была не прочь проявить женскую солидарность. А еще грело (как же без этого), что сильные мира сего так опустились! То, что знатная безупречная Тамар попала в столь неприятное положение,

заставило Лили более философски отнестись к собственным неприятностям. Имело также значение, что тебе доверяют такую тайну, и было приятно чувствовать себя опытной, даже мудрой. Тамар могла бы пойти к Роуз, но Роуз была бы в шоке, Роуз наверняка не знала бы, куда направить Тамар, и скорей всего посоветовала бы сохранить несчастное дитя! В любом случае Тамар вряд ли могла бы надеяться, что Роуз не расскажет все Джерарду, а в его-то глазах она как раз хочет оставаться чистой! Бедная девочка!

Лили посоветовала Тамар частную клинику в Бирмингеме. (Анжела Парк побывала там в сходных обстоятельствах.) Тамар, похоже, воображала, что все происходящее в Лондоне автоматически становится известно им.

— Знаешь, это не больно и делается очень быстро. Тебе надо было быть умней и побеспокоиться об этом раньше. Ты ничего не почувствуешь. Тебя оставят там на день-два отдохнуть. А потом будешь свободна как ветер. Вижу, тебе сейчас тяжело, сильно переживаешь. Могу сказать, это самое трудное время, потом, когда все закончится, будешь чувствовать себя совершенно иначе, наступит такое облегчение, что будешь танцевать и петь! Смотри на это как на болезнь,

от которой нужно излечиться, как на опухоль, которую предстоит удалить. Аборт — пустяк, способ контролировать рождаемость. Не относись к этому слишком серьезно. Все мы проходим через это… или почти все.

— Мне нужно будет назваться?

— Ну, некоторые девушки говорят вымышленное имя, но все же есть какой-то риск, и врачи не любят этого. Лучше скажи настоящее… у тебя есть еще имя, кроме этого забавного?

— Да, Марджори.

— Ну надо же, Марджори, не очень тебе подходит! Нет, на самом деле оно мне нравится. Ты можешь назваться Марджори Херншоу, звучит вполне обычно. Может, стоит прикинуться замужней и сказать, что хочешь скрыть это от мужа, собьешь людей со следа! Нет, лучше не надо. Все равно никто не станет ничего разнюхивать. Не волнуйся! Я, разумеется, ни словом ни проболтаюсь. Все уйдет в прошлое, развеется как дым, ты снова почувствуешь себя чистой, здоровой и свободной.

— Ты не чувствовала?..

Тамар не могла продолжать. Надо запретить себе думать о младенцах, отбросах хирургической операции, умирающих, как рыбы, вытащенные

из воды, умирающих, как маленькие рыбки, на белом столе. Она гневно смахнула слезы, не имела она права плакать здесь. Перед глазами плясали зеленые и палевые квадраты ковра. Того гляди упадет в обморок.

— Нет, не чувствовала! — твердо сказала Лили. Она не собиралась допускать, чтобы слезы Тамар подействовали на нее или заставили вспомнить то, через что прошла сама, и ничего другого, кроме удачного избавления от проблемы. — И ты не будешь чувствовать, когда все останется позади! Мне позвонить за тебя?

— Нет!

— Знаешь, они могут не сделать это сразу, а время имеет значение.

— Нет. Лили, послушай, в последний раз ты была так добра, что предложила оплатить…

— Оплачу, оплачу…

— Я не хочу этого, но, если окажется, что это необходимо, я была бы рада одолжить немного…

Размышляя после первого разговора с Лили, Тамар была в смятении от того, какая большая сумма требовалась, и не представляла, каким образом выплатит ее из своих сбережений. Большую часть зарплаты она отдавала матери.

— Ну конечно-конечно! Небось он-то не возра-

жает? Не то чтобы это имело значение, все же в любом случае это твоя забота.

— Нет, он не возражает.

— А почему сам не может оплатить?

— У него совсем нет денег.

— Ну да, только так говорит!

— Все равно его сейчас нет.

— Чертовы мужчины, всячески стараются уломать тебя, не предохраняются, а потом, когда ты залетаешь, ищи ветра в поле. Уверена, ты даже не сказала ему. Знаешь, нужно было тебе принимать таблетки. Ладно, когда возьмемся за это дело? Ты хотя бы уже решилась, да?

— Нет… не совсем…

— Тамар, дорогая, не глупи, не будь сентиментальной, просто подумай. Никому не нужна девушка с внебрачным ребенком, мужчины считают позором для своего мужского достоинства жениться на девушке с чужим ребенком. Если у тебя малыш, черта с два выйдешь замуж, черта с два найдешь даже любовника. Парни бывают не в восторге, когда дверь им вдруг открывает милый крошка! Да и с твоей карьерой как же, с работой, а мамаша что скажет? Или собираешься просить Вайолет присмотреть за бесенком, пока ты на работе? Может, бросишь работу и будешь жить

на пособие? А подумай, каково будет дальше! Бедный ребенок будет чувствовать себя несчастным, это верный рецепт, чтобы быть несчастными вам обоим. Он будет ненавидеть школу, ненавидеть других детей, его будут мучить, тебя будут мучить. В этом, ха-ха, обществе вседозволенности, знаешь ли, по-прежнему так! А если по чистой случайности выйдешь замуж и родишь еще детей, этот твой ребенок станет чужим в семье. Только представь себе это, ради всего святого! И не воображай, что надо отказаться от мысли об аборте, родить, а там уж посмотреть, что будет, и не думай, что это легко, отказаться от ребенка потом. Когда он родится, твой дорогой малыш, это будет сделать в тысячу раз мучительней, не говоря о том, что беременность — это кошмар. Хочешь носиться с ним и, заливаясь слезами, подписывать всякие бумаги? И все равно ничем себе не поможешь, потому что всем все станет известно! Пока же никому не обязательно ничего знать! Ради бога, соберись с духом и сделай это сейчас! Я тебе ясно все объяснила?

— Да.

— Ну тогда, глупая, я звоню?

— Нет.

Раздался звонок домофона, Лили с сердитым

ворчанием соскользнула с дивана и сняла трубку:

— Кто там?

Прикрыла трубку ладонью и повернулась к Тамар:

— Это Гулливер. Послать его к черту?

— Нет-нет, я как раз ухожу, надо идти.

— Поднимайся, — крикнула Лили в трубку, а Тамар сказала: — Учти, девочка, ты должна прийти ко мне завтра и сказать, что ты решилась. Придешь, да?

— Хорошо.

— Приходи в одиннадцать утра.

— Да. Спасибо тебе.

— Подожди, перекинься парой слов с Гулливером, он ничего не заподозрит, а если что и подумает, наплету что-нибудь, это я умею.

Она пошла открыть дверь:

— Привет, Гулл, тут у меня Тамар, но она уже уходит.

Тамар надела пальто, надвинула на лоб коричневый берет:

— Привет, Гулл, я должна бежать. Спасибо тебе, Лили.

— Увидимся завтра, дорогая.

Тамар выскользнула в дверь.

— Что это с ней? — спросил Гулливер. — Она плакала. Что ты ей такого наговорила?

— Просто помогаю ей.

— А что у нее за проблемы?

— Так, с ее парнем. Дала ей мудрый совет.

— Как вы, женщины, умеете поддерживать друг друга, — ласково сказал Гулливер. — Ты мне рада?

— Да. Я думала о тебе. От тебя пахнет холодом и туманом, приятный запах.

— На улице темно, как ночью.

— Ну так почти ночь. Люблю Лондон зимой, когда дневного света вообще почти не видишь. Что-то не замечаю у тебя баков, которые ты собирался отращивать.

— Не могу же я отрастить бакенбарды за два дня!

Гулливер снял пальто, бросив его на пол, и остался в светло-сером костюме с темно-зеленым кардиганом, белой рубашке и оранжево-желтом галстуке. Поскреб щеку там, где на месте обещанных украшений еще только пробивалась щетина. Взглянул на Лили, которая подняла с пола его пальто, оглядел ее всю, от странно лоснящихся волос до маленьких ножек с короткими пальчиками. Он замечал, что она прикладывает усилия,

чтобы выглядеть моложе, но теперь она часто казалась ему моложе. Ее слабый голос и дребезжащий смех, которые когда-то раздражали его, теперь он находил сексуальными. Спустившиеся носки и гамаши тоже смотрелись сексуально. Дорогая Лили была неидеальна, но она была тут, а больше никого у него не было; и у нее, пришло ему в голову, он имел такой успех, какой редко доводилось иметь у других женщин. Конечно, она сильно выросла в его глазах после той сцены на льду в Боярсе, которая часто виделась ему во сне. Прошлой ночью ему приснилось, что он танцует с Лили во дворце в Японии. Да, они танцевали вместе и в реальности, на памятном летнем балу, но тогда он, похоже, был сильно пьян и мало что помнил.

— Давай сходим как-нибудь потанцевать, — сказала Лили, бросая его пальто на спинку стула.

— Ты читаешь мои мысли. Как только смогу найти работу, так и сходим.

— Нельзя все время откладывать на потом. Мне в моей жизни нужен мужчина.

— В твоей жизни есть я…

— Останься сегодня со мной.

— Но я ни на что не гожусь.

— Пойдем в отель. Обожаю отели. В отеле инте-

ресней, больше возбуждает.

— Если уж алкоголь не помог, то и отель наверняка не поможет. Что ты сделала со своими волосами?

— Да какое, в конце концов, значение имеет секс, так, простая формальность. Любовь, вот что важно.

Гулливер надвинулся на Лили и подхватил ее на руки. Никогда прежде он не решался на такое. И был доволен, как это у него получилось. Она была очень легкой. Подержав секунду, он медленно поставил ее на ноги и прижал к себе. Удивленная его порывом, она порозовела, а в светло-карих глазах заиграл смех.

— А что, если нам пожениться, — сказал Гулливер, — когда я найду работу?

— Не глупи! — ответила она. И тут же сказала: — Ох, Гулл, иногда я чувствую себя такой несчастной, в мире столько всего ужасного!

Из глаз ее покатились слезы; она оплакивала все скорби мира, Тамар, неродившихся детей и свою невозможность любить и быть любимой.

Джерард, Роуз, Дженкин и Гулливер сидели в одном конце стола в доме Джерарда. В другом конце расположился Краймонд. Было одиннадцать утра. Дождь прекратился, но небо было по-преж-

нему бледное, затянуто облаками, которые нес восточный ветер. В комнате было несколько прохладно, Джерард относился к центральному отоплению (по семейной привычке Ферфаксов) как истинный спартанец. К удивлению Джерарда, Краймонд позвонил вскоре после их разговора и сказал, что, в конце концов, это недурная мысль: встретиться с комитетом и пояснить некоторые свои идеи, поскольку, как он чувствует, они находятся в заблуждении относительно книги. Джерарда приятно поразило такое благоразумие Краймонда, и он ждал от него более спокойного и обстоятельного рассказа теперь, когда у Краймонда было время на раздумье. Остальные тоже были удивлены, Роуз немного нервничала, и все сгорали от любопытства.

Джерард сказал:

— Уверен, что все меня поддержат, если выражу чрезвычайную благодарность Краймонду зато, что он пришел сюда рассказать нам о своей книге.

После сего краткого вступления Джерард повернулся к Краймонду и сделал приглашающий жест.

Повисла напряженная тишина. Краймонд продолжал внимательно смотреть на Джерарда. Роуз

и Гулливер не поднимали глаз от стола. Дженкин беспокойно взглянул на Джерарда. Джерард — на Краймонда, ожидание в его взгляде постепенно гасло.

Наконец он произнес:

— Итак…

И в тот же миг Краймонд сказал:

— Мне особо нечего рассказывать. Я так понял, что у комитета есть ко мне вопросы. Но если вопросов нет…

— Виноват, — вступил Джерард, — если предпочитаешь такую форму разговора, мы не против. Кто-нибудь желает начать первым?

Он оглядел товарищей. Роуз и Гулливер сидели, по-прежнему уставясь в стол. Дженкин, покусывая губу, повернулся к Краймонду. Молчание продолжалось, и Краймонд демонстративно захлопнул блокнот, который было раскрыл перед собой, и чуть отодвинул стул от стола.

Наконец Дженкин сказал:

— Не мог ли бы ты рассказать о своих взглядах на реформу профсоюзов?

— Чтобы усилить их влияние, это ты имеешь в виду?

— Я имею в виду: чтобы сделать их более демократичными и…

— Демократичными? — переспросил Краймонд изумленно, словно услышал удивительное иностранное слово.

— Конечно, право на забастовку — это фундаментальное…

— Меня не интересуют, — прервал его Краймонд, — частные вопросы методики переговоров. Профсоюзы, естественно, — это одна из влиятельных сил в революционной борьбе…

— Какая еще такая «революционная борьба»? — спросила Роуз, покраснев.

— Борьба ради того, чтобы свершилась революция, — нетерпеливо ответил Краймонд.

— Какая революция? — не отставала Роуз.

— Революция, — сказал Краймонд, — это марксистская концепция…

— Это нам известно! — вмешался Гулливер.

— …которая предусматривает полное изменение общественного строя, с самого начала предполагая переход власти от одного класса к другому…

— Тебя удивило слово «демократичный», — сказала Роуз, — можешь объяснить нам, почему?

Роуз сделала стрижку, и ее былая грива, сейчас отчетливо золотистая в электрическом свете, стала менее пышной, поредела, лоб открылся,

придав лицу более строгий и воинственный вид. Говоря, она мельком взглянула темно-синими глазами на Краймонда и вновь уставилась в стол, принявшись изучать легкие царапины, которые оставили ногти Краймонда в его прошлый визит.

— Это старая, исчерпавшая себя концепция, — ответил Краймонд, — и на современном этапе только уводящая в сторону и запутывающая…

— Значит, ты не веришь в парламентскую демократию? — спросил Гулливер.

Краймонд проигнорировал вопрос и, глядя на Роуз, продолжил:

— То, что вы называете демократией, это косная, неэффективная, несправедливая и заведомо устаревшая форма общественной жизни, поддерживаемая установившейся практикой насилия, которого вы явно не замечаете…

— Ты предпочел бы эффективное однопартийное государство, режим, навязанный одной революционной группой? — спросила Роуз.

— В том, как ты формулируешь вопрос, содержатся определенные допущения. — Краймонд позволил себе, возможно из вежливости, слабо улыбнуться. — Существующий у нас режим «навязан», наше старое либеральное заблуждение

об общественном «согласии» развеялось, мы знаем, что с вопиющей несправедливостью и малодушными метаниями, которые мы видим повсюду в этом обществе, покончить нельзя. Демократическое государство неспособно управлять, люди выходят на улицы, разве вы не видите будущего на улицах наших городов? Идея партии демократического парламентаризма у власти — это сейчас препятствие для мысли, от которого необходимо избавиться. Процесс перемен сам по себе вызывает к жизни новые общественные структуры, которые со временем воплотятся в более позитивные и эффективные формы правления с согласия всех сторон. Называть или нет их однопартийным правительством нет смысла, подобный вопрос потеряет актуальность, когда произойдет преобразование. А тем временем… лучше быть готовым встретить будущее, если мы видим, как ужасно, как обреченно настоящее, сколько людей страдает и ненавидит, какое страшное и окончательное отмщение уже назревает…

— Значит, ты одобряешь террор? — спросил Гулливер.

— Не люблю это эмоциональное слово, — нахмурился Краймонд. — Наш образ жизни

основывается на насилии и располагает к нему. Судить надо по существу. А осуждающим обычно на все плевать.

— А мне не нравится, что ты против этого слова, — сказал Гулливер, — ты уклоняешься от ответа и оскорбляешь нас, намекая, что нам на все плевать!

— О нет, я считаю вас ужасно милыми людьми, — сказал Краймонд, глядя не на Гулливера, а на Джерарда, — воображающими, что всю вашу жизнь будет длиться хорошая погода, никаких бурь. Думаю, вы ошибаетесь.

Джерард вступил в разговор нарочито спокойным, задумчивым тоном, чтобы остудить накаляющиеся страсти:

— Но попытку такого «преобразования», о каком ты говоришь, уже совершали, она приводит к тирании, к мерам куда более жестким, несправедливым и неэффективным! Мы несовершенны, но мы — свободное, открытое, толерантное общество, управляемое демократическим процессом и законом, нам не нужно разрушать себя ради перемен, мы меняемся все время, и в основном к лучшему, если сравнить с тем, что было пятьдесят лет назад! Неужели мы должны отбросить все это в обмен на некую неосуществимую гипотетиче-

скую утопию, построенную горсткой активистов после насильственной революции? Ты говорил мне, что не связан с рабочим движением, только сейчас ты сказал о «частных вопросах», которые тебя не интересуют, я думаю, ты одинокий теоретик с интересными идеями, но далекий от реальных проблем власти или реальных перемен в обществе…

— А я не верю, что он не связан, — сказал Гулливер, — и не верю, что он одинокий теоретик. Он желает такого общества. Это единственное, на что такие, как он, способны, и это достаточно реально.

— Вся твоя картина западной цивилизации — это теория, — возразил Краймонд Джерарду, — Весь твой образ жизни поддерживает нищету и несправедливость, за твоими цивилизованными отношениями стоит ад страдания и насилия. Что происходит с диссидентами, когда они прибывают на свой обетованный Запад? Горюют, чахнут, находят все это ужасным, они наконец-то видят все это въяве. Есть такая вещь, как история, я говорю не просто о концепции, выдвинутой Гегелем, Марксом или даже Геродотом, я говорю о глубоком, мощном, неустанном процессе в обществе. Это вы просто отказываетесь замечать. Вы

думаете, что реальность в конечном счете недурна, и думаете, а сами вы тоже прекрасные люди, чувствуете себя уверенно. Вы высокого мнения о себе потому, что вы англичане. Вы живете книгами и разговорами, взаимными восхвалениями и выпивкой — вы алкоголики, — а еще сентиментальными представлениями о добродетели. Вы неэнергичны, ленивы. Настоящие герои нашего времени — те, кто достаточно смел, чтобы дать отвод старой убаюкивающей эгоцентричной самодовольной морали и старому имперскому моралисту, который был монархом всех исследованных им земель! К примеру, мы должны научиться жить с машинами, задуматься над тем, как жить с ними, с компьютерами, с теорией информации, с физикой, — старый самодовольный либеральный индивид уже проиграл, он ничто, с ним покончено, он не может представлять никакой ценности…

— А-а, хватит! — вспылила Роуз. Ее трясло от злости. — Ты продал душу…

— Да, продал, — сказал Краймонд, — и горжусь этим, что проку в душе, этом позолоченном идоле себялюбия! Я продал ее, и могущество, которое я получил взамен, мне пригодится. Оно — сущность нового мира и нового человека. Все вы

делаете идола из своей души, то есть из самих себя. Спросите того, с кем вы солидаризуетесь, так вам скажут, какое место вы занимаете и к какому классу принадлежите. Люди этой планеты не как вы, это им нужно служить, их нужно спасать, голодная овца смотрит просительно и не получает пищи…

— Ты отравляешь их! — воскликнул Гулливер.

— Твои «люди» — это абстракции, — сказала Роуз, — просто смутная идея, которая питает твое ощущение могущества, это тот вид марксизма, которого ты придерживаешься, устарел и провалился, это с ним покончено! Ты не тот новый человек, о котором толкуешь, а всего лишь старомодный надменный маньяк, помешанный на могуществе, который считает себя сверхчеловеком! Говоришь, индивида не существует, — а как насчет голодающих в Африке?..

— В основе твоей морали — чувство, — сказал Краймонд, — я не говорю, что это пустое, но это главным образом тешит ваше сознание. Вы помешаны на экологии и защите животных, сокрушаетесь по поводу голода и высылаете чек, и по поводу насилия тоже, а потом можете забыть об этом на какое-то время, вы не желаете разбираться в реальных причинах, отчего в мире все не

так, как надо. Почему мы не способны накормить планету, почему почти все человеческие существа не оправдывают гордое звание человека? У человека громадный потенциал, способности его разума невероятно велики, у нашего рода еще все впереди, настоящий поиск еще даже не начинался! Ну и конечно, существуют проблемы, требующие разрешения, о которых вы вообще не догадываетесь, уж не говоря о том, чтобы думать над ними!

— Это уже слишком, — не выдержала Роуз, — теперь ты просто стараешься оскорбить нас!

— Вы не слишком вежливы со мной, если на то пошло. Вы просили меня прийти. Не знаете, что возразить мне, даже не способны на серьезное обсуждение моих идей, вот и злитесь!

— Ты говоришь, мы гордимся тем, что мы англичане, — заметил Гулливер. — Ты явно страдаешь комплексом неполноценности из-за того, что ты шотландец и даже не шотландский горец! Мне отвратительны твои идеи.

— Ну а мне — твои. Ты, похоже, все ненавидишь с тех пор, как потерял свое юношеское обаяние.

— Краймонд!.. — предостерегающе сказал Джерард.

— Терпеть не могу скандалистов, а ты как раз

такой! — поморщилась Роуз.

— Все вы завидуете мне, потому что я способен думать, работать, концентрировать усилия, писать, — продолжал Краймонд. — А вы только и можете, что пыхтеть от негодования.

Дженкин посмотрел на листок, переданный ему Гулливером, прочитал написанное: «подлый мерзкий ШАРЛАТАН», и сказал:

— Слушай, Дэвид, так не годится.

— Что не годится? Обмен оскорблениями? Совершенно согласен. Поэтому я просто ухожу.

— Нет, я о твоей точке зрения вообще. Где-то ты серьезно лжешь.

— О, вероятно. Но в вашем мире так принято. Приходится малость преувеличивать, чтобы что-то сдвинулось с места!

— Ты явно решил не заканчивать книгу, потому что знаешь, что она тебе ни черта не удалась, и боишься признаться в этом! — воскликнул Гулливер.

— Единственный из вас, кто хоть чего-то стоит, — сказал Краймонд, вставая, — это Дженкин, да и тот дурак. Кстати, скажу вам, пожалуй, что книгу я только что закончил, так что можете больше не платить мне, если именно это вас беспокоит.

Краймонд ушел. Роуз была в слезах. Джерард принес шерри, и Гулливер налил себе. Дженкин стоял у окна, глядя на желтоватую мглу снаружи.

— Поговорили, называется! — буркнул Гулливер, который стыдился, что потерял самообладание, и злился, что спустил Краймонду насмешку над собой. Шерри умерило его стыд и придало злости.

Джерард перестал расхаживать взад и вперед по комнате и сел рядом с Роуз, которая хлюпала, уткнувшись в платочек. Она была сердита на Джерарда. Опустив платочек, она набросилась на него:

— Почему ты это допустил, почему позволил им кричать друг на друга?

— Ты тоже кричала, — заметил Гулливер.

— Краймонд не кричал, — сказал Джерард, — он позволил нам это делать! Конечно, это никуда не годится, но он выиграл матч.

— А я не считаю, что он выиграл, — продолжал злиться Гулливер, — хотел бы я как-нибудь дать ему пинка. Но удивительно, что книга закончена! Интересно, насколько это правда?

— Разумеется, правда, раз он так говорит. Нужно позвонить Дункану и сказать ему об этом.

— Зачем же он тогда приходил? — озадаченно спросила Роуз. — Наверное, просто хотел ссоры. Какая невероятная озлобленность! Ни словечка благодарности.

— Думаю, на самом деле он пришел, чтобы попытаться объяснить нам свою книгу. Нам следовало быть менее агрессивными в начале разговора. Ты права, Роуз, это моя вина, надо было мне взять на себя инициативу, обдумать, что сказать, мы должны были обсудить это заранее.

— Почему это, черт возьми, должны были… — возмутился Гулливер.

— Но, Джерард, ведь ты уже разговаривал с ним, ты знал, что он, скорее всего, скажет. Зачем же собрал нас всех здесь, чтобы он мог поливать нас грязью?

— То, что он сказал сегодня, — это пародия на то, что он говорил мне. Все это до некоторой степени забавно.

— Не понимаю таких забав.

— Он разыгрывал спектакль, он хотел, чтобы у нас кровь застыла в жилах, хотел напугать нас.

— Ну, меня он не напугал, меня он просто страшно разозлил, — сказала Роуз, сморкаясь в платочек. — А мы тоже хороши. Думаю, он был абсолютно серьезен. Может, он действительно по-

мешался? Он внушает мне какое-то отвращение.

— Он безусловно фанатик, — сказал Джерард. — Его предки были кальвинистами. Он верит в магию.

— А что, кальвинисты верят в магию? — спросил Гулливер.

— Да. В немедленное спасение.

— В нем есть какая-то жуткая жажда смерти, — сказала Роуз. — Думаю, он кровожаден, жесток, люди для него не живые существа.

— Мне он говорил, что люди — это куклы или будут ими.

— Вот видите!

— А ты, Дженкин, что думаешь? — обратился Джерард к спине Дженкина.

Дженкин вернулся от окна и сел рядом с Роуз:

— Роуз, дорогая, не переживай. Конечно, он говорил серьезно, но Джерард прав, он играл, чтобы напугать нас!

— Ну так что ты все-таки думаешь? — сердито повторила она свой вопрос.

— Мне не терпится увидеть книгу.

— Но если она такой же вздор, как…

— О нет, это будет не вздор, это будет глубокая вещь… но я бы хотел объяснить.

— Так почему не объяснил? — упрекнул его

Джерард. — Если б только соизволил вступить в разговор чуточку раньше!..

— Не мог сообразить, как это сформулировать, да и вы все не умолкали ни на секунду… хотел было… понять, как поточней… он исходит из ошибочной…

— Ты говорил о лжи, — напомнил Джерард.

— Ну да… верно… о лжи… что и отвратительно… и все же он может быть прав в том, что…

— В чем — том?

— Что необходимо преувеличивать.

Они ушли один за другим, Дженкин ушел первым, хотя Джерард пытался задержать его, следом за ним Гулливер, который собирался (только, конечно, никому не говорил этого) встретиться с Лили за ланчем и рассказать о том, что тут произошло, после Гулливера — Роуз, которой хотелось позавтракать с Джерардом, но тот уклонился от этого. Проводив их, он и сам вышел из дому. Патрисия и Гидеон были в Париже на выставке Синьорелли[84], так что не нужно было бежать от них, но хотелось походить по улицам, посидеть в пабе, съесть сэндвич и все обдумать.

---

**[84] Примечания: 84**

Синьорелли, Лука (1445/50–1523) — итальянский живописец эпохи раннего Возрождения.

Какое-то время он шагал в зябком тумане, выдыхая пар изо рта, и холодный воздух хватал его за горло. Он был недоволен собой, поскольку не сумел направить собрание, но одновременно испытывал странное возбуждение. Значит, книга закончена; он жаждал прочесть ее, но и испытывал страх. Чего он страшился — что она окажется слишком плоха, или того, что слишком хороша? Ему было жаль, что книга завершена, словно с нею закончилась целая эпоха, ушло напряжение с его животворным влиянием. Что за чепуха! А сегодня, сколько риторики и демагогии и, если подумать, совершенно детской рисовки! И какая необычная личность, удивительно ли в конце концов, что Джин Ковиц стала его рабыней? Джерарду даже подумалось, что Краймонд — эльфоподобный злонамеренный разрушительный дух, периодически посещающий землю, как комета Галлея, может быть, каждые сто лет, может быть, тысячу, не великий, а несомненно из мелких, каких множество, демон, который нашел себе подходящую женщину, безжалостно завладел ею и (продолжал фантазировать Джерард), отбывая восвояси, убьет ее, или она просто умрет, когда он перестанет воздействовать на нее своими чарами, и сам исчезнет в облаке дыма

или под звук револьверного выстрела. Демон, который, как знать, возможно, действительно замышляет нечто вместе с иными, высшими, более могущественными силами.

В дверях дети пели рождественские гимны. Туман сливался с густым плотным желтым светом, и так будет продолжаться до темноты. Джерард почувствовал прилив энергии. Неужто и правда обвинения Краймонда пошли ему на пользу?

~~~

Вайолет несколько раз обыскала квартиру, прежде чем позвонить Джерарду и сказать, что дочь сошла с ума, а теперь вообще пропала. Все происходило в следующей очередности. Вайолет, конечно, уже какое-то время замечала, о чем и сказала Гидеону, когда тот был у нее, что Тамар не ест, стала очень нервна и, возможно, начинает впадать в депрессию. Все это вызывало у нее противоречивые чувства, хотя вовсе не столь ожесточенные, как в тот раз в разговоре с Гидеоном. Где-то в душе она, откровенно признаться, была довольна, видя, что дочь несчастна, и напротив, счастливый вид Тамар был ей оскорбителен. Несчастная Тамар воспринималась ею как справедливость, а радостная как несправедливость. С другой стороны, Вайолет не могла отнестись равнодушно к предположению Гидеона, что в том, что Тамар находится в угнетенном состоянии и даже помышляет о самоубийстве, возможно, есть ее вина. Не хотелось, чтобы ее считали виновной в чем-то подобном. Она хотела быть жертвой, а не убийцей. То, что Вайолет не верила в серьезность страданий Тамар, объяснялось еще и тем,
~~~

что Вайолет относилась к Тамар как к своей собственности, своему порождению, больше того, своей дочери. Те, кто утверждал (как, например, Гидеон), что, несмотря на все признаки обратного, Вайолет в действительности любила Тамар, был прав лишь частично. Она была привязана к дочери, и это помогало ей верить, что Тамар не попала в серьезную беду, что она просто переживает переходный возраст или же притворяется.

Тамар явно была на грани, когда объявила Вайолет, что уезжает на несколько дней. Куда? Тамар не могла сказать. Зачем? Начальство хочет, чтобы она провела какой-то практический эксперимент с путешественниками, которые посещают книжные магазины. Вместе с другими, согласившимися в нем участвовать, она будет останавливаться в отелях, в каких, она не знает. Нет, платить за проживание в отелях она не будет. И вот ее нет уже несколько дней. Вайолет заподозрила обман и после отъезда Тамар проверила ее, сделав анонимный звонок в издательство, ей ответили, что мисс Херншоу нездорова и находится дома. Поразмыслив, Вайолет решила, что Тамар уехала с молодым человеком. Такой вариант крайне встревожил ее, больше того, она боялась подумать об этом и успокаивала себя

тем, что Тамар скоро вернется, такая же угрюмая и безразлично-покорная, как всегда. Но когда Тамар возвратилась, Вайолет пришла к убеждению, что дочь сошла с ума, что она не просто тихая, а буйнопомешанная.

Появившись дома днем, Тамар, не говоря ни слова и не отвечая на вопросы матери, даже не глядя на нее, сразу прошла в свою спальню, сбросила пальто, обувь и повалилась на кровать. Она не переставая плакала и охала, бормотала что-то, металась и временами негромко истерически вскрикивала. Когда Вайолет принесла ей кофе и сэндвич, она оттолкнула поднос с такой силой, что все полетело на пол. Рвала и кусала простыни. Так продолжалось до темноты, стоны слышались и когда Вайолет (которой, устав от всего, удалось забыться коротким сном) проснулась утром. В такой неистовости горя было что-то ненормальное, бедняжка явно лишилась рассудка, если из ее комнаты доносятся подобные звуки и так долго; есть что-то такое, что называется безумной силой, и Вайолет казалось, что это как раз такой случай. Она вышла из дому и позвонила врачу. Вернувшись, обнаружила, что Тамар исчезла.

Телефон Джерарда не отвечал. Джерард пошел в Британский музей, Гидеон был в своей новой

галерее, Патрисия отправилась на распродажу в «Харродз», прикупить египетские хлопчатобумажные простыни. Тогда Вайолет позвонила Роуз. Та была дома; известие, естественно, поразило и встревожило ее. Нет, Тамар не у нее, и она не имеет представления, где та может быть. Поскольку Вайолет была в телефонной будке, Роуз сказала, что обзвонит знакомых, а Вайолет следует вернуться домой и ждать, не беспокоиться, Тамар, возможно, скоро придет. Роуз позвонила Дженкину, который тоже ужасно огорчился, но не знал, где искать пропавшую девочку. Нет, он не думает, что стоит сообщать в полицию, просто еще преждевременно. Роуз обещала перезвонить, если у нее будут какие-то новости. Она набрала номер Дункана, который был взволнован и удивлен, но помочь ничем не мог. Попросил Роуз непременно сообщить ему, когда Тамар найдется, он считал, что неврастеничная и неуравновешенная Вайолет, возможно, все преувеличивает, как обычно. Затем Роуз снова позвонила Джерарду, но безрезультатно, и Гулливеру, но тот ушел подавать заявление о приему на работу. В конце концов она позвонила Лили.

Лили ответила, попросила секунду подождать, после чего тихо пробормотала в трубку, что да,

Тамар у нее, с ней все в порядке, но, пожалуйста, пусть никто за ней не приходит. И резко положила трубку. Роуз перезвонила Дженкину и Дункану. Дженкин сказал, что возьмет такси и съездит к Вайолет, сказать, что с Тамар все хорошо. Роуз сказала, что зайдет к Лили.

Она набрала номер на домофоне и назвала свое имя. Вскоре спустилась Лили, приоткрыла дверь и враждебным тоном спросила в щелку, что ей нужно. В ответ на тревожные расспросы сказала, что Тамар в порядке, не больна, отдыхает и, пожалуйста, не могли бы их оставить в покое, извините. Дверь захлопнулась, озадаченная и обеспокоенная Роуз отправилась домой, позвонила Джерарду, но тот еще не возвращался.

Тамар, конечно же, не была «в порядке», а, можно сказать, сходила с ума. Операция осталась позади, злополучный эмбрион удален. Но ощущения облегчения и освобождения, обещанного Лили, не появилось. Тамар шла в клинику, словно во сне, шагала, как автомат, с безжизненными глазами. Вышла — сплошное понимание, сплошное саднящее, страдающее, мучительное осознание содеянного. Теперь она видела, теперь, когда было просто ужасающе, абсолютно слишком поздно, что совершила страшное пре-

ступление: против Дункана, против себя, против беспомощного, полностью сформировавшегося, уже присутствующего человеческого существа, которого умышленно уничтожила. Она обрекла себя на пожизненное горькое раскаяние и ложь. Она была приговорена до своего конца каждый день и каждый час думать о том потерянном ребенке, и он, тот ребенок, неповторимый, драгоценный, убитый ребенок будет присутствовать в каждой складывающейся у нее картине мира, и ей придется хранить эту ужасную тайну вечно, пока не состарится, ну, разве что не доживет до старости, умерев от горя. Почему надо было это делать, почему надо было торопиться, чтобы быстрей все закончить, чтобы быстрей наступило облегчение, словно облегчение возможно, почему не предвидела теперешнего кошмара, когда ребенок мертв, мертв и бесчувствен, смыт, как утонувший котенок, которого она когда-то видела в реке в Боярсе, как предзнаменование смерти? В клинике ей, плачущей, но пока еще не так отчаянно, дали снотворное, она уснула и видела во сне ребенка, который теперь будет сниться ей постоянно, зловещий, мстительный, обвиняющий, превращая ее отдых в кошмар. Сейчас же она почти совсем не могла спать, только забыва-

лась ненадолго, погружаясь в какие-то жуткие видения. Она пробуждалась ночью оттого, что ей чудился детский плач. Мучаясь сознанием вины, она вертелась и крутилась, как грешник на вертеле. В Боярсе священник спросил, не оплакивает ли она кого-то, — да, уже тогда она оплакивала существо, которое собиралась убить.

При виде матери она почувствовала отвращение. Мать хотела убить, ее и только отсутствие у нее денег, а не отсутствие решимости позволило Тамар появиться на свет. Если б только не Лили, Лили с ее деньгами, житейской мудростью и фальшивыми соблазнительными утешениями! Тамар могла бы еще подумать, совершать ли то, что теперь с такой ужасающей легкостью превратилось из будущего в прошлое. Ей была отвратительна Лили, отвратителен Джерард, который послал ее к Дункану, как агнца на заклание, послал необдуманно, использовав ее, пожертвовав ею ради собственной цели, чтобы успокоить свою совесть, продемонстрировать свою власть, подверг ее смертельному риску. Ей отвратительны были Роуз и Дженкин и весь этот мерзкий сговор услужливых «доброжелателей», которые ничего не видели и не понимали, шли по жизни с улыбкой, не ведающей о боли, дыша

благоуханием собственного самодовольства. Отвратителен Дункан, который бессмысленно, беспечно, ради утешения в мгновение слабости, ради минутного удовольствия заразил ее смертельным вирусом, превратившим ее жизнь в жалкое существование. Ее юность была не только запачкана и погублена, она кончилась. Теперь ее лицо покроется морщинами, руки и ноги будут ныть и с трудом сгибаться, она станет хромать, сгорбится, постареет, так ужасна была болезнь, которою он заразил ее. И все же — новый поворот в ее душевных терзаниях — Тамар не могла ненавидеть Дункана, она любила его и с ослепительной ясностью помнила то возвышенное чистое благородное чувство сострадания, которое испытывала еще так недавно, когда была так свободно, сладостно влюблена в Дункана, когда любила его непорочной, самоотверженной любовью, которая должна была навеки остаться ее тайной. О, если бы можно было вернуться к той боли, тому страданию, той тайне, ибо та боль была радостью и тайным счастьем! Теперешняя же ее тайна выест ей душу, опустошит, над ней она согнется, стеная, как над гробом. Нет, она скоро умрет, невозможно жить дальше с такой болью, она уморит себя голодом или ее опустошенную

утробу поразит рак и сожрет ее.

Тамар очень хорошо понимала, что, выбирая советчика, она выбрала свой путь. Она хотела, чтобы Лили сказала то, что сказала, хотела с безошибочной определенностью услышать это в тоне ее голоса, непринужденном обычном бодром тоне, который низводил предстоявшее до пустяка, словно это было делом обыденным, банальным, просто иной формой контрацепции, чем-то, что «случается со всеми». Оглушенная, усыпленная лживым обещанием, а еще устав от мучительной необходимости выбора, от мучительных колебаний, она не нашла в себе мужества подождать и подумать и убила ребенка Дункана, его единственного ребенка, которого он так хотел, жаждал всю жизнь. Она сделала это, как казалось, ради Дункана, ради Джин, ради их поганого обреченного брака и чтобы не быть опозоренной в глазах Джерарда и Роуз, которые теперь ничего не значили для нее, сделала это неизвестно чего ради. Для Дункана, для нее самой, возможно, даже для Джин бесконечно важней, драгоценней, жизненней и спасительней, как казалось сейчас, было бы существование ребенка, этого чуда, благословения. Божьего дара. Только на Джин ей было наплевать, Джин она

тоже ненавидела. Как легко, думала Тамар, она могла бы перенести эту бурю, она и дитя вместе в одной лодке, она видела их так ясно, рассекающих волны, храбро глядя вперед. Она и дитя, начинающие счастливую, свободную, лучшую жизнь вместе. А в конечном счете все стали бы помогать им, все были бы так добры. Но ребенок был мертв или, еще хуже, превратился в ужасного беспощадного демона, черного от обиды и злости, продолжал жить кошмарным мерзким привидением, предназначенным карать свою жестокую мать, обрекающим на смерть любое другое дитя, которое могло выносить это проклятое чрево. Ощущение реальности этой ненависти, этого проклятия было самым страшным кошмаром ее будущего существования, простирающегося перед ней. Она убила дивного, настоящего ребенка и породила нечто мстительное, нечистое, плод собственной ее нечистоты, завистливого ревнивого убийцу, питающегося мраком ее крови. Мысль, что это нечистое дитя погубит ее будущих детей, не позволит им жить или, что еще безжалостней, поразит их мерзкой болезнью, уродством, безумием, мысль эта вместе с ощущением, что она сама теперь долго не проживет, довлела над разумом и любовью, погружала во тьму одиноче-

ства, будто ее замуровали в одиночной камере, оставив умирать мучительной смертью.

Тамар, какое-то время тихо лежавшая на диване, отвернувшись от Лили, которая за столом раскладывала, или терпеливо пыталась раскладывать, пасьянс, снова принялась негромко стонать и охать. Потом судорожно завыла, уткнулась лицом в подушку, заливая ее слезами и кусая. Лили была в смятении и ужасе от состояния Тамар, ей никогда не доводилось видеть человека в таком горе, и она не знала, что делать. Она ужасно сожалела, что ей вообще доверили эту несчастную тайну, что так легкомысленно ввязалась в эту драму, которая превращалась в сущий кошмар. Теперь она понимала, что не нужно было подталкивать Тамар принимать решение, последствия которого, как ей следовало бы сообразить, были так неясны. Она говорила Тамар то, что та хотела услышать, и делала то, что, как ей казалось, Тамар от нее ждала. А теперь получается, что на ней как бы тоже лежит ужасная, даже, может быть, катастрофическая вина. Конечно, никто не должен ничего узнать, повторяла она снова и снова после возвращения Тамар, она никогда и словом не проговорится, даже намеком не выдаст, никому не откроет

тайну Тамар и так далее. Но вот сама Тамар с ее душевным состоянием, близким к помешательству, и физическим совершенно ужасающим, может, даже между жизнью и смертью, — этого не скроешь. Никаких признаков выздоровления у Тамар не замечалось, а предложение Лили послать за врачом было встречено только воплями ее гостьи. В равной, даже большей степени нельзя было просить о помощи тех. Лили не к кому было обратиться ни за советом, ни за помощью. Даже от Гулливера, которому Дженкин сообщил, что Тамар у нее, и позвонил, пришлось отделываться, придумывая какую-то туманную историю. Она чувствовала себя не способной лгать Роуз, хотя теперь жалела, что не постаралась выглядеть поспокойней, общаясь с нею в дверях. Кроме того, пришлось говорить Вайолет, что с Тамар «все хорошо». А теперь они все тактично держатся в стороне! О господи! Обязательно нужно вызвать врача, думала Лили, ей нужна чья-то помощь, невозможно брать всю ответственность на себя. Слишком она казнит себя, было просто приятно, когда Тамар пришла к ней, она гордилась собой, потому что могла помочь, была рада, что она доверилась ей, а не тем. Ох, зачем только она ввязалась в эту неприятную историю, и чем все

это кончится!

Меж тем тяжесть сожалений становилась еще невыносимей от злых упреков, которые в паузах между стонами и воплями Тамар обрушивала на нее:

— Зачем ты послала меня туда, почему не позволила подождать, все время говорила, чтобы я поторопилась, успокаивала: это, мол, так легко, и как чудесно будет потом, если б я только подождала, хотя бы день или два, я бы чувствовала себя по-другому, я бы обдумала все последствия, но ты подгоняла и подгоняла, говорила, что я должна это сделать, а теперь я погубила свою жизнь, разрушила все на свете, и это целиком твоя вина…

— Не могу спать, не могу глаз сомкнуть, — сказал Краймонд.

Джин не знала, что и делать. Она заливалась слезами, горькими слезами, оплакивая свою жизнь, счастье, которого, как она теперь чувствовала, ей никогда не видать.

Краймонд не обращал внимания на ее слезы, казалось, он говорит сам с собой.

Чуть раньше он читал ей стихи, какие-то стихи на греческом, и, похоже, не подозревал, что она их не понимает. Прежде он иногда читал ей

греческие стихи, но понемногу и переводил ей прочитанное. Сейчас же было иначе, он продолжал и продолжал декламировать, и это больше походило на литургию или сеанс экзорцизма. Джин не ожидала, что книга будет закончена, она полагала, что они будут жить книгой еще долго, может, много лет. Она привыкла к ней, привыкла ждать ее и любить, как часть таинственности Краймонда. Когда он неожиданно сказал: «Я закончил», Джин была застигнута врасплох. Теперь она вспомнила его мрачные, сделанные вскользь замечания, которые в свое время не восприняла слишком серьезно. Она пребывала в страхе: как Краймонд будет жить без книги, чем займется, что вообще будет и не означает ли это, что все полностью изменится? Конечно, предполагала она, он что-то придумает, какие-то замыслы у него есть, переходный период, возможно, будет долгим. Его первоначальная эйфория на некоторое время успокоила ее. Он со смехом рассказал, как ошарашило Джерарда и его друзей неожиданное объявление о завершении работы над книгой. Конечно, им он сказал об этом раньше, нежели ей, правда, лишь чуть раньше. На день или два, пока длилась его радость и непривычное «отпускное настроение», Джин

дала волю банальным счастливым мыслям, которых обычно старательно и покорно избегала, прятала поглубже, и они весело толпились в ее голове. Она подумала, даже сказала вслух, и он не оборвал ее: «Теперь мы куда-нибудь поедем, правда? Переменим обстановку, съездим в Рим или Венецию, посетим с тобой всякие чудесные места, да, мой дорогой, сбежим вместе и будем счастливы, вот что мы сделаем!»

Краймонд не сказал «нет», он вообще ничего не сказал, но позже ей показалось, что он просто не услышал ее, не слушал, полностью поглощенный сперва тем неопределенным, ошеломительно необыкновенным ликованием, а теперь погруженный в бесконечное отчаяние.

Блокноты исчезли. Большой вязаный жакет Краймонда, его ручка и чернильница, очки, шарф, которым он укрывал колени, когда работал, — все было на своих местах на письменном столе и на стуле. Но лампа была выключена, стопка разноцветных блокнотов перекочевала в машинописное бюро, где рукопись распечатают, фотокопируют, всю книгу целиком. Краймонд еще как-то следил за процессом на этих этапах, но не выказал ни малейшего волнения, когда многочисленные коробки вынесли из дома и погрузили

в фургон. С этих пор он не подходил к письменному столу, а читал и разбирал корреспонденцию за столом в гостиной наверху. Он также навел порядок в шкафах в игровой, уничтожил множество рукописей, потом достал и почистил три своих ружья, два револьвера и пистолет. Джин он сказал, что продал остальную коллекцию, а теперь собирается продать и последнее. По крайней мере, если он говорил серьезно, это было хорошим знаком, и Джин поначалу сочла это свидетельством начала их «новой жизни». В первые дни она настороженно следила за ним, радуясь, что он спокойно читает, спокойно разговаривает. Она спрашивала его о книге, когда он предполагает окончательно освободиться, большой ли правки потребует машинопись? Он отвечал ей с неопределенной улыбкой. Иногда он не мог обойтись без ее общества и даже ходил с ней по магазинам. Она предложила повезти его куда-нибудь, не важно, куда, в своей машине, и он ответил: «да» или, может: «почему бы нет». А потом на него снова навалилось отчаяние и он заговорил о смерти.

Ночью, лежа без сна и не давая ей заснуть, он стискивал ее в объятиях, не переходя к любовным ласкам, и так крепко, словно всем телом впивал

ее. Она изнемогала, была измучена силой любви, его любви, ее любви, которая порой казалась чем-то столь предельным, что она ловила себя на мысли, что так или иначе они исчерпали ее. Как это все кончится? Их состояние, казалось, предвещало катастрофу. Хотя временами, когда Краймонда охватывала какая-то буйная радость, она чувствовала, что отчаяние было просто вполне понятной фазой, которая продолжалась даже сейчас. Прошлой ночью, сжимая друг друга, они немного поспали.

— Ты заснул, правда?

— О да…

Утреннее солнце заливаю небольшую кухоньку, где они завтракали. Чистота и порядок на кухне, которые Джин старалась поддерживать, внушали чувство, что обыкновенная жизнь все-таки возможна. Если бы только удалось заставить Краймонда перестать говорить невероятные вещи, которые давили на ее психику.

— Хочешь гренков?

— Нет, просто кофе.

— Ты ешь все меньше и меньше.

Краймонд промолчал, но посмотрел на нее внимательно: лицо спокойное, но голубые глаза невероятно расширенные и круглые.

— Дорогой, уверена, нынешней ночью ты будешь спать даже еще лучше, чем сегодня, мы должны спать, ты страдаешь от недосыпания, я буду с тобой, буду заботиться о тебе, посвящу тебе жизнь…

— Нелогично бояться смерти, — сказал Краймонд, — просто я не хочу сделать ужасной ошибки.

— Пожалуйста, прекрати эти разговоры.

— Не так-то легко застрелиться, при неудаче можно остаться слепым или идиотом. Это страшный риск. Я мог бы уверенно убить тебя, но себя — тут уверенности меньше. Рука может дрогнуть, пуля может изменить траекторию, и останешься парализованным, но живым. Один ужас этого… — Он говорил совершенно спокойно, задумчиво.

— К счастью, тебе не нужно убивать ни себя, ни меня! Вот твой кофе.

— Я не хочу видеть тебя мертвой, Джини моя, мы должны уйти вместе.

— Лучше уедем вместе во Францию, уедем куда угодно отсюда. Позволь мне увезти тебя на время. И все это у тебя пройдет, дурные мысли оставят тебя.

— Не вижу, каким образом это может произой-

ти, — сказал Краймонд рассудительным тоном, словно они обсуждали какие-то обычные вещи.

— Как твой отец?..

— Умер.

— Ты не говорил мне.

— Умер в конце октября. Я рад этому. Он уже не был собой. Его состояние было мучительно для меня. Теперь он покоится с миром.

— Мне очень жаль.

— Не нужно жалеть.

— О мой дорогой… ты начнешь писать новую книгу.

— Думаю, труд всей моей жизни закончен.

— Разве не хочешь дождаться выхода книги, послушать, что люди будут говорить?

— Нет. Ее превратно поймут.

— Тогда, наверное, стоит жить, чтобы объяснить ее?

— Объяснить? Отвратительная идея.

— Пожалуйста, попытайся избавиться от своего ужасного настроения. Мы должны жить дальше, жить вместе, мы любим друг друга, просто наберись мужества… Я сделаю все, что ты хочешь. Я сделаю тебя счастливым, найду способ, сейчас пойду в магазин и куплю тебе медовые соты, знаю, ты их обожаешь…

— Сладкая моя! Принесешь соты! Если б только это было так просто!..

— Но, Краймонд, так оно и есть просто.

Джин, нагнувшись над столом, попыталась взять его ладонь, но он отдернул руку, продолжая глядеть на нее без всякого выражения.

— Джин, ты не хочешь вернуться к мужу, вернуться к Дункану, ведь ты любишь его, да?

— О господи… думаешь, придет день, когда я вернусь к Дункану, и хочешь убить меня, пока этого не случилось! Не сходи с ума сам и меня не своди! Ты знаешь, что я не люблю его, я люблю тебя. Посмотри на меня, я в здравом уме, тверда как скала, я люблю тебя и буду вечно заботиться о тебе.

— Ты можешь вернуться к нему и не умирать.

— И оставить тебя, чтобы ты застрелился. Перестань фантазировать, ты делаешь это, просто чтобы мучить меня, сказать, что это все моя вина. Если б меня не было здесь, говорил бы ты о смерти?

— Нет, но это твой дар мне — ты повод, благословение, дар небес, лучшее, что боги когда-либо посылали мне. Ты делаешь смерть возможной.

— Не понимаю. Ты сегодня совершенно невыносим.

— Ты моя слабость. Теперь, когда книга закончена, ничего не осталось, кроме нашей любви, мы беззащитны друг перед другом, если мы продолжим жить дальше, мы уничтожим себя каким-нибудь ничтожным, недостойным образом, — я хочу, чтобы это было что-то высокое, достойное нашей любви, вот в чем мужество, вот в чем вечная жизнь.

— Тошнотворный романтический вздор, — сказала она, — ты сам не веришь ни одному своему слову! Если хочешь просто избавиться от меня, так и скажи! Это вроде испытания, если я выдержу его, то умру, если не выдержу, ты бросишь меня? Наверняка есть более простые решения!

— К чему быть рабами времени? Джини, жизнь коротка. Почему люди так дорожат ею? У нас есть наша великая любовь, нечто неподвластное времени, давай умрем, любя друг друга, вместе, словно ложась в постель…

— Хватит, мой дорогой, — прервала его Джин, чувствуя, что сейчас заплачет. — Ты меня вконец замучил. Я пыталась… изо всех сил… быть в здравом уме и сильной ради тебя…

— Самое лучшее — самому выбрать способ ухода.

— Я не готова решиться на смерть, и ты тоже!

— Джини, я хочу, чтобы мы умерли вместе.

— Прекрасно… но как?..

— На Римской дороге.

— Что?

— Ну, ты знаешь, в Боярсе. Ах, Джини, любимая, не подведи меня…

— Что ты имеешь в виду?

— Это длинная прямая дорога… на большой скорости… две машины могут столкнуться…

Покидая Британский музей во время ланча, Джерард позвонил Дженкину и узнал от него, что Тамар чем-то расстроена, в настоящий момент находится у Лили и, говорят, «в порядке». Дженкин, только что вернувшийся от Вайолет, не видел смысла, поскольку ситуация была очень неясной, волновать Джерарда. Да Джерард, поскольку мысли его были заняты другим, и не волновался. Он договорился с Дженкином, что зайдет к нему вечерком в половине девятого: посидят, выпьют. Он перекусил в пабе, оттуда направился в Сент-Джеймсский парк и сел на скамейку возле озера, чтобы подумать. Он чувствовал себя очень необычно, был возбужден, напуган. Его даже трясло. Он не был уверен, нравится ему или нет такое душевное состояние и в какой мере. Отголоски двух столкновений с Краймондом,

его личного и после контратаки Краймонда на заседании Братства, еще не улеглись, и он ловил себя на том, что перебирает в памяти детали обеих сцен, которые произвели такую бурю в его душе. Сидя очень прямо на скамье в парке, он сначала улыбался, потом нахмурился, потом прикусил губу, потом помотал головой, потом содрогнулся. Мимо прошла знакомая, сестра Питера Мэнсона, узнала его, но не поздоровалась, потому что (как объяснила брату, когда тот позвонил из Афин) «вид у него был такой странный». Сияло солнце. Сильно подмораживало, листву и траву в тенистых местах густо покрывал иней, как кристаллики сахара. Скамья была мокрая, и Джерард подложил под себя «Таймс». Воздух был очень холодным. Солнце уже клонилось к закату, золотя шпили и башенки правительственных зданий Уайтхолла, которые сверкали, как сказочные дворцы. Волнения, приятные, неприятные, интересные, возбужденные в Джерарде выходками Краймонда, странным образом мешались с его мыслями о Дженкине или же, скорее, чувствами. Он ввязался в спор с Краймондом и явно не вышел победителем. Теперь, хоть и совершенно по-другому, намеревался поспорить с Дженкином. Он все прояснит, задаст неудобные вопросы,

покончит наконец с неопределенностью; и снова ему пришла беспокойная мысль, что, хотя он давно и хорошо знает Дженкина, он все же знает его недостаточно хорошо.

Джерард, выпрямив спину, сидел на скамье и смотрел на детей на противоположном берегу, которые кормили уток. Подплыли и крупные канадские гуси, неуклюже вышли на берег и тянули мощные клювы за кусочками хлеба. Гусиные лапы и детские ножки оставляли следы на заиндевелом асфальте дорожки. Прогноз обещал дождь, но не похоже, что он соберется: было очень тихо и морозно. Джерард чувствовал страх. Он боялся, что, когда увидит Дженкина, наговорит много лишнего. В подобной ситуации несколько неверно выбранных слов, о которых позже и не припомнишь, могут надолго остаться в памяти другого. Нужно сохранять спокойствие и ясную голову, думал Джерард, постараться сосредоточиться на главном, чтобы не быть неправильно понятым. Лучше перестраховаться. Просто не уходить в сторону. Но в самом деле — что может быть более двусмысленным и, более того, постыдным? Дженкин удивится, смутится, как смущался от всего, что напоминало заверение в любви; а затем, может быть позже, почувству-

ет досаду, отвращение, враждебность. Все это может показаться ему странным, противным и наверняка неуместным. Потом Джерард будет кусать себе локти и раскаиваться, а Дженкин — любезно пытаться делать вид, будто «ничего не произошло». Риск был ужасный — и так, и так. Позже он, возможно, будет страшно казниться, что ничего не сделал. По прошествии долгого времени любовь-дружбу воспринимаешь настолько само собой разумеющейся, что она становится почти незаметной. Ее материя истончается и требует обновления, требует периодического подтверждения. Что, если Дженкин соберется уехать (и, страшно подумать, найдет кого-нибудь другого, мужчину или женщину) отчасти потому, что никогда по-настоящему не понимал, как высоко Джерард ценит его? Надо было каким-то образом сказать Дженкину об этом раньше, думал Джерард, как-нибудь невзначай, что-нибудь по наитию. А теперь это будет выглядеть чертовски абстрактно, формально и торжественно — перепугаю его до смерти, пока буду мямлить вначале.

Было девять вечера. Обещанный дождь все же пошел, застигнув Джерарда врасплох. Теперь голова была мокрая, что сильно раздражало. Он

явился точно, как они договорились. Дженкин зажег газовый камин и закрыл окно в гостиной, задернул шторы, включил лампу и не забыл погасить верхний свет. Принес с кухонного подоконника коричневую кружку с пахучей веточкой калины, которую миссис Марчмент срезала для него в своем палисаднике, когда он заглянул к ней потолковать о письме в «Гардиан» и посплетничать о Краймонде. Поставил тарелку с марантовым печеньем на маленький столик, где Джерард пристроил свой стакан. Дженкин пил чай. Он, как сказал Джерарду (отчего тот расстроился), «завязывает с выпивкой». Джерард пил вино, которое, как обычно, принес с собой. Они разговаривали о книге Краймонда.

— Марчмент говорит, уже готова машинописная копия. Он еще общается с Краймондом. А больше, вряд ли кто.

— Ты не виделся с Краймондом?

— Нет. Да присядь, Джерард.

— Интересно, кто будет публиковать ее.

— Этого я не знаю. Мы могли бы получить корректорский экземпляр. Умираю от любопытства.

— Что это за растение? Такой аромат.

— Какой-то вид калины.

— Какие могут быть цветы в такое время года?

— Слышал, они всегда есть. Унести?

— Нет. Откуда у тебя этот камешек?

— Я тебе уже рассказывал: Роуз подарила.

— Помню.

Джерард положил камешек, который держал в руке, обратно на каминную полку. Камешек был на удивление холодный. Сел. Сказал Дженкину:

— Я думал о тебе.

— О… замечательно…

— Ты собираешься уезжать?

— Да, хочу поехать на Рождество в Испанию, туристом, я говорил тебе об этом в Боярсе.

— Я думал, ты встретишь его с нами. Теперь это в первый раз возможно, поскольку мой отец умер.

— Сочувствую…

— Я имел в виду… уедешь по-настоящему, далеко, надолго? Ты какой-то беспокойный, сам не свой. — Что я такое говорю, подумал Джерард, это я беспокойный, я сам не свой. — Не то чтобы у меня было основание думать… в конце концов, зачем тебе…

— Ну, я над этим думаю, — ответил Дженкин, словно это было очевидно.

— И куда?

— Не знаю, честно… Африка, Южная Америка…

еще размышляю… в конце концов… хочу распроститься с Англией и заняться чем-то еще, чем-то другим.

— Это твое «размышляю» напоминает мне бегство, — сказал Джерард. — Сентиментальщина, романтика. Тебе просто малость надоела твоя школа. Староват ты для того, чтобы расхлебывать беды Африки или Латинской Америки, жизни на это не хватит. Не может быть, чтобы ты говорил всерьез!

— Я и не считаю себя экспертом или лидером или чем-то в этом роде…

— Конечно нет, ты видишь себя слугой, ничтожнейшим из ничтожных! Но от неумелого слуги, да еще не первой молодости вряд ли будет большая польза. Тебе просто нравится представлять себя среди ужасных страданий! Или я не прав?

— Ну что ты такой злой? — примирительно сказал Дженкин. — Могу же я помечтать? Но тут я настроен серьезно… почему-то… не потому, что, как думаю, буду невероятно полезен…

— Тогда почему?

— Просто потому, что мне так хочется. Конечно, где-то ты прав насчет «представлять», но это второстепенное, сейчас нет желания копаться в мотивах.

— Знаю, тебе не сидится на месте, тянет быть на краю, жить подальше от Европы в некоем подобии ада.

— Да.

— И ты считаешь, что это не романтический вздор?

— Именно так, то есть не считаю это романтическим вздором!

— Я прошу тебя: не уезжай.

— Почему? Я ведь только сказал, что подумываю об этом!

— Ты нужен нам. Нужен мне.

— Что ж… перебьетесь без меня, думаю… в любом случае, так мне кажется… пора что-то менять в жизни… я всегда могу вернуться. Пожалуй, выпью-ка и я тоже.

Дженкин скрылся на кухне, что-то нервно бормоча себе под нос.

Джерарда, провожавшего взглядом удаляющуюся спину, линию плеч, вечно безнадежно мятые полы пиджака, захлестнуло такое волнение, что он едва не закричал. Так не годится, думал он, так ничего не добьешься. Он уже расстроил Дженкина, и это ужасно. Теперь тот откажется серьезно воспринимать что бы он ему не предложил, просто отвергнет с порога.

Дженкин вернулся со стаканом и банкой пива.

— Давай отправимся вдвоем куда-нибудь на праздники, только ты и я, мы уже сто лет этого не делали, — сказал Джерард и тут же подумал: а почему, собственно, сто лет, можно было в любое время пригласить его, уговорить.

— Ты имеешь в виду пешую экскурсию в Озерный край, вместе прятаться в палатке от дождя?

— Нет. Я скорее думал о приличном отеле во Флоренции. Но и идея с палаткой тоже недурна.

— Ладно, если весной еще буду здесь. В чем, впрочем, сомневаюсь. Есть у меня такое чувство: теперь или никогда.

— Мы могли бы путешествовать вместе. Отправиться в Австралию. В Африку, если хочешь, или Бразилию. В Боярсе я заметил у тебя португальскую грамматику. Если решишь ехать, я мог бы поехать с тобой.

— Очень любезно с твоей стороны, но, знаешь, ты будешь не в восторге! Я имею в виду, если мы поедем туда, куда мне хочется. В любом случае я должен ехать один, это часть договора.

— Какого договора, с кем?

— О, ни с кем… с самим собой… с судьбой, если хочешь… или с Богом, только Он не существует.

— Так это паломничество. Чистая сентимен-

тальность, театр.

— Ты вынуждаешь меня говорить глупости. Не хочу быть слишком грубым.

— Да будь сколь угодно грубым!

Что происходит, думал Джерард, они собираются поссориться или, воображая, как Дженкин любит его, он на самом деле ошибся? Теперь невозможно сказать то, что он намеревался сказать, все испорчено, все погибло. Теперь Дженкин будет плохо думать о нем, и он этого не вынесет, через мгновение превратится в тряпку! Или, чтобы не выглядеть тряпкой, лучше прикинуться обиженным. Что хуже?

— Не думаю, что все вы так уж нуждаетесь во мне, — осторожно проговорил Дженкин. — Я всегда чувствовал себя лишним в вашей компании.

Прежде ничего подобного слышать от него не приходилось.

— Что за чушь! — воскликнул Джерард, немного воспряв. — Ты центральная фигура, без тебя нам не обойтись, даже Краймонд это сказал. Сказал, что ты лучший!

— О… Краймонд!..

Они рассмеялись, хотя немножко нервно.

— Это неправда, что без меня вам не обойтись. Дункан никогда меня не любил, Робин меня

не терпит, то же и Гулливер, Роуз смеется надо мной, Краймонд считает дураком. Не перебивай меня, Джерард. Конечно, это глупый разговор, но ты вынудил меня. Мнение, что я так необходим, — часть иллюзии, которую мы сохраняли все эти годы. Знаю, я говорю вздор и сержу тебя, потому что, конечно, тут есть нечто скрытое, нечто особое и, возможно, такие вещи всегда частично иллюзорны, частично реальны. Просто я почувствовал эту иллюзорность позднее, и это в какой-то мере повлияло на мое желание уехать. Мне не хватало одиночества, и это все потому, что мне приходилось играть… в эту игру… которая, конечно, не была игра, но… Понимаешь, одиночество мне необходимо, как другому то, что ты называешь адом.

— Ты не прав в отношении других, они высоко ценят тебя.

— Как талисман.

— Роуз обожает тебя… но не будем спорить об этом… меня даже не это заботит… и, может, ты прав, в подобных вещах невозможно разобрать, где иллюзия, где реальность, наверно, и во всем так…

— Что тебя не заботит?

— Они, остальные… ну, заботят, да, заботят… и

отказываюсь принимать твои слова о том, что ты лишний… но без них я мог бы обойтись.

— Знаешь, Джерард, — сказал Дженкин, наконец внимательно посмотрев на него, — я не думаю, что ты мог бы обойтись! Они всю жизнь были тебе опорой. Тебе нравилось быть главой среди нас, почему нет: самый умный, самый симпатичный, самый успешный, самый любимый — и это все правда, ты и сейчас таков, — но ты и зависишь от этого или чего-то подобного, а я нет. Пожалуйста, пойми меня правильно, я не собираюсь уезжать оттого, что обнаружил, что никто меня не любит! Должен отвергнуть твой довод, что я не должен уезжать, поскольку нужен здесь. Я здесь не нужен. Они все на тебя смотрят, от тебя зависят, так что…

— Они?..

— Ну хорошо, мы; я тоже зависел от тебя, как тебе известно. Это еще одно, от чего я уезжаю. Извини, у меня не было в мыслях говорить тебе такое. Все, что я сейчас говорю, может быть истолковано неверно, я бы хотел, чтобы ты не начинал этот разговор, ненавижу такого рода разговоры.

— Так ты уезжаешь от меня?

— Да, но тут нет ничего личного, Джерард! Это просто часть желания быть окончательно самим

собой. Я уж начал чувствовать, будто меня украли младенцем из колыбели, украли люди самые мне дорогие, самые лучшие в мире, но…

— Виноват, ничего личного! Это не потому — извини, но раз уж мы столь откровенны, — это не потому, что ты ревнуешь к другим или вообразил, что они мне ближе, чем ты, потому что если это так, то ты очень ошибаешься…

— Нет, не потому! Правда, Джерард!

— Прости. Похоже, не получилось у меня сказать тебе то, что хотел.

— Думаю, ты все сказал и ничего страшного не случилось, так что оставим это.

— Нет, не сказал, я создал ложное впечатление…

— Давай сменим тему.

— Хочешь, чтобы я ушел?

— Нет, пока сам не захочешь. Поступай как знаешь.

— Дженкин!

— Я не понимаю, к чему вообще весь этот разговор, и предлагаю прекратить его! Есть масса других вещей, о которых мы можем поговорить, вещей серьезных и вещей приятных… я не собирался грубить тебе… извини…

— Это ты извини меня. Можно, я начну сна-

чала?

— О господи… если так необходимо!

— Я не хочу, чтобы ты уезжал, и прошу тебя не делать этого. Мне нужен ты и никто другой. Я люблю тебя, не могу без тебя…

— Ну, я тоже люблю тебя, старина, если уж на то пошло, но…

— Слушай, Дженкин, это все серьезные вещи, самые серьезные в мире, в моем мире. Я хочу узнать тебя лучше, намного лучше, хочу большей близости между нами, чтобы мы поселились вместе, жили вместе, путешествовали вместе, были вместе, я хочу иметь возможность все время видеть тебя, быть с тобой… хочу, чтобы ты возвращался домой — у тебя ведь никогда не было дома, — возвращался домой ко мне. Я не говорю, что это возможно, я говорю, что ты — это то, чего хочу, и хочу очень сильно; и если ты обдумаешь мои слова и поймешь их, тебе станет ясно, почему я не хочу, чтобы ты уезжал.

Повисла короткая пауза. Дженкин, радостный, даже сияющий, раскрыв рот и округлив глаза, не то чтобы с изумлением, но внимательно смотрел на Джерарда:

— Джерард, это что… предложение руки и сердца?

— Это признание в любви, — вспылил раздраженный Джерард, — и да, если угодно, предложение руки и сердца. Ты, наверное, сочтешь все это несколько необычным, но поскольку ты выразился в том смысле, что…

Дженкин захохотал. Затрясся от хохота. Положил очки на кафель у камина и согнулся, одной рукой держась за бок, а другой оттягивая ворот рубашки; он выл от смеха, глаза мокрые от слез, несколько раз пытался остановиться и что-то сказать, но слова тонули в новом взрыве веселья.

Джерард с каменным лицом в полном смятении наблюдал за ним, но был рад, что удалось высказаться ясно и связно, как и хотелось. Закончив свою речь, он почувствовал мгновенную свободу, словно вырвался в открытый космос, и единение с Дженкином, прежде отсутствовавшее. Он высказал все и с растущим замешательством и одновременно с теплотой наблюдал, какой эффект вызвали его слова.

Дженкин понемногу успокаивался, утирая глаза, губы и лоб большим драным платком, густо покрытым чернильными пятнами.

— О боже… о боже… — повторял он, потом: — Ох, Джерард… извини… простишь ли ты меня когда-нибудь… я чудовище… как я мог смеяться…

какой стыд…

— Ты действительно расслышал, что я сказал?

— Да… каждое слово… понял все… «приди, любимая моя! с тобой вкушу блаженство я»…[85] и я так благодарен, так тронут… право… я смущен, я этого не заслужил… ты меня потряс!

— Прекрати.

— Вопрос… секс тоже предполагается? О господи! — И он снова беспомощно засмеялся.

— Почему бы нет, — сказал Джерард, теперь холодно и хмуро, — но дело не в этом. Это вообще не имеет значения. Я сказал, что имею в виду. Я недостаточно знаю тебя, Дженкин, и хочу узнать ближе, хочу, чтобы наша дружба стала более тесной…

— Расцвела, как старый сухой терновник?

— Но поскольку ты находишь это таким невероятно смешным, лучше я сочту это за ответ и удалюсь. Прости, если побеспокоил тебя, и заранее приношу извинения, если позже, когда подумаешь о моих словах, сочтешь их оскорбительными. Полагаю, ты найдешь их достаточно возмутительными. Надеюсь, этот курьезный незначительный эпизод никак не отразится на

---

**[85] Примечания: 85**

Из стихотворения Кристофера Марло (1564–1593) «Страстный пастух — своей возлюбленной». Перевод И. Н. Жданова.

дружбе, которая так долго была между нами и которую ты только что окрестил старым сухим терновником.

С этими словами Джерард потянулся за своим промокшим пальто, которое накинул на стул просохнуть.

Дженкин вскочил на ноги:

— Нет, не сочту, не найду ничего оскорбительного, или возмутительного, или… или… ничего такого… и, конечно, я так польщен…

— Да уж, смею сказать, — сказал Джерард, надевая пальто.

— Но… и… знаешь… конечно, это отразилось на нашей дружбе, сильно отразилось, она уже не сможет быть прежней.

— Печально это слышать.

— Не печалься, а, пожалуйста, пойми, если ты хотел, чтобы мы стали ближе, что ж, мы стали, неужто не видишь? Тактика внезапности срабатывает, она сокрушает барьеры, открывает возможности… очень сожалею, что я засмеялся…

— Мне понравился твой смех, — сказал Джерард, — только не понял, что он означал, и сомневаюсь, что это хороший знак для меня!

— Не уходи, — сказал, стоя у своего стула, Дженкин с заботливым выражением на сияющем

лице, на котором еще виднелись следы слез от смеха. — О боже… не знаю, как сказать… что-то здесь абсолютно нормально… Почему нужно стыдиться слова «любовь»?

— Я не стыжусь. Может, ты не уедешь… не оставишь нас… не оставишь меня?

— Не знаю. Но не волнуйся. Я очень рад, что ты сказал все это. Ты же не будешь раскаиваться потом, не будешь?

— Надеюсь, что не буду. Надеюсь, мы еще поговорим о всяких вещах, тех серьезных и приятных вещах, о которых ты упоминал раньше.

— Конечно же… но и об этом тоже… и, пожалуйста… не будь… не чувствуй… Послушай, останься еще ненадолго, а? Просто посидим тихонько, посмотрим друг на друга, успокоимся и послушаем дождь. Боже, пожалуй, мне нужен глоточек виски после всего этого!

В этот момент, когда они стояли, глядя друг на друга, раздался оглушительный стук. Кто-то, не найдя в темно те кнопки звонка, барабанил в дверь кулаком. Дженкин рванулся в прихожую, Джерард за ним, инстинктивно включив на ходу верхний свет. Через плечо Дженкина он увидел в открытых дверях странную фигуру, показавшуюся ему, как он вспоминал позднее, похожей на

высокую тощую встрепанную мокрую птицу.

Это была Тамар, с непокрытой головой; волосы, потемневшие от дождя и разметанные ветром, темной сеткой облепили ее лоб и щеки, длинный черный макинтош блестел от воды, руки висели, как сломанные крылья. Она то ли шагнула, то ли повалилась в прихожую, и Дженкин подхватил ее. Джерард обошел его и захлопнул дверь, чтобы ливень не хлестал внутрь.

Дженкин отпустил Тамар, и она выскользнула из пальто, уронив его на пол. Потом стала медленно, будто каждое движение отнимало у нее последние силы, убирать мокрые волосы с лица. Дженкин подобрал ее пальто и через мгновение возник с полотенцем. Тамар принялась машинально вытирать лицо и волосы.

— Тамар! Тамар! — воскликнул Джерард. — Что случилось? Ты искала меня?

— Нет, я хочу поговорить с Дженкином, — ответила та, не глядя ни на кого.

Юбка Тамар, тоже местами промокшая, липла к ее ногам. Она повернулась к Дженкину и, казалось, сейчас снова повалится на него. Он удержал ее и повел в гостиную.

— Я лучше пойду, — сказал Джерард. Подождал секунду.

Дженкин обернулся в дверях гостиной и сказал:

— Тогда доброй ночи, дорогой, мы поговорим еще, не переживай…

Джерард вышел под дождь. Он был без зонтика и без шляпы. До смешного злился на себя за то глупое предположение, что Тамар, должно быть, искала его. Дождь мочил волосы, бежал по шее. Он был очень взбудоражен разговором с Дженкином и жалел, что был не в состоянии дольше оставаться у него и, как тот мудро предложил, просто тихо посидеть вдвоем. Не мог разобраться, что же все-таки произошло между ним и Дженкином и правильно он поступил или себе на беду. Одно только отсутствие Дженкина отзывалось самостоятельной и острой болью. Новым видом ужаса. Шагая по тротуарам, где уличные фонари отражались в потоках воды, он старался отогнать внезапное дурное предчувствие и цеплялся за смех Дженкина, как за что-то обнадеживающее.

Тамар сидела перед тусклым огнем газового камина, уставясь на голубые язычки пламени. Промокшую юбку она отжала. Отказалась от еды, чая, кофе, но приняла стакан виски с водой, который подержала в руке, не сделав и глотка, и поставила на пол. Дженкин, которому доставляло

мучение глядеть на нее, спросил:

— Тамар, деточка, что случилось, расскажи мне, пожалуйста, расскажи?

Она наконец подняла голову и, невидяще глядя мимо Дженкина, сказала:

— Да, да, я расскажу. Я забеременела от Дункана и теперь убила ребенка.

Дженкин, который в этот момент стоял, в потрясении отступил назад, словно на него обрушилось что-то огромное. Лицо его вспыхнуло, рот открылся, ловя воздух. Он сел напротив нее, придвинул стул ближе и наклонился вперед:

— Тамар, милая, не переживай так. Просто расскажи мне, что точно ты имеешь в виду.

Тамар с дрожью вздохнула и продолжила безжизненным вялым голосом:

— Нет, я не имею в виду, что родила ребенка и утопила его или что-то подобное. Он так и не родился. Я сделала аборт.

— Какой ужас, — выдавил Дженкин, ничего не соображая от жалости и сострадания. — Но… но… ты сказала, он был… от Дункана?

— Да, легла с Дунканом однажды… то есть один раз. Я чувствовала, что люблю его, хотела утешить его. Он сказал, что не может иметь детей. Так что это было что-то вроде чуда. Только я уби-

ла ребенка.

— Ты уверена, что он был от Дункана?

— Да. Да. Да.

— Он знает?

— Нет, конечно нет. Это должно оставаться тайной. Вы говорили, что он хотел ребенка, и вот ребенок был, только теперь он мертв.

— Почему ты не подумала… не подумала сказать ему или?..

— Нет! — взвыла Тамар, но лицо ее оставалось неподвижно, взгляд устремлен мимо Дженкина, в угол комнаты. — Как я могла! Вы говорили, что Джин возвращается к нему. Я не собиралась мешать этому, объявив, что беременна от него. Подумала, что лучше всего будет избавиться от ребенка. Только я не знала, что делаю. Не знала, что произойдет со мной после, какой ад меня ждет, так что ничего не остается, как умереть.

— Тамар, что за ужасные мысли, я не допущу, чтобы ты мучилась.

— Это убийство, тяжкое преступление, за которое приговаривают к смерти. У меня никогда не будет другого ребенка, этот убьет его. Он хотел жить, хотел жить, а я не позволила! Я никому не могу рассказать… подержать это в себе невыносимо…

— Но ты рассказала мне, и я помогу тебе.

— Вы не можете мне помочь. Я пришла только затем, чтобы сказать, что это все ваша вина…

— Моя?..

— В тот день у реки вы сказали, что Джин вернется и они снова будут счастливы, и посоветовали мне…

— Тамар, я ничего тебе не советовал…

— Вы не могли знать, вернется Джин или нет, она не возвращается и, наверное, не вернется, и я сделала это напрасно. Когда ребенок был еще жив, я хотела рассказать Дункану, хотела побежать к нему и сказать, что люблю его, но теперь я его ненавижу и никогда больше не смогу его видеть, потому что убила его чудесного ребенка в приступе безумия. Всего несколько дней назад он был жив, он был мой…

Тамар наконец заплакала, все еще напряженная, стиснутые губы приоткрылись, из глаз лились слезы, стекали по подбородку и капали на колени.

Дженкин попытался взять ее за руку, но она отшатнулась от него. Он был потрясен услышанным. В те несколько минут, что она была у него, Дженкин увидел ад, который творился в ее душе, и хотя говорил о помощи ей, он не представлял,

каким образом сможет помочь. Он стремился отвлечь ее, чтобы ее боль стихла:

— Тамар, постарайся держаться, я помогу тебе, просто держись. Ты рассказывала об этом кому-нибудь еще?

— Я рассказала Лили, что беременна, она дала мне денег, я не сказала, от кого, а она сказала, что со всеми такое случается. Еще тому пастору в деревне, просто сказала, что беременна, и он велел сохранить ребенка, и я сохранила бы, хотела вам рассказать тогда, у реки, если бы вы только спросили, что со мной, я бы рассказала и все было бы хорошо, только вы не спросили, все говорили и говорили о Джин и Дункане и как у них все наладится, все о них, а я хотела рассказать вам о себе… А теперь я и вас тоже ненавижу, всех ненавижу, а когда ненавидишь всех, то умираешь. Я себя до того ненавижу, что могу замучить себя до смерти, если б только умереть прямо сегодня, если б только вы могли убить меня и сжечь.

— Прекрати, Тамар, ты не в себе, выпей глоточек виски. Перестань причитать, успокойся, вот, выпей.

Тамар трясущейся рукой взяла стакан, сделана глоток, расплескав виски на платье. Перестала плакать.

— Давай разберемся, я понимаю, как это для тебя ужасно, чудовищно, но у тебя все перепуталось в голове и ты во всем винишь себя… а надо было не терять способности подумать, я помогу, ты не ненавидишь меня, ты пришла ко мне и должна остаться у меня, доверять мне, тебе нужны люди, нужна любовь…

Дженкин поймал себя на том, что лепечет что-то, лишь бы продолжать разговор, едва соображая, что говорит, произнося первые попавшиеся слова, пытаясь умерить боль глубочайшей раны, которую так неожиданно обнажили перед ним.

— Никто не любит меня, — проговорила Тамар безрадостным скучным голосом, — никому не придет в голову полюбить меня. Это невозможно. Любовь — это не для меня, всегда так было.

— Это неправда. Но, послушай, я спрошу тебя кое о чем, прости, если задену твои чувства, но я должен попытаться понять, и ты знаешь, что я никому не скажу. Этот случай, этот единственный случай с Дунканом был до или после того, как ты решила, что он влюблен в тебя?

— Нет, он не был влюблен, ничего такого вообще не было. Я приходила к нему дважды, потому что… потому что Джерард попросил.

— Джерард попросил тебя пойти к нему?

— Он подумал, что я могла бы хорошо повлиять на Дункана, потому что я такая неиспорченная и безобидная. Во второй раз он просто показал письмо от адвоката о разводе, и мне стало так жалко его, что я сказала, что люблю его, и я чувствовала, что люблю его.

— Ты и сейчас его любишь?

— Нет. А потом он обнял меня и мы легли в постель.

— А после?

— После — ничего. Он, может, решил, что Джин вернется в конце концов или что я не нужна ему, так, досадный случай, о котором он пожалел. Он игнорировал меня в Боярсе. Я это поняла.

— И в тот уик-энд ты поняла, что беременна?

— Да. Но я поехала в Боярс не для того, чтобы увидеть его, а просто чтобы избавиться от заблуждения, убедиться, что он не любит меня и все между нами кончено.

— Ты не думала, что это могло бы продолжаться?

— Нет. Мне было ясно, что это невозможно — да еще погубила все, на что рассчитывал Джерард, — и со всем было покончено навсегда. Я знала это еще до того, как поняла, что беременна. То, о чем спрашивала тогда у реки, прекрасно знала, хотя

не думала, что Дункан так ужасно хочет ребенка.

— Я просто так говорил, — пробормотал Дженкин. — Я не знаю, хочет ли Дункан ребенка. Он как-то упомянул, что хочет…

— В любом случае, этого ребенка он бы не захотел. Но я хотела его. — Слезы вновь покатились из ее глаз. — Как я устала… хочу спать.

— Тебе придется смириться с этим, как смиряются люди с ужасными потерями. Это возможно, ты найдешь способ. — Тут столько такого, что невозможно исправить, подумал он, разве лишь чудо поможет. Ему бы хотелось разделить с кем-то свалившееся на него бремя, но он не знал, как это сделать. — Есть еще кто-то, с кем ты могла бы поговорить? Как насчет того пастора, отца Макалистера? Ты рассказала ему…

— Он вынудил меня рассказать. Говорил об Иисусе и как чистая любовь заставляет покаяться и искупает наш грех и тому подобное. Но он не знал всего. Я не могу снова пойти к нему.

— Слушай, кому, кроме Джерарда, известно, что ты здесь? Лили?

— Нет, я убежала от нее, когда она ушла в магазин, а потом бродила под дождем.

— Тогда нужно позвонить Лили, и твоей матери тоже нужно сказать…

— Нет!

— Люди просто должны знать, где ты. Больше я ничего им не скажу. Пожалуй, позвоню Джерарду, а он скажет им. Тамар, может, поешь чего-нибудь, пожалуйста? Нет? Тогда тебе нужно лечь, я только приберусь здесь. Поговорим завтра.

Дженкин постелил ей в свободной комнате, принес бутылку с горячей водой и свою пижаму. В состоянии полного изнеможения она заползла под одеяло. Не успел Дженкин взять ее за руку и поцеловать, как она заснула. Он постоял, глядя на нее, потом прочертил над ней знак, личный свой оберегающий знак.

Подходя к телефону, чтобы позвонить Джерарду, он вдруг вспомнил то, о чем успел начисто забыть: необычное объяснение с другом, прерванное появлением Тамар. Он стоял, положив руку на трубку, и пытался припомнить, что именно он ему говорил. Вроде бы он был довольно груб с Джерардом в начале их разговора, а потом смеялся над какими-то его словами. Ладно, вряд ли это было что-то такое, что можно было бы исправить только с помощью чуда. Тем не менее надо будет подумать над этим… Он быстро поднял трубку и набрал номер Джерарда.

— Слушаю!

— Джерард!

— Я надеялся, что ты позвонишь. Что там с Тамар?

— Все хорошо. Она спит, всего два слова, чтобы не разбудить ее. Я что подумал, не позвонишь ли ты Лили, сказать, что она здесь? Не то если Лили перепугает Вайолет…

— Да, да, я все улажу.

Последовала секундная пауза.

— Джерард…

— Не переживай.

— Не буду.

Дженкин сел у камина и налил себе еще виски. Он был расстроен, возбужден, мучился жалостью, страхом. Среди неразберихи тревожных чувств теплилась затаенная радость, что в его доме, отдыхая в безопасности, находится несчастное создание, прибежавшее к нему за защитой. Было непривычно чувствовать, что он не один в доме.

Он старался успокоиться, прийти в себя. Его смех был в какой-то мере реакцией на потрясение, способом уйти от немедленного ответа. Хотя, конечно, это было еще и смешно, до нелепости комично: «Возвращаться домой». Соблазняло ли это его? Да, пожалуй. Много лет Дженкин, при всей их близости, сознавал, сознавал отчетливее

Джерарда, что между ними существует дистанция. Он раздумывал над этой дистанцией, этим неизменным защитным пространством, как будто оно ждало, жаждало руки, протянутой через него. Его руки? Он сидел у огня, погруженный в эти мысли и воспоминания, и рука его дернулась в зачатке жеста. Он удерживал себя от возможного жеста сближения из некой застенчивости или целомудренного стыда, из ощущения превосходства Джерарда, ощущения, которое преследовало его, казалось, всю жизнь. Или его пугал, конечно, мягчайший, может, едва уловимый возможный отказ? Не отваживался он и представить себе, каким должен быть этот шаг навстречу, что он повлечет за собой, какова будет его жизнь без этой ясной пустоты (она рисовалась ему подобной небу, бледно-голубой и полной света), через которую он смотрел на Джерарда. Временами ему казалось нелепым, чем-то слишком напыщенным, осмыслением неосмыслимого, думать подобным образом о его отношениях с Джерардом. Если им была судьба сойтись ближе, тесней, встречаться чаще или, как кто-то уже описал это, разве не произойдет оно спонтанно, а если не произойдет, то не потому ли, что тому есть убедительные причины, может, невидимые, но

убедительные, почему этому не суждено произойти? К чему вся эта суета? Ну, не суета, только сосредоточенность на этом, иногда проявляющаяся в виде ревности, на которую Дженкин, тщательно таивший свои чувства от Джерарда, был безусловно способен. И вот, к тому же так неожиданно, это столь важное структурное пространство вдруг оказалось уничтоженным. Король явился с униженной просьбой — а Дженкин посмеялся над ним. Возвращаться домой? Вряд ли он сможет возвращаться домой, думал Дженкин, не в его характере возвращаться домой или иметь такого рода дом. Даже этот дом, где он сейчас живет, — скорлупа, которая должна быть разбита. Хорошо, значит, это романтика, сентиментальность. Но он вскоре должен уехать, и скорее, чем планировал, если не собирается бежать к Джерарду.

Была еще одна часть головоломки, старая и потускневшая, но которая тем не менее напомнила о себе в результате удивительного объяснения Джерарда. Это проблема Роуз. Дженкин настолько привык быть чуточку влюбленным в Роуз, что это уже едва ли могло называться влюбленностью, да он и не думал о себе в подобных категориях. Дженкин любил женщин, и у него было, хотя не в

последнее время, больше приключений, чем воображали его друзья или кто другой, считавшие его безнадежно равнодушным к женскому полу. Но Роуз — это особый случай. Он никогда никому не говорил о своем необычном и не слишком обременительном чувстве, только однажды признался оксфордскому приятелю, Маркусу Филду, тоже влюбленному в Роуз. Дженкин, мудрый и в те времена, обуздал свое чувство. Любовь Роуз к Джерарду осталась далеко в прошлом, почти так же далеко, как любовь Джерарда к Синклеру. Джерард позволил ей любить себя, а что еще ему было делать? Впрочем (Дженкин очень редко разрешал себе так думать), не проявил ли тут Джерард некоторую мягкость, не следовало ли ему сказать, чтобы она забыла его и поискала кого другого? Однако это, возможно, было не то чтобы мотивом, но все же как-то повлияло на решение Дженкина бежать, — это желание уехать не только от Джерарда, а и от Роуз.

И все же… насколько это хрупкое равновесие мотива и решения, так долго создававшееся и наконец созданное, было изменено, даже серьезно нарушено невероятным признанием Джерарда? Дженкин никогда не имел гомосексуальных связей, и ему в голову не приходило рассматривать

отношения с Джерардом под этим углом, — не позволял он себе и задаваться вопросом, что такого появилось сейчас, чего не было раньше. То, что он чувствовал сейчас, это было внезапное пробуждение самого его существа. Джерард воззвал к нему, и отголосок его зова всколыхнул то, что таилось в глубинах души. «Приди, любимая моя!» Может, в конце концов, это все изменило?

Джерард позвонил Лили и Роуз, которую Лили успела напугать, и поехал к Вайолет сообщить, что Тамар у Дженкина. Немного посидел у Вайолет. Она с видимым удовольствием рассказала ему о припадках со слезами и воплями у Тамар перед тем, как та пропала. Вайолет не знала о причинах такого ее состояния. Она явно нервничала, была расстроена, напугана, даже до того потрясена, что проявляла искреннюю материнскую тревогу о дочери. Джерард воспользовался возможностью, чтобы с авторитетным видом сказать Вайолет, что она непременно должна позволить Тамар продолжить образование. Возможно, именно переживания Тамар из-за этого запрета послужили причиной ее нервного расстройства. Некоторые молодые люди страстно хотят учиться и продолжать образование, и по-настоящему ценные и труднодоступные

знания, которые останутся при тебе навсегда, должно приобретать, пока ты молод. Если Тамар разочаруется сейчас (рисовал Джерард картину для Вайолет), она может впасть в депрессию и потерять работу, тогда как если вернется в Оксфорд, в дальнейшем она может получить более высокооплачиваемое место. А на это время Джерард будет с большой радостью помогать финансово, и так далее и тому подобное. Вайолет быстро сменила примирительное настроение на всегдашнее, и ее лицо вновь приобрело знакомое выражение спокойного веселого цинизма. Он ушел, надеясь, что его слова, может быть, все же произвели на нее впечатление.

Дома его встретил звонящий телефон. Это была Роуз. Он рассказал о посещении Вайолет. Рассказ заинтересовал Роуз, но звонила она с другой целью. Ей просто хотелось услышать его голос и как он скажет свое неизменное: «Покойной ночи, дорогая, добрых тебе снов».

Джерард в пижаме и халате сел на край кровати, очень прямо, как в парке, когда невидящим взглядом смотрел на детей, кормивших уток. Роуз уже спала, а он еще долго сидел вот так, неподвижно, перебирая события минувшего вечера. Ждал, когда успокоится буря взволно-

ванных чувств. Дышал глубоко и размеренно. Как ему хотелось, чтобы можно было принять приглашение Дженкина остаться, спокойно посидеть с ним, выпить, послушать дождь. Они без слов смотрели бы друг на друга, и между ними устанавливалось бы новое взаимопонимание. Ладно, еще появится возможность; и, быть может, приход Тамар, хотя и сделал невозможным это дальнейшее, иное, продолжение их разговора, был своего рода добрым знаком. Они думали каждый о себе и друг о друге, когда им неожиданно пришлось задуматься о неотложной помощи человеку, попавшему в беду. Это тоже тесней связало их и дало возможность естественного и безотлагательного взаимодействия. Эта мысль даже смягчила, превратила в ироническую покорность его досаду от того, что Тамар предпочла прибежать к Дженкину, а не к нему.

Джерард мысленно успокаивал себя: по крайней мере, он произнес свою маленькую речь, недвусмысленно выразил в ней то, что имел в виду, сказал вполне достаточно и просто — и что бы ни случилось, а нужно быть готовым ко всему, он будет рад, что открыл Дженкину свои чувства. Безусловно, после такого Дженкин не уедет — не захочет уезжать, поймет, что не сможет этого

сделать.

Но позже, когда Джерард улегся и заснул и проснулся в темноте, его охватило непривычное чувство: впервые за все время их с Дженкином отношений он был слабой стороной. Он пришел к нему как нищий, стоял перед ним, растеряв весь свой авторитет. Обменял силу на бесконечную незащищенность и вынудил Дженкина быть его палачом. И когда он думал сейчас о Дженкине и как тот необходим ему, память унесла его в прошлое, и он сказал себе: не следовало желать того, что было недостижимо. Почему он вообразил, что это будет так просто? Ему не терпелось произнести свою маленькую речь, словно она и впрямь могла защитить некую кроху самого дорогого в его заветном желании и он, по крайней мере, сохранил бы хоть что-то. Он думал, что, возможно, делает глупость — но сейчас, что же, в представлении Дженкина и своем, он такое сделал? Ему и в голову не приходило, что все может обернуться так плохо, что обратной стороной их обоюдной доброжелательности может быть ад. Наверно, он совершил нечто ужасное, для Дженкина и для себя.

~~~

— Покажи, как включаешь дальний свет, — сказал Краймонд.

Джин включила.

— Теперь ближний, переключи снова на дальний, и так несколько раз.

Джин сделала, как он просил. Она сидела в своей машине, дверца открыта, и Краймонд стоял рядом в темноте. Его машина с включенными фарами стояла прямо напротив ее «ровера». Было три часа ночи, и они находились на Римской дороге.

Дождь прошел, вновь стало холодно и тихо, выкатилась луна, светили звезды. Джин била сильная дрожь.

— Водишь хорошо? — спросил Краймонд.

— Да, конечно.

Они были на гребне холма, откуда днем было далеко видно волнистую дорогу. С того места, где они стояли, полотно ныряло вниз, потом поднималось, потом отлого спускаюсь, а дальше следовал ровный подъем на следующий гребень милях в двух от них.

— Когда доеду туда, посигналю тебе: три про-
~~~

должительных переключения на дальний свет, и ты ответишь таким же образом. Если будет какая-то помеха, хотя вряд ли, мы не встретили ни одной машины с тех пор, как свернули с шоссе, но если все-таки кто-то появится, я быстро мигну несколько раз и это будет означать, что ты должна переждать. И конечно, ответь мне тем же. Потом после первых сигналов, означающих, что я на месте и ты увидела меня, делаем паузу и снова сигналим, одновременно, трижды продолжительно включаем дальний свет. Ну, ты помнишь все это, сколько раз репетировали.

— Конечно помню.

— После второй серии сигналов тотчас трогаемся. Едем, разумеется, с ближним светом, мы же не желаем ослепить друг друга. Все, что тебе нужно делать, это держаться левой стороны, дорога очень широкая, так что, думаю, все будет в порядке. Остальное предоставь мне. Не забудь пристегнуться, всякое может случиться, а ты должна остаться в машине. Не испорть все, ну, ты не испортишь, мы не хотим кончить дни парочкой в инвалидных колясках, тут не должно быть никаких случайностей. Помни, мы потеряем друг друга из виду, когда будешь внизу, проедешь первый подъем, потом небольшой спуск, а дальше

длинный подъем. Если бы я как следует подумал, мы могли бы сделать это как-нибудь иначе, но сейчас это не имеет значения, и твоя машина мощнее моей — это будет просто, это будет легко, только, ради бога, жми на газ, мы должны столкнуться по меньшей мере при скорости в восемьдесят миль. Справишься с управлением?

— Конечно справлюсь.

— Не рискуй этим… нет, ты не станешь рисковать, ты прекрасно водишь… набирай высокую скорость, на спидометр смотреть не обязательно, можешь положиться на меня, просто набирай скорость и не снижай, и держись левой стороны. Это все, что меня заботит. А теперь я иду в свою машину. Мы решили, что уже попрощались… только это не прощание, теперь мы будем вместе, всегда.

Он быстро повернулся, и тогда Джин вышла из машины, подошла к нему и положила руку ему на плечо. Почувствовала, как он вздрогнул и отшатнулся, и, когда он отходил от нее, их руки соприкоснулись. Она неподвижно стояла, глядя, как он садится и закрывает дверцу, взревел мотор, задние фонари стали удаляться, свет фар нырнул вниз, потом высветил подъем, пропал на секунду и появился вновь на долгом подъеме к далекой

вершине следующего холма. Она вернулась в машину, захлопнула дверцу и пристегнулась.

У Джин был мощный «ровер», более мощный, чем «фиат» Краймонда. Джин поймала себя на том, что думает о машинах. Она любила свой «ровер», и вот теперь она собирается разбить его, разнести вдребезги. На мгновенье вспомнила о Дункане: не будет ли тому жалко машины. Потом, откинувшись на спинку сиденья и чувствуя, как у нее слипаются веки, подумала, не спит ли она? Может, это все сон? Должно быть. Она постоянно думала об этом с тех пор, как Краймонд начал говорить о самоубийстве, и вот теперь это снится ей. Голова ее дернулась, и это было как пробуждение. Нет, то не сон, она находилась в месте, о котором они говорили, и время, какое они наметили, момент наступил, Краймонд уже уехал. Сначала ее поразило ощущение одиночества. Потом она подумала о том, что сейчас должно произойти, и ее охватил озноб и мрак ужаса. Ее затошнило, она ждала, что сейчас ее вырвет, но этого не произошло. Она машинально завела мотор. Заведя, подумала: еще не время. Она могла бы отбежать в лес и переждать, пока не пройдет приступ тошноты, на нее могло бы найти временное помешательство и она побрела

бы среди деревьев и где-то посидела. Почему это и дальше должно ее касаться? Разве мы это уже не совершили самими разговорами об этом? Почему она должна делать что-то еще, разве это уже не совершилось? То она не замечала холода. Теперь же подняла стекло и подумала: в машине теплее. Она была в полупальто. Сумочка лежала на сиденье рядом. Зачем она взяла ее с собой? Чувство сильной тошноты появилось как ощущение времени. Сгустившаяся масса всех недавних мыслей и чувств взрывалась в голове. Она сейчас была не в ладах с логикой, верным могло быть и противоположное.

Все последние дни она старалась понять возлюбленного, старалась, как старалась всегда, выяснить, чего он хочет, и быть такой, какой он хочет, чтобы она была. Она верила какое-то время, больше того, может, и сейчас верит, что это проверка на бесстрашие. Краймонд увлекался подобными вещами, вновь это русская рулетка, якобы заряженный револьвер на самом деле не заряжен. Он хотел, как сам сказал, удостовериться в ее бесстрашии. Она ответила: в моей любви? Да, в твоей любви, это то же самое. И вот это повторяется, он, как в наркотике, нуждается в регулярных подтверждениях того, что

она полностью в его власти; и она в его власти, приехала на Римскую дорогу, чтобы участвовать в этом кошмарном фарсе, в этом мучительном спектакле, потому что не могла противоречить ему, должна была повиноваться. Не подвести… ни тогда… ни сейчас. Если подведет, он бросит ее. Но… если пройдет испытание, то умрет? Он, подумала она, спасет их в последний момент, это похоже на него. Она будет держаться левой стороны, а он просто проедет мимо или будет ехать прямо на нее, а потом свернет в сторону. Он сказал: «остальное предоставь мне». Что ж, это все, что она может сделать, в этом теперь ее жизнь. Потом они снова встретятся и обнимутся, будут плакать и танцевать. Так это будет; и их любовь станет еще крепче, сильней в тысячу раз, божественной. Это испытание смертью, после которого человек становится бессмертным. Ну а если это будет смерть, если он жаждет реальной смерти, и мы соединимся в смерти и станем легендой? Если он выбирает это как финальный апофеоз их любви, тогда это и ее выбор; она слабо вскрикнула, как птица, и ее тело напряглось в порыве экстатического страха такой силы, что как будто засветилось. Она отдала ему свою жизнь, если он забирает ее, хорошо, и если

пощадит, хорошо. Это кульминация, к которой стремилась ее жизнь, момент, который стоит всего остального, искупает прошедшее. Она не может иначе и должна быть спокойной. И все же в голове билась мысль: невозможно, чтобы мы не встретились снова, невозможно, чтобы мы снова не были вместе и не говорили об этом. Если боги намерены вознаградить нас, мы должны быть живы, чтобы им было кого вознаграждать… если только эти последние мгновения жизни не есть наша награда.

Она дрожала от возбуждения и ужаса. Голова была огромной, электрические искры пронизывали ее уколами сильной боли. Все это время она сидела совершенно неподвижно — мотор продолжал работать — и смотрела на дорогу впереди, которая, казалось, дрожала и вздувалась и вскипала атомами тьмы. Исподволь она видела луну, даже звезды, заиндевелый, освещенный луной гудрон дороги сразу за капотом, огни машины Краймонда, бледный свет фар и задние фонари, пропавшие на короткое время и вновь появившиеся на далеком подъеме, медленно движущиеся вверх по волнам тьмы. Свет стал слабым, потом как будто пропал, красные фонари исчезли, похоже на интервал, бездну,

в которую можно провалиться; потом из тьмы медленно выплыл свет фар, сначала бледный, потом яркий, так повторилось трижды. Она открыла рог, судорожно хватая воздух, рука легла на переключатель, она трижды посигналила в ответ. Далекие фары повторили сигнал, и она почти одновременно ответила. Далекие фары переключились на ближний свет, и она сделала то же самое. Она включила передачу и выжала сцепление. Машина покатилась вниз по спуску, и через несколько секунд фары на противоположном холме исчезли из виду. Нажимая на газ, Джин испытала неожиданный всплеск энергии, нечто мощное, то ли страх, то ли веселую радость, то ли, в глубинах тела, длительное сексуальное возбуждение. Она сильней нажала на педаль. Быстрей, еще быстрей. В то же время мелькнула мысль: а потом мы проедем на машине через всю Францию. Она будет за рулем, он, по сути, не любит водить. Она так часто представляла себе подобную поездку с Краймондом после того, как он закончит книгу. Когда книга будет закончена, они будут ездить повсюду, как когда-то в Ирландии, и будут совершенно счастливы. Но вот книга закончена, и разве они уже не совершенно счастливы, разве то, что она сейчас делает, пови-

нуясь воле Краймонда, не есть совершеннейшее счастье?

Когда она достигла нижней точки спуска, впереди снова показался свет фар машины Краймонда, на сей раз намного ближе. Дорога спустилась еще немного, и начался пологий затяжной подъем. Джин не отрываясь смотрела на два бледно горящих глаза впереди, глаза, которые, казалось, так быстро становились больше и ярче. «Ровер» несся красиво, легко, словно птица. Джин бросила взгляд на спидометр, но по непонятной причине не увидела его. Бледные разгорающиеся глаза впереди, казалось, затмили все в мире. В мире. Быстро ли это произойдет? Чем быстрее, тем лучше. Очень странно, что за всеми теми долгими кошмарными, волнующими и какими-то ненастоящими разговорами о том, что должно произойти на Римской дороге, Джин ни разу не попыталась представить какие-то детали предстоящего. Было столько метафоры, столько мифа, столько чисто плотского восторга, как в долгом оргазме, в том невероятном времени, таком коротком, таком насыщенном и наполненном их совместной жизнью, что потом она поняла, что Краймонд действительно подразумевал это, что они действительно придут к

этому. То время вставало в памяти как залитое солнцем поле битвы, как рыцарский поединок — с развевающимися вымпелами и обнаженными копьями, еще не обагренными кровью. Из этих схваток Джин могла уходить в бесконечно неуверенные предположения о реальных намерениях Краймонда. Воображение периодически рисовало ей неопределенные картины: две машины превращаются в одну, на дороге не остается ничего, только сплющенная металлическая банка. А внутри? Она будет там, с Краймондом, внутри, соединившись с ним в вечном мраке. И кровь, смешавшаяся кровь, смешавшаяся плоть, но они исчезнут, соединившись навечно под удар грома. Она задыхалась и стонала, еще не вопила, хотя уже могла слышать свой грядущий вопль.

На какой он полосе, левой, правой? Пока трудно понять. Он сказал ей оставаться на левой, а остальное предоставить ему. В его воле ее покой. Только сейчас она одна. Но она не должна думать об этом. Быстрей, быстрей, ближе, ближе. Она снова скосила глаза, на сей раз на обочину. Вдоль дороги шла длинная низкая каменная стена, сухая каменная стена, золотисто-желтый рисунок камней которой гипнотически и очень быстро разматывался в свете фар «ровера». Сте-

на. Обочина справа тонула в темноте. Потом ей представились инвалидные коляски. Краймонд только упомянул о них, но Джин уже нарисовала себе картину, словно годами думала об этом, как она и Краймонд медленно передвигаются в них по большой комнате, мимо друг друга, как бестолковые насекомые, с усилием крутя руками колеса. Старость, это образ старости? Они не хотят становиться стариками и не хотят становиться калеками, ей нельзя ошибиться. Машина Краймонда, теперь, может, всего в миле, а то и меньше от нее, ехала явно по правой полосе, правой для него, левой для нее, они столкнутся лоб в лоб, лицом к лицу. Нога давила на педаль газа, в ушах стоял рев — звук двигателя, на который она не обращала внимания, рулевое колесо, казалось, прилипло к рукам, неподвижное. Она в жизни не гнала с такой скоростью и тем не менее прекрасно справлялась с управлением. Если она отклонится от прямой в последний момент, он ударит в бок, и тогда это будет несчастный случай. Каменная стена еще продолжалась. Бледные блестящие глаза впереди, которые на время, казалось, увеличились, будучи неподвижными, теперь стали ощутимо ближе, мчались навстречу, ближе, ближе, быстро, очень быстро. Джин начала молиться,

Краймонд, о Краймонд. Как может она убить любимого? Если бы только она могла умереть, а он стать богом! Он сказал: держись левой стороны, а остальное предоставь мне. Яркие глаза были уже рядом, гипнотические, сияющие ослепительно, заполняющие все видимое пространство, прямо перед ней, мчащиеся, рвущиеся к ней. Он не собирается отклоняться, пронеслась мысль, это не проверка, это по-настоящему, это смерть. Джин завопила, ее вопль сливался с ревом мотора. Теперь она видела не только глаза, но и машину, освещенную ее фарами, черную машину с фигурой в ней, ближе, ближе. Сплющенная банка, банка, банка. О любовь моя!

Каменная стена внезапно исчезла, и взгляд Джин, все еще устремленный вперед, на то, что должно было произойти, уперся в ворота из пяти перекладин. Она вывернула руль. Проскочила мимо ворот, но машина пробила густую живую изгородь и, перевернувшись на бок, теперь лежала на траве. Фары погасли. Вдалеке раздался визг тормозов, потом тишина, поразительная тишина. Тьма и тишина.

Джин попробовала дышать. Дышит. Подумала о теле и пошевелилась. Машина лежала на левом боку. Ремень продолжал держать ее. В кромеш-

ной тьме она не могла понять, что вокруг нее. Нашарила замок ремня. Он, кажется, щелкнул, и она ударилась о пассажирское сиденье, которое отлетело вперед. Она подняла колени и сделала передышку, держась одной рукой за руль. Голова болела, и правая нога тоже, наверное, когда машина прорывалась сквозь изгородь, она продолжала давить на газ. Все тело как избитое. Она сосредоточилась на дыхании.

Появился огонек, блуждающий огонек. Дверца над ней, за рулем, заскрипела. Кто-то пытался открыть ее. Наконец дверца открылась. Все-таки похоже на сплющенную банку, подумала она, и кто-то вскрыл крышку. Луч фонаря проник в машину, осветив ее колени, сорвавшееся с места сиденье, разбитое лобовое стекло, что-то вроде снега повсюду: осколки стекла, поняла она. Глядя на свои колени, она обратила внимание на чулки, коричневые чулки, которые выбрала, выбрала, когда поднялась в полночь. Перед этим Краймонд велел ей поспать, и она действительно заснула, хотя это казалось невозможным. Сейчас она вспомнила, что забыла спросить Краймонда, спал ли он сам. Она издала горловой звук, пробуя, может ли говорить, и произнесла не своим голосом:

— Я в порядке… кажется.

— Выбирайся наружу, — произнес другой голос.

Сможет ли она? Тело было таким слабым, таким избитым и как-то перекручено, как обмякшая дохлая змея. Зацепившись одной ногой за приборную доску и ухватившись за руль, она выгнулась вверх. Еще немного, теперь опираясь на руль, а другую ногу положив на бок открытой дверцы. Но ее руки были так бессильны, и она не могла подняться выше. Голова, ее голова, которая так болела и была как чужая, ею надо попасть в проем дверцы и не думать о боли в ноге. Протиснуться мимо рулевого колеса будет трудно. В какой-то момент она почувствовала, что стоит на коленях, затем, найдя опору для ног, наверное, это было пассажирское сиденье, сумела протянуть левую ногу и продвинуться вверх, сдвинув водительское сиденье, которое неожиданно пропустило ее, подавшись назад. Ее голова, а следом руки появились в помятом проеме распахнутой дверцы, который теперь ей освещал свет фонаря. Руки на секунду приняли на себя вес тела, пока левая нога не нашла другую шаткую опору, наверное, руль, и она села на краю проема и очень медленно, помогая себе руками, просунула сна-

чала одну, потом другую ногу наружу.

Краймонд, не помогая ей, стоял чуть в стороне, светя на нее фонарем. Спросил:

— Идти можешь?

Джин едва не упала на землю, оперлась о машину, руки судорожно шарили по искореженному красному металлу, такому яркому в свете фонаря. Она должна идти, твердила она себе. Правая нога болела, но опереться можно. Головная боль, пропавшая было, пока она выкарабкивалась из машины, вновь вернулась. Она ответила:

— Да.

— Тогда шагай.

Луч фонаря метнулся в сторону дороги, и фигура Краймонда стала удаляться.

Джин, медленно возвращавшаяся к жизни, закричала:

— Подожди, подожди меня, пожалуйста, помоги мне!

Потом заковыляла за ним. Теперь она видела в луче фонаря коричневую колючую безлистную изгородь, дыру в ней, дальше асфальт дороги и, после шага или двух, огни машины Краймонда, освещающие ворота и конец каменной стены. Он развернул машину, чтобы вернуться назад.

Краймонд прыгнул в дыру и стоял на дороге.

— Я уезжаю, — сказал он. — Ты можешь делать что угодно. Больше мы не увидимся.

— Нет, нет… — пронзительно закричала Джин, — не бросай меня, Краймонд… возьми с собой, прости меня… не смогла я убить тебя, я люблю тебя, умерла бы за тебя, но убить не смогла… о, возьми меня с собой, возьми домой, ты не можешь уехать без меня…

— Я не шучу. Ты для меня теперь ничто. Убирайся, иди к черту, все кончено.

— Ты не хотел нам смерти, не мог этого хотеть. Знаю, не мог, это была только проверка, я сделала то, что, как считала, ты хотел!

Краймонд направился к машине, освещаемый ее фарами.

Джин дошла до изгороди, но не сумела пролезть в дыру. Доковыляла до ворот, но не сумела открыть их.

Краймонд распахнул дверцу машины.

— Подожди меня, о мой дорогой, подожди, подожди, не бросай меня здесь!

— Ты меня бросила. Мне ты больше не нужна. Не тащись за мной, не вынуждай ударить тебя. Все кончено, кончено. Можешь ты понять, что я не шучу?

— Краймонд, я люблю тебя, ты любишь меня,

мы говорили, что наша любовь вечна!

— Была бы вечной. Теперь это невозможно. Разве я не страдаю тоже? Ты отняла у меня то единственное, чего я жаждал и что только ты могла мне дать. Ты сплоховала, и наш договор больше не действует.

— Я поеду с тобой, я приду к тебе завтра, у меня в мире нет ничего, только ты!

— Больше не приближайся ко мне, ни сейчас, ни завтра, никогда. Ты теперь для меня ничто, пустое место. Убирайся, получай свою свободу, попытай счастья. Мы уже попрощались, разве не помнишь? Между нами все кончилось, ты выбрала свой способ, как покончить с этим. Мы могли бы убить друг друга, но ты сумела только убить нашу любовь. Вот что умерло. Теперь уходи от меня, отправляйся куда хочешь, лишь никогда больше не приближайся ко мне. Мы чужие навсегда, не хочу тебя никогда больше видеть.

Краймонд сел в машину и завел двигатель.

Крича: «Нет! Нет!», Джин боролась с воротами.

Машина рванулась задним ходом на подъем, потом затормозила и стала разворачиваться. Джин, завывая, возилась с кольцом и цепью.

Машина помчалась, набирая скорость, и скрылась в низине. Потом задние огни показались на

вершине холма и скоро скрылись. Вновь вернулись темнота и тишина, вновь появились луна и звезды.

Джин наконец открыла ворота и вышла на дорогу. Постояла какое-то время, широко раскрыв рог и откинув назад голову, вопя и крича, раздирая одежды, вырывая волосы и рыча, как дикий зверь. Потом зашагала по дороге. Надо добраться до Лондона, машина подберет ее, Краймонд вернется за ней. Она вновь почувствовала боль во всем теле и сильный холод. Идти было трудно и с каждым шагом все трудней. Теперь она плакала, повесив голову и готовая в любой момент упасть на колени. Остановилась, не прекращая рыдать, и оглянулась вокруг. Местность была погружена во тьму. Нет, тьма была не полная, в стороне светился огонек, окно в доме невдалеке от дороги. К дому вела тропинка. Она заковыляла по ней. Только оказавшись совсем близко от дома, она поняла, что это Боярс.

Роуз Кертленд спала. Ей снилось, что она и Синклер в Ватикане играют в бридж с Папой Римским. Папа беспокоился, потому что четвертый игрок опаздывал. Наконец раздался звонок, и они все бросились к двери, только дверь прикрывал тяжелый гобелен, и они, задыхаясь, долго

боролись с ним, а потом проползли снизу. Они оказались в длинном совершенно белом зале, в дальнем конце которого в белой мантии и белом, похожем на судейский, парике восседал на троне Дженкин Райдерхуд. Она и Синклер медленно и торжественно направились к нему, и Роуз тряслась от страха.

Звонок не смолкал. Роуз проснулась и поняла, что это надрывается телефон. Она вспомнила свой сон и страх во сне и почувствовала новый страх от этого звонка. Зажгла лампу. Было около шести утра. Она выбралась из постели и побежала к телефону в темном коридоре, ощупью нашла трубку.

— Алло!

— Мисс Роуз… это Аннушка… здесь миссис Кэмбес.

— Что?

— Простите, что беспокою вас. Здесь миссис Кэмбес, и она хочет поговорить с вами.

— Что случилось?

Мгновенье спустя она услышала, как Джин говорит, скорее пытается говорить сквозь слезы.

— Джин, дорогая моя, дорогая Джин, что случилось… о, не убивайся так… что случилось, сердце мое… что произошло?

Наконец Джин проговорила:

— Я хочу, чтобы ты сходила… посмотрела, что с Краймондом… все ли с ним в порядке…

— Конечно схожу. Но ты… сама-то ты в порядке? Дорогая, дорогая Джин, не плачь так, я этого не вынесу.

Джин сказала, стараясь владеть голосом:

— Я в порядке… Аннушка была так добра… и доктор…

— Доктор?

— Я в полном порядке… но боюсь… что Краймонд мог покончить с собой…

— Ты бросила его, — сказала Роуз.

— Нет, он бросил меня. Но он мог покончить с собой. Мог застрелиться. Не могла бы ты сходить…

— Да, конечно схожу, прямо сейчас. Уверена, что он не убил себя, он не из тех… но я пойду, а потом перезвоню тебе. Но, Джин, ты ранена, доктор…

— Ушибла ногу, пустяки.

— Оставайся там, не уходи, Аннушка позаботится о тебе, а когда я увижу Краймонда, поеду прямиком к вам. Просто побудь там и отдохни. Я приеду, как только смогу.

— Да… если ты не против… я, пожалуй, побуду

здесь… ближайшее время…

— Можешь передать труб…

Аннушка уже была у телефона. Она говорила медленно и спокойно, как обычно. Миссис Кэмбес попала в автомобильную аварию. Да, совсем близко, она ехала в Боярс. Она не ранена, только вывихнула лодыжку и получила легкое сотрясение. Она увидела свет, который Аннушка всегда оставляла, когда была в Боярсе одна, и прошла пешком всю дорогу со своей больной лодыжкой. Да, доктор Толкотт был здесь, пришел сразу, как его позвали. Да, он вынес заключение, и ей требуется только отдых, он туго перевязал лодыжку и дал ей несколько таблеток. Сказал, что вернется. Она лежит на диване в гостиной, потому что не может подняться наверх. Они не позвонили Роуз тут же, потому что…

— Только не отпускай ее, — сказала Роуз, — сделай для этого все возможное, я перезвоню и очень скоро приеду.

В бешеной спешке она включила везде свет, оделась кое-как, никак не могла найти сумочку и ключи от машины. Наконец все нашла, даже перчатки, надела самое теплое пальто, шерстяную шапочку и шарф. Оставив свет гореть, она сбежала вниз и выскочила на пустую, освещенную

фонарями улицу. Было шесть часов. Ни малейшего признака рассвета.

В машине она дала волю страху. Происходили ужасные вещи, и еще произойдут. Она еще не позволяла себе радоваться, что Джин ушла от Краймонда. Все это, что бы это ни было, могло быть частью одной громадной трагедии. А что, если она приедет и найдет Краймонда лежащим в луже крови с простреленной головой? Она солгала Джин, конечно, она считала, что Краймонд способен покончить с собой… больше того, если они действительно разошлись, это очень даже возможно. Он закончил с книгой, лишился и Джин. Кроме этого, у него, наверное, ничего не было, возможно, завтра они снова будут вместе. Ох, только пусть он будет жив, молилась Роуз. Ей уже почти хотелось, чтобы Джин вернулась к нему завтра, все остальное ужасно опасно. Джин сойдет с ума, Дункан сойдет с ума, люди умрут, наступит кошмарный хаос, конец всякого порядка, конец света.

Встречных машин почти не было, фонари освещали пустые, безлюдные тротуары. Переезжая Темзу, она заметила, как дрожат огни фонарей в прибывающей воде. Время прилива. Только бы не заблудиться. В темноте все выглядело та-

ким незнакомым, таким ужасным. Она не могла припомнить дорогу и искала глазами какие-то ориентиры. От досады и страха начала подвывать.

Наконец она оказалась на месте, въехала прямо на тротуар у дома Краймонда. Дверь стояла нараспашку, в прихожей горел свет. Выйдя из машины, Роуз почувствовав слабость в ногах от страха. Холодный воздух обжигал лицо. Она вновь надела шарф, который сняла в машине. Сняла перчатки и голой рукой взялась за железные перила крыльца, рука прилипала к заиндевелому, страшно холодному металлу. Спотыкаясь, она поднялась в прихожую.

В комнатах было темно, она поочередно обходила их, включая в каждой свет. Никого. Она побежала к лестнице, ведущей в полуподвал. Ступеньки были освещены, внизу виднелся свет в открытой двери. Она сбежала вниз, держась за перила, и ворвалась в просторное помещение полуподвала.

Краймонд стоял в дальнем конце. Горел верхний свет и лампа на письменном столе. Он стоял так неподвижно, что Роуз, держащейся за притолоку двери, вдруг показалось, что он действительно мертв, но не упал, а стоит. Он явно

не заметил ее, хотя она довольно шумно сбежала по ступенькам. Потом он чуть повернул голову, глядя на нее с видимым удивлением, рука его взлетела к горлу. Роуз подумала, что он принял ее за Джин. Сняла шапочку и шарф, расстегнула пальто.

— Роуз!

Неприятно поразило, как прозвучало ее имя. Она спустилась в комнату. Очень хотелось сесть. Стул возле письменного стола был покрыт шалью. Она смахнула ее на пол и уселась. Краймонд обошел стол с другой стороны и смотрел на нее.

— Так с тобой все в порядке…

— Видела Джин?

— Разговаривала с ней. Она подумала, что ты мог застрелиться.

— Как видишь, не застрелился.

— И не собираешься?

— В обозримом будущем, нет. А может, вообще никогда.

— Вы правда… правда, разошлись? — спросила Роуз. В комнате было очень холодно, вылетало облачко пара, когда она говорила.

— Да.

— Теперь бросишь ее одну, да, и никогда не вернешься к ней?

Краймонд ничего не ответил. Просто смотрел на Роуз. Он был в черном пиджаке и черном пуловере, из-под которого виднелся воротничок белой рубашки, и со своим бледным лицом и тонкими губами походил на священника, сурового, осуждающего, грозного.

Роуз встала, вернула шаль на место. Она чувствовала: нужно сделать что-то очень важное, что можно сделать только сейчас, в эту минуту, то ли вырвать из Краймонда какие-то слова, обещание, то ли самой сказать что-то.

— Я очень надеюсь, — проговорила она, — и хочу, чтобы у Джин все было хорошо. Ты должен оставить ее в покое, больше не мучить. Теперь, когда вы разошлись, не смей больше никогда подходить к ней, пусть это будет окончательный разрыв.

Краймонд продолжал смотреть на нее, не говоря ни слова.

Роуз повернулась и поднялась обратно по лестнице. Надела шарф, шапочку, застегнула пальто и вышла на жгучий холод улицы и серый рассвет. Она остановилась у телефонной будки близ моста Воксхолл и позвонила Аннушке, попросив передать Джин, что Краймонд в полном порядке. Затем поехала в Боярс. Ехала и плакала.

— Но как ты здесь оказалась, на этой дороге, ты что, ехала в Боярс?

— Да, я тебе говорила…

— Тогда почему не поехала через деревню?

— Заблудилась!

— Почему ты подумала, что я здесь, обычно я живу в Лондоне?

— Подумала, что можешь быть тут, хотелось вырваться из Лондона, мчаться на скорости, немедленно, куда-нибудь, куда угодно, летела как угорелая, слишком быстро, а потом врезалась в живую изгородь…

— Ты сказала, что лиса выскочила на дорогу и ты крутанула руль.

— Да, да, лиса…

— Ты поругалась с Краймондом…

— Это не был скандал! Мы окончательно охладели друг к другу. И решили расстаться.

— Ты говорила, он бросил тебя.

— Мы оба бросили друг друга. Все кончено. Таково было наше обоюдное решение.

— Тем не менее ты боялась, что он покончит с собой.

— Я была в шоке, прости, что потревожила тебя. Конечно, он не покончит с собой. Рыба бесчувственная.

— Ты не говорила ему, что едешь сюда?

— Разумеется, нет.

— У него есть другая?

— Нет!

— Тогда почему… Ох, Джин, прости, что мучаю тебя расспросами, я так рада, что ты здесь и рассталась с этим человеком! Но это так странно, слишком хорошо, чтобы быть правдой! Он причинил столько горя, когда увел тебя, я уж вообразила, что он будет держать тебя вечно! Ты уверена, что это обоюдное желание, а не то, чтобы только ты захотела сбежать?

— Это то, во что тебе хочется верить! — ответила Джин.

— Мне хочется верить в одно, что ты больше никогда не увидишь его!

День был в разгаре. Джин, усыпленная доктором Толкоттом, проспала до полудня. Она лежала в огромной старой резной дубовой кровати в спальне Роуз, которую обычно занимали Джин и Дункан, когда гостили в Боярсе. Приходила полиция. Роуз полагала, что будет благоразумно позвонить знакомым местным полицейским. Машину Джин уже обнаружили. Они поговорили с Джин, когда та проснулась. Принесли ее сумочку. Ничего загадочного в происшествии не было. По-

друга мисс Кертленд свернула, чтобы не наехать на лису. Прочитали ей лекцию, чтобы в другой раз не спасала лис. Пришел доктор Толкотт. Советовал пойти в больницу, провериться, но Джин сказала, что собирается вернуться в Лондон и там обратится к личному врачу. Доктор Толкотт был преисполнен любопытства, он изучал человеческую природу, готовясь стать психиатром. Роуз с трудом помешала ему продолжить допрос пациентки. Пила ли она? Принимала ли наркотик? Нет, даже транквилизаторы? Не была ли под воздействием стресса? Не желает ли что-то рассказать преисполненному к ней сочувствием врачу? Роуз перевела его внимание на лодыжку и спросила о сотрясении, к счастью, таком легком. Конфиденциально доктор Толкотт сообщил Роуз, что, как он думает, психическое состояние миссис Кэмбес глубоко расстроено. Живет ли она с мужем? Поинтересовался их сексуальными отношениями. Роуз не пресекала его расспросы. Он осмелился усомниться в правдивости рассказа Джин о причине аварии. Роуз тоже в этом сомневалась. Например, лиса появилась после того, как Джин дважды рассказала о случившемся, не упомянув ни о какой лисе, да и могла ли она «заблудиться» ясной ночью на дороге, по которой

ездила сотни раз?

Джин сидела в просторной кровати в одной из самых прелестных ночных рубашек Роуз. Она выглядела изменившейся, отчужденной, испуганной, как большая демоническая птица с огромными глазами и яростным клювом. Прозрачные кисти нервных рук походили на когти. Она даже казалась еще больше похудевшей с тех пор, как Роуз видела ее в последний раз, пожелтевшая, цвета слоновой кости кожа обтягивала ее лицо. Она сидела прямо, поддерживаемая грудой подушек, избегала смотреть на Роуз, ее напряженный взгляд беспрестанно бегал по комнате, а из приоткрытых губ вырывалось частое и тяжелое дыхание.

День клонился к вечеру, солнце погрузилось в пузырящуюся массу розовых облаков, в спальне горел свет, шторы еще не были задернуты. В камине потрескивал огонь. Спальня своей тягучей тишиной и покоем уже напоминала Роуз комнату, где лежит больной, словно ужасные бури в жизни Джин, прошлые, будущие, сейчас улеглись. Если б только можно было оставить ее здесь, думала Роуз.

— Задернуть шторы?

— Да, пожалуйста.

Она задернула шторы, старые коричневые бархатные шторы, кант на которых немножко рвался каждый раз, как их задергивали или раздергивали. Глядя в багряные сумерки, она видела светящиеся окна крайних домов деревни между покатыми полями, а совсем близко Маусбрука, который бежал, держа в пасти что-то похожее на птицу.

— Дорогая, не хочешь поесть чего-нибудь? Может, супу, хочешь чего-нибудь?

— Нет, пока не хочу, не уходи.

— Или виски, бренди?

— Нет, нет. Неприятно смотреть на эту картину, мельтешит.

— Я сниму ее.

Роуз сняла с каминной доски пару фарфоровых кошек, которые стояли там наверняка пятьдесят, а может, и больше лет, влезла на стул, чувствуя жар камина на ногах, осторожно сняла с крюка красно-оранжево-черную абстрактную картину и спустилась с ней на пол. Поставила ее лицом к стене, убрала стул и вернула на место кошек. Теперь над камином красовался светлый квадрат.

— Узор тоже мельтешит перед глазами.

— На обоях? Хочешь другую комнату? Можешь выбирать любую.

— Нет. Не уходи.

— Я не ухожу, дорогая, никогда не уйду! — Роуз присела на кровать и коснулась, но не взяла, тонкой просвечивающей руки, напоминающей птичью лапку. — Я хочу, чтобы ты осталась здесь на долгое время. Позабочусь о тебе. Можешь отдыхать.

— Только ты.

— Да, только я. Никто тебя не побеспокоит.

— Я скоро умру. Мне кажется, что я уже мертвая.

— Нет, нет, ты очень, очень устала, ты попала в кораблекрушение, но теперь ты на берегу, в безопасности, тебе тепло, ничто тебе не угрожает, за тобой ухаживают, что тебе нужно, так это отдохнуть, отоспаться, набраться сил и начать новую жизнь.

— Прекрасные слова, но ко мне они не имеют никакого отношения. Ох, Роуз… тебе не понять… что со мной стало…

— Ты ведь останешься здесь?

— А куда мне деваться? Если есть подходящее место, можешь замуровать меня там. С радостью слышала бы, как стучат укладываемые кирпичи и исчезает свет.

— Джин!

Это произошло позже. Джин поела немного супу с хлебом. Подремала, может, даже поспала. Она попросила Роуз оставить ее ненадолго, и Роуз, измученная и жаждавшая немного отдохнуть, сидела у огня в гостиной с мурлычущим Маусбруком на коленях. Она сама была в шоковом состоянии и смешанные чувства одолевали ее. Преобладала невероятная радость. Она чувствовала, что будет совершенно счастлива жить в Боярсе несколько месяцев, просто заботясь о Джин, даже представляла, как они будут проводить дни вместе, гуляя, читая и болтая. Это будет идеальным повторением прежних времен. Однако должен будет настать момент (как скоро?), когда она должна будет спросить Джин, не желает ли та пообщаться с Дунканом. Должен встать вопрос о том, чтобы, по крайней мере, рассказать все Дункану, пока он не узнает от других, что Джин ушла от Краймонда и исчезла. Роуз хотелось самой сообщить ему новость о бегстве Джин, конечно, она сказала бы о решении сбежать. Джин свободна и готова вернуться: можно ли сообщить ему это? Тут картина, если поразмыслить, становилась не такой радужной. Предположим, Джин не пожелает возвращаться к Дункану? Предположим, предпочтет уехать к

отцу в Америку или найти убежище в каком-нибудь неведомом месте и исчезнуть! навсегда? Роуз вновь привиделась замурованная Джин. Как она может вообразить, на что способна Джин в своем отчаянии и муках? С другой стороны, предположим, что Джин пожелает вернуться к Дункану, но Дункан не простит ее? Поможет ли тут дипломатия и кто должен сыграть роль дипломата, сама Роуз? Она испытывала столь сильное собственническое чувство по отношению к Джин, что ей не хотелось никого допускать к ней. Мысль о «дальнейших шагах» наводила на нее страх. Конечно, пока Джин не будет готова, ничего не должно произойти. В то же время Роуз не могла и дальше держать в полной тайне то, что Джин находится у нее.

Позже, когда Джин проснулась, приняла снотворное и снова заснула, Роуз позвонила Джерарду. Она решила, что необходимо и желательно разделить с кем-то выпавшие на ее долю трудности, а рассказать Джерарду, в конце концов, не означало рассказать всему свету. Было около полуночи, но она знала, что Джерард еще не лег и читает.

— Привет!

— Привет, Роуз, дорогая! Что стряслось?

— Послушай, я в Боярсе. Джин у меня.

— Что?

— Она ушла от Краймонда и сейчас здесь, у меня.

Помолчав секунду, Джерард спросил:

— Она окончательно ушла от него?

— Да.

— Кто бросил кого?

— Они разошлись по обоюдному согласию.

— Вот как! Она не побежит к нему обратно, а он не приедет за ней?

— Не думаю.

— Прекрасная новость. Но что случилось… она появилась в Лондоне и ты увезла ее в Бояре? Неплохая идея.

— Это долгая история, расскажу тебе позже. Она у меня только один день, сегодня. Пока не говори об этом никому.

— Даже Дункану?

— Нет… хотя бы день или два… Джин в таком состоянии…

— Могу представить. Она должна быть уверена, что не переменит своего решения. Но слух разойдется. Сам Краймонд может рассказать об этом. Он знает, где она?

— Нет. Будет лучше, если никто не будет знать,

где она. Я о том, что она может не захотеть видеть Дункана и, если ему станет известно, она может сбежать. Мы не знаем, чего оба они хотят. Она может решить уехать в Нью-Йорк или…

— Да, понимаю. А если расскажу Дженкину, не возражаешь? Он малый с головой и…

— Дженкину можешь, но больше никому.

— Мы придумаем, что делать. Ты оставайся с Джин, мы подготовим Дункана. Слушай, дорогая, уже поздно, у тебя, наверное, был тяжелый день, подробности расскажешь позже… а сейчас ложись спать, я тоже лягу, а завтра утром поговорим. Хорошо?

— Хорошо… тогда спокойной ночи!

— Спокойной ночи, Роуз, и не волнуйся, мы придумаем, как лучше поступить.

Роуз положила трубку. Она уступила инициативу. В конечном счете она не будет первой, как ей очень хотелось, кто сообщит новость Дункану! Что ж, это было неизбежно, она должна была рассказать Джерарду и предложенное им распределение обязанностей было разумным и справедливым. Ну а если… если за время этой интерлюдии с Краймондом Джин успела возненавидеть Дункана или Дункан успел возненавидеть Джин?

— Приятно, что вы оба решили нагрянуть ко мне, — сказал Дункан. — Выпьете: шерри, виски, джину? Ко мне теперь редко кто заходит, эти бутылки составляют мне компанию.

— Шерри, пожалуйста, — сказал Джерард.

— А мне пока ничего, — отказался Дженкин. — Дам знать, когда захочу.

— Как желаешь. Знаете, я ухожу из своего старого доброго министерства. Ладно, ты, Джерард, будешь ждать, что я засяду писать книгу, ну там мемуары, или пособие по руководству страной, или еще что-нибудь.

— Не знаю, чего от тебя ждать, — ответил Джерард, — такая многогранная личность способна заняться чем угодно.

— Может, займусь живописью. Или ударюсь в запой — это всегда достойное времяпрепровождение. Но что это с вами? Вы мои друзья или делегация какая?

Джерард и Дженкин, сидя на диване, пока Дункан стоял у бутылок, переглянулись.

— А ну, сознавайтесь… никаких переглядываний Розенкранца с Гильденстерном.

— Да, своего рода делегация, — сказал Джерард.

— Представляем самих себя и Роуз, — добавил

Дженкин.

— Так-так, в чем дело, вы заставляете меня нервничать.

— Джин ушла от Краймонда, — сказал Джерард.

Дункан протянул ему стакан шерри, который держал в руке.

Налил себе чистого виски и произнес:

— О!

— Она в Боярсе с Роуз.

Дункан отхлебнул виски и сел в кресло напротив. Его крупное угрюмое помятое лицо, косматая бычья голова были обращены к Джерарду, но веки были опущены.

— Мы, — сказал Джерард, — почувствовали, что следует прийти и сообщить тебе, просто сообщить, пока ты не услышал какие-нибудь выдумки или слухи… и хотели, чтобы ты знал, где она и что она в порядке.

— Что значит «просто сообщить»? Вы что, не собираетесь мне ничего советовать?

— Конечно нет, — успокоил его Дженкин, — мы понимаем…

— Он вышвырнул ее?

— Думаю, Джин ушла от него, — сказал Джерард, — как бы то ни было, она сама решила, а не

то чтобы ее вынудили.

Они помолчали.

— Ладно, — сказал Дункан вставая, — благодарю делегацию и прошу ее удалиться.

Джерард поставил стакан. Они с Дженкином тоже поднялись. Дженкин сказал:

— Все произошло только что. Прежде чем решишь, что делать…

— Не собираюсь я ни черта делать, — отрезал Дункан. — С какой стати? Мне ваши добрые новости даже не интересны. Прощайте!

— Извини, я был бестактен, — сказал Дженкин Джерарду, когда они шагали по улице.

— Невозможно быть тактичным при таком его поведении, — успокоил его Джерард. — Мы сделали то, что должны были сделать.

— Это моя вина, не следовало мне встревать со своими советами. Всегда чувствовал, что Дункан, по правде говоря, не любит меня.

— Не говори глупости. Он, конечно, не имел в виду то, что сказал. Но я не знаю, что именно он имел в виду. Вернемся ко мне и позвоним Роуз.

Оставшись один, Дункан какое-то время сидел, понемногу прихлебывая виски. Сидел неподвижно, тяжело дыша, и отпивал виски, словно лекарство, способное облегчить дыхание. Потом

вдруг резко встал и швырнул стакан в камин. Ринулся к книжным полкам и принялся вытаскивать книги и швырять их куда попало, побежал на кухню и вывалил стопку тарелок на пол. Стонал и колотил кулаком по стальной сушилке, производя неимоверный грохот. Бил по металлу, опустив голову и стеная.

~~~

Роуз открыла дверь. Она услышала звук, которого ждала: хруст гравия под колесами машины Дункана. Дункан вышел из машины и неспешно запер дверцу. Прошел в дом, тщательно вытерев ноги у порога. Дождило. Роуз закрыла дверь и протянула ему руку. Дункан взял ее и поцеловал, чего прежде никогда не делал. Они не обменялись ни словом. Роуз повела его в гостиную.

— Как она? — спросил Дункан.

— Хорошо. Выглядит как призрак…

— Она меня ждет?

— Да. Я не сказала ей точное время.

— Она все еще хочет видеть меня?

— Да, да. А ты хочешь видеть ее… приехал не просто из…

— Из чего?

— Из чувства долга, думая, что это поможет ей легче перенести…

— Я чувствую, что это мой долг и что это поможет ей. Впрочем, может и не помочь. Я следую твоему совету.

— Ох, Дункан, ты понимаешь, что я имею в виду!
~~~

Она была измучена, того гляди расплачется.

— Да. Я хочу увидеться с ней.

— И надеешься…

— Надеюсь, но готов к худшему.

— И что это может быть?

— Что угодно — что она хочет вернуться к нему, а со мной увидеться, только чтобы объяснить мне это, или поймет, что один мой вид ей ненавистен, или я пойму, что мне ненавистен один ее вид. Как мы говорили по телефону, никогда нельзя знать наперед.

— Не я, ты говорил.

— Но мне кажется, мы оба согласились с этим, лучше не упускать момент.

— Имеешь в виду, что он может опять возникнуть?

— Не то чтобы. Он может возникнуть в любой момент от сейчас и до конца света, как бы ни повернулось дело.

Роуз содрогнулась.

— Хочешь кофе или выпить?

— Нет, спасибо.

— Тогда, если ты готов, схожу наверх и скажу, что ты приехал.

Она поднялась по лестнице и вошла в спальню. Джин, находившаяся в Боярсе уже несколько

дней, встала, оделась и сидела на диване, придвинутом поближе к камину. Платье, ставшее ей велико, было стянуто поясом. Лодыжка туго перевязана эластичным бинтом. При появлении Роуз она встала.

Роуз смотрела на нее и не узнавала. Перед ней стояла незнакомая, худая, с обострившимися чертами лица, пожилая женщина в платье не по фигуре. Черные волосы, которые Роуз, после долгих уговоров, помогла ей помыть, распушились и торчали во все стороны. Тонкие руки беспокойно двигались, одна то и дело приглаживала платье, другая теребила ворот. Все эти дни в Боярсе она много плакала, и ее веки были красные и распухшие, выделяясь на белом лице. Однако сейчас в глазах ее не было слез. Когда Роуз подошла к ней, она оторвала руку от платья и сделала странный жест, словно отводила от лица невидимую паутину или занавес. Роуз хотелось бы, чтобы Джин могла быть красивой, какой была всегда, для встречи с Дунканом.

— Я слышала шум машины.

— Да, он здесь. Ты хочешь видеть его? Не обязательно это делать сейчас, если лучше будет встретиться с ним позже.

— Он хочет видеть меня?

— Да, конечно, для того он и приехал!

Джерард, договариваясь по телефону с Роуз о встрече Джин и Дункана, испытывал опасения, о которых умолчал. Он был просто не в состоянии понять Дункана. Джерард, так же как Роуз, ожидал от Дункана выражения радости, облегчения, любви к жене, удовлетворения, что она ушла от «того человека», трогательной благодарности к тем, кто все это время был рядом с ним и поддерживал в нем веру и надежду. Джерард воображал, что после вполне понятного первого потрясения Дункан бросится изливать им душу, рассказывать о страхах и надеждах, с которыми жил все это время, и наконец выразит твердую уверенность, что в будущем у них «все наладится». Дункан же отказывался от дальнейших встреч с Джерардом, но они разговаривали по телефону. Джерард упирал на два обстоятельства: во-первых, что Джин решила оставить Краймонда, расставание произошло по ее инициативе и по ее желанию, и во-вторых, что Краймонд смирился с ее решением, так что на деле они разошлись по взаимному согласию. Он, конечно, добавил, что сейчас Джин очень хочет увидеться с Дунканом. Он неопределенно упомянул о случае на дороге и вывихнутой лодыжке.

Дункан слушал все это, не делая комментариев, и в конце концов позвонил Роуз, сказать, что, если Джин хочет этого, он приедет. Роуз, тщательно наставлявшая Джерарда, что говорить Дункану, на самом деле была вовсе не уверена, что понимает душевное состояние Джин. Она была не способна, разговаривая с Джин, составить себе ясную картину случившегося. Джин обезумела от горя: горя, иного Роуз не могла предположить, оттого, что потеряла Краймонда. Потому как помнила первое, что выкрикнула Джин, появившись: «Он бросил меня!», и не верила в их «спокойное обоюдное согласие», о котором Джин говорила позже. Именно Джерард так волновался, что торопил встречу с Дунканом. Роуз чувствовала, что это преждевременно. Но Джин в самом деле сказала в ответ на неоднократные вопросы Роуз, что да, она хочет встретиться с Дунканом, и Роуз так и передала ее слова Джерарду. Джерард, естественно, плохо представлял себе, что творится в душе Дункана, даже после того, как понял, насколько нелепы были его прежние ожидания. Лаконичная холодность Дункана в телефонных разговорах означала, что его отношение остается прежним: «какое мне до этого дело?», хотя, явно поразмыслив, сказал Роуз (не

Джерарду), что встретился бы с Джин. Но не хочет ли он увидеть ее, чтобы, может, просто осудить? Может, он даже набросится на нее? Дункан был старым другом Джерарда, но он был и шальной тип, здоровенный, непредсказуемый, неуравновешенный дикий зверь. Конечно, как Джерард позже говорил себе, Дункан должен испытывать сильнейшие сомнения относительно всей этой истории о решении Джин уйти и согласии Краймонда, твердые основания думать, что Краймонд никогда не отпустит Джин.

— Приведи его, — сказала Джин.

Дверь за Роуз закрылась. Джин вышла на середину комнаты, пригладила растрепанные волосы и подняла глаза на тусклый голубой квадрат обоев, где прежде висела картина и где по-прежнему «мельтешили» краски, иногда выделялся голубой, иногда белый. Бледное ее лицо пылало, щеки были красные, словно нарумяненные. Она отступила на несколько шагов и повернулась лицом к двери.

Дверь открылась, и вошел Дункан, один. Повернулся и быстро закрыл дверь, потом снова повернулся к Джин. Он был прилично одет — в темном костюме, одном из своих лучших, рубашка в бело-голубую полоску и темный галстук.

Чисто выбрит, волнистая грива темных волос, давно не знавшая ножниц, тщательно причесана. Он казался огромным в комнате, тучней, чем прежде, массивней, шире. Они впились глазами друг в друга. Джин, дрожа, снова схватилась за горло. Дункан двинулся к ней, и она почувствовала страх, но не пошевелилась и стояла, онемев.

Выражение его лица было странным, пугающим. Он сказал:

— Что, если мы присядем? Присядем вон там? — И он показал на зеленый диван.

Джин неловко попятилась, потом села. Диван заскрипел под тяжестью Дункана, когда он сел рядом. Повернул к ней крупную голову. Слегка съежившись, она взглянула на него.

— Ты хочешь быть снова со мной, Джин?

— Да.

— Уверена?

— Да, да…

— Тогда договорились.

Он обхватил ее, утонувшую в его объятиях, и оба закрыли глаза. Странное выражение его было вызвано старанием сдержать мучительную нежность и жалость, которые теперь исказили его лицо, глядящее поверх ее плеча.

Роуз, вернувшаяся в Лондон, была удивлена,

получив спустя несколько дней письмо следующего содержания:

> Дорогая Роуз,
>
> хочу спросить, можно ли зайти к тебе, обсудить важный вопрос? Предлагаю вторник на будущей неделе, в десять. Если тебя устраивает день или если предложишь другое время, не могла бы ты сообщить об этом письмом? Звонить не пытайся, поскольку телефон у меня отсоединили.
>
> ***Твой***
> ***Дэвид Краймонд.***

Письмо поразило, испугало Роуз, произвело неприятное впечатление. Она предположила, что «важный» вопрос наверняка касается Джин и что Краймонд хочет, чтобы она посодействовала их примирению. Какое нахальство! Она тут же села писать в ответ, что Джин счастливо воссоединилась с мужем и она не видит, чем может быть ему полезной и, соответственно, пользы во встрече. Но тут она вспомнила, что, возможно, Джин не обманывала ее, сказав, что они с Краймондом расстались по обоюдному согласию и в этом смысле по желанию Джин. После появления Дункана

Джин, естественно, подчеркивала, что сама ушла от Краймонда, и Роуз тоже. Просьба Краймонда о содействии, если это действительно было так, была по меньшей мере важной как подтверждение этого. Поразмыслив, Роуз, не закончив свое негодующее письмо, начала сомневаться: а не хочет ли Краймонд сказать ей кое-что еще. Им могло двигать что угодно, даже желание продемонстрировать равнодушие к тому, что Джин его бросила. Она с беспокойством подумала, что это может быть связано с Джерардом. Может, он здесь хочет ее содействия? Джерард по какой-то причине не желал видеть Краймонда, и вот Краймонд желает, чтобы Роуз помогла им помириться? Или это что-то имеющее отношение к книге; ей даже пришла в голову дикая мысль, что Краймонд попросит ее уговорить Джерарда написать предисловие! Все, что связывало Краймонда с Джерардом, вызывало у Роуз тревогу. Но, подумав еще, она решила, что все-таки скорее всего дело в Джин и Дункане, хотя причина и не обязательно та, что она решила вначале. Возможно, Краймонду просто нужно подтверждение, что Джин и Дункан снова вместе. У Роуз не было ни малейшей охоты разговаривать с Краймондом о своих друзьях, подобный разговор при всей осторож-

ности мог быть неверно воспринят и показаться предательством. Впрочем, можно быть краткой, зато это возможность разрешить все сомнения относительно произошедшего. Последнее, о чем она подумала, и это было вполне вероятно, что Краймонд придет формально поблагодарить Роуз, а через нее и все Братство, за финансовую поддержку все эти годы! Он предпочел Роуз, а не Джерарда, поскольку тот стал бы расспрашивать его о книге. Она решила увидеться с Краймондом. Первой мыслью было поставить в известность Джерарда, но она одумалась. Лучше помолчать до тех пор, пока не выяснится предмет разговора, чтобы потом составить подходящий спокойный и разумный отчет для остальных. Если сказать Джерарду сейчас, он всполошится, будет строить предположения и заставит ее только еще больше волноваться. Так что Роуз написала просто, что будет ждать Краймонда у себя в квартире в предложенное время.

Дункан и Джин были еще в Боярсе, оставленные на попечение Аннушки. После всяких тревожных гаданий Роуз и остальные были вне себя от радости от того, что, как им, по крайней мере, казалось, произошло. В то дождливое утро, после того как Дункан поднялся наверх к Джин,

Роуз сидела в гостиной при открытой двери, не способная ничего делать, кроме как ждать, прислушиваться и дрожать. Аннушка принесла ей кофе. Не отнести ей кофе и мистеру и миссис Кэмбес? Нет! Аннушка была точно так же взволнована, но они не обменялись ни словом насчет происходящего, ни даже взглядом. Время шло. Роуз расхаживала по гостиной, потом бродила по дому, зашла в столовую, в библиотеку, в кабинет, в комнату в башенке, в бильярдную, постояла на крыльце, глядя на дождь, и все время прислушивалась к звукам наверху. Чего она боялась? Криков, воплей, рыданий? Но не было слышно вообще ничего. Наконец, когда Роуз вернулась в гостиную, Дункан спустился вниз. Вид у него был невозмутимый и загадочный. Сразу он ничего не сказал. Зашагал к камину, бросившаяся ему навстречу Роуз поспешила за ним.

На ее вопрос он сдержанно ответил: «Думаю, все в порядке». Но уже в его лице появилось нечто похожее на выражение спокойного удовлетворения, сказавшее Роуз, что все обстоит не так уж плохо, а может, даже хорошо.

— Ты имеешь в виду, — спросила Роуз, жаждущая определенности, которой, пренебрегая тактичностью, можно было добиться сейчас, а

позже намного труднее, — ты имеешь в виду, что вы будете снова вместе, в самом деле вместе?

Она не стала спрашивать, простил ли он Джин. Возможно, так ставить вопрос вообще не стоило.

— Мы надеемся. — (Роуз рада была услышать это «мы».) — Похоже, несмотря на недавние события, мы не испытываем ненависти друг к другу. Скорее, напротив.

Этими несколькими словами Дункан, немногословный, как всегда, и ограничился.

— Ох, как я рада! — воскликнула Роуз. — Так рада! — И поцеловала его.

Затем, с его позволения, она побежала наверх к Джин. Та плакала, Роуз заплакала вместе с ней. Джин едва могла говорить, только бормотала, какое облегчение испытывает да как счастлива и чувствует, что избавилась от кошмара и вернулась в реальный мир.

Джин спустилась вниз, Роуз побежала к Аннушке, которая, конечно, уже обо всем знала, и поспешила в гостиную, где Джин и Дункан расцеловали ее. Роуз откупорила бутылку шампанского, Джин и она поплакали еще, а потом все сели за стол.

После ланча Джин поднялась к себе отдохнуть, Дункан был в библиотеке и читал Гиббона, Роуз

позвонила Джерарду. Потом и она пошла отдохнуть. Она уснула, и ей снился чудесный сон, будто она, Джин и Тамар в невероятно прекрасном саду танцуют с детьми. Отдохнув, все уселись пить чай и болтали о вещах вполне земных. Роуз предложила, и они были не против, что она вернется в Лондон, а они какое-то время поживут одни в Боярсе, пока лодыжка Джин окончательно не заживет: вывихнутая лодыжка приобрела особое значение, как, может быть, символ более серьезного и болезненного вывиха. Роуз переночевала в Боярсе, а наутро уехала. Конечно, она и Джерард в разговорах, которые тут же последовали, согласились, что Джин и Дункану предстоит столько всего уладить, столько всего сказать друг другу, со стольким примириться, что пройдет много времени, прежде чем между ними воцарится мир. Радоваться было рано, случившее забудется нескоро. Однако они радовались, с удовольствием представляли себе Джин и Дункана, бывших сейчас вместе в Боярсе, и пока не задумывались о сложностях, которые будут сопровождать пару по возвращении в Лондон и попытке наладить подобие прежней жизни. Они были едины во мнении, что ничего не будет как прежде, после медового месяца в Боярсе непременно начнут-

ся взаимные обвинения, придется простить и забыть столько обид и боли, прежде чем их воссоединение сможет стать прочным и надежным. Кроме того, было неясно, что в действительности произошло между Джин и Краймондом и как это скажется на Джин и Дункане? И не возникнет ли снова Краймонд в роли князя тьмы? Подобными вопросами какое-то время задавались и Роуз с Джерардом и Дженкином, и Гулливер с Лили, и Патрисия с Гидеоном, и бывшие коллеги Дункана, да и множество других людей, которых не слишком заботила их судьба, все же находили удовольствие в том, чтобы строить схожие, часто менее доброжелательные, предположения.

Роуз была бы счастлива в эти дни, поскольку верила, видев их вместе, что у Джин и Дункана будет «все хорошо», если бы не тревога за Тамар. Дженкин, конечно, молчал о том, что Тамар рассказала ему. Джерард, попробовав осторожно расспросить его, оставил эту тему, явно запретную, и ничего не сказал Роуз о необычном появлении Тамар в доме Дженкина. Роуз знала, что Тамар была «возбуждена», убежала из дому, оставалась у Лили, а теперь снова с Вайолет. Она написала Тамар, приглашая на ланч, но не получила ответа. Джерард и Дженкин, похоже, ничего

не могли сказать о том, какого рода проблемы мучают Тамар. То же самое и Лили, которой Роуз позвонила. У Вайолет телефон по-прежнему был отключен. Роуз решила написать Вайолет, а не то неожиданно нагрянуть как-нибудь вечером к ней домой, когда драматические события, связанные с Джин, вынудили ее отправиться в Боярс. По возвращении в Лондон, так и не получив ответа от Тамар, она написала Вайолет, но тоже безрезультатно.

Настал вторник, и ровно в десять в квартире Роуз раздался звонок. Краймонд поднялся на этаж и сейчас сидел в гостиной.

Первое, что поразило ее, это само присутствие Краймонда в ее квартире. Это казалось чем-то противоестественным. Как он мог быть здесь? Конечно, она не так давно видела его у Джерарда, а совсем недавно была наедине с ним у него дома. Но видеть его у себя, как он стоит, ожидая приглашения присесть, было уж вовсе невероятно. Его как бы окружало электрическое поле, она даже дернулась.

Пальто он оставил в холле, дверь была закрыта, электрический камин включен. За окном сияло солнце, озаряя оштукатуренные фасады домов напротив. Краймонд был в черном пиджаке, вер-

но, в том, в каком она видела его в последний раз, в чистой белой рубашке и при галстуке. Пиджак был заметно поношен, но Краймонд выглядел в нем вполне прилично. В прошлый раз он напоминал священника. Теперь же больше походил на бедного молодого писателя, утомленного, неустроенного, умного, болезненного. Первые его слова были:

— Не приходилось бывать тут прежде.

На эту очевидную истину Роуз ответила: «Да». Слух ей резанул его шотландский акцент, показавшийся нарочитым, как у шотландцев, на которых лежала печать Оксфорда. Она чувствовала себя неуютно, не продумав заранее, где они сядут, поскольку вообразила, что для короткой встречи усаживаться необязательно. Потом решила: для того, чтобы это больше походило на деловой разговор, а не светскую беседу, лучше будет сесть за стол у окна. Движением руки она указала ему на стул, и они сели.

Роуз быстро и отрывисто сказала:

— Что вы хотите? Вас интересует Джин?

Краймонд расстегнул пиджак и положил на стол длинные руки, покрытые тонкими рыжими волосами. Ногти были тщательно подстрижены, но не слишком чистые, и манжеты на рукавах

не застегнуты. Он задумался и сказал, словно отвечая на некий теоретический или отвлеченный вопрос:

— Ответ будет отрицательный.

— Тогда что же?

Краймонд еще больше сжал тонкие губы, опустил глаза в стол, потом посмотрел на Роуз:

— Чтобы объяснить, потребуется некоторое время.

— У меня мало времени, — сказала Роуз. Это было неправдой. Так как Краймонд продолжал молчать, нахмурившись и устремив на нее блестящие бледно-голубые глаза, она продолжила: — Думаю, мне надо сказать вам, что Джин вернулась к Дункану.

Краймонд кивнул, отвел глаза и сдержанно перевел дыхание, что не очень походило на вздох.

Уж не хочет ли он, чтобы она посочувствовала ему! — подумала Роуз.

— Это касается Джерарда?

— Что касается Джерарда?

— Ваш визит! Вы написали, что желаете обсудить важный вопрос! Жду, когда вы скажете, что это за вопрос!

— Нет, это не касается Джерарда, — ответил Краймонд и добавил с еле заметной улыбкой:

— Не торопите меня!

Нужно быть вежливой, подумала Роуз, может, он, в конце концов, пришел просто поблагодарить. И сменила тон на более примирительный:

— Значит, книга закончена.

— Да. Я виноват, что не сказал раньше, что она почти закончена. Я не собирался вводить вас всех в заблуждение. Просто психологически трудно было сказать. Наверное, боялся сглазить, да, сглазить. Было такое ощущение, что жизни не хватит, чтобы дописать ее.

— Да, писали вы очень долго, должно быть, теперь чувствуете себя опустошенным.

Роуз и Джерард, конечно, обсуждали, как был и был ли связан разрыв с Джин с окончанием работы над книгой, но не пришли к определенному мнению. Возможно, завершение огромного труда губительно повлияло на рассудок Краймонда. Его вид и поведение казались Роуз чрезвычайно странными, и она снова задавалась вопросом, не сошел ли он действительно с ума.

— Да, это как смерть, — сказал он серьезно, пристально глядя на нее. — Как… тяжелая утрата.

Роуз отвела глаза, посмотрела на часы:

— Может быть, теперь отдохнете?

— Боюсь, я не способен отдыхать. — Последова-

ла легкая пауза, и Роуз попыталась придумать, на что бы банальное перевести разговор. Но он ее опередил: — Мне нравится ваше платье, вы были в нем на летнем балу.

Роуз, у которой его замечание вызвало раздражение, сказала:

— Я вас там не видела.

— А я вас видел.

Это похоже на невезение, подумала она, если волк первым увидит тебя! Может, он действительно хочет поговорить о Джин? Она не собирается сидеть здесь и вести вежливую беседу!

— Вы сказали, что у вас ко мне особый разговор. Может, откроете наконец, в чем дело?

Краймонд посмотрел в сторону и снова протяжно и сдержанно вздохнул. Обвел глазами комнату и, казалось, какое-то мгновение не знал, как начать.

— Это кое-что личное.

— Касается вас…

— Меня. А также вас.

— Не понимаю, при чем здесь могу быть я, — холодно сказала Роуз.

Она внутренне вздрогнула от страха, и самые ужасные, безумные сомнения охватили ее. Он намерен шантажировать меня, думала она… но

как… чтобы вернуть Джин… или что-то задумал против Джерарда… или… она надеялась, что ничем не выдала видом обуревавших ее чувств.

— Джерарда это тоже касается?

— Нет, — раздраженно ответил Краймонд, — Джерард тут ни при чем. Почему вы постоянно приплетаете его?

— Я не «приплетаю его»! — отрезала Роуз, начиная выходить из себя. — Вы говорили так таинственно и чуть ли не угрожающе. Возможно, я не права, но вы враждебно настроены к нам.

— Совершеннейшее заблуждение, — возразил Краймонд, не сводя с нее взгляда. Сейчас он был собран и очень напряжен.

— Вам следует быть благодарным нам.

— Я благодарен. Но…

— Но что?

— Об этом я и пришел поговорить.

— В таком случае говорите.

— Я хочу поближе узнать вас.

— Хотите, — изумилась Роуз, — чтобы все мы снова стали друзьями, после всего, что произошло, после…

— Нет, я говорю не о всех. Только о вас.

— Почему только обо мне?

— Наверное, мне следует быть прямей.

— Наверное.

— Я пришел просить вас выйти за меня замуж.

Роуз густо покраснела, резко отодвинулась вместе со стулом. Ей чуть дурно не стало от охватившего ее гнева и изумления. Она не могла поверить своим ушам.

— Что вы сказали, повторите?

— Роуз, я хочу, чтобы вы вышли за меня. Вам моя просьба, должно быть, кажется неожиданной…

— Неожиданной!..

— Я мог бы долго ходить вокруг да около, пригласить вас на ланч и так далее, но подобные… прелюдии… похожи на уловки. Я подумал, лучше объявить о своих… о своем желании… прямо, а там уж все остальное, как полагается.

Роуз стиснула ворот платья и вжалась в спинку стула. Ей стало очень страшно.

— Мистер Краймонд, по-моему, вы сумасшедший.

— Пожалуйста, если не против, не называйте меня «мистер Краймонд». Я бы предпочел, чтобы вы звали меня Дэвидом, но если сейчас это трудно, то просто Краймондом, как другие. Знаю, иногда меня считают сумасшедшим, но вы, несомненно, должны видеть, что я, в частности

сейчас, не сумасшедший.

— Нет, это какая-то издевка, — сказала Роуз, — а то еще хуже, отвратительное преднамеренное оскорбление.

Она была зла, встревожена. Окружавшее его электрическое поле, ощущавшееся, когда он только вошел в комнату, усилилось настолько, что она задрожала, ее чуть не трясло.

Краймонд, чувствуя себя более непринужденно, снисходительно пояснил:

— Вы знаете, что я не издеваюсь и не стараюсь оскорбить вас. Обычно предложение руки и сердца не считается оскорблением.

— Но… вы просто не от мира сего. Не понимаю, как вы могли вдруг взять и сказать такое! Не может быть, чтобы я тут имела какое-то значение! Наверняка вы затеяли это из какой-то бешеной мести — Джерарду, Джин, чтобы задеть их… поскольку не можете… это что-то ужасное…

— Роуз, — сказал Краймонд, — это не ужасно, и вы не правы в своих предположениях…

— Как вы можете воображать, что я способна серьезно отнестись к вашему «предложению»! Вы настолько самонадеянны — или наивны? Я не знаю вас, вы не нравитесь мне. Вы умышленно сломали жизнь и разрушили счастье моей

лучшей подруги, которую, казалось, так безумно любили! А теперь являетесь ко мне с этой оскорбительной чушью!

— Я могу вообразить, — ответил Краймонд, — что вам, верно, не нравится сила моего чувства к вашей лучшей подруге…

— Меня не трогает «сила чувства»… вы просто возмутительны! Не могу назвать ваше поведение иначе, как лживым и безнравственным… нет никакого… никакого основания… выражаться о своем чувстве, как вы выразились!

— Вы умеете спорить…

— Я не спорю!

— То, что вы говорите и что подразумеваете, заслуживает объяснения. Как раз этого я и хочу. Конечно, я был влюблен в Джин. Но жить с ней было для меня невозможно… мы дважды пытались, и оба раза это только подтверждалось.

— Потому что она была замужем…

— Это как раз неважно. Причина именно в особой, исключительной силе наших чувств. Я мог бы объяснить это подробней.

— Нет уж, увольте, пожалуйста!

— Мы достигли вершины… после этого оставалось только уничтожать друг друга. Мы оба поняли это. Я действовал разрушительно на ее

личность, она теряла себя. И спустя какое-то время она возненавидела бы меня. Лучше было не продолжать, оставить это в прошлом, как нечто совершенное, и разойтись. Иного было не дано.

— Так это произошло по взаимному согласию… а не то, что вы просто бросили ее?

Роуз не могла удержаться, чтобы не спросить об этом. Мучимая страхом и гневом, она все же не в силах была побороть любопытство. Все это было крайне неожиданно.

Помолчав, Краймонд сказал задумчиво:

— В сущности, да, по взаимному. Определенное решение было. Полагаю, она рассказала вам.

— Ничего она мне не рассказывала.

— Ну так я расскажу, возможно, чуть позже.

— Мистер Краймонд, — сказала Роуз, — никакого «чуть позже» не будет. Я хочу, чтобы вы ушли, и не желаю вас больше видеть.

Краймонд не обратил внимания на ее слова:

— Мое чувство, моя любовь к Джин не имеет никакого отношения к тому, что я хочу обсудить с вами. Конечно, эта тактика шока — признаю, для вас это был шок — требует объяснения, оправдания…

— Не знаю, — сказала Роуз, — что и думать о вас. Теперь я снова склоняюсь к тому, что вы не в

своем уме, во всяком случае неуравновешенный тип. В обиходе это называется «жениться назло». Думаю, вы сами в состоянии шока из-за конца — если это конец — вашего долгого увлечения Джин. Это и, возможно, окончание работы над книгой временно повлияло на ваш рассудок — это самое мягкое объяснение, какое я могу дать вашей утомительной и шокирующей попытке сделать мне предложение.

— Я не имел в виду поразить вас — вернее, имел, но не неприятно. Я всегда испытывал к вам особое чувство, меня привлекала ваша неповторимость. Меня всегда интересовали только две женщины. Джин и вы. Я увидел вас раньше, чем Джин. Любил до того, как полюбил Джин… Нет, позвольте мне продолжить. Конечно, это была молчаливая обреченная любовь, нечто духовное и умозрительное. Я сразу предположил, что бесполезно и мечтать о вас. Возможно, я был не прав…

— Право…

— Мне показалось, что я вам нравлюсь. Но не хватало смелости заговорить с вами. Я никогда и ничем не выражал свою любовь. Потом я жалел об этом. Жалею и сейчас. Намного позже я полюбил Джин, воображая, что это единственная

реальная любовь, какая мне уготована. И опять я был не прав. Моя любовь к вам не умерла, загнанная вглубь. Но я никогда не думал, что смогу дать ей свободу, — до этого момента, когда набрался достаточно смелости, чтобы предстать перед вами и просить, чтобы вы поверили мне. Такие вещи вы, несомненно, способны понять?

— Пожалуйста, избавьте меня от своих объяснений, — сказала Роуз. — Вы сходите с ума, потому что лишились Джин, и ищете утешения, поскольку вам кажется, что помните что-то, что чувствовали ко мне, когда были двадцатилетним! Бессмысленно предлагать руку и сердце в такой ситуации.

— Я думал, — сказал Краймонд, пристально глядя на нее, — что в то время вы были равнодушны ко мне, но не сейчас.

— И была, и сейчас равнодушна!

— Я так подумал в нашу последнюю встречу.

— Нашу последнюю встречу? Вы имеете в виду, когда я пришла к вам домой, узнать…

— Узнать, жив ли я еще. Вы почувствовали облегчение.

— Да, но из-за Джин, не из-за вас! И естественно, я не хотела найти вас лежащим мертвым на полу. Мне никогда не было дела до вас, мне претят

ваши идеи…

— Одно дело мои идеи… но моя особа…

Роуз едва не рассмеялась при слове «особа», неожиданно прозвучавшем так архаично.

— Ваша особа… вы намекаете…

— Я имею в виду все мое существо. Послушайте, Роуз, не сердитесь на меня и, пожалуйста, простите за неожиданность, шок… иначе я не мог. Мы с вами оба свободны, ничто не мешает нам иметь подобные мысли. Любовь должно пробуждать. Я хочу пробудить в вас любовь. Думаю, вы способны полюбить меня.

Они помолчали. Потом Роуз сказала:

— Я не верю вашим словам о прошлом: это фантазия, пришедшая вам в голову несколько дней назад, это одно из следствий вашего шокового состояния — и уверена, согласитесь вы с этим или нет, что ваш визит на самом деле месть Джин и наступление на Джерарда.

Они замолчали, глядя друг на друга через стол. Роуз заметила, что ее руки дрожат, и спрятала их на коленях.

Краймонд пробормотал:

— Это все не так, все не так… — потом заговорил: — Чувствую, необходимо повторить то, что я сказал. Надеюсь, вы, подумав, поймете, наскольк-

ко это серьезно и неизбежно. Естественно, я не жду от вас сколь-нибудь определенного ответа сейчас. Давайте подождем и поговорим об этом снова. В начале нашего разговора я просто сказал, что хочу лучше вас узнать. И чувствую, если честно, что не мог бы этого сказать без того, чтобы не сказать всего остального. Но теперь, когда остальное сказано и я, конечно же, не отказываюсь и не откажусь от своих слов, давайте вернемся к началу. Пожалуйста, давайте узнаем друг друга получше. Такое предложение не может быть оскорбительным. Предлагаю встретиться снова через неделю или около того…

— Вы так и не поняли меня, — сказала Роуз, — и явно не слышите того, что я говорю!

— Возможно, вы находите меня несколько… провинциальным… но…

— Ох, а вот этого не надо! Если вы думаете, что причина в сословной принадлежности… Все исключительно просто, вы мне не нравитесь!

— Я этому не верю, — сказал Краймонд, покраснел и криво улыбнулся, обнажив зубы. — А что до Джерарда, да чем он ответил на то, что вы любите его так…

Роуз встала, Краймонд тоже вскочил. Она почувствовала облегчение оттого, что может не

сдерживать гнев.

— Как смеете вы говорить такое о Джерарде! Вы завидуете ему, ненавидите его и оскорбляете меня. Вообразили, что я испытываю дружеские, даже теплые чувства к вам, — вы ошибаетесь! А ваше возмутительное «предложение», что это такое: после того как безумно влюбились в Джин и разрушили ее брак, вы вдруг бросаете ее и бежите ко мне, чтобы отомстить всем, и… и предлагаете… выражаете… какие-то бредовые чувства… никакая это не любовь… тут все: злость, тщеславие, сентиментальная ностальгия и комплекс неполноценности… люди считают вас «провинциальным»… и вы ждете, чтобы я утешила вас и… оправдала вас… о, и какое самомнение, вообразить, что я когда-то была неравнодушна к вам и до сих пор…

— Это любовь, — сказал Краймонд. — Вы неверно меня понимаете.

— Когда вы все это придумали, три дня назад? Как я могу воспринимать вас всерьез?

— Конечно, вас должно было это удивить и, возможно, вас возмущает моя прямота, но… — Он вдруг воскликнул во весь голос: — Господи, я мог бы все объяснить! — Потом сказал, опять спокойно: — Когда мы можем встретиться… по-

жалуйста…

— Я не «возмущаюсь»! — закричала в ответ Роуз. — Я не настолько заинтересована, чтобы чем-то возмущаться! Я не желаю обсуждать ваши чувства. Вы — враг людей, которых я люблю, человек, которого я отвергаю всей душой. Не желаю видеть вас, прошу уйти и больше никогда не беспокоить с этим вашим вздором. Пожалуйста, уходите, и поймите, что я не желаю вас больше видеть!

Она вышла из-за стола и направилась к открытой двери. Оглянувшись назад, она увидела, как его лицо вспыхнуло. В следующий момент оно, все еще красное, приняло бесстрастное выражение. Он дошел до середины комнаты, остановился, щелкнул каблуками и слегка поклонился. Потом вышел в дверь, взял пальто и покинул квартиру, тихо закрыв за собой дверь.

Роуз застыла на месте. Его неожиданный уход, его отсутствие странно поразили ее. Его больше не было — она стояла одна, и противоречивые чувства обуревали ее. Как он мог явиться и сказать подобную вещь, так расстроить ее, так обидеть! Она чувствовала себя в этот момент ужасно, ужасно обиженной, оскорбленной, будто не она его, а он отверг ее. Как он посмел так безжа-

лостно, так грубо поставить ее в ситуацию, когда она вынуждена была поступить так, как только что поступила! Она не должна была говорить то, что сказала, подумала Роуз, просто растерялась, надо было оставаться невозмутимой, сдержанной, вежливой и не позволять ему оставаться так долго и так много говорить. Надо было сразу попросить его уйти. Конечно, следовало бы вообще не принимать его. Она была слишком жестокой, к тому же это не совсем то, что она чувствовала. Тогда, в Оксфорде, он ей нравился, она восхищалась им, все они восхищались. Ох, она будет очень сожалеть о произошедшем, позже ей будет ужасно неприятно оттого, что вела себя так глупо, так дурно.

Потом подумала: побегу за ним. И тут же: но это будет недостойно ее и произведет ложное впечатление. Но вот она уже распахнула дверь и бежала вниз по лестнице.

Улица встретила ее волной холодного воздуха. Она стояла на скользком обледенелом тротуаре и оглядывалась. Его не было видно. Приехал на машине? И уже уехал? Она добежала до угла и осмотрела другую улицу. Вдалеке отъехала и тут же скрылась машина. Она побежала назад, мимо своего дома, поскользнулась на тротуаре и схва-

тилась за перила, чтобы не упасть. Внимательно осмотрела другую улицу, но не увидела его. Медленно вернулась к распахнутой парадной двери дома и поднялась в свою квартиру. Заперла дверь и прислонилась к ней спиной, шумно дыша. Что с ней творится? Почему теперь ей кажется, что важнее всего на свете — это найти Краймонда, вернуть его и что-то говорить ему еще? Почему она вообще позволила ему уйти? Почему разговаривала с ним в такой грубой, суровой манере? Что он теперь думает о ней, этот гордый человек, который с такой удивительной откровенностью доверился ей? Он признался, конечно, она должна была понять подобную вещь. Да, да, должна была и поняла. Ее глубоко тронула та скрытая, неумирающая любовь. Она верила ему. Ей следовало поблагодарить его, что он любит ее такой любовью.

Роуз принялась расхаживать по гостиной, взад и вперед, взад и вперед. Солнце скрылось, и она включила свет. Возможно ли такое, что каким-то образом она в эти несколько минут влюбилась в Краймонда? Почему она была такой агрессивной, такой безапелляционной, думала Роуз. В сущности, он оказал ей честь — даже если думал о ней, как о спасительном средстве. Она

была так высокомерна, так ужасна, так вульгарно самодовольна, говоря, что он оскорбляет ее своим признанием в любви. Ей следовало быть благодарной. Нельзя было так отвергать его, прогонять, быть такой резкой. Можно было сказать, что они еще увидятся. Пусть и из сострадания. Почему она не могла хотя бы сжалиться над ним, никакого вреда бы не было от этого. Он выглядел таким усталым и печальным. Она еще может сказать ему, что готова выслушать его объяснение. Только он не простит ей ее слов, подумает, что она неискренна. Что с ней происходит, что она наделала!

Роуз чувствовала теперь, что ей чрезвычайно льстит преклонение Краймонда. Он, такой утонченный, такой замкнутый, явился как проситель. Признался, что любит и всегда любил. Конечно, он сумасшедший, она всегда считала его безумным. Но как по-другому выглядит это безумие, когда оно выражается в любви к ней. Она должна увидеть его снова, думала она, увидеть сегодня же. Иначе не выдержит. Она позвонит ему, он, наверное, уже дома. Она принялась искать в телефонной книге его номер, потом вспомнила, что он говорил, у него нет телефона. Тогда поедет к нему домой. Но что она скажет, приехав, как

объяснит свое появление, это будет выглядеть только как полная капитуляция, и, возможно, он отвергнет ее. Тогда она тоже сойдет с ума, она уже безумна — но это такая мука, надо как-то освободиться от нее, ох, почему она не удержала его, по крайней мере, пока все обдумает! Она напишет ему, потом добежит до почтового ящика. Надо что-то сделать, не то сердце не выдержит. Напишет осмотрительное письмо и предложит снова встретиться в скором времени, извинился зато, что была так груба, что это вышло невольно, напишет…

С чувством облегчения она достала бумагу и ручку и села к столу. Принялась торопливо писать:

Дорогой Дэвид,

приношу свои извинения за то, что столь нелюбезно говорила с вами сегодня. Сказанное вами захватило меня врасплох, испугало и заставило инстинктивно его отвергнуть. Сейчас же я хочу выразить вам глубокую благодарность за оказанную мне честь. Верю в вашу искренность и ценю ваши чувства. Сознаюсь, вы смутили меня. Я желала бы увидеть вас снова, чтобы загладить неприятное впечатление, которое, должно быть, произвела на вас. Надеюсь, вы простите меня. Думаю, что было бы хорошо для нас обоих, если бы мы могли поговорить более мирно и спокойно. Если позволите, я напишу вам снова в ближайшее время и назначу новую встречу. С нежным приветом.

***Ваша***
***Роуз.***

Роуз внимательно перечитала написанное, вычеркнула «вы смутили меня» и «Надеюсь, вы простите меня» и переписала письмо набело. Закончив, она почувствовала облегчение. Она еще смотрела на него, когда зазвонил телефон. Первой

мыслью было, что это Краймонд, он чувствует то же, что и она, что они должны встретиться снова. Она бросилась к телефону, ощупью нашла трубку.

— Алло, Роуз, это я, — услышала она голос Джерарда.

Джерард. Она совершенно забыла о существовании Джерарда, так что даже удивленно вскрикнула и, ничего не ответив, отвела от уха трубку. А из телефона доносился голос:

— Алло, Роуз, это ты?

Она сказала:

— Можешь подождать секунду? Мне нужно кое-что выключить на кухне.

Она пошла на кухню, постояла, глядя на ряд одинаково красных кастрюль, расставленных по размеру. Потом вернулась к телефону.

— Я тебя слушаю.

— Что случилось, Роуз?

— Ничего не случилось.

— Голос у тебя очень странный.

— Зачем звонишь?

— Зачем звоню? Ничего себе вопрос! Просто так звоню! Ты не заболела?

— Нет, нет, извини…

— Вообще-то я хотел спросить тебя кое о чем,

не знаешь, когда возвращаются Джин и Дункан?

Джерард? Джин и Дункан? Кто все эти люди? Роуз постаралась сосредоточиться.

— Думаю, очень скоро, во вторник или в среду, так Джин сказала, когда я звонила ей вчера вечером.

— Очень рад, а то уж было подумал, что они боятся показать свои физиономии в Лондоне. Послушай, поужинаем сегодня у тебя, а хочешь, пойдем куда-нибудь?

— Извини, не могу.

— Тогда встретимся за ланчем.

— Нет, мне нужно кое с кем увидеться…

— Ну хорошо… еще два слова. Дорогая, ты уверена, что ты здорова?

— Да, конечно. Спасибо, что позвонил. Я тебе скоро перезвоню.

Роуз, у которой на тот день не было назначено никаких встреч, вернулась к столу. Совсем сошла с ума, думала она. Невозможно ей, из-за Джерарда, из-за Джин, иметь какие-то отношения с Краймондом. Если она сейчас явится к нему домой, чего ей хочется больше всего на свете, то может упасть в его объятия или ему в ноги. Ее надо посадить под замок, ей надо сидеть взаперти. Это опасное помешательство, и она должна побороть

его. Хотя можно было бы ограничиться просто письмом — просто письмо, чтобы сгладить то ужасное впечатление, как-то примириться с ним, иначе она будет мучиться вечно мыслью о том, что он должен думать о ней. Или стоит зачеркнуть предложение о новой встрече. Но конечно, он может воспринять письмо как поощрение, прийти снова, просто взять и нагрянуть. Как бы ей хотелось этого! Она вернулась к столу и взяла конверт. Перечитала письмо и скомкала его. В глазах ее заблестели слезы.

Она жалеет его, подумала Роуз, и должна себе в этом признаться. Любит его, любит, но что в этом толку? Непонятно, как подобное могло случиться так быстро? Но случилось… и это невозможно, убийственно, это просто необходимо прекратить, подавить в себе, отбросить всякую мысль об этом. Малейшая слабость может привести к катастрофе, к полному одиночеству. Никто не должен знать об этом. Как она сможет жить, если Джерард узнает? Если что-то произойдет, — а ничего хорошего ждать не приходится, — это будет ударом для нее, ударом по ее цельности, достоинству, гордости, без которых не мыслит жизни для себя. Она не может рисковать своей жизнью. Но какая мука, тайная мука будет вечно

преследовать ее! Она должна остаться верной ее настоящему миру, ее дорогому усталому старому миру. А нового мира нет. Этот новый мир — иллюзия, отрава. Господи, она сходит с ума!

Она пошла в спальню. Он, говорила она себе, хотел жениться на ней! Она бросилась на кровать и горько заплакала.

Все то короткое время, пока Роуз находилась с ними в Боярсе, Джин и Дункан демонстрировали видимость быстрого выздоровления. Роуз изумлялась их спокойствию. В тот вечер за обедом они очень напоминали себя прежних. Это не было продуманной «игрой», больше тут подходило сравнение с масками, за которыми они укрылись от обременительного присутствия Роуз, от ее внимания свидетельницы, которая не утерпит поделиться со знакомыми увиденным. Было необходимо «произвести впечатление» на Роуз прежде, чем они освободятся от нее. Должное впечатление у Роуз создалось, и она поведала Джерарду об их успехах; однако сразу же она и Джерард попытались трезво подойти к ее радужным, возможно, обманчивым впечатлениям. Они согласились, что «спокойствие» было следствием потрясения, «веселость» похожа на нервную бодрость тех, кто проводил усопшего в

последний путь, а возвратившись домой, рыдает. Они представили себе множество испытаний и трудностей, предстоящих Джин и Дункану, и засомневались, что их воссоединение вообще возможно. Как бы оно сразу же не потерпело крах, если в Дункане пересилит чувство негодования, а Джин убежит обратно к Краймонду. Впрочем, Роуз и Джерард не пытались глубоко вникать в чувства друзей и не шли в своих гаданиях дальше общих вещей; нужно было подождать и посмотреть. Осторожная сдержанность была свойственна им обоим.

Роуз намеревалась покинуть Боярс сразу, вечером в день приезда Дункана, но подумала, что разумней будет подождать до утра и посмотреть, как пойдут события. Она решила, что ее присутствие, хотя бы на первых порах, будет полезно, успокаивая, вынуждая присутствующих держаться в рамках приличий. Она попросила Аннушку постелить Дункану в задней комнате, в которой он ночевал в тот раз, когда они приезжали кататься на коньках. Но ничего не сказала ему и не пыталась узнать, где он провел ночь. Собственно, Дункан и провел там ночь в одиночестве. После того как они обнаружили, что «не испытывают ненависти друг к другу», на Джин

и Дункана напала поразительная робость, немая боязнь, естественная молчаливость, когда им достаточно было сидеть в одной комнате. Скоро им стало ясно, и пока это было в облегчение (так что Роуз не ошиблась!), что они просто ждут, чтобы появилась Роуз. За ланчем, даже за пятичасовым чаем, они были немного чересчур оживлены, но за обедом уже «играли роль». Недолго посидели с Роуз после обеда и скрылись со словами, достаточно искренними, что «совершенно без сил». Как только они пропали из виду, Роуз помчалась наверх в свою спальню по черной лестнице, чтобы не проходить мимо комнаты Джин, нарочито громко захлопнула дверь и, тоже чувствуя себя совершенно без сил, рано легла и скоро уснула. Такая же сцена наблюдалась в комнате Джин. Джин и Дункану хотелось отдохнуть друг от друга. К тому же ощущалось соседство Роуз. Так что им не потребовалось говорить, что согласны провести ночь раздельно. Дункан, тоже воспользовавшись черной лестницей, чтобы не проходить мимо спальни Роуз, находившейся между их с Джин комнатами, на цыпочках прокрался в свою бывшую спальню и не удивился, найдя, что постель разобрана и в ком нате тепло. Джин приняла одну из снотворных таблеток доктора Толкотта

и мгновенно уснула. Но Дункан долго стоял в темноте у окна. Сперва он не включал свет, дожидаясь, пока не погаснет окно Роуз. Он видел отсвет ее окна на лужайке и изогнутой стене башенки. Но когда он погас, Дункан остался стоять в темноте. Открыл окно, впустив холодный, но влажный воздух, доносивший едва ощутимый запах земли. Дождь прекратился, проступило несколько звезд. Он стоял у окна, прерывисто дыша, как бы всхлипывая беззвучно. Он переживал восторг страдания, как человек, которому в момент духовного кризиса было внезапное откровение — вместе и потрясение, изнеможение, страх, и странное мучительное счастье. Он был рад одиночеству, когда мог не скрывать эту дрожь и эти вздохи-всхлипы. Его раздражающая холодность с Джерардом и Дженкином была всецело напускной. Он вынужден был изображать равнодушие и холодность, поскольку не ожидал слишком многого, не ожидал ничего, вообще не задумывался о будущем; и его злили радостные лица друзей, сообщивших ему хорошую новость и ожидавших, что он будет взволнован и благодарен. Он запрещал себе надеяться, сознательно пугал себя худшим, даже растравлял и без того незажившие старые обиды, и не знал, пока не

встретился с Джин, что по-прежнему беззаветно любит ее и, кажется, она, по крайней мере, вполне любит его. Это было достаточным чудом, чтобы успокоиться хотя бы на одну ночь.

Роуз позавтракала рано утром и распрощалась со своими гостями, которые в должное время спустились вниз и выглядели спокойными нормальными людьми и для которых Аннушка особенно расстаралась с завтраком. Мокрый сад блестел под солнцем. Они помахали Роуз, но не успел еще затихнуть вдали шум ее машины, Джин не выдержала. Бросилась наверх и заперлась в своей спальне. Дункан слышал за дверью ее истерические рыдания. Временами стучался и звал ее. Он был терпелив. Сел на пол в коридоре и ждал. Аннушка принесла ему стул и чашку кофе. Так он сидел, слушая плач Джин, и на него сошло нечто вроде покорного спокойствия. Он предпочел бы остаться на полу, но из уважения к Аннушкиной заботе пересел на стул.

Наконец дверь открылась. Джин отперла ее, бросилась обратно на кровать и лежала, плача уже потише. Дункан оглядел знакомую комнату, где в камине ярко пылали дрова. Заметил снятую картину и светлый прямоугольник на обоях, на что вчера едва обратил внимание. Поднял вось-

миугольный столик, переложил книги с него на пол, поставил его к одному из окон и придвинул к нему стулья. Затем подошел к кровати, взял ее за руки, поставил на ноги и подвел к столику. Они сели вполоборота друг к другу и окну, в котором виднелись залитые солнцем холмы и вдалеке дома деревни и церковная колокольня. Как только Дункан взял ее за руки, Джин перестала плакать и теперь сидела, положив руки ладонями вниз на столик. Губы полуоткрыты, лицо мокрое от слез, волосы в беспорядке, глаза устремлены в окно. На ней по-прежнему было твидовое платье Роуз, но сейчас без пояска. Дункан некоторое время молча смотрел на неё. Потом достал платок, потянулся и заботливо утер ей лицо. Придвинул стул ближе и стал гладить ее кисти, руки, отведя назад свободные рукава платья, потом провел по волосам, причесывая пальцами. Джин, опустив голову, тихо вздыхала под ритмичные движения его большой тяжелой ладони.

Потом, отодвинувшись, он сказал:

— Значит, «ровер» вдребезги?

— Да.

— Что случилось?

— Я убегала и гнала очень быстро.

— Обратно помчишься так же быстро?

— Нет. Это тоже — вдребезги.

— Ты еще любишь его?

Джин ответила, глядя в окно:

— С этим покончено.

— Мне надо будет убедиться.

— Я тебе помогу.

— Знаешь, потребуется долгое время, чтобы восстановить прежнее. Много слез. Придется обнажить все свои раны, сказать правду друг другу, ничего не утаивая. Должно пройти время. Мы не знаем, какими мы будем и чего нам будет хотеться.

— Но мы будем вместе.

— Надеюсь.

— Ты жалеешь меня.

— Я очень жалею тебя, и тебе придется с этим смириться.

— Я боюсь тебя.

— Боже мой… но, моя дорогая, давай наконец будем счастливы!

— Вот когда нам хорошо, ты все портишь! — кричала Лили.

— В постели хорошо, — возразил Гулливер. — А больше ничего хорошего. И не говори: «а что еще остается». Я устал от твоей бойкости.

— Я не бойкая. Просто стараюсь что-то значить.

Ты нарочно меня обижаешь. Ты стал злым и грубым. Что с тобой?

— Я говорил, что со мной, я ничтожество.

— Вот и я то же говорю! Значит, оба мы ничтожества! Так давай держаться друг друга!

— Нет, ты настоящая, ты кое-что собой представляешь, это я ничто. У тебя есть деньги, а это уже что-то.

— Так давай веселиться, давай поедем в Париж.

— Нет. И у тебя есть кое-что за душой, ты смелая, ты простодушная, это тоже не пустяк, ты личность, ты необразованная и глупая, но ты стараешься, в тебе есть joie de vivre[86].

— Я хочу, чтобы и в тебе это было. Ты же днями страдаешь. Все, что тебе нужно, это работа.

— Все, что мне нужно, это работа! Как смеешь ты издеваться надо мной! Ты меня презираешь!

— Вовсе нет. Ты высокий, темноволосый и симпатичный.

— Я больше никогда не найду работу, никогда. Понимаешь ли ты, каково сталкиваться с постоянным отказом? Тебе это безразлично, тебе нравится ничего не делать. А мне — нет.

---

**[86] Примечания: 86**
Радость жить (фр.).

— Можешь писать, разве нет? Ты же начал новую пьесу.

— Не идет она у меня. Не способен я писать.

— А давай займемся чем-нибудь вместе, откроем свое небольшое дело, с деньгами это нетрудно.

— Какое еще небольшое дело? Производить шарикоподшипники или крем для лица? Мы ничего не умеем. Только потеряем твои деньги. Да и в любом случае, я к твоим деньгам отношения не имею.

— Ох, прекрати, дурень! А Джерард не может устроить тебя на работу? Вроде бы он уже пробовал.

— Да, и только что попытался еще раз, был так добр, что направил меня к человеку, который заведует литературным агентством, а тот велел мне проваливать! Джерарду наплевать на меня. Прикидывается благодетелем, чтобы им восхищались.

— Это неправда. Сам говорил, что он заботился о тебе, а потом перестал! Оттого ты и настроен против него!

— Он даже и не заботился!

— Гулл, не будь таким ужасным, когда все налаживается. У нас налаживается, Тамар опять дома,

слава богу, и скоро вернется на работу, Джин снова с Дунканом, Рождество на носу…

— Тамар еще одна пропащая душа, которая или загубит себя лекарствами, или умрет от рака. А Дункан убьет Джин, не сможет он дважды простить ее, он лишь притворяется. Держу пари, что она запугана. Однажды ночью, когда они будут в постели, она проснется и увидит, что он смотрит на нее, как Отелло, и он задушит ее.

— Сходил бы ты к врачу и проверился.

— Почему они не сходят у тебя с языка, когда им наплевать на нас? Это в тебе говорит снобизм. Тебе хотелось бы принадлежать к этому кошмарному кругу, но они не будут относиться к тебе или ко мне как к своим даже через сто лет, так что нечего особо стараться!

— Ах, заткнись! Пойти и вступи в Иностранный легион!

— Я уезжаю, говорю серьезно. Сдаю квартиру, уже продал мебель следующему жильцу, продал книги…

— Нет!

— Большую часть. А что, думаешь, было в тех коробках, которые я просил тебя подержать у себя? Я больше не могу позволить себе жить как до сих пор и не собираюсь жить за твой счет.

Уезжаю на север.

— На север?

— Хочу быть среди людей, кто действительно страдает, а не прикидывается страдальцем. Быть с остатками человечности, с простым народом, хочу по-настоящему бедствовать. Я должен перестать считать себя буржуазным интеллигентом. Если перестану, то смогу найти работу. Но не здесь, не с вами, не с важничающим Джерардом и вкрадчивым Дженкином и аристократкой Роуз…

— Я поеду с тобой…

— Не глупи. Я и от тебя бегу, ты приносишь неудачу, ты лентяйка.

— Думаю, ты ненавидишь женщин, я заподозрила это, когда мы только познакомились. Я тогда хотела предсказать тебе судьбу.

— И ты суеверна, и бабка твоя была ведьма, и…

— Гулл, ты меня ужасаешь, ты сам на себя не похож.

— Меня нет как такового.

— Теперь ты лукавишь. Признайся, ты не думаешь всего того, что наговорил о…

— О них, нет, признаю, не думаю. Но неужели ты не видишь, что человек в отчаянии?

— Ну, я тоже в отчаянии, только я так не нервничаю. Ну да, у меня есть какие-то деньги, но я не

знала, что мне делать с ними или с собой… потом возник ты, и я подумала, что в жизни наконец появился смысл, а теперь ты надоедаешь со своим чертовым отчаянием!

— Бывает время, когда человеку нужно остаться одному, совсем одному.

— Гулл, пожалуйста, может, пойдешь и поговоришь об этом с кем-нибудь другим, с Дженкином хотя бы, я позвоню ему…

— Не получится. Он тоже уезжает, и я его не сужу, он уезжает в Южную Америку.

— Откуда ты знаешь, он что, сказал тебе?

— Марчмент сказал, тот директор школы, я даже к нему приползал, прося работу. Дженкин молодец, только он расскажет Джерарду, и в Южную Америку меня не тянет.

— Хочется надеяться! Ты просто нелеп. Почему не остаться в Лондоне и не жить здесь со мной? Если хочешь работать с нуждающимися, так их полно в этом городе, я могла бы работать с тобой…

— Лили, я не хочу быть социальным работником, я хочу просто быть с людьми! Иначе нет смысла. Я покончил с компромиссами.

— Гулливер, не покидай меня. Ты единственный, кто дал мне почувствовать себя человеком.

Мы любим друг друга, мы согласились с этим позапрошлой ночью. Давай поженимся, пожалуйста, давай поженимся.

— Нет. Я уезжаю.

— И куда думаешь ехать?

— Лидс, Шеффилд, Ньюкасл, еще не решил. Там все сидят без работы.

— Ты сумасшедший… я скажу Джерарду, чтобы он тебя остановил…

— Если скажешь, никогда не прощу тебя.

— Но ты дашь знать, где ты будешь?

— Напишу, возможно, но не сразу. А теперь, пожалуйста, не устраивай сцену.

Лили вскочила и закричала:

— Ты не напишешь, исчезнешь, женишься в Лидсе на какой-нибудь девчонке, найдешь работу на фабрике, и я никогда больше не увижу тебя!

~~~

Джин и Дункан, теперь возвратившиеся в Лондон, держались друг с другом, как казалось их обеспокоенным друзьям, более непринужденно, нежели ожидалось. Оба очень устали. Каждый нес свой тяжкий груз на плечах, и, вконец измученные, они были рады сбросить его. Они были едины в желании заботиться о себе и друг о друге. Тут помогал свойственный обоим непобедимый гедонизм, который связывал их и прежде. Вернувшись к Дункану, Джин вскоре вновь обнаружила в себе тягу к удовольствиям. Они подшучивали над этим. Оба изо всех сил старались придумывать всяческие утехи, удовольствия, наслаждения. Они чувствовали, что, преодолев невероятные трудности на пути к воссоединению, заслужили награду. Как только стало известно, что они в Лондоне, им со всех сторон посыпались приглашения.

Их объединило стремление к счастью. Другая статья — исцеление глубоких, кровоточащих ран. Вопрос «Могу ли я простить ее?» с неизбежностью вывел Дункана на понятие о прощении, столь темном и сложном, что он перестал сдаваться им.
~~~

Было много других способов уладить ситуацию. Оба обратились за помощью к предыдущему случаю; в первый раз им удалось примириться, и разве это получилось у них не довольно легко? Казалось, что легко, но память об этом уже несколько стерлась. Поначалу казалось, что нужно просто *трудиться* над примирением: вести долгие разговоры о прошлом, говорить правду, выставлять каждый шрам, прослеживать каждое недоразумение. Но этот всеобъемлющий план взаимного откровения оказался трудновыполнимым и, как каждый из них втайне почувствовал, опасным. Впрочем, они много говорили о том, что произошло в Ирландии, хотя и очень осторожно. Та первая драма иногда казалась им более близкой, более реальной, более зримой, чем произошедшее позже, в котором до сих пор было много непонятного. На пример, Дункан рассказал Джин то, о чем никогда не рассказывал: как добрался до Уиклоу и сидел там в пабе среди обреченных. Это воскрешение душевного состояния Дункана, похоже, имело значение для них обоих. Он никогда и, уж конечно, сейчас не рассказывал ей, как обнаружил волосы Краймонда на полу их спальни. Эта деталь, вызывавшая особое отвращение в Дункане, со временем стала вопло-

щать для него всю мерзость разврата, и у него не было желания придавать ей большей силы и конкретности, отягощая ею сознание Джин. Ну и естественно, не говорил он об ударе Краймонда и его долгих пугающих последствиях, ущербе, нанесенном глазу, ущербе, нанесенном душе; этих ужасных вещей он мучительно стыдился. Больше того, хотя они говорили и вспоминали о многом, обсуждали много важного, никто из них почти не касался Краймонда. Это было как бы темное пятно в круге света, провал. Разговор постоянно вращался вокруг него, но на нем не останавливался. Да и так ли, в самом деле, было важно говорить о нем? Дункан хотел, чтобы его убедили, и Джин старательно убеждала его, что окончательно порвала с Краймондом. Но стало очевидно, что так прямо и просто этого сделать нельзя. Конечно, время покажет. Но сколько времени уйдет на это, может, вся их оставшаяся жизнь? Дункан наблюдал за ней, думал о ней и не мог не видеть, что она все еще влюблена в Краймонда. Такая страсть вдруг не проходит, она умирает, если только долго не получает пищи. Так уморим ее голодом. Но он понял, как трудно прямо спрашивать об этой тайне. Чтобы «рассказывать обо всем», нужно было долго и в

подробностях воскрешать в памяти весь ее роман с Краймондом, включая и детали того, как именно они расстались, чтобы, к обоюдному удовлетворению, убедиться: с прошлым покончено. Этого не получалось. На лице Джин появлялось такое страдальческое выражение, когда он задавал определенные вопросы, что Дункану становилось слишком жалко ее и он замолкал. Ему хотелось точно знать, какие слова они говорили друг другу на пути к «обоюдному согласию»; но Джин отвечала что-то неопределенное, противоречила себе, уходила в сторону. Не мог он и добиться сколь-нибудь связного рассказа об автомобильной аварии, которая по размышлении казалась ему какой-то странной. Они кое-как касались то одной темы, то другой и откладывали их. Наверное, это был единственный способ идти дальше, и, наверное, поэтому они делали успехи. Успехи действительно были, но не благодаря разъяснениям и откровенности. В «ограничение и воздержание», которым Дункан собирался следовать, входила и физическая близость. В Боярсе он не представлял, как, когда и смогут ли они вообще восстановить интимные отношения. Иногда он спрашивал себя, возможно ли, чтобы она смогла перейти из постели Краймонда в его постель, и сможет ли он

принять ее, от которой еще веяло Краймондом. Но более могущественная и более надличная сила, которой они оба молча и с готовностью покорились, способствовала тому, что в должное время они вновь оказались в одной постели. Это важное воссоединение было благословлено и ускорено взаимной тихой нежностью, взаимной жаждой ласк, что, наверное, в полной мере заменило демонстрацию ран и откровенные разговоры. Они не спрашивали: «Ты еще любишь меня?» Но любовь там была, настойчиво трудясь в страшном хаосе их, как порой казалось, разрушенного брака.

Главное, о чем Дункан не сказал Джин и о чем, как он чувствовал, она не догадывалась, это сила и ярость его ненависти к Краймонду. Об этом он не говорил никому. Конечно, само собой разумелось, что Дункан испытывает неприязнь к сопернику. Но по мере того как он и Джин постепенно «узнавали» друг друга заново, он чувствовал, что она, которой было с чем бороться в своем мрачном воображении, делает вид, что как для нее Краймонд отошел на задний план, так он отошел на задний план и для него тоже. Но это было не так. Конечно, Дункана продолжало интересовать, действительно ли Джин ушла от

Краймонда по своему желанию и не бросится ли обратно к нему в один прекрасный день, стоит тому только свистнуть. С этими сомнениями и предположениями, от которых голова раскалывалась, ему приходилось жить. Его ненависть к Краймонду была чем-то особым, всепоглощающим, первобытным, ядовитым, глубинным, жившим внутри его, как матереющий зверь, что живет его жизнью, дышит его дыханием. Он постоянно прокручивал в памяти сцену своего поражения в башенной комнате и последнее постыдное столкновение в темноте у реки. Свое падение с лестницы, падение в реку, кошмарные картины своей трусливой слабости и глупого уродливого страдания. За все это Краймонд должен был заплатить. Конечно, ему хотелось вновь зажить вместе с Джин, и его слова «давай будем счастливы» шли от сердца. Иногда такое будущее представлялось реальным, и он радовался тому, с каким удовольствием она вместе с ним строит планы их развлечений и утех. Но вместе с тем предстояло и еще одно событие в будущем, которое он лелеял, как драгоценное драконье яйцо, мечту, переходившую в страшную цель, — момент, когда он пойдет к Краймонду и убьет его.

Между тем в обыденной жизни погоня за удо-

вольствиями принимала форму планов. Дункан все еще ходил на службу и вскоре получил повышение, хотя предложенная должность была и не столь высокой, как та, от которой отказался Джерард, струсив, как поговаривали. Однако позднее Дункан решил пренебречь «теплым местечком», покинуть Уайтхолл и уехать с Джин жить во Францию, как она всегда хотела. Они согласились, а они часто для разнообразия обсуждали друзей, что Джерард поступил глупо, отказавшись от очень влиятельной должности, поскольку не смог расстаться с праздной жизнью, был ленив и всем недоволен. Они-то другое дело, они используют свою свободу, чтобы трудиться над своим счастьем. Они много времени проводили над изучением карт и предложений жилищных агентств. Обсуждали вариант с восстановлением и перестройкой какой-нибудь старой фермы с садом, бассейном и морем по соседству. А пока часто «выходили»: в театры, на вечеринки и в рестораны. Отлично ели и пили. Джин покупала драгоценности, платья. С Роуз и Джерардом виделись нечасто, однажды присутствовали на званом обеде в доме Джерарда, устроенном Пат и Гидеоном, где были Роуз с Дженкином и сослуживец Дункана с женой. Джерард заявил, что

больше не устраивает приемы, раз Пат хозяйничает в доме. Приглашения были посланы также Гулливеру с Лили, но Лили отказалась, а Гулливер не ответил. Роуз позвала Джин и Дункана на ланч, но пришла только Джин и рассказывала об их недавней поездке в Париж на уик-энд. Конечно, старые друзья Дункана вели себя тактично и с умом, но не могли не казаться любопытными наблюдателями. За обедом Дженкин упомянул о Тамар, сказав, не углубляясь в детали, что та была больна, но теперь ей уже лучше. Услышав об этом, Дункан почувствовал себя неуютно. Разумеется, он не забыл о том эпизоде, но вспоминал как о том, что, как говорится, лучше забыть. И теперь постарался тут же выбросить из головы всякую мысль об этом. Джин он об этой истории не рассказывал. Отложил на потом, когда они заживут новой жизнью, во Франции, чтобы коснуться мимоходом, как эпизода совершенно незначительного, каким он и был по существу.

Гулливер заехал на вокзал Кингз-Кросс. Было девять утра, и он направился взглянуть на расписание поездов. Уехать он решил на следующий день. Из квартиры он убрался наутро после своего «отчаянного» разговора с Лили, боясь, что она может отговорить его. И Лили действительно

появилась, едва он ушел. Так что он несколько последних дней жил в дешевых меблирашках поблизости от вокзала, не заслуживавших звания гостиницы. Его ободрило то, как легко, пока что, он переносил это свое новое положение, когда был никем и не имел ничего. Он, конечно, еще и испытывал сильный страх. Отложил отъезд из-за еще не законченных дел: с домовладельцем, с новым жильцом, купившим часть его мебели, с человеком, купившим остальное и часть его книг. Эта последняя сделка принесла ему денег больше, чем он ожидал, а потому, если учесть еще не совсем иссякшие сбережения, он мог начать жизнь на новом месте, по крайней мере, не без гроша.

Он старался не думать о Лили. Чувствовал, что не может справиться с «проблемой Лили», и это частично было то, от чего он бежал. Он не лгал, когда говорил, что любит ее, и был очень тронут, когда она сказала, что любит его. Но разговор о женитьбе привел его в смятение. Как он мог жениться на ком-то вроде Лили, которую все считали посмешищем и «богатой шлюхой»? Финансово зависеть от нее, да еще чтобы это все видели, было для него невыносимо. Невыносимо было сознавать себя безработным, особенно

когда он «шатался» с Лили и оказывался с ней рядом с Джерардом, чьи усилия помочь ему с работой постоянно оборачивались неудачей и который, возможно, винил в этом Гулливера. К нему вернулось чувство, которое он испытывал в детстве, когда казался себе чужим, неприспособленным, ничтожеством. Он действительно был «в отчаянии», «дошел до предела» и должен был уехать из Лондона куда-нибудь подальше, где удача, возможно, улыбнется ему. Гулливер твердо решил до конца исполнить свою роль человека невезучего и «быть никем», и все-таки он не мог не надеяться в будущем стать кем-то, пусть бедным и безвестным, кем-то, благодаря своим талантам и удачной женитьбе. Возможно, представляя себя запоздалым Диком Уиттингтоном[87], он не исключал появления «девчонки в Лидсе», о чем кричала Лили. Упоминание о Лидсе вернуло его к еще не решенной проблеме: куда ему, собственно, направиться. Он и на вокзал пришел, чтобы принять окончательное решение. (До этого он подумывал о Франции, Испании,

**[87] Примечания: 87**

Сэр Ричард Уиттингтон (1354–1423) — купец и политик, член парламента, трижды занимал пост лорд-мэра Лондона, легенда гласит, что в детстве он был нищим сиротой и начал свою карьеру поваренком на купеческом корабле.

Индии, Африке, Америке и Австралии.) Он решил ехать в Ньюкасл: исполнить свое всегдашнее желание жить у моря. Его планы теперь были не совсем абстрактны, как поначалу, он перестал представлять свой отъезд, словно это была смерть. Что нужно сделать, когда он сойдет с поезда в Ньюкасле, городе, где прежде никогда не бывал? Первым делом, конечно, найти дешевую комнату, где можно будет оставить чемоданы. Он с неохотой расстался с кучей одежды, оставив ее не у Лили, а в книжной лавке, в которой часто бывал. Выбирать, что брать, а что не брать с собой, было сущим мучением. Так, потом он пойдет в местное бюро по трудоустройству, потом, или в первую очередь, разузнает, где находятся полулюбительские театрики, театральные студии, пабы, в которых ставятся «протестные» представления. Карточка профсоюза актеров была у него в кармане. Кто согласен на грошовую оплату, может иногда прийти в театр и получить работу. Если его возьмут даже на четверть ставки, он сможет подрабатывать официантом или уборщиком. Ко всем этим крайним вариантам, которые он, безусловно, рассматривал, в Лондоне было прибегнуть намного трудней психологически, тут он заботился, чтобы выглядеть приличным

человеком, в том числе и в глазах Лили. На севере спокойно можно быть бедняком, ищущим места, каким он, собственно, и являлся, безработным среди других безработных, человеком в очереди. И если он будет готов согласиться на любую работу, то наверняка что-нибудь найдет.

На вокзале было жутко холодно, но на Гулливере было его лучшее толстое зимнее пальто, дорогая вещь, которой не было сноса, важнейшая в его экипировке. Посмотрев вдаль на рельсы, уходившие из-под сводчатой крыши вокзала в серенький свет нового дня, он увидел, что начался снег. Он прошел вперед по платформе, чтобы посмотреть на снег, и ему припомнился Боярс, каток на лугу и поощряющее слово Лили: «Молодец!» Если б только Лили всегда оставалась той прекрасной и победоносной! Но он понимал, что любовь не способна настолько преобразить человека. Мимо медленно проехал огромный локомотив. Гулливер смотрел на линию вагонов, на людей в окнах: люди, люди, отправляются на север, на север. Ребенок в окне радостно помахал ему, и он помахал в ответ. Вокзал с его мрачными желтыми кирпичными стенами и тусклыми светильниками под высоким сводом напоминал собор. А еще, подумалось ему, грандиозную

конюшню, где стояли локомотивы с длинными желтыми мордами и печальными темно-зелеными глазами, походившие на огромных добрых зверей. Впрочем, зверей еще и смертоносных, которые гарантируют человеку внезапную и неминуемую смерть. Гулливер поспешил назад к расписанию. Выбор поездов был широк, и он отметил несколько самых ранних: на Грэнем, Питерборо, Йорк, Дарлингтон, Дарем, Ньюкасл, Данди, Арброт, Монроуз, Стоунхейвен, Абердин… А куда все же не сможет довезти тот поезд дальнего следования? Во всяком случае, решено, что завтра какой-то конкретный поезд унесет его от прежней жизни, наверное, навсегда. Но пока, думал он, еще продолжается старая жизнь, и он не в силах представить, что все эти великие замыслы, эти смелые действия, вроде съезда с квартиры, — это его реальный выбор. Еще не слишком поздно, еще можно вернуться, позвонить Лили, позавтракать вместе. Не вера ли в это позволяет ему разглядывать расписание и выбирать поезд? Пока это не так мучительно, как будет после окончательного решения. Пока еще он балансирует между старой лондонской жизнью и будущим. Наверное, наступит момент, когда равновесие нарушится и чаша весов нач-

нет клониться в сторону второго, другие места и другие люди станут реальностью, а Лондон, Джерард и Лили станут воспоминанием. Когда это произойдет? Когда он сядет в поезд, когда поезд тронется, когда прибудет на станцию и он будет стоять на вокзале в Ньюкасле и искать выход, когда он выйдет на улицу и зашагает, спрашивая себя, куда направиться? Или позже, когда заговорит с кем-то, кто отнесется к нему со вниманием, хотя бы это был всего лишь мелкий чиновник? Или когда он найдет друга? Ах, друг… Возможно, на то, чтобы чаша весов перестала склоняться то к югу, то к северу, уйдет много времени — или это произойдет очень быстро. Возможно, он встретит в поезде кого-то, кто изменит его жизнь.

Ниже свистков и сипения локомотивов, громких объявлений об отправлениях, стука багажных тележек, птичьего щебета человеческих голосов и стремительного шарканья бесчисленных подметок лежало подобие тишины, как ясная полоса под слоем тумана. Гулливер нашел свободную скамью и, посидев некоторое время в неподвижности, впал в легкую сонливость. Да, подумал он, это место напоминает церковь, помещение для медитации или, пожалуй, греческую православную церковь, где можно ходить и зажи-

гать свечи. Интересно, когда открывается бар? Он немного помедитировал, наблюдая за тем, как его мысли сначала скачут, а потом медленно плывут. Может, он только сейчас начал осознавать по-настоящему, что значит быть безработным, когда уже устал от попыток найти работу и перестал пытаться, просто бесцельно сидишь, не имея желания что-то делать или идти куда-то. Наверное, пялился бы в телевизор, будь такая возможность. Тут Гулливер почувствовал, что кто-то сидит рядом с ним на скамье, мужчина. Они окинули друг друга быстрым взглядом. Человек был без пальто, в древних джинсах и мешковатом, видавшем виды пиджаке поверх фуфайки, покрытой пятнами. Худое лицо, жидкие волосы, многодневная щетина на щеках, серая шея. В руках что-то вроде бутылки сидра, к которой он время от времени прикладывался. Руки, торчащие из слишком коротких рукавов, были распухшие, красные, как клешни, и тряслись. Глаза, как увидел Гулливер, когда сосед посмотрел на него, были водянистые, веки красные, словно вывернутые. Гулливер инстинктивно отодвинулся от него. Хотел сказать ему что-нибудь, но не знал что. Он был расстроен, испуган, раздражен.

Наконец человек проговорил:

— Холодновато, да!

— Да.

— Это все ветер.

— Да, ветер.

— И снег, да?

— И снег.

Они помолчали.

— В Бога веришь?

— Нет, — ответил Гулливер, — а ты?

— Верю, но не в логику вещей.

— Почему не в логику?

— Если Бог существует, все должно быть о'кей, так? Но все дрянь. Мы дрянь. Ты и я, что сидим здесь, дрянь.

— Не думаю, что мы дрянь, — сказал Гулливер. — Мы просто неудачники.

— Неудачники, как же! Нет, я не неудачник, а сущий подонок. Вот почему я верю в Бога.

— То есть? — не понял Гулливер.

— Ну как же? Соображай. Грехи довели тебя до такого положения. Насчет этого я все знаю. Если б не верил в Бога, давно бросился бы под какой-нибудь из тех поездов. Куда все-таки едешь?

— В Ньюкасл, искать работу.

— В Ньюкасл? Ты спятил? Нет там работы, зато прорва чертовых углекопов, они тебе глаз

вышибут.

— Ты, наверное, тоже без работы? — спросил Гулливер. Глупый вопрос, но ему не нравился тон, каким говорил незнакомец, к тому же он и сам уже думал о ньюкаслских шахтерах.

— Работу? Что это такое? У меня одна работа: найти, где провести ночь.

— Где ты живешь?

— Живу, разве это жизнь? В настоящий момент — здесь.

— Хочешь сказать?..

— Здесь, на этом чертовом вокзале. Понимаешь, мотаюсь, потому что тебя заприметили, с одного вокзала на другой. Паддингтонский, Виктории, Ватерлоо, всюду одинаково, всюду гоняют, приходится ходить, пока что-то не откроется. Даже в паб не пускают, если грязный, как я. И они называют эту страну Англией!

— Семья у тебя есть? — безнадежно спросил Гулливер.

— Семья? Они мне сказали: «сгинь с глаз долой», я и сгинул! Стоит покатиться вниз, уже не можешь остановиться, не получится даже вернуться обратно туда, откуда началось падение. А когда оказываешься на дне — выхода нет. О господи! Я скоро сдохну от холода, точно. Ты

веришь в ад?

— Да. Мы уже в нем находимся.

— Ты чертовски прав.

Гулливера охватила смертельная тоска. Надо же было так случиться, что ему встретился этот жалкий бродяга! «Не получится даже вернуться обратно туда, откуда началось падение». Может, когда-нибудь он тоже станет таким, думал Гулливер, может, даже раньше, чем воображает, должно быть, это его альтер эго, что-то ужасное и пророческое, которое выползло из его подсознания и сидит сейчас рядом! И чего этот бродяга привязался к нему? Только заставляет его чувствовать себя не просто несчастным, но ничтожным, дрянью, как он сказал. Чаша весов, которая обещала склониться к чему-то положительному, по крайней мере к скромной пристойной жизни, клонится, похоже, к тому, чтобы возненавидеть себя не только в себе, но и в других людях! Этот человек может быть невинным, как Христос, но он видит в нем причину того, что зло в нем самом. Почему он не пожалеет беднягу? Нет, ему его не жалко и не хочется жалеть, и, конечно, он не невинен, ненавидит его, а он его. Толкнуть бы его под поезд.

Тут в голове Гулливера зародилась кошмарная

мысль: «Нужно отдать ему свое пальто!» Будто какая враждебная сила внушила ее. Верно, он столкнулся с бесом в обличье бродяги. Ибо мысль отдать пальто не имела ничего общего с порывом доброты, навязчивая, иррациональная, своего рода шантаж. Если не отдаст свое пальто, его будет преследовать неудача во всем, он никогда не найдет работу, сопьется, дойдет до такого же состояния, что это пугало, сидящее рядом. Тогда как если отдаст его этому зловещему черту, все будет хорошо и он будет жить без забот всю оставшуюся жизнь. Настал момент делать выбор. Не отдам, подумал Гулливер, плевать, что со мной станется! Конечно, можно купить другое пальто, но такое, как это, небось стоит сейчас слишком дорого и ему не по карману, к тому же он любит его, это его пальто, на кой оно этому прощелыге, он его только пропьет! Но, допустим, он не демон-искуситель, не его альтер эго, допустим, он Христос собственной персоной, желающий испытать его, а-а, проклятье, да если он лишь тот, кем кажется: нищий несчастный невезучий малый, каким он сам может стать однажды, просто несчастный случайный встречный? Жаль, что у него возникла такая мысль, жаль, что он вообще посмотрел на бедолагу, но раз уж он подумал об

этом, то не стоит ли так и сделать?

Гулливер встал и расстегнул пальто. Сунул руку во внутренний карман и достал бумажник. Раскрыл, вытащил купюру в пять фунтов. Протянул человеку, который как будто ждал этого, и сказал: «Держи, маленький подарочек, удачи тебе». Потом спрятал бумажник, застегнул пальто и быстро пошел прочь. Он чувствовал боль, гнев и страх. Отойдя подальше, оглянулся. Человек исчез, наверное, побежал куда-нибудь выпить и еще немного сократить свою жизнь. Хорошо было бы отдать бедняге пальто, думал Гулливер, или, скорее, хорошо бы в какой-нибудь другой жизни какой-нибудь Гулливер, конечно, не он сам, смог совершить благородный поступок не задумываясь, не принижая его всяким суеверием. Он сел на другую скамью, прикрыл глаза и уткнулся лицом в ладони.

Через какое-то время, стесняясь своей позы отчаяния, он открыт глаза и несчастно посмотрел сквозь пальцы на грязный бетонный пол, усыпанный окурками и шоколадными обертками. Минуту спустя отвел ладони от лица и слегка выпрямился. Под скамьей валялась непонятная маленькая круглая вещица размером с шарик для пинг-понга. Гулливеру стало интересно, что

это такое. Не подымаясь со скамьи, он сунул под нее руку, но смог лишь дотронуться до вещицы кончиками пальцев. Та откатилась в сторону. Определенно, сегодня на него действуют какие-то колдовские силы, подумал Гулливер, надо достать эту штуку, что же все-таки это такое? Он встал и заглянул под скамью. Вещица опять откатилась, случайно задетая кем-то из проходящих. Гулливер опустился на колени и еще раз попытался достать ее, но теперь она лежала дальше, на открытом месте, и в любой момент на нее могли наступить. Встревоженный Гулливер бросился вперед, схватил ее и выпрямился, сжимая в руке. Когда он понял, что это такое, удивлению его не было предела.

~~~

Дункан смотрел на молоток. Давно знакомый, с тяжелой головкой и коротковатой, довольно толстой деревянной ручкой, отполированной многими ладонями и чуть расколотой на комле. Отлично сбалансированный молоток. Дункан помнил, как отец стучал им в маленькой мастерской в саду, предаваясь своему увлечению: чинить мебель. Молоток странствовал с ним по холостяцким квартирам, был при нем и в женатой жизни, удобный и крепкий старый молоток, занимавший свое скромное место в подходящем ящике, всегда под рукой, готовый прибить ковер или повесить картину. Головка с блестящей рабочей частью приятно округла и похожа на темный старый камень, обточенный волнами за тысячелетия пребывания в море. Дункан покачал на ладони его увесистую головку, потом прошелся пальцами по теплой гладкой деревянной ручке. Добрый старый инструмент, скромный давний верный товарищ. Он осторожно прошелся наждачной шкуркой по комлю. Потом положил на кухонный стол и снова посмотрел на него. Прежде он никогда не обращал на молоток особого
~~~

внимания. Да и что в нем особого: бесхитростный, безобидный, мирный символ непритязательного рабочего инструмента. Он убрал его в ящик буфета. Вынул из кармана письмо, полученное два дня назад и прочитанное уже не однажды. Послание было коротким:

> У нас с тобой осталось одно незавершенное дело.
>
> Если хочешь закончить его, приходи по этому адресу в следующую пятницу в одиннадцать утра.
>
> ***Д К.***

Когда письмо пришло два дня назад, Дункан сразу ответил, приняв приглашение. Никому ничего не сказал. Сегодня была среда.

Когда он за завтраком, ничего не подозревая, вскрыл конверт, Джин сидела напротив. Он сделал равнодушный вид и быстро спрятал письмо. Первое, что он почувствовал, был испуг, потом ликование. Он жил сейчас в состоянии страшного возбуждения. Конечно, он перебирал всяческие варианты, ища объяснения, вплоть до невероятного: что Краймонд хочет некоего примирения. Мысль безрассудная, но блестящий, вывихнутый ум Краймонда не укладывался в общие рамки. В

конце концов, они с Краймондом когда-то были друзьями, даже самыми близкими из всей их группы в те далекие вечно важные дни учебы в Оксфорде. Может быть, Краймонд по-прежнему испытывает к нему дружеские чувства, даже, в силу мужской солидарности, сожалеет, что их развела женщина. Мужчины, которые любили одну женщину, способны годами чувствовать некую связь. Подобная связь может иметь под собой различные основания, и одно из них — презрение к той самой женщине. Существуют отношения, основанные на рыцарской уступке одной стороны и благодарности другой. А еще этому способно служить взаимное чувство потери и романтической ностальгии. Размышляя обо всем этом, потому что, конечно, в промежутке он не думал ни о чем другом, Дункан пришел лишь к тому, что Краймонду хочется приятно пообщаться, поговорить, повспоминать, как двое мужчин, имевших отношения с Джин, чтобы в конце концов прийти к выводу, что довольны ситуацией, которая сложилась сейчас, и больше нет надобности считать друг друга врагами. Они даже могут договориться встречаться время от времени: выпить по стаканчику, сыграть партию в бильярд или шахматы. Однако, как ни взбудора-

жен был Дункан в эти дни перед встречей, все же он не настолько сошел с ума, чтобы всерьез так считать. Трудно было представить Краймонда в подобном настроении, и еще труднее поверить, что он ожидает этого от Дункана.

Нет. Приглашение означало войну, конфронтацию. Но в каком виде? Не собирается ли Краймонд выступить с позиции воинственного самооправдания, чтобы не выглядеть в глазах Дункана злодеем? И, не желая, чтобы Дункан считал его ничтожной жалкой крысой, постарается объяснить, скажем, каким неизбежным все это казалось, насколько убедительно Джин представила ее с Дунканом брак неудачным, ничего не значащим, в любом случае практически исчерпанным. Ну, это тоже вряд ли, поскольку Краймонду придется очернять Джин, пожертвовать ею ради какого-то взаимопонимания с Дунканом, что было вовсе не свойственно ему. Равно трудно было представить, чтобы он демонстрировал Дункану, как мало его волнует, что Джин ушла от него, и какое облегчение он испытывает от этого, или стал объяснять, что решительно прогнал ее, и так опровергнуть впечатление, что он потерпевшая сторона в этой истории. Слишком Краймонд высокомерен, слишком, пожалуй, джентльмен,

чтобы снисходить для подобного оправдания, пусть и воинственного по тону. Дункан действительно не мог вообразить какой-нибудь такой разговор между ними. В любом случае он был намерен пресечь всякую попытку начать любую говорильню и был уверен, что и Краймонд настроен так же. В таком случае оставалось одно — драка, но, опять же, в каком виде?

Краймонд почти наверняка испытывает его на мужество. Если Дункан откажется от встречи, Краймонд станет презирать его, и Дункан будет знать, что его презирают. Если примет вызов, Краймонд придумает, как унизить его или напугать. Дункан, конечно, отбросил недостойную, даже отвратительную мысль взять с собой охрану. Это мужской разговор, один на один, и не было никаких сомнений, что Краймонд ненавидел Дункана не меньше, чем Дункан Краймонда. Мерзкого и вместе с тем смехотворного мужа. Дункан вспомнил рассказы Джин о том, как Краймонд устраивал русскую рулетку, которую она описывала как одновременно и испытание мужества, и тонко рассчитанный трюк. Джин никогда не верила, что пистолеты заряжены, но также было ясно, что от нее требовалось идти на риск. Из слов Джин, не в ответ, конечно, на расспросы

Дункана, было похоже, что Краймонд до сих пор играется с оружием, во всяком случае имеет его. А если в этом случае пистолеты окажутся заряжены, если Краймонд намерен просто убить его и представить дело как несчастный случай? Не угодит ли он прямо в ловушку, добровольно сыграв роль мишени для человека, который не выносит его? И совершенно ясно, что, какой бы драмой все это ни обернулось, он не может отказаться принять вызов. Что, если впоследствии Джин каким-нибудь образом узнает, что он струсил?

Воспаленное воображение Дункана продолжало рисовать все новые способы, какими Краймонд способен завлечь вдовушку и истязать его. Самой унизительной была картина, как Краймонд пытает его, связанного, может, с кляпом во рту, пока он не взмолится о прошении. Устроит западню у себя в подвале, а там у него небось есть и пыточные инструменты. Что ж, он будет вести себя разумно, не станет сопротивляться, чтобы не быть покалеченным и не испытывать чрезмерной боли, капитулирует и скажет и сделает все, что от него потребуют. Рисуя себе подобные картины, Дункан корчился от муки и ярости. После такого для Дункана невозможно будет жить дальше, не убив Краймонда. Тут он вернулся к

давним, знакомым, ставшим почти привычными фантазиям о том, как в один прекрасный день уничтожит соперника.

Дункан прекрасно сознавал, что у Краймонда стальная воля, что ему свойственно чисто безумное, отчаянное безрассудство, что у него самого, как бы ни сильна была его ярость и жгуча ненависть, попросту отсутствовало. Как бы ни повернулось дело, Краймонд, скорее всего, победит; и Дункан даже поймал себя на том, что полагается, в конце концов, на разумность Краймонда или на некое гипотетическое чувство порядочности, которое не позволит тому слишком жестоко обойтись с ненавистным мужем. Он снова возвратился к отложенным предполагаемым вариантам разговора. Среди прочего он положил себе попытаться не уступать инициативы. Однако тут все было не очень ясно или предсказуемо. Совсем короткий предварительный разговор покажет, к чему клонится дело. Затем Дункан набросится на противника, как тогда в башне, обрушится всем своим весом и мгновенно скрутит, чтобы не дать Краймонду воспользоваться теми дьявольскими орудиями, которые тот припасет для него. Итак, он примет бой, но нападет сам, а не станет обороняться. Такой сценарий

разработал Дункан накануне, купив нож. Он представился переплетчиком, которому нужен длинный острый нож с узким лезвием, чтобы подрезать корешок толстой книги, не слишком гибким, с острым кончиком, выкидным. Подумывал вооружиться револьвером, но отказался от этой идеи. Будет непросто выхватить его вовремя, так что револьвер для него бесполезен. Нож будет неожиданней и эффективней в тесной схватке. Ближе ко дню встречи Дункан стал думать не столько об убийстве, сколько о нанесении «тяжких телесных повреждений». Тогда ему и пришло в голову вооружиться молотком. Разбитая коленная чашечка, сломанная правая рука, глаз, превращенный в месиво, Краймонд в инвалидной коляске, Краймонд слепой. Конечно, и с таким, но еще живым Краймондом он никогда не сможет спать спокойно. В другом же случае возможно обвинение в убийстве со всеми вытекающими из этого последствиями, в которых он, будучи в полубезумном состоянии, едва ли отдавал себе отчет. Продавец вспомнит, кто покупал у него нож. Несколько прицельных ударов молотком, нанесенных со всей силы, способны серьезно покалечить и в то же время не вызвать подозрений, поскольку Краймонд, кото-

рого позже найдут одного и истекающего кровью, выдаст все за несчастный случай; и тут Дункан, мучимый опасениями, поймал себя на том, что полагается на благородство Краймонда! К тому же сыграет роль тщеславие Краймонда, его гордость, его нежелание публично признаваться, что он жертва человека, которому причинил зло. Дункан занимался делами на работе, понемногу возвращался с Джин к жизни, а в мозгу у него постоянно роились кровавые галлюцинации, и временами он чувствовал, что сходит с ума.

Вскоре Дункану стало казаться, что письмо Краймонда — некий знак. Оно было предопределено судьбой и в должный момент пришло. Это ощущение было смутно связано с тем, что что-то до сих пор у них с Джин было не так, что-то безвозвратно ушло, и Дункан с отчаянием это сознавал. Что именно не так, было неочевидно. С очевидным они могли бы справиться. Сказать, что он «простил» Джин, было бы несерьезно. Ну да, конечно, простил, но это было лишь частью огромной ноши, порой казавшейся огромной, как мир, которую, вновь будучи с ней, он принял на себя. Принял боль, крушение их жизней, опустошенность и разруху в их душах, даже возможность того, что она опять сбежит. Принял все,

чего не знал и никогда не узнает о ее отношениях с Краймондом. Это было все равно что просить Бога простить грехи, о которых забыл, заодно с теми, о которых помнишь. Его скоро перестало волновать, кто кого бросил: она Краймонда или Краймонд ее, это стало походить на метафизический вопрос, который наконец потерял всякий смысл. То ли Джин не знала, то ли Бог не знал. Он больше не пытался разгадать, что произошло той ночью, когда Джин оказалась в Боярсе после аварии на ошибочно выбранной дороге. Он выслушивал то малое, что она рассказывала ему об этом, и почти не задавал вопросов. Джин чувствовала облегчение и благодарность, и облегчение, благодарность и обновление их жизни на новом витке оживили ее любовь. Она не то что была счастлива, но, как оба они согласились, почти счастлива. Но еще будет счастлива. Он не особо задавался вопросом, о чем она думает. И он не был счастлив, но еще будет. Все их разговоры о жизни во Франции, путеводители и карты, которые они изучали, были символами, а не реальностью предстоящего счастья. Иногда он спрашивал себя, не ошибаются ли они, желая или ожидая счастья, которое у них было когда-то; но ведь они были тогда счастливы, хотя, может, па-

мять обманывает их или то не было настоящим счастьем? Может, они заблуждаются. Может, все эти мысли, все эти расчеты, которым они с таким удовольствием предавались, это попросту ошибка, подмена более реальной жизни в настоящем? А эта их теперешняя жизнь так часто казалась (и в этом они тоже молчаливо соглашались) ad hoc[88] сплошным поиском наслаждений, способом уйти от реальных проблем. Подобный не вполне приемлемый дуализм после первоначального энтузиазма, похоже, сказался даже на их возобновленных любовных отношениях, хотя несомненно столь удивительно приятных, но окутанных облаками беспокойства и страха. Об этом они, оберегая друг друга, не говорили. Они думали, что время излечит их, что любовь излечит самое себя, что только здесь место вере и надежде. В то же время он сознавал: есть что-то, что отравляет им жизнь, что они не учли, упустили, что делает проблему не только неразрешимой, но и не поддающейся определению. Только получив письмо от Краймонда, Дункан заключил, что это упущенное звено есть просто сам факт того, что Краймонд еще жив.

---

**[88] Примечания: 88**
Применительно к данному случаю (лат.).

Это, конечно, было нелегким делом. То есть было нелегко разобраться с гипотезами относительно появления Краймонда на пороге или обратного бегства Джин к нему. Это больше было связано с тем, как он летел вниз по лестнице в башне, даже с его падением в реку. Но опять-таки, это не было простой жаждой мести. Весь мир расшатался, и необходимы радикальные меры, чтобы скрепить его. В трезвом уме Дункан не воображал, что, если убьет Краймонда, «все станет лучше». Если он действительно совершит хотя бы это убийство или это членовредительство, он окажется в тюрьме или, если это сойдет ему с рук, будет жить с чувством вины и страха. Ему не казалось, что это как-то связано с Джин; более того, он сознавал, что как раз за это Джин может навсегда возненавидеть его, но, преследуемый своей навязчивой идеей, не слишком задумывался о таком исходе. Наваждение принимало вид тяжкой обязанности или избавления от мучительной физической потребности: с Краймондом необходимо что-то делать. Когда пришло письмо от него, Дункан сразу отметил, насколько выражение «незавершенное дело» точно подходит к тому, что существует между ними; значит. Краймонд тоже это чувствовал.

Итак, вот чего он ждал от их встречи, как чего-то предопределенного и неотвратимого, совершенно не представляя, как она сложится. Молоток, нож были лишь слепыми символами. Надо было только как-то пережить время, оставшееся до пятницы.

В четверг утром к Джин явилась нежданная гостья.

Часто на Джин наваливалась сильная усталость. Среди вещей, в которых она не до конца призналась мужу, были еще не прошедшие последствия автомобильной аварии. По возвращении в Лондон она обратилась к своему врачу и в больницу. Ей сказали, что, в конце концов, нельзя же ждать, что, попав в такую аварию, отделаешься только вывихнутой лодыжкой! Есть и ушиб позвоночника, и плечо не в порядке, ничего серьезного, но надо срочно пройти курс физиотерапии. Мучила ли ее боль? Нет, душевные страдания на время затмили телесные, и вот теперь они вернулись. Она ходила на прогревания, плавала, как в фантастическом сне, там в горячем бассейне. Бассейне слез, сказала она себе, но не по Дункану. Делала специальные упражнения. Лодыжку она вылечила, плечо стало лучше, но теперь ныло все и блуждающая

боль расползалась по телу. Гордость не позволяла ей говорить Дункану о таких обиходных вещах, разве что шутливо, поскольку он знал о ее походах в больницу. Они со смехом говорили, а не поехать ли им, когда придет весна, в Баден-Баден или Карлсбад.

Тем временем на другом уровне Джин тоже испытывала разрыв, но и неизбежную связь между самоанализом и гедонизмом. Она находила некоторое облегчение и в том и в другом, но ни то ни другое не давало освобождения от глубинного, духовного недуга, ее любви к Краймонду, от которой она пыталась и надеялась, мало-помалу, день за днем, час за часом, излечиться. Иногда она пробовала вспомнить, как все проходило в первый раз. Так же ли она тогда пыталась — или просто сохранила все в целости, схоронила, как яд или еще живой эмбрион, в таинственном сосуде в потайном углу шкафа? Так же ли будет сейчас, или это уйдет, должно умереть, умрет? Как Дункан, — ибо она была похожа на него, стала похожа, так же мыслила, так же говорила и спорила, — она иногда спрашивала себя, возможно, она неправильно понимает проблему, ошибается в ее сути? К чему вообще задаваться подобным вопросом? Главное теперь, что она любит Дунка-

на и счастлива. В этом свете потеря Краймонда могла казаться чуть ли не чем-то механическим, неизбежным событием, оставшимся в прошлом, никак не влияющим на течение ее жизни. В таком настроении она обращалась за поддержкой к определенным воспоминаниям: постоянным утверждениям Краймонда, что их любовь «невозможна», и, что казалось ей особенно важным, его воплю на Римской дороге: «Это шанс для тебя!» Что ж, шанс для нее был и шансом для него тоже, и она верила его словам. Жестокость, с которой он бросил ее там, наверняка была умышленной, печатью на их разрыве. Ей помогла вера в его правдивость. Все было кончено, и должно быть кончено. Никакого воскрешения теперь. Ему была нужна его свобода, и ей нужно научиться испытывать необходимость в свободе для себя. Но болезнь была тяжелой, а исцеление медленным.

Дункан ушел на службу. Его прошение об отставке еще не удовлетворили, но это скоро должно было произойти. А пока подвешенное состояние, передышка. Даже квартира, с которой они собирались расстаться, знала это, хотя Джин прибиралась и наводила чистоту почти как всегда. Было что-то временное в их жизни сейчас, что они сознавали, убеждая друг друга: переезд на

новое место вдохнет в них обоих новую жизнь.

Джин читала в истории Прованса о том, как там нашли скелет слона, должно быть, одного из тех, что были в войске Ганнибала, когда раздался звонок в дверь. Она пошла открывать. На пороге стояла Тамар.

Джин не видела, более того, даже не думала о Тамар со времени возвращения к Дункану, хотя вспомнила сейчас, как кто-то говорил ей, что Тамар была больна. Она обрадовалась ей.

— Тамар! Входи, как я рада тебя видеть! Уже выздоровела? Слышала, что ты болела. Извини, что не проведала тебя. Дункан и я были так заняты. Входи, входи, присаживайся. Что, на улице ужасный холод? Давай свое пальто. Слава богу, снег сошел. Желаешь кофе или глоточек чего-нибудь? Могу накормить тебя завтраком, если не торопишься.

— Нет, спасибо, — отказалась Тамар, отдавая пальто. Сумочку бросила на пол.

Джин сразу увидела, что Тамар изменилась. Похудела, побледнела и стала старше, даже как будто выше. Кожа лица, обычно нежная и прозрачная, казалась тусклой и землистой. Вокруг зеленых с коричневыми крапинками глаз темные круги. Она была в своем всегдашнем пальто,

юбке и выцветшем свитере с воротом «поло», по которому в беспорядке рассыпались непричесанные волосы. Она беспокойно оглядела комнату:

— А где Дункан?

— Он на службе, — ответила Джин. — Он расстроится, что не застал тебя. Ты должна зайти к нам в какой-нибудь из ближайших вечеров, когда он будет дома. Садись, пожалуйста, и расскажи, как живешь.

Тамар опустилась на диван возле камина, Джин села напротив с чувством облегчения, как человек, вдруг увидевший, что у другого неприятности, забывает о своих бедах.

— Семестр в Оксфорде закончился? Ох, извини, ты же ушла из университета. Была больна?

— Да.

— Но теперь тебе лучше? Как на работе? Ты, наверное, уже вернулась на работу?

— Да. Там все хорошо.

— Давай принесу что-нибудь: кофе, шерри, печенье?

— Нет, спасибо. Дункан рассказывал вам обо мне?

— О твоей болезни? Нет. Но ты сама расскажешь.

— Не рассказывал?

— Гм… нет… что ты имеешь в виду?

— Тогда лучше я расскажу, раз он будет позже.

— Да о чем ты собираешься рассказать? — не понимала Джин.

— Дункан и я… мы были любовниками.

— Что?

— Ну, не совсем любовниками, только одну ночь… даже не ночь, вечер… один вечер… и я забеременела… и… и он не знает об этом, по крайней мере я думаю, что не знает, пока об этом не стало известно… конечно, я никому ничего не говорила, но Лили Бойн знает и, думаю, проговорится, она такой человек, что…

Тамар проговорила все это монотонным, будничным, довольно раздраженным тоном, блуждая взглядом по комнате. В паузах она кривила лицо и жмурилась, как от боли.

— Постой, — сказала Джин. Она мгновенно собралась. Пригладила платье и сложила руки на коленях. Голова была ясной и холодной. — Тамар, это правда, то, что ты говоришь? Ты ничего не выдумываешь? Ведь ты была больна.

Джин не считала, что Тамар страдает галлюцинациями, она просто хотела убедиться и заставить ее говорить более членораздельно.

— О да, правда, — ответила Тамар по-прежнему

нервно и отрешенно. — Хотелось бы, чтобы это было неправдой. Только одна ночь… вечер. И я забеременела. Разве не странно?..

— Но ты не могла… Дункан не способен…

— Очень даже способен, можете мне поверить! — ответила Тамар злым, почти пронзительным голосом.

— Ты наверняка ошибаешься… ты беременна?

— Нет, уже нет, уже нет, я избавилась от него.

— Тамар, дорогая, пожалуйста, я не сержусь на тебя…

— Меня не волнует, сердитесь вы или нет, я выше этого.

— Говоришь, ты избавилась от ребенка?

— Сделала аборт… очень быстро… его нет… не беспокойтесь…

— Пожалуйста, не расскажешь мне все с самого начала? Когда это началось? Говоришь, вы были любовниками?

— Нет, мы не были… ну, я так сказала, но это не совсем точно… все случилось в один миг, было всего один раз… я хотела помочь, помочь… я пришла, жалея его… а потом почувствовала, что люблю… он был такой несчастный, и мы легли в постель… всего на, может быть, часок… он раскаивался потом.

— Откуда ты знаешь?

— Он избегал меня, никогда больше толком не разговаривал.

— Ты не говорила ему, что беременна?

— Нет.

— Почему?

— Потому что это касается только меня, — грубо ответила Тамар.

— Ты уверена, что ребенок был от него?

Тамар секунду молчала, потом метнула яростный взгляд на Джин, на которую вообще не смотрела с момента, как вошла в комнату:

— Так вы считаете, что я постоянно сплю с мужчинами, только этим и занимаюсь, может, каждую ночь?

— Прости. Ты меня так поразила. Мне нужно во всем разобраться.

— Я вам и объясняю. Неужели вы думаете, что я лгу о самом важном, что произошло в моей жизни? Так Дункан рассказал вам?

— Нет. Но, Тамар, ребенок…

— Его нет, он умер…

— Мы усыновили бы его.

Тамар вскочила на ноги. Секунду стояла с открытым ртом и головой, неловко повернутой набок. Затем завопила. Это был оглушитель-

ный намеренный вопль, похожий на зов. Она схватила пальто и стояла, держа его в руках. Потом заговорила необычным пронзительным голосом:

— До чего вы добры! Но это был мой ребенок, хотела и убила. Я не собиралась отдавать его вам, чтобы вы любили его. Он мог прекрасно обойтись и без отца. Он был мой. Я не нуждалась в вашем разрешении! Все было сделано ради вас, чтобы вы и Дункан были вместе, этого все хотели, поэтому и попросили меня пойти к Дункану, словно я ваша служанка, или горничная, или не знаю что. Я должна была помочь, и вот что из этого получилось, поэтому я и не могла никому сказать, чтобы не помешать вам вернуться, а теперь вы вернулись, и я должна была прийти и увидеть вас, потому что одно время так хорошо к вам относилась, и я думала, вы знаете, и для меня это был такой ад…

— Пожалуйста, — сказала Джин, — пожалуйста, успокойся… присядь…

Истеричный вибрирующий голос Тамар и ее слова очень напугали Джин. Странным было то, и позже Джин задумалась над этим, что, когда Тамар пустилась в свои откровения, Джин мгновенно разобралась в ситуации и, несмотря

на шок и смятение, испытала некоторое удовольствие от мысли, что Дункан тоже виноват, тоже неидеален, был неверен и не знает, что ей стало известно об этом. Чувство оскорбленного достоинства, ревность появились позже, как и понимание страданий Тамар и, что еще хуже, способности Тамар навредить им. Да еще этот потерянный ребенок с его долгой местью.

Слезы бежали по лицу Тамар. Она стояла, держа в руках пальто и сумочку. Сейчас она утерла лицо болтающимся рукавом пальто, тихо стеная сквозь слезы.

Джин, сама готовая расплакаться, но упорно держащая себя в руках, сказала:

— Послушай, Тамар, никому не говори об этом. Лучше будет держать все в тайне. Сама я никому не скажу. — Кроме Дункана, подумала она про себя. Или не говорить и ему, никогда не говорить?

— Мне теперь безразлично, кто будет знать, — причитала Тамар, — мне теперь все безразлично. Какая я дура, что пришла сюда, мне надо было понять, известно ли вам, а теперь я рассказала, а вы не знали…

— Ты правильно сделала, что рассказала мне. — Джин не стала останавливать Тамар, которая направилась к двери. — Дорогая… приходи как-

нибудь на днях… поговорим еще.

— Нет, не поговорим. Я ненавижу вас. Я любила Дункана, любила — вы бросили его и сделали его таким несчастным, — а теперь все это случилось, и я погубила себя, жизнь свою погубила, и убила своего ребенка, и все из-за вас.

— Тамар!

— Ненавижу вас!

Она распахнула дверь и выскочила вон, по-прежнему держа пальто и сумочку в руках. Дверь с грохотом захлопнулась перед носом Джин. Она не пыталась бежать за Тамар. Села и заплакала над той, еще не вполне осознанной бедой, виновницей которой стала.

Было утро пятницы. Тамар находилась у Дженкина.

Накануне Дженкин вернулся поздно ночью. Он в невероятном возбуждении помчался домой к Марчменту, поскольку Марчмент сказал, что кто-то пообещал ему дать почитать машинопись части книги Краймонда. Обещанного удовольствия они не получили, но Дженкин полночи провел в спорах с Марчментом и его друзьями. Уже давно, с той самой «договоренности», как уныло назвал ее Джерард, когда Краймонд объявил, что закончил книгу, Дженкин горел таким

желанием прочитать ее, что в конце концов она стала для него чем-то вожделенным. Он спал и видел ее. При мысли, что он возьмет ее в руки, его охватывала дрожь. Он не осмеливался спросить у Краймонда, как продвигается печать, боясь нарваться на резкость.

Теперешнее возбужденное состояние Дженкина было во многом связано еще и с «предложением Джерарда», о котором он думал с улыбкой, но серьезно. С той их встречи он несколько раз оставался с ним один на один, но никто из них впрямую не касался того, что было сказано в тот раз. Оба были сдержанны, хотя каждый руководился своими соображениями. Джерард, слишком гордый, чтобы повторяться, явно собирался бесконечно ждать ответа Дженкина, а то и обойтись без какого-либо ответа, кроме того, какой сразу получил. Дженкин, боясь создать у человека столь щепетильного, столь взыскующего точности и правды ложное ощущение, думал, что лучше помолчать, пока у него не будет ясного ответа. Но когда это будет? На Дженкина произвело большое, а спустя время еще большее «впечатление» заявление Джерарда. Дженкин предпочитал думать о нем как о заявлении, нежели как о предложении. Заявление по сути

уже изменило их мир, и в каком-то невыразимом смысле ответ на него был дан. Их теперешние встречи, когда они ни словом не затрагивали сей предмет, были иными, появилась новая мягкость, обходительность, близость. С иным, новым спокойствием они смотрели друг другу в глаза. Смотрели не «многозначительно», не «вопрошающе». А просто внимательно, заново узнавая друг друга. А еще они много смеялись, иногда, может, интуитивно чувствуя что-то безобидно нелепое в сложившейся ситуации. Такие встречи делали Дженкина необыкновенно счастливым. Это было как — да, было, — как влюбленность, и, наверное, именно к этому они стремились и обрели через само то заявление и больше делать ничего не требовалось. Так они, пришло на ум Дженкину, действительно никогда не смотрели друг на друга.

Однако démarche Джерарда в предвидении расставания поставил перед ним жизненно важный вопрос. Уезжать или остаться? Огорченный Дженкин перебрал возможные компромиссные решения и отверг их все. Если он выполнит свое намерение уехать, то порвет и с Джерардом, и со своим нынешним «миром». Он будет где-то в другом месте, в другой стране, среди других лю-

дей, будет заниматься чем-то новым и полностью погрузится в эту новую жизнь. В нее не вписывались полеты от случая к случаю в Лондон на ланч с Джерардом; и подобные встречи мельком будут скорее мучительными, нежели радостными. Какая-то поддержка, какое-то удовлетворение, что он имел бы, останься он здесь, будут просто-напросто недоступны с отъездом. Если уедет, то лишится, и никогда не обретет вновь, того душевного покоя, который ему временами давало присутствие Джерарда, кто, как он знал, испытывал то же самое, лишится ощущения, что лучше, чем с ним, ему нигде не будет. Отъезд разрушит это навсегда. Он вовсе не воображал, что Джерарда оскорбит его решение и тот выкинет его из сердца, что просто из-за почти постоянного его отсутствия они станут чужими друг другу. Они могли бы попытаться преодолеть это отчуждение, но со временем и далью не поспоришь. Дженкин знал: что бы ни случилось, отношение Джерарда к нему останется прекрасным. Но при подобном долгом отсутствии из любви уйдет ощущение предвкушения и удовольствия, оно обеднит и изменит их старую долгую дружбу. Эта мысль была мучительной. Конечно, Дженкин предвидел это и заранее огорчался, но сейчас

предстоящие потери приобрели еще большую остроту. Идея жить вместе и наслаждаться покоем, которую Джерард так заманчиво предлагал, была невероятно привлекательна и поразительна, как вещь, о которой ему не приходило в голову и мечтать. Он без раздумий и сожаления отверг ее, как нечто для него невозможное, а потому и не стоящее, чтобы этого желать. Он и так нашел душевный покой, и давало его ему одиночество. Он никогда даже и не думал о том, чтобы узнать Джерарда еще лучше, быть еще ближе, чем знал и был все долгие годы их чудесной и постоянной дружбы. Теперь же, если Джерард действительно желал (и это до сих пор изумляло Дженкина), чтобы они съехались, это подразумевало бы то, о чем он никогда не помышлял в отношениях с Джерардом: совместную, в полном смысле этого слова, жизнь. Дженкин считал, что жизнь вместе вещь немыслимая, абсолютно не для него, и даже желания такого у него, за исключением каких-то смутных мыслей, когда был совсем юн, никогда не возникало. Отношения с женщинами, которые он так успешно утаивал, никогда не доходили до того, чтобы помыслить о женитьбе; и он очень рано решил остаться холостым и одиноким, прочные и важные отношения связы-

вали его единственно с Джерардом и кружком, который так давно сложился вокруг него. Теперь эта возможная совместная жизнь со старейшим и ближайшим другом казалась ему безмерно привлекательной, и не только привлекательной, но в перспективе еще и приятной, естественной, уместной, правильной, определенной самой судьбой. И в этой перспективе проблема сексуальных отношений его совершенно не волновала. Он всегда обожал Джерарда, с тех самых пор, когда им обоим было по восемнадцать. Мысль лечь с ним в постель ни на мгновение не приходила ему в голову и казалась сейчас, как показалась бы всегда, действительно комичной. Больше того, Дженкина бросало в дрожь, когда Джерард давал понять (явно), что находит старого друга привлекательным, хотя это тоже было невероятно забавно. Джерардовы любовники все как один были красавцами. Синклер и Робин, к примеру, или страшно интересный Дункан. Но «драмы» на этом фронте тревожили его меньше всего. Возвращаясь к сказанному, что бы ни случилось, а точнее, не случилось, Джерард оставался безупречен. Наблюдая за Джерардом во время их недавних спокойных встреч, Дженкин даже подумал, что старый пес еще способен учиться

новым трюкам; впоследствии эта мысль тоже вызывала у него смех. Однако все эти заманчивые и приятные мысли, эти тайные нежные желания приходили в жесткое столкновение со столь же твердой решимостью безусловного отъезда; и он с неудовольствием чувствовал, что голос долга тоже призывает его к этому. Дженкину пока еще не хотелось вступать в малоприятный диалог с долгом. Он, сам это понимая, оттягивал его, будучи пьян от медвяной росы Джерардовой любви.

Такие мысли блуждали в его голове, когда около десяти часов в дверях показалась Тамар. Он ее не ждал.

— Тамар, какая удача, что ты застала меня, я как раз собирался в магазин. Входи, входи!

Он провел Тамар в гостиную и включил свет и газовый камин. На улице был туман и холод. Он сходил на кухню, принес обратно кружку с веточкой остролиста и поставил на каминную полку. Подумал: в Испании на Рождество ему будет знак. Тамар отказалась от кофе, как и от горячего супа и гренка. Они уселись в холодной комнате, придвинувшись у огню.

— Не на работе?

— Опять на больничном.

— Что с тобой, дорогая, как ты живешь?

— Думаю, со мной все кончено, — ответила Тамар. Она говорила спокойно, нее лицо, по-прежнему тусклое и землистое, как накануне, когда она приходила к Джин, не дергалось, как от боли, и глаза не блуждали по комнате. Она то и дело облизывала губы и не отрываясь смотрела на зеленый кафель перед шипящим огоньком. Глубоко вздыхала.

— Что случилось?

— Я рассказала Джин.

— Ты имеешь в виду, о Дункане и ребенке?

— Да, все.

Дженкин был ошеломлен:

— Как тебе пришло в голову такое?

— Было просто невыносимо не знать, рассказал ли Дункан ей о нас. Он не рассказал. Но я пошла к ней и выложила ей все почем зря. Теперь она скажет Дункану, что я выдала его, что он сделал мне ребенка, что ребенок мертв и так далее, — медленно говорила она.

Дженкин лихорадочно думал.

— Джин и Дункан переживут. Снова они не разойдутся. Ты же не этого боишься?

— Не этого, — продолжала Тамар с ужасающим спокойствием, не отрывая глаз от зеленого кафеля. — О них я не беспокоюсь. Я беспокоюсь

о себе.

— Что сказала Джин?

— Что они с Дунканом усыновили бы ребенка.

— Ох…

— Я была в ярости. Это как если бы они оттолкнули меня и оставили подыхать в канаве, а сами пошли дальше к солнцу, унося моего ребенка.

— Понимаю тебя.

— Я сказала Джин, что она была ужасно жестока к Дункану и что я любила его, а ее ненавидела.

— Но ты не ненавидишь ее.

— Это не имеет значения. Я больше никогда не увижу ее. Мы не сможем выносить друг друга. А Дункан не терпит меня. Но возможно, даже это не имеет значения. Наверное, теперь я всем расскажу.

— Лучше не торопиться, — посоветовал Дженкин. — Абсолютная искренность — это хорошо, но не всегда полезно.

— Думаю, Лили Бойн уже всем растрезвонила.

— Уверен, что нет.

— Джин расскажет все так, как ей выгодно. А я расскажу, как оно было на самом деле.

— Тамар, не торопись, — сказал Дженкин. — Посмотрим, что будет. Я сам в полном замешательстве, и тебе сейчас трудно рассуждать трезво.

Хочешь, я схожу к Лили… и к Джин тоже… это поможет? Не уверен…

— Мне все равно. Может, и не стану никому ничего рассказывать. Пускай слушают, что хотят, и верят, чему хотят. Со мной все кончено.

— Это неправда, не стоит так говорить. Ты пытаешься справиться с бедой, притворясь, что отказываешься от надежды, тогда как тебе нельзя сдаваться. Ты должна *пережить* свою беду, *знать*, что она пройдет и ты благополучно справишься с ней. Ты можешь совершить сейчас много умного и неумного, но важно думать, прежде чем что-то делать… это и на других людях скажется…

— А… другие! Конечно, я могу кое-что сделать, но это будет ужасно… подло…

— Тамар…

— Мне нужна помощь, помощь свыше…

— Что?..

— Я решила принять христианство.

Дженкин несказанно удивился:

— О боже!.. Ты и впрямь думаешь?..

— Вы, даже вы, — проговорила Тамар, спокойно объясняя, — совсем не понимаете, насколько черна и исковеркана моя душа. Это я имела в виду, когда говорила, что меня не волнуют ни Джин, ни Дункан, ни кто другой, только я сама. Мне нуж-

но, чтобы меня спасли от гибели, даже не могу сказать, что хочу, это просто необходимо, сама я спастись не в силах, и вы тоже не способны это сделать. Я нуждаюсь в сверхъестественной помощи. Не то чтобы я верила в сверхъестественное или в то, что оно существует. Но возможно, где-то есть спасение, некая сила, в чьей власти все…

— Но веришь ли ты?..

— Ох, опять вы с вашей верой и праведностью и тому подобным, я знала, что вы заговорите об этом, все вы думаете, что это так важно! Я не думаю. Когда тонешь, хватаешься за что угодно. Меня не волнует, существует ли Бог или кто такой был Христос. Может, я просто верю в чудо. Кому какое дело? Это касается меня, это мое спасение.

— Но, Тамар, кто тебе внушил…

— Весь этот вздор? Отец Макалистер. Я виделась с ним несколько раз. Он хочет, чтобы я крестилась и прошла конфирмацию.

В коридоре зазвонил телефон, и Дженкин пошел снять трубку.

Предыдущим вечером Джин не стала рассказывать Дункану ни о визите Тамар, ни о ее откровениях. Вечер прошел как обычно, разве что Джин была неестественно весела, шутила и громко смеялась. Дункан, казалось, тоже был в

хорошем настроении. Они привычно с удовольствием спорили о том, где лучше, в Провансе или Дордони, и не поселиться ли, в конце концов, на севере Италии. Наутро в пятницу Дункан ушел в обычное время.

После его ухода Джин вернулась к неприятной задаче: тщательно обдумать все, что услышала от Тамар. Джин не могла успокаивать себя, воображая, что Тамар дурачила ее или лгала, или что ребенок был не от Дункана, или что он все-таки жив. Она была уверена, что Тамар говорила правду. Как вообще представить себе такую чудовищную вещь, как ее пережить, что тут хуже всего? Можно ли тут что-нибудь как-то исправить? Джин не верила, что этот новый кошмар способен разрушить ее новые отношения с Дунканом, до сих пор не слишком прочные. Но повредить им, изменить непредсказуемым образом, — вполне. А еще полной неожиданностью, чуть ли не чудом было то, что Дункан в конце концов оказался в состоянии стать отцом; и как горько, что это был не ее ребенок. Отдельным и странным мучением было то, что ребенок мертв. Особо потрясло открытие, что Дункан мог переспать (хотя почему нет?) в ее отсутствие и вот так, мимоходом, со столь юным и ранимым

созданием. Терзали Джин и второстепенные соображения. Когда им в свое время сказали, что у них не будет детей, Джин и Дункан не изводили друг друга постоянными стенаниями по этому поводу. Джин, как тайную печаль, хранила в душе жажду иметь ребенка. Дункан, наверное, то же самое. Говоря же об этом между собой, они рассуждали философски, даже притворялись, что испытывают облегчение оттого, что избавлены от необходимости нести родительское бремя. Но теперь, поскольку оказалось, что Дункан способен иметь детей, нельзя ли будет найти женщину, любую женщину, которая выносит его ребенка и передаст его им? Не слишком ли поздно — для них обоих? Кроме того, стоял ужасный вопрос: нужно ли все рассказывать Дункану? Правда ли, что «слухов» не избежать? Непонятная радость, было охватившая ее, когда она «разоблачила его» и «знала, что он не знает», теперь казалась низменной, отвратительной, несуразной.

Раздираемая сомнениями, безостановочно кружа по комнате, Джин чувствовала острую, нарастающую потребность сделать что-то, что угодно, лишь бы освободиться от неотступно преследующих мыслей. На помощь пришло новое, не менее горькое подозрение: наверное, пока ее

с ним не было, Дункан дал себе волю. Почему шалость с Тамар должна быть единственной? Да, может, она вовсе не была такой короткой и с его стороны вызванной плотским желанием, как она предположила? Дункан сказал Джин, что, живя без нее, он к женщинам и близко не подходил, и она ему поверила. Видно, она была наивна.

Джин внезапно решила, что по крайней мере одно она может сделать, пусть даже просто чтобы убить время: порыться в столе Дункана. Она пошла в его кабинет и принялась осторожно открывать небольшие ящички и просматривать бумаги. Почти сразу ей попалась записка от Краймонда. У нас с тобой осталось одно незавершенное дело. Она посмотрела число и время встречи. Сегодня. Взглянула на часы. Было половина одиннадцатого.

Она положила записку на место и побежала к телефону, позвонить Дункану в офис. Его там не было. Он на совещании? Никто не знал. Она задумалась. Сомнений в том, что означала записка, не было, она означала столкновение, а не примирение или обсуждение. Она сразу подумала о затее с русской рулеткой, которую всегда считала бессмысленным спектаклем. Может это быть подобным спектаклем, чтобы запугать или

унизить… или же опасность реальна? Была ведь Римская дорога… Это попросту может быть смертельная ловушка. В любом случае, у нее не было сомнений, что Дункан примет вызов. Он никогда не допустит, чтобы Краймонд похвалялся тем, что Дункан испугался его.

Джин снова схватила трубку и набрала номер Краймонда. Конечно, это безумие. Сегодня Краймонд не будет отвечать на звонки. Кроме того, что она может сказать ему? Номер был недоступен. Положим, она выведет машину и сразу поедет туда? Не разъярит ли ее появление мужчин и не превратит ли безопасную комедию в настоящую дуэль со смертельным исходом? Джин набрала номер Джерарда. Никто не подошел. Тогда она позвонила Дженкину.

— Алло!

— Привет, Дженкин, это Джин. Послушай, это кажется безумием, но, думаю, Дункан поехал к Краймонду, чтобы, так сказать, сразиться с ним на дуэли…

— Ох… нет…

— Во всяком случае, ну, может, и нет, не уверена, но, может, да, а сама я туда поехать не могу…

— Я съезжу… когда он?..

— Краймонд просил его приехать к одинна-

дцати, я только что обнаружила записку… если поедешь сразу, можешь опередить его… ах, черт, у тебя же нет машины… а наша… только сейчас вспомнила, что она в гараже, а то я бы тебя подвезла, а, черт!..

— Не беспокойся, возьму такси, обычно я сажусь на Голд-хоу-роуд, а еще есть стоянка на Грин. Ты сказала Джерарду?

— Его нет дома. Ох, Дженкин, прости, что побеспокоила, вдруг ничего страшного не происходит, я сейчас подумала, что Дункан и не поехал туда вовсе… ответил письмом… но, пожалуйста, отправляйся немедля, чувствую, если ты там будешь, ничего плохого не случится. Ты знаешь, где живет Краймонд, и то полуподвальное помещение…

— Да, да, еду немедля, не тревожься…

— И позвони мне.

— Да… я помчался.

Дженкин бросил трубку и побежал надевать пальто. Тамар он сказал:

— Прости, дорогая, должен ненадолго оставить тебя. Подождешь, пока я вернусь?

— Да… да, пожалуйста… я подожду.

— Не знаю, насколько я задержусь, просто побудь здесь, отогрейся, мне хотелось бы думать,

что ты здесь. В кладовке полно еды, можешь прилечь отдохнуть на моей кровати — включи электрокамин, — извини, что не приготовил другую кровать.

— Не беспокойтесь обо мне, Дженкин, дорогой Дженкин. — Она встала и обняла его за шею.

Он поцеловал ее:

— Побудь здесь, пока я не вернусь.

Дженкин поспешил к стоянке на Шепердс-Буш-Грин. Но там было пусто. Он стал поджидать, когда подъедет освободившаяся машина.

Как только Джин положила трубку, она подумала, что, наверное, следует предупредить полицию. Почему это сразу не пришло ей в голову? Но потом ее охватили сомнения: а если Дункан решил не ходить или ответил и предложил другое место для встречи? Теперь казалось, что это возможно, даже скорее всего так оно и есть. Она снова позвонила Дункану на службу. Его по-прежнему не было. Она перезвонила Джерарду, потом Роуз — тишина и там, и там. Так сообщать в полицию? Если сообщит, придется все объяснять, что бы ни случилось, и все попадет в газеты. Даже если это окажется какая-нибудь ерунда, у Дункана будут серьезные неприятности и он будет в ярости от ее вмешательства.

Полиция, наверное, будет рада извиниться перед Краймондом за вторжение, а ей придется давать показания и снова иметь дело с Краймондом именно тогда, когда она пыталась забыть о его существовании. Потом ей пришло на ум, что этот вероломный ужасающий шантаж, должно быть, часть, только начало мести Краймонда ей. Не в силах решить, что ей делать, она села и заплакала.

Дункан, конечно же, с умыслом оставил письмо Краймонда дома в столе. Если с ним что «случится», например, Краймонд изувечит его, он хотел бы иметь в надежном месте, а не в кармане, откуда противник вытащил бы его, доказательство того, что Краймонд просил, да еще в агрессивном тоне, прийти к нему. Это могло быть важным в том случае, если Краймонд намеревается в качестве оправдания заявить, что действовал в порядке самозащиты от враждебного вторжения. Если Краймонд сделает что-то подобное, придется ему расплачиваться. Равным образом, если Дункан расправится с Краймондом, будет полезно доказать, что Краймонд сам напрашивался на неприятности. Мысль, что Джин может найти «вызов на поединок» не приходила ему в голову. Джин не имела привычки шарить по столам, и

он знал, что она поверила, когда он сказал, что у него «никого не было», пока он жил без нее. И это было правдой, не считая ничтожного эпизода с Тамар, о котором он, возможно, когда-нибудь рассказал бы ей.

Поскольку их машина была на техосмотре, Дункан взял такси, которое высадило его близ места назначения. Беспокойство заставило его приехать слишком рано, и он какое-то время ходил по соседним улочкам, пытаясь согреться. Он был в смятении, чувствовал себя несчастным. Какого черта он тут делает, зачем расхаживает по этим промозглым грязным улицам с молотком в кармане пальто? Молоток был тяжелый и бился о бедро. Руки в перчатках мерзли. От холода его охватило какое-то безволие и бессилие. Он не мог представить, как возьмет в руки оружие, не говоря уже о том, чтобы применить его. Почему он решил, что невозможно не прийти, когда ничего не стоило просто проигнорировать нелепое письмо Краймонда? Так было бы лучше, правильнее. Разумеется, ответив, что придет, он вынужден был прийти. И все же почему, что остановило его, не позволило сразу вернуться в офис, где ему полагалось сейчас быть, где его ждали важные дела, да и пристойная каждо-

дневная работа требовала выполнения? Почему бродит тут с намерением кого-то убить — или беспричинно рискуя самому быть убитым или изувеченным? А Джин — простит ли она когда его, если он позволит Краймонду ранить себя? Или — положим, пострадает Краймонд, серьезно пострадает? Не возбудит ли это в ней сострадание к нему или даже пробудит прежнюю любовь? Он был в положении, когда невозможно выиграть, и оказался в нем по собственному недомыслию. Есть ли еще какой-нибудь выход? Надо сохранять спокойствие, не рисовать себе всяческие немыслимые ужасы. Он будет искренен с проклятым Краймондом, скажет: он пришел заявить, что нет смысла устраивать весь этот фарс, пусть он катится к черту, что не станет участвовать в этом спектакле, чтобы он убирался с его дороги и больше никогда не появлялся. Конечно, ничто не мешает ему сказать все это, развернуться и уйти, не дав Краймонду начать то, что тот затеял. Эта мысль принесла Дункану небольшое облегчение, он даже прорепетировал, как скажет это тоном гневным и властным.

Ровно в одиннадцать Дункан поднялся на крыльцо краймондовского дома. Нажал кнопку звонка, но в ответ услышал молчание. Постоял

секунду. Вслед затем Краймонд, очевидно ожидавший в прихожей, открыл дверь.

Только сейчас Дункану пришло в голову, что, не считая летнего бала, он не видел Краймонда с собрания в университетской башне много лет назад. Но еще невероятней, что потрясло его, когда он посмотрел на стоявшего перед ним Краймонда, было то, как молодо выглядел Краймонд и был не похож, совершенно не похож на себя прежнего, каким он знал его в Оксфорде; и на мгновение Дункан подумал, что они не могут драться — как ему вообще пришло в голову такое? Он сошел с ума. Они поговорят, в этом будет состоять их встреча. И в конце концов, возможно, примирятся. Жар уверенности и силы наполнил его. Разговоры, переговоры, дипломатия — это его конек. Он переговорит Краймонда.

Краймонд был в старых черных вельветовых пиджаке и брюках, из раскрытого ворота рубашки торчал узел темно-зеленого шарфа. На первый взгляд он выглядел франтовато, даже вызывающе. Волосы длинные, длинней, чем тогда на балу, и, наверное, свежевымытые, слегка пушились. Он был очень худ, светлые глаза внимательно смотрели с непомерно вытянутого, как на карикатуре, лица. Землистая кожа, в летние месяцы усы-

панная веснушками, так туго обтягивала скулы, что, казалось, того гляди лопнет. Единственным ярким пятном на его лице были красные, влажные веки и столь же красный кончик длинного носа. Глаза были враждебные, холодные, как свинцовые. Следующее впечатление Дункана было, что перед ним сумасшедший. Молодили же Краймонда худоба, вельвет, шарфик и прическа. А приглядеться, так он выглядел привидением.

Краймонд ничего не сказал, но кивком головы пригласил следовать за ним. Дункан, закрыв дверь, пошел за ним через ледяную прихожую, вниз по темным ступенькам и оказался в просторном полуподвальном помещении. Тут было чуть теплее и стоял запах парафина от обогревателя, скрытого где-то в дальнем конце. В помещении царила полутьма, слабый свет пробивался в оконце и шел от единственной лампы, стоявшей на полу у дальней стены. Середину помещения занимали два длинных стола, на расстоянии поставленных друг против друга. Ближе к двери располагалась кровать, вдоль стен громоздились стопки книг, стояли два стула, раскрытый шкаф, письменный стол, пустой и чисто протертый, задвинут в угол, ближе к лампе. Больше в комнате ничего не было. Когда глаза Дункана привыкли

к полутьме, он заметал мишень. Такое, значит, состязание? Для стрельбы по мишени освещение было неподходящим.

Дункан воодушевился и приготовился, как задумал, завладеть инициативой. Краймонд закрыл дверь. Дункан последовал за ним к одному из столов. Краймонд поднял с пола лампу и поставил ее на стол. Свет упал на руки Краймонда, и Дункан заметил, что они дрожат. Он почувствовал себя спокойней и заговорил:

— Что ж, Краймонд, я, как видишь, пришел, как ты просил в своей странной записке, но позволь мне сразу сказать. Думаю, я понимаю твое желание, твое, может быть, стремление увидеть меня. Наверное, нам обоим нужно убедиться, что мы можем находиться в одной комнате и мир при этом не обрушится. Ты сильно испортил жизнь мне и Джин, и было бы нелепо говорить здесь о каком-то прощении или примирении, которое ты, возможно, — я говорю: возможно, — имел в виду, когда писал то письмо. В чем, видимо, стоит удостовериться для пользы твоего, а может, и моего душевного состояния, так это в том, что мы, пожалуй, способны смотреть друг другу в глаза, в чем мы уже убедились. Ты еще, наверное, подумывал о каком-то разговоре. Это,

должен тебе сказать, совершенно невозможно. Тяжесть злодеяния, какое ты совершил дважды, не допускает никакого согласия сторон. Неужели ты действительно воображаешь, что мы сядем и станем по-мужски обсуждать Джин или жаловаться друг другу, что оба мы греховодники? Заметь, что я произнес ее имя в твоем присутствии, и это уже само по себе удивительно, но дальше мы не пойдем. Уверен, ты согласишься. Твое вызывающее письмо разгневало меня. Но, подумав, я увидел его в ином свете. Подозреваю, ты сам, когда писал его, не имел четкого замысла. Я также подозреваю, что за эти дни ты пришел к такому же заключению, что и я. Сама наша встреча, то, что произошло в эти последние минуты, — это главное. Конечно, моя ненависть, мое отвращение к тебе остаются. Подобные глубокие и справедливые чувства как по волшебству не уходят. Приходится жить с этим. Иногда ради себя самого необходимо очистить и смирить свое воображение. Если бы я остаток жизни предавался безумным навязчивым мыслям, это было бы для меня худшим злом, нежели ты причинил мне и чем, может, гордишься. Я не желаю думать о тебе каждый день и спрашивать себя, что произойдет, если мы встретимся. Мы встретились, и ничего

не случилось. Напряженность ушла, без всякой взаимности, просто сама собой, почти физически ощутимо. Уверен, ты понимаешь. Думаю, на этом мы и завершим, оставим как есть на данный момент, то есть мы посмотрели друг на друга. Предоставляю тебе гадать, какие угрозы я мог бы тебе высказать. Уверен, без принуждения ты больше не будешь переходить мне дорогу. Это все, что я имею тебе сказать.

Речь эта, произнесенная экспромтом, очень удивила самого Дункана. Ни о чем таком он не думал, даже когда уже спускался в полуподвал. Но, произнося ее, он понял, что говорит здраво и его слова производят эффект. Может, его особо убедил в этом вид дрожащей руки Краймонда. Огромным и совершенно непредвиденным облегчением было то, что, как оказалось, можно находиться в одной комнате с Краймондом и остаться целым и невредимым. Он намеревался, чтобы «переговорить» Краймонда, прибегнуть к обобщенной гневной риторике. Но так уж случилось, то, что он говорил, действительно имело смысл и было обращено к разуму Краймонда. Он даже чувствовал, что произвел на него впечатление. С последними словами он повернулся, чтобы уйти, но не торопясь. Краймонд явно хотел

что-то сказать, и краткое заключение завершило бы встречу.

Речь Дункана, которую Краймонд старался не прерывать, конечно, привлекла его внимание. Он даже подчеркнуто подождал, давая Дункану возможность что-то добавить, если хочет. Он не сводил глаз с Дункана, подняв рыжеватые брови, тонкие волоски которых необычно горели в свете лампы. Лицо его было невозмутимо, он раскрывал и сжимал ладони, словно успокаивая себя. Наконец негромко и заинтересованно сказал:

— Да, но у меня в мыслях не было что-либо обсуждать с тобой или, боже упаси, говорить о Джин. Ну вот, я тоже произнес ее имя.

Как раз в этот момент Дункану, пренебрежительно махнув рукой, следовало повернуться и пойти прочь, всем своим видом показывая, что ему безразлично, что там думает Краймонд, он сказал свое слово и уходит. Если бы он так сделал, Краймонд, возможно, не остановил бы его. Но Дункан в этот момент настолько был уверен в своем превосходстве, что уступил любопытству. И сделал ошибку, спросив:

— Чего же ты хотел?

— Поединок, конечно, — сказал Краймонд, сопроводив свой ответ слабой страдальческой

улыбкой.

— Ну, не будь дураком, — сказал Дункан, еще не встревоженный, но уже попавшийся в шелковую паутину краймондовской воли. — Не любитель я театральщины.

— Так зачем же тогда пришел?

— Затем, чтобы сказать то, что только что сказал.

— Я тебе не верю. Вздор, который ты нес, ты придумал на ходу, в последний момент, это была пустая риторика. Хотя то, что ты сказал о ненависти и гневе, справедливо. Ты пришел потому, что не мог не прийти. В противном случае просто проигнорировал бы мое письмо, которое было, как ты выразился, вызывающим. Проигнорировал. Чего я и ожидал. Я удивлен, что ты здесь. Но раз уж ты здесь…

— Я ухожу, — сказал Дункан, поворачиваясь к двери более решительно.

— Нет, не уходишь, — сказал Краймонд и, быстро обойдя Дункана, преградил ему дорогу. — Дверь заперта, я запер ее, когда вошел следом за тобой.

Дункан застыл на месте. В любом случае Краймонд представлял серьезное препятствие. Если попытаться обойти, Краймонд может дотронуть-

ся до него, схватить. При мысли, что Краймонд дотронется до него, Дункана парализовало от отвращения. Сейчас, когда он стоял лицом к лицу с ним в этом большом холодном сумрачном помещении, от былого неопределенного яростного намерения наброситься на Краймонда осталось одно воспоминание. Не вспыхнуло в нем подобного живительного порыва. Единственной заботой было — как бы удалиться с достоинством. Он чувствовал, что какое-то время владел ситуацией, по крайней мере не дал Краймонду говорить, и должен сейчас сделать то же самое. Но теперь он был в слабой позиции. Он сказал твердым голосом:

— Не собираюсь драться с тобой. Как ты мог вообразить такое? Я пришел не для того, чтобы потакать твоим фантазиям.

— Сними пальто, — сказал Краймонд. — Придется тебе слегка задержаться. Мне не нравится видеть тебя в пальто. Сними его.

Дункан освободился от пальто. Он сделал это, опасаясь внезапного нападения Краймонда и не желая, чтобы оно мешало ему. А еще потому, что начал бояться Краймонда. Он сумасшедший, думал Дункан, способен на все, что угодно. Дункан бросил тяжелое пальто на письменный стол, где

оно опрокинуло лампу. Краймонд вернулся от двери и поставил лампу на место.

Ища в гневе спасения от страха, Дункан сказал:

— Это фальшивый низкопробный спектакль. Ты обезумел от злости, потому что Джин бросила тебя. Она увидела, что ты ничтожен и груб, что ты скучен. В этом все дело.

При ссылке на Джин Краймонд вспыхнул, лицо его внезапно густо покраснело. Но его выражение не изменилось.

— Как ты можешь! — тихо проговорил он. — Только не это, только не это!

— Отопри дверь, — сказал Дункан.

— Не сейчас, попозже, — ответил Краймонд, которому, казалось, вдруг стало трудно дышать. Он сорвал с шеи зеленый шарфик и бросил на пол. Потом сказал, словно давая полезное пояснение: — Когда я сказал «поединок», я имел в виду не совсем это, а что-то наподобие того, что мы когда-то устроили. Хочу, чтобы мы сыграли… в ту игру. Я подумал, что это… подойдет… и что ты думаешь так же.

— Сыграли?..

— Да. Так.

Краймонд шагнул вперед. Дункан поспешно

отступил. Но Краймонд протянул руку к электрическому выключателю. Помещение внезапно залил яркий холодный свет. Две полосы неоновых ламп под потолком замигали и снова вспыхнули. Краймонд выдвинул ящик стола: внутри лежали два револьвера.

Увидев оружие, Дункан понял, почему так расставлена мебель в помещении и назначение двух длинных столов. Смертельный холод обдал его, тупая боль сделала чужим тело. Затем его охватило непонятное, сродни сексуальному, возбуждение. Он подошел ближе, выказывая чуть ли не любопытство. Краймонд выложил револьверы рядышком на стол. Он снова был бледен, потянулся к вороту рубашки и расстегнул еще одну пуговицу.

— «Смит-вессоны», — сказал Дункан. — Что, привез из Америки?

— Да.

— Не автоматические.

— Нет.

— Автоматические пистолеты тоже собираешь?

— Не… собираю… — Краймонд отошел закрыть дверцу шкафа.

Пока они разговаривали, Дункан подумал о

молотке в кармане лежавшего на столе пальто. Сейчас он казался нереальным оружием, чем-то откровенным, медленным. Какие фантазии о мщении заставили его взять с собой молоток, что он собирался им сделать, застигнуть Краймонда врасплох в такой момент, как этот, когда тот закрывает дверцу шкафа, и ударить между плеч? У него рука бы не поднялась сделать это. В башне он мог позволить себе отдаться ярости. Теперь он был уже не тот, постарел, а Краймонд выглядит молодым, как всегда. О том, чтобы драться на кулаках или бороться, не было и речи. И все же чем молоток менее реален, нежели то, что, похоже, произойдет сейчас? Это все притворство, подумал он про себя, наверняка спектакль. Джин сказала, они делали подобное ради шутки с незаряженными револьверами. Конечно, он хотел и ее напугать. Сейчас то же самое. В любом случае от веса патрона барабан всегда останавливается, когда он внизу, так что риска нет, он-то это знает. Тем не менее участвовать в этом не будет. Конечно, человек не в своем уме, доведен до отчаяния.

— Видишь ли, — негромко проговорил Краймонд заговорщическим тоном, — то, что ты сказал вначале, в какой-то степени верно. Между нами осталась какая-то недоговоренность…

что-то, что надо довести до конца… если не хотим, чтобы нас всю жизнь преследовали мысли друг о друге, что, думаю, ты с этим согласишься, будет тягостной тратой времени и сил. Мы хотим освободиться друг от друга, да? В конце концов, таково было психологическое основание дуэли в прежние времена. Назови это, если хочешь, экзорцизмом, символическим избавлением. Я желаю этого, мне это необходимо, наверняка и ты, если честно признаешься, желаешь и нуждаешься в том же.

— Мне бы хотелось убить тебя, если ты это имеешь в виду, — сказал Дункан. — Но твой символизм меня не интересует. Если это символический акт, то это несерьезно, а если это всерьез, то это тоже меня не привлекает. Конечно же, мне не хочется, чтобы ты убил меня! С какой стати мне плясать под твою дудку? Нет, не буду.

— Будешь, — сказал Краймонд.

Дункан колебался, раздумывая, хватит ли у него решимости направиться к двери и трясти ручку, пока Краймонд не соизволит отпереть ее. Как же он так сплоховал? Способен ли Краймонд вынудить его «плясать», как-нибудь ужасно унизив взамен? Неужели это случится в третий раз? А если взмолиться, прося, чтобы Краймонд

выпустил его? Дункан, воображавший всяческие хитрые ловушки, которые Краймонд устроит для него, попался в простейшую. В то же время, и эти опасные мысли только усилили его колебания, он понял точку зрения Краймонда, в чем она совпадает с его. Что-то необходимо было сделать, чтобы покончить, покончить с Краймондом раз и навсегда! Можно ли это сделать иначе, кроме как убить его? Дункан часто задавал себе этот вопрос, впрочем, чисто риторический, диктующий отрицательный ответ. Теперь же здравый смысл, просочившийся через какую-то удивительную прореху в безумных аргументах, подсказал Дункану, что если он действительно убьет Краймонда, то будет даже больше, бесконечно, связан с ним, нежели сейчас. Дункан в своей «речи» предложил символичное решение проблемы, так что проблема была уже решена. Он с жаром импровизировал, дабы немедленно покончить с этим, чтобы быстро вы пугаться из положения, в которое никак не должен был попасть. Верил ли он сам, что это именно решение сработает, теперь вопрос чисто академический, поскольку Краймонд предложил более радикальное и, может, более действенное средство. Принесет ли символичное убийство, при риске

стать жертвой ярости Краймонда, желанное освобождение? Дункана привлекла, на что Краймонд несомненно рассчитывал, краймондовская форма поединка. То есть они были связаны, как два человека, которые, вцепившись друг в друга и пытаясь один другого утопить, тонут оба.

Краймонд, сдвинув револьверы в сторону, сидел на столе, наблюдая за Дунканом. Наконец спросил, чуть ли не как на рандеву приглашал:

— Ну так как?

— Объясни, в чем состоит твоя игра, — сказал Дункан.

Краймонд продолжительно вздохнул.

Дункан, чувствуя себя в ловушке и действительно в нее угодив, думал, что, конечно, Краймонд, следуя той же цепочке аргументов, что и он сам, по-настоящему не хочет убивать его, и к этой мысли заботливо подвел его Краймонд! Крайнее решение не будет решением. Что требовалось, так это крайний символизм. Вот то, что заставляло греков писать трагедии, подумалось Дункану. Надо как-нибудь сказать это Джерарду. Еще ему подумалось, что если уйдет сейчас, если сумеет сделать это, не теряя достоинства, то будет сожалеть об этом последнем шансе всю оставшуюся жизнь. Да, это тоже похоже на секс.

— Все очень просто, — сказан Краймонд, — и традиционно. Револьверы шестизарядные, заряжаем по одному патрону. Становимся друг против друга в противоположных концах комнаты, крутим барабан и стреляем.

— Друг в друга.

— Разумеется, это не совместное самоубийство. И разумеется, мы должны стараться сделать смертельный выстрел. Совсем непросто рассчитывать убить человека даже с этого расстояния, если ты не очень хорошо владеешь оружием, что к тебе, по счастью, не относится. Помни только, у него очень легкий спуск.

— Да, да. Сколько раз стреляем?

— Думаю, по два. При условии… Да столько, сколько хочешь.

— Дважды будет достаточно.

— Выстрел мимо цели не засчитывается.

— Согласен.

Мы оба сошли с ума, подумал Дункан. О чем мы только говорим?!

— Еще одна вещь, которую, надеюсь, ты одобришь. Чтобы условия были абсолютно одинаковы для обоих, барабаны должны быть уравновешены, иначе, как мы прекрасно знаем, заряженный имеет обыкновение опускаться патроном вниз.

Поэтому я залил несколько стреляных гильз свинцом так, чтобы их вес соответствовал нормальному патрону, и заложил в остальные пять гнезд. Смотри.

Краймонд откинул ствол одного из револьверов и показал Дункану.

— Прекрасно, прекрасно, — отмахнулся Дункан.

— Желаешь проверить револьверы?

— Нет. Давай начинать.

Было бы бестактно проверять револьверы, особенно если, как он предполагал, оба были не заряжены!

— Нужно бросить жребий, кто где встанет, хотя освещенность везде одинакова, и кто стреляет первым.

Дункан достал из кармана монету и протянул Краймонду. Тот сказал:

— Выигравший идет в дальний конец, к мишени.

Дункан сказал:

— Орел.

Краймонд подбросил монету — выпал орел. Краймонд передал монету Дункану. Дункан сказал:

— Кто выигрывает, стреляет первым.

Краймонд загадал решку. Дункан подбросил монету — выпала решка. Краймонд положил револьверы на столы в разных концах помещения.

Они стояли неподвижно, глядя друг на друга. Дункан чувствовал, как колотится сердце. Ладони вспотели. Он слышал дыхание, свое и Краймонда. Неужто это миг, когда, возможно…

Краймонд сказал все тем же мягким шелковым вкрадчивым голосом, на какой перешел в последние минуты:

— Конечно, если бы у нас были секунданты, которых у нас нет, их обязанность теперь была бы спросить, так ли необходимо нам стреляться и не можем ли мы, даже на этой поздней стадии заключить дело миром. Не стоит ли нам, чтобы уж все было как полагается и не осталось никаких недомолвок, сыграть роль собственных секундантов?

Дункан секунду размышлял: к этому ли он стремился? Для того ли вступал в игру, чтобы все закончилось таким образом? Он почувствовал злость, но также и смятение от этой неожиданной возможности, появившейся в последнюю минуту, когда он уже думал, что у него не осталось выбора.

— Это будет равносильно примирению. Нет.

Конечно нет. Ты знаешь, что это невозможно.

— Как желаешь, — сказал Краймонд, слегка кивнув головой.

— И как ты, вероятно, желаешь?

— Да.

— Тогда не будем тянуть.

Краймонд по-новому, внимательно посмотрел на Дункана. Сказал:

— Этот твой левый глаз, он странно выглядит. Как у тебя со зрением?

— С этими очками — отлично, — ответил Дункан, который и думать забыл об очках, и неожиданно снял их. Он глядел на Краймонда беспомощными беззащитными глазами и думал, что вот они смотрят друг на друга, чего не делали с тех самых пор.

Он снова надел очки. Снял галстук и пиджак, бросил их на пальто, лежавшее на столе, расстегнул верхние пуговицы на рубашке. Краймонд тоже сбросил пиджак и оставил его валяться на полу. Расстегнул еще одну пуговицу и провел рукой по горлу. Они раздеваются, думал Дункан, словно собираются лечь в постель. Безумие, безумие. Быстрей бы все закончилось.

Он отвернулся от Краймонда, пошел в дальний конец помещения и встал под мишенью. Край-

монд положил револьвер на стол перед собой. Дункан подумал: если кто-то из нас ранит другого, поднимется страшный шум. Неизвестно, как толком пользоваться таким револьвером, во всяком случае с глушителем. Мы не обсудили все варианты действий, если что случится. Допустим, один из нас будет тяжело ранен. Но ничего подобного не должно произойти. Так что нет надобности что-то обсуждать.

Краймонд прошел в другой конец комнаты. Дункан сказал:

— Теперь можешь отпереть дверь.

Краймонд так и сделал.

Дункан стоял, не трогая свой револьвер. Он закатал рукава рубашки. Краймонд виделся силуэтом возле двери. Итак, что делать? Нужно решать.

— Ну что, начинаем? — спросил Краймонд.

— Да. Ты, полагаю, стреляешь первый.

— Да.

Послышался тихий звук. Дункан понял, что Краймонд мгновенно поднял револьвер и спустил курок. Выстрела не последовало.

Невероятная радость и чувство облегчения охватили Дункана, пришла уверенность, что с ним все будет в порядке, что это действительно

игра, ритуал, экзорцизм. Как мудро он поступил, не проигнорировав приглашение Краймонда, не уклонился от встречи, не пренебрег ритуалом. Он взял револьвер, откинул ствол, крутанул барабан, снова закрыл. Как только ладонь коснулась рукоятки, по телу разлилось былое ощущение, которое он не испытывал уже много лет, ощущение силы и собранности. Он крепко держал револьвер и целился в лоб Краймонду. В самую середину, в яблочко. Боковым зрением он еще видел справа от головы Краймонда что-то вроде белой отметины на двери. Дверь была синего цвета, яркого в свете сильных неоновых ламп. Краймонд, стоя неподвижно, вырисовывался на фоне синей двери. Это первый мой выстрел, думал Дункан, у Краймонда тоже есть еще один. Даже если бы мы хотели убить друг друга, это было бы очень трудно сделать. Мы можем тяжело ранить друг друга, что будет хуже смерти. Но разве не этого он хотел, когда брал с собой молоток? А если целить ему в правое плечо? Секунду он держал револьвер, наведя мушку на лоб Краймонда. С таким револьвером и на таком расстоянии нечего и говорить о точности. Дункан почувствовал спазм в мышцах, на миг потемнело в глазах, словно при приступе дурноты. Уже одного того, что в эти

мгновения Краймонд находился в его власти, было достаточно для завершения ритуала. Больше ничего не требовалось. Легчайшим движением он переместил мушку чуть в сторону, на белую отметину на двери, и напряг палец, лежавший на спусковом крючке.

И тут же вдалеке, как во сне, он услышал странный, ошеломляющий звук шагов на ступеньках, ведущих в помещение. Торопливые шаги и следом возглас: «Дэвид! Дэвид!» Дверь распахнулась, и на месте синего прямоугольника возник Дженкин Райдерхуд, вынырнувший из тьмы лестницы. В самый миг выстрела Дункан дернул ствол в сторону. Грохот, раскатившийся по помещению, был оглушителен. И мгновенно раздался другой звук, звук тяжело упавшего тела. Дункан выронил револьвер и схватился за голову. Дженкин исчез, только зияла распахнутая дверь. Дункан медленно пересек комнату. Дженкин лежал на спине на полу. Аккуратная дырочка алела на его лбу, точно в том месте, куда Дункан целился, направляя револьвер на Краймонда. Дженкин был явно мертв. Дункан закрыл дверь.

Оглядываясь позже на то, что произошло дальше, Дункан удивлялся собственному ледяному спокойствию. Ему сразу было ясно, что по мень-

шей мере каких-то последствий невообразимо ужасной, непоправимой катастрофы можно избежать, если действовать быстро и с умом. Странным, непонятным, поразительным в этой ситуации — и Дункан вспоминал, что это не переставало его удивлять, хотя тогда ему хватало других переживаний, — было то, что Краймонд тотчас молча заплакал и продолжал лить слезы во все продолжение их последующих действий.

Дункан думал, напряженно думал. Сказал Краймонду:

— Ты должен будешь объяснить это как несчастный случай. Конечно, это и был несчастный случай. Но в результате чего? Что лучше сказать в объяснение? Допустим, что мы стреляли по мишени и он оказался на линии огня. Это лучшее, что мне сейчас приходит в голову, по крайней мере это просто. Слушай, помоги мне, оттащим его в дальний конец комнаты, поближе к мишени. Хорошо, что так мало крови.

Взявшись за ноги, Дункан поволок тело Дженкина. Краймонд не помогал тащить, но шел рядом, плача. Когда Дункан дотащил тело до мишени, Краймонд вернулся назад, сел на кровать и продолжал молча плакать, закрыв лицо руками.

Дункан придвинул оба стола к стене. Даже по-

ложил на них, подняв с пола, несколько книг.

Потом спросил Краймонда:

— В полицию мне позвонить или ты это сделаешь?

Краймонд ничего не ответил, сидя с поникшей головой и продолжая лить слезы. Дункан видел, как они падают на пол.

Только в этот момент Дункан сообразил, что он не должен оставаться здесь. Можно просто исчезнуть.

Он надел галстук и пиджак. Потом пальто, засунул перчатки в глубь карманов. Коснувшись молотка в кармане, он не сразу понял, что это такое.

— Ты должен позвонить в полицию, — сказал он Краймонду. — Я не должен быть замешан. Ты понял? Меня здесь не было. Объясняться должен будешь один. Тверди то, что мы решили: это несчастный случай, он внезапно появился на линии огня. Ты меня слышишь, ты меня понимаешь? Я ухожу, меня тут вообще не было.

Краймонд не отвечал. Дункан постоял, пытаясь думать. Что еще он должен сделать? Да, револьверы, отпечатки пальцев. Он вынул и надел перчатки, взял свой револьвер, откинул ствол и высыпал из барабана все на стол. Одну стреля-

ную гильзу и пять холостых патронов. Вставил стреляную обратно в почерневший патронник, потом тщательно протер рукоятку платком. Протянул револьвер Краймонду рукояткой вперед. Тот машинально взял его и положил на пол. Дункан повторил операцию. Краймонд взял револьвер, подержал в руке и снова положил. Он не смотрел на Дункана, не поднимал голову. Дункан решил оставить револьвер лежать на полу у ноги Краймонда. Он обратил внимание на второй револьвер, откинул его ствол и повернул барабан. Потряс. Ничего не вывалилось оттуда. Он посмотрел внутрь. Барабан был пуст. Сказал себе: обдумаю это позже. Убрал револьвер в шкаф, в котором лежал также и автоматический пистолет. Все? Нет. Пять холостых патронов лежали на столе. Краймонд сделал все аккуратно, забив их свинцом, чтобы их шансы были равными. Дункан сказал себе: сейчас Краймонд не в состоянии ничего объяснять, лучше заберу их с собой. И положил их в карман.

Он подошел к Краймонду и, взяв за плечи, принялся сильно трясти его. Краймонд поднял голову и вытянул слабую руку, чтобы оттолкнуть Дункана. Дункан закричал ему:

— Я ухожу. Меня здесь не было. Ты застрелил

его случайно, он сам выскочил под выстрел. Просто обдумай все, представь себе такую картину. Потом позвони в полицию, не затягивай. Тебе понятно?

Краймонд кивнул, не глядя на Дункана и пытаясь оттолкнуть его бессильной ладонью, мокрой от слез.

Дункан вышел из комнаты, закрыл за собой дверь, поднялся по лестнице и спокойно шагнул на ледяной холод улицы. Мимо проезжали машины, шли прохожие. Было очевидно, что никто не обратил внимания на револьверный выстрел. Дункан пешком направился к метро, брать такси было слишком рискованно, да в любом случае вряд ли он поймает свободное. Он поднял воротник пальто, втянул голову и быстро, но не слишком, зашагал прочь. Дойдя до метро, услышал отдаленный звук полицейской сирены. Наверное, Краймонд собрался с силами, приготовился рассказать придуманную версию и позвонил в участок.

Дункан вернулся в офис быстро, как мог, удивившись, что успел оказаться на месте еще до ланча. Кажется, никто не заметил его отсутствия. Позвонил Джин под каким-то невнятным предлогом. Она, похоже, обрадовалась, услышав его

голос. Сказала, что звонила ему раньше, на что он ответил, что был на совещании. Потом спустился в буфет и за ланчем поболтал с как можно большим количеством людей. По дороге домой купил, как обычно, вечернюю газету, в которой обнаружил короткое бестолковое сообщение о несчастном случае во время тренировочной стрельбы. Репортер даже не понял, кто такой Краймонд. Как мимолетна земная слава, подумал Дункан, садясь в вагон.

# Часть третья
# Весна

~~~

Роуз стояла у окна спальни, глядя на залитую солнцем обширную лужайку, итальянский фонтан, прекрасные огромные каштаны, поля с черно-белыми коровами, лесистые склоны и уходящие к горизонту холмы. Похороны закончились, провожающая публика разошлась. Это были не похороны Дженкина Райдерхуда, которые остались в прошлом; хоронили жену Рива, Лауру Кертленд. Роуз была не в Боярсе, а в йоркширском доме. В Боярсе подснежники уже сошли, а здесь, на севере, небольшие их россыпи уцелели в тенистых уголках под еще голыми деревьями и кустами. В березовой рощице за лужайкой начинали распускаться сдвоенные нарциссы.

Лаура Кергленд, долгое время malacle imaginaire[89], неожиданной смертью реабилитировала себя. После того как много лет она внушала, что у нее рак, чего на деле у нее не было, у нее вдруг образовалась неоперабельная опухоль, которая быстро свела ее в могилу. Наверное, говорили все позже, в каком-то смысле она была

---

**[89] Примечания: 89**
Мнимая больная (фр.).
~~~

права все это время. Неожиданная смерть Лауры вызвала большое удивление, некоторое смятение и немалую скорбь. В Феттистоне (такое название носил дом) преобладала скорбь, разделяемая и прислугой. Кое-кто из деревенских тоже пролил несколько слезинок. Родственники, за исключением мужа Лауры и детей, переживаний не выказали. Роуз, которая никогда не была особо близка с Лаурой, поймала себя на сожалении, что не стремилась лучше узнать человека, чьи достоинства ей теперь неожиданно открылись. Она чувствовала, что Лаура относится к ней с неприязнью, норовит держать ее на расстоянии. Возможно, размышляла теперь Роуз, Лаура вполне обоснованно считала, что Роуз пренебрегает ими, находит их неинтересными, проводит минимум времени в Йоркшире, создала себе соперничающую «семью» в Лондоне. Роуз тронули, глубоко тронули явные, даже бурные переживания Рива, Невилла и Джиллиан. Горькие слезы повара и горничных, понурые головы скорбящих садовников тоже говорили в пользу Лауры. Видимо, лежа в chaise longue[90], Лаура не только умела поддерживать порядок в этом большом

**[90] Примечания: 90**
Шезлонг (фр.).

доме и саду, но и вызвать чувство привязанности в тех, кем руководила, и подлинную любовь самых близких и дорогих ей людей. Роуз знала, что Лаура не глупа, но до некоторой степени не воспринимала ее всерьез, и Лаура, несомненно, чувствовала это. Конечно, все сии здравые мысли пришли слишком поздно.

Роуз, которая приехала до похорон и осталась после них по просьбе Рива и детей, находилась в Феттистоне уже больше двух недель. Позже она удивлялась тому, хотя в тот момент казалось естественным и неизбежным, как быстро она заняла место Лауры, занявшись делами, требовавшими безотлагательного решения. Рив, Невилл и Джиллиан, беспомощные в своем горе, умоляли Роуз взять все в свои руки, а домашняя прислуга без всяких на то указаний бежала к ней со своими проблемами. Приходский священник звонил Роуз по вопросу о похоронах, и Роуз с трудом добилась у Рива, какие будут его пожелания на этот счет. Она организовала «угощение» после похорон и распределила по спальням тех родственников, которые остались на ночь. Она также решила, что в таких чрезвычайных обстоятельствах следует перепоручить хозяйственные дела миссис Кейтли, исключительно искусной кухарке. Конечно,

Роуз была рада быть полезной, даже больше того, чувствовала смутное удовлетворение оттого, что неожиданно оказалась такой важной в доме, где ее частенько воспринимали скептически. Феттистон был больше и намного красивее Боярса: простой, никогда не перестраивавшийся настоящий дом восемнадцатого века, сложенный из местного камня, цветом от светло-коричневого до розоватого. Предок, выстроивший дом, побывал в Виченце, где его восхитила балюстрада со статуями на крыше, которые прадед Рива и Роуз перевез и установил в разных уголках сада. Дом стоял на широкой террасе, и с лужайки к нему поднималась изящная сужающаяся каменная лестница. На лужайке располагался фонтан, куда более удачное дополнение, произведенное тем же предком. За ним открывался вид на английский сельский пейзаж, еще дальше склоны Пеннинских гор, тающие, гряда за грядой, в голубой дали, переходящей в небо. У Роуз никогда не было сильного чувства «родовой собственности», больше того, чувство семьи у нее распространялось лишь на родителей и Синклера. После их смерти она решила, что для нее достаточно друзей, отношения же с родственниками ограничить чисто формальными или вообще предать забвению.

Она не чувствовала своей принадлежности к «Кертлендам» или бывшей как-нибудь связанной со «старой йоркширской семьей», хотя «старый дом» находился в Йоркшире и все ее предки жили там. (Местные жители шутили: когда Кертленды говорили о «войнах», они имели в виду исторические войны Алой и Белой Розы.) Роуз с нежностью относилась к Боярсу, но не стала бы ни очень, ни особо страдать, доведись ей продать его. Сейчас, ближе узнав йоркширский дом, она думала, как, наверное, необычно для Невилла и Джиллиан, хотя, может, в конце концов они найдут это естественным, чувствовать, что это место — их дом, он будет принадлежать им и их детям и детям их детей со всеми своими бледными призраками многочисленных предков, чьи портреты, написанные маслом, к сожалению, второстепенными художниками, висят (главным образом) в больших комнатах, хотя некоторые сосланы в спальни. На стене спальни Роуз висел маленький, семнадцатого века, написанный неумелой кистью портрет хрупкой дамы, жившей еще до того, как Фелтистон был построен и даже задуман, с которой Джиллиан имела удивительное сходство.

Драматическая смерть Лауры, не считая про-

чего, прервала долгий траур Роуз по Дженкину. Грустно, но вполне понятно, что она восприняла известие о ней почти с облегчением. Иная смерть перенесла Роуз из мрачной, едва ли не безумной атмосферы в Лондоне к переживаниям не столь глубоким, в место, где было столько практических дел, которыми она могла отвлечься. Ее обычный приезд в Йоркшир на Рождество вскоре после гибели Дженкина и до того, как Лауре был поставлен диагноз, был сущим кошмаром. В Фелтистоне Рождество праздновали, как всегда, с непомерным весельем, кострами, елками, горами остролиста, плюща и омелы из сада, с рождественскими гимнами, играми в доме, столом, ломящимся от еды и питья, и обменом многочисленными красиво упакованными подарками. Предвкушали и катание на санках, лыжах и коньках, но коварное потепление помешало подобной радости. Роуз, которой каждая минута пребывания в Феттистоне приносила страдания, уехала, как только появилась возможность. Они ничего не сказала Риву и детям об ужасной потере друга, а те и не очень интересовались ее жизнью. Джерард «встретил» или «отметил» Рождество постольку поскольку — с Патрисией и Гидеоном. Это было примечатель-

ное событие, потому что, явно поддавшись на уговоры Гидеона, к ним присоединились Тамар и Вайолет. Джин и Дункан на Рождество, как обычно, отправились во Францию. Лили уехала к подруге, Анжеле Парк. Гулливер, как говорили, был «на севере», то ли в Лидсе, то ли в Ньюкасле. Роуз поначалу собиралась остаться в Лондоне с Джерардом, но он настоял, чтобы она поехала в Йоркшир. По правде сказать, Роуз и Джерард испытывали определенное облегчение, расставшись. Они слишком долго скорбели вместе и только усугубляли горе друг друга. Наверное, для них было «благом» оказаться среди людей, менее страдающих или вообще безучастных, живущих обычной жизнью. Только теперь, после невероятного шока, который произвела на нее смерть Дженкина, Роуз осознала, как сильно, намного сильней, чем когда-либо ей представлялось, она любила его, какое влияние он имел на нее. Легкая дымка, может всегда заволакивавшая в ее глазах Дженкина, была следствием старой ревности к той нежности, которую испытывал к нему Джерард, чувства, что в один прекрасный день Дженкин окончательно отнимет у нее Джерарда. Теперь она вспоминала, каким чудом было присутствие Дженкина в ее жизни, он в

самом деле «вдыхал душу во все», вспоминала его мудрость, исключительную мягкость, доброту к ней, необыкновенное обаяние, а еще ей казалось, что он, быть может, любил ее какой-то особой любовью. От этой мысли она чувствовала себя еще несчастней, и к ее скорби прибавлялась жалость. Жить без Дженкина казалось невозможно, слишком много ушло вместе с ним. Собственное ее горе, конечно, мешалось с куда более глубоким горем Джерарда. Горе Джерарда потрясало Роуз тем более, что тут она была бессильна что-то сделать. Эта смерть неизбежно заставляла их говорить о Синклере, воскрешать то давнее их горе. Роуз уже забыла, что Джерард был способен плакать, причем так ужасно, рыдая взахлеб, как рыдают женщины.

Что с течением времени они обсуждали все чаще и отчего чувствовали себя еще несчастней, так это необычный характер той смерти, ее обстоятельства, случайность. И довольно скоро обнаружили, что снова и снова задаются одними и теми же вопросами. Но что поделаешь, ведь это был несчастный случай, а все несчастные случаи неестественны. Прибывшим полицейским и позже следователям Краймонд подробнейше объяснил, как все произошло, как он и Джен-

кин спорили об умении Краймонда стрелять и заключили пари по этому поводу, как Дженкин подошел к мишени, и он сказал ему держаться подальше и, прицелясь, выстрелил как раз в тот момент, когда Дженкин повернулся и направился к нему, чтобы что-то сказать, не понимая, что находится между ним и мишенью. Это был чистый несчастный случай, как ни ужасно. Вердикт был: смерть от несчастного случая. Нескрываемое горе Краймонда произвело впечатление на полицию и коронера. Множество заслуживающих доверия людей были готовы засвидетельствовать, что Краймонд и Дженкин были друзьями, и никому не пришло в голову, что друзьями, опасно близкими. Все свидетельствовали, что у Дженкина был золотой характер. Никаких намеков на отвратительную гомосексуальную вражду, ревность, денежные претензии, ни малейшего намека на умышленное преступление. Если и присутствовала неосторожность, то с обеих сторон. Неприятности возникли у Краймонда из-за владения оружием без лицензии, так что пришлось ему заплатить крупный штраф. Полиция обыскала квартиру, но не обнаружила ничего предосудительного. Собственно, его никогда, даже в дни его славы, не подозревали в

причастности к терроризму. Теперь им, так долго остававшимся затворником, газеты вообще почти не интересовались. На расследование случая не послали ни одного проницательного молодого репортера, способного раскопать какие-нибудь скрытые позорные детали. Никому также не пришло в голову, что могла иметь место ссора политического характера. В тот момент было огромное количество «новостей» и случаев намного скандальней, кровавей и отвратительней, в которых были замешаны куда более знаменитые и значительные персоны. Этот же странный незначительный эпизод привлек мало внимания. Джерард после случившегося не ждал и не получил никаких известий от Краймонда, и, разумеется, ни Джин, ни Дункан тоже ничего о нем не слышали. Единственным человеком, с которым, как стало известно, тот общался, был друг Дженкина в школе, где он преподавал, Марчмент, упомянувший во время следствия, что Краймонд звонил ему из телефона-автомата сразу после смерти Дженкина и своего звонка в полицию и коротко рассказал о случившемся; а позже Краймонд рассказал ему обо всем более подробно. Джерард позвонил Марчменту, затем поехал к нему, но ничего нового тот ему не рассказал.

Итак, это был несчастный случай. Ведь это же невозможно, чтобы Краймонд убил Дженкина? Нет, невозможно. Для этого не было никакого постижимого мотива. Конечно же невозможно?

Во всех этих ужасных обсуждениях с Джерардом Роуз недоговаривала кое-что очень важное. Теперь у нее был свой, особый взгляд на Краймонда, «ее Краймонда», остававшийся с тех пор и навсегда ее глубочайшей тайной. Еще до гибели Дженкина Роуз излечилась от того, что теперь казалось поразительной, невероятной, необъяснимой вспышкой безумия, когда она чувствовала, что до умопомрачения влюблена в Краймонда, когда Краймонд, прежде бывший для нее никем, стал вдруг всем. Роуз, которая сразу приказала себе «вернуться к реальности», более или менее удалось в несколько дней справиться с «приступом». Постепенно слепящее пламя угасло, привычные старые привязанности вновь обрели свою власть, а главное, мучительное, раздирающее чувство возможности изменить свою жизнь начало покидать ее; и ей достало сил поблагодарить судьбу, что она не нашла тогда Краймонда на улице, когда побежала за ним, не написала ему рискованное письмо, о котором бы всегда сожалела. Конечно, она не могла любить Краймонда!

Она любила Джерарда и не способна любить обоих. Кроме того, было абсолютно немыслимо, ради Джин, иметь какие-то отношения с Краймондом. Краймонд был человек, к которому она относилась с неодобрением, может быть, даже безумный — что может быть безумней, чем его неожиданное предложение? И не тот человек, с которым хотелось бы проводить время, не говоря уже о какой-то близости. Больше всего в дни выздоровления ее утешала мысль, что Краймонд, как ни удивительно, был несколько расстроен и очень скоро раскаялся бы в своей поспешности, если бы Роуз проявила какой-то интерес к его предложению! Тем не менее (и она поняла это сразу, как только смогла сказать себе, что все позади) что-то осталось и, возможно, думала Роуз со странной смесью грусти и удовольствия, будет оставаться всегда. Что-то связывало ее с этим человеком и продолжало связывать, даже если, что было похоже, он сожалел о своем порыве и воспринимал его как нашедшее на него затмение; и даже если теперь он нашел утешение в ненависти к ней в ответ на ее резкую реакцию. Роуз не могла точно понять, почему такой осадок остался у нее после их встречи. Несомненно, со временем он изгладится, изменится. Изменится частично, как она

чувствовала, возвращаясь назад, то, что она была так польщена и так тронута его предложением. Женщине трудно не почувствовать некое расположение к человеку, который ее обожает. Он, этот странный Краймонд, которого люди боятся и ненавидят, какое-то время был у ее ног. Вот все удивились бы — но, конечно, никто об этом никогда не узнает. Однако было и другое, и, как она чувствовала, лучшее. На короткое время она полюбила Краймонда, ее любовь, как лазерный луч, пронзила его, найдя, пусть вслепую, подлинного Краймонда, привлекательного Краймонда, который, значит, должен существовать. Она не позволяла себе воображать, что когда-нибудь скажет Краймонду, что любила его; и вряд ли даже много позже соответственно извинится за свою грубость без того, чтобы каким-либо образом намекнуть на те совершенно иные чувства. В этом направлении дороги не было. Но желание, чтобы он как-то смог бы о них узнать, оставалось болевой точкой в душе, и она берегла свое необычное знание о нем, как символ запретной религии.

В таком состоянии она была перед тем, как узнала о смерти Дженкина и ее странных обстоятельствах. Шок от этого страшного, невероятного, необъяснимого несчастья заставил Роуз снова

увидеть в Краймонде некую темную и смертоносную силу. Роуз и Джерард пришли к обоюдному мнению, что нельзя думать, что их друг был преднамеренно убит. Это было слишком немыслимое и слишком ужасное обвинение, чтобы бросать его, не имея ни малейших доказательств. «Мы не должны выдвигать такую гипотезу, даже между собой», — сказал Джерард. Но они обдумывали ее и были встревожены и раздражены, что другие свободно об этом говорили, основываясь просто на злостных домыслах. И тут у Роуз была личная причина для мучений: ей пришло в голову, что Краймонд действительно убил Дженкина, чтобы отомстить ей, а также Джерарду, которого он мог винить в том, что Роуз отвергла его. Эта мысль, неожиданно возникнув, причинила ей такую боль, что она чувствовала, как сходит с ума, и чуть в самом деле не сошла, едва не рассказав все Джерарду, единственно чтобы было с кем разделить свое горе. Итак, на ней действительно лежит ответственность за смерть Дженкина, думала Роуз, будь она добрей к Краймонду, будь не такой грубой и высокомерной… Впрочем, присущее ей здравомыслие в конечном счете взяло верх, способность разделять добро и зло соединилась с чувством самосохранения, и она

сочла, что подобное восприятие трагедии не что иное, как безумная и мрачная фантазия.

За короткое время Роуз побывала на двух заупокойных службах, обе были по англиканскому обряду. Джерард, незамедлительно взявший на себя заботы о похоронах Дженкина, решил, что раз уж Дженкин в последнее время как будто склонялся к христианской вере, торжественные слова Книги общей молитвы, столь сдержанные и столь красивые, должны подойти для последнего прощания. У Дженкина не было семьи; но выразить свою скорбь по покойному на похороны явилось удивительно много людей, неизвестных Роуз и Джерарду. Джерард распорядился, чтобы тело кремировали, поскольку смутно помнил, что Дженкин высказывался в пользу кремации, но, главное, потому, что ему невыносимо было думать, что тело друга продолжает существовать и гниет в земле. Лучше, чтобы его не было. Лаура, конечно, была погребена на кладбище приходской церкви на участке Кертлендов. Уже шел спор о памятнике. Обе службы были похожи, за исключением того, что в одном случае тело предавалось «земле», а в другом «огню». Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху.

Позже тем же утром Роуз сидела в библиотеке,

где Рив Кертленд писал благодарственные ответы на многочисленные выражения соболезнования по случаю смерти Лауры. Молодежь разъехалась: Невилл отправился в Сент-Эндрюс, где заканчивал учебу на историческом факультете, а Джиллиан в Лидс, где училась на первом курсе психологического. Они не сумели поступить в Оксфорд, но своим примером демонстрировали, что можно процветать где угодно. Рив, который в свое время тоже не попал в Оксфорд, провел, как он часто жаловался, несколько унылых и бесполезных лет в захудалом лондонском колледже. Только позже ей пришло в голову, что Рив, который был примерно ее возраста, наверное, завидовал, и, возможно, черной завистью, явно золотому времечку, которое Синклер и другие проводили в старинном университете. Впрочем, Рив куда как повеселел, что не преминули заметить недоброжелатели, когда его отец унаследовал титул. Кертленды были англиканами, а не церковными диссидентами или квакерами, но временами в их характере проявлялась протестантская черточка. Один из Кертлендов был офицером в армии Кромвеля. Ирландка мать Роуз с веселой снисходительностью относилась к гомосексуальности Синклера, но ее мягкий папаша

тихонько возмущался. Конечно, Роуз никогда не обсуждала с Ривом ни эти, ни вообще какие-то серьезные вещи. Вечно ища сходства, она находила в белокурой миловидности Рива что-то от Синклера. Не было сомнений, что Невилл, постоянно увлекавшийся разными девочками, не имел сомнительных склонностей своего дяди. Рив не имел явного фамильного сходства ни с одним из своих родственников или предков, в нем не было ничего от той беспечной лихости, которая, судя по семейным портретам, как будто была наследственной чертой Кертлендов по мужской линии и воплощением которой были Синклер и Невилл. Он не был высок, как они. Волосы имел темно-мышиного цвета, еще не седые, но слегка поредевшие. Взгляд темно-карих глаз мягкий, озадаченный и беспокойный, лицо румяное, лоб собран в толстые складки. Губы тоже беспокойные. Брови густые и мохнатые. Каким-то образом ему удавалось выглядеть молодо. Говорил он часто робко, а то и невпопад, не то что его бойкий сын. Любил по целым дням оставаться дома и заниматься массой дел. Всегда был при галстуке, даже работая на факторе. Несмотря на свою нескладность и нерешительность во взаимоотношениях с миром, он был не лишен обаяния,

может, обаяния какого-то редкого трогательного зверька. Но люди также отмечали, что, хотя он и производил впечатление скромника, он, между прочим, умело управлял имением и очень разумно вкладывал деньги. А еще он недурно играл на рояле и рисовал акварелью.

— Рив, мне нужно возвращаться в Лондон, — сказала наконец Роуз то, что давно хотела сказать.

— О нет! Зачем? Дети уехали, но обо мне кто позаботится?! И что будет с домом без тебя? Там тебе нечего делать. Я все удивлялся, почему ты не бываешь у нас чаще. Считай это место своим вторым домом.

— Я так и считаю, — ответила Роуз неуверенно.

— Явно не считаешь, коли так торопишься! Ты знаешь, как дети привязаны к тебе, как они нуждаются в твоих советах.

Роуз не припоминала, чтобы когда-нибудь «давала советы» Невиллу и Джиллиан, юным, энергичным и независимым, хотя действительно ей случалось «побеседовать» с ними за это исключительно долгое пребывание в Феттистоне.

— Ты им очень нужна, — гнул свое Рив, — и будешь… даже еще больше нужна… в будущем…

Роуз с беспокойством услышала некоторый нажим, с которым он сказал это. Она ответила довольно твердо, желая, чтобы ее четко поняли:

— Я должна вернуться. Джерард в очень подавленном состоянии из-за того, что его друг погиб в результате несчастного случая.

— Дженкин Райдерхуд.

— Да. Не знала, что тебе известно… — удивилась Роуз.

— Фрэнсис Рекитт сказал мне, это сын Тони. Кто-то в Лондоне недавно упомянул о нем в разговоре, и он запомнил имя. Я видел его с тобой однажды, много лет назад.

— Ну да, ты встречался с Дженкином, совсем забыла.

— Странная история… этот Краймонд… коммунист или что-то в этом роде…

— Да.

— Прости. Я ничего не сказал тебе. Думал, достаточно того, что на нас свалилось.

— Очень даже. Тем не менее… я чувствую, что должна вернуться домой… уверена, ты понимаешь.

— Я думаю, твой дом здесь, но не спорю! Не так много их теперь осталось…

— Кого ты имеешь в виду?..

— Джерарда и его друзей. Он сейчас живет со своей сестрой, да?

— Да.

— Что ж, возвращайся поскорей. Ты нам очень нужна. Все изменится теперь… и… Роуз… голос крови не заглушишь.

— С тех пор как ты уехала, много чего случилось, — сказал Джерард.

Роуз позвонила ему по возвращении, и он тут же приехал к ней.

— Так ты живешь в доме Дженкина?

— Да. Он все завещал мне. Наверное, я там и останусь.

— Значит, Патрисия с Гидеоном все-таки выжили тебя!

— Да. Но я и сам хотел убраться оттуда. Устал от груза собственности. Пора радикально переменить свою жизнь.

— Хочешь сказать, что станешь как Дженкин?

— Не говори ерунду.

— Да, действительно. Прости. Что-то я плохо сейчас соображаю.

Время было позднее. Роуз заявила, что уже поужинала, хотя съела только сэндвич. Джерард тоже сказал, что поел. Они пили кофе. От виски он отказался. Оба испытывали почти раздража-

ющую неловкость перед разговором, которого Роуз так ждал, словно отвыкли друг от друга. Он злится на нее, думала Роуз, за то, что ее так долго не было. Хорошо бы только это.

Джерард был не похож сам на себя. Вьющиеся волосы, тусклые и растрепанные, торчали во все стороны, как шерсть больного или испуганного животного. Скульптурное лицо, чьи четкие плоскости обычно сочетались так гармонично, казалось дробным, угловатым, даже перекошенным. Рот скривлен, словно от боли или досады. Взгляд, обычно спокойный, тревожен и уклончив, и он постоянно мягко отворачивался от нее. Иногда он становился неподвижен и рассеян, хмуря лоб, словно прислушиваясь к чему-то. Он нездоров, думала Роуз с жалостью, он не в себе, но, видно, сейчас она могла только раздражать его.

— Ты знаешь, что Дункан оставил службу?

— Не знала.

— Ну да, уже после твоего отъезда, тебя долго не было. Он постоянно собирался уйти и вот наконец ушел. Они сейчас во Франции, подыскивают себе дом.

— А где во Франции?

— Этого не знаю.

— Я звонила им, хотела повидать Джин. Так

значит, уехали. И как они?

— Очень веселые, ни черта их не волнует.

— Как Гулл и Лили? Надеюсь, у них-то все в порядке.

— Не совсем, — ответил Джерард с оттенком удовлетворения. — Ты знаешь, что Гулливер удрал в Ньюкасл? Да, конечно, знаешь. И у Лили нет никаких известий о нем.

— Полагаю, она думает, что он связался с какой-нибудь девчонкой! На мой взгляд, ей следовало бы поехать к нему. Так ты виделся с Лили?

— Нет, конечно!

— Наверное, он хочет исчезнуть до поры, пока не сможет вернуться с триумфом.

— В таком случае мы о нем больше никогда не услышим.

— Но Тамар-то ты видел?

— Думаешь, я только и делал, что встречался со всеми! Тамар я действительно видел, в буквальном смысле, то есть не говорил с ней. Боже мой, ты ее не узнаешь, она просто цветет.

— Что значит «цветет»?

— Ну, бодра, в отличной форме.

— Правда? Как замечательно!

— Не знаю, насколько замечательно, — сказал Джерард, — в этом есть что-то неестественное.

Думаю, у нее неладно с психикой, или напичкана лекарствами, или еще что.

— Никогда не могла понять, что с ней… наверное, это все просто из-за Вайолет.

— Представляешь, мне кажется, она вовсе не переживает… из-за того… что случилось с Дженкином…

Роуз торопливо ответила, чтобы успокоить его:

— Уверена, что переживает. Просто она странная девочка, скрытная.

— Она виделась с тем священником, вашим пастором.

— Отцом Макалистером?

— Была крещена и прошла конфирмацию.

— Боже мой! Ну, если это пошло ей на пользу…

— Ей забили мозги утешительной ложью. Гидеон тоже заботится о ней.

— Гидеон?

— Похоже на то. Я за последнее время дважды заставал ее в моем… его… доме. Конечно, я попытался увидеться с ней, но она не пожелала.

Он, подумала Роуз, в ярости от того, что Гидеон преуспел там, где ему не удалось. Надо переменить тему.

— Как, получается у тебя работать в доме Дженкина? Пишешь что-нибудь?

— Нет. Я не собираюсь писать… ничего. Так решил.

— Джерард!

— Мне нечего сказать. Писать всякую поверхностную ерунду, лишь бы писать?

— Но ты…

— Книгу Краймонда публикует «Оксфорд юниверсити пресс». Человек, который работает там, может дать мне почитать корректуру.

Как только прозвучало имя Краймонда, показалось, что предыдущий разговор был просто прелюдией к главному. Джерард, который до этого прятал взгляд, теперь глядел прямо на Роуз, весь раскраснелся, рот приоткрыт, на лице написано удивление.

— Ты виделся с Краймондом?

— Нет, конечно.

Пока Роуз пыталась придумать, что сказать подходящее, Джерард встал:

— Мне нужно идти. Я продал машину, вот что еще случилось. Придется ловить такси. Впрочем, могу дойти и пешком. Спасибо за кофе.

— Хочешь виски, бренди?

Роуз тоже встала.

— Нет, Роуз, спасибо, извини, что был такой… такой… отвратительный.

Роуз хотела было обнять его, но он ушел, махнув рукой на прощанье и даже не поцеловав. В комнате остался след этого слова: «отвратительный», Роуз чувствовала на губах его привкус. Он болен, думала она, болен, отравлен теми мыслями, теми страшными мыслями.

Джерард, вернувшись домой и сидя в гостиной Дженкина, чувствовал себя мерзко, потому что оказался не в состоянии говорить с Роуз. Он сожалел о том, что сказал ей. Сообщая свои новости, он взял мрачный цинический тон, насмехался почти надо всеми, кого упоминал. Вел себя омерзительно, забыв о благоразумной сдержанности, с сознательной враждебностью, оскорбительной для Роуз. Он сам не свой, думал Джерард, его душа больна, на нем лежит проклятие.

У этого проклятия было имя — Краймонд. Джерард не мог думать ни о чем и ни о ком другом и не видел способа, как изменить это унизительное и мучительное положение. Он каждый день собирался пойти к Краймонду и каждый раз понимал, что это совершенно невозможно. Он боялся увидеть книгу: вдруг она окажется хороша или, наоборот, плоха. И конечно, он постоянно думал о Дженкине, но его скорбь каким-то образом перетягивал на себя Краймонд, все слу-

чившееся с Дженкином затуманивал и заражал собой Краймонд; и как это ужасно, как деградировал, как ничтожен стал Джерард, что позволил этому произойти. Сейчас Джерард даже не был уверен, насколько возможно, чтобы Краймонд мог убить Дженкина. Такого не могло быть. И все же… Почему Дженкин оказался там? Он сказал, что не ходил к Краймонду домой. Должно быть, Краймонд пригласил или заманил его. Возможно, это и был несчастный случай, но не помог ли как-нибудь Краймонд ему произойти, пусть и невольно? Имеет ли смысл такая версия? А еще ходила сплетня, которую передал Джерарду один злорадствующий знакомый, оговорившись, что, конечно, сам он этому не верит, но Дженкин и Краймонд якобы были любовниками, и это было убийство из ревности. Это просто не могло быть правдой. Дженкин никогда не был близок с Краймондом и никогда не утаил бы подобной важной вещи от Джерарда. Он не верил никаким таким вещам. И все же, не могли ли Дженкин и Краймонд, пусть когда-то давным-давно, быть близкими друзьями или любовниками, и не чувствовал ли Дженкин, что обязан хранить это в тайне? Возможно, было что-то… а подобные вещи не забываются. Не повлияло ли каким-то образом

«предложение» Джерарда Дженкину — не тем, конечно, что Дженкин рассказал Краймонду, но в силу какой-то заметной перемены в поведении Дженкина и его планах, о которых он сообщил Краймонду, сказав, что «кое-что произошло», даже если Дженкин лишь подумывал, чтобы расстаться с холостяцкой жизнью? И не стал ли неожиданно Дженкин каким-то непостижимым образом по-новому привлекателен? Если так, то тогда в определенном смысле на Джерарде лежит ответственность за смерть Дженкина. Но эта мысль, как она ни ужасна, была все же довольно смутной и мучила его гораздо меньше, нежели весьма живые картины гипотетической связи, пусть и давнишней, Дженкина и Краймонда. А кроме того, ему постоянно мерещился голос Дженкина, со смехом говорящий: «Приди, любимая моя!»

В тот день, когда Дженкин так торопливо покинул Тамар, сказав, что это «крайне необходимо» и «побудь здесь, отогрейся, мне хотелось бы думать, что ты здесь», Тамар ждала его, сперва чувствуя себя спокойно, будучи одна в доме Дженкина, но потом ей стало не по себе от одиночества, хотелось, чтобы Дженкин скорей вернулся. Она пошла на кухню, открыла холодильник и посмотрела

на хлеб, масло и сыр, в кладовой увидела банки с бобами и яблоки на блюде. Еда показалась ей какой-то грязной или тронутой гниением. Есть она не могла. Она прилегла на кровать Дженкина, но, хотя включила электрокамин, в комнате было холодно. Она тряслась под одеялом, не находя сил зарыться поглубже в постель. Слабая, бесконечно крохотная искра надежды, которую поддерживало простое присутствие Дженкина, теперь погасла. Снова нахлынула тьма, опустошенная, разбитая, раздавленная, размолотая в порошок тьма, как ночь после землетрясения, только тьма была безмолвна, в ней не раздавались голоса, в ней никого не было, только она, ее громадное ужасное раздавленное «я». Тамар, когда бежала к Дженкину, просто искала спасения от какого-то надвигающегося вопящего безумия. То, что она сказала ему о христианстве и чуде и тому подобном, было чистой импровизацией, чем-то диким, даже циничным, чтобы поразить Дженкина и, может, себя саму. Слова были пустыми, кто-то другой говорил ее устами. Конечно, она слушала этот голос с неослабевающим отчаянием, даже с презрительным гневом на слова отца Макалистера о «приятии Христа как ее Спасителя», казавшиеся ей чем-то вроде бормотания

колдуна. Сейчас, в отсутствие Дженкина, она поддалась старой повторяющейся депрессии и ждала, охваченная нетерпением, а потом тревогой, его возвращения. Спустя какое-то время она стала придумывать себе разумные причины, почему он не возвращается, он сказал, что это что-то неотложное, наверное, кто-то серьезно болен или даже еще более несчастен, чем она, или попытался покончить с собой, он сидит, держит кого-то за руку, он очень нужен там, его не отпускают. Заняться Тамар было нечем. Мелькнула было мысль прибраться в доме, но в доме было чисто. Она приготовила себе чашку чаю, выпила, сполоснула чашку и блюдце, а заодно кружку, стоявшую возле раковины. Так прошло несколько часов, когда она ничего не могла делать, только мучилась беспокойством, потом страхом, потому что Дженкин не возвращался. Она легла и сколько-то времени пролежала, замерзшая, как в коме, потом встала, поплакала. Около пяти утра она решила уходить и села писать записку Дженкину, но порвала ее. Надела пальто, но не могла решиться ехать обратно в Актон, к матери. Наконец она позвонила Джерарду и спросила, не знает ли тот, где Дженкин. Джерард сказал ей, что Дженкин мертв.

Джерард был одним из первых, кто узнал о случившемся, благодаря необычному обстоятельству. Полицейские спросили Краймонда, не знает ли тот ближайших родственников Дженкина или друга, и Краймонд назвал Джерарда, сообщил адрес. Когда Джерард вернулся из Лондонской библиотеки, на крыльце его поджидала полиция. Его отвезли в участок в южной части Лондона и стали расспрашивать о Дженкине, о Краймонде и в каких они были отношениях. Частично, а может, в большой степени благодаря показаниям Джерарда Краймонд избежал участи «подозреваемого». От опознания трупа Джерарда уберег Марчмент, который немедленно, по звонку Краймонда, связался с местной полицией и явился на место трагедии в качестве лучшего друга Дженкина. Весь день прошел в волнении и неразберихе, Джерард возвращался домой и снова уходил, мог столкнуться лицом к лицу с Краймондом, но этого не случилось. Окончательно он вернулся домой, по сути, перед самым звонком Тамар. Джерард спросил, где та находится. Тамар ответила: в телефонной будке, звонит ему. Джерард попросил побыть там, он приедет на такси и заберет ее. Тамар поблагодарила, сказала, нет, она пойдет домой, мать ждет ее, и повесила

трубку, оставив Джерарда упрекать себя за то, что, не отойдя еще от потрясения, так напрямик выложил ей новость. Тамар вернулась в Актон, ничего не сказала Вайолет, выслушала ее жалобы, потыкала вилкой в тарелку с ужином и рано легла спать. Она тогда была, как поняла позже, в том постшоковом состоянии, когда, скажем, солдат, которому оторвало руку, нормально говорит, даже шутит, прежде чем упасть замертво. Тамар никому, кроме отца Макалистера, не рассказала, что была у Дженкина в тот день. Мысль, что ее станут допрашивать, была невыносима. В любом случае, та их встреча была ее с Дженкином тайной. Тамар не стала дожидаться, пока Джерард скажет, как умер Дженкин, достаточно было знать, что он мертв. Лежа той ночью в постели и задыхаясь в темноте от сдавленных рыданий, она подумала: что бы там ни произошло с ним, его убил мертвый ребенок, и отныне и всегда всякий, кто станет ей близок, будет проклят и уничтожен. Так что на ней лежит ответственность за смерть Дженкина.

На следующий день у Тамар была назначена встреча со священником, которую она намеревалась, но забыла отменить. Она пришла на встречу и с тех пор приходила к нему регулярно. Отец

Макалистер специализировался на безнадежных случаях. Что касается случая Тамар, то тут он, с уверенностью можно сказать, торжествовал. Глаза его сверкали, однако он был далек от того, чтобы недооценивать стоявшие перед ним трудности. Его родитель был католическим священником, мать принадлежала к методистской церкви. Отец Макалистер научился молиться тогда же, когда и говорить, и с высокодуховной риторикой Библии и Кранмеровой Книги общей молитвы был больше в ладах, чем с детскими стишками. Его Богом был Бог отца, но Христом — Христос матери. Он говорил на величественном и прекрасном языке строгого духовенства, но опалял огнем немедленного спасения. Эта удачная амальгама скрывала тайну отца Макалистера: к этому времени он уже перестал верить в Бога или в божественность Христа, но верил в молитву, в Христа как мистического Спасителя и в магическую силу, данную ему при посвящении в священники, силу спасать души и врачевать падших. В этом, тщательно взвесив, в чем нуждалась Тамар и ее интеллект, он получил ее согласие. Он старательно искал в ее отчаянии хоть крохотную искру надежды, из которой можно было бы разжечь пламя. Когда Тамар сказала, что она

само зло, он воззвал к ее здравому смыслу, когда она заявила о неверии, объяснил, что такое вера, когда она сказала, что ненавидит Бога, заговорил о Христе, когда она отвергла божественность Христа, прочитал проповедь о власти Христа спасать. Взывал к духу и плоти. Сулил возрождение через покаяние и радость обновленной жизни. Призывал переделать себя в орудие служения людям. Использовал древнейший аргумент молитвенника (иногда именуемый онтологическим доказательством), который, в интерпретации отца Макалистера, гласил: если с чистым сердцем любишь Бога, тогда Бог существует, потому что Он должен существовать. В конце концов, то, чего жаждет лучшее, что есть в тебе, истинная твоя душа, должно быть реальным и не следует слишком беспокоиться о том, как оно называется. Тамар пристрастилась, как к наркотику, к этим аргументам, этой схватке, этому, так сказать, танцу со священником. Она предалась поединку с ним, как захватывающему делу. Ей казалось, так бывало с ней и во сне, что она движется по огромному дворцу, двери открываются и закрываются, комнаты, анфилады появляются и пропадают, и она не знает, куда идти, однако было куда идти, главное — продолжать двигаться вперед.

Громадное количество разных вещей должны были соединиться воедино, должны, для нее, для Тамар, для ее спасения от отчаяния, деградации и смерти. Это напряженное, ненадежное, часто вызывающее слезы, долгое и изобретательное «соединение воедино» было, наверное, самое талантливое, что Тамар когда-либо делала. Она должна жить, должна исцелиться. Эта надежда, впервые появившись как рассудочная решимость, сосуществовала с былым отчаянием, которое теперь стало казаться потаканием собственной слабости, с ощущением, что она не заслуживает счастья и исцеления, что она обречена. Поначалу она, горько плача, вспоминала времена своей невинности, она гордилась этим и радовалась, когда ее называли ангелом и «милой девочкой», на которую «приятно посмотреть». Падение заставило ее с особым старанием избегать Джерарда, который немало поспособствовал созданию этого заблуждения. То, что она избегала Джерарда, испытывала к нему чуть ли не неприязнь, дало шанс Гидеону, поскольку он возник как единственный человек, с которым отец Макалистер мог осторожно объединить свои усилия. В Гидеоне он нашел энергичного, даже слишком, союзника; и как результат — появление Тамар и

даже Вайолет на рождественских службах.

В определенном смысле капитуляция казалась почти неизбежной. Когда с тобой произошло столько всего явного, столько сделано ради тебя и для тебя, можно ли не признавать реальность первопричины? Эти формальности важны как символы и заявления и обещания. Эта принадлежность будет выражением подлинной неволи и подлинной свободы. Пришла пора принять подданство, приобщиться к таинству. Тамар действовала под влиянием чувства благодарности своему ментору за его старания, как и собственной великодушной беззаботности, которая, как иногда ей думалось, была новой, возможно, более приемлемой формой отчаяния. Почему нет? Разве она не пришла к вере в магию? Ей хотелось даже быть заклейменной, как отошедшей от тех, чьим мнением когда-то так дорожила, перешедшей в другой дом, другой мир, что они осудили бы в свойственных им выражениях, которые теперь казались ей пустыми и банальными. Перед ней открылась дорога, и она должна был а двигаться по ней вперед, пока что она еще не была в безопасности. Обряд крещения и конфирмации состоялся в один и тот же день. Необходимы были крестная мать и крестный отец. Крестную мать Тамар

нашла, это была мисс Лакхерст, ее школьная учительница, теперь на пенсии. Отец Макалистер наскоро нашел и представил ей в качестве крестного отца молодого немногословного викария. Сразу после церемонии она приняла причастие. Магия, к воздействию которой она теперь была готова, проявила свою силу. К Тамар вернулся сон, ее дыхание стало спокойным, взгляд ясным. Вид у нее стал «цветущим», о чем упомянул Джерард, и безмятежным, что побудило его сказать, что она не переживает из-за смерти Дженкина. Она научилась молиться. Священник много говорил ей о молитве, что это просто состояние покоя, внимательного ожидания, когда душа откроется для присутствия Бога. Тамар чувствовала, что душа ее открывается и нечто заполняет ее.

Тамар прекрасно сознавала, что хитроумна, и даже готова была обвинять себя в «мошенничестве». Однажды она призналась в этом своему ментору, и тот сказал: «Дитя мое, ты не можешь мошенничать — здесь, и только здесь, ты не можешь мошенничать. Желание, когда оно от чистого сердца, и желаемое суть одно». Сказал: это истина, в которой нужно жить. Тамар делала все возможное для того, чтобы жить в ней, сначала просто стараясь избавиться от ада, а позже

практикуясь в том, что казалось совершенно новой формой спокойствия. Отец Макалистер был достаточно смел, чтобы говорить о неоспоримой перемене, произошедшей в ней. Тамар была не столь уверена. Было ли это чудо религиозного свойства или просто психологического? Священник уверил, что всякие сомнения тут нелепы. В старого Бога и в старого Христа Тамар не могла верить. Действительно ли она верит в нового Бога и нового Христа? Может, она в самом деле из тех «молодых», чье есть «новое откровение», новое, поскольку откровение обновляется каждый век? Много ли таких людей, подобных ей, или она одна со своим безумным священником? Она «присоединилась», потому что ее учитель хотел, чтобы она «принадлежала» к церкви. В пустом храме в Ислингтоне ее лицо окропили водой, в переполненном, в Примроуз-Хилл, ее головы коснулась ладонь епископа. Теперь она «пребывала в церкви», но, так сказать, внутренней, наедине с Богом. Она не захотела присоединяться к группе по изучению христианских положений. Она прекрасно сознавала безмерную тактичность своего учителя и то, что он жертвовал своим выходным, чтобы беседовать с ней, и наслаждалась каждой минутой их разговора. Больше того, проводя

с ним выходные, она временами чувствовала возникающее между ними единение. Она была с ним, погружаясь в себя, думая о себе, усваивая религиозную мифологию, когда открывала прежде ей неведомые области своей души. Она, говоря его словами, «познавала собственного Христа». Если Христос спасает, значит, Христос существует, говорил он. Вот что такое воскресение и жизнь. Раздумья Тамар над этой тайной не привели ее в смятение, больше того, она жаждала углубиться в них. Безусловно, религия опиралась на нечто реальное; она позволяла себе до поры до времени не задумываться над этим. Совершала длительные прогулки по Лондону, сидела в церквях. Послушно читала Библию, Кьеркегора, Хуана де ла Круса, Юлиану Норвичскую. Она чувствовала себя просветленной, невесомой и опустошенной, будто в самом деле жила на облатках и глоточках сладкого красного вина. В то время, как предостерегал ментор, ее нес вихрь духовной бури, который однажды уляжется, и точно так же настанет момент, когда ее встречи со священником должны будут стать куда более редкими и куда менее насыщенными. Тогда, как знала Тамар, ей придется пройти проверку, насколько она «соответствует» и способна ли «жить

ежедневно» тем, что спасло ее от смерти и ада.

Все это время Тамар неотступно преследовали прежние ужасы, которые, по словам отца Макалистера, влекли ее «в объятия Всевышнего»: мертвый ребенок, ее предательство по отношению к Дункану, грубость с Джин, потрясение от смерти Дженкина, в которой она чувствовала себя непостижимым образом замешанной, ужасные отношения с матерью. Прежняя ее нечестивая сила не позволила Тамар в тот вечер ничего сказать Вайолет о смерти Дженкина. Она также оказалась способна на суровое молчание, необходимое для ее «выздоровления», и ничего не говорила Вайолет о том, что с ней происходит и как она проводит время. Отношения между Тамар и ее матерью постепенно и почти бесповоротно испортились. Вайолет постоянно спрашивала, когда она собирается вернуться на работу, Тамар постоянно отговаривалась тем, что находится в отпуске. Вайолет говорила, что Тамар потеряет работу, на что та отвечала, что ее это не волнует. Тамар пыталась говорить матери «добрые вещи», но она как будто в этом случае просто утратила язык доброты. Все, что она ни говорила, раздражало Вайолет, вызывало язвительную злобу. В конце концов они перестали разговаривать и жили в

доме, как двое чужих людей. Тамар целыми днями пропадала то в церквях, то в библиотеках, то в ислингтонском доме причта, в котором происходили ее встречи с учителем. Отец Макалистер, которому она рассказывала обо всем, неустанно повторял, что эта проблема разрешится со временем; Тамар подозревала, что сейчас он не имеет представления, каким образом разрешится. Что касается других вещей, то мало-помалу, как часть изменений, происходивших в ее оживающей душе, она начала чувствовать себя лучше, хотя еще опасалась, что все может вернуться. Временами прежние ужасы продолжали ощущаться, как нечто чужеродное, засевшее в теле: камни, дротики, отравленные жала сломавшихся стрел. Она смогла избавиться от безумной, иррациональной, суеверной, более того, страшной мысли, что «была причиной» смерти Дженкина. Стала способна чувствовать настоящее горе. Многие раны начали затягиваться, раскаяние, как некое знание, постепенно сменило разрушительное и вызывающее ненависть к себе чувство беды и отчаяния. Однако были страдания и страдания, и она понимала разницу. Так, она продолжала терзаться из-за Джин и Дункана, рассказал ли Дункан Джин о ней, рассказала ли Джин ему о ре-

бенке? Она выдала его тайну, проклинала Джин. Ее должны ненавидеть и презирать. Отец Макалистер говорил мудрые вещи о том, что не нужно беспокоиться о чужом мнении. Когда не видишь способа улучшить его, остается лишь иметь его в виду. Желание исправить его есть часто нервный эгоистический порыв оправдаться, а не представление, как можно добиться, чтобы оно стало лучше. Он советовал ей терпеливо ждать, воздерживаться от каких-то действий ради раскаяния, не вмешиваться, оставить это Богу. Но Тамар не верила в свое терпение и очень хотела написать длинное взволнованное письмо Джин.

Относительно мертвого ребенка отец Макалистер в конце концов смог, к своему великому удовлетворению, дать полный ответ. Он многое сказал Тамар: хранить память о нем в своем сердце, не мучительный, а печальный его образ, жить с ним без ненависти, без страха, без неистовой тоски о нем. Думать о нем как о Божественном Младенце. Тамар это оказалось трудно, священник внушал, что это духовное упражнение. И наконец отец Макалистер наедине с Тамар в церкви на севере Лондона совершил обряд, какого не совершал прежде и который по большей части выдумал сам, обряд похорон или благословения

умершего ребенка, произнеся слова любви и прощания и покаяния. Тамар он этого не сказал, но сам рассматривал это действие как акт изгнания, умиротворения потенциально опасного духа; ибо был не чужд предрассудков и в свое время видел самых ужасающих бесов, покидающих помутившийся разум его прихожан, или где уж там эти бесы обитают.

Тамар пробормотала, что ее проступки и грехи всегда стоят перед ней, и она пролилась, как вода, и кости ее рассыпались, и она хочет быть омытой и белее снега, что дух сокрушенный и смиренный не может быть презрен, что сокрушенные кости могут наконец возрадоваться, и она может снять вретище и препоясаться веселием. Затем отец Макалистер благословил бедного безымянного умершего зародыша, пожелав ему покоиться с миром и быть принятым Богом в тех небесных обителях, где души тех, кто почил в Господе Иисусе, обретают вечный покой и блаженство, и что Бог может узреть искреннее раскаяние Тамар, принять ее слезы и успокоить боль. Тогда Он благословит ее и сохранит, и призрит на нее светлым лицем Своим и помилует ее, и обратит к ней лице Свое и даст ей мир. Этот обряд, смесь старых знакомых речений, надерганных из Писания,

это его импровизированное попурри и мысль о том, что священник налит пресвятой эссенцией, доставили ему огромное удовольствие, а еще он был вознагражден, увидев лицо Тамар, мокрое от слез и сияющее.

~~~

— Ты помнишь, какой сегодня день? — спросила Роуз.

— Конечно, — ответил Джерард.

Больше они не произнесли ни слова. Сегодня был день рождения Синклера. Ему исполнилось бы пятьдесят три.

Два дня назад Роуз проснулась среди ночи от звука собачьих когтей, царапающих дверь квартиры. Она сразу подумала: Регент! Он вернулся! Зажгла лампу, стоявшую возле постели. В доме царила тишина. Конечно, ей это все приснилось. Тем не менее она встала, включила свет во всей квартире, открыла дверь на лестницу, включила свет и там. Даже спустилась вниз и открыла уличную дверь, нет ли на крыльце какой-нибудь несчастной собаки, реальной. Но там было пусто. Заснуть после этого она больше не смогла.

Сейчас она вспомнила об этом, сидя за чаем с Джерардом в маленькой гостиной дома Дженкина. Эти посиделки за чаем вдвоем вошли у них в обычай, который они периодически поддерживали, хотя постепенно они становились все короче и менее пышными, по мере того как с
~~~

годами идея «вечернего чая» как-то теряла практический смысл. В Боярсе сей обряд еще сохранял некоторое свое роскошество ради Аннушки. Но сегодня, когда присутствовал один Джерард, не было ни булочек, ни сэндвичей, ни хлеба, ни масла или джема, только не первой свежести печенье и фруктовый кекс. Оба ели мало. Причиной частично было то, что Рив должен был заехать за Роуз и повезли ее обедать в отель, где остановился. Это была его идея, он сказал, что с удовольствием увидится с Джерардом, они так долго не встречались; Роуз позвонила Джерарду, избавиться от Рива, похоже, не удастся.

Джерард был рассержен на Роуз за то, что та сочла мыслимым, чтобы Рив заезжал за ней. Конечно, он сказал, что будет счастлив увидеть Рива, и скрывал от Роуз свое раздражение, во всяком случае старался, но он видел ее грустный взгляд и ругал себя за то, что не высказался против дурацкой затеи или, по крайней мере сейчас, явно не мог скрыть своего дурного настроения и быть приятным собеседником.

Переселение в квартиру Дженкина не срабатывало, это была неудачная идея, основанная на иллюзии. Чего он ожидал, удивлялся Джерард, что сможет начать здесь новую, лучшую жизнь

анахорета-подвижника, что сможет каким-то образом сделаться Дженкином? Об этом ли он думал, переезжая сюда? Или просто пытается избавиться от Гидеона и Пат? Дом сопротивлялся ему. Поначалу он старался ничего в нем не менять, но потом, и, видимо, напрасно, кое-что изменил: поставил новую раковину в кухне, холодильник повместительней, привез несколько акварелей из дома в Ноттинг-Хилле. Кое-что из его мебели еще оставалось там, перенесенным в верхнюю квартиру, кое-что он отправил на склад, что-то у него приобрел Гидеон. Его книги были повсюду: в Ноттинг-Хилле, у Роуз или здесь в нераспакованных пачках, поскольку он не решался трогать книги Дженкина, по-прежнему занимавшие полки. Дом производил впечатление мертвого, бесчувственного, пыльного и неприбранного. Роуз собиралась прийти и сделать уборку, но он сказал, чтобы она не беспокоилась, и она не стала настаивать.

Все к чаю: Дженкинов чайник для заварки, Дженкинов молочник, кекс на слишком маленькой тарелочке, печенье на слишком большой — ютилось на небольшом складном столике, который Джерард застелил цветастым льняным покрывалом, вообразив, что это скатерть. Круп-

ные влажные крошки неуклюже нарезанного кекса усеивали скатерть вместе с мелкими сухими крошками рассыпчатого печенья, которые виднелись и на ковре, и, отброшенные ногой Джерарда, на зеленом кафеле у газового камина. Джерард был в тапочках. Вид у него, подумалось Роуз, уставший и постаревший.

Джерард с досадой ловил на себе сочувственный взгляд Роуз. Он чувствовал себя уставшим и постаревшим. Бреясь утром, он взглянул в зеркало, ожидая увидеть знакомое красивое лицо, смешливое, ироничное, прекрасно очерченное и сияющее умом, и не нашел его. Лицо, представшее перед ним, было тяжелым, мясистым, угрюмым и несчастным, с темными кругами под глазами, тусклой кожей и обрамлено сальными волосами. Роуз надоедливо, как всегда, пристала с вопросом, пишет ли он что-нибудь. Нет, не пишет. Он даже не читал, хотя иногда пролистывал какие-то книги Дженкина. Он бесконечно думал о Дженкине, о его смерти, о Краймонде. Постоянно представлял себе картину, как Краймонд стреляет в лоб Дженкину. В лоб, так сказал Марчмент. Только этой картины Джерарду еще недоставало. Краймонд заманил туда Дженкина и убил его. Зачем? В виде замены

убийства Джерарда, в виде мести Джерарду за некое преступление, некое пренебрежительное, высокомерное замечание, сделанное им и тут же забытое тридцать или более лет назад? Значит, он в ответе за смерть Дженкина, думат Джерард. Его промах, его грех привели к этому. Он не может жить с этой мыслью, он отравлен, уничтожен, и Краймонд добивался именно этого. Он каждый день собирался пойти к Краймонду и каждый день решал, что это невозможно. Когда становилось совсем невыносимо, он искал спасения в воспоминаниях, как Дженкин смеялся над ним, и инода это помогало, хотя приносило горчайшую печаль и чаще возвращало к своей утрате и к аду, в котором он пребывал вместе с Краймондом. Они находились в аду вместе, он и Краймонд, и рано или поздно должны были уничтожить друг друга.

Конечно, Джерард никому не признавался в этих мыслях, и уж разумеется Роуз, которая временами по-прежнему пыталась вовлечь его в домыслы о случившемся. В разговорах с ней он теперь сразу отвергал как несостоятельные любые идеи о том, что причиной смерти Дженкина могло быть что-то иное, кроме несчастного случая. Не открывал он ей и другую неизбавимую боль,

которая не отпускала его и сделала этот период его жизни совершенно бесплодным. Знакомый в издательстве «Оксфорд пресс» сказал, что, как надеется, у него в руках будут гранки краймондовской книги и он тут же отправит их ему с посыльным. Джерард ждал этого с ужасом. Он не желал читать ненавистную книгу Краймонда, он предпочел бы порвать ее, но был приговорен к ней, должен был читать ее. Если она окажется плоха, он почувствует болезненное унизительное удовлетворение, если хороша — ненависть.

Роуз тоже выглядела постаревшей, или, возможно, он, поскольку был возмущен и раздражен, смотрел на нее сейчас просто как на женщину, вместо того чтобы воспринимать ее как смутное продолжение себя, туманную тень, облачную собеседницу. Он вдруг обрел способность видеть составные части целого. Она слишком коротко подстриглась, открыв щеки и уши, лицо казалось беззащитным и напряженным, матовые волосы были не седыми, но лишены оттенков, как затененная листва. Губы выглядели сухими и запекшимися, в трещинках, хорошенький носик чересчур напудрен. Только ее темно-синие глаза, так похожие на глаза брата, смелые, как кто-то сказал, глаза, не потускнели и смотрели сейчас

на него с молчаливой мольбой, вынудив отвернуться. На ней было зеленое шелковистое платье, очень простое, очень элегантное, и аметистовое ожерелье на шее. Платье напоминало то, которое было на ней на летнем балу, ему даже вдруг вспомнилась та музыка, ощущение ее талии под рукой и звезды над оленьим парком. Потом он подумал, что она так оделась для Рива.

— Джерард, не дави крошки на коврике.

— Прости.

Роуз поправила коврик:

— Очень миленький коврик.

— Мой подарок.

— Я унесу все со стола. Рив скоро придет.

Так она убирается ради Рива!

— Полагаю, он захочет выпить. Я тоже выпью шерри.

— Рив любит джин с тоником.

— Тогда и я буду джин с тоником. Не суетись ты с чайником и прочим.

— Мы не можем оставлять все это на столе. Я мигом.

Роуз нашла поднос, стоявший у стены, и принялась переставлять на него посуду.

— Я еще не закончил!

В дверь зазвонили.

— Я открою, — сказала Роуз.

Она вышла в прихожую, оставив поднос на столике. Джерард с чашкой в руке стоял в дверях гостиной. Вошел Рив, обменялся приветствием с Роуз, снял пальто, сказал, что на улице сильный восточный ветер и начинается дождь, так что он предусмотрительно оставил машину у подъезда. Джерард ретировался со своей чашкой, подхватил поднос, бочком пробрался мимо Рива, который входил в комнату, и, ища на кухне бутылку джина, слышал, как Роуз спрашивала кузена новости о детях.

Со стаканами в руке, джин и тоник у Рива и Джерарда, шерри у Роуз, они неловко стояли у камина, словно на званом вечере.

— Рив говорит, нам нельзя задерживаться, столик заказан.

Рив, обряженный в дорогой темный костюм, выглядел массивным, широкоплечим; лицо обветренное, красное, с шершавой кожей; крупные широкие ногти на больших руках, которые он не знал куда девать, были чистые, но обломанные. На пальце красовалось обручальное кольцо. Каштановые волосы тщательно причесаны. Наверное, причесался в машине, а то и у двери, перед тем как войти. Он вглядывался в

Джерарда из-под нависших бровей с выражением определенной настороженности. Они часто встречались за прошедшие годы, довольно хорошо знали друг друга и довольно неплохо друг к другу относились. Роуз поймала себя на том, что впервые опасается, как бы Джерард не повел себя с Ривом снисходительно, свысока. Так он обычно позволял себе подобное поведение, а она и не замечала?

Рив оглядел крохотную гостиную, выцветшие драные обои, проступающие на них желтые пятна и не мог скрыть удивления:

— Это здесь жил Райдерхуд?

— Да.

— Роуз говорит, что теперь здесь живешь ты.

— Да, живу.

— Печальная история.

— Да. Печальная.

Рив, прислонясь к небольшой каминной полке, взял серый с пурпурными полосками камешек, который Роуз когда-то давно подарила Дженкину.

— Готов побиться об заклад, что этот камень из Йоркшира.

— О да… да! — воскликнула Роуз. — Он с побережья…

— Я знаю, откуда.

Они улыбнулись друг другу. Рив продолжал держать в руке камешек.

— Как хозяйство? — поинтересовался Джерард.

— Ужасно.

— Я слышал, фермеры всегда так отвечают.

— Роуз говорит, что Кэмбесы ищут дом во Франции. Такое впечатление, что все снялись с места.

— Рив присматривает дом в Лондоне, — пояснила Роуз.

— Действительно? — с приятной улыбкой спросил Джерард.

— Ну да, или квартиру, — сказал Рив. — Дети давно хотят.

Они с Роуз переглянулись.

Раздался звонок в дверь.

Джерард спустился открыть. В лицо ему ударил восточный ветер с дождем, далекие желтые фонари отражались в мокром асфальте тротуара. В свете из открытой двери блестел «роллс-ройс» Рива. Рядом стоял паренек с пакетом.

— Мистер Херншоу? Пакет для вас из издательства.

— А, благодарю… не зайдешь? Это твой мотоцикл? Ехал в такую погоду?..

— О, все в порядке… спасибо. Сейчас повешу за-

мок на мотоцикл, поставлю его к стене вот здесь.

Джерард взял пакет: объемистый и тяжелый. Положил его на стул в прихожей. Вошедший паренек выскользнул из плаща, снял шлем, обнажив копну белокурых волос.

— Заходи… хочешь выпить? Познакомься: Роуз Кертленд, Рив Кертленд. Не знаю твоего имени.

— Дерек Уоллес. Нет, никакого шерри, спасибо. Что-нибудь безалкогольное, если есть.

— Он ехал на мотоцикле из Оксфорда под дождем, — объявил Джерард.

— Да нет, дождь только что начался.

— Все равно, ветер в лицо всю дорогу, — сказал Рив, представив себе эту картину.

— Перекусишь что-нибудь? — спросила Роуз. — А не то горячего супу?

— Нет, правда… просто лимонад или колу, или что-нибудь вроде. Я не могу долго задерживаться, мне еще возвращаться.

— Учишься в Оксфорде?

— Да.

— В каком колледже? Что читаешь?

Роуз на кухне достала апельсиновый сок, хлеб, масло, сыр, разогрела банку супа. Она заметила в прихожей пакет на стуле и поняла, что в нем, поскольку Джерард сказал ей, что ждет гранки. Ей

стало не по себе, все было каким-то нереальным. Высокий светловолосый паренек напоминал Синклера. То Регент скребется в дверь, подумала она, а теперь вот это. Господи Боже! Но с Синклером это никак не связано. Нас окружают бесы.

— Этот парень никого тебе не напоминает? — спросил Рив, ведя свой «роллс» в плотном потоке машин вечернего Лондона.

— Напоминает, — ответила Роуз.

— Правда, Невилл не такой худой, нос и рот… нет, не совсем похожи…

— Не совсем.

Конечно, думала Роуз, они не помнят Синклера, не вспоминают, какой он был. Смотрят они когда-нибудь его фотографии? Нет, наверняка нет. Отмахнулись от него. Так оно и должно было произойти. А теперь просто его забыли. Они беспокоились по поводу такой наследственности, не то чтобы чувствовали свою вину, но все же что-то опасное могло передаться, от чего они хотели оградить себя, думать, что они сами по себе, а мы сами по себе. Они не плакали на похоронах Синклера, при виде его изуродованного тела. Они никогда не знали Синклера и никогда по-настоящему не любили его. Может, это было не так уж неоправданно. Он вечно обходился с ними, как с

деревенскими родственниками. Они и не ждали, что титул перейдет к ним, но отец слишком скоро последовал за сыном. Вторично повезло. Они не могли не испытывать удовлетворения, когда это случилось. На похоронах им пришлось скрывать радость от столь невероятного и неожиданного поворота событий. Печального, конечно, но для них… удачного, великолепного, для них и их детей и детей их детей.

Рив, который не привык ездить по Лондону, молчал, сосредоточившись на круге у Шепердс-Буш, где невнимательный водитель мог случайно выехать на автостраду, а Роуз одолевали ужасные новые страхи. Тот парнишка, тот призрак, что он делает сейчас, оставшись один на один с Джерардом, что у них там происходит? Заметил ли Джерард это сверхъестественное сходство, да как он мог не заметить? Допустим, Джерард влюбился в этого мальчишку, этого незваного зловещего гостя, явившегося из тьмы с дождем и принесшего роковой пакет? Люди, которые так невероятно похожи на умерших, наверное, демоны. Что, если мальчишка-демон собирается убить Джерарда, что, если Джерарда найдут убитым загадочным образом, как Дженкина? Может быть, тайна смерти Дженкина была предвестием, прелюдией

к смерти Джерарда? Потом ей пришла отвратительная мысль, что эта роковая фигура — Синклер собственной персоной, Синклер, вернувшийся в должное время как завистливый призрак или дух мщения, чтобы убийством Джерарда отомстить всем им. Ведь разве не все они виноваты в его смерти, поскольку не воспрепятствовали ему заниматься тем опасным спортом или не увлекли его в тот день чем-то другим? Разве не они, говорила себе Роуз, они, которые так его любили, способствовали его смерти своим невниманием, своей беззаботностью — и те, другие, победители, может, своими подсознательными молитвами? Роуз понимала, что эти ее ужасные и греховные предположения вызваны всякими теперешними несчастьями, самим горем, давним, давним горем и пытками, которым подвергала ее судьба. И все же не могла остановить мечущиеся болезненные мысли, бешено работающее воображение. Мальчишка принес ту книгу, которая даже сейчас у Джерарда, ему опасно просто держать ее в руках, эту вибрирующую тикающую адскую машину. Может, Джерарда, севшего читать ее этой ночью, постигнет загадочная смерть?

Рив, благополучно выехав на Бейсуотер-роуд (следующее неприятное место было у Марбл-Арч,

триумфальной арки), продолжил прерванный разговор:

— Конечно, никто не может заменить им мать, но они всегда были так привязаны к тебе, с тех пор как малышами звали тебя тетушкой Роуз. И, знаешь, эта перемена так ужасно сказалась на всех нас… для нас это было как новая эпоха, пришлось начинать все заново. Менять образ жизни… хотя, конечно, все равно пришлось бы, поскольку дети почти взрослые… ну, думаю, кто-то скажет, что они взрослые, но во многих отношениях они еще дети, они в том чувствительном опасном возрасте, когда им нужны любовь и забота, нужен настоящий дом, очаг, как говорится. И это имеет отношение к тебе. Нам необходимо видеть тебя чаще… и вот моя идея, и, надеюсь, ты подумаешь над ней: тебе следует переехать жить к нам в Феттистон. Миссис Кейтли может вести хозяйство, она практически этим сейчас и занимается, и мы нанимаем еще женщину из деревни, сильную, крепкую женщину. Так что тебе не нужно быть домоправительницей. Что мы хотим, это чтобы ты просто была с нами и вроде как пеклась о нас. Ты знаешь, как мы тебя ценим. И конечно, мы в свою очередь будем печься о тебе. Пока слишком рано говорить о счастье, дети не могут думать,

что снова будут счастливы, но они, конечно, будут… да и я оживу, должен ожить, и мои люди воспрянут. Роуз, дорогая, мне видится, что с тобой все мы будем счастливы и благополучны. У нас будет местечко и в Лондоне, большая квартира или дом, и мы надеемся, что ты и там будешь жить с нами, а не то оставь и свою теперешнюю квартиру, мы не собираемся монополизировать тебя! Но меня не покидает ощущение, что, если мы станем ближе, это будет хорошо и для тебя. Мы часто думали… гм… сколько еще тебе оставаться одной. Знаю, у тебя есть старые друзья, вроде Джерарда и Патрисии, но у них, как ни крути, свои интересы, а ничто не сравнится с семьей. В любом случае, подумай над этим. Извини, я, наверное, удивил тебя своей сумбурной речью, не собирался говорить об этом в машине! Дети все последнее время пристают: скажи да скажи! Уверен, мы уговорим тебя… когда поймешь, как ты нам нужна, ты захочешь переехать!

«Тетушка Роуз», думала Роуз, одинокая стареющая незамужняя тетка, такая нужная, чтобы пеклась о них, чтобы о ней пеклись. Возможно, они даже обсуждали, что с ней делать, когда она постареет. А почему бы и нет, да, почему бы нет? Это говорил в ней не здравый смысл, а

любовь. Возможно, думала она, смерть Дженкина разрушила все старые связи. Пора прекращать горевать да тосковать. Она скучала по детским физиономиям Невилла и Джиллиан. А в недалеком будущем она могла бы нянчить их детей, воспитывать их, качать на коленях. (Но она же не любит детей!) В конце концов, новые обязанности — это новый стимул к жизни. Кто-то нуждается в ней по-настоящему. А Джерард… возможно, она даже сейчас уже потеряла его или, лучше будет сказать, лишилась иллюзий, что стоит ждать от него большего, большей близости, большей любви, чем видела до сих пор.

— А если говорить о вещах не столь важных, — продолжал Рив, — то на пасхальные каникулы мы планируем отправиться в круиз на полных четыре недели и хотим, чтобы ты была нашей гостьей — пожалуйста, пожалуйста! Маршрут волшебный: греческие острова, потом юг России. Всегда хотелось побывать на одесском пляже! Ты к нам присоединишься, Роуз, дорогая, правда же?

— Я уже договорилась на это время, — сказала Роуз, — моя давнишняя школьная подруга приезжает из Америки…

— Я пришлю тебе подробности, когда и куда

мы отправляемся — постарайся подстроиться, с тобой путешествие будет прекрасным, и сообщи нам поскорей, поскольку надо заказывать билеты.

Роуз сама поразилась, как мгновенно она сообразила придумать старинную школьную приятельницу. Да, лгать она умеет. А все ее старые иллюзии, разве они не ложь тоже? Ей не хотелось принимать приглашение отправиться в круиз, и тем не менее она поняла, что и оставаться ей не хочется. Не хотелось ли ей наконец — все-таки — просто поехать туда, где она была так нужна?

Рив молчал, маневрируя возле триумфальной арки и ища поворот на нужную улицу; Роуз подсказывала ему направление. Затем возник вопрос парковки. Действует ли вечером правило желтой линии? Улица уже была забита припаркованными машинами. Может, лучше всего будет, если он высадит Роуз здесь, чтобы она заняла их столик? Он надеется, что вернется очень скоро! Роуз вышла из машины, помахала озабоченному кузену и смотрела, как «роллс» медленно и неуверенно удаляется. Дождь наконец прекратился. Она поспешила в отель, сняла пальто. После этого вместо того, чтобы направиться в обеденный зал, она нашла телефон и позвонила

Джерарду. Слушая гудки, она представляла себя, с сердцем, замирающим от страха, мчащейся в такси обратно.

— Слушаю!

— Джерард… это я.

— О… да…

— Я в отеле. Рив паркует машину.

— Ну так что? — Голос звучал отчужденно.

— С тобой все в порядке?

— Да, конечно.

— Тот паренек все еще у тебя?

— Нет, он уехал.

— Ты читаешь книгу?

— Книгу Краймонда? Нет. Собираюсь выходить.

— Вот как… куда?

— Пойду поем где-нибудь.

— Будешь читать ее сегодня?

— Не думаю. Лягу спать.

— Джерард…

— Да?

— Мы скоро увидимся, правда?

— Конечно, конечно. Мне надо идти.

— Дождь прекратился.

— Хорошо. Слушай, мне надо идти.

— Доброй ночи, Джерард!

Он дал отбой. Конечно, телефон всегда его раздражал. Но если бы он сказал в ответ: «Доброй ночи, Роуз!» Какое-то время она могла бы с этим жить, как с прощальным поцелуем.

Джерард, уже в пальто, взглянул на большой пакет, так и лежавший там, куда он его положил: на стуле в прихожей. Разумеется, он заметил сходство, которое поразило Роуз до того, что ей стало страшно. Джерард тоже, хотя и по-другому, не мог не воспринять как зловещий тот факт, что именно этот посланник принес именно эту вещь. Когда он стоял близко к парнишке, наливая тому апельсиновый сок в стакан, что-то очень странное мелькнуло в его памяти, запах юных волос. Или то был просто их цвет, столь мучительно памятный, особый их оттенок, буйность и блеск, которые он ощутил и воспринял как запах.

Теперь, один на один с пакетом, он не мог не видеть в нем роковую вещь — роковую для него, роковую, может быть, для мира. Мелькнула мысль: если это единственный экземпляр, его долг уничтожить его.

«О, пусть это будет не ненависть, но любовь, не жалость, но любовь, не сила, о, не сила, не сила, за исключением духа Христова», — молился отец Макалистер, когда, подобрав полы сутаны,

сдвинув плотно ноги и стиснув ладони, сидел и смотрел на схватку, происходящую с переменным успехом.

В квартиру Вайолет вторглись, и она отбивалась, как загнанный зверь. Тамар пригласила Гидеона, Патрисию и отца Макалистера на чай. Роуз и Джерарду ничего не сообщили. Все молчаливо решили не делать этого.

Пат убиралась на кухне. Она уже побывала в спальне Вайолет и собрала кучу траченных мышами пластиковых пакетов в мешок, чтобы выбросить в мусорный бак. Чаепитие происходило в спальне Тамар при включенном свете, поскольку день был пасмурный. Тамар застелила красивой скатертью складной стол, за которым обычно занималась. Со стола уже почти все было убрано и даже помыто той же Пат. Сэндвичи с ветчиной понравились священнику, к кексу никто не притронулся. Балом правил Гидеон.

— Вайолет, — говорил он, — вы должны согласиться и позволить нам позаботиться обо всем, позволить мне позаботиться обо всем. Мы очень давно обхаживаем вас, пора принимать решительные меры. Разве не видите, что все изменилось, эпоха другая. Можем ли мы стоять, сложа руки, и смотреть, как вы тонете?

— Я не тону, — ответила Вайолет, — спасибо за участие! И ничего не изменилось, кроме того, что Тамар стала груба и даже перестала пытаться быть вежливой со мной. Но это касается только нас. Ты, Патрисия и священник просто заявились…

— Тамар пригласила нас.

— Это моя квартира, не ее. Она мне ничего не говорила, со мной не советовалась…

— Ты была бы против! — возразила Тамар.

— Вижу, мое мнение уже ничего не значит. Я не желаю с вами разговаривать, я уже просила вас уйти — прошу еще раз, уходите, пожалуйста!

— Они мои гости, — сказана Тамар, — и они хотят предложить план, и это хороший план, так что, пожалуйста, выслушай… ты же согласилась, чтобы мы поехали на Рождество в Ноттинг-Хилл…

— Пришлось поехать, и я не получила никакого удовольствия.

— Пожалуйста, поймите, миссис Херншоу, — сказан священник, — что мы хотим добра, хотим сделать, как выразилась Тамар, что-то хорошее, мы пришли с миром…

— Как же все вы мне надоели, — продолжала упираться Вайолет, — еще и этого сентимен-

тального пастора притащили. Нагло ворвались без всякого приглашения, воры, убийцы, грубо вторглись в мою частную жизнь…

Вайолет владела собой, за словом не стояла, только в ее голосе иногда слышались нотки истерики.

— По моему мнению, есть два главных момента, — сказал Гидеон. — Во-первых, Тамар должна вернуться в Оксфорд. Я был бы рад, если бы мы могли считать этот вопрос решенным.

— Ни за что не допущу, чтобы Тамар вернулась в Оксфорд.

— Ты не сможешь мне запретить, — сказала Тамар.

Она сидела на своем диване-кровати, остальные на стульях вокруг маленького столика, на котором осталась только тарелка с сахарными кексами. Отец Макалистер, который хотел полакомиться кексом, да не успел, поскольку комедия с «чаем» превратилась в ожесточенный спор, подумал было взять его сейчас, но решил не делать этого.

Тамар, в черной юбке, черных чулках и сером пуловере, была подчеркнуто спокойна. Гидеон с изумлением смотрел на нее. Тамар подтянула юбку выше колен и вытянула длинные стройные

ноги движением, вряд ли, как ему показалось, неосознанным. Одета она была просто, как прежде, может, в то же самое, но выглядела иначе: невозмутимей, взрослее и даже в этой ситуации более свободной, явно погруженной в себя. Что-то произошло с ней, думал Гидеон, что-то она такое пережила. Стала сильной, думает: сейчас или никогда, и сметет всякого, кто станет у нее на пути. Она окончательно справилась с депрессией, или что там у нее было. Вряд ли дело в этом бесхитростном священнике. Возможно, у нее наконец-то появился действительно прекрасный любовник.

— Я объясняла тебе, — продолжала Вайолет, зло глядя на дочь, — что мы сидим без денег. Я еще не расплатилась с долгами. За квартиру нужно платить. Твоя стипендия никогда не покрывала и половину суммы, нужной для того, чтобы ты жила в этой роскоши. Мне нужно, чтобы ты зарабатывала, нам это нужно. Если Гидеон утверждает обратное, то он подлый лгун. Тебе недостает чувства реальности, ты позволила этим людям забить тебе голову разными фантастическими идеями…

— Осенью я возвращаюсь в Оксфорд, — сказала Тамар, поправляя волосы и глядя на Вайолет со

спокойным и грустным выражением. — Я уже была в колледже…

— Будь уверена, я платить за тебя не стану!

— Гидеон будет платить, — сказала Тамар, — да, Гидеон?

— Мне милостыня не нужна…

— Разумеется, заплачу, — поддержал Гидеон Тамар, — и, пожалуйста, Вайолет, не кричи. В сущности, Тамар так экономна, что ей почти хватит ее стипендии, я оплачу остальное, а также твои долги. Я — подождите минутку, не перебивайте — хочу сделать еще одно предложение: продать квартиру…

— Эта квартира безнадежна, — сказала Роуз, появляясь в дверях. — Ее можно разве только сжечь.

— …а вам с Тамар переехать в наш дом, — сказал Гидеон, — в ту квартиру, которую мы обычно занимаем…

— Квартира прекрасная, — добавила Роуз.

— Нам все равно нужно, чтобы кто-то просто приглядывал за ней, когда мы уедем, от вас совершенно ничего не требуется — погодите, погодите, — можете, если хотите, переехать на время, пока мы все не решим, что делать дальше… но пока Тамар будет в Оксфорде…

— Заявляетесь сюда и предлагаете сжечь мою квартиру, — сказала Вайолет, — что ж, можете сжигать, но только вместе со мной. Я лучше буду жить в аду, чем в вашем доме.

— По-моему, это сейчас вы живете в аду, — подал голос отец Макалистер.

— А хоть и живу, не ваше это дело, мерзкий святоша, знаю я вашу братию, лезете в чужую жизнь и пытаетесь контролировать ее, разбиваете семьи, портите то, в чем не разбираетесь! Все вы хотите отобрать у меня дочь.

— Нет! — воскликнул Гидеон.

— Она единственное, что у меня есть, а вы хотите увести ее…

— Нет, нет, — сказал отец Макалистер.

— Ладно, можете забирать ее! Я прошу, умоляю ее остаться со мной и делать все по-моему… но если она не хочет, тогда пусть идет и может больше никогда не являться мне на глаза! Я говорю серьезно! Надеюсь, теперь вы довольны, добились своего! Ну, Тамар, что ты решаешь?

— Ухожу, конечно, — ответила Тамар прозаическим тоном, — но без всяких таких условий.

— Нет, такое мое условие, и это окончательно. Тогда иди, иди… и собери свои вещи!

— Они уже собраны, — сказала Тамар. — Ты

еще передумаешь.

— Вижу, вы заранее сговорились. Все это заговор. А желание помочь мне — просто предлог!

— Нет.

— Оставляешь меня на сожжение, на смерть — ты знаешь это. Ради бога, Тамар, не покидай меня, останься со мной, скажи этим мерзким людям, чтобы уходили! Что они нам? Ты все, что у меня есть, — я отдала тебе мою жизнь!

Истеричный голос, пронзительный, мучительный, заставил всех содрогнуться. Роуз в дверях отвернулась и спрятана лицо в ладонях.

Тамар даже не дрогнула. Она грустно и нежно взглянула на мать, чуть ли не с любопытством, и тихим смиренным голосом сказала:

— Не надо так переживать… я буду у Пат и Гидеона… ты переедешь позже… прости, что так все вышло. Боюсь, это был единственный способ.

Подлинным автором этой сцены, которая, как почувствовал позже Гидеон, приобрела характер беспримерно нервной театральности, был отец Макалистер. Размышляя над ситуацией Тамар и о ней самой, священник пришел к превосходной идее привлечь в качестве ударной силы не Джерарда, а Гидеона. Он совершенно верно увидел в Гидеоне смесь самоуверенности, безжалостности,

актерства и способность к бесстыдному расчету, в какую сумму ему обойдется, в конечном счете, это похищение. Он, однако, постарался, чтобы план осуществлялся неспешно и под его собственным руководством. Уговорил Тамар, что оказалось легче, чем он ожидал, сыграть свою роль, причем упирал на то, что это кардинально изменит ее жизнь, а также будет облегчением или даже спасением для Вайолет. После нескольких очень коротких встреч с Вайолет предчувствия отца Макалистера относительно того, что следует ожидать, были весьма мрачными, мрачнее даже, чем у Тамар.

Гидеон был готов к тому, что Вайолет завопит, и на мгновение она как будто задержала дыхание в диком бешенстве, как разъяренная собака. Потом стиснула кулаки и буквально оскалила зубы. Проговорила низким голосом:

— Так ты ничего не хочешь сделать ради меня теперь?

— Кое-что делаю, — ответила Тамар, — и ты убедишься в этом позже. Но если ты имеешь в виду, буду ли я делать все по-твоему, то я отвечаю: нет. Я не могу пойти на это… и, наверное, в данный момент совсем ничем не могу помочь тебе… ничем.

Тамар отвернулась к окну, занавешенному серыми от грязи драными шторами. Потом взглянула на Гидеона, словно беспокойно вопрошая, нельзя ли наконец прекратить эту сцену?

Тамар проговорила все это так сухо и, игнорируя мать и повернувшись к Гидеону, выглядела такой безжалостной, что отцу Макалистеру пришла странная мысль. А если предположить, что все это было до некоторой степени ненастоящим: отчаянная драма, страстный спектакль спасения, в котором он и Тамар принимали участие? Он не то чтобы думал, что Тамар лгала или актерствовала. Ее страдание было неподдельным, одержимость ужасной. Но в своем отчаянии не использовала ли она его, когда он появился со своими рецептами, как дикарь пользуется наставлениями знахаря, как больной, выполняющий предписания врача? Или почему просто не сказать, что это было подобно психоанализу, психоневрозу, неврозу переноса, выходу в обычную жизнь, обычную, когда освободившийся от фобий пациент может щелкнуть пальцами перед психотерапевтом и идти своей дорогой, понимая: то, что он принимал за моральные ценности или категорические императивы, даже в отношении дьявола и вечного адского пламени, есть лишь

причудливые психические недомогания наподобие тех, которыми все мы страдаем и источник которых в детских болезненных переживаниях, и теперь мы можем благополучно забыть о них. Тамар познала дьявола и адское пламя, он видел ее лицо, искаженное ужасом, а потом, когда он изгнал из нее злобный дух ребенка, видел его божественно спокойным и омытым искупительными слезами. Теперь Тамар обрела необыкновенную силу. Даже, видел он, Гидеон был поражен. Она была властной и независимой и способной сдерживать свои чувства, как в этой критической ситуации с матерью. Она, возможно, жаждала свободы всегда и теперь, почувствовав ее близость, готова была раздавить любого. Этим ритуалом отказа и освобождения, ради одобрения которого он здесь и присутствовал, она, похоже, мучила мать. «Превосходная идея» священника, конечно, учитывала возможность скандала, но при этом и проявление подлинной любви Тамар к матери, которую, как ему казалось, он разглядел у нее в глубине души. Он не хотел видеть, как его раскаявшаяся грешница, освободившись от одного демона, попадет во власть другого. В прежнем смирении Тамар, в первостепенной важности, которую для нее имели слова и воля Вайолет, не

было ничего хорошего. Он неустанно повторял Тамар о подлинной и свободной любви к матери, любви во Христе, которая могла бы исцелить Вайолет, как исцелила ее, Тамар. Священник за свои краткие встречи с Вайолет составил о ней мнение как о чудовище. Он, казалось ему, понимал, что та страшно несчастна, и это ее несчастье заставляло содрогаться и сжиматься его сочувственную сентиментальную (она употребила это слово) душу — несчастье безысходней, беспросветней и неизбывней, чем несчастье ее дочери, и понимал, как страдания превратили ее в чудовище. Он не собирался допускать, чтобы ею Тамар оставалась жертвой этого чудовища. Но не должны ли, причем они оба, помочь и бедному чудовищу тоже? Глядя на Тамар, которая стряхивала крошки с юбки и беспокойно ерзала на стуле, что безошибочно свидетельствовало о намерении встать и уйти, он спрашивал себя: не является ли эта новая решимость, эта отчужденность, эта властность просто трансформацией давней глубокой ненависти, которую она столь много лет покорно подавляла в себе? Не освободил ли он ее не только для Христа, но и для эгоистической равнодушной силы? Не создал ли он просто другого монстра? (Впрочем, прокручивая в голове эти ужасные

мысли, отец Макалистер привычным движением руки препоручил это дело своему Господу, зная, что позже оно вернется к нему более вразумительным ответом.)

Вайолет, приоткрыв рот, смотревшая на Тамар глазами, вдруг ставшими как пылающие прямоугольные дыры, неожиданно вскочила, покачнув стол и заставив Гидеона торопливо убрать свой стул. Порылась в кармане юбки в поисках очков. Поскольку захватчики застали ее врасплох, она была, и Гидеон сейчас обратил на это внимание, в жалком виде: блузка мятая, кофта в дырах, сквозь которые предательски просвечивают блузка и юбка. На ногах стоптанные тапки, один сейчас соскочил. Она глянула вниз, зло пнула его. Гидеон отодвинул столик. Вайолет двинулась к двери. Овладела лицом. Патрисия, стоявшая в коридоре, поспешно шагнула в сторону. Вайолет скрылась у себя в спальне, грохнув дверью, и громко повернула ключ.

Как только Вайолет, удаляясь, повернулась к ней спиной, Тамар тоже встала и со словами: «Пошли и мы», бросилась к шкафу и принялась вытаскивать чемоданы.

Гидеон вздохнул: «О боже!» и поднялся. Отец Макалистер машинально схватил с тарелки са-

харный кекс, розовый, и целиком запихнул в рот. Все направились в прихожую.

— Что ж, — проговорила Патрисия, — не разбив яйца, яичницу не приготовишь. Пошли, выходим, уводите Тамар, пока она не передумала.

— Она не передумает, — сказал Гидеон.

— Если бы я вытащила тот мешок в прихожую, могли бы забрать его с собой. У Вайолет в комнате неописуемая грязь и беспорядок, под кроватью что-то гниет, я даже не поняла, что это такое.

Патрисия надевала пальто. Священник взял свое. Тамар выволокла три больших чемодана и подтащила к двери. Таща их, она странно взглянула на отца Макалистера, и тот подумал: она видит его насквозь. Кто из них кого предал?

— Машина далеко стоит, — сказала Патрисия. — Дойдем или подогнать ее? Можем вместе донести чемоданы. Хочу убраться отсюда. — Священнику сказала: — Хотите, подвезу вас?

— Нет, спасибо, мне надо навестить кое-кого неподалеку.

Гидеон сказал Роуз:

— Вы с Тамар идите за машиной. Нет смысла тащить чемоданы. Вынесем их на лестницу. Я подожду здесь. Не то Вайолет как раз выскочит.

— Не выскочит. Ладно. Идем, Тамар.

Гидеон со священником посмотрели друг на друга. Священник, подняв брови, слегка кивнул в сторону закрытой двери в спальню. Гидеон с непроницаемым лицом, продолжая держать открытой дверь на лестницу, сказал:

— Большое вам спасибо. Мы еще поговорим обо всем.

— Да. — Отец Макалистер вздохнул, махнул Гидеону, спустился вниз и вышел на улицу.

Гидеон дождался, пока стукнет, закрываясь, дверь парадного. Затем осторожно прикрыл дверь квартиры, подошел к спальне Вайолет и постучал:

— Вайолет! Они ушли. Выходи.

Немного погодя появилась Вайолет. Она переоделась, причесалась, припудрила нос, сняла очки. Она явно плакала, и от пудры, наложенной под глазами, морщинистая кожа выглядела белой, сухой и пыльной. Она хмуро уставилась на Гидеона, а он увидел у нее за спиной хаос в комнате, так поразивший Роуз. Она перешла в чистенькую комнату Тамар, чуть сдвинула стол и подняла тарелку с кексами, предлагая Гидеону. Он взял один. Они присели на кровать. Первый раз за много лет Гидеон почувствовал неожиданное физическое влечение к старинной

подруге, желание, которому не поддался, стиснуть ее в объятиях и рассмеяться. Да, думал он, настоящая сильная личность, достойная любви, достойная восхищения, пропала, погубила себя в этой конуре.

Волосы Вайолет требовали стрижки, как и у Тамар, но она их тщательно расчесала и взбила. Они по-прежнему сохраняли свой природный каштановый цвет, и там и тут их оживлял блеск серебряных нитей. Ноздри слегка покраснели то ли от холода, то ли от недавних слез. Губы, слегка тронутые помадой, сурово сжаты. Она пригладила челку надо лбом, неизменно нахмуренным, — знакомый жест. Взгляд у нее был как у высокопоставленной чиновницы. По ее виду никак нельзя было сказать, что она потерпела поражение. Ввязавшись в затеянную отцом Макалистером авантюру, Гидеон боялся, может, и хотел, чтобы она была более слабой и сговорчивой. Это был момент, когда Вайолет могла подчиниться судьбе, но сейчас было маловероятно, что она подчинится чему-нибудь.

Оба молчали, предоставляя друг другу заговорить первым.

— Они вернутся, — проговорил Гидеон, — по крайней мере, Роуз позвонит снизу и я понесу

чемоданы. Машина стоит довольно далеко. У нас есть десять минут. Но я, конечно, зайду завтра.

— Зачем ты вовлек меня в этот отвратительный фарс? Этот зануда был уже чересчур, — сказала Вайолет.

— Это была его идея, — ответил Гидеон не совсем искренне. Стратегию разработал священник, но тактика была, определенно, Гидеона. — Таков был план, понимаешь.

— Увезти Тамар.

— Да.

— Но она могла уйти в любое время, я не держала ее!

— Видишь ли, в каком-то смысле держала. Ты лишила ее воли. Ей была нужна моральная поддержка…

— Моральная?

— Чтобы уйти ясно и недвусмысленно, имея на то разумное оправдание.

— Имеешь в виду, чтобы жить на твоем иждивении?

— Не могла же она просто так взять и убежать. Должен был быть налет солидного спасательного отряда.

— Это показывает, что ты не думаешь обо мне, не считаешься со мной. Эта свора, ворвавшаяся

сюда без предупреждения! Ни с кем другим ты бы себе такого не позволил. Ты меня презираешь.

— Нет, Вайолет…

— Все вы отлично отрепетировали свои роли.

— Ты тоже недурно сыграла.

— Считаешь? Все было задумано, чтобы унизить меня. Ладно, это было умно. Моя реакция была предсказуема, все реплики расписаны заранее. Это было похоже на… на… покушение на мою жизнь.

— Прости, — сказал Гидеон, — но послушай, ты правда не возражаешь, чтобы я подкидывал Тамар денежек, пока она будет в Оксфорде?

— Мне наплевать…

— Отлично, вопрос решен…

— Поскольку я ее больше никогда не увижу.

— Но ты-то остаешься.

— Меня не существует.

— Ох, да брось, Вайолет, подумай, ты же способна думать. Макалистер уверен, что Тамар в душе по-настоящему любит тебя и…

— Она меня ненавидит. Всегда была страшно холодна со мной, даже когда была маленькой. Послушная, но просто ледяная. Я не виню ее. Я ее ненавижу, если уж на то пошло.

— Не знаю, как Тамар, не хочу гадать. Скажем

так: я человек, возможно, единственный, кто не только знает тебя, но и любит. Это тебя устраивает?

На сей раз Вайолет, вместо того чтобы ответить как-нибудь издевательски, сказала:

— О Гидеон, спасибо, что любишь меня, — не то чтобы я поверила… но это бесполезно… скисшее молоко… годится, только чтобы выбросить.

— Я никогда ничего не «выбрасываю», вот почему все, к чему я притрагиваюсь, обращается в золото. Позволь мне помочь тебе. Я все могу. Одной только силой воли. Я вытеснил Джерарда из того дома в Ноттинг-Хилле. Слушай, давай продадим эту квартиру, Пат права, кошмарная квартира, с привидениями. Переезжай жить к нам.

— С Тамар? Быть прислугой? Нет уж, спасибо.

— Вы с Тамар должны помириться… не обращать внимания на мелочи… ты должна жить, должна быть счастлива… для чего еще деньги существуют, в конце концов?

— Нет смысла. Ты счастливый человек. Такой, как ты, не способен просто сделать счастливой такую, как я. Со мной все кончено. Можешь позаботиться о Тамар. Речь только об этом.

Снизу позвонили.

— Загляну завтра.

— Меня здесь не будет.

— Не пугай меня, Вайолет. Ты знаешь, что небезразлична мне…

— Не мучай меня.

Она вышла в прихожую, открыла уличную дверь и снова скрылась в спальне, запершись на замок.

Гидеон, слыша Роуз, зовущую снизу, вынес чемоданы на лестничную площадку. Закрыл дверь квартиры. Она не убьет себя, подумал он. Хорошо, что он сказал ей все это. Ей будет над чем поразмыслить.

В сущности, хотя Вайолет не покончила с собой той ночью, она была ближе к этому, чем догадывался Гидеон. Ее пугала не столько собственная участь, сколько таинственная болезнь Тамар. В смертельной бледности Тамар и в ее искаженном страданием лице она видела лик собственной судьбы — своей смерти, потому что ей никогда не воспрянуть, тогда как Тамар выздоровеет, чтобы сплясать на ее могиле. Она была потрясена новой бессердечной своевольной Тамар, столь непохожей на себя прежнюю, холодную, но покорную, и сейчас была в смятении, оттого что Тамар ушла, чего она вовсе не ожидала. В

конце концов, она нуждалась в присутствии Тамар и сказала об этом. Она чувствовала себя страшно одинокой. Чувство униженности вкупе с хроническим чувством обиды делали все трудней попытки общения с людьми. Скоро это вообще станет невозможным. Она не испытывала от этого никакого удовольствия. Ненавидела толстые блестящие хихикающие физиономии в телевизоре. Даже тихое пьянство в одиночку, чем она теперь в основном занималась, не доставляло облегчения, больше походя на способ самоубийства. Ею начало овладевать чувство нереальности, полной фальши индивидуального существования. Что, в конце концов, значит быть «личностью», обладать речью, памятью, к чему-то стремиться, сдерживать вопли? Что такое это непонятное нечистое тело, от которого не скрыться, чьи части вечно перед глазами? Почему ее «личность» просто не прекратит свое существование и не распадется, не станет призрачным облачком, носимым ветром?

Позже, за бутылкой джина, она подумала, что, может, пойдет к ним, в ту квартиру. Тамар сбежит. Но ее они ни за что не выгонят! Она останется и превратит их жизнь в кошмар.

У отца Макалистера, которому, конечно, некого

было навещать поблизости, сейчас была одна забота: вернуться в свой приход. В отвратительном настроении он сидел в вагоне метро. Всем известно, что легче людей освободить, нежели научить их любить. Он много раз произносил слово «любовь», много раз говорил его Тамар. В эмоциональном напряжении частых встреч священника и кающейся Тамар она заявила, что «действительно» любит мать, а мать «действительно» любит ее. Это было то, чего он ожидал от нее и что побуждал сказать. Не был ли он, однако, под таким влиянием, в такой зависимости от представлений о силе любви, что мог пропустить и недооценить несомненное существование несомненной ненависти? Не слишком ли был снисходителен, видя в себе некоего мага, противопоставляющего бесконечно многоликому злу силу, не свою собственную, которая должна быть абсолютно несокрушимой? Случай Тамар волновал его потому, что столь многое было поставлено на карту. Он с грустью сознавал, что в основном его усилия в исповедальне (а он был популярным исповедником) сводились к тому, чтобы облегчать души закоренелых грешников, которые бодро выходили от него, чтобы грешить дальше. Но они хотя бы возвращались. С Тамар

же, казалось ему, это было как вопрос жизни и смерти; если бы он смог освободить ее, то это было бы раз и навсегда. Имея обширный опыт, он все еще мог оставаться наивным. Да, она продемонстрировала смелость, но откуда взялась у нее смелость? Что дало ей силу, потребную, чтобы оставить мать, несмотря на ее ужасные страдания? Неужели все кончится только разрывом, освобождением от навязчивых идей, а не возрождением духа?

Отец Макалистер вспомнил как чудо невинность детей, которые под его руководством всегда разыгрывали в деревенской церкви евангельскую историю о Рождестве. Восхищение детишками, изображавшими Иосифа и Марию, и трех волхвов, и вола и осла (всегда любимая роль), гордость родителей, слезы радости, которые матери не могли сдержать, глядя на своих малюток, с такой нежностью и благоговением представлявших святочную историю. Ясли с Младенцем, Спасителем мира, Космоса, всего сущего становились в маленькой холодной церкви чем-то сияющим и лучезарным и столь священным, что в определенный момент зрители непроизвольно падали на колени. Могло ли это быть лицедейством, суеверием? Нет, но это было

также и чем-то, чего он был недостоин, с чем был разъединен, потому что был лжецом, потому что линия неискренности проходила через него и заражала все, что он делал. Он не верит в Бога и Божественность Христа, ни в жизнь вечную, говорил себе отец Макалистер, но непрерывно говорит обратное, должен говорить. Для чего? Для того, чтобы жить жизнью, которую выбрал и которую любит. Сила, которую дает ему его Христос, унижается, проходя через него. Она приходит к нему как любовь, а исходит от него как магия. Вот почему он совершает серьезные ошибки. Больше того, несмотря на душевные терзания, совершая ритуал, который он дозволял себе время от времени, священник чувствовал в сокровеннейшей глубине души уверенность и покой. За сомнением таилась истина и за сомнением в этой истине таилась истина… Он был грешник, но знал, что его Искупитель существует.

Это было долгое холодное возвращение домой. Отопление в вагоне не работало, но ему удалось поймать такси от местной станции до Фокспада, так что не пришлось тащиться пешком. Войдя в свой маленький домик, он закрыл ставни и зажег дровяную печку. Потом опустился на колени и помолился. После этого он почувствовал себя луч-

ше, достал из холодильника кастрюльку с рагу и разогрел. Его Господь, возвращаясь к проблеме, сообщил, что следующее его задание — Вайолет.

~~~

Радуясь солнцу ранней весны, Джин и Дункан Кэмбесы сидели в кафе-ресторане в приморском городке на юге Франции. Оба выглядели прекрасно. Лица беззаботные; Дункан сбросил несколько килограммов. Они нашли, а потом и купили совсем недалеко от того места, где сейчас сидели, в точности такой старинный живописный каменный фермерский дом, какой искали. Конечно, с ним еще предстояло порядком повозиться, но после ремонта это будет просто чудо. Пока же они остановились в отеле.

Солнце заметно грело, но с моря тянул прохладный ветерок, и они оделись потеплей, на Дункане была старая куртка из ирландского твида, на Джин просторный пушистый пуловер. Они сидели на террасе, под шпалерой, увитой начинавшим распускаться виноградом, и пили белое местное вино. Скоро они пойдут внутрь и будут наслаждаться долгим, очень хорошим ланчем с красным местным вином и с коньяком под занавес. С того места, где они сидели, им открывался вид на небольшую крепкую гавань с короткими мощными волнорезами и широкими
~~~

причалами из огромных серых каменных блоков, крутобокие изящные рыбацкие лодки и тихо покачивающиеся мачты стройных яхт.

Джин и Дункан смотрели друг на друга, погруженные в молчание, как часто бывало теперь, в степенное безмятежное молчание, прерываемое вздохами с легким подергиванием, похожим на то, как это делают отдыхающие животные, потягивающиеся в приятной истоме. Они сбежали наконец. Будучи теперь вдалеке ото всех, они чувствовали превосходство над теми, кто мог осуждать их или нагло любопытствовал по поводу их благополучия. Их любовь друг к другу выжила. Об этом, что безусловно было главным, больше того, самой сутью их новой жизни, оба думали непрерывно, но выражалось это без слов, в безмолвных взглядах, в смущенных объятиях, в радости соития, в их новом доме, в том, что они были во Франции, в застольях, в прогулках по окрестностям, в том, что они неразлучно были вместе. Они постоянно обращали внимание друг друга на что-то интересное, очаровательное, красивое, гротескное вокруг них, беспрестанно шутили и смеялись.

Их молчание еще скрывало и то, что каждый из них недоговаривал. Существовали вещи, касать-

ся которых было немыслимо; обоих кошмарные тайны заставляли временами содрогаться от страха и ужаса, испытывать глубокое волнение, и нужны были усилия, чтобы нести это невыразимое бремя. Джин не рассказала Дункану ни о том, почему ее машина разбилась на Римской дороге, ни о признаниях Тамар о вечере с Дунканом и существовании, потом несуществовании ребенка, ни о найденной записке Краймонда насчет дуэли и ее звонке Дженкину. Так что Джин знала, что знал Дункан, но не знал, что она это знает, а еще то, чего Дункан не знал. Дункан не рассказал Джин о том вечере с Тамар, промолчал и о обстоятельствах смерти Дженкина, о которых она так и осталась в неведении. Ни Джин не пришло в голову, что Дункан в конце концов мог пойти к Краймонду, ни Дункану, что Джин могла обнаружить краймондовскую записку. Джин считала, что маловероятно, чтобы Тамар когда-нибудь решилась рассказать Дункану о ребенке. Она была уверена, что Тамар захочет скрыть от него эту ужасную историю и у нее хватит порядочности, чтобы не доставлять Дункану ненужную боль. Она также была уверена, что Краймонд словом не обмолвится о том, что произошло на Римской дороге. Дункан же думал, что Краймонд никогда

не признается, как погиб Дженкин. Краймонд был человеком в высшей степени способным держать язык за зубами и к тому же счел бы делом чести не возлагать на Дункана вину за то, в чем сам виноват более его. Краймонд устроил этот смертельный спектакль и вовлек в него Дункана, и в итоге все кончилось смертью Дженкина. Ради собственного спасения, а также из уважения к Дункану он будет молчать. То, что был заряжен только один револьвер, часто было предметом размышлений Дункана: размышлений, но не подозрений. Для Дункана все было окончательно ясно: Краймонд не собирался убивать его, нет, хотел убить себя руками Дункана, дать тому такой шанс. Краймонд положил револьверы после того, как они бросили жребий. Дункан предоставил случаю распорядиться, кто из них где встанет. Он вспомнил слова Краймонда: «Нужно иметь привычку к оружию, чтобы наверняка убить кого-то даже с близкого расстояния». Краймонд хорошо подготовился и хотел, чтобы все было по правилам. Возможно, он полагал, что добьется своего в любом случае. Если он умрет, то избавится от жизни, которая, вероятно, теперь не представляла для него никакой ценности после того, как он закончил книгу, и предоставит Дункану

объяснять то, что выглядело бы как высокомотивированное убийство. Если же останется жив в соответствии с какими-то извращенными расчетами своего извращенного ума, то избавится от Дункана, поскольку они окончательно расквитаются друг с другом, разойдутся навсегда. Дункан понимал этот расчет; больше того, его это как будто тоже устраивало. Незавершенное дело будет завершено. Он даже, проснувшись как-то утром, поймал себя на том, что больше не ненавидит Краймонда.

Несмотря на все имеющиеся у них основания не касаться запретных тем, все же для вида, словно то была игра, которую они должны были вести недруг против друга, а в паре, Джин и Дункан часто разговаривали о Краймонде. Через это, как они молча соглашались, надо было пройти. Потом они перестанут упоминать его имя. О Дженкине они думали много, но говорить не говорили. По странному совпадению, оба обходили молчанием смерть Дженкина, потому что оба считали себя виновными в ней. Телефонный звонок Джин заставил Дженкина помчаться к Краймонду, палец Дункана нажал на курок. Ирония судьбы, которую они никогда не поймут.

— Беда Краймонда была в том, что он был ли-

шен чувства юмора, — сказала Джин. Они всегда говорили о нем в прошедшем времени.

— Начисто лишен, — подхватил Дункан. — В Оксфорде он был ужасно серьезным и сосредоточенным. Он да Левквист были знамениты этим. Левквист тоже страдал отсутствием чувства юмора. Думаю, он настолько погрузился в греческую мифологию, что ничего другого для него попросту не существовало. Он все время жил в каком-то греческом мифе и видел себя его героем.

— Видимо, древние греки не знали чувства юмора.

— Почти. Аристофан на самом деле не смешон, и вообще в греческой литературе не найти ничего подобного юмору Шекспира. Их солнце было слишком ясным, а чувство рока слишком сильным.

— Они были чересчур довольны собой.

— Да. И слишком боялись богов.

— А действительно ли они верили в тех богов?

— Они определенно верили в сверхъестественные существа. Были страшно суеверны, в возвышенном смысле.

— Напоминает Краймонда. Он тоже был возвышенным и суеверным.

— Первая работа, которую он опубликовал,

была о мифологии.

Они помолчали минутку. Разговаривая о Краймонде, они никогда не упоминали книгу.

— Когда приедет Джоэл, давай отправимся в Грецию, — предложила Джин.

Джоэл Ковиц в своих путешествиях, а он любил путешествовать, благоразумно избегал Лондона, пока у Джин длился ее второй «краймондовский период». Не то чтобы Джоэл придерживался какой-нибудь теории о прочности или непрочности ее новой ситуации. Просто он знал, когда будет желанным гостем, а когда нежеланным; он изучал письма Джин (в последнее время она регулярно писала ему), ожидая знаков, свидетельствующих, что она действительно хочет снова видеть его. На его любящий взгляд, читать письма Джин было ужасно, почти всегда это были почтительные отписки: здорова, Краймонд тоже, он работает, погода отвратительная, с любовью и т. д. Словно письма из тюрьмы, думалось ему, словно прошедшие цензуру. Он отвечал тактично, рассказывал о своих делах в своей обычной манере, остроумно (он был мастер в эпистолярном жанре), и не задавал вопросов. На самом деле ему очень хотелось навестить ее, и не только ее, но и Краймонда, которого уважал как

человека выдающегося и замечательного, куда более достойного и интересного, чем муж Джин. В их переписке наступила долгая пауза. Потом пришло совершенно иное письмо. Джин опять с Дунканом, они собираются жить во Франции, она надеется, что он скоро приедет к ним. Джоэл, который все время думал и беспокоился о дочери, коротко вздохнул, сожалея о Краймонде (если б только она подцепила этого парня в Кембридже), и обрадовался, что письмо дышало жизнью, надеждой, и его языку, новому, искреннему.

— Нам надо быть уверенными, что рабочие точно знают, что делать, когда мы уедем.

— Я еще не выбрала плитку для кухни, — сказала Джин. — Джоэл не должен приезжать сюда, не хочу, чтобы он видел дом, пока работы не будут окончательно закончены. Можно встретиться в Афинах, побыть там с ним недельку и отправиться в Дельфы.

— Чудесно будет вновь оказаться в Афинах.

Насчет Дельф Дункан сомневался. Опасный бог, возможно, еще обретается там. Дункан, как шотландец, был несколько суеверен. Он не хотел, чтобы какие-то непонятные силы влияли на их жизнь, не хотел, чтобы что-то волновало Джин. Ее состояние заботило его, как состояние человека,

который приходит в себя после кратковременного помешательства.

— Полагаю, ты отделалась от Роуз? — спросил Дункан.

— Да.

Джин и Дункан на короткое время останавливались в Париже у его давних друзей по дипломатической службе, и Джин, повинуясь внезапному порыву, написала оттуда теплое письмо Роуз. Письмо очень короткое, без каких-то подробностей, просто как знак, символ или тайная эмблема, кольцо, или талисман, или пароль, подтверждающее их неизменную дружбу и любовь. Роуз, конечно, ответила немедленно, спрашивая, нельзя ли ей присоединиться к ним. К тому времени Джин и Дункан уже уехали из Парижа, и письмо Роуз, такое же короткое, такое же символическое, последовало за ними на юг. Джин ответила, чтобы та не приезжала. Конечно, их дружба вечна. Но она была не уверена, когда и где ей захочется вновь увидеться с ней. Они пережили Ирландию, скорей всего пережили бы это и сейчас. Но Джин не чувствовала никакого желания опять ловить на себе любящие взгляды, ни вести новые интимные разговоры. Потом, конечно, потом, когда будет готов их чудесный

дом, к ним будут приезжать. Роуз и Джерард, старые их друзья… как мало их осталось… новые друзья, если таковыми обзаведутся, умные и занимательные знакомые.

Смогут ли они с их истерзанными душами обрести теперь покой, реально ли все это, спрашивала она себя: дом, Дункан, сидящий рядом, такой спокойный и красивый, похожий на льва, как когда-то. Слава богу, пить стал меньше и французская еда ему на пользу. Летом станем плавать каждый день. Будет ли все это? Действительно ли она перестала любить Краймонда? Она часто задавалась такими вопросами, не потому, что сомневалась, но чтобы убедить себя в реальности своего избавления. Но было и печально, очень печально. Смерть Дженкина оборвала какую-то связь, убила последнюю иллюзию — или одну из последних. Конечно, Краймонд не убивал его. Но был причиной его смерти. Джин не позволяла себе задумываться над этим совершенно непостижимым таинственным случаем, что-то в рассказе Краймонда, хотя она верила ему, оставалось загадкой. Как если бы Краймонд убил себя. Так в известной степени Дженкин достиг чего-то своей смертью, он умер ради нее, думала она. Да, это безумие так говорить, но все, кто связан с

Краймондом, безумны. И каким-то образом она тоже убила его, не просто тем, что позвонила ему, а тем, что не смогла убить Краймонда там, на Римской дороге. Как странно думать, что еще чуть-чуть, и ее не было бы здесь. Что он замышлял? Свернул бы в сторону в последний момент, думал ли, что она это сделает? Хотел подвергнуть себя испытанию, чтобы освободиться, если выживет? Не был ли договор о совместном убийстве чисто символическим, поскольку он знал, что она испугается и так их отношениям будет положен конец, поскольку ее любовь даст слабину, милосердным способом избавиться от нее, символическим убийством? Если она выдержит испытание, то умрет, если не выдержит, он бросит ее. Но и он мог умереть, возможно, он и хотел умереть, он предложил ей себя в жертву, а она не приняла ее. Он действительно пошел ва банк, для него рискованная игра была религиозным обрядом, экзорцизмом, он хотел покончить с их любовью или с их жизнью и предоставил богам решать это. Он очень часто говорил, что их любовь невозможна — и все же любил ее, несмотря ни на что. Иногда она видела его во сне, видела, что они примирились, — и в момент пробуждения, когда она понимала, что это лишь сон, глаза

ее наполнялись слезами. Когда на том поле он сказал: иди, удачи тебе, мы больше никогда не увидимся, это говорила его любовь, его яростная любовь, готовая убить их обоих. Могла ли такая любовь кончиться? Не должна ли она была просто превратиться во что-то тихое, сонное, темное, как какой-то крохотный неподвижный организм, который способен лежать в земле, не сознавая, жив ли он или мертв. Все прошло, думала она, гоня от себя эти грустные картины, все кончено. Теперь она живет новой жизнью, под знаком счастья. Она никогда не переставала любить Дункана — а теперь у них есть дом, и она скоро снова увидит отца. О, пусть их души, такие истерзанные, найдут теперь покой.

Дункан думал: им так спокойно вместе, так бестревожно — но не потому ли, что они оба мертвы? Дункан не мог понять, пережил ли он все это лучше, чем ожидал, возможно, даже лучше всех остальных, или он просто уничтожен. Он часто чувствовал себя совершенно разбитым, раздавленным, рассыпавшимся, как большая фарфоровая ваза, разлетевшаяся на мелкие осколки, которые ни за что и никогда не собрать. Но чаще он чувствовал, что его основа уцелела, крепкая, злая, ироничная основа. То, что от него

осталось, не собиралось страдать! Бесчувственность была его спасением. Он столько страдал из-за Джин и теперь решил положить этому конец. Наверное, мир уже рухнул, наверное, мир рухнул в тот роковой миг в полуподвальной комнате Краймонда или той летней ночью, когда он увидел Джин танцующей с Краймондом. Наверное, то, что есть сейчас, — это жизнь после смерти. Огромных кусков его души больше не существовало, его душа была опустошена, он жил с половиной, с долей души, как живут с одним легким. То, что осталось, почернело, высохло, съежилось до размеров пальца. И все же он еще намеревался и упрямо надеялся быть счастливым и обязательно сделать счастливой Джин. Возможно, в нем всегда присутствовала эта жесткость, злость, которую успокаивала и убаюкивала его любовь к ней, беззаветная его любовь, должная, так казалось, изменить мир, и женитьба на ней, богатой красивой и умной Джин Ковиц, чего жаждало столь много мужчин. Может, вот за эту каплю тщеславия в своей великой любви он и расплачивался сейчас? Он любил Джин, «простил» ее, но уязвленное тщеславие нуждалось в удовлетворении. Не станет ли он в конце концов демоном, вырвавшимся на свобо-

ду? Очень странно, но иногда он чувствовал, что Джин откликается на эту демоническую свободу, неосознанно подхватывает, словно учась у того нового и худшего, что проявилось в нем.

А порой его изумляло собственное спокойствие, мягкость, деловитость, даже жизнерадостность. Он любил жену и был счастлив, любя ее. Он чувствовал усталость, усталость расслабленную, а не безумную. Он получал удовольствие от нового дома и был способен раздумывать над тем, где лучше разместить бассейн, даже просыпаясь ночью. И все же не забывал о призраках и ужасах, черных фигурах, сопровождавших его и рядом с которыми чувствовал себя крохотным и ничтожным. Наверное, они просто будут так сопровождать его до конца жизни, не причиняя ему больше вреда, — или их близость сведет его с ума? Сможет ли он жить дальше, сознавая, что в любой момент… Что будущее сохранит от этого понятного страдания? Возникнет ли вновь в его жизни Краймонд, не возвратится ли неизбежно и безжалостно спустя несколько лет? Джин даже сказала ему — но как нечто вообще, чувствуя, что должна иметь возможность говорить что угодно: «Предположим, я снова сбегу с Краймондом, ты простишь меня, примешь обратно?»

— «Да, — ответил Дункан, — прощу и приму тебя обратно», — «Хоть семь раз?» — «Хоть семьдесят семь». Джин сказала: «Я должна была спросить тебя. Но моя любовь к Краймонду умерла, с ней покончено». Правда ли это, со смирением думал Дункан, откуда у нее такая уверенность, стоит Краймонду свистнуть, и она побежит к нему. Семьдесят семь раз — это очень уж много. Если их оставят в покое, не устанет ли он скоро беспокоиться о Джин и Краймонде? У него есть о чем думать: дом, где он будет спокойно писать мемуары, а Джин посадит сад и примется за поваренную книгу, о которой все время говорит, и, может быть, они поездят по окрестностям и составят путеводитель или станут путешествовать и описывать свои поездки по разным странам. Его продолжали посещать мысли, не навязчивые, о смерти Дженкина. Он не чувствовал ни малейшего желания или необходимости рассказывать кому-либо о том, что произошло на самом деле. Если людям хочется думать, что Краймонд убил Дженкина, это их дело, к тому же это не слишком далеко от истины. Он только недавно совершил забавный маленький обряд. Когда он оставил Краймонда разбираться с мертвым телом и полицией, он унес собой в кармане

пять залитых свинцом гильз, которые вынул из револьвера, из которого убил Дженкина. Он не мог решить, что с ними делать. Если подозрение пало бы на него, эти странные гильзы могли бы доставить неприятности и послужить возможным доказательством. Надо было избавиться от них, но в Лондоне безопасно сделать это было до смешного трудно. Он захватил их с собой во Францию и в итоге, остановив машину в пустынном месте вдалеке от их фермерского дома, пока Джин устраивала пикник на травке, отошел в сторонку и бросил их в глубокую речную заводь. Ощущение гладких тяжелых гильз в руке вызвало мысль о теле Дженкина. Это было похоже на погребение в море.

Да, он понимал, почему Краймонд должен был послать ему вызов, повинуясь нервному порыву, неодолимому желанию, подобному неодолимому желанию тореадора коснуться быка. Женщина ушла, драма разыгрывалась между ним и Дунканом. Краймонд никогда не любил быть должником, неизменно расплачивался, был азартным игроком, боялся богов. Ему свойствен был жест, каким он распахивал рубаху на груди, — это был обряд очищения, изгнание чего-то, что, как вина у греков, было формальным и неизбежным, и от

чего освобождало только повиновение и покорность божеству. Но почему Дженкин должен был умереть? Краймонд предложил себя в жертву Дункану, но Дункан убил Дженкина. Так Дженкин умер за него, вместо него, он должен был умереть, чтобы Краймонд мог жить? В том ли состояло глубинное пособничество Дункана Краймонду, чтобы убить его, не убивая? Но то, что он не убил Краймонда, привело к убийству Дженкина. Может, даже, в каком-то смысле, преднамеренному убийству? Дункан каждый день вспоминал темное красное отверстие во лбу Дженкина и звук, с каким ударилось об пол его тело. Вспоминал особое тепло его лодыжек и носков, когда волок тело по полу, и как потом переступал через него, в бешеной спешке наводя порядок в комнате. Вспоминал слезы Краймонда. А еще среди этих воспоминаний спрашивал себя, заглядывая в глубину своей души, не представлял ли он в своих играх с оружием, как убивает кого-нибудь именно так, точно в лоб? Может, старая садистская фантазия всплыла спустя много лет, чтобы подтолкнуть его руку; и он оказался готов к этому из-за других былых вещей, вроде давнишней ревности к Дженкину, сохранившейся с оксфордских времен. После смерти Синклера Джерард

искал утешения не у Дункана, а у Дженкина. За долю секунды до того, как нажать на курок: не возникло ли у него решение? Дункан хотел убить Краймонда… но понял, что не может… потому что боится… потому что на деле не хочет… но должен выместить свое чувство мести на ком-то… кто-то обязан умереть. Так, не находя сил убить того, кого ненавидят, убивают его собаку.

— Твой глаз выглядит лучше, — сказала Джин, которая внимательно глядела на него. — Я бы даже сказала, что уже почти ничего не заметно. Ты хорошо им видишь?

— Пожалуй… или так кажется… в умных старых мозгах все корректируется, это часто бывает.

— Все у нас подкорректируется, — сказала Джин.

Они улыбнулись друг другу устало, понимающе.

— Не помню, — продолжала она, — когда это случилось у тебя с глазом. Так не всегда было.

— А, да давным-давно, еще до нашей поездки в Ирландию. — Чем-то этот разговор неожиданно натолкнул Дункана на мысль, что сейчас подходящий момент рассказать Джин об истории с Тамар. Хорошо будет облегчить душу. — Должен тебе покаяться в одном пустяке… это связано

с Тамар… у меня было с ней мимолетное приключение, некоторым образом любовное, как-то вечером, когда ты сбегала, а она заглянула меня утешить.

— С Тамар! — воскликнула Джин. — С этим славным чудесным ребенком! Как ты мог! — Она почувствовала непредвиденное облегчение, услышав неожиданное заявление Дункана, словно полуправдивое полупризнание могло как-то «пойти им на пользу». — Надеюсь, ты не позволил себе ничего такого, что огорчило бы ее?

— О, вовсе нет. Ничего, собственно, и не было. Она просто обняла меня, чтобы подбодрить. Я был очень несчастен и тоже обнял ее. Был тронут ее сочувствием. Не обижал. Ничего больше не было.

Что за милый старый лжец, подумала про себя Джин. Конечно, допрашивать его она не станет, и сказала:

— Полагаю, она была польщена.

— Скорее я был польщен! Для нее это, наверное, вообще ничего не значило. Не сердишься на меня?

— Нет. Конечно нет. Я никогда не стану сердиться на тебя. Я же тебя люблю.

Она подумала, что, если бы Тамар не пришла

и не рассказала о Дункане и ребенке, ей бы в голову не пришло заглядывать в стол Дункана, звонить Дженкину и посылать его к Краймонду. Если бы Дункан не соблазнил Тамар, Дженкин был бы сейчас жив. Если бы она сама не сбегала от Дункана, он бы не стал соблазнять Тамар. Это все ее вина, или его, или вина Тамар, или это судьба, что бы это ни значило? Какая иногда на нее накатывает усталость. Как если бы Краймонд разрушил что-то в ней. Наверное, это наказание ей за то, что она сбежала от Дункана. Будет ли конец всему этому? А бедная Тамар и тот ребенок. Иногда по ночам Джин думала о нем, ребенке Дункана, которого они могли бы усыновить. Так, если в конце концов Дункан оказался способен стать отцом, может быть, другой ребенок, не ее, его, о котором они бы заботились… Но нельзя позволять себе такие мысли, слишком поздно, слишком это сложно, время чудес, и новых начинаний, и непредсказуемых приключений прошло, их задача теперь просто сделать друг друга счастливыми.

Ветер стал тише, волнующееся море, слепившее пляшущими бликами, успокоилось. Мачты яхт в гавани перестали раскачиваться. Рыбацкая лодка удалялась от берега, приглушенно и ритмично

стуча мотором. Застенчивый ленивый прерывистый этот звук нес успокоение Джин и Дункану, словно соединяя воедино и подытоживая картину, гавань и морс, столь прекрасную, столь исполненную надежного обещания. Шелковая светло-синяя гладь моря сливалась на горизонте с бледным небом, а из безоблачного зенита лилось сияние южного солнца.

— Время для ланча, — сказал Дункан. — Надо отдать дань и другим удовольствиям! — Джин всегда спорила с тем, что лучшее время — это время аперитива.

Он встал, а Джин осталась сидеть, слушая удаляющийся мотор лодки и глядя на море. Поднявшись, Дункан сунул руку в карман старой твидовой куртки и что-то нащупал, что-то круглое, очень легкое и мягкое. Он вынул это что-то — маленький рыжеватый шарик, похожий на моточек шелка или спутанные нитки. Он почувствовал, как лицо его вдруг побагровело. Это, конечно, были волосы Краймонда, которые он в бесконечно далеком прошлом поднял с пола их спальни в башне в Ирландии. Он раскрыл ладонь и дал шарику упасть на землю у ног. Легкий ветерок шевельнул его, покатил, прибил к железной ножке столика. Дункан было дернулся, чтобы

поднять его. Что же, пусть нечто столь роковое исчезает, смешавшись с прахом земным? Шарик покатился прочь, к дороге, где его подхватил вихрь от проехавшей машины. Когда машина умчалась, ему показалось, что он все еще видит шарик на асфальте.

— Давай после ланча сходим посмотрим ту черепицу, — предложила Джин, вставая.

Они вошли в ресторан. Дункан почувствовал жалость к себе, задумавшись о том, что может скоро умереть от рака или в результате какого-то странного несчастного случая. Он не чувствовал себя несчастным, возможно, смерть, хотя и не обязательно, действительно близка; но теперь он и смерть словно стали добрыми друзьями.

— Мы так и не отыскали тот камень в лесу, — сказала Лили.

— Что за камень? — спросила Роуз.

— Старый каменный столб, древний менгир. Я знаю, что он там.

— Там есть камень восемнадцатого века с латинской надписью на нем, но он очень маленький. Не думаю, что это что-то доисторическое, если ты это имеешь в виду.

— Римская дорога идет вдоль лей-линии.

— Что, правда?

— Поэтому машина Джин там разбилась.

— Почему?

— Лей-линии передают человеческую энергию, как в телепатии, так что они притягивают призраков. Ты знаешь, что такое призраки: какие-то мысли людей прошлого, что они чувствовали и видели. Перед Джин появился призрак… может, римского солдата.

— Она говорила, что увидела лису, — возразила Роуз.

— Люди не любят признаваться, что видели призраков. Думают, что над ними будут смеяться, а еще боятся — призраки не любят, когда о них говорят, и если увидишь призрак, то просто поймешь, что это он.

— А ты видела его когда-нибудь?

— Нет, а хотела бы. В Боярсе наверняка есть призраки.

— Надеюсь, что нет, — сказала Роуз. — Я ничего такого не видела. — Ей не нравился этот разговор.

— Я всегда думала, что увижу призрак Джеймса, но, увы.

— Джеймса?

— Моего мужа — знаешь, он умер и оставил мне деньги.

— Ах да, ты ведь была замужем… извини…

— У меня нет ощущения, что я была замужем. Все закончилось так быстро. Бедный Джеймс и при жизни был похож на призрака.

— Ты часто думаешь о нем?

— Нет. Сейчас не часто.

Роуз почувствовала, что не может продолжать эту тему. И спросила:

— Так от Гулливера никаких новостей?

— Никаких, ни слова. Он в Ньюкасле. Во всяком случае, сказал, что едет туда. А сейчас может быть где угодно, в Лидсе, Шеффилде, Манчестере, Эдинбурге, Абердине, в Ирландии, в Америке. Отказался от квартиры и пропал. Исчез навсегда, что он и хотел, часто говорил мне это, сгинуть так, чтобы и следа не осталось.

— Полагаю, скоро напишет.

— Не напишет. Если бы хотел, давно бы уже написал. Сказал, это будет приключение. Наверное, уже завел какую-нибудь. Я потеряла его. В любом случае, он мне больше не нужен, черт с ним! Сделаю из воска его фигурку и брошу в огонь… как… как парень в Ночь Гая Фокса, я видела, прямо как живой человек, фигурка подняла руки, ох, это было ужасно…

Глаза Лили наполнились слезами, голос пре-

рвался.

Роуз и Лили гуляли в саду в Боярсе. Был вечер, сырой, пахнущий близкой весной, хотя еще было холодно. Низкие тучи, плотные, темные, двигались на восток, открывая чистое и прозрачное красноватое закатное небо. Почти весь день шел дождь, но сейчас прекратился. Роуз и Лили были в пальто и резиновых сапогах. Лили позвонила Роуз, чтобы узнать, слышал ли кто-нибудь что-то о Гулливере (они не слышали), и по голосу чувствовалось, что она готова расплакаться. Роуз, сочувствуя ей, пригласила ее приехать в Боярс. Вообще-то это было не совсем кстати. Аннушка, страдавшая приступами головокружения, легла в больницу на обследование. Маусбрук как будто тоже приболел или просто хандрил; в конце концов, он был больше Аннушкиным котом. Боярс поражал сиротливостью, словно душа дома, полная предчувствий, уже покинула его. Наверное, дом понял, что Боярс вскоре опустеет, начнет разрушаться или станет совершенно иным домом, с новой душой. Роуз, бродя по комнатам, начала уже сомневаться, что когда-то действительно жила тут.

У кромки кустов бледно желтели распустившиеся нарциссы. На самой верхней ветви еще

безлистного бука, четко вырисовывавшей на фоне ярко-красного неба, каркали вороны, весь день воевавшие с сороками. Роуз и Лили шли по мокрой траве вдоль одной из клумб с россыпью ранних фиалок.

— Тамар, мне кажется, стало лучше, — сказала Роуз, желая увести Лили от разговора о Гулливере и сверхъестественных вещах.

Упоминание о Тамар, похоже, не понравилось Лили. Она мучилась угрызениями совести, когда услышала о «депрессии» Тамар, или что там это было, поскольку чувствовала, что это она убедила Тамар совершить тот бесповоротный шаг. Ей было приятно печься о Тамар, делиться с ней житейской мудростью, своим особым опытом, помогать деньгами этому ангелочку, которого все так расхваливали. Только позже она поняла, к какому тяжелому решению она ее необдуманно толкала. И тогда сама, чего с ней не было до сих пор, стала горько сожалеть о собственном аборте, который в свое время казался ей счастливым освобождением. Она даже подсчитала сколько было бы теперь ее ребенку, если бы оставила его. Позже она получила от Тамар записку с чеком на сумму, которую Лили одолжила ей. Записка была короткой, холодной, никаких «с любовью,

Тамар», ни добрых пожеланий, ни слова благодарности. Наверно, ненавидит за то, что она ее уговорила. Глядя на записку, Лили готова была возненавидеть Тамар за то, что та заставила ее сожалеть и раскаиваться.

— Мне нет дела до всей этой религии, в которую она ударилась, — сказала Лили. — Просто психологическая уловка, долго это не протянется.

Роуз, которая держалась того же мнения, сказала неопределенно:

— У нее все будет хорошо… на самом деле она очень сильная девушка… храбрая.

— Я бы тоже хотела быть сильной и храброй и чтобы все у меня было хорошо, — сказала Лили.

— Постарайся не наступать на улиток, — предупредила Роуз. — После дождя они затевают свой танец.

По траве, озаренной закатом, ползало множество блестящих дождевых червей и улиток.

— Мне нравятся улитки, — сказала Лили, — бабушка приманивала их, и они заползали к нам в дом. Естественно, они всюду проникают. На днях я нашла одну у себя в квартире. Бабушка умела приручать дикие существа, они шли к ней сами. А улиток она использовала для телепатии.

— Каким это образом? — возмутилась Роуз,

сытая по горло рассказами о кошмарной бабке Лили, у которой был дурной глаз и чье имя никто не осмеливался произносить.

— Чтобы передать кому-то сообщение на расстоянии, у каждого из вас должно быть по улитке, ты говоришь своей, о чем хочешь сообщить, и человек с другой улиткой получает это сообщение. Конечно, над улитками нужно поколдовать.

Роуз поражало, в какой только вздор не верила Лили. Они вошли в дом.

Поужинали на кухне за большим кухонным столом, который Аннушка до того отскабливала, что со временем шероховатая столешница стала бледно-желтой, как восковой. Роуз позволила Лили приготовить им ужин: омлет, капуста, из которой Лили удачно сымпровизировала салат, чеддер и яблоки, оранжевый пепин, кожица на которых к весне чуть сморщилась и стала желтей стола. Эти два дня, что Лили провела в Боярсе, они ели мало, но вина пили много. Маусбрук, вытянувшись во всю свою кошачью длину на теплом кафеле за плитой, мрачно следил за ними золотистыми глазами. Роуз вытащила его, уложила на колени и принялась крепко гладить, но тот отказывался мурлыкать и скоро вывернулся и удалился в свой теплый склеп. Его шерсть, обыч-

но такая электрическая и гладкая, была сухой и жесткой. После ужина они прихватили виски и сели в гостиной у камина, в котором жарко пылали поленья. Им было легко вместе. Роуз все больше нравилась Лили, хотя ее неугомонность утомляла, а постоянные попытки пуститься в откровения раздражали. Лили много рассказывала ей о своем детстве и о Гулливере. Роуз не проявляла интереса. Но в компании Лили было веселее, а ее привязанность трогала Роуз. Они рано отправились спать, во всяком случае разошлись по своим спальням.

Оставшись одна у себя в комнате, Роуз подошла к окну. Больная луна вставала среди быстро несущихся рваных облаков. По Римской дороге проехала машина, отсвет ее фар скользнул по стенам и деревьям. Потом он пропал, луна скрылась за облаками, наступила непроглядная тьма и тишина. Роуз включила электрический камин. Зимой центральное отопление, отключаемое в большей части дома, когда не было гостей, не спасало от гуляющих сквозняков. Роуз ощущала близость пустых выхоложенных комнат. Она могла бы еще поболтать с Лили, но, расхаживая сейчас по спальне, чувствовала, что дар речи оставил ее — периодически охватывало ощуще-

ние, будто рот набит камнями. Она была оторвана от всего, нема, одинока. Мысль о забитом камнями рте и придавленном языке напомнила ей утро, когда она, придя в конюшню за яблоками, прихватила один из синклеровских камешков. Сейчас он лежал на туалетном столике, плоский черный камешек с белыми полосками и длинной трещиной сбоку, словно лопнул, открыв поблескивающее жемчужное нутро. Она подержала его на ладони, внимательно разглядывая. Он был такой особенный, неповторимый, столько интересного было в этом маленьком камешке. Когда-то давно Синклер выбрал его среди тысяч, миллионов камешков на каком-то пляже в Йоркшире, Норфолке, Дорсете, Шотландии, Ирландии. Ей стало ужасно грустно, будто камешек взывал к ней, прося защитить и пожалеть. Рад ли он был, что его выбрали? Как случайно все происходит и как дух присутствует во всем, прекрасном и уродливом. Она положила камешек и закрыла лицо ладонями, внезапно испугавшись тьмы за окном и безмолвия дома. А если Аннушка умрет? А если она уже умерла и дом знает об этом? Дом поскрипывал под ветром, как старый деревянный корабль. Чудилось присутствие призраков, шаги.

Она растеряна, думала Роуз, падает духом, теряет друзей. Джин больше не любит ее. Откуда она это взяла? Может ли это быть правдой? Поговорят ли они еще когда-нибудь откровенно и с любовью, глядя в глаза друг другу? Джин сказала, что она живет в мире грез, где все милы и добры и год не отличается от года. Никто никогда не пылал к ней страстной любовью. Она могла бы выйти за Джерарда, если бы очень постаралась. Тут Роуз неожиданно отчетливо услышала словно прозвучавший в спальне голос Краймонда: «Роуз!», как в тот день, когда он испугал ее, пришедшую по просьбе Джин проверить, не застрелился ли он. Никто из них двоих так и не был женат, должна была пробудиться любовь. Что, если она теряет Джерарда, думала Роуз, что, если уже потеряла? Может ли она потерять его после стольких лет? В этом все дело, отсюда преследующие ее призраки.

В последние недели, особенно в последние дни ее отношениям с Джерардом, казалось, просто пришел конец. Рив, вернувшийся в Йоркшир, постоянно названивал, прося решить наконец, едет ли она с ними в круиз. Роуз отвечала уклончиво. Хотя почему она должна, почему чувствует, что должна учитывать интересы Джерарда, какое

ему может быть дело до того, что она проведет четыре недели с собственными родственниками? Голос крови не заглушишь. Но от мысли, что Джерарду может быть все равно, что она делает или где находится, на нее повеяло диким холодом, как от скользнувшего мимо одного из призраков Лили. Роуз не видела Джерарда с того самого вечера, когда ему доставили книгу Краймонда. Она ждала, что он позвонит, как обычно, предложит встретиться. Он должен понимать, как ее интересует, необычайно волнует его мнение о книге. Но Джерард не позвонил, а когда она позвонила сама, отвечал холодно и немногословно и не смог встретиться с ней. Она не осмелилась ни о чем спрашивать его: ни о круизе, ни о книге. Потом его телефон не отвечал, и она воображала, как он, хмурясь, смотрит на трезвонящий телефон и не поднимает трубку, зная, что это звонит она. Представлять… представлять столько всего… что он влюбился в того паренька, так похожего на Синклера, что проводит все свое время у Краймонда, обсуждая книгу, что… Она потеряла его, думала Роуз. Да, наверное, она могла бы выйти за него, будь она другим человеком, смелей, удачливей, понимай она что-то такое (неведомо что) о сексе, стань она богиней. Но как сильно она любит его,

и всегда любила, и всегда будет любить!

— Роуз, пожалуйста, поедем в круиз, поедешь, да?

— Роуз, поехали, с тобой совсем другое дело.

— Будет так весело, ну пожалуйста!

— Ладно, — сказала Роуз, — поеду.

Она больше не могла сопротивляться мольбам Рива, Невилла и Джиллиан и была невероятно тронута их горячим желанием, чтобы она присоединилась к компании. Невероятно благодарна.

Со времени приезда Лили в Боярс прошло около двух недель, и за это время весна заявила о своем приближении, одарив Лондон, даже самые убогие его районы запахами земли, цветов, проклевывавшимися листочками и солнцем. Гидеон Ферфакс принимал гостей в доме в Ноттинг-Хилле. Леонард Ферфакс вернулся из Америки и привез друга, Конрада Ломаса. Гидеон позвал Рива с детьми, которые, как сообщила Роуз, были в городе, и Невилл привел с собой Фрэнсиса Рекитта, сына их йоркширского соседа, который путешествовал с ними. Любимый нью-йоркский арт-дилер Гидеона, Альберт Лабовски, у которого он только что приобрел вожделенные рисунки Бекманна, присутствовал тоже. Роуз слышала американские голоса, удивительные, как крик

необычных птиц. Пришли Тамар, Вайолет и несколько друзей Пат и Гидеона, с которыми Роуз была незнакома. Тамар не отходила от мисс Лакхерст, своей бывшей школьной учительницы, которая, выйдя на пенсию, писала детективы. А за Тамар хвостом следовал очень худенький и очень молодой человек, как говорили, не только пастор, но и крестный отец Тамар. Роуз с удивлением увидела среди гостей и отца Макалистера, выделявшегося в своей черной сутане. Пат разливала Гидеонов особый мандариновый коктейль. Джерарда, конечно, тоже приглашали, но тот, хотя некоторые из гостей уже собирались уходить, еще не появился.

— Что делаешь потом? — спросил Рив. — Пообедаешь с нами, хорошо?

— Извини, не могу. Очень устала.

— Тогда ты должна прийти завтра смотреть квартиру! — сказал Невилл.

— Мы не сможем угостить тебя ланчем, — добавила Джиллиан, — в квартире еще ничего нет, кроме рулетки и папиной кепки, которые он там забыл. Зато буквально в двух шагах классный итальянский ресторан.

Рив только что купил квартиру в Хэмпстеде.

— Спасибо, я бы с удовольствием, но… — отве-

тила Роуз, ее беспокоил больной зуб.

Этот вечер был у Роуз свободен, но она надеялась, что Джерард все же появится и пригласит ее пообедать. Она до сих пор, хотя давно приехала из Боярса, не имела от него абсолютно никаких известий. Она все реже и реже набирала его номер. Написала ему письмо и порвала. Смелости пойти к его дому у нее не хватало. По ее робости можно было судить, каким, после стольких лет, далеким он неожиданно стал: дорогой друг, но не близкий, не задушевный. Она не имела представления, где Джерард в эту минуту, что делает, что думает, и страшилась спрашивать о нем у знакомых, тем самым признаваясь себе, что не знает того, о чем, может, знают другие. Джерард мог быть за границей, мог быть в постели с кем-то, или в больнице, или умереть. Ничто не говорило, что она самый близкий ему человек.

Гидеон, как маг на сцене, наблюдал за веселящимися гостями, пухлощекий, с радушным видом, так раздражавшим Джерарда. Он выжил Джерарда из дому, сыграв на его слабости, его подспудном чувстве вины, на несчастье, которое сделало его таким непрактичным, таким нервным и возбудимым, что он вдруг решил во что бы то ни стало разъехаться с сестрой и зятем.

Гидеон произвел переделки в доме в точности по своему, но не Пат вкусу. Сопротивление Пат было минимальным, так что нечем было особо хвастать. Гостиная, при Джерарде в тоскливых розовато-коричневых тонах с маленькими бледными английскими акварелями и темными традиционными громоздкими креслами, теперь была выкрашена в яркий аквамариновый цвет и украшена огромным алым абстрактным полотном де Кунинга над камином и двумя красочными жанровыми картинами: Кокошки и Марии-Луизы Мотесицки. На полу темно-синий ковер и бледно-голубые с белым коврики в стиле ар-деко. Из мебели стояло два больших белых канапе и больше ничего. Джерардова безнадежная кухня была полностью переделана. Единственно столовая сохранила прежние форму и цвет, но на ее темно-коричневых стенах теперь красовались прелестные вещицы Луки Лонги и очаровательный Ватто. Еще большей радостью для Гидеона было окончательное, как он надеялся, возвращение из Америки Леонарда, любимого и талантливого сына, который сейчас проходил практику в лондонской Галерее Курто. Какая из нас составится команда, думал Гидеон, который никогда не осмеливался называть себя искусство-

ведом, и как нам будет весело! Гидеон мог также быть доволен успешным (пока что) ходом дела с Тамар и Вайолет. После похищения Тамар, события развивались стремительно. Тамар переехала в квартиру наверху. Вайолет (удивив Пат, но не Гидеона) неожиданно переехала тоже. Тогда Тамар переселилась в крохотную квартирку в Пимлико. Квартира Вайолет была выставлена на продажу. Вайолет была спокойна, позволяла заботиться о себе. Что будет дальше, покажет время, пока он еще на одно очко обставил Джерарда.

А Патрисия думала: Гидеон много сил отдал, заботясь об этой парочке, будем надеяться, что он не пожалеет! Слишком у него доброе сердце, и, конечно, он с его манией величия помешан на своем могуществе. Он совершенно ни с чем не считается, когда поступает таким образом. Как, черт возьми, мы избавимся от Вайолет? Она сидит там, как жаба, изображает всем интересную неврастеничку, и это может продолжаться вечно, наверное, придется освобождаться от нее, предложив кругленькую сумму! Но, господи, может, она и ненормальная, однако сохраняет и внешность, и фигуру, это несправедливо! Патрисия прекрасно знала о забавном причудливом влечении Гидеона к Вайолет, и оно ее не беспоко-

ило. Во всяком случае, сейчас она была слишком счастлива возвращением Леонарда и играми с домом, чтобы испытывать недоброжелательность по отношению к своей несчастной родственнице. Что до Тамар, то все выглядело так, будто они в конце концов ее удочерили. Может быть, этого Гидеон и хотел всегда. Оглядывая сборище гостей, Патрисия заметила кое-что, что доставило ей удовольствие. Леонард, похоже, весьма успешно ухаживает за Джиллиан Кертленд. Гм, сказала себе Пат, милая умная хорошенькая девочка, и унаследует кучу денег. Когда они переедут жить в Хэмпстед, пригласим их на обед.

На другой день после похищения Тамар Вайолет капитулировала по двум соображениям: одно было финансового свойства, другое эмоционального (отец Макалистер сказал бы «духовного»), Последнее — это особого рода отчаяние, вылившееся в ощущение, что она теряет Тамар. Вайолет глубоко потрясло, что Тамар без всякого сожаления отвергла ее. Она поняла, что той послушной робкой девочки, какой она знала ее всю жизнь, больше нет и больше никогда не будет. Когда Тамар ушла так бесповоротно, квартира опустела, как клетка без своей маленькой пленницы. Держать Тамар в подчинении было для Вайолет

намного важней, чем она сама себе представляла. Было ли это как-то связано с любовью, это еще вопрос, который теперь не имел значения; она нуждалась в помощи, готова была бежать за ней, и тут появился Гидеон. О финансовой компенсации можно было заявить открыто. Гидеон объявил, как предчувствовала Вайолет, что Тамар уже ушла с работы. Ей нужно было время, чтобы наверстать упущенное в учебе. Оставались долги, счета и очень мало денег. Гидеон выдвинул убедительное предложение. Вайолет необходимо считаться с фактами и упорядочить свою жизнь. Имело смысл продать квартиру, которая имела реальную стоимость, выплатить долги, переехать в Ноттинг-Хилл, отдохнуть, а потом найти какую-то работу (хорошо, пусть не в его офисе), где она могла бы найти применение своему уму, или хотя бы подумать, как устроить свою жизнь более счастливо и разумно. Она не обязана оставаться у него, если не желает, это только временно. Вайолет, которая вдруг поняла, что в противном случае ей остается кончить жизнь самоубийством, согласилась с готовностью, удивившей Гидеона, который ожидал сопротивления, даже скандала, конечно же кончившегося бы его победой. Гидеон дал ей денег,

чтобы она купила себе одежду. Она приняла их и действительно потратила на одежду. (Гидеон, обсуждая все это с Пат, подчеркнул важность подобной капитуляции.) Сейчас, на вечеринке она чувствовала себя какой-то отвратительной Золушкой. Альберт Лабовски разговаривал с ней так, будто она была какой-то посредственностью. Она видела, что Гидеон ободряюще поглядывает в ее сторону. Она попала в руки врага, иного племени, которое теперь ждет, что она будет благодарна, даже счастлива! Конечно, они не надеялись, что она станет жить в одной квартире с дочерью, с новой Тамар. Гидеон купил Тамар квартирку до того, как Вайолет поселилась у них! Что она будет делать здесь одна, спрашивала себя Вайолет. Скоро заболеет, окажется прикована к постели, и добрые люди станут кормить ее с ложечки и развлекать разговорами, сидя у ее постели? Вайолет неожиданно покинула вся ее энергия, такое ощущение, должно быть, испытывает машина, когда кончается горючее. Это была не жизнь. Раньше она жила чистой беспримесной обидой, раскаянием, ненавистью, жила Тамар, как чем-то присутствующим, связующим, как чем-то всегда ожидаемым и предвкушаемым. Через Тамар она соприкасаюсь с миром. Получит-

ся ли теперь жить ненавистью к Пат и Гидеону, которую она пока не чувствовала в себе, но могла взрастить, чтобы черпать в ней силу? Как возненавидеть их милосердие, доброту, тактичное сочувствие, букеты, которые они ей дарят! Но как теперь сбежишь? Всякие отношения с дочерью, отвергшей ее, казались порваны навсегда, можно только слать ей проклятия. Разве не знают они, думала Вайолет, что она не какая-то посредственность, что она опасна, что кончит тем, что спалит их дом? Пока она им в новинку. Скоро они начнут нервничать. Она начнет вопить. Они должны были предвидеть и это. Ее поместят в роскошную психушку и станут лечить электрошоком за Гидеонов счет. Если она выйдет сейчас и пойдет к себе наверх, за ней кого-нибудь пошлют узнать, все ли с ней в порядке. Скоро они начнут ее бояться. Это, наконец, будет уже что-то.

Отец Макалистер был весь в ожидании Пасхи. На протяжении долгого поста он не употреблял никакого алкоголя, и сейчас аромат мандаринового коктейля возбудил в нем волнение. Еще, конечно, Пасха преисполняла его благоговейным ужасом. Он не знает, не может сказать, какие муки Ему пришлось претерпеть, знает только, что Он страдал на кресте ради него. Ужасная

доскональность, зримая детальность его религии тяготила отца Макалистера в это время как ни в какое другое. Придется снова переживать, пересказывать эту историю, а в чем еще может быть его долг? Без нескончаемо репетируемой драмы Христа, Его рождения, Его пастырства, Его смерти, Его воскресения ничего не существует, и он, Энгус Макалистер, лишь исчезающая тень, как и планеты, и самые далекие звезды, и круг мироздания. Другие живут без Христа, так что вопрос «почему не я?» должен быть бессмыслен. Ничто не в силах разлучить его с любовью Христа. Откуда было у святого Павла его знание? Разве не на его знание опирается все? Без Павла, который разнес этот странный вирус по разным землям, Евангелия были бы потеряны навсегда или заново открыты века спустя как местные курьезы. Что же, все было делом случая? Такое невозможно, ибо это нечто абсолютное, а абсолютное не может быть случайным. Предположим, нам не осталось бы от Христа ничего, кроме учения, пересказанного каким-то неведомым человеком, и ни единого фрагмента истории Его жизни, чтобы представить Его во плоти? Мог бы кто-нибудь любить такое создание, мог ли быть спасен им? Могли он стать человеку ближе самого себя? Хри-

стианство портит верующих, как портят детей. Сияющий Христос, человек, преданный мученической смерти, прекрасный герой, воплощенный бог, самая известная личность в истории, самая любимая и самая могущественная, — вот фигура, которая дала жизнь христианству и которая может принести ему смерть. Отца Макалистера это не трогало. У него были собственные убеждения и собственные, расходящиеся с общепринятыми мнения; в канун Пасхи он не осмеливался оглашать свою ложь. Несомненно, для него — во Христе — должна быть возможность не лгать. «Истина, что примиряет ссоры, жизнь, что попирает смерть»[91]. Христос на кресте сообщает смысл всему, но только если Он действительно умер. Христос живет, Христос спасает потому, что Он умер, как мы умираем. Там царила наивысшая реальность, не как призрак человека, а как страшная правда. Отец Макалистер не мог давать своей вере громкое название ереси. Он молился, поклонялся, падал ниц, чувствовал себя вместилищем могущества и милости — через него проявляющихся, не собственных. Но его страшная правда никогда не прояснялась до конца, и

**[91] Примечания: 91**
Герберт Дж. Зов.

это отсутствие последней, окончательной ясности тревожило его на Страстную пятницу, как ни в какое другое время. Об этом непостижимом Абсолюте он в течение тех трех ужасных часов, когда представлял смерть его Господа, должен был поведать коленопреклоненным мужчинам и женщинам, которые увидят… не то, что видел он, но что-то иное… ведомое им и Богу… только Бога там не будет. То, что священник исполнял свою задачу в муках, в слезах, не делало ему чести. Скорее, напротив.

Тамар сбросила обычную коричнево-серую униформу и была в полночно-синем платье с жабо, белой волной оттенявшим шею. Волосы оттенка коричневато-зеленоватой коры были искусно подстрижены, и вся она походила на невозмутимого мальчишку, на эльфа. Лицо ее стало менее худым и бледным, и она больше не выглядела как школьница. Косметикой она по-прежнему не пользовалась. В больших карих глазах появилось новое выражение: настороженное и задумчиво-меланхолическое. Конрад Ломас, как он доверительно признался Леонарду, несколько секунд любовался ею, прежде чем узнал. Тамар позволила Гидеону позаботиться о ее будущем: он написал несколько писем и она их

подписала. То, что казалось таким невозможным, было улажено легко и быстро, то, что казалось упущенным навсегда, было восстановлено, никто как будто не удивился, никто не возражал, ее преподаватель, администрация колледжа выразили спокойное удовлетворение ее желанием вернуться. По мановению Гидеона фургон привез всю ее оставшуюся одежду, все вещи, вплоть до мельчайших безделушек из ее комнаты. Кошмарная старая квартира, казалось, исчезла бесследно, словно и впрямь сгорела, Тамар так и видела, как та горит. Она купила книги, те, которые мать заставила ее продать и с которыми расставалась со слезами. Хотя она получала какие-то приглашения, но предпочитала уединение, как если бы проходила особый период исцеления, требующий поста.

Рвение, с каким она приняла обращение, со временем, как предрекали циники, иссякло. Теперь она изумлялась, вспоминая, как жаждала посвящения в таинство. Неужели она действительно глотала все те облатки, пригубляла густое вино, куда как хмельнее, чем коктейль Гидеона? Сейчас ее не влекла эта пища. Циники (о которых она прекрасно знала) очень мало что понимали. Тамар действительно удивляло то, что

с ней произошло. Отец Макалистер не уставал твердить про «обновление». Да, она стала другим человеком, но она ведь постоянно меняется? Что же произошло? Может, дело в том, что просто ее лукавая натура всегда стремилась, прикрываясь другими причинами, вырваться из-под опеки матери? Она внезапно обрела сверхъестественную силу. Так зверь в капкане, увидев наконец путь к освобождению, было открывшийся, но начинающий закрываться, становится невероятно сильным, способным уничтожить все, что стоит у него на дороге. В той последней сцене Тамар была готова втоптать мать в землю и почувствовала удовлетворение, уловив опасение матери, что баланс сил необратимо качнется в ее, Тамар, сторону. Позволено ли человеку, как христианину, как новоиспеченному христианину, так надолго забывать Евангелие любви? Говорить себе, что это необходимо, что все кончено, что это к лучшему, что она начнет все заново, было недостойным способом спасения. Тамар не представляла, что она сделала со своей матерью. Не обсуждала эти более поздние проблемы со своим ментором. Она, с его молчаливого согласия, избегала его. Позже они снова поговорят — хотя, наверное, уже никогда не поговорят так, как когда-то. Она была

уверена в его участии, больше того, в его любви. Только любовь, его или Христа, его и Христа могла избавить ее от того ада вины и страха. Она также узнала, с изумлением и раздражением, о том, как, предвидя ее уход, священник «перенес свое расположение» на ее мать. Тамар и отец Макалистер, конечно, много говорили о Вайолет, и он посещал ее, сперва с Гидеоном, позже (как рассказал Тамар) один, и эти его визиты были краткими и безрезультатными. Однако оскорблений и указаний на дверь было недостаточно, чтобы остановить этого эксперта по безнадежным случаям. Наставник Тамар убеждал свою, на сей раз настроенную скептически, ученицу, что ее мать нуждается в ней, по-настоящему любит ее, и что в действительности Тамар тоже ее любит. До ухода Тамар, по сути, не раздумывала над этими теориями. Теперь же, задумавшись, достигла каких-то успехов. Ей говорили, да, впрочем, она уже убедилась в этом на собственном опыте, о преобразующей силе любви, единственной чудотворной силе на этой земле. Могла ли она теперь любить Вайолет или понять, что всегда любила ее? Новое положение Тамар как никогда отдалило ее от матери, ярость, с какой она добилась освобождения, делала ее прежнюю

покорность более похожей на слабость, нежели на любовь. Лучше ли она теперь это понимает или хуже? Всегда ли полагала, что любит мать потому, что это свойственно детям? Священник, видевший и понимавший этот грешный гнев, призывал избавиться от него, думая о любви, почувствовав любовь. Сблизься с ней! Делай хоть какую-то мелочь! Ты нужна ей! Тамар не была в этом уверена. Она попыталась сделать какую-то мелочь: принесла ей цветы, но не одна, а в сопровождении Пат, что было ошибкой. Вайолет встретила их тигриной улыбкой. Явная ненависть — это ужасно. Тамар решила вскорости сделать еще попытку.

Тамар избавилась от навязчивого чувства вины перед потерянным ребенком. Магия против магии, и она исцелилась, освободилась от адской, как определил ее маг, боли и осталась с болью светлой. Она также перестала беспокоиться о том, рассказала ли Джин Дункану, и рассказал ли Дункан Джин. Единственное, чем та история напоминала о себе, это необычная дрожь, охватывавшая ее всякий раз, когда она видела заварной чайник. Странным эхом недавнего несчастья, поразившим ее, и еще больше священника, было чувство, что она так же, как остальные, как Роуз,

как Джерард, как Джин и как, конечно же, Дункан, виновата в смерти Дженкина. Каждый из его друзей мог быть виновен. Тамар, последняя из них, кто видел Дженкина живым, о чем было известно лишь ее духовнику, не могла забыть, что, когда пришла в тот вечер к Дженкину, тот собирался выходить из дому. Если бы она не появилась, тот таинственный звонок не застал бы его. Но больше всего ее угнетала мысль, что она навлекла неизбежную беду на Дженкина. Она вспомнила ужасное удовлетворение, которое получила, «рассказав все» Джин, и, обдав ее своим несчастьем, своей ненавистью, побежала «рассказать все» еще и Дженкину. Но ей не суждено было получить желанное облегчение. Получилось так, как если бы она выплеснула перед ним всю эту мерзкую грязь, и он, приняв ее на себя, стал уязвим для некой силы, может, подлой, может, просто мстительной, которая поразила его вместо нее. Священник, конечно, нашел эту мысль интересной, но негодной, поскольку суеверной; и стойкая скорбь по Дженкину постепенно перестала мучить ее, когда она возвращалась в памяти к тому долгому ожиданию его возвращения. Тамар не верила в причастность к этому Бога или потустороннего мира,

и отец Макалистер, который тоже не верил, не донимал ее подобными выдумками. За что он с яростным воодушевлением боролся, так это за ее душу, стремясь внушить ей твердую веру в Христа как Спасителя. Тамар перед посвящением в таинство готовилась дождаться и посмотреть, что это сияющее божественное присутствие сможет сделать для нее потом. Она молилась, не то чтобы обращаясь к нему, но о существовании этой реальности, которая превратила адское страдание в благое и со временем могла бы даже дать ей силы найти взаимопонимание с матерью.

Патрисия испытывала большое удовольствие, рассказывая Роуз о том, как Гидеон спас Вайолет и Тамар.

— Ты хочешь сказать, что Вайолет здесь, у вас, а Тамар возвращается в университет?

— Именно! Гидеон и отец Энгус оба были непреклонны!

Роуз, никогда не слышавшая, чтобы ее приходского священника называли «отцом Энгусом», не могла тут же не почувствовать, что все это сделано в пику Джерарду! Но конечно, это было замечательно.

— Это замечательно! — сказала она. Нывший больной зуб внезапно выстрелил резкой болью,

пронзившей нижнюю челюсть. Рука Роуз взметнулась к подбородку, но застыла в двух дюймах от него. — Пат, я должна идти, зуб дико болит.

— Дать аспирин?

Конрад Ломас говорил Тамар, как ужасно он сожалеет, что потерял ее тогда на балу, и теперь она должна ему танец, они должны пойти куда-нибудь, он останется в Лондоне до осени.

Тамар, чуть отступив назад от высокого американца, который склонился над ней, бросила почти кокетливый взгляд в сторону отца Макалистера. Они не пытались подойти друг к другу ближе. Священник с мрачным видом едва заметно повел головой и глазами, показывая на ее мать, как Гидеону тогда в квартире Вайолет.

Фрэнсис Рекилт рассказывал Роуз, что Невилл, которым он восхищался, решил избираться в парламент.

— Он радикал, понимаете, — повторял захмелевший Фрэнсис.

Гидеон делился с Ривом рецептом коктейля:

— Это очень легко, берешь сухое белое вино, мешаешь с горькой настойкой и достаточным количеством рома и белого портвейна и добавляешь побольше мандариновой кожуры.

Вайолет, выпившая немало мандариновой

смеси, решила, что пора ей подниматься наверх и опять присоединяться к темной фигуре, ждавшей ее там, — самой себе. Сейчас она стояла одна, прислонясь к стене, и оглядывала сборище с выражением веселого презрения. Леонард Ферфакс, который, конечно, знал «все об этом», почувствовал, что должен подойти и поболтать с ней. Однако его опередил отец Макалистер. Священник развернулся, взмахнув полами черной сутаны, словно только что заметил Вайолет, и направился к ней. Пожал руку и, не отпуская, заговорил. Тамар наблюдала за их разговором. Священник во все их встречи никогда не прикасался к Вайолет, кроме первого их знакомства и во время обряда крещения. Это поразило ее. Она смотрела на его руку, державшую руку матери, и гадала, когда он ее отпустит. Каким красавцем он сегодня выглядит, подумала она, может ведь, когда захочет! Гидеон, глядя поверх плеча Роуз, с которой в тот момент разговаривал, тоже обратил внимание на это затянувшееся рукопожатие и подумал о чувственной привлекательности священника. Он не мог до конца раскусить отца Макалистера — кто он, циничный мошенник, шарлатан, сумасшедший святой или что? Определенно выдающихся способностей человек, думал

Гидеон, надо поддерживать с ним отношения, он может быть полезен.

— Роуз, не уходи, хочу поделиться с тобой новым соображением насчет Tamargesellschafl! [92]

— Что-что?

— Я встретился в Нью-Йорке с Джоэлом Ковицем, мы говорили с ним о книге Краймонда, и я подумал, теперь это все позади, так почему бы не организовать сбор денег для Тамар, помогать ей, пока она учится в Оксфорде, и Джоэл сказал, что будет спонсором, она сможет жить на эту стипендию, ей необходимы деньги на путешествие в мир науки, на плавание в Византию… [93]

— О, я тоже присоединюсь, — сказала Роуз, — она должна… да… плыть…

Гидеон, счастливый, был неотразим в землянично-розовой рубашке, с коротко подстриженными темными вьющимися волосами, освещенный бронзовым и золотым светом, его по-девичьи свежее лицо сияло здоровьем и молодостью, наманикюренные пальцы то и дело довольно касались слегка раскрасневшихся щек и исключительно гладкого подбородка. Он вы-

---

**[92] Примечания: 92**
То есть Общество содействия Тамар (нем.).

**[93] Примечания: 93**
Аллюзия на стихотворение У. Б. Йейтса «Плавание в Византию».

глядел не старше своего высокого атлетически сложенного сына.

У дверей послышался неожиданный шум, смех, веселые возгласы. Это появилась Лили Бойн в сопровождении Гулливера Эша. Лили, в темно-синих шелковых брючках и золотистом жакете, объясняла Конраду, а теперь и Гидеону, протолкавшемуся к ней, что да, Гулл вернулся, и он нашел-таки работу, встретил человека.

— О Роуз, дорогая, он вернулся, все теперь хорошо, я так переживала из-за этого, извини, но все теперь в порядке!

Роуз поцеловала ее и, не отпуская ее горячих вцепившихся рук, поцеловала Гулла. Итак, Лили в конце концов дождалась своего мужчину.

— Роуз, мы собираемся пожениться.

— Как я рада!

— Они хотят пожениться, — закричал Гидеон.

У Лили на глазах блестели слезы. Глаза Роуз тоже были на мокром месте. Ее оттеснили, и она бочком пробралась к двери. Неожиданно рядом с ней оказались Рив с Невиллом и Джиллиан.

— Из-за чего такой шум? — поинтересовалась Джиллиан.

— Мы не договорились насчет завтра, — сказал Рив. — Уезжаем точно и забираем тебя.

— Они собираются пожениться, — объяснила Роуз, — я всегда надеялась, что это произойдет. — Нашаривая платочек, чтобы утереть катящиеся слезы, она сказала Риву: — Это так трогательно, я ужасно счастлива за них!

Она думала об их радости, и ей вдруг стало так горько, что голова закружилась, она пошатнулась и выронила сумочку. Платочек был у нее в руке.

Рив не дал ей упасть, Джиллиан подняла сумочку, Невилл похлопал по плечу.

— Вот карта, — сказал Рив, — я все там расписал. Мы встретим тебя у подъезда в двенадцать тридцать, потом ланч. Джиллиан, положи карту в сумочку Роуз.

И в этот момент появился Джерард. Ликующая толпа, окружавшая Гулла и Лили, двинулась в гостиную, и Роуз осталась у двери со своими родственниками. Секунду Джерард стоял лицом к лицу с фалангой Кертлендов.

Пальто он оставил внизу и выглядел замечательно в строгом черном костюме, но его взгляд, устремленный на Роуз, был очень странным, очень усталым и слегка безумным. Волосы его свисали в беспорядке, уголки губ были безвольно опущены, лицо отекшее и дряблое, сверкающие глаза чуть ли не с яростью смотрели на группку

перед ним. Все мгновенно среагировали. Рив отпустил руку Роуз, Невилл убрал свою с ее плеча, Джиллиан протянула ей сумочку, сунув в нее инструкцию на завтра. Лицо Джерарда приняло обычный вид и выражение грустной иронии, потом на нем появилась всегдашняя неопределенная, сбивающая с толку ухмылка. Они двинулись в холл.

— Привет, Рив, — поздоровался Джерард. — Ну и шум!

Рив довольно сухо ответил:

— Рад встретить тебя! Это мои дети Невилл и Джиллиан. Полагаю, ты не видел их несколько лет.

— Да, они выросли! — сказал Джерард. — Очень приятно.

Он протянул руку Джиллиан, потом Невиллу. Те пробормотали что-то вежливое.

— Что ж, мы уходим, — сказал Рив и повернулся к Роуз: — Подвезти тебя?

— Нет, спасибо, я могу пройтись. А сейчас я хочу перемолвиться словечком с Джерардом.

— Тогда до завтра.

— Да, до завтра, — ответила Роуз.

Невилл, с лица которого во все время этой неожиданной встречи не исчезала легкая улыб-

ка, сказал:

— Мы увезем тебя в Йоркшир.

Попрощавшись взмахом руки, они удалились, оставив Роуз и Джерарда у двери в гостиную. Те молча стояли, не глядя друг на друга, пока Рив и его чада зашли в столовую, чтобы забрать свои пальто, потом вернулись, еще раз помахали рукой и окончательно скрылись.

Джерард вежливо спросил Роуз:

— Могу я отвезти тебя на такси на следующую твою встречу?

— Я ни с кем не встречаюсь, — ответила Роуз. Она чувствовала, что вот-вот снова расплачется, и прошла мимо него в столовую, взяла пальто и стала надевать. Джерард услужливо помогал.

Идя к входной двери, Роуз сказала:

— Ну, прощай. Между прочим, Гулл и Лили женятся. Они там.

Из гостиной выскользнул Леонард Ферфакс с бокалом в руке и протянул его Джерарду. Он всю жизнь обожал Джерарда.

— Мне показалось, что я слышу твой голос. И страшно захотелось увидеть тебя.

Леонард походил на отца: те же короткие вьющиеся волосы, тот же приятный рот с алыми губами, но был выше и худощавей.

— Привет, фавн, — сказал Джерард. — Так ты устраиваешься в Галерею Курто, очень рад.

— Уже уходишь, Роуз? — обратился Леонард к Роуз. — Приятно видеть тебя. Вайолет отправилась наверх с вашим приходским священником!

— Большое спасибо! — сказала Роуз. Открыла дверь. Новый фонарь в стиле ар-нуво, который повесила Пат, освещал ступеньки.

Джерард вернул бокал Леонарду:

— Хочу проводить Роуз.

Он схватил пальто, которое бросил на пол у двери.

— Только недолго! — крикнул Леонард ему вслед. — Папа хочет тебя видеть. Питер Мэнсон скоро придет, он звонил, спрашивал о тебе. И я хочу договориться с тобой о ланче на завтра!

Роуз и Джерард шагали по тротуару. Моросил легкий неубедительный дождик, косой под восточным ветром. Роуз опять принялась плакать, молча и прикрываясь платочком.

— О… черт… — проговорил Джерард, — Что случилось?

— Ничего. Просто зуб болит.

— Прости. У дантиста была?

— Да. Послушай, я не хочу задерживать тебя. — Она смахнула слезы и зашагала быстрей.

— Так ты снова едешь завтра в Йоркшир?

— Нет, не еду.

— Мне показалось, что Невилл сказал…

— Нет. Они пригласили меня на ланч. Купили квартиру в Хэмпстеде.

— Мило. Значит, теперь они лондонцы.

— Возвращайся назад, все жаждут тебя видеть. Отсюда я могу дойти одна. В любом случае ничего не стоит взять такси.

— Куда ты направляешься?

— Домой. Послушай, вон такси. Я прощаюсь с тобой.

— Ну хорошо.

Джерард подозвал такси, раскрыл перед ней дверцу.

Роуз села в машину:

— Рада была увидеть тебя. Позвоню как-нибудь.

— Что, черт возьми, с тобой происходит? Ты нездорова? Роуз опять заплакала. Джерард забрался в такси, захлопнул дверцу и сказал водителю адрес Роуз. Похлопал ее по плечу, но не обнял. Ехали молча. Когда доехали до ее дома и Джерард расплатился, так же молча поднялись в ее квартиру.

Сняли пальто, Роуз зашторила окна и включила

обогреватель, спросила:

— Выпить хочешь?

— Да.

— Шерри?

— Да.

— Что-нибудь съешь?

— Спасибо, нет.

Она налила два бокала.

— Так в чем дело, Роуз?

— Ни в чем! Может, это мне стоит спросить тебя, в чем дело! Ты исчез на несколько недель. Когда я звоню, ты говоришь, что не можешь со мной встретиться, потом вообще не берешь трубку или пропадаешь бог знает где, и тебе даже не приходит в голову сообщить мне. Ну да, с какой стати сообщать мне, где ты находишься. У меня нет никаких особых прав, я же не родственница тебе…

— Я тоже не член твоей семьи, если на то пошло. Ты явно решила жить на севере и быть мамашей тем блестящим юным созданиям! Что ж, почему нет! Голос крови не заглушишь.

— Рив так говорит.

— Ты ясно дала понять, что обрела дом где-то в другом месте!

— Тебя не волнует, что здесь у меня никогда не

было дома.

— Это неправда. Все зависит от того, что ты называешь домом.

— Ну да, конечно! Никогда не думала, что ты такой ревнивый и мстительный…

— А я никогда не думал, что ты поведешь себя так по-женски глупо! Я не ревную. Да и с чего бы, черт возьми, мне ревновать?

— Действительно, с чего бы. Я понимаю так, что у тебя своя жизнь, в которой мне нет места, и, когда тебе нужно, ты исчезаешь. Как поживает Дерек Уоллес?

— Кто?

— Дерек Уоллес. Тот паренек, что принес это… эту корректуру… из Оксфорда.

— Роуз, ты сошла с ума… или дразнишь меня… или что?

— А что ты хочешь от меня, когда исчезаешь… или я должна не думать о тебе? Если желаешь, чтобы я не думала о тебе, тогда ты действуешь в верном направлении.

— Роуз, неужели ты действительно воображаешь…

— Конечно, это не твоя вина, а моя. Ты привык ко мне, к тому, что я всегда под рукой, ласкова и отзывчива. Не следовало мне крутиться возле

тебя. Многие мне это советовали.

— А что, ты крутилась? — сказал Джерард. — Я этого не требовал. Конечно, я привык к тебе. Не понимаю, на что ты жалуешься, почему вдруг так рассердилась на меня.

— А ты почему повторяешь «черт возьми!» да «что, черт возьми, случилось?» и заявляешься на вечеринку так поздно, когда мог бы догадаться, что я приду сюда, чтобы увидеть тебя! Какая я дуреха, дуреха.

— Ты что-то сказала о Гулле и Лили, что они женятся.

— Ты уходишь от разговора.

— Стоит сменить тему.

— Да, Гулливер вернулся из Ньюкасла — нашел работу, — и они собираются пожениться. А Гидеон и Пат удочерили Тамар.

— Действительно?

— Ну, намерены, уже все документы готовы, она возвращается в Оксфорд, и организуется Tamargesellschaft, мы все будем помогать ей, пока…

— Хорошо. Но кто это говорит?

— Гидеон, он теперь всем занимается. У Тамар собственная квартира, Вайолет живет в Ноттинг-Хилле, Тамар счастлива, Вайолет счастлива,

все это мог бы сделать ты, но у тебя не нашлось времени, ты даже не пытался…

— Сомневаюсь, что Вайолет счастлива… но ты совершенно права, что мы плохо пытались…

— Кто это «мы»?

— Роуз, просто, пожалуйста, следи за тем, что говоришь.

— Ну вот, я еще должна «следить за тем, что говорю»! А как насчет того, что ты говоришь? Ты упрекаешь меня в…

— В чем я тебя упрекал, кроме как в привязанности к твоей семье?

— У меня нет семьи. Ты моя семья. А это значит, что семьи у меня нет. Я отдала тебе всю мою жизнь, а ты этого даже не заметил.

— Ты говоришь чепуху, которую придумала, просто чтобы досадить мне. Конечно, у тебя есть семья. У меня такое впечатление, что Рив просто распоряжается тобой, как собственностью, уводит, как послушную собачку.

— Ты имеешь в виду, что он использует меня, что ему нужна домашняя хозяйка?

— Что ж ему не использовать тебя? Он рассчитывает на некие условные родственные чувства.

— Почему «условные»? Я нужна этим людям, им недостает меня, чего за тобой я никогда не

замечала.

— Роуз, не кричи на меня, ты знаешь, я не выношу истерик.

— Я не кричу. Хорошо, я говорю вздор. Все куда проще. Я всегда любила тебя, а ты не можешь меня полюбить, и это не твоя вина. Но не знаю почему, мне все это неожиданно стало невыносимо.

— Так что ты предлагаешь? Хочешь, чтобы я ушел, прямо сейчас?

— Имеешь в виду, навсегда?

— Не говори глупости. Похоже, ты находишь меня невыносимым, и определенно сердита на меня, не понимаю отчего. Сейчас неудачный момент для разговора, ты крайне возбуждена, возможно, чем-то еще, и я здесь лишний… наверное, мне благоразумней исчезнуть.

— Тебя, видно, кто-то ждет, все поглядываешь на часы.

— Роуз, ты пьяна?

— Ладно, уходи.

Повисло молчание. Роуз расстегнула верх коричневого вельветового жакета, распахнула воротник белой блузки и схватилась за горло. Неужели пьяна, удивилась она? Отчего все так ужасно? Говоря с Джерардом, она ходила взад

и вперед между столиком розового дерева, на котором стояли нетронутые бокалы, и письменным столом и вдруг заметила письмо, которое начата писать Джерарду два дня назад, но так и не закончила. Схватила его и яростно смяла в руке. Неужели это конец такой долгой дороги, подумала она, что же ей, завопить, упасть в обморок? Он забыл, что когда-то они были любовниками. Конечно, это было давным-давно и мало что значило даже тогда. Теперь она ждет, что он уйдет, она не станет останавливать его, и, если он уйдет, все переменится, они окончательно станут чужими друг другу. Может, они уже чужие, и она только сейчас начинает это замечать. Она швырнула скомканное письмо на пол.

Джерард наблюдал за ней, стоя у камина. Он был расстроен и удивлен ее неожиданным желанием причинить ему боль. В какой-то момент он уже решил уйти. Но тут что-то произошло с ним, он вдруг почувствовал невероятную усталость. Многое ему смертельно надоело, многое донимало, в последнее время все было как-то чересчур.

— Боже, как я устал! — сказал он, подошел к столику и взял один из бокалов с шерри. Сделал это несколько неловко, плеснув золотистую жидкость на столик.

Хотя бедный старый столик уже был весь в подобных пятнах, Роуз инстинктивно достала носовой платочек, еще мокрый от слез, и стала промокать лужицу. Джерард тут же положил ладонь на ее руку, и они на мгновение замерли, не глядя друг на друга. Мгновение прошло, он убрал руку, а она подняла к нему лицо, и он сказал:

— Мы не должны ссориться, дорогая, мы не должны ссориться.

Роуз, с высохшими глазами, охваченная яростью, почувствовала, что слезы вновь подступают к глазам, а с ними и огромное облегчение, сопровождаемое возвратившейся зубной болью, о которой она было забыла. Она была так рада, так благодарна, так признательна Джерарду, что он не ушел, что прикоснулся к ней, назвал «дорогой» и что ей не нужно продолжать свои машинальные нападки на него, причинявшие такую боль обоим. Слезы защипали глаза, и она сказала:

— Мне нужен другой платок, этот насквозь мокрый от шерри.

— Возьми мой.

Она зарылась лицом в его большой белый платок с еще жесткими складками после глажки, но уже пахнущий его карманом, теплый от ее дыхания и влажный от ее слез. Ужасная судьба

мгновение смотрела на нее и отпустила.

— Останешься поужинать?

— Да, конечно, — сказал Джерард, — только ничего не готовь.

Вернувшись с кухни, куда они пошли вместе и Джерард откупорил бутылку вина, а Роуз приняла две таблетки аспирина и открыла банку с языком и банку шпината, достала сыр, яблоки и кекс с изюмом, разговаривая о Гулле с Лили, о Тамар с Вайолет и Аннушке, чья болезнь, слава богу, оказалась несерьезной, они уселись за круглый стол, который Роуз застелила рогожкой из рафии, друг против друга, как на переговорах. Впрочем, оба были очень голодны.

— Роуз, ты сказала, что «не знаешь почему» все тебе стало невыносимо. Можем мы поговорить о причине этого?

— Думаешь, стоит? Мне хочется поговорить о тебе.

— Правда, ты даже не поинтересовалась, как я и что я делал, кроме грубого намека относительно последнего.

— Извини. Ну и как ты, чем был занят?

— Я отвечу, но, пожалуй, чуть погодя.

— Джерард, это не что-то ужасное, нет?

— Не совсем… ужасное… но… я скажу, только

давай сперва проясним тот другой вопрос.

— Ты имеешь в виду то, что я наговорила?

— И то, что наговорил я, и почему мы оба… явно… переживаем кризис. Естественно, какие-то причины очевидны.

— Ты имеешь в виду Дженкина…

— Да. Это. Словно мир рухнул — и для всех нас это конец одной жизни и начало другой.

— Под «всеми» ты подразумеваешь нас двоих, — сказана Роуз.

— Я не могу не чувствовать, что нас по-прежнему много. Да, есть еще Дункан, но не знаю…

— Думаю, их мы потеряли.

— Надеюсь, нет.

— Но что такое это начало новой жизни — не просто ли ощущение собственной смертности, разве может быть иначе?

— Это было неизбежно… — пробормотал Джерард.

— Когда умер Синклер, мы были молоды… тогда мы тоже чувствовали, что и на нас лежит вина.

— Да. Чувствовали, что недостаточно берегли его, их обоих, — но это суеверие. Чувство вины — единственный способ как-то объяснить бессмысленность смерти. Мы хотим найти причину, это уменьшает боль.

— Хочешь сказать, это судьба или…

— Если подходить к этому как к некой аллегории, смерть в молодости есть месть богов… или смерть — жертва, когда человек отдает жизнь за других, так или иначе принимает наказание за них, известное, в конце концов, толкование.

— О… Боже… — вздохнула Роуз, — ты тоже думал об этом… идеальное жертвоприношение и искупление…

— Да, но думать так — это кощунство, аморальное утешение — к этому ведет чувство, в котором мы виноваты, я имею в виду иррациональное чувство вины.

— Значит, это не начало новой жизни для нас.

— Чудо искупления? Конечно нет! Это случайность, с которой приходится жить. Как бы то ни было, я не уверен, что имел в виду под новым началом, может, просто попытку достойно жить без Дженкина.

— Ты сказал, это было неизбежно.

— Да.

— А не думаешь, что Краймонд убил Дженкина?

— Мы должны перестать задаваться этим вопросом.

— Ты когда-нибудь… спрашивал его?

— Спрашивал ли я Краймонда? Нет.

— Потому что считаешь, такое вероятно…

— Придется жить с этой тайной. Ах, Роуз, для меня это невыносимая мука… ты единственная, кому я могу в этом признаться… сама смерть Дженкина, само то, что его больше нет, так ужасно. Я любил его, зависел от него, полностью.

Роуз подумала про себя: она никогда не сможет сказать Джерарду, почему так остро чувствовала вину в смерти Дженкина. Но конечно, она сошла с ума. Она не считает, что Краймонд убил его. Это другое — то, что Джерард назвал аллегорией. Неужели она воображает, что все это случилось оттого, что нечто засело в подсознании Краймонда, из-за обиды на нее? Ах, если бы только она повела себя с ним иначе, была добрей, выразила признательность! Джерард же думал: он никогда не сможет сказать Роуз, как сильно он любил Дженкина, и какого рода была эта любовь, и как тот смеялся над ним! Это тайна, которую нельзя рассказывать никому.

Оба молчали; Джерард с сосредоточенным видом чистил яблоко, Роуз крошила сыр в тарелке, вместо того чтобы есть его. Она с грустью чувствовала, что вечер более или менее благополучно завершился. Она знала, что потом будет

винить себя за сказанное, за вещи не то чтобы непростительные, она уже была прощена, но глупые и которые, возможно, запомнятся. Ничего катастрофического. И все же не подтверждение ли это, те слова и чувства, наличия дистанции между нею и Джерардом, невозможности близости, что существовало всегда, но только сейчас начинало полностью осознаваться ею? Действительно, плохая она ученица! Учится тому, что значит быть отвергнутой, не похоже же ли это на то, как кричать и махать руками на улице, когда принц проходит мимо, и понимать, что он не замечает тебя или ему все равно, проклинаешь ты его или приветствуешь, — улыбается своей обычной улыбкой и проходит мимо? Что за нелепость, думала Роуз, она так устала, наверное, спит на ходу, и все это похоже на сон, в котором Джерард проезжает мимо в карете! Если бы только он ушел прямо сейчас, она бы наверняка быстро уснула. Зуб немного успокоился. Она смотрела на него, и ее взгляд как будто удерживал его, лепку его лица, четкую в контрасте света и тени, редкие серебристые нити в его волнистых волосах. Она чувствовала, как ее собственное лицо тяжелеет, становится строже, глаза закрываются.

— Роуз, не засыпай! Ты еще не спросила меня

о важном!

— О чем?

— О книге!

— Ах, о книге.

Роуз чуть было не сказала: к черту книгу! Ей просто хотелось, чтобы с книгой было покончено, с нее было довольно. Может, и книга тоже невыносима.

— Ты не спросила, какого я мнения о ней. В конце концов, что, как ты думаешь, я делал все это время?

— Ну и какого ты мнения? Что она плоха, что все это вздор? Джерард, теперь это не имеет значения — по крайней мере, она закончена, так ты думаешь?

— О боже! — протянул он уныло, как мальчишка. — Роуз, выпьем виски. Нет, не вставай, я сам. Слушай, давай выпьем, я хочу много чего тебе сказать, говорить и говорить, бесконечно. Вот, держи, это тебя взбодрит.

Пригубив виски, Роуз неожиданно почувствовала тревогу.

— Ты первый человек, с кем я говорю, первый, кого увидел после того, как закончил читать ее, вот почему не отвечал на звонки, нигде не бывал, мне нужно было побыть одному, прочитать ее

тщательно, не торопясь, я просто заперся дома с этой книгой.

— Но что в ней хорошего? Небось сумасшедшая книга, полная навязчивых идей.

— В каком-то смысле — да.

— Я знала это… столько времени и столько денег на бред сумасшедшего. Наверняка скучная, фантазии сумасшедшего всегда скучны.

— Скучная? Нет, она чуть не убила меня. Она меня того гляди убьет.

— Что ты имеешь в виду? Ты меня пугаешь. Я думала, она как-то плохо подействует на тебя…

— Опасная магия? Да.

— Что значит «да»?

— Роуз, книга замечательна, замечательна.

— О нет! Как это ужасно!

— Почему ужасно? Уж не хочешь ли сказать, что я могу умереть от зависти? Знаешь, пожалуй, мог бы, в самом начале, когда понял, насколько она хороша, и почувствовал недостойное нормального человека разочарование!

— Ты надеялся, что сможешь отвергнуть ее, отбросить и не читать — я хотела, чтобы ты именно так и сделал.

— Да, да, я был настроен критически… понимаешь, мы так привыкли считать его ненормаль-

ным, неуравновешенным и, конечно, дурным, беспринципным… жестоким, как на балу, когда он так поступил с Дунканом.

— Ты имеешь в виду, увел его жену?

— Нет, я о том, что он столкнул Дункана в Черуэлл… это было отвратительно и беспричинно… не то чтобы мы знали, что там на самом деле произошло, конечно… Роуз, ты помнишь, как он плясал в тот вечер?

— Я не видела.

— Он был похож на демона, пляска, как пляска бога, нечто разрушительное, созидательное, мощное. Мы сплотились против него из-за зла, которое он причинил Дункану, — после Ирландии мы недооценивали Краймонда. Считали его неуспешным, неубедительным, злобным, как собака, рыскающая вокруг… а потом, когда наши политические позиции так сильно разошлись, что действительно имело значение…

— И сейчас имеет.

— Да, я перейду к этому через секунду, мы начали относиться к нему как к человеку вообще нестоящему, не той морали, не тех политических взглядов, безответственному, мстительному, чудаковатому… Как такая личность могла написать хорошую книгу?

— Но ты думаешь, что он все-таки написал.

— Роуз, это выдающаяся книга, я не в силах был оторваться… Уверен, я не ошибаюсь насчет нее.

— И не завидуешь?

— Самую малость, но это пустяк, восхищение пересиливает зависть. Хорошая работа должна внушать уважение, даже если ты с ней не согласен.

— Так ты не согласен?

— Разумеется!

Джерард не то чтобы рвал на себе волосы, но запустил в них пальцы, словно пытался разгладить блестящие завитки. Его лицо в свете лампы казалось Роуз красивой комедийной маской. Она была тронута, но больше взволнована и напугана его возбуждением, которое никак не могла понять.

— Итак, книга хорошая и, конечно, ты с ней не согласен, но во всяком случае, она написана. Ты прочел ее… и дело с концом.

— Нет, не с концом… не как ты думаешь…

— Я ничего не думаю, Джерард. Успокойся. Будешь писать рецензию?

— Рецензию? Не знаю, сомневаюсь, что кто-нибудь попросит меня об этом, да это и неважно…

— Рада, что ты так считаешь. Ты сказал Край-

монду, что книга тебе понравилась, виделся с ним?

— Нет, нет. Я с ним не встречался. Да это теперь не имеет значения.

Роуз почувствовала некоторое облегчение. Она была обеспокоена горячностью, с какой Джерард говорил об этой опасной книге. В ней проснулись старые страхи, связанные с Краймондом: тот причинит зло Джерарду, и сама книга будет ему во вред, как минимум потому, что он будет несчастен, испытывая завистливое сожаление, поскольку другой написал ее. И еще, как первые симптомы смертельной болезни, она почувствовала сейчас страх поразительного сближения, посредством чего Краймонд отомстит ей, подружившись с врагом и уведя у нее Джерарда. Ей хотелось, чтобы эта история с книгой закончилась, чтобы Джерард, перейдя в силу благородства своей натуры от зависти к восхищению, поговорил о книге, похвалил ее, а потом забыл о ней и все стало бы как прежде, и Краймонд, злобный пес, оставался на безопасном расстоянии.

— Полагаю, книга не всякому понравится.

— Нет, не всякому, кто-то ее возненавидит, кто-то полюбит.

— Ты явно не из первых, судя по тому, как воз-

бужден! Не могу поверить, что все это настолько интересно — книга по политической теории. В конце концов, на эту тему написаны сотни книг.

— Роуз, книга блестящая, именно такая, какую мы ожидали получить, когда решили финансировать работу над ней. Это воплощение того, на что все мы надеялись, — но и того, чего опасались, то есть потом опасались. Она вызовет огромный интерес в обществе, невероятные споры, и, я надеюсь, окажет большое влияние. Странно, но я сейчас вспомнил то, что успело забыться, какие чувства мы испытывали к Краймонду в далекие уже годы, когда мы считали его выдающимся человеком, способным говорить за всех нас, от нашего имени. Конечно, это совсем не то, что мы тогда ожидали, это значительнее, и не то, что мы хотим услышать сегодня, но мы должны услышать.

— Мне не нравится, что ты все время повторяешь «мы», говори от себя — ты продолжаешь воображать, что существует какое-то Братство, но мы уже все сами по себе, никакое не Братство, просто одинокие личности со своими проблемами, и даже уже не молодые.

— Да, да, Роуз, дорогая, как хорошо ты сказала!..

— Тебе книга интересна, потому что ты знаешь о ней, знаешь Краймонда, помогал деньгами писать ее. Будь это кто-то другой, о ком ты никогда не слышал, ты бы не обратил на нее внимания. Что такого хорошего в этой жуткой книге?

— Отчего ты думаешь, что она жуткая? Не нужно так о ней думать. Это не просто очередная книга о политической теории, это синтез, она огромная, она обо всем.

— Тогда она наверняка хаотичная и провальная.

— Отнюдь нет. Боже, какая эрудиция, терпение, гора прочитанной литературы, способность мыслить!

— Ты тоже много читал и думал.

— Увы, нет. Краймонд сказал, что я перестал думать, что то, чем я занимался всю свою жизнь, не было процессом осмысления. И в некотором отношении он прав.

— Это нелепость, он нелепый человек. Что он будет делать теперь, когда книга закончена, — и сам закончится? Уедет в Восточную Европу?

— О, в Восточную Европу он не уедет, тут его родина. Возможно, напишет другую книгу, такую же огромную, опровергающую эту! Он вполне способен! Но этот том вызовет множество откли-

ков. Не знаю среди них никого, кто сейчас был бы способен написать нечто равного масштаба.

— Кого это «никого»?

— Да марксистов, неомарксистов, ревизионистов, как уж они там себя называют. Мне трудно сказать о Краймонде, «настоящий» ли он марксист, или что там под этим подразумевается, они сами-то не знают. Думаю, он марксист, имеющий собственную позицию, как лучшие из их мыслителей. Единственный хороший марксист — мертвый марксист. Этого недостаточно, чтобы быть ревизионистом, нужно быть еще и слегка сумасшедшим — иметь способность видеть существующий мир, представлять громадность происходящего.

— Что ж, я всегда говорила, что он сумасшедший, — кивнула Роуз, — и если в книге одни сумасбродные идеи…

— Да, есть такое… но необходимо понимать…

— Краймонд верит в однопартийное правительство — уже одного этого достаточно, дальше можно не ходить.

— Он и верит, и не верит… его подход намного серьезней…

— Я считаю, — сказала Роуз, — что нет ничего серьезней этого вопроса.

— О Роуз, Роуз! — Джерард неожиданно через стол схватил ее руки. — Какой прекрасный ответ, — (Она чувствовала тепло дорогих рук, значивших для нее намного больше, чем любая книга, чем судьба демократического правительства, чем судьба рода человеческого.) — Но, дорогая моя Роуз, мы должны думать, должны бороться, должны двигаться вперед, нельзя стоять на месте, все меняется так быстро…

— Ты имеешь в виду технологии? Разве книга Краймонда о технологии?

— Да, но, как я уже сказал, она обо всем. Много лет назад он говорил мне, что просто хочет все это для себя, объяснить всю эту философию самому себе, для одного себя. И вот это он и сделал: досократики, Платон, Аристотель, Плотин, вплоть до настоящего времени, и восточная философия тоже — а это означает, что он охватил мораль, религию, искусство, все, там есть блестящая глава о Блаженном Августине, и написано настолько хорошо, с юмором и остроумно, самым разным людям интересно будет читать…

— Тогда очень жаль, если это сплошное заблуждение!

— Да. Это может вдохновить массу бездумных критиканов. Он считает, что с либеральной

демократией покончено. Это своего рода пессимистическая утопия. И конечно, мы правы, хорошо, я прав, а он не прав… но мою правоту… нужно освежить, встряхнуть, вырвать с корнем и пересадить на солнце…

— Думаю, книга вызовет кратковременный шум, — сказала Роуз, — а потом мы все сможем успокоиться! Даже ты уже завтра утром будешь судить немножко трезвей. Сейчас ты пьян от виски и Краймонда!

— Возможно, она просто обращена ко мне.

— Но ты, конечно же, не считаешь…

— Я не в буквальном смысле. Не так уж много людей, способных понять эту книгу, достаточно подготовленных, и она для таких людей — кто-то согласится, кто-то нет, но они получат важное послание. Это как сигнал гелиографа — он может быть получен только в одной точке, и в ней он слепит.

— Во всяком случае тебя она ослепила. Но если там сплошь Платон, да Августин, да Будда, не понимаю, какая из нее политическая бомба.

— Не сплошь… это попытка рассмотреть все наше цивилизованное прошлое в контексте настоящего и будущего, она нацелена, так сказать, на революцию.

— Вот как! Действительно?

— Роуз, я имею в виду не пролетарскую революцию, о которой толкует допотопный марксизм, а глобальную революцию человечества.

— Не слыхала, чтобы такая произошла. Да и ты тоже. Ты только что узнал о ней из книги Краймонда!

— Дорогая моя! — Джерард безумно расхохотался, подливая себе виски.

— Ты пьян. Ты сказал, что я пьяна. Вот теперь мы оба пьяны.

— Милая моя девочка, да, я пьян, и я не «узнал» из книги того, что, разумеется, знал и прежде, только теперь я вижу это в новом свете.

— Это иллюзия. Все сплошной хаос. Вот что значит либеральная демократия.

— Роуз, ты видишь, ты понимаешь. Но массовая иллюзия — это огромная сила… и даже самое сумасшедшее пророчество способно обнажить вещи, о существовании которых никто и не догадывался.

— Что ты имеешь в виду: технологии, Африку, ядерную войну?..

— Многое, что кажется разрозненным, но на деле связано или будет связано. Сами основы сотрясаются, нам предстоит увидеть громад-

нейшие, глубочайшие, быстрейшие изменения, самую сокрушительную революцию в истории цивилизации.

— Не верю, что те вещи связаны, — сказала Роуз, — все это мифология. Удивляюсь тебе! У нас масса разных проблем, требующих разных решений. В любом случае мы, Джерард, не увидим столь захватывающей катастрофы. Надеюсь и верю, что в отведенные мне годы жизни по-прежнему смогу выйти из дому, чтобы купить фунт масла и свежий номер «Таймс».

— Кто знает? Подумай о том, что уже произошло на нашей жизни.

— Гитлер?

— Да, непредсказуемые, невообразимые вещи. Полеты в космос. Нас окружает будущее, которое мы не можем представить. Мы как те аборигены Новой Зеландии, которые просто продолжали рыбачить, потому что для них не существовал корабль капитана Кука — он стоял тут же, в бухте, но они не могли осмыслить его.

— Это мне нравится. Но того, что не можешь знать, того и не знаешь.

— Роуз, человеческая жизнь слишком коротка, и грустно не только оттого, что так ненадолго появляешься на сцене, но оттого, что у тебя

слишком мало времени на серьезные мысли — мышление требует долгой учебы, долгого самоограничения, долгой сосредоточенности — даже гении должны чувствовать, что слишком быстро устают, прерываются, когда только начинают понимать, — философия, возможно, человеческая история были бы совершенно иными, живи мы двести лет.

— Мы живем достаточно долго, чтобы повеселиться, поработать, полюбить нескольких людей и постараться быть хорошими.

— Да, да, но мы должны, хотя бы некоторые из нас, попытаться задуматься над тем, что происходит вокруг, и бороться…

— С чем бороться?

— Бороться — не знаю, как выразиться, — с историей. Ладно, кажется бредом — но, Роуз, это так трудно, я еще даже не могу найти в ней недостатков… так я чувствовал себя на первом семестре философии в Оксфорде, словно ползаешь по скользкому шару и не можешь попасть внутрь.

— Зачем ломать себе голову? Может, стоило пытаться, когда ты был студентом, но сейчас-то зачем?

— Хочешь сказать… ну да, тогда я был слишком молод… наверное, сейчас слишком стар… ужасно

думать об этом.

— Не хотела тебя расстроить.

— Ты льешь на меня холодную воду, ушат за ушатом, но так и надо, охладить пыл, успокоить…

— Не понимаю. Что, Краймонд на стороне истории?

— Да. Истории как бойни, истории как волка, рыщущего вокруг во тьме, он за идею истории как чего-то неотвратимого, даже если оно ужасно, даже если смертельно.

— Я считала марксистов оптимистами, которые верят, что с победой социализма повсюду скоро появится совершенное общество.

— Были когда-то оптимистами. Некоторые по-прежнему остаются таковыми, другие мучаются страхом, но упорствуют. Краймонд убежден, что мы должны очистить наши идеи видениями утопии во время крушения цивилизации, которое считает неизбежным.

— И предвкушает, без всякого сомнения! Он детерминист, как все они.

— Причем крайний, а эти самые опасные и привлекательные. Марксизм — как безвыходность и как наиболее приемлемая логическая система, единственная философия, которая будет

готова обслуживать неминуемо авторитарное правительство.

— И как ковчег, укрывающий новые ценности. Всем же старым буржуазным ценностям на нем не найдется места.

— Он пытается охватить всю проблему в совокупности… Конечно, я не согласен…

— Не думаю, что существует всеобщая проблема или что можно представить будущее, никому в прошлом это не удавалось.

— Не могу передать тебе, что это такое, вся книга — это одно взаимосвязанное суждение, и оно не просто пессимистичное — оно очень прагматично, что всегда было лучшей стороной марксизма! Она обо всем — в ней много говорится об экологии и о добром отношении к животным…

— Как раз для женщин!

— Роуз, книга очень благородная, о справедливости, о страдании…

— Не верю. Он хочет ликвидировать буржуазную личность, то есть личность, и буржуазные ценности, то есть ценности! Он верит в неотвратимость жестокости.

— Эта книга — всеобъемлющая критика марксизма со стороны очень умного марксиста, попытка добраться до сути… понимаешь…

— Не понимаю. Я могу найти в предметном указателе экологию и животных, доброе отношение к…

— Роуз, пожалуйста, только не пародируй…

— Ты потрясен, потому что книга похожа на то, «в чем нуждается наш век», но если это просто марксизм, правящий миром, и утопия впереди, это не ново, это все та же диктатура пролетариата, только в новых одежках, — ты же все это сам ненавидишь, так почему ты так восхищен? Я не верю в Краймондов ковчег, в его лодку, которая преодолеет пороги.

— Во что же ты веришь?

— Думаю, нам надо защищать то хорошее, что мы имеем.

— Скажи, пожалуйста… впереди… что ты видишь? Катастрофу? Или après nous le déluge?[94]

Роуз молчала. Джерард поднялся и, перегнувшись через спинку стула, смотрел на нее, его лицо горело от возбуждения и показалось ей комичным, впечатление усиливала его обычная шутовская улыбка. Наконец, не желая отвечать утвердительно, она просто кивнула.

Джерард отвернулся и принялся расхаживать

---

**[94] Примечания: 94**
После нас хоть потоп (фр.).

по комнате:

— Роуз, есть у тебя то шоколадное печенье?

— Такое темное, очень сухое? Да, есть.

На столе еще оставались их грязные тарелки, сыр и кекс, яблоки в красивой вазе.

— Я не наелся. Возьму еще и кусочек кекса. Аннушка пекла?

Ища на кухне банку с печеньем, Роуз думала о том, что в этом препирательстве со своим давним другом ее воодушевляла не какая-то там забота о будущем цивилизации, а обычное желание, этот спор для нее был как любовный поединок, жгучее, мучительное желание лечь с ним в постель трансформировалось в остроумие, в, как он сказал, пародирование, только и всего!

Джерард ел кекс, хватал печенье, набрасывался на сыр, беспрестанно расхаживая по комнате, роняя крошки на ковер. Глядя, как он давит их ногами, Роуз раздраженно сказана:

— Ты вот нахваливаешь книгу, но сам же говоришь, что все это неправильно! Если это марксизм, так оно и должно быть. Разве это не конец спора?

— Нет… нет… это начало. Когда ты прочтешь ее…

— Я не собираюсь ее читать! Уверена, что книга

отвратительна, хорошо бы ее не было.

— Ты должна прочитать ее.

— Почему?

— По причинам, которые я тебе объясню через минуту. В каком-то смысле, по мне, тоже хорошо бы, чтоб ее не было, она воодушевит дураков и подлецов и будет иметь массу отрицательных последствий, но все же я рад, что она есть, она заставит ее оппонентов думать, покажет, что у людей могут появиться новые мысли именно в этой ключевой области.

— Книги с новыми мыслями появляются каждую неделю.

— Нет, не появляются, во всяком случае, бьющими в эту точку.

— Революция, величайшая в человеческой истории. Да это просто расчет на сенсацию, возврат к нашим старым идеям.

— Тогда нам нужны новые.

— Мы на них неспособны. Ох, Джерард, как я устала.

— Прости, дорогая, не засыпай опять… я хочу тебе сказать…

— Я отправляюсь в круиз с Ривом и детьми, длительный, вокруг света.

— Вот как! — Новость ошеломила Джерарда. —

Когда?

— На Пасху. Ну, не вокруг света, но надолго, на несколько недель… не помню сейчас.

— Что ж, это будет славно.

— Я собираюсь видеться с ними намного чаще, собираюсь изменить свою жизнь, продать эту квартиру и переехать жить в Йоркшир.

— Роуз! Ты этого не сделаешь!

— Почему это? Кто мне помешает?

— Я. Послушай, хорошо, отправляйся в этот чертов круиз, навещай своих родственников, если желаешь…

— Спасибо!

— Но просто послушай, что я тебе скажу.

— Хорошо, хорошо!

— Проснись!

— Я не сплю. Извини, что была так категорична в отношении книги Краймонда, я уверена, что она никуда не годится, хотя она явно произвела на тебя впечатление, но это пройдет, к нам она не имеет никакого отношения.

— Мы финансировали ее.

— По случайности. Ты скоро забудешь о ней. Она не изменила твою жизнь.

— Изменила, правда, — это я и хочу тебе объяснить. Эта книга требует ответа, и на нее можно

ответить, по каждому пункту.

— Что ж, напиши рецензию — только ты сказал, что не станешь.

— Здесь рецензией не обойдешься.

— А чем же?

— Такой же большой книгой.

— И кто ее напишет?

— Я.

Роуз нагнулась, подняла с ковра несколько крошек и бросила их на стол. Какое-то еще непонятное ей чувство обреченности охватило ее, словно она увидела смертный приговор, написанный на неведомом языке.

— О нет… не делай этого, — проговорила она.

— Роуз, я обязан. Это мой долг.

— Джерард, в тебе говорит тщеславие, простое тщеславие. Ты не можешь сейчас браться за огромную книгу, жизни не хватит.

— Это необходимо… ради Дженкина… ради Синклера… ради всех нас.

— Не будь таким романтиком… таким сентиментальным…

— Краймонд написал глубокую книгу, она так и брызжет идеями… какие-то отчасти верны, большинство абсолютно ужасные.

— Напиши комментарии к ним.

— Нет! Я должен написать собственную книгу. Понимаю, что это означает. Придется прочитать массу всякой литературы и думать, пока не воскликнешь… но чувствую, что это сейчас главное — книга Краймонда не должна остаться без ответа.

— Забавно, — сказала Роуз, сбрасывая яблочные шкурки и сырные крошки со своей тарелки на тарелку Джерарда и составляя их, — я привыкла думать, что когда-нибудь, может, когда ты уйдешь в отставку, мы с тобой, каждый по-своему, будем счастливы вместе, не имею в виду ничего такого, просто что-нибудь вроде, скажем, поездки в Венецию. Я даже думала, мы, может, с тобой повеселимся вместе. Бедняжка Роуз, она хотела быть счастливой, но, увы, зря она надеялась. Да, пора отправляться в Йоркшир. Буду кататься верхом подолам с Ривом, Невиллом и Джиллиан.

— Послушай, мне понадобится помощница.

— Попробуй Тамар.

— Я рассчитывал на тебя, мы бы сработались.

— Джерард…

— Вот для чего ты должна прочитать эту книгу, изучить ее… и вот почему не должна покидать Лондон. Мы могли бы жить рядышком, по соседству, даже в одном доме — почему нет? Я думал…

Роуз рассмеялась:

— Снять вместе дом?

— Что ты смеешься? По-моему, отличная идея. Не обязательно надоедать друг другу. Но можно было бы видеться каждый день…

Роуз продолжала бессильно смеяться:

— Ох… Джерард… ты и я… жить одним домом?

— А что такого?..

— Нет, нет, об этом не может быть речи.

— Ну ладно, — сказал Джерард, беря пальто, — идея быть помощницей тебя тоже не привлекает?

— Нет!

— Что ж, пожалуй, идея глупая. Я придумаю что-нибудь еще. Ты устала. Чему, черт возьми, ты смеешься?

Роуз, сидя за столом, смеялась уже истерическим смехом, закрыв влажные рот и глаза белым платком Джерарда:

— Ох, просто… ты… эта история… или еще что-то!

— Тогда я прощаюсь, — сухо сказал Джерард, надевая пальто. — Благодарю за ужин. Извини за нелепые, как ты явно считаешь, предложения.

— Погоди минуту!

Уронив платок, Роуз бросилась к нему, схвати-

ла за рукав пальто, еще не просохшего от дождя, и тряхнула так, что он пошатнулся и они оба едва не упали на пол.

— Какой же ты глупый, неужели ничего не понял? Конечно, я буду твоей помощницей, и, конечно, мы будем жить в одном доме, или по соседству, или где захочешь… но если это произойдет, мы заключим соглашение… мы должны как бы пожениться, как бы, я устала не иметь ничего и хочу, чтобы у меня наконец что-то было, мы должны по-настоящему быть вместе, мне нужно какое-то чувство защищенности… я прочту книгу, сделаю все, что захочешь, но я должна наконец почувствовать… или это невозможно… ох, эта книга… ты не собираешься жениться на Краймонде, нет?

— Роуз, ты сходишь с ума?

— Ты захочешь встречаться с ним, обсуждать книгу.

— У меня нет желания его видеть и вряд ли появится, у него, думаю, тоже, когда-нибудь, возможно, мы встретимся, но друзьями никогда не будем… потому что…

— Ты не собираешься бросить меня… и жениться на другой… мы будем вместе?..

— Да, да, и ты можешь отравляться в свой кру-

из, но только не уезжай жить в Йоркшир.

— Потому что тебе нужна помощница?

— Потому что мне нужна ты!

— Я вынудила тебя сказать все это.

— Роуз, не будь такой несносной, ты знаешь, что я люблю тебя.

— Не знаю, не знаю ничего, я живу на краю тьмы… если не откажешься от идеи писать книгу, буду помогать… но мне нужно чувство надежности, что я не одинока.

— Ты не одинока! Ты сестра Синклера, мой самый близкий друг. Я люблю тебя. Что я могу еще сказать?

Роуз отпустила его рукав:

— Действительно, что ты еще можешь сказать. И помни… хотя, почему ты обязан помнить. Значит, мы будем жить вместе, или по соседству, или поблизости и видеться часто…

— Да, если хочешь этого.

— Ты сам предложил.

— Потому что хочу этого.

— Тогда договорились. А теперь иди домой. Я в самом деле устала.

— Роуз, не надо так…

— Иди. Я в порядке. Я помогу тебе с книгой.

— Доброй ночи, дорогая. Не сердись на меня,

Роуз, милая. Я действительно люблю тебя. Я заставлю тебя поверить этому. Можем даже съездить в Венецию.

После того как он ушел, Роуз сидела и тихо плакала, белый платок уже не помогал, и слезы капали на грязный стол. Отодвинув тарелки, она плеснула себе виски. Сколько слез она пролила из-за этого мужчины, и, конечно, это еще не конец.

Она была совершенно разбита, понимала, что произошло что-то важное, но не была уверена, во благо ли ей или она сделала ужасную ошибку, использовав последний шанс. До чего безупречно она, должно быть, вела себя все эти годы, уже так много лет, чтобы считать свое поведение нынешним вечером возмутительно несдержанным, слишком эмоциональным! Она была полна раскаяния и стыда: позволила себе кричать на него, высказала все, что думает. Сказала, что любит его, и ничего не получила в ответ, что не только не соответствовало истине, но и безусловно нарушало всякие правила приличия. Она видела, как ее тон и резкость выражений заставляли Джерарда морщиться. Это были ее давние печали, которые она часто перебирала наедине с собой, но которые, насколько помнила, никогда

не обрушивала на их безвинный источник. Однако больше всего ее огорчало в последней сцене и сейчас так усиливало ее опасения то, что она откровенно призналась Джерарду в неотвязной своей мысли и желании добиться от него обещания. Что способно вызвать в нем отчужденность, осторожность и равнодушие, как не подобное требование истеричной женщины? Из всего, что она обрушила на него, как раз это должно было особенно не понравиться ему.

Это правда, что к нескромности ее подтолкнуло предложение самого Джерарда поселиться вместе и то, как он это сказал, пробудив в ней давнишнюю робкую надежду! Точней, он предложил жить рядышком, по соседству или в одном доме, несомненно имея в виду разные квартиры, чтобы не надоедать друг другу. Это уж она потом поставила условие, потребовала «защищенности», и скорей всего бурным своим поведением вынудила его тактично удалиться. А следовало бы спокойно и с благодарностью принять его идею! В любом случае необходимость близкого соседства вытекала из простого удобства, поскольку помощник должен быть всегда под рукой! На что оно, черт возьми, это сотрудничество, если дойдет до него, будет похоже? Хватит ли у нее способностей

справляться со столь ответственной и длительной задачей? Сможет ли она изучить и понять эту трудную книгу, «твердолобое сумасбродство» которой она ненавидела и боялась, заняться столь трудной и чуждой ее душе работой, жить в постоянном опасении разочаровать Джерарда и вызвать его недовольство? А если спустя полгода он найдет, что она не справляется, и заменит ее компетентной молодой особой? Ох, эти ловушки и страдания, которые преследуют всякое человеческое стремление к счастью, лучше уж забыть о нем! Сейчас Джерард горит желанием сесть за книгу, он полон бодрости и сил, но потом, допустим, потерпит поражение или окажется неспособен написать свой великий «ответ», и это будет для него унижением и поводом для отчаяния. А ей придется быть свидетельницей. Вся ситуация грозила новыми и ужасными страданиями, а она была уже не молода и хотела отдыха и покоя. Это желание, как она понимала, внушили ей Рив и дети, Феттистон с его вересковыми болотами и мирным незабываемым пейзажем. И еще она жаждала отправиться в круиз. Конечно, Джерард отпустил ее. Но когда она будет, если будет, глубже вовлечена в его работу, станет ему необходимой, это принесет разочарование ее

новообретенной семье, которая так добра к ней, придется пренебрегать ими, огорчить, когда они увидят, что она принадлежит не им, а Джерарду. А не этого ли она всегда хотела, ведь она чуть ли не самый удачливый человек в мире, но вечно ее преследует неудовлетворенность из-за навязчивой идеи, от которой следовало давным-давно избавиться или обуздать.

Роуз плеснула себе еще виски и съела еще кусок сытного Аннушкиного кекса. Она чувствовала, что может просидеть так всю ночь в состоянии мучительною возбуждения, перебирая картины недавнего прошлого и ближайшего будущего. Она скинула тапочки и сняла чулки, чтобы побудить себя пойти наконец спать, и тут задумалась о Краймонде. Ей хотелось, чтобы книга была завершена, закончена и исчезла с ее горизонта вместе с автором. Теперь, конечно, если Джерард прав, пойдут рецензии, обсуждения, споры, фотографии Краймонда в газетах, его голос по радио, его физиономия на экране телевизора. Краймонд станет знаменит. Такого они не представляли себе во все то долгое время, когда «злобный пес» рыскал где-то рядом во тьме. Если бы только она могла сейчас поверить, как верила раньше, даже час назад, что для них, ее и Джерарда, Краймонда

действительно больше не существует, что он стал лишь именем некоего человека, написавшего книгу, которую никто не прочитает и не заметит. Но теперь в ее тревожном сознании черным пятном засела мысль, что Краймонд вряд ли уйдет в прошлое. Он будет присутствовать в их будущем, занимать в нем огромное, как его книга, место. Джерард сказал, что не собирается встречаться с Краймондом. Но это неизбежно, и уж точно работа над собственной книгой принудит его к этому. Они сойдутся В какой-то момент он наверняка не утерпит, захочет поспорить с Краймондом, задать какой-то вопрос, убедить в чем-то, проверить собственные идеи на столь сильном оппоненте. Возможно даже, что подсознательная перспектива подобной схватки лицом к лицу и была причиной такой возбужденности и страсти Джерарда. Или стоит поверить, что Джерард остынет, сочтет краймондовскую книгу ничем не примечательной, а свой энтузиазм кратковременным помешательством? И хочется ли ей верить, что Джерард успокоится, потеряет интерес к собственной работе и весь этот пыл, все это огромное желание в конце концов сойдет на нет?

Роуз поймала себя на том, что, продолжая медленно раздеваться, сняв с себя коричневый

вельветовый жакет и белую блузку, глубоко вздыхает. Она надела через голову длинную ночную рубашку, ища в этом привычном движении какое-то успокоение. Значит, от Краймонда не избавиться. Если Джерард напишет книгу, даже только начнет писать, если она будет помогать ему, будет с ним рядом, она обречена снова встретиться с Краймондом. Почувствовав это, она мгновенно автоматически принялась в уме переписывать письмо — что уж там было? — извинение, оправдание, примирение, которое писала Краймонду, когда он покинул ее дом в тот удивительный день после того, как сделал ей предложение. Дорогой Дэвид, пожалуйста, простите меня за грубый ответ. Ваше признание застало меня врасплох. Позвольте мне теперь сказать, как я благодарна и тронута. Я выбежала за вами, но вы исчезли. Вы сказали, что мы должны встретиться снова. Пожалуйста, давайте так и сделаем, узнаем друг друга лучше. Возможно, я в конце концов и полюблю вас. Совсем с ума сошла, подумала Роуз. Разве она не помнит, какое облегчение почувствовала, когда не отослала то безрассудное компрометирующее письмо, письмо, которое, как ни мало в нем было сказано, дало бы Краймонду повод вернуться полным

надежд? Пришлось бы прогонять его второй раз, и как болезненно и многозначаще было бы это вторичное расставание для них обоих. Даже одно существование такого письма в руках Краймонда поставило бы ее в ужасную зависимость, не исключило бы возможность шантажа с его стороны. И как бы она боялась, что Джерард узнает о подобном ее чувстве, неважно, насколько мимолетном, пусть даже секундном. Так что она признала права Джерарда на нее. Но, предположим… я не мог и мечтать о вас, может, был не прав. Роуз, не сердитесь на меня и, пожалуйста, простите за неожиданность, шок… Любовь должно пробуждать. Я хочу пробудить в вас любовь. Если бы она написала сразу, подумала Роуз, то могла бы вернуть его, могла бы по крайней мере, загладить то ужасное впечатление. Сейчас он уже смирился с ее высокомерными словами и ненавидит ее. Как же она позволила себе обращаться с этим гордым человеком и как он, наверное, еще заставит ее пожалеть об этом.

Эти мысли мгновенной вспышкой ужасного взрыва озарили Роуз. «Нет, он на это не пойдет», — сказала она вслух. Она отнесла все со стола на кухню, счистила остатки с тарелки в мусорное ведро, завернула сыр, убрала кекс в

жестяную банку, печенье в другую. Вспомнила о зубной боли, потом ощутила ее, но уже не такую сильную. Проглотила еще две таблетки аспирина. Она была без сил, намерение сидеть всю ночь и думать пропало, хотелось забыться и ни о чем не думать. Вернись к реальности, сказала она себе. Она сделала единственную правильную вещь, хотя и до неприличия грубо. Обидно для ее самолюбия. Мы еще задумаемся о смерти Дженкина и о возможности невозможного. Джерард сказал, что они никогда не были друзьями — но они наверняка должны были встретиться, и она в один прекрасный день тоже снова встретится с Краймондом, они вздрогнут, а затем все время будут хранить равнодушный и будничный вид; он никогда не расскажет, никогда, даже под пыткой не расскажет, не только ради себя, но и ради нее. Так что их вечно будет связывать и мучить сомнительная грустная тайна.

Интересно, что Джерард имел в виду под жизнью одним домом, и возможно ли такое вообще? Наверное, действительно есть где-то дом, где Джерард и она отныне будут жить вместе, как брат и сестра. Забираясь в постель, она гадала, где бы этот дом мог быть. Хорошо бы у реки. Ей всегда хотелось жить у реки. Она погасила свет,

уснула и во сне увидела себя в Венеции с Маркусом Филдом.

Джерард, чувствуя, что сильно напился, решил пройти пешком всю дорогу от дома Роуз к себе на Голхок-роуд. Дождик перестал моросить, взошла мутная безумная луна. Восточный ветер продолжал продувать Лондон. Он был без перчаток и сунул было руки в карманы, но так шагать было неудобно, и он снова вынул их. Восточный ветер трепал волосы ледяными пальцами.

В каком необычном состоянии была Роуз, что за слова, вроде «невыносимо», употребляла! Удалось ли им наконец разрешить конфликт, разрешили ли они вообще хоть что-то или лишь создали некую новую ненужную непонятную ситуацию? Конечно, они были друзьями, их дружба, узы, связывающие их, крепки и ничем не омрачены, абсолютны, и она должна знать это так же, как знает он. Не совершил ли он ошибку, не проявляя достаточно чуткости по отношению к ней, неужели она действительно нуждалась в подтверждении его чувства к ней? Наверное, так оно и есть, ей особенно нечем было занять свои мысли, не то что ему, и больше времени для переживаний. Теперь он понимал, что дал Роуз меньше, чем ей хотелось, говорил меньше, чем

испытывал искушение сказать, был не великодушен и осторожен. Может быть, ее поразила разница между настойчивым вниманием семейства Кертлендов и его, Джерарда, отношением к ней, как к чему-то «привычному»? «Я отдала тебе жизнь, а ты этого даже не заметил». Очень сильно сказано. Но конечно, под дурное настроение, а не от глубокой обиды. Как он мог не воспринимать ее как нечто привычное, разве это само не было доказательством некой абсолютности их дружбы? Как странно, почти неприятно, что она заговорила о необходимости «договора». это что-то вроде обещания жениться. Тут только Джерард сообразил, что Роуз требовала от него того же, чего он требовал от Дженкина! Бедные человеки, думал он, вечно жаждут защищенности, но не любят платить за нее! Дженкин тогда рассмеялся. Роуз тоже засмеялась, но, некоторым образом, не в том месте. Почему она так смеялась, когда он предложил жить одним домом, а потом сказала, что об этом только и мечтала? Обычно Роуз так рассудительна и спокойна. Конечно, она была раздосадована из-за его книги, даже ревновала к ней, но это другое дело. Или эти чертовы Кертленды повлияли на нее? Джерард припомнил хитрое выражение на лице Невилла, когда он

сказал, что они увезут ее в Йоркшир. Был ли то своеобразный выпад, вызов на бой? Никакого боя быть не может. Роуз принадлежит ему, всегда принадлежала. Он ответствен перед ней, в ответе за нее. Конечно, она может заботиться о своих Кертлендах. Но настоящая ее семья — Джерард, в этом не может быть никаких сомнений! Он убедит ее, думал Джерард, будет заботиться о ней, может, он недостаточно старался сделать ее счастливой, но теперь он исправится.

Подходя к дому Дженкина, он чувствовал, что изрядно промок и продрог. Переселяясь в этот маленький домик, он намеревался как-то, возможно, символически, но в то же время заметно переменить свой образ жизни, отказаться от имущества в пользу своего рода освобождающей простоты. И действительно продал многие из своих вещей, с иронией отметив, что вряд ли можно считаться аскетом, когда продаешь собственность и кладешь денежки в банк. В последнее время он начал чувствовать некоторую фальшь своей жизни здесь, словно это было некой игрой. Соседи понимали это, дом тоже, кажется, понимал. Переселение сюда даже не имело отношения к скорби по погибшему другу и иногда выглядело профанацией ее. Было неизбавимым мучением

жить среди вещей Дженкина, когда Дженкин был мертв. Он не собирался говорить Роуз о доме, хотя однажды такая мысль у него и промелькнула. Теперь же у него появился интерес к этой идее, и имел он в виду не прежний свой дом и не этот тоже. Он нуждался в совершенно новом месте, и теперь, когда у него неожиданно появилась страшно ответственная цель в жизни, ни к чему было играть в аскетизм. Он не думал, что переоценил книгу Краймонда, но так или иначе теперь он должен был написать собственную. Теперь он видел, спасибо Краймонду, какой должна быть его книга. Может быть, он излишне размечтался, но он обязан из кожи вылезти, чтобы все стало ясно. Тут он неожиданно подумал о Левквисте, о том, каково было прояснять некоторые невероятно трудные места в греческих текстах, и вспомнил, нутром почувствовал ту почти сексуальную дрожь, которая охватила его тогда в Оксфорде, когда он оказался лицом к лицу с невероятно высоким эталоном. Вспомнил он и слова Валери, которые Левквист любит цитировать: трудность — это свет, непреодолимая трудность — солнце. Но несомненно, что куда чаще непреодолимая трудность остается непреодолимой трудностью. Пытаясь «ответить» Краймонду, он должен быть

готов к тому, что написанное им покажется, может, даже и будет обычным комментарием к чужой книге. Возможно, все, что ждет его, это конечный провал, тяжкий бесполезный труд, напрасная трата сил и оставшегося времени на то, что не будет представлять никакого интереса. Ему пришли на память слова Блаженного Августина, процитированные отцом Макалистером: «Пред светом лица Божия съеживается моя душа, как мотылек». Может быть, он в конце концов останется даже не с сокрушенным, а с разбитым сердцем.

Когда он подошел к маленькому домику, вновь заморосило. Он вставил ключ в замок с таким чувством, будто явился сюда как нежданный да еще и нежеланный гость. В доме было нестерпимо холодно. Дженкину никогда не приходило в голову провести центральное отопление. Джерард зажег свет, задернул вельветиновые шторы и включил газовый камин в гостиной. Он решил, что все еще голоден — слишком он был возбужден, чтобы толком поесть у Роуз, слишком не терпелось рассказать ей о своем великом замысле. Конечно, у него совершенно не получилось объяснить, чем хороша книга Краймонда, чем плоха. Хороша она, подумал он, тем, что говорит о страданиях,

а плоха — что толкует о верности грядущему совершенному обществу. Это центральная идея, на которой, по сути, основана книга, — но такой вещи не существует. Невозможно таким путем достичь правды в будущем, мы, как сказала Роуз, не можем вообразить себе будущее… и совершенное общество есть вещь недостижимая… общество может быть только достойным, что зависит от свободы, порядка, обстоятельств и бесконечных исправлений, которые неосуществимы на расстоянии. Все случайно, но человеческие ценности абсолютны. Это простая вещь относительно человеческой жизни, которую нужно долго объяснять. А допустим, «холодный душ» Роуз лишь начало общего пренебрежения книгой Краймонда. Конечно, что бы ни случилось с той книгой, это не скажется на его книге. Но Джерард понимал, что, хотя его разозлит, если Краймонд получит только доброжелательные отзывы, только плохие его расстроят! Он пошел на кухню и вылил в кастрюльку банку супа. Нашел нарезанный хлеб, намазал маслом, пока суп разогревался, потом отнес свой ужин в гостиную, где на серванте, охраняемая двумя фарфоровыми стаффордширами, громоздилась верстка краймондовской книги. Он поставил тарелку с хлебом

и кружку с супом на кафель возле камина и, повернувшись, чтобы закрыть дверь, заметил на половике в прихожей письма. Он узнал почерк Дункана. Забрав их, он вскрыл дунковское:

> Дорогой Джерард, в «Таймс» ты найдешь некролог, посвященный Левквисту. Кто бы ни написал его, он не слишком его превозносит. Смею сказать, такого рода величие сегодня не в моде! Я невероятно опечален и захотелось написать тебе. Знаю, ты видел его во время того кошмарного бала прошлым летом, а может, видел и после. Он был вроде святого от филологии, особый образец. Наверное, завершение его жизни заставило меня задуматься над тем, как я распорядился своей. Насколько бестолково и насколько в действительности она коротка, о чем, я слышал, ты как-то обмолвился. Я пришел к заключению, что единственное, что имеет значение, это дружба, а не та переоцененная так называемая любовь, но наши близкие друзья, по-настоящему близкие люди, единственные наши утешители и судьи. Ты всегда был для меня

и тем и другим. Позволь выразить веру, что за всеми недавними передрягами мы не потеряли друг друга. Отсюда кажется, что Лондон бесконечно далек. Мы купили дом, но пока живем по адресу отеля. Надеюсь, ты пишешь что-нибудь. Я-то оставил всякую мысль об этом.

***Твой***
***Дункан.***

Джерард еще не видел некролог в «Таймс». Итак, Левквист умер. Ему вспомнилась длинная комната, большой письменный стол, заваленный книгами, окно, раскрытое в летнюю ночь, огромная красивая голова Левквиста, говорящего: «Заглядывай еще, заглядывай навестить старика». Он так больше и не заглянул. Так и не поцеловал его руки, не сказал, как любит его. Припомнились слова Левквиста: «Видел я молодого Райдерхуда. Отрывок из Фукидида очень его озадачил»! «О боже, боже!» — сказал Джерард вслух, сел в одно из неудобных кресел у камина и уткнулся лицом в ладони. Облако, незримое присутствие черного горя, неожиданно обволокло его. То была ночь, когда умер отец. Вот и Левквист, который был ему как отец, умер. И Дженкин

мертв; и это незримое присутствие было его, Дженкина, Дженкина печального, Дженкина как самой печали, как непреходящей мучительной скорби. «Почему ты должен был умереть, когда я так любил тебя?» — сказал Джерард Дженкину. И это было ужасно, ужасно, как будто тень Дженкина плакала и протягивала к нему бессильные руки. «Это была не моя вина, — сказал Джерард тени, — прости меня, прости, я осиротел, я наказан, отравлен. Почему ты так ужасно плачешь? Потому ли, что убит, а я дружески отношусь к твоему убийце? О Дженкин, как мы могли потерять друг друга, как могли так измениться, ты — обвинитель, а я парализован отравой!»

Джерард встал и всерьез оглядел комнату, ища что-то, что-то крохотное, во что сейчас превратилась ужасная обвиняющая тень, что-нибудь вроде маленькой коробочки или черной механической игрушки. Ничего, кроме самой комнаты, неуютной и непривлекательной, случайной и пустой. Внезапным движением Джерард ударил по аккуратной стопке верстки, сбив листы на пол. Падая, они увлекли за собой одного из стаффордширов. Собака упала и разбилась. Джерард собрал осколки и положил на сервант.

Точно, он отравлен, подумал Джерард, ему

чудятся призраки, он проклят, безумен. Разбившаяся собака наконец вызвала на его глазах слезы. Как он будет писать книгу, когда не может не думать о смерти Дженкина? Какое ему дело до идей Краймонда? Зачем он заговорил с Роуз о доме, о жизни вместе? Пускай едет в Йоркшир. На нем лежит проклятие, он обречен на одиночество среди призраков. Благодаря книге Краймонда ему показалось, что у него есть какие-то мысли, но это иллюзия. Левквист говорил, что ему не хватает твердости, Краймонд сказал, что бы он ни написал, это будет красивой ложью, Роуз сказала, что с его стороны это тщеславие. У него не хватит энергии на большую книгу. И он теперь понимает, что все это ни к чему. Но отсюда он съедет. Не нужно ему больше ничье общество, ни людей, ни призраков. О господи, он стареет, прежде он этого не чувствовал. Он стар.

Он подобрал тарелку и кружку с кафеля у камина и отнес на кухню. Поставил чайник на огонь, чтобы согреть воды для бутылки в постель. Он забыл включить обогреватель в спальне, и теперь там был ледяной холод. Он включил его и задернул шторы. Ветер с дождем хлестал в окно, которое дребезжало и пропускало струи холодного воздуха, шевелившие шторы. Конечно, сказал

он себе, он пьян, но тем не менее. Проклятие, которое висит над ним, висит над ними всеми. Колледжам Оксфорда, Биг-Бену теперь не откупиться от них. Время, когда они могли часами говорить об этой планете, распоряжающейся нашими судьбами, навсегда ушло — оглянуться не успели. Роуз права, уже бесполезно пытаться о чем-то задумываться. Вечеринка закончилась. Apres nous le deluge — после нас хоть потоп.

Чайник закипел, он наполнил бутылку и сунул ее в постель, в которой, казалось, поселилась какая-то холодная сырая плесень. Взял пижаму и вернулся в гостиную, чтобы переодеться перед огнем. Листы верстки краймондовской книги валялись по всему полу, и он сгреб их в груду ногой. Снял галстук, который надел несколько часов назад, чтобы идти на вечеринку к Ферфаксам, где, как он знал, встретит Роуз и на которую он опоздал, потому что не мог оторваться от этой чертовой книги.

Расстегивая рубашку, он увидел письмо Дункана, валявшееся на кресле. Он, конечно, ответит, но настоятельного желания видеть Дункана не испытывал. Возможно, когда-нибудь потом. Он чувствовал себя недостойным, эти смерти опустошили его, ему будет стыдно перед Дунканом.

Тот молодец, обзавелся женщиной и домом, смог устроить свою жизнь, несмотря на все несчастья. Дункан никогда не был «выдающимся», как Дженкин, как он сам, как Краймонд. Джерард вспомнил, что именно так охарактеризовал книгу Краймонда, говоря с Роуз. Но Дженкин был выдающимся иначе, нежели Джерард или Краймонд. Джерарду припомнилось, как Левквист осадил его, когда он предположил, что Дженкин «недалеко пошел». «Райдерхуду ни к чему идти далеко, чего-то добиваться, он на своем месте. Тогда как ты…» Да, подумал Джерард, Дженкин всегда шел со всеми, был целиком поглощен тем, чем бы ему ни доводилось заниматься, жил этим, реальный во всех смыслах, полный доброжелательного любопытства к окружающему. Тогда как он, Джерард, всегда чувствовал, что реальность где-то в другом месте, высокая, безразличная и одинокая, на некой туманной горной вершине, которую он один среди немногих способен узреть, хотя, конечно, никогда не достичь, и чей магнетизм пробирал его до кишок (выражение Левквиста), когда он упивался этим величественным видом, сознанием выси и дали, пропастью под ним, вершиной над ним, и ощущением приятной никчемности, даваемой лишь

избранному — самодовольному платонизму, августинианскому мазохизму, как называл это Левквист. Почему он так больше и не пришел к нему, не поговорил обо всем этом, ведь мог бы в любое время. А теперь он чувствует, чувствует, что остался наконец один — а гора, и вершина, и что он близок к ней, взирает на нее, все было иллюзией? Способен ли он жить, не думая о себе и об этом, просто так? Возможно, дело в утрате этого, которую он ощутил лишь сейчас, когда понял, насколько отравлен убийственным сомнением, когда решил, что вершина слишком высоко, слишком далеко. Именно когда столкнулся с непреодолимой трудностью, столкнуться с которой так жаждал, он обнаружил, что у него не осталось сил. Придется съеживаться и съеживаться и заползать в расселину. То, что казалось пиком горы, оказалось в конце концов ложной вершиной — настоящая находится намного выше и скрыта облаком, и в его случае ее с равным успехом может не существовать; все, он сдается.

Он уйдет немедля, думал Джерард, спрячется где-нибудь. Купит квартиру, запрется, исчезнет. Никому не скажет, где скрывается. Да кому есть дело до него, кроме Роуз, а у нее теперь своя семья. Какой вздор наговорил он ей сегодня,

наверное, спьяну, непривычен он к этому. Он предупредит ее, чтобы никому не болтала о его полоумной идее. Ну да она никому не проболтается, она хочет, чтобы он от нее отказался, и, наверное, знает, что так и случится. Как бы ему хотелось поговорить с Дженкином. Может, это веяние потустороннего ужаса на самом деле было пониманием наконец, что Дженкин мертв и его нет нигде. Он сунул письмо Дункана обратно в конверт, положил на каминную полку и принялся просматривать остальные письма, которые было бросил на пол. Два из них были на имя Дженкина. Сперва их приходило много, затем меньше. Эти два были рекламные, и он швырнул их в мусорную корзину. Кроме того, был счет за газ, и его он сунул в карман. И тут его словно током ударило, как если бы он коснулся оголенного провода. Он смотрел на последнее письмо, валявшееся на полу у его ног. Непонятное потрясение было вызвано почерком на конверте, который его подсознанию показался зловещим, чуть ли не ужасным еще прежде, чем он этот почерк узнал. А почерк способен вызвать радость или страх задолго до того, как вы его свяжете с именем адресата. Это был почерк Краймонда. Много лет прошло с тех пор, как Джерард получал

письма от Краймонда, но эта надпись на конверте, будто некие мрачные знаки, высвеченные факелом в гробнице, перенесла его в далекое прошлое, в Оксфорд, к какому-то событию, чувству, теперь слишком давнему, чтобы можно было припомнить его, похороненное в темных глубинах сознания, откуда сейчас с изначальной силой и вырвалось дурное предчувствие. Даже возвратясь к действительности, он испытал тошнотворный ужас при виде письма, отвращение и желание, не вскрывая, разорвать его на мелкие кусочки. Он даже отвернулся и ушел в кухню, убрался там, помыл кружку и тарелку под струей горячей воды и выключил свет. Затем вернулся в гостиную, подобрал письмо и вскрыл его. По крайней мере не длинное. Письмо состояло из одной строчки. *Это был несчастный случай. Д.*

Джерард снова взял паузу. Вышел в прихожую, даже открыл уличную дверь, увидел, что дождь приутих, но ветер беснуется по-прежнему. Закрыл дверь и машинально запер на засов, хотя делал это не всегда. Вернулся в гостиную, сел у огня и перечитал записку несколько раз. Он сидел неподвижно, а в голове металась буря противоречивых мыслей, потом они закружились вокруг головы, затем заполонили комнату, как

стая черных молчаливых быстрых птиц. Человеческая мысль с легкостью нарушает законы логики и физики, и Джерард в тот момент был способен представлять и ощущать одновременно много всего живо и даже ясно. Он думал главным образом о Дженкине, о его смерти и несчастном случае, в результате которого она произошла, и эту тему он сейчас мог обсудить с Дженкином. Как бы то ни было, подумал он, сейчас Дженкину не обязательно быть призраком, он может быть собой, только прошлым. Его сущность остается абсолютной. Он не страдает, это можно точно сказать, все произошло внезапно, он даже ничего не понял. Джерард не мог смотреть на краткие газетные сообщения, описывавшие нелепое несчастье, но создал себе какое-то впечатление по разговорам людей. И сейчас не испытывал потребности углубляться в подробности. Он даже не будет его спрашивать, думал Джерард (имея в виду Краймонда), он не хочет знать, как именно все случилось, потому что теперь это не имеет значения. Нет никакого смысла сомневаться в том, что фраза Краймонда правдива. Усомниться значило бы погрузиться в тоскливое безумие, весь рациональный мир согласился с тем, что Краймонд рассказывает правду. А будь это иначе,

не мог бы написать подобное письмо. Убедив себя в этом, Джерард не только ощутил прилив энергии, которая было утекла из него, а теперь возвращалась спокойными обильными волнами, но и будто весь мир каким-то непостижимым и неподвластным ему образом вращается вокруг него, будучи прежним и вместе с тем открываясь новыми разнообразными гранями. Думая об этом, Джерард поднялся, собрал разбросанные листы краймондовской книги и сложил аккуратной стопкой на серванте. Он ходил взад и вперед по маленькой гостиной, и темные птицы-мысли, которые метались вокруг него, как стрижи, начали успокаиваться и садиться на мебель, внимательно поглядывая на него ясными бусинками глаз.

Он снова сел и взглянул на записку. Ясно было, что Краймонда очень волновало, даже мучило, что думает Джерард о смерти своего друга. Он должен был избавить Джерарда от терзавшего его кошмара. В равной степени он не сомневался, что Джерард поверит ему. Однако было очевидно, что написать ему он решился не сразу. Может, чувствовал, что должно пройти какое-то время, а может, не знал, что именно сказать. Но слова выбрал верные, подумал Джерард. Подпись тоже была показательна. Не К. или Д. К., но Д. Джерард

решил пока не задумываться над этим обстоятельством, а вернуться к нему позже. Кроме того, сейчас он, впервые за все это время, мог пожалеть Краймонда за то, что тот по нечаянности сделал и теперь вынужден был жить с этим. По крайней мере, написав ему, Краймонд освободился от лишнего кошмара и вместе с тем, в виде побочного результата, освободил и Джерарда. Освобождение было чем-то огромным, но и мучительным, возвратив очищенными его горе и утрату. Наконец он избавился от мысли, так терзавшей его, что, может, в далеком прошлом Краймонд и Дженкин находились в отношениях более близких, чем он подозревал. Но теперь подобное предположение казалось праздным и пустым, а отравлял его другой яд, который теперь полностью вышел из него.

Джерард снял рубашку и брюки и неторопливо облачился в пижаму. Оставался вопрос, как отвечать на послание. Придется над этим подумать. Краймонд этим письмом снял с себя бремя. Но он ведь и ожидает благодарности. Нужно будет немного повременить, а потом ответить столь же краткой запиской. Он подумает над этим завтра. А книгу, сказал себе Джерард, он, разумеется, напишет, он просто обманывал себя, когда

думал, что не сможет, был болен в тот момент, должен написать. Конечно, он будет сражаться не только с теми непреодолимыми трудностями, но и со временем. Даже приняться за нее будет стоить долгой борьбы. Но он напишет ее, то есть попытается во что бы то ни стало. Сделает это ради Дженкина, теперь между ними не осталось недомолвок, это можно сказать. Господи, как ему не хватало Дженкина в этот период одиночества. Завтра же утром он и начнет перечитывать книгу Краймонда, не забывая всего того, что Роуз сказала о том, что он «потрясен» и «захвачен» книгой и что будь у нее другой автор, о ком он никогда не слышал, он бы не обратил на нее внимания. Вряд ли она права, но даже если права хоть самую малость, теперь это не имеет значения, потому что он знает, что ему делать, какой ему труд предстоит. И это несомненно благодаря Краймонду.

Продолжая думать, он сел на кровать, и мысль на сей раз была малоприятная: когда-то он снова встретится с Краймондом. Разумеется, не скоро. Им придется строго соблюдать декорум. Никаких упоминаний ни о смерти Дженкина, ни о книге. Конечно, ему захочется поговорить с Краймондом о книге, и его мнение должно того заинтересовать. А не окажется так, что Краймонд забудет о

своей книге, даже откажется от нее? Люди, пишущие толстые ученые замечательные книги, часто отказываются от них и ни обсуждать, ни даже слышать о них не желают не обязательно потому, что считают их неудачными, а просто потому, что теперь ими владеют совершенно противоположные идеи. Как он уже говорил Роуз, Краймонд безусловно способен написать другую огромную книгу в опровержение этой или с той же страстью, с тем же знанием дела написать на кардинально новую тему! Тем не менее он встретится с Краймондом снова, когда-нибудь — и когда это время придет, Краймонд будет ждать его.

И о Роуз он позаботится, говорил себе Джерард, не позволит ей прибиться к Кертлендам, сделает ее счастливой. Роуз — это счастье, вот только не состоявшееся. Он не может без нее. Он забрался в постель и выключил свет. Вытянул ноги, толкая бутылку с горячей водой подальше, в ледяные простыни. Снаружи бесновался ветер и пригоршнями швырял в окно дождь, как крохотные камешки. В темноте его снова объяла печаль, он задумался об отце, каким тот был мягким, добрым, терпеливым, хорошим, как уступал, из любви, жене, жертвуя не только своими желани-

ями, но иногда и принципами. Все это, должно быть, причиняло ему огорчения, да и дети, которые не всегда ладили с ним, наверное, тоже, по мере того как становились старше. Он, думал Джерард, мало старался, редко навещал его, не просил остаться, вечно у него не хватало времени на отца. А нужно было, чтобы тот стал частью его жизни. И мама — но он не смог представить себе мать, ее печальная тень напрасно махала ему. Они умерли, думал он, отец, Синклер. Дженкин, Левквист — все умерли. И тут ему впервые пришло в голову, что, может, и Жако тоже уже умер. Попугаи живут дольше людей, а Жако в то время был молодой птицей. Но в неволе попугаи беспомощны, они зависят от людской доброты, и есть много причин, по которым они могут умереть, не дожив до старости: от небрежения, от болезни, их могут забыть в пустом доме, морить голодом. Мысль о Жако, умершем голодной смертью, была столь ужасна, что Джерард сел в постели и его, как чистый сосуд, переполнило внезапное ощущение всей муки и бессильного страдания божьих тварей. Он чувствовал, как вращается Земля, чувствовал ее боль, о Земля, бедная, бедная Земля! Он снова лег, повернулся на бок и зарылся лицом в подушку. Подождал,

когда мгновение слабости пройдет. Думал: он должен идти дальше или, вернее, выше, потому что не намерен отказываться от своего видения жизни, ни ради Левквиста, ни даже ради Дженкина. Вершина существует, торжественная, и неизменная, и одинокая, безразличная и чистая, и, да, он чувствует ее притягательную силу сейчас, может, еще сильнее, чем когда-либо, и, да, есть невероятное наслаждение в ощущении ее недосягаемости, ее высоты и неприступности, чужести, отстраненности от его порочного существования. Он съежился пред нею, не как пред лицом человеческим, но как в безразличном пламени. Он видел ложную вершину, но теперь, по мере того как меняется пейзаж, ему открываются более крутые утесы и пики еще дальше и выше. Да, он попытается написать книгу, но это пожизненный приговор, и она не только может не получиться, но неизвестно, закончит ли он ее вообще. Спокойные размышления… сможет ли он снова спокойно размышлять? Последние минуты перед началом. Завтра он должен будет приступить, отправиться в долгое странствие туда, куда когда-то собирался отправиться Дженкин, к пределу бытия, на самый край. Да, за ближайшим гребнем тропы уже нет, только отвесный склон,

подымающийся ввысь, и, вглядываясь в этот вертикальный подъем, Джерард побледнел, как перед восхождением на эшафот.

Так он никогда не уснет, подумал Джерард. Лучше встать и заняться чем-нибудь. Интересно, получится ли склеить того стаффордшира? Вроде бы не сильно разбился. Но глаза его уже слипались, и он задремал. Наконец он уснул, и ему приснилось, что он стоит на склоне горы, держа в руках книгу, на страницах которой начертано: «Dominus Illuminatio Mea»[95] — и из далекой выси к нему спускается ангел в виде огромного попугая жако с любящими умными глазами, садится на книгу и распускает серые с алым крылья, и этот попугай есть книга.

**[95] Примечания: 95**

«Господь свет мой» (лат.) — первая строка 27-го псалма (и девиз Оксфордского университета).

~~~

Лили Бойн шла, медленно поспешая, по убогой улочке в Южном Лондоне. Медленно она поспешала потому, что сердце ее бешено колотилось от волнения, она часто дышала раскрытым ртом, словно того гляди упадет в обморок или, по крайней мере, должна будет где-нибудь присесть. Однако присесть было негде, кроме как на край тротуара. Ей не терпелось оказаться на месте и в то же время было страшно. Хотя она с нетерпением ждала этого момента, но уже хотела, чтобы все закончилось, и вернуться домой. Вернется ли она целой и невредимой или придется собирать себя по кусочкам? И что, сейчас она в здравом уме, а потом сойдет с ума, или сейчас она невменяема, а потом будет нормальной? Или же она помешалась окончательно?

Лили шла на встречу с Краймондом. Она не видела его и ничего не знала о нем с того кошмарного случая на летнем балу. Убийственное воспоминание о той ночи преследовало ее, порой терзало, хотя она не думала, что для нее все могло кончиться иначе. Да, она, пожалуй, позволила себе кое-что вообразить, не могла окончательно
~~~

отбросить красивые болезненные фантазии, что Краймонд в тот вечер мог наконец «обрести себя», поняв, как много она для него значит. Она чувствовала, даже в какой-то степени и сейчас, гордясь и ужасаясь, что «сама была во всем виновата», потому что это она свела Джин и Краймонда. Не расскажи она ему о бале, он бы не заявился в своем килте, могущественный, как бог. Хотя она никому не говорила о том, что именно она положила начало разыгравшейся впоследствии драме, она не могла не чувствовать, что кто-то или что-то накажет ее за это — или судьба, или Краймонд. И все же это их связывало, она сыграла роль посредницы Любви, и не ее вина, что Любовь так таинственно потерпела поражение. Среди страхов, терзавших ее сейчас, когда она шла по грязной улочке, был страх того, что Краймонд может подумать, что она жалеет его! От подобной мысли она готова была покончить с собой. По правде сказать, она совершенно не знала, и, похоже, никто не знал, по какой причине Джин и Краймонд разошлись во второй раз. Но факт, что Краймонд был снова одинок и никакая женщина еще не подвигла его «обрести себя». В этом Лили была уверена. И намерена была увидеться с ним, потому что должна была.

Приближаясь к его дому и чувствуя, как колени у нее становятся ватными, она снова спросила себя (за последние недели она много раз подробнейше обдумывала подобную возможность), а что, если вопреки всей ее интуиции, окажется, что она ошиблась насчет Краймонда, и всегда ошибалась? Впечатление, что он сейчас одинок, могло оказаться случайным и обманчивым. Возможно, «история с Джин», которую Джерард и компания воспринимали так серьезно, была на деле пустяком, просто у парочки привычка так развлекаться? Что, если та даже сейчас никуда не делась, находится в доме, откроет Лили и усмехнется ей в лицо? Было безумием заявиться ни с того ни с сего и без приглашения, все могло кончиться новым и более ужасным унижением, от которого ей не оправиться до конца дней. Но еще более неистовое и неумолимое веление предвидящей и страшащейся души заставило ее пойти. Она может пожалеть об этом, но наверняка пожалела бы несравнимо больше, если бы не пошла.

Сияло солнце, и даже в этой тесной и ветхой части Лондона ощущалось дыхание весны. Окна, закрытые всю долгую зиму, были распахнуты, люди — с непокрытой головой и без перчаток, одеты легче и повеселей. В крохотных палисад-

никах на кустах набухали почки и пробивалась свежая трава. Там и тут деревья в легкой зеленоватой дымке источали ауру и даже аромат новой жизни. Ясный холодный блеск солнца возвещал начало долгой английской весны. Разумеется, Лили тщательно обдумала, как ей одеться. Она перебрала и отвергла всяческие модные, но простоватые платья, даже черно-белое с бархатным воротом, которое едва ли подходило к случаю, и остановилась на темно-коричневых очень узких брючках из неброского дорогого твида с более светлым коричневым кожаным пиджаком поверх голубой блузки, шею повязана шелковым розово-голубым шарфом с абстрактным рисунком. Несмотря на все попытки немножко поправиться, она оставалась худой, как всегда, лицо, когда она подкрашивалась утром, казалось почти костлявым, жилы на длинной шее выпирают, ключицы под мягким воротом блузки торчат. Глаза цвета жженого сахара ясные и живые, но морщинки в уголках после массажа стали только заметней от собравшейся в них пудры. Тонкие губы без помады почти не видны, рот — как щель. Волосы, редкие и сомнительные, которые она по глупости помыла с вечера, теперь, сколько она их ни причесывала и ни отводила за уши, торчали

сухими дурацкими клоками. Она бросила пользоваться разрекламированным маслом для волос. Она тщательно обмотала шею шарфом, и, по крайней мере, он скрасил впечатление. Набросила пальто, брюки заправила в черные ботинки.

Наконец впереди показался дом Краймонда, и Лили ускорила шаг, чтобы не позволить мучительным сомнениям заставить ее повернуть назад. Поднялась по каменным ступенькам. Большая дверь, разноцветными пятнами краски и прочерками трещин похожая на современную картину, была закрыта. Лили толкнула ее. Дверь оказалась не заперта, и Лили вошла в знакомый обшарпанный коридор, темный, грязный и затхлый. Постояла, ничего после яркого света улицы не видя в темноте и ощущая плотную атмосферу тишины, ожидания и страха, которую так хорошо знала. Прислушалась. Подумала: его нет, он съехал. Шагнула вперед, наткнулась на велосипед и замерла, испугавшись грохота. Потом открыла дверь в полуподвал и на цыпочках спустилась по ступенькам. Тут она снова прислушалась. Тишина. Бесшумно повернула ручку, медленно приоткрыла дверь в игровую и заглянула в образовавшуюся щель.

Она увидела, как на знакомой картине, мрач-

ную комнату, горящую лампу и фигуру за письменным столом, что-то пишущую. Это было как сон, и действительно эта комната часто виделась ей во сне. Бледный свет из единственного окна, в которое никогда не заглядывало солнце, освещал небольшое пространство близ двери, дальний же конец комнаты тонул в темноте, разгоняемой только лампой. Краймонд, склонив голову над столом и не замечая посетительницы, продолжал писать; Лили проскользнула в комнату и присела на стул у двери. Она глубоко дышала, надеясь прийти в себя и успокоить нервы. На какой-то момент она застыла в некоем подобии транса, словно узрев вневременное видение: луч из запредельных сфер преобразил комнату, случайно пробежав по ней, как тень самолета по земле.

Внезапно Краймонд поднял голову и вперился в сумрак комнаты. Резко спросил:

— Кто тут?

У Лили мелькнуло в голове: он думает, это Джин. Сказала:

— Это я, Лили.

Краймонд мгновение смотрел в ее сторону, потом опустил голову и продолжил писать.

Лили медленно пошла вперед, прихватив стул. Поставила его не прямо перед столом, а чуть

отступя, словно студент перед экзаменатором. Сняла пальто и села. Обратила внимание, что мишень, обычно висевшая на стене за столом, исчезла. Она сидела и ждала.

Минуты через две Краймонд снова поднял голову. Он был в очках с довольно толстыми стеклами и с другой, более округлой оправой, в которых был не совсем похож на себя. Он снял их и взглянул на Лили:

— Ну так что?

— Прости, — сказала Лили. — Просто хотела повидать тебя.

— Зачем?

Лили была готова к такому вопросу:

— Просто хотела узнать, не нужно ли тебе что напечатать. Кто-то сказал, ты кончаешь писать книгу.

По правде говоря, Лили прекрасно знала, что книгу он уже закончил, поскольку об этом ей давно сказал Гулливер.

— Благодарю, — ответил Краймонд, — книга уже переписана на машинке. Так что помощница мне не нужна.

Однако было не похоже, что он хочет, чтобы она ушла. Он продолжал смотреть на нее, ждал, что она скажет еще.

— Так ты закончил книгу? — сказала она.

— Да.

— А что же ты пишешь сейчас?

— Другую книгу.

— Такую же, как предыдущую, продолжение?

— Нет, совершенно новую.

— О чем?

Краймонд оставил этот вопрос без ответа. Потер переносицу, на которой от новых очков остался красный след. Затем, не глядя на нее, принялся протирать стекла носовым платком, протерев, начал заправлять авторучку чернилами, заправив, вытер перо промокательной бумагой. Она, немного успокоившись, наблюдала за ним и думала, что он постарел, лицо стало немного одутловатым, рыжие волосы поблекли и слегка поредели.

— Чем еще занимаешься? — спросила Лили.

— Изучаю арабский.

— Почему арабский?

— А почему бы нет.

— А, так вот что это такое. Я подумала, это стенографические значки.

Ее взгляд привлекла рукопись на краю стола. Она придвинула стул поближе.

Краймонд, на минуту уделив ей внимание,

вновь склонился над тетрадью, в которой писал, когда она вошла. В тетради были арабские буквы. Она принялась их рассматривать:

— Ты это писал?

— Я.

— Трудно?

— Да.

Они помолчали. Затем Краймонд сказал:

— Поскольку нам не о чем больше разговаривать, а я очень занят, может, ты уйдешь?

Лили внезапно покраснела. Она чувствовала, как краска заливает ее длинную шею, щеки, лоб. Она должна была сейчас сказать что-нибудь поразительно умное, или ее прогонят навсегда. Прямо как решающий момент в сказке, когда нужно решить загадку или умереть. К несчастью, в голову не приходило ничего умного. Запинаясь, она проговорила:

— Я очень хочу помочь тебе.

— Благодарю, мне помощь не нужна.

— Я могла бы помогать тебе в политической работе…

— Нет.

— Могла бы печатать на машинке, бегать по поручениям, ходить за книгами в библиотеку, что угодно могла бы делать.

— Нет.

— Знаю, ты лев, а я мышь, но и мышь может помочь льву. Есть такая сказка: лев пожалел мышь, и та сказала, что когда-нибудь отплатит ему добром, на что лев расхохотался, но потом лев попался в сеть, и мышка прибежала, перегрызла веревки и освободила его.

Эта маленькая речь, казалось, наконец развлекла Краймонда и заставила обратить на нее внимание. Он ответил, впрочем, без улыбки:

— Не люблю мышей.

— Тогда я буду тем, кем ты захочешь. Это я пришла тебе сказать. Я люблю тебя. Всегда любила. Ты знаешь, что я, как личность, ничего собой не представляю, но я хочу занимать место в твоей жизни. Насколько мне известно, у тебя сотни таких Лили, ничтожных людишек, которые жаждут служить тебе, все так, но я это я, и я существую ради тебя и понимаю, что делаю. Я рассказала тебе о том прошлогоднем бале. Что бы ни произошло потом, тебе известно, что я желала тебе добра. Чувствую, я в твоей жизни как некий вестник. В конце концов, я знаю тебя давно. Я сделаю все, что ты пожелаешь, буду твоей рабыней, я хочу принести тебе себя в дар, всю себя, мне безразлично, что может случиться,

все, что я жажду, это чтобы ты принял меня как человека, на которого можешь всегда положиться и использовать как тебе угодно. Для меня это освобождение, словно Бог так велел, ты для меня абсолют, я ничего не могу, кроме как посвятить себя тебе. Если ты только не отвергнешь меня, я буду неслышна, невидима, тиха, как мышь — прости, ты не любишь мышей, — но я хочу быть с тобой, как вещь в углу комнаты, ждущая, когда понадоблюсь тебе для…

Краймонд, который слушал, слегка хмурясь и держа очки у губ, остановил ее:

— Мне не нравятся слова о ничтожных людишках и что ты, как личность, ничего собой не представляешь. Ты личность, и не никчемная, мне не нравятся подобные выражения.

Краймонд, похоже, говорил обобщенно, не имея в виду лично ее, но она горячо подхватила:

— Рада, что ты не считаешь меня никчемной, — я займусь своим образованием, ты мог бы быть моим учителем…

— Ох, Лили, вернись на землю, где твое чувство реальности?

— Ты моя реальность.

— Ты сама знаешь, что несешь полный вздор, просто тебе хочется излить душу, даже если это

не имеет смысла. А теперь, когда ты выговорилась, может, сделаешь одолжение и уйдешь?

— Я не могу уйти, — сказала Лили. Она говорила быстро и горячо, но уверенней. Она сама чувствовала, что в ее голосе появились ужасные истерические нотки. — И не уйду. Уверена, ты испытываешь ко мне особое чувство. Ты должен быть ласковей со мной. Неужели нельзя быть хотя бы ласковей, когда я так люблю тебя? Неужели такая любовь может попросту пропасть зря? Мне нужно от тебя хоть что-то, какое-то подобие договора, статуса, чего угодно, самой малости, которая свяжет нас навеки.

Краймонд отвел глаза, словно устал смотреть на нее, и вздохнул:

— Лили, не вижу никакого смысла в том, что ты просишь. Ты говоришь так, будто я легко могу дать тебе что-то очень ценное…

— Да, да, легко, ты можешь, можешь!

— Но у меня нет этого, нет к тебе этого особого чувства, о котором ты говоришь, и я не хочу, чтобы ты была моей рабыней…

— Тогда не буду…

— Или незаметной вещью в углу комнаты, или мышью, я этого не люблю и не вынес бы рядом с собой такого человека, и я не могу дать тебе

никакого «статуса», как ты выразилась, я просто не испытываю никакого особого чувства к тебе, и у меня нет для тебя никакой особой роли — извини.

Лили, сдерживая слезы, подняла с пола пальто и положила его на колени.

— И вернись на землю. Чем ты сейчас занимаешься в реальном мире?

— Выхожу замуж. За Гулливера Эша. Завтра.

Краймонд по-настоящему улыбнулся, больше того — засмеялся:

— Ох, Лили, Лили, так ты готова даже сбежать из-под венца?

— Да.

— Или мне пришлось бы терпеть замужнюю рабыню?

— Нет, нет… если б ты захотел, ничего бы этого не произошло, ничего бы этого не было.

— Ах, глупая… глупая… девчонка.

Лили улыбнулась сквозь слезы, потом вытерла глаза, встала и надела пальто:

— Могу я все-таки видеть тебя в будущем, заходить иногда, не запретишь?

— Не запрещу, но мне будет нечем обрадовать тебя.

— Тогда буду заходить просто так.

— Ради бога, Лили, исчезни же наконец и будь счастлива, неужели не ясно, и сделай счастливым кого-нибудь другого, забудь свои фантазии. Иди же, иди и будь счастлива!

— Роуз и Джерард приглашают нас на обед — когда вернутся из Венеции, — сказала Лили.

— В свой новый дом? — спросил Гулливер.

— Нет, глупый, они его только что купили — к Роуз.

Роуз и Джерард купили дом в Хаммерсмите, возле реки.

— Я так и думал, что Джерард не выдержит в Дженкиновой норе, — сказал Гулливер, — там ему точно было не место.

— А как насчет нас? Думаю, нам тоже вскорости надо будет покупать дом, миленький маленький домик в Патни или еще где, с садом. Детям это понравится.

— Детям?!

— Теперь у тебя есть работа, так что, полагаю, мы можем себе это позволить. Уверена, у меня еще кое-что осталось от тех денег, бог знает куда разошлась большая часть.

— Давай не будем торопиться, — сказал Гулливер, — мне и здесь нравится. К тому же мы еще даже не женаты!

— Завтра в это время будем женаты!

Был вечер, поздний вечер того дня, когда Лили побывала у Краймонда, и они с Гуллом еще сидели за столом после долгого праздничного обеда, за которым то и дело поднимали бокалы с водкой, вином, а потом с черри-бренди, желая себе счастья и богатства. Они порядком набрались, но чувствовали себя исключительно бодрыми, рассудительными и остроумными.

— Непременно будем и счастливы, и богаты, если один из нас не струсит — или оба.

— И не сбежит из-под венца.

— Это фраза из Достоевского[96], — сказал Гулливер, — я думал, ты его не читала.

— А я-то думала, это расхожее выражение. Я где-то его слышала.

— Я не сбегу! Видишь, вот кольцо!

Гулливер показал Лили кольцо, уютно лежащее в маленькой бархатной коробочке. И в то же мгновение живо представил себе ужасные события, произошедшие в романе за той фразой. С ума сойдешь иметь дело с женщинами. Ничего не поделаешь, приходится идти на риск.

— Ты сказал Леонарду, что ему надо будет де-

---

**[96] Примечания: 96**
Имеется в виду роман Ф. Достоевского «Бесы».

лать?

Леонард Ферфакс должен был быть шафером на свадьбе, а Анжела Парк, старинная подруга Лили по школе искусств, — подружкой невесты.

— В муниципалитете ничего особенного делать не нужно! — ответил Гулливер. — Я отдам ему кольцо, и он в решающий момент передаст его мне, а я вручу тебе. Держу пари, большинство людей не озадачиваются даже этим. В любом случае, ты уже проходила эту процедуру.

— Да, но… тогда не было кольца… что-то не припоминаю…

Лили отказалась носить обручальное кольцо. Сейчас казалось невероятным, что когда-то она была замужем. Гулливер не желал ничего слышать о ее призраке-муже, а она не могла сейчас даже вспомнить его лицо — бедный Джеймс, бедный Джеймс.

— Мне нравится, когда совершается обряд.

— Все кончится за четыре минуты.

— Боже мой! А потом будем связаны на всю жизнь!

— Я надеюсь. Может, мы сумеем поженить Леонарда и Анжелу?

— Сомневаюсь, — сказала Лили. — Анжела старше меня, и она растолстела. В любом случае,

Леонард, по-моему, крутит с Джиллиан Кертленд. Подходящая девчонка.

— Ужасно мила, — согласился Гулливер, поспешив отогнать образ подходящей девятнадцатилетней девчонки.

— Никак не могу решить, что надеть.

— Я собираюсь надеть свой бледно-серый спортивный костюм в бледно-розовую клетку. Не надевай брюки, прошу тебя, пожалуйста!

— Конечно не буду. Пожалуй, надену черно-белое платье с бархатным воротом.

— А отметить, значит, пригласим только Анжелу и Леонарда? Чуть ли не тайная свадьба получится! Забыл сказать: я видел Тамар у Леонарда. Там еще был Конрад Ломас и тот модерновый священник из Боярса.

— Для нее вся религия это средство, чтобы избавиться от мамаши.

— Не знаю, — сказал Гулливер, — думаю, у нее это серьезней. Как бы то ни было, но она со священником много смеялись! А Вайолет, по слухам, вполне счастлива.

— Это невозможно, она не в состоянии быть счастливой.

— Весела, жизнерадостна. Пат и Гидеон не знают, что с ней делать, Леопард говорит, она их

ест поедом!

— Они несъедобны, — сказала Лили, — не то что Тамар раньше. Гидеон выплачивает ей пособие.

— Нет, ты посмотри на нас, сплетничаем о друзьях, прямо как настоящая семейная пара.

— А они наши друзья, у нас есть друзья?

— Да, и еще будет много новых, станем приглашать их к обеду, как все обыкновенные семьи приглашают.

— А мы хотим быть как обыкновенные люди?

— И способны ли на это?

Вид у обоих был сомневающийся.

— Хотела бы я знать, Гидеон вложится в нашу спичечную лавку? — задумчиво сказала Лили.

Лили и Анжела Парк решили открыть лавку и начать с продажи спичек. Идея принадлежала Анжеле, но Лили с энтузиазмом взялась организовать и субсидировать дело. По мнению Лили, успех им был обеспечен. Всякий турист с удовольствием купит красивый спичечный коробок, самый дешевый и колоритный из всех «местных» сувениров. От спичечных коробков они задумали перейти к другим коробочкам и шкатулкам: деревянным, расписанным вручную в русском стиле, резным с кельтским рисунком, к очаровательным коробочкам, украшенным изображениями

и узорами, которые они заимствовали бы из лондонских музейных коллекций и картинных галерей, изысканным, но не претенциозным и не кичевым. Анжела была уверена, что сможет найти много безработных талантов.

— Студенты-художники не все высокомерны, — сказала она. — Не все из них считают, что делать красивые вещицы недостойно их гения!

— Надеюсь, вложится! — отозвался Гидеон на вопрос Лили.

Он еще не был знаком с Анжелой Парк, которая его пугала, заставляя опасаться, что этот «проект» поглотит остаток денег Лили. Как только они поженятся, он посетит банк и «разберется» с финансами Лили, а если будет необходимо, «решительно вмешается». В конце концов, он должен вести себя, как подобает мужу.

— Жажду познакомиться с Анжелой!

— Обязательно, а я с твоим фантастическим другом из Ньюкасла, мистером Джастином Бингом!

Это был молодой американский театральный художник, который обещал Гулливеру работу в студии сценографии, которую надеялся открыть в Лондоне, где Гулливер станет его секретарем и консультантом по лондонским театрам.

— Ты еще не рассказал мне, как ты с ним познакомился, — сказала Лили, — ни о том, что в действительности произошло в Ньюкасле. Молчишь с самого возвращения.

Гулливер всячески оттягивал этот момент. На него вдруг нахлынули все страхи, о которых он на время забыл, возбужденный новым сближением с Лили, большей частью происходившим в постели. Лили потеряла деньги, он потерял работу, а завтра он обзаведется женой, о которой придется заботиться; но прежде предстоит сделать опасный шаг: неизвестно, как Лили воспримет то, что он сейчас ей скажет.

— Лили, я должен тебе кое в чем признаться. Я не был в Ньюкасле.

— Что?

— Я никуда не уезжал дальше Кингз-Кросс.

— Тогда где же ты был все это время?

— Сперва в дешевой гостинице близ вокзала, а потом… жил у Джастина Бинга.

— О господи! — вздохнула Лили. — Уже началось!

Она встала, подошла к каминной полке, схватила нефритовую черепаху, собираясь швырнуть ею в Гулла, но передумала. Гулл выглядел так очаровательно, последние события благотворно

сказались на нем, он стал даже еще краше. Он был в светло-коричневых вельветовых брюках, вычищенных после той катастрофы на льду в Боярсе, в новом аквамариновом свитере из «Симпсонза» и новых темно-коричневых кожаных туфлях.

— Успокойся, ничего не началось! Джастин живет с красивой девушкой из Мичигана, с которой они расписаны! Он приютил меня из доброты и потому что хочет работать со мной. А не говорил я тебе об этом раньше, потому что хотел быть уверен, что все это реально, и у меня действительно есть работа.

— Так, продолжай, и расскажи мне все.

— Самая невероятная… странная вещь случилась со мной на Кингз-Кросс. Знаю, это звучит нелепо, но это действительно было. Я нашел улитку.

— Улитку?

— Да. Разве это не странно? Ну, я понимаю, улитки, они повсюду, но чтобы на главном лондонском вокзале!

— Ну и ну! Продолжай.

— Я как раз смотрел расписание поездов на Ньюкасл и увидел ее на асфальте, она катилась, наверное, кто-нибудь задел ее ногой, я не понял, что это такое, подумал: что это? — и поднял. Ко-

нечно, бедняга спряталась в свой домик, но мне показалось, что она жива, я сел на скамью, и вот, через минуту она высунула голову, открыла глаза и повела рожками, я положил ее на обратную сторону ладони, и она поползла… и, представляешь… она смотрела на меня!

— О боже!

— В чем дело? Как бы то ни было, я не знал, что с ней делать. Я не мог просто оставить ее на вокзале или взять ее с собой в комнату, а потом в Ньюкасл, но я почувствовал, что она почему-то мне дорога и я должен позаботиться о ней. Извини, это звучит идиотски…

— Вовсе нет, — сказала Лили.

— И вот я пошел с моей улиткой, я уже чувствовал, что она моя, поискать для нее безопасное место. Но правда, на Кингз-Кросс…

— Могу представить.

— Я прошел массу улиц, ища подходящий парк или сад, но ничего не попадалось. Тогда я вернулся на вокзал, спустился в метро и доехал до Гайд-Парк-Корнер.

— Правильно сделал.

— Я завернул ее в платок, сунул в карман брюк и постоянно придерживал рукой, к счастью, в это время в метро не так много народа. Короче гово-

ря, захожу в парк — и представляешь, даже там, в дальнем конце, где просторно, много деревьев и травы, я не мог просто оставить ее на открытом месте, там бы ее легко склевали дрозды, и — прямо помешался на этой улитке — пошел дальше, перешел в Кенсингтонский парк. Я знал, что нехорошо оставлять ее на цветочной клумбе, садовники это не приветствовали бы. Подумал об Уголке Питера Пэна, но там, конечно, всегда много людей, которые кормят уток, и полно птиц. Тогда я нацелился на Серпентайн, на местечко возле моста, знаешь, где низкие перила, и вот я перегнулся через перила и стал высматривать, где кусты погуще. Стою я так, держа улитку в руке, высматриваю, где бы ее спрятать, а на тропинке останавливается высокий парень и смотрит на меня, не понимая, чем я таким занимаюсь. Потом тоже перегибается через перила и спрашивает, что я там ищу. Ну, я и, не зная, как ему объяснить, рассказываю ему всю историю с начала. И понимаешь, он оказался таким славным, был так удивлен и восхищен, сказал, что его тоже волнуют всякие крохотные создания. Потом помог мне найти идеальное местечко для улитки, мы оставили ее там, пожелав ей удачи, вернулись на тропу и пошли к мосту.

— Это был Джастин Бинг.

— Точно. Я рассказал ему, что собираюсь в Ньюкасл, искать работу, он спросил, какого рода работу я ищу и есть ли у меня в Ньюкасле знакомые, где я живу сейчас и много о чем еще, потом мы пошли выпить в ресторанчике возле Серпентайна, заодно перекусили, и он рассказал мне о своей жизни, а я о своей, он стал настойчиво просить меня забыть о Ньюкасле, забрать вещички из той паршивой гостиницы и переехать жить к ним с Мартой, пока не разрешим вопрос с работой…

— А потом в один прекрасный день ты объявился и сказал, что был в Ньюкасле!

— Я никогда не говорил, что был в Ньюкасле, — возразил Гулливер, — это ты так думала, а я не стал тебя переубеждать. Прости. Я вроде как обманул тебя. Но я был так ошеломлен и хотел быть уверенным насчет работы, прежде… а потом мы…

— Да, да, понятно.

— Прости. Надеюсь, ты не станешь из-за этого считать, будто я дрянь… с твоей стороны было несколько романтичным думать, что я уеду в Ньюкасл и вернусь, найдя там работу.

— В твоей истории, — сказала Лили, возвра-

щаясь к столу, — куда больше романтического и куда больше непонятного. Но с этим Бингом — на сказку похоже.

— Ну, понимаешь, он баптист.

— Кто он?

— Баптист. Ты знаешь, что это такое. И Марта баптистка. Он отличный малый, один из самых приятных людей, какие мне попадались, исключительно благородный.

— Я смотрю, мы привлекаем благородных людей, надеюсь, он еще и умеет делать деньги. Ему известно о моем существовании?

— Конечно, я все ему про тебя рассказал.

— О, вот как! И что же именно?

— Сказал, что есть девушка, чьей руки хочу попросить, как только найду работу.

— Ах, Гулл… Гулл… — Лили вытерла слезы смущения, смеха, радости и какого-то глубокого непостижимого волнения. — Представляю, как Джастин был тронут! Ты, конечно, сделал это не специально.

— Нет, разумеется… но его это, естественно, не оставило равнодушным, и Марту тоже. Она все время называла тебя моей невестой.

— Они будут разочарованы, — сказала Лили. — Небось подумали, что я наивное юное создание.

— Я сказал им, что ты необычная.

— Вот уж спасибо!

— Но, Лили, они такие милые. И совсем не страшные. Они понравятся тебе, а ты им. И разве это не странно, все случилось благодаря цепочке невероятных совпадений, если бы улитка не оказалась на вокзале, если бы я ее не заметил, если бы не стал искать, куда ее отнести, и не пошел именно в то место в Кенсингтонском парке, и если бы Джастин не проходил мимо как раз в тот момент… Случай — великая вещь!

«Если был случай», — подумала про себя Лили, а вслух сказала:

— Значит, у нас будут новые друзья, которых познакомим со старыми друзьями… когда поженимся… после того, как поженимся… завтра.

Гулливер же думал: сошло, слава богу! И все-таки, хорошо было бы, если бы он поехал в Ньюкасл, как наврал Лили. Идея была такая смелая, захватывающая, и там бы могло произойти что угодно, что-то ужасное или, наоборот, чудесное, еще чудесней, чем встреча с Джастином; если бы знать свое будущее. Боже мой, будущее! Интересно, пожалеет он когда-нибудь о том, что наткнулся на ту милую улитку? Мысль все бросить и просто отправиться куда глаза глядят была очень важ-

ной для него, это было своего рода испытание, проба сил, тест на смелость, который больше не повторится — во всяком случае, не в таком виде, — и он оказался готов к нему. Конечно, он не струсил, все происходило по воле случая, и что он не уехал, и что никогда не узнает, что было бы, если бы уехал. Он даже мог встретить там девушку… Но скоро Гулливер оставил эти предательские и удручающие мысли. А подумал: что ж, он не добрался до Ньюкасла, как бедный Дженкин до своей Южной Америки. Интересно, мечтать хорошо или вредно? И что с тем человеком на Кингз-Кросс, где он сейчас, не следует ли сходить поискать его?

А Лили размышляла о том, что Гулливер, наверное, рассказал ей все, но вот она ему далеко не все! Не призналась, что в то самое утро, сказавшись, что идет за покупками, побежала предлагать тело и душу другому мужчине. Больше того, никогда не говорила о своей любви к Краймонду. У Гулла могло возникнуть ощущение, что она гордится знакомством с Краймондом, но наверняка у него и мысли не возникало, что она сходит с ума по нему. А она с самого начала была без ума от Краймонда, потом чуть остыла, и он стал для нее просто самым значимым человеком на свете, а

после, именно сейчас, снова как помешалась, снова влюбилась из-за… из-за Гулла и свадьбы, и брачных уз, и чувства бесповоротной перемены. Как только она представила, что ждет ее впереди, как только угомонилась и полюбила Гулла, так тут же поняла, насколько сильней и иначе любит другого. Наверное, такое часто происходит с людьми. Она должна была пойти к нему, должна была попытаться. Если бы не пошла в последний день своей свободы, то всю жизнь жалела бы об этом. Вечно бы убивалась, думая, что, быть может, в конце концов оказалось, что она нужна ему, что он жить без нее не может, а она побоялась попытаться. Люди так непостижимы, и кто знает? Но у нее…

Но у нее с души свалился огромный камень, она избавилась от мании, и перед ней открылся новый простор мира и свободы, то есть спокойно смирилась с судьбой. Пусть будет, что будет, она надеялась, что встретит ее смело и без сожалений. Конечно, Краймонд должен остаться для нее, как она сказала ему, абсолютом, и, как мучительное напоминание о нем, она, может, будет носить на шее маленький амулетик. Но она уже сейчас знала, что это все было безобидной мечтой, от которой с годами следа не останется, и что она

обрела свободу, которую только он мог дать ей. Теперь пришло время становиться реалисткой и быть счастливой. Пожалуй, она уже счастлива, но вот реалистка ли? Во всяком случае, Гулливер реалист, а она реально любит его, так что это хорошее начало.

Что до необыкновенной истории с улиткой: могло это быть просто цепью совпадений? Почему бы нет, разве человеческая жизнь не цепь совпадений? Но это действительно очень странно. Лили и сама, как рассказывала Роуз в вечер танца улиток в Боярсе, обнаружила одну в необычном месте, у себя в комнате, больше того, ползущую по туалетному столику. Вынося ее в сад, она, думая о Гулле, шептала ей старинный улиткин заговор, какой обычно нашептывала бабушка. Конечно, телепатия — реальная вещь, но любопытно, как улитки передают послание друг дружке?.. Она может побожиться, что в этом что-то есть, что-то странное происходит, а начинает все она! Сколько всего таинственного в мире! Лили хотела было поделиться этими мыслями с Гуллом, но не решилась. Слишком это казалось безумным. Кроме того, среди превратностей семейной жизни обладание толикой магической силы иногда может пригодиться; а бабушка говорила, что об этом

надо молчать, иначе сила пропадет. Она ведьма, ведьма! — подумала Лили, бабуля говорила, что это передается по наследству! Но как знать, может, то была шутка, а чудо творит любовь, и если она обладает хоть какой-то магической силой, то это проявляется только через любовь, и тогда она будет не ведьмой, а волшебницей. Ох, в каком же таинственном мире мы живем!

— Гулл, дорогой, взгляни на часы, день нашей свадьбы уже настал! Выпьем за нас — и за улиток!

— За нас — и за улиток, храни их Бог!